
Чарлъз
Дикkенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА, В. В. ИВАШЕВОЙ,

ЕВГЕНИЯ ЛАННА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

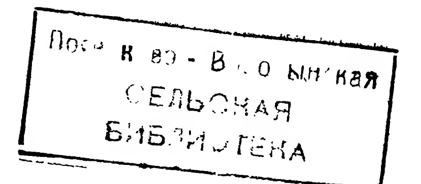
ТОМ ВОСЬМОЙ

БАРНЕБИ РАДЖ

Роман

Перевод с английского

М. Е. АБКИНОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

CHARLES DICKENS

BARNABY RUDGE

1841

Иллюстрации

ФРЕДА БАРНАРДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Покойный мистер Уотертон однажды высказал мнение, что вóроны у нас в Англии постепенно вымирают, и мне хочется в своем предисловии рассказать об этих птицах то немногое, что я наблюдал сам.

Грип в моем романе соединяет в себе черты двух замечательных воронов, которые жили у меня в разное время и были предметом моей гордости. Первого, совсем еще молодого, один мой знакомый нашел где-то в глухом закоулке Лондона и подарил мне. С самого начала обнаружилось, что ворон этот «богато одарен» (как говорит сэр Хью Ивенс об Анне Пейдж) * и развивал свои способности весьма успешно благодаря любознательности и прилежанию. Ночевал он в конюшне (обычно — на спине у лошади) и своей сверхъестественной мудростью и ученостью внушал такой трепет моему ньюфаундленду, что не раз нам доводилось видеть, как он безнаказанно утаскивал из-под носа у собаки весь ее обед,— такова сила умственного превосходства! Мой ворон быстро приобретал всякие новые познания и достоинства. Но в один

злосчастный день в конюшню, где он жил, пришли маляры красить стены. Ворон внимательно наблюдал за ними, приметил, что они заботливо прячут краску, и немедленно возгорелся желанием завладеть ею. Когда рабочие ушли обедать, он сожрал все, что они оставили в конюшне,— фунта два свинцовых белил. Конечно, за эту юношескую неумеренность он заплатил жизнью.

Я безутешно горевал о нем, и другой мой приятель, живший в Йоркшире *, прислал мне взамен ворона постарше, еще более одаренного. Он нашел его в деревенском трактире и упросил хозяина продать ему. Мудрая птица первым делом вступила во владение имуществом своего предшественника, вырыв все кусочки сыра и медяки, которые тот зарыл в саду,— это потребовало длительного обследования и огромного труда, и ворон пустил в ход всю силу своего ума. Выполнив эту задачу, он занялся изучением терминов и выражений, которые слышал на конюшне, и скоро так хорошо их усвоил, что целыми днями, сидя под моим окном, с большим знанием дела погонял воображаемых лошадей. Но я, должно быть, все-таки не слышал его в наилучшем его репертуаре: бывший хозяин прислал вместе с ним сопроводительное письмо, в котором, свидетельствуя мне свое почтение, сообщал, что, если я хочу увидеть самый лучший «номер» ворона, мне следует показать ему пьяного. Но этого я так и не сделал, ибо меня, к сожалению, окружали одни только трезвенники. Да и все равно — как бы ни подействовало это средство на моего ворона, уважение мое к нему вряд ли возросло бы,— оно и так уже было безгранично. Но он, увы, не платил мне тем же. Он вообще ни в грош не ставил никого в доме, за исключением кухарки. Ее он жаловал, но боюсь, что не бескорыстно,— так же как тот полисмен, которого она угощала на кухне.

Раз я неожиданно встретил моего ворона в полумиле от дома: он шествовал посреди людной улицы, окруженный толпой зрителей, которым, по собственному почину, демонстрировал свои таланты. Никогда не забуду, с каким достоинством он вел себя в этом трудном положении и как храбро потом защищался, укрываясь за водокачкой и не давая унести себя домой, пока не вынужден был уступить превосходящим силам противника.

Но, видно, такие великие гении недолговечны, или, может быть, и этот ворон проглотил что-нибудь неудобоваримое (что довольно вероятно, так как он разделал под кружево большую часть садовой стены, выклевывая из нее известку, разбил бесчисленное множество оконных стекол, выковыряв всю замазку из рам, а деревянную лесенку из шести ступеней с площадкой почти всю превратил в щепки и щепки эти съел) — как бы то ни было, он прожил у меня только три года, а потом заболел и умер в кухне у огня. Умирая, он до последней минуты не спускал глаз с жарившегося на очаге мяса и вдруг замогильным голосом крикнул «ку-ку» и, опрокинувшись на спину, испустил дух. С тех пор я не завожу больше воронов.

О мятеже Гордона, насколько я знаю, не писал до сих пор ни один романист, а между тем это событие изобилует весьма примечательными и необычайными подробностями. Потому у меня и явилась мысль написать о нем повесть *.

Не приходится говорить, что этот безобразный бунт, покрывший несмываемым позором и эпоху, его породившую, и всех его зачинщиков и участников, — хороший урок последующим поколениям. Лозунги, которые мы неправильно называем религиозными, охотно провозглашаются людьми, у которых нет никакого бога, которые

в своей повседневной деятельности пренебрегают самыми элементарными требованиями морали и справедливости. Такие «религиозные» бунты продиктованы нетерпимостью и жаждой насилия, они бессмысленны, жестоки, они — просто взрывы закоренелого фанатизма одуревших людей. Всему этому учит нас история. Но, быть может, мы еще до сих пор недостаточно усвоили ее уроки, и даже такой пример, как мятеж 1780 года под лозунгом «Долой папистов», не пошел нам на пользу.

Если мне и не удалось с достаточным совершенством отобразить на страницах моей повести дни мятежа, во всяком случае они описаны беспристрастно, человеком, который отнюдь не является сторонником папизма, хотя у меня, как у большинства моих соотечественников, есть весьма уважаемые друзья среди людей, исповедующих римско-католическую веру.

При описании главных событий я руководствовался самыми авторитетными источниками и документами той эпохи, так что рассказ мой обо всех главных событиях мятежа в основном исторически верен.

Процветание в те времена ремесла мистера Денниса (чем он постоянно хвастает) — никак не выдумка автора, а страшная правда. Перелистайте любой комплект старых газет или любой том Ежегодника * — и вы в этом легко убедитесь.

Даже в истории Мэри Джонс, которую с таким смаком рассказывает тот же Деннис, ни одна подробность не является плодом авторской фантазии. Все факты изложены в моей повести точно так, как они были в свое время изложены на заседании палаты общин. Неизвестно только, доставила ли история Мэри Джонс этому собранию веселых джентльменов такое же развлечение, как другие потрясающие факты, о которых сообщает сэр Сэмюел Ромилли *.

Так как дело Мэри Джонс убедительно говорит само за себя, я приведу здесь отрывок из речи «О частых казнях» сэра Уильяма Мередита * на заседании парламента в 1777 году:

«На основании закона о краже в лавках была осуждена и казнена некая Мэри Джонс, историю которой я сейчас вам изложу. Случилось это в то время, когда поднялась тревога по поводу Фальклендских островов * и был издан указ о принудительной вербовке *. Мужа этой женщины взяли во флот, все их имущество забрали в уплату за какие-то долги, и Мэри Джонс с двумя малыми детьми вынуждена была просить милостыню на улицах. Не следует забывать, что она была еще очень молода (ей шел только девятнадцатый год) и замечательно хороша собой. Она вошла в лавку торговца полотном, взяла с прилавка кусок дешевого полотна и сунула его под накидку. Торговец заметил это, и Мэри Джонс тут же положила полотно на место. За это покушение на кражу она была повешена. На суде она в свою защиту сказала (протокол у меня в кармане), что жила честно, люди ее уважали и ни в чем их семья не нуждалась, пока вербовщики не увели ее мужа. А теперь у нее даже постели больше нет, нечем кормить детей, и все они раздеты и разуты. Может, она и поступила дурно, но она себя не помнила, не сознавала, что делает. Приходские власти подтвердили все, что рассказала Мэри. Но в то время в Ледгете часто бывали кражи, и решено было, для острастки, кого-нибудь примерно наказать — вот эту женщину и повесили в угоду торговцам на Ледгет-стрит *. На суде она была совершенно подавлена и проявляла признаки умственного расстройства. Когда ее везли на казнь, на руках у нее лежал ребенок, и она кормила его грудью».

БАРНЕБИ РАДЖ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В году 1775-м на краю Эппингского леса, милях в двенадцати от Лондона, считая от Корнхилской вышки или вернее — от того места, где некогда стояла эта вышка, находилась деревенская гостиница под названием «Майское Древо» *, и, для сведения всех неграмотных путешественников (а шестьдесят шесть лет назад среди путешествовавших и сидевших дома жителей нашей страны неграмотных было не счесть), у дороги напротив этого заведения водружен был в качестве эмблемы ствол молодого стройного ясеня, если и не таких внушительных размеров, как в старину бывали «майские древа», то все же высотой в тридцать футов и прямой, как ни одна стрела, когда-либо пущенная рукой английского йомена *.

«Майское Древо» (под этим мы в дальнейшем будем разуметь не эмблему, а самую гостиницу) представляло собой старинное строение с таким множеством коньков на крыше, что не у всякого лентяя хватило бы терпения в жаркий день сосчитать их, и огромными зигзагообразными дымовыми трубами, из которых, казалось, и дым мог выходить не иначе, как клубами самой сверхъестественно-фантастической формы; за домом тянулись большие, мрачные конюшни, теперь полуразрушенные и пустовавшие. Дом этот, как говорили, построен был в царствование короля Генриха Восьмого *, и, по преда-

нию, сама королева Елизавета *, когда охотилась в здешних местах, провела однажды ночь в этом доме, в обшитой дубовыми панелями комнате с окном-фонарем; мало того, наутро королева-девственница, стоя перед крыльцом на колоде, с которой всадники садились на лошадей, и вдев уже одну ногу в стремя, наградила за какие-то промахи несколькими тумаками и оплеухами своего незадачливого пажа. Люди, лишенные воображения и готовые во всем сомневаться (а такие, увы, всегда имеются в любом обществе, имелись они и среди завсегдатаев «Майского Древа»), склонны были считать это предание недостоверным, но, так как хозяин старой гостиницы призывал в свидетели колоду перед домом и торжествующе указывал, что она и поныне лежит на том самом месте, скептики неизменно смирялись перед мнением огромного большинства, а все искренне верующие ликовали, словно одержав великую победу.

Правдой или выдумкой были эти рассказы и многие другие в таком же роде, но дом, в котором помещалась гостиница, был несомненно старый, очень старый дом, ему, вероятно, было столько лет, сколько ему приписывали, а быть может, и больше, как это иногда бывает с домами неизвестного и дамами известного возраста. Окна у него были старинные, с ромбовидными стеклами, с частым свинцовым переплетом, полы покоробились и осели, потолки с массивными балками почернели от времени. Дверь дома выходила на старинное крыльцо с затейливой, весьма своеобразной резьбой. Здесь в летние вечера постоянные посетители курили, выпивали, а порой затягивали веселую песню, расположившись на двух внушительных скамьях с высокими спинками, которые, подобно двум сказочным драконам, стерегли вход.

В каминных трубах пустующих комнат уже много лет ласточки вили гнезда, а под карнизами с ранней весны до поздней осени чирикали и щебетали целые колонии воробьев. На дворе за домом и во всех надворных строениях ютилось столько голубей, что счет им знал разве только сам хозяин. Стаи вертунов, зобачей, веерохвостых, коротышей и других голубей весело кружили и кувыркались над домом; это не совсем, пожалуй, гармо-

нировало с его важным и солидным видом, но зато их однообразное воркованье, не утихавшее весь день, вполне ему соответствовало и, казалось, баюкало дом, навевая на него сладкую дремоту. Если присмотреться, этот старый дом с его выступавшими вперед верхними этажами, мутными, словно сонными стеклами в окнах и выпяченным, нависшим над дорогой фасадом был похож на старика, который, задремав, клюет носом. Без особых усилий воображения можно было открыть в нем и другие черты сходства с человеком. Кирпич, из которого сложены были его стены, когда-то темно-красный, выцвел и стал желтоватым, как кожа старика; крепкие балки гнили, как испорченные зубы, и плющ местами тесно льнул зелеными листьями к источенным временем стенам, как теплая одежда, защищающая от холода одряхлевшее старческое тело.

Однако то была старость еще бодрая и крепкая; в летние и осенние вечера, когда яркий блеск заходящего солнца освещал дубы и каштаны соседнего леса, старый дом, получая свою долю этого блеска, казался их достойным товарищем, у которого впереди еще много счастливых лет.

Вечер, с которого мы начнем наш рассказ, был не летний и не осенний,— то были сумерки мартовского дня, и ветер уныло завывал в обнаженных ветвях деревьев, громыхал в широких трубах, хлестал дождем в стекла, давая завсегдатаям «Майского Древа», находившимся здесь в этот час, неоспоримый повод посидеть подольше. К тому же, хозяин предсказывал, что погода непременно прояснится в одиннадцать часов, ровно в одиннадцать (по удивительному совпадению обстоятельств, он именно в этот час обычно закрывал свое заведение).

Человека, на которого в этот вечер сошел дух пророчества, звали Джон Уиллет. Это был дородный, большеголовый мужчина с мясистым лицом, на котором легко было прочесть редкое упрямство, неповоротливость ума и глубочайшую веру в свою непогрешимость. В миролюбивом настроении Джон Уиллет имел обыкновение хвалиться тем, что он всегда действует хоть и медленно, но верно; первое было несомненно,— быстротой ума и действий Джон действительно никогда не отличался, и при-

том был одним из самых упрямых и самонадеянных людей на свете, твердо убежденным, что все его мнения и поступки правильны, а каждый, кто думает, говорит или поступает иначе, безусловно не прав,— последнее Джон считал раз навсегда установленным и столь же незыблемым, как законы природы и воля Провидения.

Мистер Уиллет не спеша подошел к окну, прижал свой толстый нос к холодному стеклу и, заслонив глаза, чтобы ему не мешали красные отблески огня, выглянул наружу. Затем он так же медленно вернулся на свое место в уголке у камина, расположился здесь и, слегка поежившись, как человек, который вспомнил о холоде и тем больше наслаждается теплом, сказал, обводя взглядом посетителей:

— Прояснится к одиннадцати. Не раньше и не позже. Ни до, ни после, а именно в одиннадцать.

— С чего вы это взяли? — спросил из противоположного угла человечек небольшого роста.— Полнолуние кончилось, луна восходит теперь в девять часов.

Джон невозмутимо и важно уставился на говорившего и взирал на него до тех пор, пока не обмозговал хорошенько его замечания. Только после этого он ответил тоном, который давал понять, что наблюдение за луной — исключительно *его* дело и больше никого не касается:

— Насчет луны уж вы не беспокойтесь. Про нее говорить не будем. Луну вы не троньте,— и я не трону вас.

— Надеюсь, вы на меня не обиделись? — сказал человечек в углу.

Джон и на этот раз не спешил с ответом. Только когда второй вопрос дошел до его сознания и был разжеван как следует, он ответил: «Пока нет», разжег трубку и принялся курить в безмятежном молчании. Время от времени он искоса поглядывал на мужчину в широком костюме для верховой езды с огромными обшлагами, украшенными потускневшим серебряным шитьем, и с большими металлическими пуговицами,— человек этот сидел в стороне от компании постоянных посетителей, низко надвинув шляпу и заслонив лицо рукой, которой подпирал голову. Он производил впечатление сурового нелюдима.

В комнате, поодаль от камина, сидел еще один гость в сапогах со шпорами; судя по его нахмуренным бровям и скрещенным на груди рукам, а также по тому, что стакан вина стоял перед ним нетронутый, мысли его были далеко от всего окружающего и от тем, которые здесь обсуждались. Это был молодой человек лет двадцати восьми, выше среднего роста и, несмотря на некоторую худощавость, крепкого и красивого сложения. Его темные волосы не были прикрыты париком, а костюм для верховой езды и высокие сапоги (фасоном несколько напоминавшие ботфорты современных лейб-гвардейцев) носили на себе явные следы путешествия по плохой дороге. Впрочем, несмотря на дорожную грязь на его платье и обуви, видно было, что одет он хорошо и даже богато, но без излишнего щегольства, — как человек высшего круга, настоящий джентльмен.

Подле него на столе лежали небрежно брошенные увесистый хлыст и шляпа с широкими полями, надетая им сегодня, вероятно, для защиты от ненастной погоды. Тут же лежала пара пистолетов в кобурах и короткий дорожный плащ. Лицо трудно было разглядеть, и длинные темные ресницы скрывали опущенные глаза, но во всем облике молодого человека заметна была беспечная непринужденность, естественное изящество; впечатление это дополняли даже мелкие принадлежности его костюма — все они были новые и красивые, обличали хороший вкус их владельца.

На молодого джентльмена мистер Уиллет взглянул только раз — так, словно хотел спросить, заметил ли тот своего молчаливого соседа. Было очевидно, что Джон и этот молодой человек давно знакомы. Так как на его немой вопрос не последовало никакого ответа, а может быть, он и вовсе не был замечен тем, к кому был обращен, Джон сосредоточил всю силу своего взгляда на мужчине в надвинутой на глаза шляпе и смотрел на него так упорно и пристально, что это встревожило сидевших у камина друзей Джона; они все, как один, вынув трубки изо рта, тоже уставились на незнакомца.

У дюжего хозяина «Майского Древа» были большие глупые рыбьи глаза, а у человечка, который позволил себе

замечание относительно луны (это был звонарь и причетник из ближней деревушки Чигуэлла), — черные круглые и блестящие глазки-бусинки; кроме того, у маленького звонаря на коленях порыжевших штанов, на столь же порыжевшем черном сюртуке и на длинном широком жилете сверху донизу были нашиты забавные пуговки, которые ни с чем нельзя было сравнить, кроме как с его глазками, — зато на глазки они были до того похожи, что, когда поблескивали и переливались в свете огня, отражавшегося и в блестящих пряжках его башмаков, то казалось, что причетник весь с ног до головы состоит из глаз и всеми ими смотрит на незнакомого гостя. Такое наблюдение хоть кого могло смутить, не говоря уже о том, что столь же внимательно созерцали мужчину в надвинутой шляпе, следуя примеру своих приятелей, Том Кобб, лавочник и почтарь, и долговязый лесничий, Фил Паркс.

Незнакомец вдруг стал проявлять признаки беспокойства. Причиной этому мог быть перекрестный огонь чужих взглядов, но вернее всего — его собственные размышления: когда он переменил позу и поспешно оглянулся, он невольно вздрогнул, только тут заметив, что за ним зорко наблюдают, и метнул на сидевших у камина сердитый и подозрительный взгляд. Немедленно все глаза обратились в сторону камина, и только Джон Уиллет, захваченный врасплох и (как мы уже говорили) не отличавшийся проворством и особой находчивостью, продолжал оторопело глазеть на незнакомца.

— Ну-с? — произнес тот.

«Ну-с». Речь была недолга, и немного из нее можно было почерпнуть.

— Вы, кажется, что-то хотели заказать? — вымолвил хозяин после нескольких минут молчания.

Незнакомец снял шляпу, и теперь видно было его лицо, суровое лицо человека лет шестидесяти, испитое и огрубевшее. Черный платок, который он носил вместо парика, отнюдь не делал приятнее его жесткие от природы черты. Платок туго обхватывал голову, закрывая лоб и брови почти до самых глаз. Если незнакомец хотел им закрыть след глубокой раны, которая когда-то, видимо, рассекла щеку до кости и оставила по себе безо-

бразный рубец, то он не очень-то достиг цели: рубец нельзя было не заметить с первого взгляда. Лицо незнакомца было мертвенно бледно, обросло неровной седоватой щетиной, не бритой уже недели три.

Таков был человек (очень бедно и небрежно одетый), который сейчас встал и, неслышными шагами пройдя через всю комнату, сел в углу у камина, на место маленького звонаря, которое тот из учтивости или страха поспешил ему уступить.

— Разбойник с большой дороги! — шепнул Том Кобб лесничему Парксу.

— По-твоему, у разбойников не хватает средств одеваться получше? — возразил Паркс. — Это ремесло прибыльнее, чем ты думаешь, Том, и разбойникам нет нужды ходить в отрепьях. Да они в них и не ходят, можешь мне поверить.

Между тем тот, о ком они толковали, оказал, наконец, честь заведению мистера Уиллета, велев подать себе вина, и оно тотчас было принесено хозяйским сыном Джо, рослым, широкоплечим парнем лет двадцати, которого отец все еще упорно считал мальчишкой и соответственно с ним обходился. Грея руки у жаркого огня, незнакомец повернул голову к остальной компании и, окинув всех быстрым взглядом, сказал голосом, вполне гармонировавшим с его внешностью:

— Что это за дом стоит примерно в миле отсюда?

— Харчевня? — спросил Джон Уиллет со своей обычной неторопливостью.

— Помилуй, отец, какая харчевня! — воскликнул Джо. — На милю вокруг нет ни одной харчевни. Это, наверно, Большой Дом Уоррен. Вы говорите о кирпичном доме с парком, не так ли, сэр?

— Ну, да, — подтвердил незнакомец.

— Пятнадцать — двадцать лет назад парк этой старой усадьбы был в пять раз больше, но постепенно он вместе с другими, еще лучшими угодьями, участок за участком переходил в чужие руки. Так все и уплыло. А это очень жаль! — продолжал Джо.

— Та-ак... Но я спрашиваю о владельце, а не об усадьбе. Какова она была, меня не интересует, а какова она теперь, я и сам видел.

Законный наследник Джона Уиллета прижал палец к губам и, покосившись на описанного выше молодого джентльмена (который, едва речь зашла о большом доме, повернулся в их сторону), сказал, понизив голос:

— Владелец его — Хардейл, мистер Джеффри Хардейл. — Джо опять покосился на молодого человека. — Весьма достойный джентльмен... Кха, кха!..

Обратив на этот предостерегающий кашель так же мало внимания, как раньше — на многозначительный жест Джо, незнакомец продолжал расспросы:

— Ехавши сюда, я сбился с дороги и попал на тропку, которая ведет к этому парку. У дома я видел какую-то девушку, она садилась в карету. Это не дочь ли его?

— Почем мне знать, кого вы там видели, добрый человек? — ответил Джо. Делая вид, что поправляет дрова в камине, он подошел вплотную к незнакомцу и потихоньку дернул его за рукав. — Ведь я-то не видел этой молодой леди. Уф! Опять ветер поднялся... И дождь... Ну, и погодка!

— Погода дрянная! — согласился незнакомец.

— Но вам она, наверное, нипочем? Привыкли? — заметил Джо, хватаясь за любую тему, лишь бы отвлечь собеседника от прежнего разговора.

— Да, порядком, — ответил тот. — Так кто же все-таки эта девушка? У мистера Хардейла есть дочь?

— Нет, нет, — сказал Джо уже с досадой. — Он холостяк... Он... Ах, да прекратите вы, ради бога, этот разговор. Не видите разве, что он кое-кому не по нутру?

Но его мучитель, сделав вид, что не слышит этого тихого предостережения, с раздражающей настойчивостью продолжал:

— Что ж, случается и холостякам иметь дочерей... Девушка эта может быть дочерью Хардейла, хоть он и не женат.

— Что это вам в голову взбрело? — Джо опять подошел ближе и добавил вполголоса:

— Ох, наживете вы себе беды, помяните мое слово!

— Ничего худого я не думал и, кажется, ничего такого не сказал, — резко возразил незнакомец. — Человек я здесь чужой — вот и полюбопытствовал, как всякий

проезжий, кто живет в этом красивом доме. А вы так всполошились, как будто я бунтую против короля Георга *. Может, вы, сэр, объясните мне, в чем тут дело? Потому что, повторяю, я здесь чужой и для меня все это — китайская грамота.

Последние слова он произнес, обращаясь к тому, кто явно был причиной замешательства Джо: к молодому человеку, который в эту минуту надевал свой дорожный плащ, собираясь уйти. Тот ответил коротко, что ничего не может ему сообщить, затем кивком подозвал Джо и, расплатившись за вино, торопливо вышел, а молодой Уиллет, взяв свечу, чтобы посветить ему, последовал за ним на крыльцо.

Пока Джо отсутствовал, Уиллет-старший и его три друга со священной серьезностью продолжали курить, в глубоком молчании уставившись на медный котел, подвешенный над огнем. Спустя некоторое время Джон Уиллет медленно покачал головой, и тогда его друзья проделали то же самое. Но ни один из них не отвел глаз от медного котла и не изменил глубокомысленного выражения лица.

Наконец вернулся Джо. Теперь он был весьма разговорчив — видно чувствовал, что его будут бранить, и пытался умиротворить отца.

— Вот она, любовь! — начал он, придвигая себе стул к огню, и оглянулся на других, ища сочувствия. — Пешком отправился в Лондон! Всю дорогу до Лондона пройдет пешком! Лошадь его захромала после скачки в эту проклятую погоду и лежит себе на соломе у нас в конюшне, а он отказался от хорошего горячего ужина и лучшей нашей постели, и все только потому, что мисс Хардейл поехала в Лондон на маскарад, а ему загорелось ее повидать. Как она ни хороша, а меня бы на это не стало. Ну, да я ведь не влюблен... по крайней мере так мне кажется... В этом вся разница.

— А он влюблен? — спросил незнакомец.

— Еще бы! — ответил Джо. — Сильнее любить невозможно.

— Помолчите, сэр! — прикрикнул на него отец.

— Ах, Джо, и что ты за парень, право! — сказал долговязый Паркс.

— Экой непочтительный мальчишка! — пробормотал Том Кобб.

— Вечно суется вперед. Родного отца — и того готов щелкнуть по носу. — Эту метафору употребил причетник.

— Да что я такого сделал? — недоумевал бедный Джо.

— Молчите, сэр! — отвечал ему отец. — Да как ты смеешь рот раскрывать, когда люди вдвое и втрое старше тебя молчат и даже не думают вымолвить ни словечка!

— Так ведь тут-то и самое подходящее время для меня поговорить! — не сдавался Джо.

— Подходящее время! Никакого подходящего времени для тебя нет.

— Вот это верно, — поддакнул Паркс, важно кивнув остальным двум, а те закивали в ответ и пробормотали себе под нос, что Джон совершенно прав.

— Да, никакого подходящего времени для вас, сэр, быть не может, — повторил Джон. — В вашем возрасте я рта не раскрывал, мне даже никогда не хотелось его раскрыть: я только слушал других и учился у них. Да, сэр, вот как!

— Зато теперь, Джо, если кто вздумает поспорить с твоим отцом, Джон за словом в карман не полезет, — сказал Паркс.

— На этот счет я вот что тебе скажу, Фил, — отозвался мистер Уиллет, выпустив из угла рта длинную спираль дыма и задумчиво следя, как она расплывается в воздухе. — На этот счет, Фил, я так скажу: умение рассуждать — природный дар. Если природа наделила им человека, он вправе этим пользоваться и не должен из ложной скромности отрицать, что у него есть такой дар, ибо это значило бы повернуться к природе спиной, проявить к ней неуважение, пренебречь ее драгоценными дарами и показать себя неблагодарной свиньей, перед которой не стоило метать бисер.

Тут хозяин «Майского Древа» сделал долгую паузу, и мистер Паркс, естественно, решил, что он окончил свой монолог. Поэтому, обратясь к Джо, он сказал ему с некоторой суровостью:

— Слышишь, Джо, что говорит твой отец? Полагаю, что у тебя теперь пропадет охота спорить с ним.

— Если, — начал Джон Уиллет, оторвав взгляд от потолка, чтобы взглянуть в лицо Парксу, и произнеся это коротенькое слово с ударением, которое должно было внушить дерзкому, посмевшему перебить его, что тот, грубо выражаясь, суется не в свое дело, и притом с неприличной и непочтительной поспешностью. — Если природа, сэр, наделила меня даром красноречия, почему бы мне не гордиться им? Да, сэр, в этом я силен. Вы правы, сэр, и я вам всем доказывал это много раз на деле в этой самой комнате. Вы, я думаю, сами это знаете. А если не знаете, — заключил Джон, снова сунув в рот трубку, — тем лучше. Я не спесив и не собираюсь этим хвалиться.

Дружный ропот трех друзей и их дружные кивки убедили Джона Уиллета, что они высоко ценят его таланты и не нуждаются в новых доказательствах его превосходства. Джон курил теперь с еще большим достоинством и молча поглядывал на остальных.

— Все это прекрасно, — буркнул Джо, беспокойно вертясь на стуле и жестами выражая свое нетерпение. — Но если вы считаете, что мне и пикнуть нельзя...

— Молчать, сэр! — рявкнул его отец. — Да, ты должен всегда держать язык за зубами. Когда спросят твое мнение, отвечай. Когда к тебе обратятся, говори. Но если твоего мнения не спрашивают, не высказывай его, молчи! Нет, до чего переменился свет! Мне кажется, теперь совсем нет таких мальчиков, какие были в мое время! Всё только младенцы или взрослые мужчины, а середины нет. Перевелись у нас все мальчики после смерти его величества, короля Георга Второго *.

— Замечание вполне правильное, только не в отношении маленьких принцев, — вступился причетник. Он, как представитель церкви и государства в этом тесном кругу, считал своим долгом проявлять самые горячие верноподданнические чувства. — Если по законам божеским и человеческим мальчик в известном возрасте должен быть мальчиком и вести себя, как мальчик, то и принцы в этом возрасте должны быть мальчиками, иначе быть не может

— Слыхали вы когда-нибудь о русалках, сэр? — спросил мистер Уиллет.

— Ну, разумеется, — ответил причетник.

— Очень хорошо. Так вот, русалки эти самые так созданы, что в той части, в которой они не женщины, они — рыбы. А маленьким принцам, раз они не целиком ангелы, по законам божеским и человеческим в известном возрасте подобает быть мальчиками, поэтому они ими и бывают и ничем иным быть не могут.

Это разъяснение сложного вопроса встречено было такими знаками одобрения, что Джон Уиллет сразу пришел в благодушное настроение и удовольствовался тем, что еще раз приказал сыну молчать. Потом он обратился к незнакомцу:

— Если бы вы свои вопросы задали людям взрослым — мне или кому-нибудь из этих джентльменов, — вы не потратили бы даром слов и были бы удовлетворены. Мисс Хардейл — племянница мистера Джеффри Хардейла.

— А отец ее жив? — спросил незнакомец как будто без всякого интереса.

— Нет, — отвечал Джон. — Не жив и не умер.

— Не умер!

— То есть не умер, как обыкновенно умирают люди, — пояснил хозяин гостиницы.

Его приятели кивнули друг другу, а мистер Паркс, качая головой, словно хотел сказать: «Не возражайте, все равно не соглашусь с вами», вполголоса объявил, что Джон Уиллет сегодня в ударе и мог бы состязаться с самим Главным Судьей *.

Незнакомец, помолчав, спросил отрывисто:

— Что вы хотите этим сказать?

— Больше, чем вы думаете, мой друг, — отозвался Джон Уиллет. — Да, да, в моих словах больше смысла, чем вам кажется.

— Возможно, — сказал незнакомец резко. — Но на кой черт говорить загадками? Сперва вы заявляете мне, что человека нет в живых, но он и не умер. Потом — что он умер не так, как все умирают, и, наконец — что ваши слова означают гораздо больше, чем я подозреваю. Последнее, по правде сказать, очень может статься, по-

тому что я подозреваю, что они ровно ничего не означают. Так что же вы все-таки хотели этим сказать?

— Эту историю, — ответил Джон Уиллет, немного обескураженный грубостью собеседника, — вы услышите только в моей гостинице, ее здесь рассказывают вот уже двадцать четыре года. И ее по праву должен рассказывать только Соломон Дэйзи. Он один всегда ее рассказывал и будет рассказывать в этом доме.

Незнакомец посмотрел на причетника (чей самодовольный и важный вид ясно показывал, что речь идет о нем) и, увидев, что тот вынул трубку изо рта, сделав предварительно долгую затяжку, чтобы она не погасла, и явно собирается, без дальнейших приглашений, начать рассказ, плотнее запахнул свой широкий плащ и отодвинулся подальше; теперь его почти не было видно в темном углу и только временами, когда пламя, выбиваясь из-под большой вязанки хвороста, вспыхивало вдруг ярче, оно освещало на миг его фигуру, которая затем снова погружалась в еще более густой мрак.

В дрожащем свете огня эта комната с массивными балками под потолком и деревянной обшивкой стен казалась выложенной полированным черным деревом; вокруг дома выл ветер и, беснуясь, то стучал щеколдой, то заставлял скрипеть петли прочной дубовой двери, то с силой налетал на оконные рамы, словно хотел вдавить их внутрь. В такой-то располагающей обстановке Соломон Дэйзи начал свой рассказ:

— Мистер Рубен Хардейл, старший брат мистера Джеффри...

Тут он вдруг умолк и молчал так долго, что даже Джон Уиллет потерял терпение и спросил, почему он остановился.

— Кобб, — сказал вполголоса Соломон Дэйзи, обращаясь к почтарю, — какое сегодня число?

— Девятнадцатое.

— А месяц — март, — Соломон наклонился вперед. — Девятнадцатое марта... Как странно!

Все шепотом поддакнули ему, и он продолжал:

— Двадцать два года назад владельцем Уоррена был мистер Рубен Хардейл, старший брат мистера Джеффри.

И, как вам уже сказал Джо... — конечно, ты этого помнить не можешь, Джо, ты слишком молод, но ты не раз слышал это от меня, — усадьба тогда была и гораздо больше, и красивее, и цена ей была не та, что сейчас. У мистера Рубена незадолго перед тем умерла жена, оставив ему дочку, ту самую мисс Хардейл, про которую вы спрашивали у Джо. Ей тогда не было еще и года...

Рассказчик обращался к человеку, так настойчиво расспрашивавшему только что о семье Хардейл, и сделал паузу, словно ожидая возгласа удивления или поощрения, но незнакомец молчал и виду не показывал, что рассказ его интересует. Поэтому Соломон повернулся к своим товарищам, носы которых были ярко освещены красным огнем трубок; в *их* внимании можно было не сомневаться, это он знал по опыту и решил показать незнакомцу, что считает его поведение прямо-таки неприличным.

— Мистер Хардейл, — сказал он, повернувшись спиной к неучтивому слушателю, — после смерти жены уехал из усадьбы, потому что очень тосковал в одиночестве, и несколько месяцев жил в Лондоне. Но и там ему было не легче — так мне думается и так я слышал от людей, — а потому он неожиданно вернулся с дочуркой в Уоррен, и с ним приехали только две служанки, управляющий и садовник...

Мистер Дэйзи сделал паузу, чтобы затянуться, потому что трубка его почти погасла, и через минуту опять заговорил — вначале несколько отрывисто и в нос, так как с наслаждением курил, не отрываясь от трубки, но затем все более внятно:

— Да, значит, привез он двух служанок, управляющего и садовника. Все прочие оставались еще в Лондоне и должны были приехать на другой день... А этой самой ночью у нас в Чигуэлле умер один старик, который давно уже хворал, и в половине первого мне было приказано звонить по усопшему...

Тут в маленькой группе слушателей произошло движение, ясно показывавшее, как неприятно было бы каждому из них отправиться в столь поздний час выполнять подобное поручение. Звонарь это почувствовал и торжественно продолжал свой рассказ:

— Да, жутко мне было, что и говорить, тем более что идти пришлось одному. Могильщик лежал больной — он долго работал на кладбище, стоя в сырой яме, а потом сел пообедать на холодной плите и простудился. В такой поздний час нечего было и думать найти себе в подмогу кого-нибудь другого. Впрочем, во всем этом не было для меня ничего неожиданного. Старик много раз просил, чтобы, когда он умрет, по нем сразу же начали звонить, а его смерти ждали с часу на час. Собравшись с духом, я хорошенько закутался (потому что ночь была ужас какая холодная) и вышел с зажженным фонарем в одной руке и ключом от церкви в другой.

В углу, где сидел незнакомец, послышался шорох — должно быть, он повернулся, чтобы лучше слышать. Соломон поднял брови и, незаметно указав пальцем через плечо, кивнул Джо, безмолвно вопрошая, так ли это. Джо, приставив ладонь к глазам, всмотрелся в угол, но ничего не заметил и отрицательно покачал головой.

— Ночь была точно такая как сегодня: на дворе бушевала настоящая буря, дождь лил как из ведра, а темень была — хоть глаз выколи. Ни до ни после той ночи не видывал я такой кромешной тьмы. А может, мне это казалось... Во всех домах окна были наглухо закрыты ставнями, все люди сидели дома, и, кроме меня, пожалуй только один человек видел, как темно было в ту ночь...

Я вошел в церковь, оставив дверь полуоткрытой и даже закрепив ее цепью, чтобы она не захлопнулась — сами понимаете, у меня не было ни малейшей охоты оказаться запертым в церкви, — поставил фонарь на каменную скамью в том углу, где спущена веревка с колокольни, и присел на минутку, чтобы поправить свечу в фонаре...

Да, сел я, снял нагар со свечи, а все никак не могу решиться встать и приняться за дело. Уж не знаю почему, мне пришли на память все рассказы о привидениях, какие я слышал в своей жизни, даже те, что слышал еще мальчишкой, когда учился в школе, и давным-давно позабыл. И всплыли они у меня в памяти не один за другим, а все разом. Вспомнилось мне и наше деревенское поверье, будто бывает одна такая ночь в году (как знать, может, это и была та ночь), когда все покойники выходят из-под земли и сидят до утра на собственных могилах.

Вот, думаю, столько людей, которых я знавал, похоронены здесь на погосте, между церковью и воротами, и как было бы страшно пройти мимо них и узнать все эти мертвые, изменившиеся в земле лица. Мне были с детства хорошо знакомы каждая ниша, каждая арка в церкви, но в ту ночь я не мог убедить себя, что вижу на полу только их тени. Мне чудились какие-то жуткие фигуры, они словно прятались и выглядывали оттуда по временам. Тут еще подумал я о джентльмене, умершем этой ночью, и когда поднял глаза на темный алтарь, то готов был поклясться, что неподалеку от него вижу старика на обычном месте: он кутался в саван и дрожал словно от холода. Время шло, а я все сидел и прислушивался, еле дыша от страха. Наконец я решился встать и взял в руки веревку. И в этот самый миг раздался звон колокола — но не церковного колокола у меня над головой, потому что я едва успел притронуться к веревке, а какого-то другого!..

Да, я ясно слышал звон колокола, громкий, густой, но только одно мгновение, потом ветер отнес его куда-то в сторону. Я долго еще вслушивался, но все было тихо...

Мне доводилось слышать о призрачных свечках, которые загораются на могилах, — и вот я, вспомнив это, в конце концов убедил себя, что, наверное, слышал призрачный колокол, который сам по себе звонит в полночь по умершим. Я принялся звонить в свой колокол — не помню уже, как и сколько времени я звонил. А потом со всех ног побежал домой и залег в постель.

Не сомкнув глаз всю ночь, я на другое утро встал рано и рассказал обо всем соседям. Одни слушали меня внимательно, другие — нет, но вряд ли кто-нибудь поверил, что так было на самом деле. Однако в то же утро мистера Рубена Хардейла нашли в его спальне убитым, и в руке у него был зажат обрывок веревки, протянутой из спальни к сигнальному колоколу на крыше. Веревку, должно быть, перерезал убийца, когда мистер Хардейл ухватился за нее.

Этот-то колокол я и слышал ночью!

Ящик стола в спальне оказался взломанным, из него пропала шкатулка с деньгами, привезенная покойным мистером Хардейлом из Лондона, — в ней, как предпола-

гали, были большие деньги. И управляющий и садовник исчезли. Обоих долгое время подозревали в убийстве, и сколько их ни разыскивали, так и не нашли. Бедного мистера Раджа, управляющего, могли бы еще долго искать без толку: много месяцев спустя его труп, который с трудом опознали — только по одежде, часам и перстню, — был найден на дне пруда, в парке, с глубокой ножевой раной в груди. Он был полуодет, и люди подумали, что он, должно быть, еще не ложился и читал у себя в комнате, когда на него напали и убили его. В его комнате было много кровавых следов.

После этого уже никто не сомневался, что убийца — садовник. До нынешнего дня о нем ни слуху ни духу, но, помяните мое слово, мы еще о нем услышим. Преступление было совершено ровно двадцать два года назад, день в день, девятнадцатого марта тысяча семьсот пятьдесят третьего года. И когда-нибудь — не знаю, в каком году, но непременно девятнадцатого марта... потому что — странное дело! — всегда именно в этот день что-нибудь напоминает нам ту старую историю — рано или поздно, девятнадцатого марта убийца будет найден.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Да, удивительный случай, — сказал человек, для которого предназначался этот рассказ. — И еще удивительнее будет, если ваше предсказание исполнится. Ну, и это все?

Столь неожиданный вопрос немало уязвил Соломона Дэйзи. Он так часто рассказывал эту историю со всякими прикрасами (как утверждала деревенская молва), порой подсказанными ему различными слушателями, что достиг настоящего совершенства. И вдруг после эффектного конца услышать такой вопрос! Нет, к этому Соломон Дэйзи не привык.

— Все ли? — повторил он. — Да, сэр, все. И, думаю, этого совершенно достаточно.

— Я тоже так думаю. Мою лошадь, молодой человек! Этой кляче, которую я нанял на придорожной почтовой станции, придется сегодня довезти меня до Лондона.

— Сегодня! — ахнул Джо.

— Да, сегодня. Ну, чего глаза выпучил? Право, в этом трактире сходятся, должно быть, все зеваки и бездельники здешних мест!

При таком явном намеке незнакомца на тот обстрел испытующими взглядами, которому он подвергался в начале вечера, Джон Уиллет и его приятели с поразительной быстротой снова устремили глаза на медный котел. Но не так повел себя Джо. Он был парень горячий и смелый и, стойко выдержав гневный взгляд незнакомца, возразил:

— Не велика дерзость — спросить, как вы решаетесь ехать в такую ночь. Этот безобидный вопрос вам, наверное, задавали в других гостиницах и в лучшую погоду. Я думал, что вам дорога незнакома, — ведь вы, как видно, нездешний.

— Что такое? Дорога? — переспросил незнакомец сердито.

— Да. А разве вы знаете ее?

— Гм... Найду, не беспокойся, — незнакомец махнул рукой и повернулся спиной к Джо. — Хозяин, получите с меня!

Джон Уиллет с готовностью откликнулся на это предложение — в таких случаях он бывал достаточно расторопен и медлительность проявлял, только когда давал сдачу или предусмотрительно проверял каждую полученную монету, пробуя ее на зуб, на язык или еще каким-либо способом, а в сомнительных случаях подвергая ее целому ряду испытаний, которые обычно кончались отказом ее принять.

Расплатившись, посетитель поплотнее запахнул плащ, чтобы как можно лучше защититься от непогоды, и не простясь с присутствующими ни словом, ни кивком, вышел во двор. Здесь его уже дожидался Джо, укрывшись вместе с лошадью под ветхим навесом.

— Она, кажется, вполне согласна со мной, — сказал он, трепля лошадь по шее. — Держу пари, что, если бы

вы решили ночевать здесь, ее это порадовало бы больше, чем меня.

— Мы с ней и тут не сходимся во мнениях, как было не раз и по дороге сюда, — отрывисто сказал незнакомец.

— Я так и подумал только что, дожидаясь вас. Видно, бедная лошадка отведала-таки ваших шпор.

Незнакомец, не отвечая, поднял воротник, закрыв им лицо до половины.

— Ты, я вижу, хочешь меня получше запомнить, чтобы узнать в другой раз, — сказал он, уже сидя в седле, как бы в ответ на пытливый взгляд Джо.

— Как не запомнить человека, который отказывается от удобного ночлега и в такую ночь решается ехать по незнакомой дороге на загнанной лошади.

— У тебя, парень, как я вижу, не только глаз, но и язык острый.

— Может, и так. Да только он ржавеет от недостатка упражнений.

— Советую тебе глаза тоже упражнять поменьше. Прибереги их, чтобы перемигиваться с девчонками, — сказал незнакомец.

Он вырвал поводья из рук Джо, с силой ударил его по голове рукояткой хлыста и пустился вскачь.

Он мчался по грязной и темной дороге с такой бешеной скоростью, с какой ни один всадник не отважился бы скакать на дрянной лошаденке даже по хорошо знакомой местности, а того, кто совершенно не знал этой дороги, здесь на каждом шагу подстерегали неожиданные препятствия и опасности.

В те времена дороги даже в каких-нибудь десяти милях от Лондона мостились очень плохо, чинились редко и были в прескверном состоянии. Та, по которой пустился незнакомец, была изрыта колесами тяжелых фургонов и сильно попорчена сменявшими друг друга морозами и оттепелями прошедшей зимы, а может быть, и многих зим. Все ямы и рытвины во время недавних дождей наполнились водой и поэтому даже днем были издали не очень заметны: провалившись в такую яму, не устояла бы на ногах и лошадь покрепче той несчастной клячи, которая сейчас из последних сил мчалась вперед, подгоняемая всадником. Из-под ее копыт летели острые камни

и галька. В темноте путешественник различал перед собой только голову своей клячи, а по сторонам мог видеть не дальше протянутой руки. К тому же все дороги в окрестностях столицы в те времена кишели разбойниками и грабителями, а в такую ночь они спокойно могли заниматься своим преступным ремеслом, не боясь, что их поймают.

Тем не менее ездок мчался вперед тем же галопом. Казалось, все ему нипочем — грязь, поливавший его дождь, непроглядная темнота и опасность наткнуться на каких-нибудь отчаянных головорезов. На каждом повороте или изгибе дороги, даже там, где таких поворотов менее всего можно было ожидать, а увидеть — только когда наткнешься на них, всадник твердой рукой натягивал поводья и держался все время середины дороги. Он летел все дальше, приподнявшись на стременах, наклонясь вперед так низко, что почти касался грудью шеи коня, и как бешеный махал над головой тяжелым хлыстом.

Когда разбушуются стихии, люди, склонные к дерзким предприятиям или волнуемые смелыми замыслами, добрыми или дурными, ощущают порой какую-то таинственную близость с мятежной стихией и приходят в такое же неистовство. Немало страшных дел свершалось под рев бури и при блеске молний — люди, ранее владевшие собой, вдруг давали волю страстям, которых не могли больше обуздать. Демоны ярости и отчаяния, владеющие человеком, стремятся тогда превзойти тех, которые повелевают бурями и вихрями, и человек, доведенный до безумия воем урагана и шумом бурлящих вод, становится в эти часы столь же буйным и беспощадным, как сами стихии.

Бурная ли ночь горячила мысли путника и гнала его вперед, или у него были веские причины спешить к цели, но он несся не как человек, а как гонимый дух, и не умерял галопа до тех пор, пока на каком-то скрещении дорог не наткнулся на встречную повозку — да так внезапно, что, пытаясь избежать столкновения, осадил лошадь на всем скаку, а сам чуть не вылетел из седла.

— Эй! — крикнул мужской голос. — Что такое? Кто это там?

— Друг, — отвечал ездок.

— Друг? — повторил голос. — Что это за друг, который мчится, не жалея божьей твари и рискуя сломить шею не только себе, — это бы еще, может, с полбеды, — но и другим людям!

— У вас, я вижу, есть фонарь, — сказал всадник, сойдя с лошади, — дайте-ка его сюда на минутку! Кажется, вы ушибли мою лошадь колесом или оглоблей.

— Ушиб! — воскликнул мужчина в повозке. — Ваше счастье, что она не убита! С какой это стати вы мчитесь, как бешеный, по проезжей дороге?

— Дайте огня, — буркнул всадник, вырывая фонарь из рук говорившего, — и не приставайте с пустыми вопросами, я не расположен болтать с вами.

— Жаль, что я не знал этого раньше — тогда, может, и я был бы нерасположен светить вам, — отозвался голос из повозки. — Впрочем, пострадали не вы, а бедная лошадка, так что я охотно предоставляю фонарь для того из вас, кто не кусается.

Всадник, не отвечая, поднес фонарь к лошади, которая тяжело дышала и была вся в мыле, и принялся осматривать ее ноги и брюхо. А второй путешественник тем временем спокойно сидел в своем экипаже (представлявшем собой нечто вроде коляски с багажником, в котором лежала большая сумка с инструментами) и внимательно наблюдал за ним.

Наблюдатель этот был плотный, дюжий и краснолицый мужчина с двойным подбородком и хрипловатым голосом, свидетельствовавшим о хорошей жизни, хорошем сне, веселом нраве и крепком здоровье. Он был уже далеко не молод, но Время не ко всем бывает жестоко. Хоть оно и не дает отсрочки никому из детей своих, но рука его легко и бережно касается тех, кто пользовался им умело. Неумолимо превращая и их в стариков и старушек, оно оставляет им молодое, полное сил сердце и ясный ум. У таких людей седина — лишь как бы след благословляющей руки старого Отца-Времени, и каждая морщина — только пометка в мирной летописи хорошо прожитой жизни.

Человек, с которым неожиданно столкнулся наш путешественник, был именно такой старик, прямодушный,

сердечный, энергичный и бодрый, в мире с самим собой и готовый быть в мире со всеми. Под всякой одеждой и платками (один из них был надет на голову и ловко завязан под складкой двойного подбородка для того, чтобы ветер не сорвал треугольной шляпы и круглого парика) угадывалось полное и крепкое тело. И даже следы грязи придавали его лицу только забавно-комичное выражение, ничуть не мешая ему сиять добродушной веселостью.

— У нее ничего не повреждено, — сказал через несколько минут путешественник, поднимая одновременно и голову и фонарь.

— Наконец-то вы убедились в этом, — отозвался старик в коляске. — Мои глаза дольше ваших смотрят на мир божий, однако я бы не поменялся с вами.

— Что такое?

— А то, что я еще пять минут назад мог бы сказать вам, что лошадь ваша цела и невредима. Давайте-ка сюда фонарь, приятель, да поезжайте себе, только потише. Прощайте.

Незнакомец протянул ему фонарь, и при этом свет упал прямо на лицо старика. Глаза обоих мужчин встретились — и в тот же миг незнакомец вдруг уронил фонарь на землю и разбил его ногой.

— Вы что, никогда в жизни не видели слесаря? Чего испугались, будто черта встретили? — воскликнул старик в коляске. — Или это только фокус, чтобы в темноте ограбить меня? — добавил он, торопливо сунув руку в мешок с инструментами и вытаскивая оттуда молоток. — Я эти дороги знаю, приятель, и когда езжу по ним, беру с собой не больше кроны. Говорю вам прямо, чтобы избавить нас обоих от лишних хлопот, — ничего у меня нет, кроме вот этой руки, достаточно сильной для моего возраста, да молотка, которым я после стольких лет работы орудую довольно-таки проворно. Предупреждаю — не суйтесь лучше ко мне, ничего у вас не выйдет.

С этими словами слесарь приготовился защищаться.

— Я не такой человек, как вы думаете, Гейбриэл Варден, — возразил незнакомец.

— Ну тогда кто же вы такой? — спросил слесарь. — Вы, я вижу, знаете мое имя, так назовите мне свое.

— Мне ваше имя известно, потому что надпись на вашей повозке возвещает его всему Лондону, — возразил путешественник.

— Эге, зрение-то у вас острее, чем я думал, когда вы осматривали лошадь, — сказал Варден, проворно вылезая из коляски. — Кто же вы все-таки? Дайте-ка на себя взглянуть!

Прежде чем он успел сойти, незнакомец уже вскочил в седло и смотрел на старого слесаря сверху, а тот, лавируя вокруг лошади, которая не стояла на месте, потому что ее горячили туго натянутые поводья, упорно придвигался поближе.

— Дайте мне взглянуть на вас, слышите?

— Отойдите!

— Нет, вы эти маскарадные штучки бросьте! Не желаю, чтобы завтра в клубе болтали, будто Гейбриэл Варден испугался сердитого голоса в темноте. Стоп, дайте на себя взглянуть!

Видя, что дальнейшее сопротивление неизбежно кончится схваткой с далеко не слабым противником, ездок отогнул воротник плаща и, наклонясь с лошади, в упор посмотрел на слесаря.

Вряд ли когда-либо стояли друг против друга два столь разных человека. Рядом с румяным лицом слесаря еще более поражала бледность всадника, так что он казался каким-то бесплотным духом, и после бешеной скачки пот выступил на его лбу крупными темными каплями, как от сильной боли или в предсмертной агонии. Слесарь весело улыбался, ожидая, что сейчас увидит плутовское выражение в глазах или на губах этого грубияна, узнает в нем кого-нибудь из знакомых, вздумавшего ловко подшутить над ним, и сразу испортит ему все удовольствие. Но вместо этого он увидел угрюмое, свирепое и вместе испуганное лицо затравленного человека, готового отчаянно защищаться. Крепко сомкнутые челюсти и сжатый рот, а более всего — подозрительное движение руки под плащом указывали на опасные намерения, весьма далекие от невинных шуток и притворства.

С минуту оба молча смотрели друг на друга.

— Нет, — сказал слесарь, пристально вглядываясь в лицо всадника, — я вас не знаю.

— И не хотите познакомиться? — спросил тот, снова закрывая лицо воротником плаща.

— Не хочу, — подтвердил Гейбриэл. — По правде сказать, ваша физиономия — плохая рекомендация для вас.

— А мне это на руку, — отозвался незнакомец. — Я как раз и хочу, чтобы люди меня сторонились.

— Ну, что ж, — сказал слесарь с грубоватой прямотой. — Думаю, вы этого легко добьетесь.

— Добьюсь во что бы то ни стало. И хорошенько запомните то, что я вам скажу: никогда еще ваша жизнь не была в такой опасности, как только что. За пять минут до смерти вы будете не так близки к ней, как были сегодня.

— Вот как! — сказал неунывающий слесарь.

— Да, да. Насильственной смерти.

— От чьей же руки?

— От моей, — отвечал всадник.

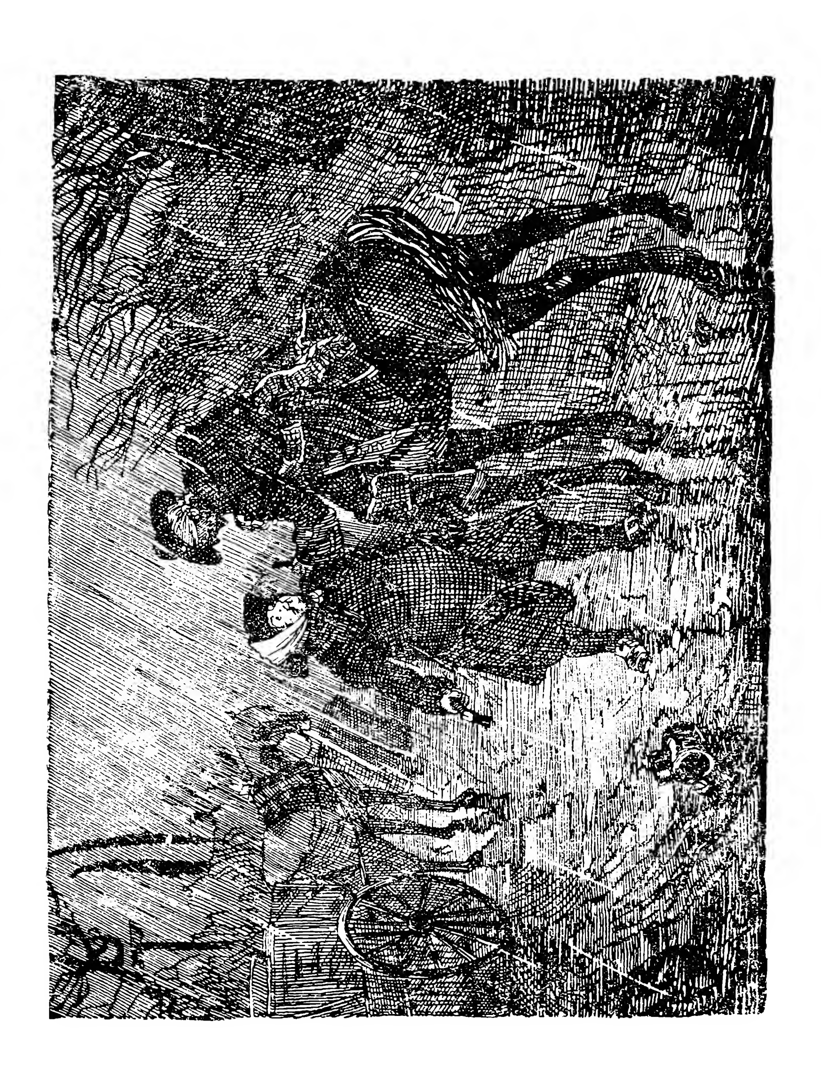
С этими словами он пришпорил лошадь и поехал прочь сначала рысью, глухо шлепая по грязи, потом все быстрее и быстрее, пока, наконец, стук копыт не замер вдали, унесенный ветром. Он продолжал свой путь тем же бешеным аллюром, каким мчался и до встречи со слесарем.

А Гейбриэл Варден стоял на дороге с разбитым фонарем в руке и ошеломленно прислушивался. Только когда затихло все и одни лишь жалобы ветра да частый плеск дождя нарушали безмолвие ночи, он, чтобы встряхнуться, сильно ударил себя раз-другой в грудь и с удивлением воскликнул:

— Чудеса, да и только! Кто бы он мог быть? Сумасшедший? Грабитель? Разбойник с большой дороги? Не ускачи он так быстро, мы бы еще посмотрели, кому бы солоно пришлось, ему или мне! «Никогда вы не были так близки к смерти, как сегодня», — скажите пожалуйста! А я надеюсь, что и лет через двадцать буду так же далек от нее, как сегодня. Дай-то бог, чтобы не ближе! Господи помилуй, ну и нахал — хвастать так перед человеком, нетрусливым и крепким! Тьфу!

Гейбриэл влез в свою коляску и, в раздумье озирая дорогу, откуда приехал незнакомец, бормотал про себя:

— «Майское Древо»... Гм... До него отсюда две мили...



Я нарочно поехал из Уоррена кружным путем, хотя и устал — ведь целый день чинил там замки и звонки... И только затем выбрал эту дорогу, чтобы не проезжать мимо «Майского Древа», — ведь я дал слово Марте не заглядывать туда... А мое слово твердо... Но как же теперь быть? Ехать дальше в Лондон без фонаря опасно, а до первого постоялого двора на этой дороге еще добрых четыре мили, а то и четыре с половиной. И как раз тут-то больше всего и нужен фонарь... А до «Майского Древа» всего две мили! Я слово дал... так что же? Сказал, что не заеду — и не заехал. Мое слово твердо!

Неустанно повторяя эти три слова, словно ранее проявленная им стойкость могла оправдать слабость, которую он проявлял сейчас, Гейбриэл Варден преспокойно повернул обратно, решив заехать в «Майское Древо» за фонарем — и только.

Однако, когда он подъехал к гостинице и Джо, услыхав хорошо знакомый оклик, мигом выбежал к нему навстречу, оставив дверь настежь, а за этой дверью открылась заманчивая картина, сулившая тепло и веселье, и красный блеск огня, струившийся сквозь ветхие шторы, казалось, донес до него приятное жужжанье голосов, благоухание дымящегося грога и превосходного табака; когда на шторе замелькали тени, признак того, что в комнате все встали со своих мест, чтобы освободить для желанного гостя самое уютное местечко в углу (ах, как хорошо наш слесарь знал это местечко!), и вспыхнувший вдруг за окном яркий свет сказал ему, что в камине пылает и трещит доброе полено, как бы в честь его прибытия посылая вверх сверкающий сноп искр; когда, в довершение всех этих соблазнов, из дальней кухни коварно донеслось шипение мяса на сковороде, мелодичное звяканье тарелок и мисок, и запахи столь аппетитные, что даже буйный ветер благоухал ими, — Гейбриэл почувствовал, что его мужество быстро улетучивается. Он пытался проявить стоическую суровость, но лицо его невольно расплывалось в блаженную улыбку. Он обернулся назад, и холодная черная пустыня глянула на него враждебно, словно отталкивала его и гнала в гостеприимные объятия «Майского Древа».

— Добрый человек и свою скотинку жалеет, — сказал слесарь. — Так что, Джо, я, пожалуй, войду ненадолго.

И как было не войти! Как нелепо было бы степенному и разумному человеку тащиться до потери сил по грязным дорогам, под резким ветром и проливным дождем, когда здесь был чистый пол, посыпанный хрустящим белым песком, жаркий огонь в хорошо вычищенном камине, здесь ждал его стол, накрытый белой скатертью, блестящие оловянные кружки и другие заманчивые предвестники хорошего ужина, и тут же дружная компания, готовая отдать честь этому ужину и разделить с вновь прибывшим гостем все удовольствия!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Так думал наш слесарь, усевшись в уютном уголке, пока понемногу проходила боль в глазах от резкого ветра. Боль эта была даже приятна мистеру Вардену, ибо, когда у человека так болят глаза, благоразумие и долг перед самим собой требуют, чтобы он укрылся где-нибудь от непогоды. Из тех же соображений он все время усиленно покашливал и во всеуслышание заявлял, что ему порядком нездоровится. Те же мысли занимали его и час спустя, когда ужин кончился, и он с веселой и лоснящейся физиономией опять сидел в теплом углу, слушая трещавшего, как сверчок, коротышку Дэйзи и сам принимая в беседе у камелька участие немаловажное, — его мнения выслушивались с полным уважением.

— Дай бог, чтобы он оказался честным человеком, вот все, что я могу сказать, — говорил Соломон Дэйзи, подводя итог множеству различных предположений насчет незнакомца, о котором и Гейбриэл сообщил кое-что, вызвав этим серьезное обсуждение. — Да, желал бы я, чтобы он оказался честным человеком.

— И мы все желали бы этого, не так ли? — заметил слесарь.

— Только не я, — возразил Джо.

— Не ты? — воскликнул слесарь.

— Нет. Этот подлый трус ударил меня хлыстом,

пользуясь тем, что он сидел на лошади, а я стоял. Я был бы больше рад, если бы он оказался тем, кем я его считаю.

— А кем ты его считаешь, Джо?

— Негодяем, мистер Варден. Да, да, отец, качай головой, сколько угодно, а я повторяю: он негодяй. И готов бы повторить это еще сто раз, если бы этим мог вернуть его сюда, чтобы он получил от меня заслуженную трепку.

— Придержите язык, сэр! — сказал Джон Уиллет.

— Не буду молчать, отец! Ты один виноват в том, что он посмел ударить меня. Ты при нем обходился со мной, как с мальчишкой, одергивал меня, словно дурачка, — вот он и позволил себе наброситься на человека, у которого, как он думал, нет ни капли гордости. Да и почему ему было не подумать так? Но он ошибся, я ему когда-нибудь еще докажу это, и очень скоро докажу всем вам.

— Этот мальчишка сам не знает, что говорит! — воскликнул пораженный Джон Уиллет.

— Нет, отец, я знаю, что говорю, — возразил Джо. — И я всегда слушаю тебя внимательно — а ты меня слушать не хочешь. От тебя я многое готов снести, но с презрением других людей не могу мириться, а ты унижаешь меня перед ними каждый день. Посмотри на других парней моих лет. Разве они лишены своей воли, свободы, права говорить? Разве они обязаны сидеть, как истуканы, не смея пикнуть? Разве ими помыкают так, что они становятся всеобщим посмешищем? Да ведь я во всем Чигуэлле стал притчей во языцех! Так вот, я тебе прямо говорю, отец, — честнее будет сказать это сейчас, чем ждать, пока ты умрешь и мне достанутся твои деньги: не сегодня-завтра я не выдержу и уйду из-под твоей власти, а тогда уже вини не меня, а себя, одного себя.

Смелость и ожесточение сына до того потрясли Джона Уиллета, что он сидел как пришибленный, бессмысленно глядя на котел, и тщетно старался собрать свои неповоротливые мысли и придумать достойный ответ. Гости, удивленные, пожалуй, не меньше хозяина, тоже были в большом замешательстве. В конце концов они встали и собрались уходить, бормоча какие-то невнятные утешения и советы. Мозги их к этому времени были уже слегка отуманены грогом.

Один только славный слесарь обратился к обеим сторонам со словами связными и разумными. Он напомнил отцу, что Джо уже не мальчик, а почти взрослый мужчина, и не следует держать его в ежовых рукавицах, сыну же посоветовал терпеливо сносить отцовские причуды и стараться воздействовать на него спокойными уговорами, а не такими неуместными наскоками. Советы слесаря были приняты так, как всегда принимаются подобные советы. На Джона Уиллета они повлияли не больше, чем на столб у входа в его гостиницу, а Джо выслушал их, правда весьма дружелюбно, и не находил слов, чтобы выразить советчику свою признательность, однако деликатно намекнул ему, что намерен все-таки идти своим путем и никто его с этого пути не собьет.

— Вы всегда были мне добрым другом, мистер Варден, — сказал он, когда оба они сошли с крыльца и слесарь стал снаряжаться в обратный путь. — И я очень вам благодарен за участие. Но, видно, пора мне расстаться с «Майским Древом».

— Кому на месте не сидится, тот добра не наживет, Джо. Знаешь пословицу: «Если камень катится, он мхом не обрастет»?

— Да и дорожный столб тоже мхом не обрастает, хоть и торчит всегда на одном месте. А я здесь торчу вроде такого столба и ничего на свете не вижу.

— Что же ты намерен делать, Джо? — сказал слесарь, задумчиво потирая подбородок. — Чем ты хотел бы заняться? Подумай хорошенько — куда ты пойдешь?

— Попытаю счастья, мистер Варден. Авось повезет.

— Везение — ненадежная штука, Джо. Вот уж не люблю, когда люди надеются на него! Я всегда говорю дочке, когда мы толкуем о ее будущем замужестве: не надейся, что повезет, убедись сперва, что парень будет добрым и верным мужем, — а тогда ничего не страшно... Чего ты там копаешься, Джо? С упряжью что-нибудь неладно?

— Нет, нет, — отвечал Джо, но продолжал усердно возиться с хомутом и ремнями и, казалось, был весь поглощен этим занятием. — А что мисс Долли, здорова?

— Спасибо, она молодцом. Выглядит хорошо, значит здорова. И все такая же славная девочка.

— Это вы верно говорите, сэр: она и собой хороша и добра.

— Да, да, слава богу.

— Сэр, — начал Джо немного нерешительно, — надеюсь, вы не станете рассказывать про этот обидный для меня случай... ну, что меня побили, как мальчишку... По крайней мере ничего не говорите, пока я не встречусь опять с этим человеком и не расквитаюсь с ним. *Тогда* будет о чем порассказать!

— Да что ты! Кому же я стану рассказывать о таких вещах? — возразил Варден. — Здесь уже все знают, а в другом месте вряд ли кому это будет интересно.

— Да, правда ваша, — со вздохом согласился молодой человек. — Я об этом не подумал.

Говоря так, Джо поднял голову (лицо его было красно — вероятно, от напряжения, с которым он застегивал ремни и пряжки), передал вожжи старому слесарю, успевшему уже сесть в коляску и, снова вздохнув, пожелал ему доброго пути.

— Прощай, Джо. Да подумай хорошенько о том, что я тебе сказал. Не делай ничего сгоряча, голубчик. Ты парень хороший, жаль, если пропадешь. Будь здоров!

Ответив с величайшей сердечностью на эти ободряющие прощальные слова, Джо Уиллет постоял еще, пока не затих стук колес, потом, уныло покачав головой, вошел в дом.

А Гейбриэл Варден ехал в Лондон, размышляя о множестве вещей, но более всего — о том, как бы получше расписать свое дорожное приключение, чтобы удовлетворительно объяснить миссис Варден, почему он заехал в «Майское Древо», несмотря на торжественное обещание, данное им этой даме. А результатом размышлений бывают не только новые идеи, но иногда и дремота. И чем дольше размышлял наш слесарь, тем сильнее его клонило ко сну.

Человек может быть совершенно трезв — или по крайней мере твердо стоять на грани между полной трезвостью и легким опьянением, но и в таком состоянии иногда путать действительность с тем, что ему мерещится, и смешивать все представления о людях, вещах, времени и месте; в такие минуты беспорядочные мысли в его голове

теснятся, точно в калейдоскопе, образуя сочетания столь же неожиданные, как и мимолетные.

Именно в таком состоянии был Варден, когда, клюя носом, ехал в Лондон, предоставив своей лошади трусить по хорошо знакомой дороге и незаметно для себя все более приближаясь к дому. Он проснулся только раз, когда лошадь остановилась у заставы, пока поднимали шлагбаум, и зычным голосом крикнул «здорово!» сборщику дорожной пошлины. Перед этим внезапным пробуждением ему мерещилось, что он пробует открыть замок в брюхе Великого Могола *, и, даже проснувшись уже, он со сна принял сборщика у шлагбаума за свою тещу, умершую двадцать лет назад. Не удивительно, что его скоро опять сморил сон, и он трясся в своей коляске, не сознавая, что едет дальше.

Слесарь наш уже подъезжал к огромному городу, который лежал впереди черной тенью, и неподвижный воздух над ним был пронизан тускло-красными отсветами, напоминавшими о лабиринтах улиц, о лавках и мастерских, о толпах озабоченно спешащих куда-то людей. Но чем ближе к городу, тем нимб его все более тускнел и постепенно глазам представали самые источники этого красноватого сияния. Уже можно было смутно различить линии слабо освещенных улиц, кое-где пересеченные ярким пятном там, где фонари кольцом окружали площадь, рынок или какое-нибудь большое здание; потом уже ясно стали видны и улицы и желтоватые круги фонарей, которые меркли один за другим, заслоненные строениями; потом стали слышны и голоса Лондона — бой башенных часов, отдаленный лай собак, стук экипажей; потом замаячили в воздухе высокие шпили, а ниже теснились крыши разной высоты под грузом дымовых труб. Звуки становились громче, явственнее, а контуры зданий — отчетливее и еще многочисленнее, и вот, наконец, во мраке встал Лондон, освещенный не светом неба, а собственным слабым светом.

Слесарь, все еще в полусне, продолжал трястись в своей коляске, не сознавая, что до города уже рукой подать, как вдруг громкий крик впереди заставил его встрепенуться. С минуту он озирался в недоумении, как человек, перенесенный во время сна в какую-то неведомую

страну, но затем, узнав давно знакомые места, лениво протер глаза — и, вероятно, уснул бы опять, но крик повторился не раз, не два, а много раз, и звучал он все отчаяннее. Окончательно встряхнувшись, Гейбриэл, человек не робкого десятка, тотчас же погнал свою крепкую лошадку в том направлении, откуда доносились крики, с такой быстротой, словно дело шло о жизни или смерти.

Случай, по-видимому, был и в самом деле серьезный. Подъехав к месту, откуда слышались крики, Варден увидел какого-то человека, распростертого на дороге без признаков жизни; над ним стоял другой и, в диком возбуждении размахивая факелом, не переставал звать на помощь, — его-то крики и привлекли сюда Гейбриэла Вардена.

— Что тут такое? — спросил он, вылезая из коляски. — Чем я могу... Как, это ты, Барнеби?

Человек с факелом откинул свесившиеся ему на лоб длинные волосы и, стремительно приблизив лицо к самому лицу слесаря, уставился на него. По выражению его глаз легко было прочесть его историю.

— Узнаешь меня, Барнеби? — спросил Варден.

Тот быстро закивал головой. Он проделал это раз двадцать с каким-то неестественным воодушевлением и вертел бы головой целый час, если бы слесарь, предостерегающе подняв палец и строго посмотрев на него, не заставил его успокоиться. Затем Варден с вопросительным видом указал на лежащего.

— На нем кровь, — сказал Барнеби, содрогаясь, — я не могу на нее смотреть, мне худо...

— А откуда она взялась? — спросил Варден.

— Сталь, сталь, сталь! — исступленно прокричал Барнеби и взмахнул рукой, подражая удару шпаги.

— Его ограбили? — спросил слесарь.

Барнеби схватил его за плечо и утвердительно кивнул, затем указал в сторону города.

— Ага, понимаю — разбойник убежал туда? — промолвил Варден и, нагибаясь к неподвижному телу на мостовой, оглянулся на Барнеби, в бледном лице которого было что-то странное: его не озарял свет разумной мысли.

— Ладно, ладно, не думай о нем сейчас. Посвети-ка мне... Нет, подальше факел... вот так! А теперь стой смирно, я погляжу, куда он ранен.

Он стал внимательно осматривать неподвижное тело, а Барнеби, держа факел так, как ему было приказано, следил за ним молча, с участием или любопытством, но в то же время с каким-то сильным и тайным ужасом, от которого каждая жилка в нем дрожала.

Когда он стоял так, то отшатываясь назад, то наклоняясь поближе, его лицо и вся фигура, ярко освещенные факелом, видны были как среди бела дня. Это был юноша лет двадцати трех, высокий, очень худой, но крепкого сложения. Его густые и длинные рыжие волосы висели в беспорядке вдоль щек, падали на плечи и в сочетании с бледностью и стеклянным блеском больших выпуклых глаз придавали что-то дикое его лицу, ежеминутно менявшему выражение. Черты его были красивы, и что-то страдальческое сквозило в этом изнуренном и сером лице. Но живой человек, лишенный разума, — страшнее, чем мертвец, а несчастный юноша был лишен этого самого высокого и прекрасного из человеческих свойств.

Одежда на нем была зеленого цвета, безвкусно разукрашенная галуном, нашитым, вероятно, им самим, ярким в тех местах, где сукно особенно износилось и засалилось, и потертым там, где сукно сохранилось лучше. Шея его была почти обнажена, зато на руках болтались дешевые кружевные манжеты. Шляпа была украшена пучком павлиньих перьев, сломанных, истрепанных и уныло свисавших на спину. На боку у него торчал железный эфес старой шпаги без клинка и ножен. Какие-то разноцветные обрывки лент и жалкие стеклянные побрякушки довершали шутовской наряд. Это пестрое тряпье было в полном беспорядке и не меньше, чем его порывистые и нескладные манеры, обличало умственное расстройство, еще сильнее подчеркивая бросавшееся в глаза безумное выражение лица.

— Барнеби, — сказал слесарь после поспешного, но тщательного осмотра, — он не убит, но у него в боку рана, и он без сознания.

— А я его знаю, знаю! — воскликнул Барнеби, хлопая в ладоши.

— Знаешь?

— Тсс! — Барнеби приложил пальцы к губам. — Он сегодня ездил свататься. Я даже за блестящую гинею не согласился бы на его месте опять ехать, потому что тогда чьи-то глаза затуманятся, а теперь они блестят, как... Смотрите-ка, стоило мне заговорить про глаза, и на небо выходят звездочки! А звезды — чьи это глаза? Если глаза ангелов, так почему же они смотрят вниз, видят, как обижают хороших людей, — и только подмигивают да весело играют всю ночь до утра?

— И что этот дурачок болтает, господи прости! — пробормотал озабоченный Варден. — Откуда ему знать этого джентльмена? А ведь мать его живет тут неподалеку, — может, она мне скажет, кто это. Барнеби, дружок, помоги-ка уложить его в мою коляску, и едем вместе домой.

— Не могу! Я ни за что до него не дотронусь, — крикнул помешанный, отскочив и дрожа как в лихорадке. — На нем кровь!

— Да, ведь этот страх у него с самого рождения, — буркнул слесарь себе под нос, — и грешно его заставлять... Но одному мне не справиться... Барнеби, дружок, если ты этого джентльмена знаешь и не хочешь, чтобы он умер и чтобы умерли с горя все, кто его любит, помоги мне его поднять и уложить в коляску.

— Тогда прикройте его, закутайте хорошенько, чтобы я не видел *ее* и не слышал *ее* запаха... И не говорите этого слова вслух. Не говорите!

— Ну, ну, не буду!.. Вот видишь, я его всего укрыл. Поднимай, только тихонько... Вот так, молодец!

Они вдвоем без труда перенесли раненого, так как Барнеби был силен и полон энергии. Но, помогая слесарю, он дрожал всем телом и, видимо, испытывал такой дикий ужас, что Вардену было мучительно жаль его.

Уложив раненого, Варден снял с себя пальто и укрыл его, после чего они быстро поехали дальше. Повеселевший Барнеби считал звезды, а слесарь в душе поздравлял себя с этим новым приключением, — если и оно не заставит миссис Варден хотя бы сегодня ночью помолчать насчет «Майского Древа», значит за женщин никогда ручаться нельзя!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В почтенном предместье Клеркенуэле (когда-то это было предместье), в той стороне, что ближе к Картезианскому монастырю *, есть прохладные тенистые улицы, которые лишь кое-где еще сохранились в таких старых кварталах нашей столицы. Здесь каждое жилище подобно немощному старичку, давно ушедшему на покой и тихо доживающему свой век, — стоит себе и дремлет, пока не свалится, уступив место молодому наследнику, легкомысленному расточителю, щеголяющему лепными украшениями и суетной роскошью нынешних времен. В таком-то квартале и на такой улице происходило то, о чем рассказывается в этой главе.

В то время, когда это происходило, — а было это всего только шестьдесят шесть лет назад, — большей части нынешнего Лондона еще не существовало. Даже самым необузданным фантазерам и мечтателям и не снились еще в ту пору ни длинные ряды улиц, ныне соединяющих Хайгет * с Уайтчеплом *, ни дворцы, которые теснятся теперь на месте прежних болот, ни предместья, выросшие позднее в открытом поле. Правда, и тогда эта часть Лондона была изрезана улицами и густо населена, но она имела совсем другой вид. Многие дома были окружены садами, вдоль улиц росли деревья, и воздух здесь был такой свежий, какого мы тщетно стали бы искать в Лондоне наших дней. До лугов было рукой подать, и среди них текла извилистая речка Нью-Ривер. В летнее время здесь шумно и весело убирали сено. Тогда жители Лондона не были так далеки от лона природы, добраться до него им было не так трудно, как теперь. Хотя в Клеркенуэле процветали всякие ремесла и работали десятки ювелиров, здесь тогда было чище и ближе к деревне, чем могут себе представить многие жители современного Лондона, и неподалеку были места, очень подходящие для прогулок влюбленных, но места эти превратились в грязные дворы задолго до того, как родились влюбленные юноши и девушки нашего поколения.

На одной из таких улиц, самой чистенькой из всех, на тенистой ее стороне (ибо хорошие хозяйки заботливо

берегут свою мебель от солнца, зная, как оно портит ее, и поэтому предпочитают тень назойливому солнечному свету) стоял дом, в который нам не раз придется заглядывать.

Дом был скромный, небольшой и не слишком современной архитектуры; он не глазел нахально на прохожих большими окнами, а застенчиво щурился, и острая верхушка его конусообразной крыши торчала над подслеповатым чердачным окошком из четырех мелких стеклышек, как треуголка на голове одноглазого старичка. Это был не кирпичный и не горделивый каменный дом, а деревянный, оштукатуренный, построенный без скучной и утомительной симметрии: ни одно его окошко не походило на другое и, казалось, каждое существовало само по себе, не желая иметь ничего общего с остальными.

Мастерская (ибо в доме была мастерская) находилась не наверху, а внизу, как полагается всякой мастерской. Но на этом и кончалось сходство ее с другими. В нее не поднимались по нескольким ступенькам, и не входили прямо с улицы: нет, в нее приходилось спускаться по трем крутым ступенькам, как в погреб. Пол ее, как в настоящем погребе, был вымощен камнем и кирпичом, а окна со стеклами и переплетами здесь заменял просто большой черный деревянный ставень на высоте груди; днем этот ставень отодвигали, причем в мастерскую впускали холода не меньше, а частенько даже больше, чем света. За мастерской была обшитая деревянными панелями комнатка, выходившая на мощеный двор и небольшой садик, разведенный на насыпи в несколько футов высотой. Человек посторонний, незнакомый с этим домом, мог бы подумать, что комната не имеет никакой другой связи с внешним миром, кроме двери, в которую он вошел. В самом деле, нетрудно было заметить, что большинство посетителей, пришедших сюда впервые, сильно призадумывались, словно решая в уме, как же снизу попадают в верхний этаж — уж не по приставной ли лестнице? Никому и в голову не могло прийти, что две имеющиеся в комнате узенькие двери, которые самый догадливый механик в мире непременно принял бы за дверцы стенного шкафа или чулана, открываются прямо на винтовую лестницу; да, ни четверти дюйма не отделяло

эти дверцы от двух темных рядов ступеней — один ряд вел наверх, другой — вниз, и только эта лестница соединяла нижнее помещение с верхним этажом.

При всех странностях его архитектуры, это был самый безупречно чистенький, самый уютный домик в Клеркенуэле, в Лондоне, даже во всей Англии, и содержался он в педантичном порядке. Нигде вы не увидели бы так чисто вымытых окон, таких светлых полов, начищенных до блеска каминных решеток; нигде так не блестела мебель старинного красного дерева. Во всех домах этой улицы, вместе взятых, не скребли, не чистили, не полировали всё с таким усердием, как здесь. Эта идеальная чистота и блеск достигались не без хлопот и расходов, и главным образом благодаря тому, что добрая хозяйка не жалела глотки, в чем часто убеждались соседи в дни генеральной уборки, когда она надзирала за всем и помогала приводить дом в надлежащий порядок. Начиналась такая уборка каждый понедельник утром, а кончалась только в субботу вечером.

Хозяин этого дома, уже знакомый нам слесарь, наутро после того, как нашел на дороге раненого, стоял у входной двери и с безутешным видом смотрел на выкрашенный ярко-желтой краской «под золото» большой деревянный ключ, который в качестве вывески висел над входом и качался взад и вперед, уныло скрипя, словно жалуясь, что ему нечего отпирать. По временам слесарь заглядывал через плечо в свою мастерскую, загроможденную всякими принадлежностями его ремесла, закопченную дымом маленького кузнечного горна, у которого трудился сейчас его подмастерье, и такую темную, что непривычный глаз с трудом мог различить там что-нибудь, кроме разных инструментов странного вида и формы, больших связок ржавых ключей, кусков железа, полуготовых замков и тому подобных предметов, украшавших стены или гроздьями подвешенных к потолку.

Долго еще Гейбриэл Варден терпеливо созерцал золотой ключ, то и дело поглядывая через плечо, потом шагнул на мостовую и украдкой бросил оттуда взгляд на окна верхнего этажа. Случайно в эту минуту одно из них распахнулось, и слесарь увидел плутовское личико с ямочками на щеках и парой блестящих глаз, самых

чудесных глаз, какие когда-либо доводилось видеть человеку, словом — хорошенькую улыбающуюся девушку, настоящее воплощение цветущей красоты и веселого нрава.

— Тсс! — шепнула девушка, высунувшись из окна, и, лукаво посмеиваясь, указала на другое окно, пониже. — Мама еще спит.

— Еще спит? — тем же тоном повторил слесарь. — Милочка, ты говоришь это так, как будто она проспала всю ночь. А между тем она уснула только каких-нибудь полчаса тому назад... Слава богу, что уснула. Сон — это истинное благо. — Последние слова он пробормотал себе под нос.

— И как только тебе не стыдно! Заставил нас ждать всю ночь и даже не дал знать, где ты, не прислал весточки, — сказала девушка.

— Ах, Долли, Долли! — Слесарь с улыбкой покачал головой. — А тебе как не стыдно было убежать наверх и залечь в постель? Сойди вниз завтракать, разбойница, да тихонько, смотри — не разбуди мать. Она, наверно, устала... «Я тоже устал, право», — добавил он уже не вслух, а про себя.

Кивнув в ответ на кивок Долли, он пошел в мастерскую, все еще улыбаясь счастливой улыбкой, вызванной появлением дочери, как вдруг увидел бумажный колпак своего подмастерья, присевшего на корточки под окном, чтобы не быть замеченным. В тот же миг обладатель колпака метнулся от окна на свое место у горна и принялся изо всех сил стучать молотком.

«Опять Саймон подслушивал, — подумал Варден. — Безобразие! Интересно знать, почему он подслушивает только тогда, когда я разговариваю с девочкой? Какого черта ему от нее надо? Скверная это привычка, Сим, подло это — шпионить! Да, да, стучи себе сколько хочешь, бей молотком хоть до вечера, а моего мнения из меня не выбьешь!»

Размышляя так, он с серьезным видом покачал головой и, сойдя в мастерскую, остановился перед тем, к кому относились эти рассуждения.

— Хватит пока! — сказал он ему. — Перестань грохотать. Завтракать пора.

— Сэр, — ответил Сим с изысканной вежливостью и сделал нечто вроде поклона одной головой, не сгибая шеи. — Сэр, я немедленно последую за вами.

— Наверное, вычитал это в какой-нибудь из этих назидательных книжонок — «Утеха подмастерья», или «Спутник подмастерья», или «Советы подмастерьям», или «Путь подмастерья к виселице». Теперь начнет прихорашиваться. Не слесарь — сокровище! — пробурчал себе под нос Гейбриэл.

Нимало не подозревая, что хозяин наблюдает за ним из темного угла у двери, Сим снял свой бумажный колпак, соскочил с табурета и двумя шагами, представлявшими нечто среднее между катаньем на коньках и па менуэта, достиг рукомойника в дальнем конце мастерской. Здесь он принялся смывать с лица и рук следы работы у горна, не переставая все время с величайшей серьезностью проделывать такие же необыкновенные прыжки. Умывшись, достал из укромного местечка осколок зеркала и, смотрясь в него, пригладил волосы, удостоверился, не исчез ли вскочивший на носу прыщ. Закончив таким образом свой туалет, он поставил зеркало на низенькую скамеечку и, глядя через плечо, с величайшим самодовольством обозревал ту часть своих ног, какую мог отразить этот крохотный осколок.

Сим, как звали его в семье слесаря, или мистер Саймон Тэппертит, как он сам себя величал и требовал, чтобы его величали все, с кем он встречался вне дома в праздничные и воскресные дни, был старообразный человечек, остроносый и узколицый, с гладко прилизанными волосами и мышиными глазками. Ростом он был разве чуть-чуть выше пяти футов, но в душе питал глубокое убеждение, что он — выше среднего роста, или даже скорее высокого. Особенно восхищался он своей фигурой, довольно складной, но до крайности тщедушной, а уж ноги (которые в узких до колен штанах выглядели на редкость тощими) приводили его в восторг, близкий к экстазу. Сим носился также с захватывающей, но сомнительной идеей о магнетической силе своих глаз, идеей, которую не вполне разделяли даже близкие его друзья. Он заходил даже так далеко, что хвалился, будто может покорить самую высокомерную красавицу,

в один миг сделать ее своей рабой простым способом, который он называл «пронзить ее взглядом». Однако надо сказать, что Симу ни разу не удалось доказать на деле ни эту свою способность, ни другую, которой он тоже хвалился, а именно — умение укрощать взглядом бессловесных животных, даже бешеных.

Из всего этого видно, что в тщедушном теле мистера Тэппертита заключена была душа властолюбивая и беспокойная, полная честолюбивых стремлений.

Как иные напитки в тесном пространстве закрытых бочек бродят, бурлят и бьются о стенки своей тюрьмы, так пылкий дух мистера Тэппертита порой начинал бродить в драгоценном сосуде его тела и бродил до тех пор, пока с сильным свистом и шипением, кипя и пенясь, не вырывался наружу и не сметал все на своем пути. Подобные случаи Сим объяснял тем, что у него «душа ударила в голову»; это необычное состояние не раз доводило его до беды, и ему стоило немалого труда скрывать свои злоключения и эскапады от почтенного хозяина.

Среди множества фантазий, которыми вечно тешилась и упивалась душа Сима Тэппертита (а фантазии эти, подобно печени Прометея, постоянно возобновлялись *), было и весьма преувеличенное представление о роли корпорации, к которой он имел честь принадлежать. Служанка в доме слесаря слышала, как он открыто выражал сожаление, зачем подмастерья не ходят теперь, как бывало, с палицами, которыми они могли бы «дубасить» граждан, — такое он употреблял сильное выражение. Слышали и другие, как он говорил, что на корпорацию их легла позорным пятном казнь Джорджа Барнуэлла *, ибо вместо того чтобы из подлой трусости допустить эту казнь, надо было потребовать от представителей закона (сперва миролюбиво, а потом, если бы понадобилось, то и с оружием в руках) выдачи Барнуэлла корпорации, чтобы она поступила с ним по собственному мудрому усмотрению. Размышляя об этом, Сим всегда приходил к заключению, что подмастерья могли бы быть могучей силой, если бы во главе их стоял человек великой души. При этом он, к ужасу слушателей, таинственно намекал, что знает несколько таких отчаянных смельчаков и второго Ричарда Львиное Сердце *, готового стать

их предводителем и заставить трепетать самого лорд-мэра.

Предприимчивость и смелость Сима Тэппертита в не меньшей степени сказывались и в его одежде и в средствах, к каким он прибегал для украшения своей особы. Люди, словам которых безусловно можно верить, видели собственными глазами, как он, возвращаясь домой в воскресенье вечером, прежде чем войти, снимал на углу манжеты из тончайших кружев и предусмотрительно прятал их в карман. Так же достоверно то, что по большим праздникам он на том же углу, под дружеским прикрытием столба, водруженного здесь весьма кстати, заменял простые стальные пряжки на коленях блестящими стразовыми. Прибавьте к этому, что ему было только двадцать лет (хотя на вид гораздо больше), а воображал он себя мудрее двухсотлетнего старца, что он охотно слушал приятелей, подшучивавших над его увлечением хозяйской дочкой, и раз даже в каком-то дрянном кабаке, когда ему предложили выпить за здоровье дамы его сердца, он, усиленно подмигивая, с многозначительной улыбкой провозгласил тост за прелестное создание, чье имя начинается на букву «Д». Вот и все, что необходимо знать тому, кто хочет поближе познакомиться с Симом Тэппертитом, который сейчас отправился вслед за слесарем наверх завтракать.

Завтрак был основательный, стол ломился под тяжестью яств: сверх всего того, что обычно подается к чаю, здесь был солидный ссек говядины, большущий окорок, целые пирамиды йоркширского пирога с маслом, преаппетитно уложенного ломтями. Стояла тут и внушительных размеров кружка из докрасна обожженной глины. Она изображала старика, не лишенного сходства с нашим слесарем, и над лысой макушкой этого джентльмена поднималась пышная белая пена — точь-в-точь парик Вардена, — заставлявшая предполагать, что кружка наполнена сверкающим домашним пивом.

Но куда соблазнительнее превосходного домашнего пива, йоркширских пирогов, окорока, ростбифа и всех видов еды и питья, какие могут дать человеку земля, вода и воздух, была хозяйничавшая за столом румяная дочка слесаря. Глядя в ее темные глаза, человек забы-

вал о ростбифе, и никакой хмельной напиток не пьянил так, как взгляд этих глаз.

Отцам ни в коем случае не следует целовать своих дочерей в присутствии молодых людей. Это уж слишком — есть предел человеческому терпению! Так думал Сим Тэппертит, когда мистер Варден чмокнул Долли в розовые губки, губки, которыми Сим любовался изо дня в день, которые были так близко и вместе с тем так далеко от него!

Сим уважал хозяина, но в эту минуту от души желал ему подавиться йоркширским пирогом.

— Папа, — сказала дочь слесаря, когда они поздоровались и сели за стол. — Что это я слышала насчет прошлой ночи?..

— Все правда, дружок. Святая правда, Долли.

— Значит, на молодого мистера Честера напал грабитель, и ты нашел его раненого на дороге?

— Да, мистер Эдвард лежал на земле, а около него стоял Барнеби и во весь голос звал на помощь. Счастье еще, что я проезжал мимо... На дороге — ни души, время позднее, холодище, а бедняга Барнеби с испугу еще больше одурел. Не подоспей — так молодой Честер мог очень легко отдать богу душу.

— Ох, подумать страшно! — воскликнула Долли, задрожав. — А как ты узнал его?

— Узнал, говоришь? Да как я мог его узнать — ведь я его никогда раньше не встречал, только много слышал о нем, — возразил слесарь. — Я его свез к миссис Радж, и как только она его увидела, она тотчас сказала мне, кто это.

— Ох, папа, мисс Эмма с ума сойдет, когда узнает... Да еще люди наверняка наскажут ей больше, чем есть на самом деле!

— Я тоже об этом подумал. И вот суди сама, сколько хлопот причиняет человеку доброе сердце, — сказал слесарь. — Мисс Эмма была вчера с дядей на маскараде в Кэрлайл-Хаус, я это слышал от слуг в Уоррене, и еще они говорили, что ей очень не хотелось туда ехать. И как ты думаешь, что сделал этот старый дурак, твой отец? Посоветовавшись с миссис Радж, я, вместо того чтобы ехать домой и лечь в постель, мчусь в Кэрлайл-Хаус, уго-



вариваю знакомого швейцара впустить меня и, раздобыв у него маску и домино, вмешиваюсь в толпу масок!

— Как это похоже на тебя! — воскликнула дочь и, обняв отца за плечи своей прелестной ручкой, горячо поцеловала его.

— Похоже на меня! — повторил Гейбриэл. Несмотря на притворно-ворчливый тон, видно было, что он горд собой и похвала дочери ему приятна. — То же самое сказала и твоя мать... Ну, как бы то ни было, я вертелся в толпе и, поверь, мне здорово надоели эти маски, просто все уши прожужжали! Куда ни повернись, пищат: «Ты меня не знаешь!» или «Ага, я тебя узнала!» — и всякую другую чепуху. Я слонялся бы там без толку до утра, если бы не увидел в комнатке за большим залом молодую леди, которая сидела там одна и из-за жары сняла маску.

— Это была она? — быстро спросила Долли.

— Она. И только я шепнул ей, что случилось, — осторожно и деликатно, Долли, не хуже, пожалуй, чем ты сама бы это сделала, — как она вскрикнула и упала в обморок.

— И что же было дальше? Что ты сделал? — спросила Долли.

— Ох, тут набежала целая толпа этих масок, поднялся шум и гам — слава богу, что удалось благополучно ноги унести! — ответил слесарь. — А как мне досталось, когда я вернулся домой, об этом ты можешь догадаться сама, если даже ничего не слышала. Так-то, дочка... Передай-ка мне Тоби, милочка! Надо же человеку хоть чем-нибудь потешить душу.

«Тоби» называлась та глиняная кружка, о которой я уже говорил. Слесарь, успевший произвести изрядные опустошения среди яств на столе, приложил губы к благожелательному челу почтенного старца Тоби и долго не отрывал их. Дно кружки потихоньку поднималось в воздух, и когда Тоби в конце концов уткнулся затылком в нос слесарю, тот, причмокнув, поставил кружку на стол, бросив на нее нежный взгляд.

Хотя Сим Тэппертит не принимал участия в разговоре и к нему ни разу не обращались, он не скупился на безмолвные знаки изумления, стремясь при этом как

можно выгоднее использовать магнетическую силу своего взора. Решив, что наступившая пауза — самый благоприятный момент для того, чтобы воздействовать на дочь слесаря (он готов был поклясться, что она поглядывает на него в немом восхищении), Сим принялся гримасничать — морщить и судорожно кривить лицо, вращать глазами так жутко и неестественно, что случайно взглянувший на него слесарь остолбенел от удивления.

— Что такое с парнем, черт возьми? Подавился ты, что ли?

— Кто подавился? — спросил Сим с высокомерно-презрительным видом.

— Кто? Да ты, — отвечал его хозяин. — А если нет, так чего ты корчишь такие рожи, вместо того чтобы завтракать?

— А может, мне нравится корчить рожи? Это дело вкуса, сэр, — изрек мистер Тэппертит, в душе несколько обескураженный тем, что хозяйская дочь улыбалась, слушая их разговор.

— Полно, Сим, не валяй дурака, — возразил слесарь, весело расхохотавшись. — Вечно эта молодежь дурит, — добавил он, обращаясь к дочери. — Вот и Джо Уиллет вчера при мне ссорился со старым Джоном... хотя, признаться, парень был не так уж неправ. Боюсь, что он не сегодня-завтра убежит из дому искать невесть какого счастья и натворит сумасбродств... Что это, Долли, теперь и ты вздумала гримасничать? Ей-богу, в наше время девушки ничуть не лучше парней!

— Это от чая, — оправдывалась Долли, то краснея, то бледнея, что, вероятно, было следствием легкого ожога. — Он такой горячий!

Мистер Тэппертит с ледяной важностью смотрел на лежавший на столе четырехфунтовый каравай и тяжело дышал.

— Только-то? — сказал слесарь. — Так подлей в него молока... Да, да, жалко мне Джо, славный он паренек, и чем чаще его вижу, тем больше он мне нравится. Но из дому он сбежит, помяни мое слово. Он сам мне это говорил.

— Неужели? — дрогнувшим голосом промолвила Долли. — Неужели?

— Что, у тебя все еще щиплет в глотке, душенька? — спросил слесарь.

Но дочь не успела ответить — ее вдруг одолел кашель, да такой сильный и мучительный, что у нее даже слезы выступили на глазах. Нежный отец хлопал ее по спине, пробовал помочь другими столь же деликатными средствами, и как раз в ту минуту от миссис Варден прибыл посол, которому было поручено сообщить всем, кого это интересует, что после сильных волнений и тревог прошлой ночи она чувствует себя плохо и не может встать с постели, и потому следует немедленно прислать ей черный чайничек с крепким чаем, несколько ломтиков поджаренного хлеба с маслом, не слишком большое блюдо тонко нарезанной ветчины и ростбифа, а также два томика «Наставлений протестантам». Как и некоторые другие дамы, некогда блиставшие в этом мире, миссис Варден становилась особенно набожна, когда бывала не в духе. Всякий раз, как у нее с мужем случались размолвки, «Наставления» бывали в великой чести.

Зная по опыту, что предвещают такие требования, триумвират наш мигом рассеялся в разные стороны. Долли пошла присмотреть, чтобы все желания матери были поскорее удовлетворены, слесарь уехал к заказчику, а Сим вернулся в мастерскую к своим каждодневным обязанностям, сохраняя все ту же ледяную важность, хотя каравай, избранный им мишенью для его магнетического взгляда, остался наверху.

Мало того, важности у Сима еще прибавилось, а когда он надел свой фартук, она возросла до гигантских размеров. Он несколько раз прошелся из угла в угол, скрестив руки на груди, шагая так широко, как только мог, расшвыривая ногой все мелкие предметы, попадавшиеся ему на дороге. Наконец он мрачно усмехнулся и тоном великолепного презрения произнес только одно слово: «Джо!»

— Я пронзил ее взглядом, когда он говорил про этого парня, — продолжал он вслух, — и, конечно, оттого она так смутилась. Джо тут ни при чем!

Он снова заходил по мастерской, теперь гораздо быстрее, шагая еще шире, чем прежде. По временам останавливался, чтобы взглянуть на свои ноги, по временам

отрывисто выкрикивал все то же односложное слово: «Джо!» Минут через пятнадцать он снова надел свой бумажный колпак и попробовал работать. Но тщетно: не работалось ему сегодня.

— Ничего больше делать не буду! — сказал он себе, швыряя молоток. — Только точить. Наточу все инструменты. Самое подходящее занятие при таком настроении... Джо!

Жжж! — заработало точило, дождем посыпались искры. Вот это было под стать чувствам, бушевавшим в груди мистера Тэппертита!

Жжж! Жжж!

— Добром это не кончится! — сказал Сим с торжествующим видом, останавливаясь, чтобы утереть рукавом разгоряченное лицо. — Что-нибудь да будет! И дай бог, чтобы обошлось без кровопролития!

Жжж! Жжж!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Управившись с работой, слесарь вечерком пошел проведать раненого джентльмена и узнать, лучше ли ему. Дом, где он оставил молодого Честера, стоял в глухом переулке Саутуорка *, неподалеку от Лондонского моста *. Туда и направился слесарь. Он очень спешил, решив вернуться домой как можно скорее и вовремя лечь спать.

Погода была бурная, немногим лучше, чем прошлой ночью. И такому грузному мужчине, как Варден, нелегко было удержаться на ногах и бороться на перекрестках с сильным ветром, который часто относил его на несколько шагов назад и, словно глумясь над всеми его усилиями, заставлял укрываться где-нибудь в подворотне или подъезде и пережидать, пока не утихнет ярость налетевшего вихря. По временам мимо проносились, как бешеные, чья-то шляпа, или парик, или то и другое вместе, кружась и ныряя в воздухе; гораздо опаснее были летевшие с крыш черепицы, шифер, валившиеся откуда-то перед самым носом груды штукатурки, кирпичи, куски каменных

карнизов, с грохотом разбивавшиеся о мостовую. Все это никак не доставляло удовольствия слесарю и не делало его путь приятнее.

— Тяжеленько такому человеку, как я, выходить в этакую скверную погоду, — сказал слесарь, дойдя до домика вдовы и тихонько постучав в дверь. — Видит бог, я предпочел бы сидеть сейчас у огня в трактире старого Джона.

— Кто там? — спросил изнутри женский голос.

Услышав ответ, женщина сразу отперла дверь и торопливо поздоровалась.

Ей было лет сорок, или, быть может, сорок с небольшим, и приветливое лицо ее, видно, было когда-то красиво. Оно носило следы забот и тяжкого горя, но рука Времени несколько сгладила эти старые следы. Достаточно было мельком взглянуть на Барнеби, чтобы угадать, что он — ее сын, так велико было сходство между ними; но в его диком взоре читалось безумие, а в глазах матери — терпеливое спокойствие и самообладание, следствие долгой борьбы с жизнью и покорности судьбе.

Однако было в этом лице что-то очень странное, поражавшее тех, кто вглядывался в него. Даже когда оно имело самое веселое выражение, чувствовалось, что оно способно в любую минуту выразить безграничный ужас. Это не бросалось в глаза, не крылось в какой-то определенной черте лица. Нельзя сказать, что если бы глаза, или рот, или линии щек были другие, то лицо этой женщины не производило бы такого странного впечатления. Однако какая-то неясная тень страха всегда таилась в нем — смутная, но неизменная, никогда не исчезавшая. Эту тень, омрачавшую ее лицо, мог породить лишь пережитой когда-то сильнейший, невыразимый ужас, и, при всей своей неуловимости, она давала представление о *силе* этого ужаса, запечатленного в памяти, как приснившийся когда-то страшный сон.

Та же печать какого-то страха, но еще более смутная (должно быть, виной этому было его слабоумие) лежала и на лице ее сына. Увидев такие лица на картине, люди прочли бы на них какую-то страшную повесть и долго не могли бы забыть их. А те, кто знал о случившемся в Уоррене и помнил, какой была вдова до гибели мужа, ничему

не удивлялись. На их глазах произошла в ней эта перемена, им было известно, что сын ее, родившийся в тот самый день, когда убийство было обнаружено, имел на руке родимое пятно, похожее на полустертое пятно крови.

— Здравствуйте, соседка, — сказал слесарь, с непринужденностью старого знакомого входя за ней в комнату, где в камине весело трещал огонь.

— Здравствуйте, — с улыбкой отозвалась женщина. — Опять вы пришли, добрая душа? Вас ведь ничто не удержит дома, если где-нибудь нуждаются в вашей помощи или утешении. Не первый день я вас знаю!

— Полно, полно, соседка! — отозвался слесарь, растирая и отогревая у огня руки. — Уж вы наговорите! Ну, как наш больной?

— Спит сейчас. Под утро он стал очень беспокоен, несколько часов сильно метался в постели. А потом жар спал, доктор говорит, что он быстро поправится. Но до завтра его перевозить нельзя.

— Наверно, у него нынче были гости, да? — спросил Варден, лукаво подмигивая.

— Да. Старый мистер Честер пришел, сразу как за ним послали, и ушел только что, минуты за две до вашего прихода.

— А никакой молодой леди не было? — осведомился слесарь, с разочарованным видом поднимая брови.

— Нет. Только письмо, — отвечала вдова.

— Ага, и то хорошо! — воскликнул слесарь. — А кто его принес?

— Барнеби, разумеется.

— Ваш Барнеби — настоящее сокровище. Мы вот считаем себя разумнее его, а между тем ему легко удается то, что у нас никак бы не вышло. Надеюсь, он не ушел опять бродить?

— Слава богу, нет. Он уже в постели. Ведь всю ночь он не спал и весь день на ногах, так что совсем измучился. Ох, сосед, если бы я могла почаще удерживать его дома, обуздать его вечное беспокойство!..

— Все придет своим чередом. Угомонится и он, — ласково утешил ее слесарь. — Не падайте духом, Мэри. По-моему, он с каждым днем становится разумнее.

Вдова покачала головой. Все же, хотя она понимала, что слесарь вовсе этого не думает, а говорит так, чтобы ее утешить, ей было приятно услышать похвалу ее бедному безумному сыну.

— Да, да, поверьте мне, из него еще выйдет человек дельный, с головой, — заключил слесарь. — Смотрите, как бы ваш Барнеби не заставил нас краснеть за себя, когда мы с вами к старости выживем из ума... Ну, а где же другой наш приятель? — добавил он, заглянув под стол и обводя глазами комнату. — Где первейший плут и хитрец из хитрецов?

— У Барнеби в комнате, — ответила вдова с легкой улыбкой.

— Ведь все решительно понимает! — сказал Варден, качая головой. — Я бы поостерегся говорить при нем то, что надо держать в секрете. Ого, этому хитрецу пальца в рот не клади! Ей-богу, я готов поверить, что он, если захочет, может научиться даже считать, писать и читать... Что это — кажись, кто-то скребется у двери? Уж не он ли?

— Нет, это как будто с улицы стучат, — возразила вдова. — Да, вот опять! Кто-то тихонько стучит в ставень. Кто бы это мог быть?

Помня, что стены и потолки в доме очень тонкие, и боясь потревожить больного, спавшего наверху, оба все время говорили очень тихо. Таким образом, человек, стоявший под окном, не мог слышать их голосов, даже если стоял у самой стены; а так как сквозь щели пробивался свет и в комнате было тихо, человек этот мог подумать, что дома только одна хозяйка.

— Может, какой-нибудь озорник или вор? — предположил слесарь. — Дайте-ка мне свечку.

— Нет, нет, — поспешно возразила вдова. — *Такие* гости никогда не пробуют вломиться в мое бедное жилье. Оставайтесь здесь. Если понадобится, я вас кликну. Я сама открою.

— Да отчего же? — спросил слесарь, неохотно отдавая ей свечу, которую взял было со стола.

— Оттого что... ну, я и сама не знаю отчего, но мне так хочется... Вот опять стучат! Пожалуйста, не удерживайте меня!

Варден смотрел на нее с величайшим удивлением, не понимая, почему эта женщина, всегда спокойная и кроткая, сейчас в таком волнении и даже раздражении из-за какой-то безделицы. Она вышла из комнаты и старательно закрыла за собой дверь. Постояла минутку в прихожей, словно в нерешимости, положив руку на засов. Снаружи опять принялись стучать, и голос под окном — слесарю он показался знакомым и смутно напомнил что-то неприятное — произнес шепотом: «Да ну же, скорее открывай!»

Слова эти были сказаны тихо, но внятно, таким голосом, который легко проникает в уши спящего и заставляет его проснуться в испуге. На миг даже слесарю стало жутко, он инстинктивно отскочил от окна и настороженно прислушался.

Гудевший в трубе ветер мешал ему ясно слышать, что происходит снаружи. Однако он различил в прихожей стук отворенной двери, мужские шаги по заскрипевшим половицам... Наступившую затем мгновенную тишину прорезал вдруг странный звук — не то сдавленный крик, не то стон или зов на помощь, а затем слова: «Боже мой!», произнесенные так, что у слесаря захолонуло сердце.

Он кинулся в прихожую... И увидел на лице вдовы то страшное выражение, которое как будто было ему знакомо, — и все же впервые он его видел так ясно. Она стояла, как пригвожденная к месту, мертвенно бледная, с перекошенным от ужаса лицом, и застывшими глазами смотрела на вошедшего с улицы человека. Это был тот самый человек, с которым слесарь столкнулся прошлой ночью на темной дороге!

Он увидел Вардена, их взгляды скрестились. Это длилось один миг, быстрый, как молния, мимолетный, как тень от дыхания на стекле, — и незнакомец выскочил за дверь.

Слесарь бросился за ним. Уже он протянул руку, чтобы ухватить незнакомца за полы развевающегося плаща, но тут вдова крепко уцепилась за него и, упав на колени, преградила ему дорогу.

— Не туда, — крикнула она. — В другую сторону! Он убежал в другую сторону. Вернитесь!

— Нет, я видел его там, — слесарь указал рукой. — Вот он мелькнул мимо фонаря. В чем тут дело? Кто это? Пустите меня!

— Назад, назад! — кричала женщина, продолжая удерживать его. — Не смейте его трогать! Я не хочу, чтобы вы гнались за ним. Из-за него могут погибнуть другие. Вернитесь!

— Что все это значит?! — воскликнул слесарь.

— Не спрашивайте меня, не говорите, не думайте об этом. Я не хочу, чтобы его выследили и задержали. Не ходите!

Удивленный слесарь смотрел во все глаза на цеплявшуюся за него женщину. Уступая ее отчаянной настойчивости, он позволил втащить себя в прихожую. Вдова с лихорадочной быстротой закрыла входную дверь на цепочку, заперла ее, дважды повернув ключ в замке, задвинула все засовы и увлекла слесаря в комнату. Только тут она подняла на него глаза с тем же застывшим выражением ужаса и, упав на стул, закрыла лицо руками. Она дрожала, как человек, которого коснулась рука смерти.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

До крайности пораженный всеми этими странными происшествиями, следовавшими друг за другом так стремительно и бурно, слесарь молча смотрел на съежившуюся и дрожавшую женщину, и это продолжалось бы долго, если бы сочувствие и жалость не развязали ему язык.

— Вы нездоровы, — сказал он. — Я позову кого-нибудь из соседок.

— Нет, нет, и не думайте! — Она сделала отрицательный жест, все еще не поворачивая головы, чтобы он не увидел ее лица. — Достаточно уже того, что вы оказались свидетелем...

— Да, более чем достаточно... А впрочем, нет, *мне* этого недостаточно, — промолвил Гейбриэл.

— Пусть так, — отозвалась она. — Но не спрашивайте меня ни о чем, умоляю вас!

— Соседка, — начал слесарь, помолчав. — Сами посудите, разумно ли это, хорошо ли, справедливо ли это с вашей стороны? Вы знаете меня так давно и всегда советовались со мной... Право, я не узнаю вас! У вас с детства был такой сильный характер, такое мужественное сердце.

— Они мне понадобились в жизни, — сказала она. — Но я старею телом и душой. Должно быть, годы и слишком тяжелые испытания сокрушили мои силы. Не спрашивайте, не говорите ничего!

— Да как же я могу молчать после того, что видел? — возразил слесарь. — Кто этот человек и почему его приход так встревожил вас?

Она не отвечала и держалась за стул, словно боялась упасть.

— Я спрашиваю вас, Мэри, по праву старого друга, который всегда был к вам очень привязан и, как мог, доказывал вам это. Кто этот подозрительный человек и что может быть общего между вами? Почему он, как призрак, появляется только в темные и ненастные ночи? Откуда он вас знает и зачем бродит вокруг вашего дома, шепчется с вами, как будто вас связывает нечто такое, о чем ни вы, ни он не смеете даже говорить вслух? Кто он?

— Верно вы сказали, что он призрак, который бродит вокруг этого дома, — тихо сказала вдова. — До сих пор только тень его всегда висела над моей жизнью и моим домом и в ночном мраке и при свете дня. А теперь он пришел сам, живой.

— Но он не ушел бы, если бы вы не цеплялись за меня, не давая мне сделать ни шагу, — уже с досадой возразил слесарь. — Все это для меня загадка.

— И должно навсегда остаться загадкой, — промолвила вдова, вставая. — Ничего больше я не решусь вам сказать.

— Не решитесь? — повторил слесарь, все больше и больше недоумевая.

— Да. И вы не настаивайте. Я больна, измучена, у меня уже нет сил жить... Нет, нет, не прикасайтесь ко мне!

Гейбриэл сделал шаг вперед, чтобы поддержать ее, но

при этом резком восклицании отступил и в безмолвном удивлении уставился на нее.

— Оставьте меня одну идти своей дорогой, — сказала она тихо. — Рука честного человека не должна сегодня касаться моей руки.

Она, пошатываясь, добрела до двери и, обернувшись, добавила с усилием:

— То, что вы здесь видели, — тайна, и я вынуждена довериться вам. Вы — честный человек и всегда были очень добры ко мне, так не выдавайте же ее никому. Если мистер Честер из комнаты наверху слышал шум, придумайте какое-нибудь объяснение, скажите ему, что хотите, только ни звука о том, что видели! И никогда ни словом, ни взглядом не напоминайте мне о сегодняшнем. Я вам верю. Помните это! Вы и представить себе не можете, как много я сегодня доверила вам!

Секунду она смотрела ему в лицо, потом ушла, оставив его одного.

Не зная, что и думать, Варден долго еще стоял, устремив глаза на дверь, глубоко огорченный и растерянный. Чем больше размышлял он о случившемся, тем труднее было найти всему этому удовлетворительное объяснение. Неожиданное открытие, что вдова Радж, которая, как все полагали, столько лет вела жизнь уединенную и замкнутую и безропотным мужеством, с каким переносила свое несчастье, завоевала себе доброе имя и уважение всех, кто ее знал, каким-то таинственным образом связана с человеком подозрительным и, хотя была сильно испугана его появлением, все-таки помогла ему скрыться, — и поражало и мучило слесаря. А то, что он своим молчанием как бы дал согласие хранить все в тайне и вдова теперь на это рассчитывает, еще усиливало его душевное смятение. Надо было смелее и настойчивее потребовать от нее объяснений, не дать ей уйти, протестовать, вместо того чтобы молча согласиться на ее просьбу, — тогда ему сейчас было бы легче.

— И зачем я промолчал, когда она сказала, что это тайна и она мне ее доверяет! — рассуждал сам с собой Гейбриэл, сдвинув парик, чтобы удобнее было почесать затылок, и уныло глядя на огонь в камине. — Право, находчивости у меня не больше, чем у старого Джона. За-

чем я не сказал ей твердо: «Вы не вправе иметь такие тайны, и я требую, чтобы вы объяснили, что все это значит?» Да, вот что надо было сказать, а не стоять, выпучив глаза, как идиот. Идиот и есть! Вся беда в том, что твердости у меня хватает только когда я имею дело с мужчинами, а женщины вертят мною как хотят!

Придя к такому заключению, он совсем снял парик, нагрел платок у огня и принялся тереть им свою лысину с таким усердием, что она заблестела, как полированная.

— А может, все это и пустяки, — сказал он вслух, прервав свое приятное и успокоительное занятие и уже снова улыбаясь. — Любой пьяный скандалист, вломившись в дом, мог испугать тихую, робкую женщину. Однако... — тут слесарь в своих размышлениях дошел до того, в чем была вся загвоздка. — Почему это оказался *тот самый* человек? Чем объяснить, что он имеет над ней такую власть? Почему она помогла ему убежать от меня? А главное — ведь она могла сказать, что перепугалась от неожиданности — и все, но не сказала же этого. Больно, когда в одну минуту перестаешь верить человеку, которого знаешь столько лет и когда это к тому же твоя старая любовь! Но что поделаешь... Все это очень подозрительно!.. Кто там? Ты, Барнеби?

— Я! — крикнул Барнеби, появляясь на пороге, и несколько раз кивнул головой. — Конечно, я! Как вы догадались?

— По твоей тени, — пояснил слесарь.

— Ого! — Барнеби бросил взгляд через плечо. — Моя тень — веселая проказница и ходит со мной всегда, хоть я и дурачок. Мы с ней такие делаем прогулки! Скачем, бегаем, кувыркаемся на траве! Иногда она вытягивается до половины церковной колокольни, а иногда бывает такая маленькая, не больше карлика. То впереди бежит, то гонится за мной по пятам, крадется то с одной, то с другой стороны, — хитрая! Остановлюсь я — и она тоже останавливается, думает, что я ее не вижу, а я за ней все время зорко слежу. Ах, какая она потешная! Может, она тоже дурочка? Как по-вашему? По-моему, да.

— Почему ты так думаешь? — спросил Варден.

— Потому что она целыми днями меня передразнивает. И как это ей не надоест?.. А отчего вы не идете?

— Куда?

— Наверх. *Он* вас зовет. Постойте! Вот вы — разумный человек, так скажите мне: а где же *его* тень?

— При нем, Барнеби, при нем, вероятно, — ответил слесарь.

— Не угадали. — Барнеби отрицательно замотал головой. — Попробуйте еще раз.

— Так, может, она ушла гулять?

— Нет. Он обменялся тенью с одной женщиной, — шепнул Барнеби на ухо слесарю, глядя на него с торжествующей миной, и проворно отскочил. — И теперь ее тень всегда при нем, а его — при ней. Здорово, правда?

— Подойди ко мне, Барнеби, — сказал слесарь серьезно. — Подойди, дружок.

— Знаю я, что вы хотите мне сказать. Знаю! — Говоря это, Барнеби пятился от него. — Не бойтесь, я хитер, не проболтаюсь. Это я только вам все говорю. Ну, идете?

С этими словами он схватил свечу и, дико хохоча, замахал ею над головой.

— Потише, потише! — сказал ему слесарь, всеми силами стараясь его успокоить и заставить замолчать. — А я ведь думал, что ты спишь.

— Я и спал, — отозвался Барнеби, глядя перед собой широко открытыми глазами. — Я видел какие-то большущие рожи — они проносились то у самого моего лица, то за милю от меня... И мне волей-неволей приходилось ползти за ними через какие-то пещеры и падать с высоких колоколен... Такие странные твари... Они целыми толпами прибегали и садились ко мне на кровать. Так это и называется сном?

— Да, это сны, Барнеби, сны, — сказал слесарь.

— Сны! — повторил Барнеби тихо, придвигаясь к нему. — Нет, это не сны.

— А что же это, по-твоему?

— Вот снилось мне только что, — Барнеби взял Вардена под руку и, близко заглядывая ему в лицо, заговорил шепотом. — Снилось мне, будто что-то, похожее с виду на мужчину, украдкой ходит со мной, все время не оставляет меня, но не показывается, а прячется, как кот, по темным углам, подстерегает меня... А когда оно выпол-

зло и, крадучись, пошло на меня, я... Видели вы, как я бегаю?

— Ты же знаешь, что видел, и не раз.

— Ну, так никогда еще я не бегал так быстро, как в этом сне. И все же оно ползком догоняло меня... И мне было жутко. Все ближе, ближе и ближе... а я бежал все быстрее... Проснулся я, вскочил с постели — и к окну! И вот внизу, на улице... Но *он* нас ждет. Вы идете?

— А что такое было внизу на улице, Барнеби? — спросил Варден, заподозрив какую-то связь между его сном и действительными событиями этого вечера.

Барнеби снова заглянул ему в глаза, буркнул что-то невнятное и, захохотав, принялся размахивать свечой, потом крепче прижал к себе руку слесаря и уже молча повел его по лестнице наверх.

Они вошли в убогую спаленку, скудно обставленную стульями на старомодных журавлиных ножках, которые выдавали их возраст, и другой дешевой мебелью, но чистенькую и заботливо убранную. У камина в качалке полулежал бледный, ослабевший от потери крови Эдвард Честер, тот самый молодой человек, что накануне вечером первый уехал из «Майского Древа». Он протянул слесарю руку и сердечно поздоровался с ним, называя своим спасителем и другом.

— Полноте, сэр, полноте, — сказал Варден. — Я сделал бы то же самое для любого человека в такой беде, а для вас — тем более... Одна молодая леди, — добавил он осторожно, — не раз оказывала нам добрые услуги, и мы, разумеется, всегда рады... Вы не сочтете это дерзостью с моей стороны, сэр?

Молодой человек с улыбкой покачал головой, но в ту же минуту беспокойно зашевелился в кресле — видимо, от сильной боли.

— Ничего, ничего, — промолвил он в ответ на сочувственный взгляд слесаря. — Я просто немного ослабел от легкой раны и потери крови, да и оттого, что сижу здесь взаперти без воздуха. Присаживайтесь, мистер Варден.

— Если позволите, я постою вот тут у вашего кресла, мистер Эдвард, — сказал слесарь и наклонился к молодому человеку. — Так мы сможем говорить вполголоса.

Барнеби сегодня что-то беспокоен, а в таких случаях всякие разговоры на него плохо действуют.

Оба посмотрели на Барнеби, который сидел по другую сторону камина и, бессмысленно улыбаясь, наматывал на пальцы бечевку из клубка, играя «в веревочку».

— Прошу вас, сэр, — начал Варден, еще больше понизив голос, — расскажите, как все это случилось с вами прошлой ночью. Я спрашиваю не из пустого любопытства. Есть причины... Вы ушли из «Майского Древа» один?

— Да. И пошел домой пешком, а около того места, где вы меня нашли, услышал позади топот лошади, мчавшейся галопом.

— За вами? — переспросил слесарь.

— Да, да, за мной. Это был одинокий всадник, он скоро догнал меня и, остановив лошадь, попросил указать дорогу в Лондон.

— Вы, конечно, были начеку, сэр? Ведь по дорогам рыщут разбойники.

— Знаю, но при мне была только трость, а кобуру с пистолетами я имел неосторожность оставить в гостинице у Джо. Я стал объяснять этому всаднику, куда ехать, но не успел договорить, как он вдруг бешено налетел на меня, словно хотел затоптать. Я отскочил в сторону, поскользнулся и упал. Ну, а остальное вам известно — вы подобрали меня с этой вот ножевой раной и без кошелька. Правда, денег в кошельке он найдет мало, они не вознаградят его за труды. Ну, вот, мистер Варден, — заключил Эдвард, пожимая руку слесарю, — теперь вы знаете столько же, сколько и я, не знаете только, как глубоко я вам благодарен.

— Да, я знаю все, — сказал слесарь, еще ниже нагибаясь к Эдварду и опасливо поглядывая на их молчаливого соседа, — за исключением того, что касается самого разбойника. Опишите мне его, сэр. И, ради бога, говорите тише. Опасаться Барнеби, конечно, нечего. Но я его видывал чаще, чем вы, и уверен — как ни странно вам это покажется, — что он сейчас внимательно прислушивается к нашему разговору.

Нужно было очень доверять наблюдательности слесаря, чтобы согласиться с ним: Барнеби, казалось, был

всецело занят своей игрой и ни на что больше не обращал внимания. Видно, в лице Эдварда слесарь прочел сомнение — он повторил свои слова еще более серьезным тоном и, покосившись на Барнеби, снова попросил описать наружность разбойника.

— Было так темно, — сказал Эдвард, — а он был закутан до самых глаз и напал на меня так внезапно, что я не мог рассмотреть его... Кажется...

— Только не спрашивайте у него, сэр, — предостерег слесарь, увидев, что Эдвард смотрит на Барнеби. — Я знаю, что он его разглядел. Но мне нужно знать, что заметили *вы*.

— Помню только одно: когда он на всем скаку осадил лошадь, у него слетела шляпа. Он поймал ее и снова надел, но я успел заметить, что голова у него повязана черным платком. И вот еще что: в гостинице одновременно со мной был какой-то чужой. Я его не рассмотрел как следует, потому что сидел в стороне, — у меня на то были свои причины, — а когда я уходил, он уже пересел в темный угол у камина, и его не было видно. Но если он и тот, кто напал на меня, — два разных человека, то голоса у них во всяком случае удивительно схожи: как только разбойник заговорил со мной на дороге, я узнал голос.

«Этого я и боялся. Он же сегодня приходил сюда! — подумал слесарь, меняясь в лице. — Что за всем этим кроется?»

— Эй! — крикнул вдруг у него над ухом хриплый голос. — Здорово, здорово! Гав-гав! Что тут такое? Эй!

Крикун, заставивший слесаря вздрогнуть, словно он узрел выходца с того света, был большой ворон, незаметно для обоих собеседников взлетевший на спинку кресла. Он слушал весь их разговор с учтивым вниманием и с таким необычайно серьезным видом, как будто понимал каждое слово, и при этом поворачивал голову то к одному, то к другому: казалось, он призван рассудить их, и ему важно не пропустить ни единого слова.

— Полюбуйтесь на него! — сказал Варден с восхищением и вместе с каким-то необъяснимым страхом перед вороном. — Есть ли на свете другой такой хитрец? Бес, а не птица!

Ворон, свесив набок голову и устремив на них глаза, светившиеся, как два бриллианта, несколько секунд хранил глубокомысленное молчание, а затем прокричал хрипло и так глухо, словно голос исходил не из горла, а откуда-то из-под его пышного оперения:

— Эй! Что тут такое? Веселей, не вешай носа! Кра-кра-кра! Я дьявол, я дьявол, я дьявол! Урра!

И, словно радуясь своей связи с адом, принялся громко свистать.

— Честное слово, я почти верю, что он и в самом деле дьявол. Ишь как смотрит на меня — будто понимает, что я говорю! — воскликнул Варден.

Тут ворон, раскачиваясь всем телом, словно в каком-то торжественном танце, прокричал опять: «Я дьявол, дьявол, дьявол!» — и захлопал крыльями, точь-в-точь как человек, который, надрываясь от хохота, ударяет себя по бедрам.

Глядя на него, Барнеби всплеснул руками и в приливе безудержного веселья стал кататься по полу.

— Престранная пара, не правда ли, сэр? — сказал слесарь, качая головой и поглядывая то на ворона, то на его хозяина. — Право, эта птица умна за двоих.

— Да, любопытный у Барнеби товарищ, — согласился Эдвард и протянул указательный палец ворону, а тот, в благодарность за внимание, немедленно ткнул его железным клювом. — Как вы думаете, он уже очень стар?

— Что вы, сэр, он еще только птенец, — возразил слесарь. — Ему лет сто двадцать, не больше. Эй, Барнеби, дружок, позови его, пусть уберется с кресла.

— Позвать его? — повторил Барнеби. Сидя на полу, он откинул волосы со лба и посмотрел на Вардена блуждающим взглядом. — Разве его заставишь подойти, если он не хочет? Это он зовет меня и заставляет идти с ним, куда ему вздумается. Он идет вперед, а я — за ним. Он — господин, я — его слуга. Ведь верно, Грип?

Ворон каркнул отрывисто и как-то благодушно, доверительно, словно говоря: «Не надо посвящать этих людей в наши тайны. Мы с тобой понимаем друг друга и этого довольно».

— *Мне* приказывать ему? — продолжал Барнеби, кивая на ворона. — А вы знаете, он никогда не спит, ни на минуту не смыкает глаз — и ночью, когда ни взглянешь, они светятся в темноте, словно искры. Да, да, каждую ночь до утра он бодр, как днем, толкует сам с собой, придумывает, что делать завтра, куда нам с ним пойти и что ему стащить, и припрятать или зарыть. *Мне ему* приказывать? Ха-ха-ха!

После некоторого размышления ворон, видимо, решил добровольно сойти к Барнеби. Бегло обозрев позицию, бросив искоса взгляд сначала на потолок, потом на каждого из присутствующих, он слетел на пол и двинулся к Барнеби — не прыгал и не бежал, а шагал, как щеголь в тесных башмаках, который пытается идти быстро по разбитой мостовой. Дойдя, вскочил на протянутую ему руку Барнеби, милостиво уселся на ней и разразился каскадом звуков, слегка напоминавших хлопанье пробки, вылетающей из бутылки. Откупорив таким образом восемь — десять бутылок, он снова очень громко и внятно объявил о своем родстве с нечистой силой.

Слесарь только головой качал. Его, кажется, мучили сомнения, действительно ли этот ворон — не более, как птица; а, может быть, он жалел Барнеби, который, прижав к себе ворона, катался вместе с ним по полу. Отведя глаза от бедного юноши, слесарь встретился взглядом с его матерью, которая только что вошла в комнату и молча смотрела на эту картину.

Она была очень бледна, даже губы ее побелели, но уже владела собой и сохраняла свое всегдашнее спокойствие. Вардену показалось, что она избегает его взгляда и что она тотчас занялась раненым только для того, чтобы не говорить с ним, Варденом.

Она сказала, что мистеру Эдварду пора лечь спать, он и так просидел дольше, чем следует, целый час, а ведь утром его должны перевезти домой. Поняв намек, слесарь стал прощаться.

— Да, кстати, — заметил Эдвард, пожимая ему руку и глядя то на него, то на миссис Радж. — Что это за шум был внизу? Я слышал и ваш голос. Хотел спросить об этом раньше, но мы заговорили о другом, и я забыл... Что случилось?

Слесарь покосился на миссис Радж и прикусил губы. А она, облокотясь на спинку стула, стояла молча, опустив глаза. Барнеби тоже притих — он слушал.

— Это был какой-то пьяный или сумасшедший, сэр, — ответил, наконец, Варден, пристально глядя на вдову. — Он ошибся дверью и хотел вломиться сюда.

Вдова вздохнула свободнее, но стояла все так же молча и неподвижно. Когда слесарь пожелал всем доброй ночи и Барнеби схватил свечу, чтобы посветить ему на лестнице, миссис Радж отняла у сына свечу и, с непонятной торопливостью и суровостью приказав ему оставаться наверху, сама пошла проводить Вардена. Ворон отправился вслед за ними, чтобы удостовериться, все ли внизу в порядке. Когда они подошли к входной двери, он стоял уже на нижней ступени лестницы, без передышки откупоривая бутылки.

Вдова дрожащими руками сняла цепочку, отодвинула засов, повернула ключ в замке... Когда она взялась за ручку двери, слесарь сказал вполголоса:

— Мэри, я сегодня солгал только ради вас, по старой дружбе. Ни за что я не унизился бы до лжи, если бы дело касалось меня. Дай бог, чтобы эта ложь никому не причинила вреда и не привела к беде. Скажу вам прямо, вы вызвали в моей душе невольные подозрения, и я очень неохотно оставляю здесь мистера Эдварда. Смотрите, чтобы с ним не случилось ничего худого! Я теперь уже не уверен, что он здесь в безопасности. Хорошо, что он завтра уедет. Ну, выпустите меня.

Вдова закрыла лицо руками и заплакала. Видно было, что ей очень хочется что-то ответить, но, пересилив себя, она молча открыла дверь — ровно настолько, чтобы слесарь мог протиснуться, — и жестом попросила его уйти. Едва он переступил порог, как она захлопнула дверь и заперла ее, а ворон, словно одобряя такую осторожность, залаял, как дворовый пес.

«Якшается с каким-то висельником... он бродит около ее дома, подслушивает... И Барнеби почему-то вчера ночью первым оказался на месте нападения... Неужели же она, которую люди всегда так уважали, могла втайне заниматься всякими темными делами? — рассуждал про себя слесарь. — Да простит мне бог, если я ее виню на-

прасно... Но она бедна, а искушения сильны... Каждый день приходится слышать и не такие вещи... Каркай, каркай, приятель! Если тут творится что-то недоброе, так я готов поклясться, что этому ворону все известно».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Миссис Варден была, как говорится, женщина изменчивого нрава — это значит, что она с довольно стойкой неизменностью по мере сил портила всем жизнь. Так, например, когда другим бывало весело, миссис Варден непременно хмурилась, а когда другие грустили, миссис Варден проявляла неумеренную веселость. Словом, эта достойная женщина была настолько капризна, что с легкостью, которой позавидовал бы Макбет *, способна была в одну минуту переходить от мудрой рассудительности к нежеланию что-либо понять, от бешенства к сдержанности, от сочувствия к равнодушию. Мало того — иногда она умудрялась, меняя последовательность своих настроений в ту и другую сторону, за какие-нибудь четверть часа проходить через всю шкалу этих взлетов и падений, пуская в ход арсенал женского оружия с искусством и быстротой, поражавшими зрителя.

Эта славная женщина (не лишенная привлекательности, полная и цветущая, но, как и ее прелестная дочь, невысокого роста) становилась тем капризнее, чем лучше ей жилось, и замечавшие это друзья семейства Варден — как мужчины, так и почтенные матроны — брали на себя смелость утверждать, что, если бы она скатилась пониже на каких-нибудь полдюжины ступеней социальной лестницы — ну, например, если бы лопнул банк, куда ее супруг поместил свои деньги, или случилась другая неприятность в таком роде, миссис Варден стала бы другим человеком и наверняка — одной из самых кротких жен на свете. Правы они были или нет, одно несомненно: чересчур хорошая жизнь часто портит характер, так же как чересчур обильная еда портит желудок, и в этих случаях как тело, так и душу с успехом исцеляют

лекарства не только неприятные, но даже противные на вкус.

Правой рукой миссис Варден, главной потатчицей ее капризам, а в то же время и главной ее жертвой, козлом отпущения, на котором она вымещала свой гнев, была ее единственная служанка, мисс Миггс, которую в доме звали просто «Миггс», в силу предрассудков нашего общества, разрешающих отрубать у бедных прислужниц вежливую приставку к фамилии.

Эта Миггс была рослая, худая девица, сварливая, с лицом, хотя и не безобразным, но довольно неприятным, так как оно всегда имело сердитое и кислое выражение; дома она ходила в патенах *. Миггс всех мужчин, как правило, считала презренным полом, совершенно недостойным ее внимания. Они, по ее глубокому убеждению, были коварны, лживы, пьяницы и подлецы, способны на самое ужасное вероломство — словом, народ отпетый. В минуты особенно сильного ожесточения против них (злые языки виновником этого ожесточения называли Сима Тэппертита, который явно пренебрегал ею) она с большой пылкостью высказывала пожелание, чтобы все женщины умерли, ибо только тогда мужчины поймут, какие сокровища были им ниспосланы, и пожалеют, что так мало ими дорожили. Сочувствие Миггс к представительницам ее пола доходило до того, что она порой выражала готовность с величайшей радостью повеситься, утопиться, зарезаться или отравиться назло мужчинам, если только ей будет гарантировано, что солидное, кругленькое число — ну, хотя бы десять тысяч — молодых девиц последуют ее примеру.

Эта-то Миггс приветствовала слесаря, когда он постучал в дверь своего дома, пронзительным криком: «Кто там?»

— Я, я, — отозвался он.

— Как, сэр, уже вернулись? — делая удивленное лицо, сказала Миггс, когда отперла ему дверь. — А мы с хозяйкой только что надели ночные чепчики и собирались вас дожидаться. Ах, ей было *так* плохо!

Миггс сказала это с трогательным простодушием и участием, но, так как дверь в гостиную была открыта, Гейбриэл отлично понял, для чьих ушей предназначались

эти слова, и, смерив Миггс далеко не одобрительным взглядом, прошел в комнаты.

— Хозяин вернулся, мэм, — воскликнула Миггс, забежав вперед. — Вы ошибались, мэм, а я была права. Я так и знала, что он не захочет и вторую ночь заставлять вас ждать допоздна. Настолько-то хозяин всегда внимателен к вам. Я так рада за вас, мэм!.. Да и меня тоже, — с жеманной улыбкой добавила Миггс, — немножечко клонит ко сну. Теперь я вам признаюсь в этом, хотя прежде уверяла, что совсем не хочу спать. Ну, да это, разумеется, никого не интересует.

— А коли клонит ко сну, так и шла бы ты спать, — сказал слесарь, от души сожалея, что здесь нет ворона Барнеби и он не может вцепиться в лодыжки этой девы.

— Покорно благодарю, сэр, — отпарировала Миггс. — Я не смогу спокойно помолиться и потом уснуть, если не уложу сначала мою хозяйку. По правде сказать, ей давно пора быть в постели.

— Уж больно вы разговорчивы стали, мисс, — заметил Варден, косо взглянув на нее и снимая кафтан.

— Я поняла ваш намек, сэр, и покорнейше благодарю за него,— воскликнула Миггс, вся вспыхнув.— Но позволю себе заметить, что, если даже кого-нибудь здесь задевает моя забота о хозяйке, я не стану просить прощения и с радостью готова терпеть все неприятности и даже пострадать за это.

Тут миссис Варден (во время всего этого разговора она сидела, склонив голову в огромном ночном чепце, скрывавшем ее лицо, и, казалось, была всецело погружена в чтение «Наставлений протестантам») подняла глаза и отблагодарила Миггс за ревностную защиту лишь приказанием «придержать язык».

Все жилы на шее Миггс напряглись от обуревавшей ее дикой злобы, но она ответила только:

— Слушаю, мэм, придержу.

— Ну, как ты себя чувствуешь, мой друг? — спросил слесарь, садясь подле жены, которая снова углубилась в чтение, и энергично потирая колени.

— А тебя это очень интересует? — отрезала миссис Варден, не поднимая глаз от страницы. — На це-

лый день оставил меня одну! Если бы я и умирала, ты и тогда бы не пришел.

— Что ты, Марта, милая!.. — начал слесарь.

Но супруга перевернула страницу, затем снова заглянула на предыдущую, — вероятно, чтобы освежить в памяти последние строки, — и продолжала сосредоточенно, с живым интересом изучать текст «Наставлений».

— Ну, Марта, милая, — повторил слесарь, — как ты можешь говорить такую ересь! Ведь ты же отлично знаешь, что это не так. С чего бы тебе умирать? Да если бы ты была серьезно больна, я не отходил бы от тебя днем и ночью.

— Да, в этом я не сомневаюсь! — воскликнула миссис Варден, рыдая. — Разумеется, ты кружил бы надо мной, как стервятник, ожидая, чтобы я испустила дух и чтобы тебе можно было жениться на другой.

Миггс стоном выразила сочувствие хозяйке, но тотчас замаскировала этот стон кашлем, как бы говоря: «Что делать, я не могла удержаться при виде такой убийственной жестокости этого чудовища, моего хозяина».

— Да, не сегодня-завтра ты меня в гроб вгонишь, — продолжала миссис Варден, уже менее воинственно. — И тогда мы оба будем счастливы. Мне только хочется увидеть Долли хорошо пристроенной, а потом ты, как только пожелаешь, можешь от меня избавиться.

— Ах! — снова простонала Миггс и тотчас снова закашлялась.

Бедный слесарь больше рта не раскрывал и только теребил свой парик. Прошло довольно много времени, прежде чем он осмелился кротко спросить:

— А Долли уже легла?

— Хозяин спрашивает вас, — сказала миссис Варден, строго поглядев через плечо на свою наперсницу.

— Нет, мой друг, я обращался к тебе, — возразил слесарь.

— Вы слышали, что я сказала, Миггс? — крикнула его упрямая супруга, топнув ногой. — Вы тоже меня уже ни в грош не ставите? Еще бы, когда перед глазами такой пример!

Услышав столь жестокий упрек, Миггс, у которой слезы всегда были наготове и могли изливаться большими

или малыми порциями при первой надобности и без малейших затруднений, разразилась бурными рыданиями, крепко прижав обе руки к сердцу, словно только так можно было помешать ему разбиться на мелкие кусочки. А миссис Варден, обладавшая не менее усовершенствованной способностью проливать слезы, зарыдала тоже, соревнуясь со своей служанкой, да так успешно, что через некоторое время Миггс сдалась, уступив хозяйке поле сражения, и только время от времени всхлипывала, словно угрожая снова дать волю своим чувствам. Видя, что превосходство ее безусловно признано, миссис Варден скоро успокоилась и впала в тихую меланхолию.

Облегчение, испытанное при этом мистером Варденом, было так велико, а передряги прошлой ночи так его утомили, что он уже клевал носом и, наверное, проспал бы в кресле до утра, если бы голос супруги минут через пять не заставил его вздрогнуть и очнуться.

— Когда мне случается быть в хорошем настроении, — заговорила миссис Варден не сварливо, но тоном зудящим, полным упрека, — когда я весела и расположена побеседовать — вот какое я встречаю к себе отношение!

— А уж как вы были веселы полчаса назад, мэм! — воскликнула Миггс. — Никогда еще я не видела вас в таком приятном настроении.

— Я никому на дороге не становлюсь и никогда ни во что не вмешиваюсь, — продолжала миссис Варден. — Я не спрашиваю, куда кое-кто беспрестанно уходит и откуда приходит, мои мысли заняты одним — как бы поэкономнее вести хозяйство, я в этом доме работаю, как вол, — и вот награда! Вот как меня здесь мучают!

— Помилуй, Марта, — взмолился слесарь, всеми силами стараясь показать, что он ни минуты не дремал и совершенно бодр, — чем ты недовольна? Право же, я пришел домой с самыми лучшими намерениями и от всей души хотел, чтобы все было хорошо. Ну, поверь мне!

— Чем я недовольна? Удивительно приятно, когда муж дуется и, как только пришел домой, тотчас засыпает! Когда он замораживает в тебе все чувства, выливает на тебя ушат холодной воды! Я знаю, что он ходил по делу,

которое интересует меня больше, чем кого бы то ни было, и, естественно, ожидала, что он расскажет мне обо всем без всяких просьб с моей стороны. Я вас спрашиваю — естественно такое желание или нет?

— Прости, Марта, — миролюбиво сказал слесарь. — По правде говоря, я боялся, что ты не расположена сейчас к дружеской беседе. Я с удовольствием расскажу тебе все, моя милая.

— Нет, спасибо, Варден, — возразила его супруга, с достоинством поднимаясь с места. — Я не ребенок, которого можно наказать, а через минуту приласкать, для этого я, пожалуй, уже старовата, Варден! Возьми свечу, Миггс, и проводи меня. Ты-то по крайней мере можешь быть весела и счастлива.

Миггс, до этой минуты из сочувствия хозяйке пребывавшая в глубочайшей меланхолии, вдруг необычайно оживилась, энергично мотнула головой, бросив взгляд на Гейбриэла, схватила свечу и удалилась вместе с хозяйкой.

«И кто бы поверил, что эта женщина бывает мила и приветлива? — сказал себе Варден, пожав плечами и придвинув кресло поближе к огню. — А между тем это так. Ну, что поделаешь, у каждого свои слабости. Не мне осуждать ее за них — ведь мы так давно женаты».

Он скоро задремал опять, так же безмятежно — этого здорового духом человека трудно было вывести из равновесия. Сидя с закрытыми глазами, он не мог видеть, как приоткрылась дверь с лестницы и кто-то просунул голову в комнату, но, увидев его, поспешно ретировался.

— Хотел бы я, чтобы кто-нибудь женился на Миггс, — пробормотал слесарь себе под нос, проснувшись от стука двери и обводя взглядом комнату. — Да, хорошо бы! Но это невозможно. Едва ли найдется на свете сумасшедший, который решится на это!

Утомленный столь серьезными размышлениями, Гейбриэл опять уснул и спал так долго, что огонь в камине успел догореть. Проснувшись, наконец, он, как обычно, запер входную дверь и, положив ключ в карман, пошел наверх в спальню.

Через несколько минут после его ухода дверь в темную теперь гостиную снова приоткрылась, и сначала в нее

просунулась голова, а после этой рекогносцировки вошел Сим Тэппертит с лампой в руке.

— И какого черта он торчал тут так долго? — бормотал этот джентльмен, проходя через комнату в мастерскую. Здесь он поставил лампу на горн. — Из-за него пропала добрая половина ночи! Ей-богу, только и пользы от моего проклятого ремесла, что я здесь в мастерской изготовил себе вот эту штуку!

Он вытащил из правого кармана грубо сделанный большой ключ и, осторожно вставив его в замок, тихонько отпер только что запертую хозяином дверь. Затем опять спрятал в карман свое изделие и, не потушив лампы, так же бесшумно, со всякими предосторожностями заперев за собой дверь, шмыгнул на улицу. Этого никак не мог подозревать не только крепко спавший слесарь, — это не снилось даже Барнеби, чьи сны были полны самых фантастических видений.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Выбравшись из хозяйского дома, Сим Тэппертит сразу отбросил всякую осторожность и, хорохорясь, с заносчивым и самоуверенным видом отчаянного парня, которому ничего не стоит убить человека и даже, в случае надобности, съесть его живьем, торопливо зашагал по темным улицам.

То и дело приостанавливаясь, чтобы ощупать карман и убедиться, что его замечательный ключ на месте, он дошел до Барбикена и, свернув в одну из самых узеньких уличек, расходившихся отсюда, только теперь замедлил шаг и утер разгоряченное лицо — видимо, дом, куда он направлялся, был уже близко.

Не очень-то подходящее это было место для ночных прогулок — оно пользовалось более чем сомнительной репутацией, да и на вид было не из приятных. Из глухого переулка, куда свернул Сим, темный проход вел в тупик, нечто вроде немощеного и вонючего двора, где было темно, хоть глаз выколи. В эту-то мрачную яму

ощупью пробрался предприимчивый подмастерье слесаря и, остановившись перед облупленным, грязным домом, на фасаде которого в качестве вывески подвешено было грубое подобие бутылки, качавшейся взад и вперед, как преступник на виселице, трижды ударил ногой по железной решетке. Не дождавшись ответа на свой сигнал, мистер Тэппертит рассердился и опять трижды стукнул по решетке.

На этот раз изнутри откликнулись довольно скоро. У ног Сима Тэппертита словно разверзлась земля, и из отверстия выглянула чья-то лохматая голова.

— Это вы, старшина? — спросил сиплый голос, внушавший так же мало доверия, как и голова.

— Я. А кто же еще? — надменным тоном отозвался мистер Тэппертит, спускаясь вниз.

— Да ведь уже так поздно, что мы и ждать вас перестали, — сказал обладатель сиплого голоса, остановившись, чтобы запереть решетку. — Опаздываете, сэр.

— Ступайте вперед, — с угрюмой важностью скомандовал мистер Тэппертит. — И оставьте свои замечания при себе, пока вас не спрашивают. Вперед! Живей!

Последнее приказание звучало несколько театрально и было, пожалуй, излишним, поскольку спускаться по узким, крутым и скользким ступеням нужно было очень осторожно: всякая поспешность или уклонение с проторенной дороги грозило им купаньем в зиявшем внизу огромном чане с водой. Но мистер Тэппертит, подобно некоторым другим великим мужам, любил эффектные жесты и позы. Он снова крикнул «вперед!», стараясь, чтобы голос звучал хрипло, и, скрестив на груди руки, нахмурив брови, первым сошел в подвал. Здесь в углу стояли небольшой медный котел, два-три стула, стол, скамья и низенькая кровать на колесиках, покрытая рваным лоскутным одеялом. На очаге мерцал слабый огонь.

— Добро пожаловать, наш благородный старшина! — приветствовал новоприбывшего какой-то долговязый и тощий субъект таким голосом, каким говорят спросонья.

«Старшина» кивнул ему и, сняв верхнее платье, стоял неподвижно в величественной позе, сверля глазами своего подчиненного.

— Что нового? — осведомился он, наконец, когда, казалось, уже заглянул ему в самую душу.

— Ничего особенного, — ответил тот, потягиваясь. Это был такой верзила, что сейчас, когда он выпрямился во весь рост, на него даже страшно было смотреть. — Почему вы так поздно?

— Это мое дело, — был единственный ответ, каким удостоил его старшина. — Что, зал готов?

— Готов.

— А новичок здесь?

— Здесь. И еще несколько человек — слышите, как шумят?

— В кегли играют! — сказал недовольно старшина. — Вот пустые головы!

Нетрудно было угадать, чем именно развлекаются эти «пустые головы»: под сводом душного подвала стук разносился, как отдаленные раскаты грома. Если другие два погреба были похожи на тот, в котором происходил этот отрывистый разговор, то на первый взгляд действительно казалось странным, что люди выбрали для развлечений такое место: пол был сырой, глиняный, голые кирпичные стены и потолок испещрены следами улиток и слизней, а воздух — спертый, затхлый, тошнотворно-зловонный. Едкий и острый запах, заглушавший все остальные, наводил на мысль, что в погребах этих еще недавно хранили сыры, чем и объяснялась липкая влажность воздуха; это же вызывало приятное предположение, что здесь водятся крысы. Кроме того, от естественной сырости все углы заросли не только мхом, но целыми кустами плесени.

Хозяин этого восхитительного убежища и обладатель вышеупомянутой взлохмаченной головы (парик на нем был облезлый и растрепанный, как старая метла трубочиста) между тем успел спуститься вниз. Он молча стоял в стороне, то потирая руки, то поглаживая седую щетину на подбородке, и только усмехался. Глаза его были зажмурены, — но будь они даже широко открыты, по напряженно-внимательному выражению лица, болезненно-бледного, как у всех, кто живет без воздуха в подвалах, и по беспокойному дрожанию век легко было угадать, что он слеп.

— Даже Стэгг — и тот заснул, вас дожидаясь, — сказал долговязый, кивнув в сторону слепого.

— Да, да, спал как убитый! — воскликнул тот. — Что будет пить мой благородный начальник — коньяк, ром, виски? Настойку на порохе или кипящее масло? Скажите только слово, о Львиное Сердце, и мы добудем вам все, что угодно, — даже вино из епископских погребов или расплавленное золото с Монетного двора короля Георга.

— Чего-нибудь покрепче, — важно сказал мистер Тэппертит, — да неси скорее! А *откуда* ты его возьмешь, мне все равно. Хоть из винных погребов самого дьявола!

— Сильно сказано, благородный старшина! — отозвался слепой. — Вот это речь, достойная Вождя Подмастерьев! Ха-ха! Из чертовых погребов! Славная шутка! Старшина острит. Ха-ха-ха!

— Вот что, приятель, — изрек мистер Тэппертит, устремив свой «пронзительный» взор на хозяина, который, подойдя к стенному шкафу, ловко и уверенно, как зрячий, достал оттуда бутылку и стакан. — Если будешь так шуметь, то сейчас убедишься, что старшина шутить вовсе не намерен. Заруби это себе на носу!

— Ох, он на меня смотрит! — воскликнул Стэгг, останавливаясь и делая вид, будто заслоняется бутылкой. — Я чувствую на себе его взгляд, хотя не вижу его. Не смотрите на меня, благородный старшина! Ваши глаза сверлят, как бурав!

Мистер Тэппертит мрачно усмехнулся и, еще раз метнув взгляд в сторону слепого, который прикинулся страшно испуганным, уже менее грозным тоном приказал ему подойти и впредь держать язык за зубами.

— Слушаю, начальник. — Стэгг подошел к нему вплотную и наполнил стакан доверху, не пролив ни капли, так как держал мизинец на краю стакана и перестал наливать, как только жидкость смочила палец.

— Пейте, благородный старшина! Смерть всем хозяевам и да здравствуют их подмастерья! Да будут любимы все красотки! Выпейте, храбрый генерал, и пусть вино разгорячит ваше мужественное сердце!

Мистер Тэппертит милостиво взял стакан из его протянутой руки. Пока он пил, слепой опустился на одно

колено и с видом смиренного восхищения стал осторожно гладить его икры.

— Ах, если бы я был зрячий! — приговаривал он. — Если бы я мог полюбоваться на моего старшину! Ах, зачем мои глаза не могут увидеть эту пару точеных ног, угрозу семейному счастью всех мужей на свете!

— Пусти! — сказал мистер Тэппертит, глянув вниз на свои обожаемые конечности. — Оставь меня в покое, слышишь, Стэгг?

— Когда я после этого трогаю свои собственные, — продолжал слепой, сокрушенно ударяя себя по ляжкам, — я начинаю их презирать. Рядом с дивными ножками моего капитана они кажутся просто деревяшками.

— Еще бы! — воскликнул мистер Тэппертит. — Вздумал сравнивать мои ноги со своими старыми зубочистками! Этого только недоставало! На, возьми стакан. А ты, Бенджамен, веди меня туда. За работу!

С этими словами Сим опять скрестил руки на груди, сурово нахмурил брови и величественно проследовал за своим товарищем к низенькой двери в другом конце подвала. Оба скрылись за этой дверью, а Стэгг, оставшись один, погрузился в размышления.

Помещение, куда вошли мистер Тэппертит и его спутник, представляло собой такой же слабо освещенный погреб с усыпанным опилками полом. Он находился между передним погребом, откуда они пришли, и тем, где, судя по шуму и гомону, происходила игра в кегли. По сигналу долговязого галдеж и стук там разом сменились мертвой тишиной, и тогда этот молодой джентльмен, подойдя к небольшому шкафу, достал из него берцовую кость, которая некогда составляла, должно быть, неотъемлемую часть какого-то столь же долговязого парня. Кость эту Бенджамен вручил мистеру Тэппертиту, а тот, приняв ее, как принимают скипетр или жезл, эмблему власти, лихо заломил набекрень свою треуголку и вскочил на большой стол, на котором для него уже было заранее поставлено председательское кресло с веселенькими украшениями — двумя человеческими черепами.

Как только мистер Тэппертит занял это почетное место, появился второй молодой джентльмен, который нес большую книгу с застежками, прижимая ее обеими ру-

ками к груди; с низким поклоном в сторону Тэппертита он передал книгу Бенджамену, затем приблизился к столу и, повернувшись к нему спиной, застыл в позе Атласа *. Тогда и долговязый Бенджамен влез на стол и, сев в другое кресло, пониже председательского, торжественно положил огромную книгу на спину безмолвного участника этой церемонии, раскрыл ее, действуя так уверенно, словно перед ним не чужая спина, а деревянный пюпитр, — и приготовился вносить в нее записи пером соответствующей величины.

Окончив все эти приготовления, Бенджамен посмотрел на мистера Тэппертита, и тот, повертев в воздухе костью, ударил ею девять раз по одному из черепов. После девятого удара из подвала, где играли в кегли, появился третий молодой джентльмен и, низко поклонясь, остановился в ожидании.

— Подмастерье! — произнес славный вождь Тэппертит. — Кто там ждет?

Подмастерье доложил, что в погребе ожидает новичок, который желает вступить в тайное общество Рыцарей-Подмастерьев и приобрести ту свободу и те права и привилегии, которыми пользуются члены этого общества. Тут мистер Тэппертит опять взмахнул костью и, угостив изрядным ударом в нос второй череп, провозгласил:

— Впустить его!

Услышав приказ, подмастерье опять отвесил низкий поклон и удалился туда, откуда пришел.

Вскоре из той же двери появились двое других, они сопровождали третьего, с завязанными глазами. На нем был парик с кошельком *, широкополый кафтан, обшитый вытертым галуном, и на боку — шпага, ибо устав предписывал наряжать новичка при вступлении в Общество в этот парадный костюм, который держали здесь для таких случаев, пересыпав его для сохранности лавандой. Один из конвоиров держал ржавый мушкетон, направив его прямо в ухо новичку, другой — старинную саблю, которой он на ходу кровожадно размахивал, кромсая с ловкостью анатома воображаемых противников.

Когда эта безмолвная группа приблизилась к столу, мистер Тэппертит надвинул шляпу на самые брови, а новичок склонился перед ним, прижав руку к груди. Доста-

точно насладившись этими знаками смиренной покорности, старшина приказал снять с глаз новичка повязку и стал испытывать на нем силу своего магнетического взора.

— Так! — глубокомысленно произнес он, наконец, после этого испытания. — Приступайте!

Верзила Бенджамен прочел вслух:

— Марк Джилберт, девятнадцати лет. Работает у Томаса Керзона, чулочника, на Голден-Флис, в Олдгете. Любит дочь Керзона. Любит ли она его, — не может сказать с уверенностью, но думает, что любит. На прошлой неделе во вторник Керзон надрал ему уши.

— Что я слышу! — крикнул старшина, содрогаясь.

— Да, с вашего позволения, сэр, — надрал мне уши за то, что я смотрел на его дочку, — подтвердил новичок.

— Впишите Керзона в список осужденных, — приказал старшина. — И поставьте против его фамилии черный крест.

— С вашего позволения, сэр, — это еще не самое худшее, — сказал новичок. — Он обзывает меня лодырем и, если недоволен моей работой, не дает мне пива. Меня кормит голландским сыром, а сам ест честер. Со двора отпускает не каждое воскресенье, а только раз в месяц.

— Вопиющее дело! — объявил мистер Тэппертит сурово. — Отметьте Керзона не одним, а двумя черными крестами.

— Хорошо бы, если бы ваше братство, — начал новичок, хилый, кривобокий, неказистый с виду парень с впалыми, близко посаженными глазами, — сожгло его дом, потому что он не застрахован, или задало ему хорошую трепку, когда он вечером возвращается из клуба домой, и помогло мне увезти его дочь и обвенчаться с ней тайно — во Флите обвенчают кого угодно, все равно, хочет она этого или нет *.

Но мистер Тэппертит взмахнул своим зловещим жезлом, предупреждая этим, чтобы его не перебивали, и приказал поставить против фамилии Керзона три черных креста.

— Это означает «месть страшная и неумолимая», — милостиво пояснил он. — Ученик, чтишь ли ты Конституцию? *

На это новичок, согласно наставлениям своих «поручителей», отвечал:

— Чту.

— Чтишь ли Церковь, Государство и все, что у нас в Англии установлено законом, — за исключением хозяев?

И снова новичок ответил:

— Чту.

Дав такой ответ, он покорно выслушал речь старшины, приготовленную заранее для таких случаев. Мистер Тэппертит объяснил ему, что в силу этой самой Конституции (которая хранится где-то в железном сундуке — где именно, так и не удалось выяснить, иначе он сумел бы раздобыть себе копию) подмастерьям в былые времена жилось привольно: им очень часто предоставлялись свободные дни, они разбивали головы десяткам людей, не повиновались хозяевам и даже совершили несколько знаменитых убийств на улицах. Но постепенно все эти привилегии у них отняли, и теперь они ограничены в своих благородных стремлениях. Столь позорное и унизительное ограничение их прав несомненно — следствие новых веяний, и вот они объединились для борьбы против всяких новшеств и перемен, за восстановление добрых старых обычаев и будут бороться, чтобы победить или умереть.

Целесообразность такого движения вспять старшина доказывал ссылками на мудрых крабов и на довольно обычную тактику мулов и ослов. Затем он изложил новообращенному основные цели их братства, которые в немногих словах можно формулировать так: мщение тиранам-хозяевам (в их жестоком, нестерпимом деспотизме ни минуты не сомневается ни один подмастерье) и восстановление всех прежних прав подмастерьев. К выполнению этой миссии братство их еще не готово, ибо состоит пока только из двадцати смельчаков, но они дали клятву во что бы то ни стало добиться своей цели — хотя бы огнем и мечом, если это понадобится.

Затем мистер Тэппертит изложил текст присяги *, которую обязан был дать каждый член их небольшой группы, жалкого остатка доблестной старой корпорации: эта внушительная и грозная присяга обязывала членов общества по первому требованию оказывать сопротивле-

ние лорд-мэру, меченосцу, капеллану и шерифу, ни во что не ставить Совет олдерменов, но, когда придет время всеобщего восстания подмастерьев, ни в коем случае не причинять вреда Тэмпл-Бару, ибо это — оплот Конституции * и к нему должно относиться с полным уважением.

Изложив все эти пункты с большим жаром и красноречием и не преминув сообщить новичку, что мысль создать такое братство возникла в его, мистера Тэппертита, плодовитом мозгу под влиянием все нараставшего чувства ненависти ко всякой несправедливости и угнетению, старшина спросил новичка, хватит ли у него мужества принести такую присягу, или он предпочитает, пока не поздно, отказаться от вступления в братство.

Тот объявил, что готов дать требуемую клятву, чем бы это ему ни грозило, и церемония была проделана с соблюдением всех жутких подробностей, среди которых прежде всего следует отметить освещение обоих черепов при помощи вставленных внутрь огарков и беспрестанные манипуляции берцовой костью, не говоря уже о довольно-таки устрашающих упражнениях мушкетом и саблей и доносившихся откуда-то жутких завываниях невидимых подмастерьев. Когда, наконец, был совершен весь таинственный и зловещий ритуал, стол отодвинули к стене, кресло сняли, скипетр старшины убрали и положили на место, шкаф заперли на замок, а двери между всеми тремя погребами раскрыли настежь, и «Рыцари-Подмастерья» предались веселью.

Но мистер Тэппертит был выше этого жалкого стада, и сознание собственного достоинства редко позволяло ему веселиться вместе с другими. Он развалился на скамье с видом человека, изнемогающего под бременем своего величия, и равнодушно наблюдал за игрой в кегли, карты и кости, всецело занятый мыслями о дочке слесаря и о печальной участи того, кому выпало на долю жить в такие гнусные времена.

— А наш благородный старшина ни во что не играет, не поет и не танцует! — промолвил хозяин погреба, подсев к мистеру Тэппертиту. — Так выпейте хотя бы, мой храбрый генерал!

Мистер Тэппертит осушил до дна поданный ему бокал и, заложив руки в карманы, с мрачным видом стал

расхаживать по кегельбану, а его соратники (таково влияние гения на толпу) задерживали катившиеся шары, с немым почтением оберегая его тощие голени.

«Эх, мне бы родиться пиратом, корсаром, рыцарем больших дорог или патриотом, это ведь одно и то же, — думал мистер Тэппертит, бродя между кеглями. — То-то было бы славно! А влачить такое презренное существование в полной неизвестности... Ну, да ничего!.. Терпение! Я еще прославлюсь. Какой-то внутренний голос шепчет мне постоянно, что я буду велик. Не сегодня-завтра я сорвусь с цепи, и тогда какая сила меня удержит? При одной этой мысли вся кровь бросается мне в голову...»

— Налей-ка еще! А где же наш новичок? — осведомился затем мистер Тэппертит не то чтобы громовым голосом (ибо, по правде говоря, голос у него был надтреснутый и довольно визгливый), но весьма внушительно.

— Здесь он, старшина! — отозвался Стэгг. — Я чувствую, что около меня стоит кто-то чужой.

— А что, — спросил мистер Тэппертит, устремив взгляд на стоявшего поблизости человека, который действительно оказался новоиспеченным «рыцарем», успевшим уже переодеться в свой обычный костюм. — Есть у тебя восковой слепок ключа от хозяйского дома?

Долговязый Бенджамен предупредил ответ новичка, достав с полки слепок.

— Отлично, — сказал мистер Тэппертит, внимательно осматривая его при глубоком молчании окружающих (по таким слепкам он изготовлял секретные ключи для всех членов Общества и, быть может, этим ничтожным обстоятельством отчасти объяснялся его высокий авторитет — вот от каких пустых случайностей зависит иногда судьба великих мужей!). — По этому слепку сделать ключ легко. Подойди сюда, приятель.

Положив слепок в карман, он знаком отозвал новичка в сторону и все так же без слов, жестом предложил ему пройтись вместе по залу.

— Итак, значит, ты любишь хозяйскую дочь? — спросил он, сделав несколько рейсов из конца в конец погреба.

— Люблю, — ответил новичок. — Честное слово, люблю. Стану я врать, что ли!

— А скажи, — продолжал мистер Тэппертит, хватая

его за руку и впиваясь в него взором, который мог бы отразить всю силу смертельной злобы, если бы Симу не помешала неожиданная икота. — Есть у тебя... соперник?

— Насколько я знаю, нет, — ответил подмастерье.

— А если бы был, что бы ты... гм...

Вместо ответа парень свирепо сжал кулаки.

— Довольно! — с живостью воскликнул мистер Тэппертит. — Мы понимаем друг друга. За нами наблюдают... Благодарю!

С этими словами он отпустил парня и уже один быстро прошелся несколько раз взад и вперед. Затем, подозвав долговязого Бенджамена, велел ему немедленно написать и наклеить на стену приказ, которым некий Джозеф Уиллет (известный под именем Джо) из Чигуэлла объявлялся вне закона, и всем Рыцарям-Подмастерьям, под страхом исключения из Общества, запрещалось оказывать ему какую бы то ни было помощь и поддержку и даже общаться с ним, а также предписывалось всячески досаждать и вредить этому Джозефу, задевать и оскорблять его, затевать с ним ссоры, где бы и когда бы они его ни встретили.

Облегчив душу этой решительной мерой, мистер Тэппертит соблаговолил подойти к столу, за которым пировали Рыцари, и, постепенно оттаяв, согласился председательствовать. В конце концов он даже порадовал компанию, спев песенку. Он простер свою любезность до того, что проплясал под скрипку (на которой играл один талантливый член Общества) матросский танец так лихо, с такой необычайной живостью и блеском, что зрители просто не знали, как выразить свой восторг, а слепой Стэгг со слезами на глазах объявил, что никогда еще он так не сожалел о своей слепоте.

Но, удалившись на время от общества, — вероятно, для того, чтобы наедине оплакивать свое несчастье, — хозяин скоро вернулся и объявил, что до рассвета остался какой-нибудь час, не больше, и петухи Барбикена уже кричат во все горло, как будто их режут. Услышав это, Рыцари поспешно встали из-за стола и гуськом, один за другим поднявшись наверх, разбрелись в разные стороны. Их вождь вышел последним.

— Покойной ночи, старшина, — шепотом сказал сле-

пой, выпустив его. — Прощайте, храбрый генерал! Пора вам бай-бай, знаменитый вождь... Счастливого пути тебе, пустая башка, чванный осел, хвастун, коротконогий идиот!

После этого последнего напутствия, которое он прехладнокровно произнес вслух, прислушиваясь к удалявшимся шагам старшины, слепой запер решетку и сошел вниз. Здесь он развел огонь под котелком и без всякой посторонней помощи принялся за свое дневное занятие: он продавал наверху, во дворе, суп, бульон и вкусный пудинг по одному пенни за порцию, стряпая все это из разных объедков, которые к вечеру можно было за гроши купить оптом на Флитском рынке. Сбывал он свою стряпню главным образом по знакомству, так как место было глухое и далеко не такого сорта, чтобы привлекать много гуляющих.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Летописцы пользуются привилегией проникать, куда хотят, входить и выходить сквозь замочные скважины, летать на крыльях ветра повсюду, не зная преград. Время, расстояние, место — им не помеха. Да будет трижды благословенно это последнее обстоятельство, ибо оно дает нам возможность последовать за негодующей Миггс в святилище ее спальни и находиться в столь приятном обществе в течение многих часов ее томительного ночного бдения.

Мисс Миггс, «рассупонив» (как она мысленно выражалась) свою госпожу (это означало, что она помогла ей раздеться) и поудобнее уложив ее в постель в задней комнате на втором этаже, ушла к себе в мансарду. Вопреки ее заявлению в присутствии хозяина, ей вовсе не хотелось спать; поставив на стол свечу, она отдернула занавеску и, задумавшись, смотрела на темное, грозно хмурившееся небо.

Быть может, она гадала, на какую из этих звезд суждено ей перенестись, когда окончится ее краткое земное существование, или мысленно искала среди сверкающих небесных тел то, под которым родился мистер Тэппертит.

Быть может, задавала себе вопрос, как эти светила могут взирать сверху на вероломство мужчин и до сих пор от омерзения еще не стали зеленее, чем фонари над входом в аптеки; * а может, она ни о чем не думала. Во всяком случае, она не ложилась и сидела у окна, как вдруг ее внимание, чуткое ко всему, что касалось коварного и обольстительного подмастерья, привлек какой-то шум в соседней комнате, *его* комнате, где он спал и, быть может, иногда грезил о ней.

Однако сейчас он, очевидно, не спал, а если спал, то ходил во сне, как лунатик: из комнаты доносилось шуршание, словно кто-то усердно тер выбеленную стену; затем тихонько скрипнула дверь и на площадке послышались чьи-то едва уловимые крадущиеся шаги. Тут мисс Миггс побледнела, затрепетала под влиянием страшного подозрения и несколько раз чуть слышно прошептала: «О, какое счастье, что у меня дверь на запоре». Впрочем, она ошибалась (наверное, у нее от страха путались мысли): засов на ее двери не был задвинут.

Однако слух мисс Миггс, столь же острый, как ее язычок, и неугомонный, как ее нрав, немедленно убедил ее, что мистер Тэппертит прошел мимо двери и, по-видимому, цель его ночных странствий совсем иная, ничего общего с нею не имеющая. Это открытие еще больше ужаснуло мисс Миггс, и она уже готова была поднять крик: «Караул! Воры!», от чего до этой минуты воздерживалась, но тут ей пришло в голову сперва осторожно выглянуть на лестницу и проверить, основательны ли ее подозрения.

Приоткрыв дверь на площадку и вытянув шею, чтобы заглянуть через перила, она, к своему великому удивлению, увидела, что мистер Тэппертит, совсем одетый, держа в одной руке башмаки, а в другой лампу, крадучись сходит с лестницы. Не сводя с него глаз — для этого она тоже спустилась на несколько ступенек, чтобы поворот лестницы не мешал ей следить за ним, — она увидела, как Сим сунулся было в дверь столовой, но тотчас отскочил и со всей быстротой, на какую был способен, пустился в обратный путь вверх по лестнице.

— Тут какая-то тайна, — сказала вслух достойная девица, когда благополучно вернулась к себе в комнату, с

трудом переводя дух после быстрого отступления, — ей-богу, тут что-то кроется!

Возможность уличить кого-нибудь в чем-либо всегда действовала на мисс Миггс так возбуждающе, что никакое снотворное, даже белена, не помогли бы ей уснуть. Она снова услышала шаги мистера Тэппертита — она услышала бы их даже, если бы этот человек не шел на цыпочках, а летел, как пушинка. Через некоторое время, выскользнув на площадку, мисс Миггс, как и в прошлый раз, увидела внизу удалявшуюся фигуру Сима. Он снова опасливо заглянул в столовую, но теперь уже не отступил, а вошел туда и скрылся.

Миггс вернулась к себе в комнату и в мгновение ока очутилась у окна. Скоро Сим вышел на улицу, старательно закрыл за собой дверь, попробовал коленом, заперта ли она, и, сунув что-то в карман, пошел прочь от дома.

Наблюдая за ним, Миггс воскликнула сначала: «Господи!», затем: «Господи, помилуй!», затем: «Господи, спаси и помилуй!», после чего, схватив свечку, сошла вниз, как до нее сошел мистер Тэппертит. Войдя в мастерскую, она увидела горящую на горне лампу и все остальное в том виде, в каком его оставил Сим.

— Ого! Пусть меня после смерти сволокут на кладбище без траурного катафалка с перьями, если этот мальчишка не смастерил себе второй ключ! — воскликнула Миггс. — Ах, злодей!

К такому заключению она пришла не сразу, а поразмыслив и осмотрев и обшарив всю мастерскую; подозрения ее укрепились, когда она вспомнила, что, несколько раз, появляясь в мастерской неожиданно, заставала Сима за какой-то таинственной работой. А чтобы вас не удивляло, что мисс Миггс называла про себя «мальчишкой» того, кого удостоила своей благосклонности, надо вам знать, что она всех мужчин моложе тридцати лет склонна была считать детьми, молокососами, эта черта — не редкость у особ типа мисс Миггс и обычно сопутствует такой неукротимой воинствующей добродетели.

Несколько минут мисс Миггс что-то соображала, глядя на входную дверь так пристально, словно не только глаза ее, но и мысли были прикованы к этой двери. Затем она

достала из ящика листок бумаги и свернула его в длинную тоненькую трубочку. Наполнив эту трубочку мелкой угольной пылью из горна, она подошла к двери и, став на одно колено, принялась умело вдувать эту пыль в замочную скважину. Когда таким искусным и остроумным способом скважина была совершенно забита, мисс Миггс, тихонько хихикая, уползла наверх в свою комнату.

— Ну, вот! — воскликнула она, потирая руки. — Теперь посмотрим, угодно ли вам будет обратить на меня внимание, сэр! Ха-ха-ха! Думаю, что теперь вы перестанете пялить глаза на одну только мисс Долли. В жизни не видывала ничего противнее этой пухлой кошачьей морды!

Сделав такое критическое замечание, она удовлетворенно погляделась в зеркальце, словно говоря: «Слава богу, этого никак нельзя сказать обо мне». Действительно, красота мисс Миггс была совершенно иного типа, того, который мистер Тэппертит характеризовал довольно метко, мысленно называя эту молодую особу «драной кошкой».

— Не лягу спать сегодня ночью, пока ты не вернешься, дружок, — вслух сказала Миггс и, закутавшись в шаль, придвинула к окну два стула, на один села, на другой положила ноги. — Нет, нет, — повторила она злорадно, — не лягу ни за что, ни за сорок пять фунтов!

Лицо ее выражало смесь самых разнообразных и противоречивых чувств — злорадство, хитрость, торжество, напряженное ожидание... Она напоминала людоедку из сказки, которая подстерегает в засаде молодого путника, чтобы полакомиться его мясом.

Мисс Миггс терпеливо и спокойно просидела под окном всю ночь. Наконец уже перед рассветом она услышала шаги, и мистер Тэппертит подошел к дому. Ей легко было по звукам догадаться, что он делает. Он пробовал вставить ключ в замок, затем дул в него, колотил ключом о фонарный столб, чтобы выколотить из него уголь, подносил к свету и разглядывал, ковырял щепками в дверном замке, пытаясь его прочистить, прикладывался к отверстию сперва одним глазом, потом другим, опять вставлял ключ, но ключ не поворачивался и, что еще хуже, крепко застрял в замке, а Сим, пробуя его вытащить, согнул его, и после этого ключ еще упорнее не хо-

тел вылезать обратно, и потом Сим повернул и дернул его изо всех сил, а ключ выскочил так внезапно, что Сим отлетел назад. Он исступленно колотил в дверь ногой, дергал ее и в конце концов схватился за голову и в отчаянии сел на ступеньку крыльца.

Когда наступила эта критическая минута, мисс Миггс, делая вид, что обмирает от страха и цепляется за подоконник, чтобы не упасть, высунула из окна свой ночной чепец и слабым голосом спросила, кто там.

Мистер Тэппертит громко прошипел «тсс!» и, отойдя на середину улицы, неистовой жестикуляцией и мимикой умолял мисс Миггс молчать и не выдавать его.

— Скажите мне только одно, — пролепетала она, — кто это? Воры?

— Нет, нет, нет! — крикнул мистер Тэппертит.

— Так, значит, — продолжала Миггс уже совсем замирающим голосом, — значит, пожар? Где горит, сэр? Я чувствую, что это где-то около моей комнаты. Мне все ясно, сэр, и я скорее умру, чем решусь спуститься по приставной лестнице. Я прошу только об одном — передайте прощальный привет от меня моей замужней сестре на площади Золотого Льва номер двадцать семь, дверь направо, второй звонок...

— Миггс! — крикнул мистер Тэппертит. — Неужели вы меня не узнаете? Это Сим, вы же знаете, Сим...

— Ах, что с ним? — простонала Миггс, всплеснув руками. — Он в опасности? Он погибает в огне? О боже, боже!

— Да здесь я! Здесь! — Мистер Тэппертит ударил себя в грудь. — Разве вы не видите? Господи, какая дура!

— Здесь? — воскликнула Миггс, не обратив внимания на этот комплимент. — Как!.. Боже, что все это значит?.. Вы слышите, мэм, здесь...

— Молчите, — завопил мистер Тэппертит, встав на цыпочки, как будто надеялся таким способом дотянуться с улицы до мансарды и заткнуть рот мисс Миггс. — Тише! Я уходил со двора без спроса, а тут что-то приключилось с замком. Сойдите вниз и откройте в мастерской окно, чтобы я мог попасть в дом.

— Боюсь, Симмун, — воскликнула Миггс (так она выговаривала его имя), — право, боюсь! Вы отлично

знаете, какая я робкая... сойти вниз поздно ночью, когда весь дом спит и везде темно... — Тут она умолкла и содрогнулась, как будто уже одна эта мысль леденила ее целомудренную девичью душу.

— Ну, послушайте, Миггс, — умолял мистер Тэппертит, став под уличный фонарь, чтобы она могла видеть его глаза. — Дорогая моя Миггс...

Миггс тихо пискнула.

— Я вас так люблю, я только о вас и думаю... — Невозможно описать, что́ он при этом вытворял глазами. — Сойдите же, сделайте это ради меня...

— Ах, Симмун, этого я больше всего боюсь! Я знаю, что, если сойду, вы захотите еще...

— Что, милочка?

— Поцеловать меня, — истерически взвизгнула Миггс. — Или сделаете что-нибудь такое же ужасное. Знаю, что сделаете!

— Клянусь вам! — сказал мистер Тэппертит с проникновенной серьезностью, — клянусь душой, что не трону вас. Уже совсем рассвело, и скоро проснется сторож. Ангел мой, Миггс, сойдите, впустите меня, я вам честно обещаю не трогать вас.

Мольбы его так смягчили чувствительное сердце мисс Миггс, что она, не дожидаясь клятвы (ибо она знала, как сильно искушение, и боялась, что он может стать клятвопреступником), не сошла, а слетела вниз и своими нежными ручками отодвинула тяжелые оконные задвижки. Впустив ветреного Сима и пролепетав: «Симмун спасен!» — она, по обычаю слабых женщин, немедленно упала в обморок.

— Я так и знал, что укрощу ее взглядом, — сказал Сим, несколько смущенный таким оборотом дела. — Конечно, я был заранее уверен, что этим кончится. Но что же мне было делать? Если бы я не пустил в ход глаза, она не сошла бы вниз... Ну, ну, Миггс, постойте минутку! Какая она скользкая, никак ее не удержишь! Ну, постойте же минутку, Миггс, слышите?

Но так как Миггс оставалась глуха ко всем его мольбам, мистер Тэппертит прислонил ее к стене, как трость или зонтик, и закрыл окно. Затем он снова обхватил руками неподвижное тело и, останавливаясь на каждом

шагу, с немалыми усилиями, ибо нести ее сильно мешал коротышке Симу ее высокий рост и отчасти, вероятно, уже отмеченная им особенность ее сложения, втащил Миггс наверх в ее комнату, снова поставил, как зонтик или палку, у двери и ушел.

— Как бы он ни был холоден ко мне, — пробормотала мисс Миггс, очнувшись от обморока, как только ее оставили одну, — я теперь знаю его секрет, и ничего он с этим не поделает, хотя бы у него было двадцать голов вместо одной!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Стояло утро ранней весны, какие часто бывают в эту пору года, когда природа, легкомысленная и изменчивая, как все в юности, еще не может решить, вернуться ли ей назад к зиме или устремиться навстречу лету, и в нерешимости своей склоняется то к одной, то к другому, а то и к обоим сразу, — на солнце заигрывает с летом, в тени льнет к зиме. Словом, было одно из тех весенних утр, когда погода за какой-нибудь час меняется много раз, бывает то жаркой, то холодной, то сырой, то сухой, то ясной, то пасмурной, то унылой, то веселой, то суровой, то мягкой и живительной. В такое-то утро мистер Уиллет, дремавший у медного котла, был внезапно разбужен стуком копыт и, выглянув в окно, увидел путешественника, который остановил лошадь у дверей «Майского Древа» и внешностью своей сразу пробудил в душе старого Джона самые сладкие надежды.

Он ничуть не походил на тех нахальных молодчиков, которые, спросив кружку подогретого пива, располагаются в зале, как у себя дома, словно они заказали целую бочку вина, или на какого-нибудь развязного молодого шалопая из тех, кто пролезает даже за прилавок, в святая святых хозяина, и, хлопая его по плечу, начинает выспрашивать, была ли когда-нибудь в доме хоть одна хорошенькая девушка и куда он прячет своих молоденьких служанок, или сыплет другими дерзостями в таком

же роде. Всадник явно был и не из тех бесцеремонных господ, которые очищают свои сапоги о таган камина и не считают нужным пользоваться плевательницами, не из тех бессовестных кутил и обжор, которые требуют каких-то необыкновенных котлет и толкуют о таких приправах, о каких здесь никто и не слыхивал.

Подъехавший к двери гость был степенный, важный и приветливый джентльмен уже не первой молодости, но державшийся очень прямо и поджарый, как борзая. Он сидел на сильном гнедом жеребце, и по ловкой и грациозной посадке легко было угадать опытного наездника, а сбруя, красивая и без модных тогда щегольских украшений, обличала его хороший вкус. На всаднике был костюм для верховой езды, зеленый и, пожалуй, несколько более яркого оттенка, чем подобало человеку его лет, с отделанными галуном карманами и манжетами и короткий плащ черного бархата — весь этот костюм отличался изысканным изяществом; сорочка тончайшего полотна и безупречной белизны была у шеи и рук расшита богатым узором. Судя по брызгам грязи на одежде, всадник ехал верхом от самого Лондона, тем не менее лошадь имела вид такой же свежий и приглаженный — волосок к волоску, — как седой парик ее хозяина. Оба — и всадник и лошадь, казалось, ничуть не устали, и, если бы не забрызганные грязью платье и сапоги, можно было бы подумать, что этот господин, цветущий, белозубый, прекрасно одетый и безмятежно-спокойный, только что старательно и не спеша закончил свой туалет, чтобы у ворот Джона Уиллета позировать художнику для портрета верхом.

Не подумайте, что старому Джону так сразу и бросились в глаза все эти подробности; нет, он их отмечал очень медленно и постепенно, одну за другой, оценивал каждую в отдельности только после долгого и весьма серьезного рассмотрения. И, разумеется, если бы его с первой же минуты отвлекли от наблюдения расспросами или приказаниями, ему понадобилось бы по меньшей мере две недели, чтобы заметить все это. Но случилось так, что приезжего чем-то сильно заинтересовал старый дом, или, быть может, жирные голуби, кружившие над ним и бродившие по двору, или высокое «майское древо» с флюгером на верхушке, который вот уже пят-

надцать лет был в неисправности и беспрерывно вертелся под аккомпанемент собственного скрипа, — и этот джентльмен некоторое время, не сходя с лошади, молча осматривался кругом. Поэтому Джону, который стоял, держа его лошадь под уздцы и не сводя с него неподвижных глаз, ничто не мешало размышлять, и ему действительно удалось подметить кое-какие мелочи и даже осмыслить их к тому моменту, когда пора было вступить в разговор.

— Любопытное местечко, — промолвил приезжий голосом бархатным, как его плащ. — Вы хозяин этого постоялого двора?

— Да, к вашим услугам, сэр, — отвечал Джон Уиллет.

— Найдется у вас для моей лошади хорошая конюшня, а для меня обед — все равно какой, лишь бы он был опрятно сервирован и быстро подан — да приличная комната? Комнат в этом большом доме, наверное, достаточно, — сказал приезжий, снова оглядывая фасад.

— Все найдется, сэр, — отозвался Джон с совершенно необычной для него живостью, — все, что будет вам угодно.

— Хорошо, что я неприхотлив, — с улыбкой заметил приезжий, — иначе вам, мой друг, трудно было бы выполнить такое обещание.

С этими словами он вмиг соскочил с лошади на стоявший у дверей чурбан.

— Эй, Хью! — крикнул Джон во все горло, затем снова обратился к гостю: — Не прогневайтесь, сэр, что я задерживаю вас на крыльце. Мой сын уехал в город по делам, а он мне, можно сказать, не плохой помощник, без него я как без рук... Хью! Эй, Хью! Этот парень, сэр, лентяй, каких мало, целый день дрыхнет, летом на солнце, зимой в солому зароется и спит... Он, кажется, наполовину цыган... Эй, Хью! О, господи, из-за него такому почтенному гостю приходится дожидаться! Хью! Чтоб ты издох!

— Возможно, что это уже с ним случилось, — заметил приезжий. — Если бы он был жив, он давно бы вас услышал.

— Когда на него нападает лень, он спит, как сурок, — пояснил расстроенный Джон. — Его и пушками не разбудишь.

Приезжий не сделал никакого замечания по поводу этого нового способа будить и расшевеливать людей. Заложив руки за спину, он стоял на крыльце и забавлялся, наблюдая за старым Джоном, который, держа лошадь под уздцы, кажется, колебался между сильным желанием бросить ее на произвол судьбы — и поползновением отвести ее в дом и запереть в столовой на то время, пока он будет обслуживать ее хозяина.

— Идет, наконец! Повесить его мало! — воскликнул вдруг Джон, когда его отчаяние уже достигло предела. — Не слышал ты, что ли, как я зову тебя, мерзавец?

Тот, к кому это относилось, ничего не ответил. Упершись рукой в седло, он одним прыжком очутился на лошади, повернул ее головой к конюшне и мигом ускакал.

— А он довольно проворный малый, когда не спит, — заметил гость.

— Проворный, сэр? — повторил Джон, уставившись на то место, где только что стояла лошадь, и как будто не совсем еще понимая, куда она девалась. — Да он на глазах тает, как пена! Вот он перед вами, а через секунду смотришь — его уж и след простыл!

Закончив так внезапно биографию и характеристику своего слуги, ибо для более пространного сообщения у него не хватило слов, наш оракул повел приезжего по широкой лестнице с расшатанными ступенями наверх, в лучшие апартаменты своей гостиницы.

Они вошли в очень большую комнату, занимавшую всю среднюю часть дома, с двумя громадными окнами-фонарями в противоположных концах, каждое шириной в любую современную комнату; в окнах еще уцелели несколько разноцветных стекол с геральдическими знаками. Разбитые, покрытые трещинами и заплатами, они все еще держались и свидетельствовали, что прежний владелец этого дома заставлял даже дневной свет служить его возвеличению и включил солнце в число своих льстецов, вынуждая его, когда оно заглядывало в окна, освещать гербы его древнего рода и заимствовать новые краски и оттенки у этих эмблем тщеславия.

Но то было в давние времена, а теперь каждый луч солнца проникал сюда, когда хотел, и говорил только

простую, неприкрашенную и горькую правду. Даже эта лучшая комната «Майского Древа» являла собой лишь картину упадка прежнего величия и была слишком велика, чтобы казаться уютной. Некогда здесь шуршала роскошная ткань драпировок, шелестели шлейфы юных красавиц и сияние женских глаз затмевало огонь восковых свечей и блеск драгоценных украшений; здесь звучала музыка, нежные голоса, легкие девичьи шаги, наполняя радостью нарядную комнату. Но все миновало, ушла и радость. То не был больше семейный дом, не рождались здесь и не росли дети, домашний очаг стал наемным, он продавался как настоящая куртизанка. Умрете ли вы, будете ли сидеть у камелька или покинете его, — дому до этого не было дела, дом ни по ком не скучал, никого не любил, и для всех одинаково были у него наготове тепло и улыбки. Да сохранит бог сердце человека от таких перемен, какие происходят со старым домом, когда он становится гостиницей!

В этой холодной пустыне не заметно было ни малейших попыток как-нибудь украсить ее, только перед большим камином были расставлены на квадрате ковра несколько столиков и стульев, и этот оазис был отгорожен ветхой ширмой, разрисованной какими-то уродливыми, ухмыляющимися рожами.

Старый Джон собственноручно разжег сложенные в камине дрова и удалился для важного совещания с кухаркой насчет обеда для гостя. А гость, не ожидая тепла от еще не разгоревшихся дров, открыл окно в дальнем углу и пробовал погреться на бледном и холодном мартовском солнце.

Время от времени он подходил к камину, чтобы поправить трещавшие поленья, или прохаживался из угла в угол, слушая гулкое эхо своих шагов. Когда же огонь хорошо разгорелся, он закрыл окно и, выбрав кресло поудобнее, передвинул его в самый теплый угол у камина. Усевшись здесь, он кликнул старого Джона.

— Сэр? — сказал Джон.

Гость попросил подать ему чернил, перо и бумагу. На высокой каминной полке нашелся старый, запыленный письменный прибор. Поставив его перед гостем, Джон пошел было к двери, но тот знаком вернул его.

— Здесь неподалеку есть усадьба, — промолвил он, написав несколько строк, — которая, если не ошибаюсь, называется Уоррен.

Он произнес это тоном человека, который знает все, а спрашивает только для проформы, поэтому Джон удовольствовался тем, что кивнул головой и кашлянул в руку, вынув ее для этого из кармана, а затем сунул ее обратно.

— Эту записку, — сказал приезжий, пробежав глазами написанное и складывая листок, — нужно доставить туда как можно скорее и принести ответ. Найдется у вас кого послать?

Джон с минуту соображал, потом ответил, что найдется.

— Так пришлите его ко мне.

Джон смутился. Так как Джо был в городе, а Хью чистил гнедого, он рассчитывал послать с этим поручением Барнеби, который только что забрел в «Майское Древо» после одной из своих прогулок. Дурачок готов идти куда угодно, если уверить его, что ему поручается важное и ответственное дело. Но как быть теперь?

— Видите ли, сэр, — начал Джон после долгого молчания, — тот, кого я хочу послать, сбегает проворнее всякого другого, но он вроде как не в своем уме, это у него от рождения, сэр. На ногу он скор и надежнее самой почты, а столковаться с ним, сэр, трудненько — голова не в порядке.

— Вы говорите об этом — как его — Барнеби? — спросил джентльмен, подняв глаза и всматриваясь в мясистое лицо Джона.

— Да, да. — Физиономия Джона выразила крайнее удивление.

— Как он здесь очутился? — откинувшись на спинку кресла, продолжал спрашивать гость все тем же неизменно ровным и любезным тоном и с той же приветливой улыбкой, никогда не покидавшей его лица. — Вчера вечером я видел его в Лондоне.

— Он всегда так: сегодня — здесь, завтра — там, — отвечал Джон, по обыкновению не сразу, а подождав, пока вопрос дойдет до его сознания. — Иногда шагает, как люди, иногда бегом бежит. Его на наших дорогах все

знают, — ну и подвезут кто на телеге или в повозке, кто подсадит сзади к себе на седло. Он ходит и в самые темные ночи, ему дождь и ветер, снег и град — все нипочем.

— И часто он бывает в этом Уоррене? — небрежно спросил гость. — Вчера его мать, помнится, говорила мне что-то об этом, но я не очень-то прислушивался к словам доброй женщины.

— Так точно, сэр, он там частый гость. Его отец, сэр, был убит в этом доме.

— Да, да, слышал, — отозвался гость все с той же милой улыбкой, доставая из кармана золотую зубочистку. — Очень неприятно для семьи.

— Очень, — подтвердил Джон с некоторым замешательством. Его, кажется, осенила смутная догадка, что слишком уж легким тоном гость говорит о столь трагическом событии.

— После убийства, — продолжал между тем этот джентльмен, словно рассуждая сам с собой, — обстановка в доме бывает, должно быть, очень тяжелая... Суматоха, ни минуты покоя... все мысли и разговоры вертятся вокруг одного и того же... Люди бегают вверх и вниз по лестнице, уходят, приходят — невыносимо! Не пожелаю этакой беды ни одному из тех, к кому я хоть сколько-нибудь расположен. Право, это может испортить жизнь человеку... Вы хотели что-то сказать, мой друг? — добавил он, обращаясь к Джону.

— Я хотел вам только сказать, что миссис Радж получает от владельца Уоррена небольшую пенсию, тем они с сыном и кормятся. А Барнеби в Уоррене прижился как кошка или собака, — заметил Джон. — Так послать его с вашей запиской, сэр?

— Да, разумеется, пошлите! И позовите его, пожалуйста, сюда, я сам велю ему поторопиться. Если он не захочет идти, скажите, что его зовет мистер Честер. Думаю, он помнит мою фамилию.

Услышав, кто его гость, Джон был до такой степени поражен, что ничем — ни словом, ни взглядом — не смог выразить своего удивления и вышел из комнаты с совершенно спокойным и невозмутимым видом. Говорят, что, сойдя вниз, он целых десять минут по часам молча смо-

трел на котел и все время не переставал качать головой. Такое утверждение очень похоже на правду, ибо прошло безусловно не менее десяти минут, прежде чем Джон вместе с Барнеби снова появился в комнате приезжего.

— Подойди ко мне, дружок, — сказал мистер Честер. — Ты знаешь мистера Джеффри Хардейла?

Барнеби засмеялся и посмотрел на хозяина, как бы говоря: «Слышите, чтó он спрашивает?» А Джон, крайне шокированный таким нарушением приличий, приложил палец к носу и с немым укором покачал головой.

— Да, сэр, он его знает, — ответил он за Барнеби, косясь на дурачка и хмуря брови, — знает так же хорошо, как вы и я.

— Я-то не имею удовольствия близко знать этого джентльмена, — возразил мистер Честер. — Так что говорите только за себя, мой друг.

Сказано это было все так же спокойно и приветливо, с той же улыбкой, но Джон почувствовал, что его «осадили», и, считая, что потерпел такой афронт из-за Барнеби, дал себе слово при первом удобном случае хорошенько лягнуть его любимца-ворона.

— Вот это передай мистеру Хардейлу в собственные руки, — сказал мистер Честер, запечатав тем временем письмо и знаком подзывая своего посланца. — Подожди ответа и принеси мне его сюда. Если же мистер Хардейл сейчас занят, скажешь ему... Хозяин, может он что-нибудь запомнить и передать на словах?

— Может, если захочет, — ответил Джон. — А вашего поручения он не забудет.

— Почему вы так в этом уверены?

Джон вместо ответа только указал на Барнеби, который, вытянув шею, серьезно и пристально смотрел в лицо мистеру Честеру, энергично кивая головой.

— Так вот, Барнеби, скажешь ему, что, если он сейчас занят, я охотно подожду его ответа. А если ему угодно прийти сюда, я рад буду встретиться с ним сегодня вечером в любой час... Ведь в крайнем случае у вас найдется для меня постель на одну ночь, Уиллет?

Старый Джон, чрезвычайно польщенный этим фамильярным обращением, доказывавшим, что его имя известно знатному гостю, ответил внушительно:

— Еще бы, сэр, разумеется!

Он уже мысленно сочинял панегирик своей лучшей кровати, но мистер Честер прервал его размышления, отдав Барнеби письмо и наказав ему бежать во всю прыть.

— Прыть! — повторил Барнеби, пряча письмо за пазуху. — Прыть! Если хотите видеть настоящую прыть, подите сюда. Вон сюда!

И, к ужасу Джона Уиллета, он схватил мистера Честера за рукав тонкого сукна и, бесшумно ступая, подвел его к окну.

— Глядите вниз, — сказал он тихонько. — Видите, как *они* шепчутся? А теперь принялись плясать и прыгать, делают вид, что забавляются. Смотрите, как они останавливаются, когда думают, что за ними никто не следит, и опять шепчутся. А потом начинают вертеться и скакать. Это они радуются, что придумали какие-то новые проказы. Ишь как взлетают и ныряют!.. А вот опять шепчутся. Им и невдомек, что я часто лежу на траве и наблюдаю за ними. Интересно, что такое они замышляют? Как вы думаете?

— Да это же просто белье, — сказал мистер Честер, — такое, как мы все носим. Оно сушится на веревках, а ветер качает его — вот и все.

— Белье! — повторил Барнеби, близко заглянул ему в лицо и отскочил. — Ха-ха! Право, гораздо лучше быть дурачком, чем таким умником, как вы все. Вот вы не видите там того, что я. Ведь это же призраки вроде тех, что снятся по ночам! Вы не видите глаз в оконных стеклах, не видите, как духи мчатся вместе с сильным ветром, не слышите голосов в воздухе, не видите людей, что скользят тихонько в небе, — ничего! Мне живется гораздо веселее, чем вам со всем вашим умом. Нет, это вы — глупые люди, а мы — умные. Ха-ха-ха! Я бы не поменялся с вами, нет, ни за что!

Прокричав это, Барнеби взмахнул шляпой над головой и стрелой вылетел из комнаты.

— Странное существо! — сказал мистер Честер и, достав из кармана красивую табакерку, взял понюшку табаку.

— Ему не хватает смекалки, — с расстановкой и после долгой паузы изрек мистер Уиллет. — Соображать не спо-

собен, в этом все дело. Я не раз и не два пробовал расшевелить в нем эту самую смекалку, — добавил Джон конфиденциально. — Но ничего не вышло. Такой уж он уродился.

Вряд ли стоит говорить, что мистер Честер выслушал Джона с улыбкой — ведь эта приятная улыбка никогда не сходила с его лица. Но затем он решительно придвинул свое кресло поближе к огню, давая этим понять, что хотел бы остаться один. И, так как у Джона не было больше никакого предлога задерживаться, он вышел из комнаты.

Пока для гостя готовился обед, Джон Уиллет усиленно размышлял. И если мозг его временами работал не так четко, как всегда, то это можно с полным основанием объяснить тем, что Джон в этот день очень уж часто качал головой, от чего изрядно путаются мысли. А как можно было не качать головой?

То, что мистер Честер, о давнишней и закоренелой вражде которого с мистером Хардейлом знала вся округа, вдруг приехал сюда и, видимо, с единственной целью встретиться со своим врагом, что местом встречи он выбрал «Майское Древо», что он спешно послал в Уоррен нарочного — все это были такие камни преткновения, которых мозг Джона не мог одолеть. Оставалось только совещаться с котлом да с нетерпением ожидать возвращения Барнеби.

А Барнеби, как назло, непозволительно задержался, чего с ним до сих пор никогда не случалось. Гостю подали обед, убрали со стола и принесли вино, выгребли из камина золу и снова развели огонь. За окнами померк дневной свет, наступили сумерки, и, наконец, совсем стемнело, а Барнеби все не возвращался. Джон Уиллет не переставал удивляться и был полон мрачных предчувствий, но его гость как ни в чем не бывало сидел себе в кресле, заложив ногу за ногу, и, по всей видимости, мысли его были в таком же порядке, как его костюм, — казалось, этот спокойный, выдержанный джентльмен с непринужденными манерами ровно ни о чем не думает и занят только своей золотой зубочисткой.

— Барнеби что-то запоздал, — решился заметить Джон, поставив на стол принесенные им старые потускнев-

шие подсвечники фута в три высотой и снимая нагар со свечей.

— Да, порядком задержался, — согласился гость, потягивая вино. — Ну, да, наверное, уже скоро явится.

Джон откашлялся и помешал кочергой в камине.

— Судя по несчастью с моим сыном, на дорогах у вас не особенно благополучно, — сказал мистер Честер. — А мне вовсе не хочется, чтобы и меня съездили по черепу — это неприятно само по себе, да еще ставит человека в смешное положение перед теми, кто его случайно подберет. Так что я думаю заночевать здесь. Вы, кажется, говорили, что у вас найдется лишняя кровать?

— Еще какая кровать, сэр! Такие кровати — редкость даже в дворянских домах. Она стоит здесь с незапамятных времен — говорят, ей лет двести будет. Ваш благородный сын — славный молодой человек! — последний спал на ней с полгода тому назад.

— Хорошая рекомендация, клянусь честью! — заметил гость, пожимая плечами, и подкатил кресло еще ближе к огню. — Так позаботьтесь, мистер Уиллет, чтобы постель хорошенько проветрили и в спальне сейчас же жарко натопили камин. В этом доме сыровато и довольно свежо.

Джон опять, больше по привычке, поправил дрова в камине и хотел уже уходить, но в эту минуту на лестнице послышались быстрые шаги и затем в комнату вбежал запыхавшийся Барнеби.

— Через час будет уже в седле, — объявил он, подойдя к мистеру Честеру. — Он целый день не слезал с лошади и недавно вернулся домой. Как только поест и попьет — опять ногу в стремя и поедет на свидание со своим дорогим другом.

— Это он велел тебе так сказать? — спросил мистер Честер, поднимая глаза на Барнеби, — он, казалось, не испытывал ни малейшего смущения или во всяком случае ничем его не обнаружил.

— Да, все кроме последних слов, — пояснил Барнеби, — но он их подумал, я угадал это по его лицу.

— Вот возьми, — пристально глядя на него, сказал мистер Честер и сунул ему в руку деньги. — Это тебе за труды, мой догадливый Барнеби.

— Ого! Этого хватит для Грипа, для меня и для Хью, мы поделимся, — отозвался тот и, спрятав деньги, принялся считать на пальцах: Грип — раз, я — два, Хью — три. А еще — собака, коза, кошки — мы истратим все очень быстро, так и знайте! Эге!.. Взгляните-ка туда! Вы и тут ничего не видите, умники-разумники?

Опустившись на одно колено, он стремительно нагнулся к камину и стал жадно смотреть на дым, густыми черными клубами выходивший в трубу.

Джон Уиллет, считая, по-видимому, что обращение «разумники» относится главным образом к нему, посмотрел туда же с самым глубокомысленным и важным видом.

— Ну, вот скажите, куда *они* уходят и зачем так быстро несутся вверх? — спросил Барнеби. — Почему они всегда так спешат, что наступают друг другу на пятки? Ведь за это самое меня бранят, а я только беру пример с таких вот, как они. Ой, все новые и новые, сколько их! Ишь как хватают друг друга за полы! Одни улетают, другие быстро несутся за ними. Как весело они пляшут! Жаль, что мы с Грипом не умеем так прыгать!

— Что у него в этой корзинке за спиной? — спросил мистер Честер через несколько минут, наблюдая за Барнеби, который все еще, нагнувшись, пытался заглянуть в трубу и сосредоточенно смотрел на клубы дыма.

— Здесь? — переспросил Барнеби, вскочив раньше, чем Джон Уиллет успел ответить. Он встряхнул корзинку и прислушался, склонив голову набок. — Вы хотите знать, кто тут внутри? Ну-ка, ответь ему!..

— Дьявол, дьявол, дьявол! — прокричал из корзины хриплый голос.

— Вот деньги, Грип, — сказал Барнеби, позвенев монетами. — Деньги нам на угощение.

— Урра! Урра! Урра! — откликнулся ворон. — Веселей, не трусь!

Мистер Уиллет, по-видимому, сильно сомневался, может ли джентльмен в богатом камзоле и тонком белье иметь хоть малейшее представление о той неприятной компании, к которой причислил себя ворон. Он поспешил увести Барнеби, чтобы помешать дальнейшим неприличным заявлениям его любимца, и, поклонившись как можно учтивее, вышел из комнаты.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В этот вечер завсегдатаев «Майского Древа» ожидали великие новости: каждому из них, как только он входил и занимал свое законное место у камина, Джон с внушительной расстановкой, шепотом сообщал, что в большой комнате наверху сидит мистер Честер и ожидает прибытия мистера Джеффри Хардейла, которому через Барнеби послал письмо (наверняка угрожающее), и Барнеби уже вернулся.

Для кружка курильщиков и любителей со вкусом посудачить, которым судьба редко посылала новые темы для обсуждения, такая новость была настоящей находкой, даром божьим. Еще бы! Какая-то мрачная тайна, да еще развязка произойдет под этой самой крышей, и можно будет, сидя у камелька, без малейших усилий и затруднений следить за ходом событий и подробно обсуждать их. Какой пикантный вкус это придавало напиткам, какой аромат — табаку! Каждый курил сегодня свою трубку с особенным, сосредоточенным наслаждением и поглядывал на соседей, словно безмолвно поздравляя их с удачей. Настроение было такое праздничное и торжественное, что, по предложению Соломона Дэйзи, все, включая и Джона, выложили по шести пенсов, чтобы вскладчину распить кувшин «флипа» *, превосходного напитка, который был в спешном порядке приготовлен и поставлен прямо на кирпичный пол подле собеседников, чтобы он тихонько покипел еще и настоялся у огня; поднимавшийся от него благоуханный пар смешивался с кольцами дыма из трубок и как бы завесой отделял компанию друзей от остального мира, создавая чудесную интимную атмосферу. В этот вечер даже мебель в комнате казалась новее, тона дерева — сочнее, потолок и стены блестели еще больше, занавески стали краснее, огонь в камине пылал ярче, а сверчки за печкой трещали благодушнее и веселее обычного.

Только два человека в комнате не замечали и не разделяли общего приподнятого настроения. Один из них был Барнеби — он дремал в углу у камина или притворялся спящим для того, чтобы к нему не приставали с вопро-

сами, — второй был Хью, который, растянувшись на скамье с другой стороны, крепко спал, освещенный ярким пламенем.

В этом падавшем на него свете его мускулистое тело атлетического сложения видно было во всей своей красоте. То был молодой великан, здоровый и сильный, чье загорелое лицо и смуглая грудь, густо заросшая черными как смоль волосами, достойны были кисти художника. К его неряшливой одежде из самой грубой и жесткой ткани пристали клочки соломы и сена, обычно служивших ему постелью, такие же клочки запутались в нечесаных кудрях, и поза, в которой лежал Хью, была небрежна, как его одежда. Эта небрежность и что-то угрюмое, даже свирепое в выражении лица придавали ему столько своеобразия, что спящий привлекал внимание даже завсегдатаев «Майского Древа», хорошо его знавших, и долговязый Паркс сказал вслух, что Хью сегодня более, чем когда-либо, похож на разбойника.

— Он, наверно, дожидается здесь, чтобы отвести в конюшню лошадь мистера Хардейла, — заметил Соломон.

— Угадали, сэр, — отозвался Джон Уиллет. — Сами знаете, он не часто заходит в дом. Ему с лошадьми вольготнее, чем с людьми. Он и сам, по-моему, не лучше животного.

И Джон выразительно пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, не всем же быть такими, как мы», после чего, в глубоком сознании своего превосходства над обыкновенными смертными, сунул в рот трубку и закурил.

— Этот парень, сэр, — начал он через некоторое время, вынув трубку изо рта и указывая чубуком на Хью, — не лишен способностей, но они у него где-то глубоко скрыты и, если можно так выразиться, закупорены...

— Превосходно сказано! — вставил Паркс, кивая головой. — Очень удачное выражение, Джонни. Вы сегодня в ударе, я вижу, и кому-нибудь от вас здорово достанется.

— Смотрите, как бы не досталось вам первому, сэр, — отрезал мистер Уиллет, ничуть не польщенный компли-

ментом. — И достанется непременно, если будете перебивать меня... Так я хотел сказать, что у этого парня, хоть он не лишен способностей, глубоко скрытых и закупоренных, не больше смекалки, чем у Барнеби. А почему это так?

Три друга переглянулись и покачали головами, как бы говоря: «Замечаете, какой у нашего Джона философский ум?»

— Почему это так? — продолжал Джон, свободной рукой тихонько постукивая по столу. — Да потому, что способности его не развивали, когда он был еще ребенком. Да. Кто бы мы были, если бы наши отцы не откупорили в нас наших способностей? Что выросло бы из моего Джо, если бы я не развил в нем его способностей? Вы согласны со мной, джентльмены?

— Ну, конечно, согласны! — воскликнул Паркс. — Говорите, говорите, Джон, все это очень поучительно.

— Следовательно, — продолжал мистер Уиллет, — этот парень... надо вам сказать, что, когда он был еще мальчишкой, мать его повесили вместе с шестью другими мошенниками за то, что они сбывали фальшивые банковые билеты, и очень утешительно, что каждые полтора месяца людей вешают целыми партиями за эти и тому подобные провинности, — да, утешительно, потому что это доказывает бдительность нашего правительства... Так вот парнишка остался без призора, и чего только не приходилось ему делать, чтобы заработать несколько пенсов на хлеб, — он пас коров, разгонял птиц в фруктовых садах и все такое... А позднее его приставили к лошадям, и он стал ночевать уже на сеновалах или в конюшнях на соломе, вместо того чтобы валяться под стогами или заборами. В конце концов он нанялся конюхом в «Майское Древо» за харчи и маленькое жалованье. Он неграмотен, он всегда имел дело только со скотом и жил, как скот, поэтому он и сам — не более как животное. И значит, — тут мистер Уиллет дошел, наконец, до логического заключения, — с ним и обращаться следует, как с животным.

— А что, Уиллет, — сказал Соломон Дэйзи, несколько раздраженный вторжением такой ничтожной темы в их интересный разговор, — когда мистер Честер приехал

утром, он сам пожелал, чтобы ему отвели большую комнату?

— Он заявил, что ему нужна большая комната. Да, сэр, так он заявил.

— Ну, тогда я знаю, в чем дело, — торжественным шепотом сказал Соломон. — Они с мистером Хардейлом будут в той комнате драться на дуэли.

Услышав столь потрясающее предположение, все посмотрели на Уиллета. А мистер Уиллет смотрел в огонь, взвешивая в уме все возможные последствия такого события в его гостинице.

— Гм... Не знаю... Впрочем, я хорошо помню, что, когда я заходил к нему в последний раз, он переставил свечи на камин, — сказал он, помолчав.

— Ну, что я вам говорил? — обрадовался Соломон. — Это так же очевидно, как то, что у Паркса есть нос (тут мистер Паркс, у которого был большой нос, потер его, явно приняв это замечание за обидный намек). — Они будут драться в комнате наверху. Кто читает газеты, тот знает, что теперь знатные господа сплошь и рядом дерутся в кофейнях, без секундантов. Да, один из двух будет сегодня ранен, а может, и убит в этом доме!

— Так вы думаете, что Барнеби носил в Уоррен вызов? — спросил Джон.

— Держу пари на целую гинею, что в письме был вызов и клочок бумаги с указанием размеров шпаги, — ответил Соломон. — Характер мистера Хардейла нам известен. И вспомните слова Барнеби насчет того, какое у него было лицо, когда он читал письмо, — вы сами нам это рассказали. Можете не сомневаться, что я прав. Так что будьте начеку!

Никогда еще «флип» не имел такого чудесного вкуса, а табак, обыкновенный английский табак, — такого аромата. Дуэль в большой комнате наверху, и лучшая в доме кровать, заказанная заранее для раненого!

— Интересно, какая будет дуэль, на шпагах или пистолетах? — сказал Джон.

— Бог их знает. Может, и на тех и на других, — отозвался Соломон. — Все знатные господа носят шпаги, а очень возможно, что у них и пистолеты в карманах, наверняка даже! Будут стреляться, а если промахнутся,

то вытащат шпаги из ножен и начнут ими работать вовсю.

Мистер Уиллет насупился было при мысли о разбитых окнах и испорченной мебели, но, рассудив, что один-то из дуэлянтов во всяком случае останется в живых и возместит ему убытки, он опять повеселел.

— А потом, — продолжал Соломон, поглядывая то на одного, то на другого, — потом на полу останется пятно, которое ничем не выведешь. Если победителем окажется мистер Хардейл, пятно будет прочное, не сомневайтесь, а если мистера Хардейла одолеют, то оно будет еще прочнее пожалуй, потому что живым он не сдастся — уж мы-то его знаем.

— Еще бы! — в один голос подтвердили остальные.

— А вывести такое пятно, — продолжал Соломон, — никак невозможно. Знаете, как старались это сделать в одном известном всем нам доме?

— В Уоррене? — воскликнул Джон. — Неужели?

— Да, именно там. Об этом мало кто знает, хотя в деревне и ходили разные толки... Понимаете, половицу строгали, строгали, — ничего не помогало. Скоблили очень глубоко, но пятно уходило еще глубже. Настлали, наконец, новые половицы, но одно большое пятно прошло насквозь и выступило на прежнем месте. И тогда — слушайте внимательно, придвиньтесь ближе! — мистер Джеффри перенес свой кабинет в эту самую комнату и, говорят, всегда садится так, чтобы пятно приходилось у него под ногой. Он долго и много думал и, наконец, решил, что это пятно не исчезнет, пока он не отыщет убийцу.

Как раз когда Соломон окончил свой рассказ и все придвинулись ближе к огню, с дороги в комнату донесся конский топот.

— Это он! — воскликнул Джон и вскочил с места. — Хью! Эй, Хью!

Хью проснулся и, сонно пошатываясь, вышел вслед за хозяином. Джон скоро вернулся в комнату, с величайшей предупредительностью (ведь он был арендатором мистера Хардейла) пропуская вперед долгожданного гостя. Тот вошел, звеня шпорами, и, окинув зорким взглядом компанию у камина, приподнял шляпу в ответ на их низкие и почтительные поклоны.

— Уиллет, у вас тут есть приезжий, который посылал ко мне Барнеби. Где он? — сказал он глухо, обычным своим суровым тоном.

— В большой комнате наверху, сэр, — ответил Джон.

— Так проводите меня туда, на лестнице у вас темно. Покойной ночи, джентльмены.

Сделав Джону знак идти вперед, он вышел и стал подниматься по лестнице, а старый Джон светил ему, от волнения спотыкаясь на каждом шагу и старательно освещая все, что угодно, только не дорогу.

— Стойте! — сказал мистер Хардейл, когда они дошли до верхней площадки. — Я сам доложу о себе. Можете идти.

Он вошел и с треском захлопнул за собой дверь. Мистер Уиллет вовсе не собирался стоять тут в одиночестве и подслушивать, тем более что стены были слишком толстые. Он сошел вниз гораздо проворнее, чем поднимался, и подсел к своим приятелям.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В парадной комнате «Майского Древа» минуту-другую царило молчание. Мистер Хардейл проверил, плотно ли закрыта дверь, и, пройдя через погруженную в полумрак комнату к камину, где экраном отгорожено было теплое и ярко освещенное местечко, без единого слова остановился перед улыбающимся мистером Честером.

Если тайные мысли этих двух человек были столь же различны, как их внешность и манеры, то свидание не обещало быть мирным и приятным. Между ними не было большой разницы в летах, но трудно было встретить двух столь непохожих друг на друга людей. Один — сладкоречивый, изысканно-элегантный, сухощавый, хрупкого сложения, другой — крепкий, коренастый и широкоплечий, небрежно одетый, с резкими грубоватыми манерами, всегда суровый (а сейчас и тон и выражение лица у него были прямо-таки враждебные.) Один все время безмятежно и миролюбиво улыбался, другой недоверчиво

хмурился. Мистер Хардейл старался подчеркнуть свою неприязнь и сильнейшее недоверие к человеку, на зов которого он сюда приехал. А тот, видимо, сознавал свое внешнее превосходство, и сознание это доставляло ему тайную радость, придавало еще больше непринужденной уверенности в себе.

— А, Хардейл, — сказал он без малейшего признака смущения или холодности, — очень рад вас видеть.

— Оставим любезности, при наших отношениях они неуместны, — мистер Хардейл нетерпеливо отмахнулся от него. — Говорите прямо, что вам нужно. Вы меня звали — я приехал. Зачем понадобилась эта встреча?

— Все та же прямолинейность и стойкость! Вы, я вижу, не переменились.

— Да, я все тот же, нравится вам это или нет, — отрезал мистер Хардейл. Он стоял, облокотившись на каминную полку и презрительно глядя на сидевшего в кресле мистера Честера. — И память ни на волосок мне не изменила, я сохранил все свои симпатии и антипатии. Вы просили меня приехать. Повторяю — я здесь.

— Надеюсь, разговор будет мирный, Хардейл? — сказал мистер Честер, улыбнувшись при виде сердитого жеста собеседника (который — быть может бессознательно — схватился за шпагу) и постукивая пальцем по своей табакерке.

— Я пришел сюда по вашей просьбе, считая своей обязанностью встретиться с вами, где и когда бы вы ни пожелали. Но я пришел не для того, чтобы обмениваться любезностями и переливать из пустого в порожнее. Вы, сэр, — светский человек, и язык у вас хорошо подвешен, где мне с вами тягаться! Смею вас уверить, мистер Честер, что вы — последний человек, с которым я решился бы состязаться в сладких любезностях и притворстве: таким оружием я не владею, да у вас, я думаю, вряд ли найдутся соперники в этом искусстве.

— Вы мне льстите, Хардейл, — возразил мистер Честер самым невозмутимым тоном. — Благодарю вас за такое высокое мнение обо мне. Я хочу говорить с вами откровенно...

— Простите, *как* вы сказали?

— Откровенно, прямо, совершенно чистосердечно.

— Ого! — Мистер Хардейл тяжело перевел дух. — Ну, что ж, не буду перебивать вас.

— Да, я это твердо решил, — сказал мистер Честер, с удовольствием потягивая вино. — И никак не хочу с вами ссориться. Что́ бы вы ни говорили, у меня не вырвется ни одного резкого необдуманного слова.

— Вот и тут преимущество на вашей стороне, — заметил мистер Хардейл. — Ваше самообладание...

— Никогда мне не изменяет, пока оно мне выгодно, — это вы хотели сказать? — прервал его мистер Честер все так же благодушно. — Что ж! Допустим! В частности, сейчас оно мне необходимо. Это и в ваших интересах тоже, ибо у нас с вами, я уверен, одна цель. Так давайте же добиваться этой цели, как разумные люди, мы давно уже не мальчики. Не выпьете ли чего-нибудь?

— Я пью только с друзьями, — был ответ.

— Так, может, вы не откажетесь хотя бы присесть?

— Я буду стоять, — нетерпеливо возразил мистер Хардейл. — Да, буду стоять у этого разрушенного убогого очага и, в каком бы он ни был упадке, не оскверню его лицемерием и притворством. Говорите!

— Вы не правы, Хардейл, — сказал мистер Честер и, закинув ногу за ногу, с улыбкой поднял свой стакан с вином так, что огонь ярко заиграл в стекле. — Да, да, кругом не правы. В нашем беспокойном и неуютном мире приходится приноравливаться к обстоятельствам, плыть по течению, лавируя как можно искуснее, и довольствоваться пеной вместо самого напитка, поверхностью вместо глубины, фальшивой монетой вместо настоящей. Не понимаю, как это ни один философ до сих пор не подумал о том, что даже шар земной пуст внутри. Он *должен* быть пуст, если Природа последовательна в своей созидательной деятельности.

— А может, это только *вам* так кажется?

— Думаю, что мне не кажется, что все обстоит именно так. И вот, забавляясь этой погремушкой, которая зовется жизнью, мы с вами имели несчастье столкнуться и поссориться. Мы не друзья в общепринятом смысле слова, но ведь большинство тех, кого свет считает добрыми друзьями, питает друг к другу такие же чувства, как мы с вами. У вас есть племянница, у меня сын,

славный мальчик, но немного сумасброд. Они влюбились друг в друга, и между ними возникли отношения, которые тот же свет называет любовью, то есть нечто столь же обманчивое и эфемерное, как и все в мире, чувство, которое с течением времени рассеется, как дым. Однако если наших влюбленных предоставить самим себе, они не станут ждать, пока время возьмет свое. Значит, весь вопрос теперь в том, будем ли мы с вами — только потому, что свет считает нас врагами, — по-прежнему сторониться друг друга и ждать сложа руки, пока они не бросятся друг другу в объятия, или мы после переговоров, которые сегодня благоразумно начали, соединим усилия — и тогда сможем разлучить их?

— Я люблю племянницу, — сказал мистер Хардейл, помолчав. — Вам это может показаться странным, но я *действительно* люблю ее.

— Странным? — повторил мистер Честер. Он не спеша налил себе второй стакан вина и достал из кармана зубочистку. — Вовсе нет, друг мой! Я тоже расположен к Неду, — или, если употребить ваше слово, люблю его, раз уж так принято называть отношения между близкими родственниками. Да, мне очень нравится Нед. Он — удивительно славный мальчик, и красивый притом. Правда, глупый еще и слабохарактерный, но не больше. Однако скажу вам прямо, совершенно откровенно, как я и обещал, что, не говоря уже о моем и вашем нежелании породниться, не говоря о различии вероисповеданий (а это, черт возьми, тоже очень важное препятствие!), я никак не могу допустить такой брак. Мы с Недом не можем пойти на это. Это невозможно.

— Обуздайте свой язык, если хотите продолжать разговор! — гневно воскликнул мистер Хардейл. — Я уже сказал, что люблю мою племянницу. Так неужели вы думаете, что я допущу, чтобы она бросила свое сердце под ноги человеку, в чьих жилах течет *ваша* кровь?

— Вот видите, как полезно бывает поговорить начистоту, — спокойно заметил его собеседник. — Клянусь честью, я как раз собирался сказать вам то же самое. Я на удивление привязан к Неду, я его просто обожаю, право, и даже если бы мы с ним решились пожертвовать своими интересами, остается это препятствие, совершенно

непреодолимое... Как жаль, что вы не хотите выпить вина!

— Заметьте себе, — сказал мистер Хардейл, подойдя к столу и со всего размаха стукнув по нему кулаком, — тот, кто думает, кто смеет думать, что я словом или делом поощрял это знакомство, тот клеветник! Да, клеветник, и уже одним этим предположением наносит мне тяжкое оскорбление. Мне и во сне не снилось, что Эмма позволит ухаживать за собой человеку, мало-мальски вам близкому.

— Хардейл, — отозвался мистер Честер, покачиваясь в кресле и одобрительно кивая головой, но глядя не на собеседника, а в огонь, — очень хорошо, что вы так пылко и красноречиво соглашаетесь со мной, это только доказывает ваше мужество и великодушие. Честное слово, я чувствую то же самое, но неспособен выражать свои чувства с такой силой и страстью, — вы же знаете, я человек вялый, с ленивым умом, и, надеюсь, извините меня...

— Я запрещу ей переписываться и видеться с вашим сыном, хотя бы это стоило ей жизни, — продолжал, не слушая его, мистер Хардейл, в волнении шагая по комнате, — но постараюсь сделать это как можно мягче и осторожнее. На мне лежат обязанности, которые человеку моего склада совсем не по плечу, — и потому даже то, что они любят друг друга, для меня — новость, я узнаю это только сейчас от вас.

— И сказать вам не могу, как я рад, что не ошибся в вас! — отозвался мистер Честер с самой изысканной любезностью. — Вы сами видите, что нам полезно было увидеться. Мы поняли друг друга и во всем согласны. Мы обо всем договорились и знаем, как нам действовать... Ну, почему вы не хотите попробовать вино вашего арендатора? Право, отличное вино.

— А кто помогал Эмме и вашему сыну? — спросил мистер Хардейл. — Вы не знаете, кто был посредником между ними?

— Ах, мало ли добрых людей на свете! Им помогали, мне думается, все, решительно все вокруг! — ответил мистер Честер с улыбкой. — А больше всех — тот, кого я сегодня посылал к вам...

— Этот полоумный? Барнеби?

— Ага, и вы удивлены? Мне тоже очень трудно было этому поверить. Но я выпытал правду у его матери, очень славной женщины. Главным образом из ее-то слов я и понял, как далеко зашло у них дело, и тогда решил съездить сюда для переговоров с вами на нейтральной почве... А вы пополнели, Хардейл, но выглядите прекрасно.

— Ну-с, я полагаю, мы обо всем переговорили, — прервал его мистер Хардейл с нескрываемым раздражением. — Могу вас заверить, мистер Честер, что моя племянница впредь будет вести себя иначе. Я обращусь к ее женскому сердцу, — добавил он тише, — постараюсь затронуть в ней гордость, честь, чувство долга...

— Таким же образом я намерен воздействовать на Неда, — сказал мистер Честер, носком сапога поправляя высунувшиеся сквозь каминную решетку головешки. — Если в жизни и есть что-либо существенное, так разве только те священные чувства и естественные обязательства, какие должны связывать отца с сыном. Я напомню Неду о требованиях религии и нравственности. Разъясню ему, что брак этот для нас совершенно неприемлем, ибо я рассчитывал, что он сделает хорошую партию и сможет прилично обеспечить меня на склоне лет. Он узнает, что целая свора наглых кредиторов предъявляет совершенно справедливые и законные требования, а уплатить им мы сможем только из приданого его жены. Словом, я ему докажу, что самые возвышенные и благородные человеческие чувства — сыновний долг, сыновняя любовь и все такое — решительно требуют от него, чтобы он похитил какую-нибудь богатую наследницу.

— И как можно скорее разбил ей сердце? — бросил мистер Хардейл, натягивая перчатки.

— Ну, это уж как ему будет угодно, — ответил мистер Честер, отхлебнув из стакана. — Это его дело! Ни за что на свете, Хардейл, я не стану вмешиваться в жизнь моего сына. Конечно, до известной границы, ибо узы, связывающие отца и сына, как известно, священны... Неужели же мне так и не удастся угостить вас стаканом вина? Ну что ж, воля ваша, воля ваша! — добавил он, снова доливая свой собственный стакан.

— Послушайте, Честер, — начал мистер Хардейл после недолгого молчания, во время которого он несколько раз пристально взглядывал на улыбающегося собеседника, — там, где нужна ложь и хитрость, вы превзойдете самого дьявола...

— Ваше здоровье! — сказал с легким поклоном мистер Честер. — Ах, простите, я перебил вас...

— Так вот, — продолжал мистер Хардейл, — если трудно будет разлучить влюбленных, помешать их встречам, переписке, если, например, вы ничего не добьетесь от сына, что вы тогда думаете предпринять?

— Ничего нет проще, мой друг, ничего легче. — Мистер Честер пожал плечами и удобнее расположился в кресле. — Тогда я пущу в ход те способности, которые вы мне приписываете, — хотя вы мне сильно льстите, честное слово, я далеко не заслуживаю ваших комплиментов, — и прибегну к обычным в таких случаях уловкам, чтобы вызвать в Неде ревность и негодование. Вы меня поняли?

— Короче говоря, так как цель оправдывает средства, то мы, чтобы разлучить Эмму и вашего сына, должны будем в крайнем случае прибегнуть к лжи и коварству, — сказал мистер Хардейл.

— Что вы, что вы! Боже упаси! — Мистер Честер с наслаждением понюхал табаку. — Это будет не ложь, а так... немного дипломатии, немного ловкости... небольшая интрига — вот подходящее слово!

— Очень жаль, что я всего этого не мог предвидеть и предупредить, — сказал мистер Хардейл, в волнении шагая по комнате. Он то останавливался, то снова принимался ходить, как человек, у которого на душе очень тревожно. — Но дело зашло так далеко, что сожаления и колебания бесполезны, — надо действовать. Хорошо, я по мере сил буду вам помогать. Во всей обширной сфере человеческих чувств и мыслей мы с вами сходимся только в этом одном. Да, цель у нас будет одна, но действовать мы будем порознь. Надеюсь, нам не понадобится больше встречаться.

— Вы уже уходите? — сказал мистер Честер, вставая с ленивой грацией. — Я провожу вас и посвечу на лестнице.

— Нет, пожалуйста, не трудитесь, — сухо возразил мистер Хардейл. — Я знаю дорогу. — Он слегка поклонился, надел шляпу, вышел, звеня шпорами, и, закрыв за собой дверь, стал сходить по ступеням, скрипевшим под его тяжелыми шагами.

— Уф! Какое грубое животное! — промолвил мистер Честер, снова удобно располагаясь в кресле. — Чурбан неотесанный! Настоящий медведь!

Джон Уиллет и его приятели, которые, сидя в большой комнате, настороженно прислушивались в ожидании, что сверху донесется звон шпаг или выстрелы, и уже заранее установили, в каком порядке им ринуться на зов (причем старый Джон предусмотрительно объявил, что он будет замыкать шествие), были крайне поражены, когда мистер Хардейл сошел вниз живой и невредимый, без единой царапины, велел привести лошадь и, сев на нее, с задумчивым видом медленно поехал прочь. Обсудив вопрос, друзья решили, что он оставил наверху своего противника умирающим; и спокойствие его — просто военная хитрость, чтобы отвлечь подозрения и избежать преследования.

Предположив это, следовало немедленно идти наверх, и они уже готовились выступить в таком порядке, как было условлено заранее, но вдруг сверху донесся громкий звонок — видимо, гость энергично дернул колокольчик, — и этот звон сразу опрокинул все их умозаключения, вызвав общее замешательство и недоумение. Наконец мистер Уиллет решился идти наверх в сопровождении Хью и Барнеби, как самых сильных и отважных из всех присутствующих. Они могли войти в комнату якобы затем, чтобы убрать стаканы.

Под такой надежной охраной храбрый Джон смело вошел в комнату первым, на полшага впереди остальных, и бестрепетно выслушал приказ мистера Честера подать ему машинку для снимания сапог. Она была принесена, и Джон, подставив гостю могучее плечо, с жадным интересом заглянул в его сапоги, когда помог снять их; у него даже глаза на лоб полезли от удивления и разочарования, когда сапоги оказались совершенно пустыми, — а он-то ожидал, что они полны крови! Джон не преминул внимательно осмотреть и самого мистера Честера в уве-



ренности, что увидит в его теле изрядные дыры, проверченные шпагой противника. Не обнаружив таковых и убедившись в конце концов, что гость по-прежнему безмятежно спокоен и никакого беспорядка в его костюме и мыслях не заметно, старый Джон с тяжелым вздохом сказал себе, что дуэль в этот вечер, по-видимому, не состоялась.

— А теперь, Уиллет, — промолвил мистер Честер, — если спальня хорошо проветрена, я испробую вашу знаменитую кровать.

— Комната проветрена, сэр, и теплее, чем только что поджаренные гренки, — ответил Джон, беря свечу с камина, и подтолкнул локтем сначала Барнеби, потом Хью, дав им таким образом понять, чтобы они шли с ним на случай, если джентльмен по дороге вдруг упадет без чувств или умрет от какого-то внутреннего повреждения. — Возьми вторую свечу, Барнеби, и ступай вперед! А ты, Хью, неси за нами кресло.

В таком порядке (причем Джон продолжал вести тщательное наблюдение за гостем, поднося к нему свечу вплотную и то чуть не обжигая ему ноги, то рискуя спалить его парик, причем всякий раз сконфуженно извинялся) шествие вступило в лучшую спальню гостиницы, почти такую же просторную, как комната, из которой они пришли. Здесь у камина, где потеплее, стояла большая старинная кровать с истертым парчовым пологом и резными колонками по углам, увенчанными каждая султаном из перьев, которые некогда были белыми, а теперь от пыли и времени приняли траурный вид и напоминали султаны погребальной колесницы.

— Спокойной ночи, друзья, — сказал мистер Честер с приветливой улыбкой и, осмотрев комнату, уселся в кресло, придвинутое к огню его провожатыми. — Спокойной ночи! Барнеби, голубчик, ты надеюсь, молишься перед сном?

Барнеби утвердительно кивнул головой.

— Он бормочет какую-то бессмыслицу, сэр, и это называет молитвой, — угодливо пояснил Джон. — От такой молитвы толку мало.

— А Хью? — спросил мистер Честер, оглянувшись на конюха.

— А я и вовсе не молюсь, — отозвался Хью. — Но его молитвы, — он указал на Барнеби, — я слыхал. Хорошие молитвы! Он иногда лежит у меня в конюшне на соломе и поет их. А я слушаю.

— Не человек, а сущее животное, сэр, — с достоинством шепнул Джон на ухо мистеру Честеру, — уж не взыщите, сэр. Если у него и есть душа, ее наверно так мало, что не стоит обращать внимание на его слова и поступки. Покойной ночи, сэр!

Гость проникновенно и выразительно ответил: «Да благословит вас бог!» — и Джону оставалось только откланяться. Знаком приказав своим телохранителям идти вперед, он вышел из комнаты и предоставил мистеру Честеру отдыхать в древней кровати «Майского Древа».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Если бы Джозеф Уиллет, объявленный Рыцарями-Подмастерьями вне закона, был дома в то время, когда знатный гость появился у дверей их гостиницы, то есть если бы, по иронии судьбы, этот день не оказался одним из тех шести дней в году, когда ему можно было на несколько часов отлучаться из дому без спросу и без риска получить нагоняй, — Джо, конечно, сумел бы всеми правдами или неправдами проникнуть в тайну мистера Честера и выяснить цель его приезда так досконально, как если бы был его поверенным. Он немедленно предупредил бы влюбленных о грозящей им опасности и помог бы им разумным и своевременным советом, ибо Джо всей душой сочувствовал молодой паре и готов был доказать это, пустив в ход всю свою находчивость и энергию. Объяснялась ли такая готовность Джо расположением его к молодой девушке, история которой почти с колыбели вызывала в нем необычайно живой интерес к ней, или его преданностью молодому Честеру, чье доверие он завоевал своей сметливостью и тем усердием, с каким оказывал Эдварду важные услуги в качестве разведчика и посредника? Были ли тут и другие побудительные

причины — например, естественное для человека молодого сочувствие влюбленным, или постоянные нотации и несносные придирки со стороны почтенного родителя, или тайные сердечные дела самого Джо вызывали в нем товарищеское чувство к Эдварду и Эмме Хардейл, — трудно сказать. Да и не стоит доискиваться истинных причин, поскольку Джо в тот день отсутствовал и не имел возможности делом доказать свою преданность.

Было двадцать пятое марта — этот день, как большинство из вас знает по собственному горькому опыту, с незапамятных времен является одним из тех тягостных дней, которые носят название «платежных». Старый Джон Уиллет считал долгом чести каждый год двадцать пятого марта расплачиваться звонкой монетой с одним лондонским винокуром и виноторговцем, своим поставщиком. И так же неизменно, как неизменно наступало каждый год это число, Джо отправлялся в Лондон, чтобы передать виноторговцу из рук в руки холщовый мешочек с точной суммой долга — ни пенни больше, ни пенни меньше.

Ездил Джо всегда на старой серой кобыле. В уме мистера Уиллета-старшего крепко засела смутная идея, будто эта кобыла, если отправить ее на скачки, несомненно может получить какой-нибудь призовой кубок. Но кобыла никогда не пробовала своих сил на таком поприще, и вряд ли это было возможно в будущем, ибо ей было уже лет четырнадцать, а то и пятнадцать, она страдала запалом и потому шла очень медленно. Более всего выдавали ее возраст облезлые хвост и грива. Несмотря на эти мелкие недостатки, хозяин чрезвычайно гордился своей лошадью, и, когда Хью в тот день подвел ее к крыльцу, Джон удалился за стойку и в уединении своей лимонной рощи даже несколько раз громко засмеялся от избытка восторга и гордости.

— Да, вот это лошадка, Хью! — сказал он, когда, снова обретя душевное равновесие, появился на пороге. — Красота! До чего ретива! Какая кость!

Костей без всякого сомнения было достаточно — это самое, должно быть, подумал и Хью, сидя боком в седле в ленивой позе и согнувшись так, что подбородок его почти упирался в колени. Не пользуясь ни свободно бол-

тавшимися стременами, ни уздечкой, он разъезжал взад и вперед по зеленой лужайке перед домом.

— Смотри же, береги ее, парень, — сказал Джон, обращаясь на сей раз не к безмолвному Хью, а к своему сыну и наследнику, который появился на крыльце, уже совсем одетый и готовый в путь. — Не пускай ее вскачь.

— Да мне это вряд ли удалось бы, отец, — отозвался Джо, безнадежно глядя на кобылу.

— Ну, ну, пожалуйста, без дерзостей, сэр! — осадил его мистер Уиллет. — А чего тебе еще нужно? Тебе, пожалуй, и дикий осел или зебра покажутся слишком смирными? Ты хотел бы скакать на рычащем льве, не так ли? Помалкивай уж лучше!

Когда мистер Уиллет в спорах с сыном, истощив все свое красноречие, переставал задавать вопросы, на которые Джо никогда не отвечал, он обычно кончал свой монолог приказом Джо замолчать.

— И что только в голове у этого мальчишки? — продолжал мистер Уиллет после того, как некоторое время в сильнейшем изумлении таращил глаза на сына. — Заломил шапку набекрень, как настоящий разбойник! Уж не собираетесь ли вы пристукнуть виноторговца, сэр?

— Нет, — сказал Джо отрывисто. — Не собираюсь. Так что можешь быть спокоен, отец.

— Что за воинственный вид у этого шалопая! — не унимался мистер Уиллет, осматривая сына с головы до ног. — Каковы заносчивость и спесь, какая сердитая мина! И зачем это ты нарвал столько крокусов и подснежников?

— Букетик совсем маленький, — оправдывался Джо, краснея. — И, надеюсь, ничего дурного нет в том, что я захвачу его с собой.

— Хорош делец! — презрительно отчеканил мистер Уиллет. — Воображает, что виноторговцев интересуют цветочки!

— Ничего подобного я не думаю, — возразил Джо. — Пусть нюхают своими красными носами бутылки и кружки. Цветы я везу Варденам.

— А мистеру Вардену, по-твоему, очень нужны твои крокусы?

— Не знаю, и, по правде говоря, мне это безразлично, — отрезал Джо. — Давай деньги, отец, и отпусти меня поскорее.

— На, возьми и береги их, — сказал Джон. — Да смотри, не очень торопись ехать обратно, дай кобыле хорошенько отдохнуть. Слышишь?

— Слышу, — ответил Джо. — Отдохнуть ей, конечно, понадобится.

— И не слишком роскошествуй в «Черном Льве», — продолжал Джон. — Это ты тоже заруби себе на носу.

— А почему я не могу иметь свои карманные деньги? — уныло сказал Джо. — Почему ты против этого, отец? Всякий раз, когда ты посылаешь меня в Лондон, мне разрешается только пообедать в «Черном Льве», с тем, что ты сам заплатишь за этот обед, когда будешь в Лондоне. Неужели мне нельзя доверить несколько шиллингов? Зачем ты меня обижаешь? Не могу я спокойно терпеть такую несправедливость!

— Скажите пожалуйста! Он желает иметь свои деньги! — воскликнул Джон, словно не веря ушам. — А что ты называешь деньгами — гинеи? Разве у тебя нет карманных денег? Разве, кроме денег на уплату дорожного сбора, я не отсчитал тебе еще шиллинг и шесть пенсов?

— Шиллинг и шесть пенсов! — сказал Джо с презрением.

— Да, сэр, шиллинг и шесть пенсов! В твои годы я и в руках никогда не держал и не видывал даже такой кучи денег! Шиллинг даю тебе на всякий случай — кобыла может потерять подкову и мало ли что еще. А шесть пенсов — это на развлечения в Лондоне. И советую тебе — поднимись на Монумент * и посиди — это самое лучшее развлечение. Там не будет никаких соблазнов — ни вина, ни женщин, ни беспутной компании. Сиди себе и думай. Так я развлекался в твоем возрасте.

Джо, ничего не ответив, велел Хью подвести лошадь, вскочил в седло и поехал со двора. Такой ловкий и смелый наездник заслуживал лучшего коня. Джон, стоя на крыльце, провожал их глазами (вернее — свою серую кобылу, на Джо он и не глядел) и только минут через двадцать после того, как ездок и лошадь скрылись из виду,

он сообразил, что они уехали, медленно вошел в дом и скоро уже сладко дремал за стойкой.

Горемычная кобыла, источник постоянных мучений Джо, плелась, сама выбирая дорогу, пока гостиница не осталась позади. Тут она, согнув ноги, как марионетка, неуклюже и топорно подражающая галопу, сразу прибавила шагу — опять-таки по собственному почину. Видимо, обычный маршрут всадника был ей хорошо знаком, и это-то побудило ее перейти на рысь и свернуть на боковую тропу меж изгородей, которая шла вовсе не к Лондону, а параллельно проезжей дороге и, пролегая в нескольких стах ярдов от «Майского Древа», в конце своем упиралась в ограду парка. В парке стоял большой старый кирпичный дом, тот самый Уоррен, о котором уже упоминалось в первой главе. Круто остановившись в рощице около дома, лошадь была явно очень довольна, когда всадник, соскочив, привязал ее к дереву.

— Стой тут, старуха, — сказал Джо, — а я пойду узнаю, не будет ли каких поручений.

Предоставив лошади щипать чахлую травку, насколько ей это позволяла привязь, он вошел в парк.

Через две-три минуты дорожка привела его к самому дому, и он, прохаживаясь мимо него, беспрестанно поглядывал украдкой на окна, в особенности — на одно из них. Дом был мрачный, безмолвный, с гулкими дворами, давно необитаемыми башнями и анфиладой запертых комнат, где все обветшало и постепенно разрушалось.

Расположенный террасами парк, темный от густой тени, навевал гнетущую печаль. Высокие чугунные ворота, много лет не открывавшиеся и побуревшие от ржавчины, повисли на ослабевших петлях и заросли высокой буйной травой, — казалось, они пытались уйти в землю и скрыть в благодетельной гуще зелени следы своей унылой старости и ветхости. Украшавшие стены барельефы фантастических чудовищ, позеленевшие от времени и сырости и кое-где замшелые, имели вид зловещий. Даже жилая часть дома, которая содержалась в порядке, наводила тоску той же мрачностью и запустением — казалось, радость изгнана отсюда навсегда. Трудно было вообразить себе в этих печальных, темных покоях ярко пылающий огонь в камине, трудно было

поверить, что в этих неприветных стенах чье-то сердце может узнать счастье или беспечное веселье. Все это было, но давно миновало, и казалось, что видишь перед собой лишь призрак дома, вернувшийся в своем былом обличье на место, где он стоял когда-то.

Мрачный вид и запущенность дома объяснялись, вероятно, смертью прежнего владельца и характером нынешнего, но при воспоминании о том, что здесь произошло, людям невольно приходило на мысль, что дом этот — самое подходящее место для такого злодеяния и, быть может, ему даже предопределено было стать ареной ужасной драмы. Под влиянием таких мыслей пруд, где найдено было тело управляющего, казался людям каким-то особенно черным и угрюмым, колокол на крыше, возвестивший в тот вечер полночному ветру об убийстве, представлялся страшным призраком, и зазвони он сейчас, у всех волосы встали бы дыбом, а когда голые ветви наклонялись друг к другу, то чудилось, будто они тихонько шепчутся о преступлении.

Джо ходил взад и вперед по дорожке, время от времени останавливался, делая вид, что рассматривает дом и любуется пейзажем, или прислонялся к дереву в беспечно-равнодушной позе праздного зеваки, но при этом все время следил за тем окном, на котором с самого начала было сосредоточено его внимание. Так прошло с четверть часа — и, наконец, в этом окне мелькнула белая ручка. Увидев сделанный ему знак, Джо с почтительным поклоном отошел от дома и, когда уже садился на лошадь, пробормотал про себя: «Значит, сегодня поручений нет».

Однако его франтоватый вид, лихой залом его шляпы, вызвавший негодующий протест мистера Джона Уиллета, и букет весенних цветов — все свидетельствовало, что, если у Джо нет чужих поручений, зато есть у него в Лондоне собственное дельце, связанное с особой, интересующей его больше, чем какой-то виноторговец или даже слесарь. Так оно и было. Рассчитавшись с виноторговцем (этот почтенный старец торговал в погребке около набережной Темзы, и лицо у него было такое багровое, как будто он всю жизнь собственной головой поддерживал массивные своды своего погреба) и получив от него

расписку, Джо ушел, отказавшись от четвертого стакана старого хереса, чем несказанно удивил краснолицего джентльмена, который, вооружившись буравом, собирался сделать набег по меньшей мере еще на два десятка покрытых пылью бочонков и после ухода гостя долго еще стоял как истукан, словно пригвожденный к стене своего погреба. А Джо дошел до Уайтчепла и, управившись со скромным обедом в «Черном Льве», презрев совет отца насчет Монумента, направился прямо к дому слесаря, куда его влекли прекрасные глаза Долли Варден.

Джо был парень далеко не робкого десятка, однако, добравшись до угла улицы, на которой жили Вардены, он долго не решался подойти прямо к дому. Сначала походил минут пять по соседней улице, потом пять минут — по другой... Потеряв таким образом целых полчаса, он, наконец, очертя голову, устремился вперед и с пылающим лицом и громко стучавшим сердцем вошел в полную дыма мастерскую.

— Эге! Это Джо Уиллет или его тень? — сказал Варден, выходя из-за конторки, на которой он производил какие-то подсчеты, и глядя на гостя через очки. — Кажется, живой Джо. Вот это здорово! Ну, что поделывает славная чигуэлская братия, Джо? Как там у вас, а?

— Да как всегда, сэр, воюем понемножку.

— Ну, ну, побольше терпения, Джо, — сказал слесарь. — У всех старых людей есть слабости, и с ними надо мириться. А как твоя кобыла? Все так же легко делает четыре мили в час? Ха-ха-ха!.. Что это у тебя, Джо? Ого, букет!

— Ну, какой там букет! Только несколько цветочков. Я хотел... для мисс Долли...

— Нет, нет, — сказал Гейбриэл вполголоса, качая головой. — Зачем Долли? Поднеси их ее матери, Джо. Так будет гораздо лучше. Ты не против того, чтобы отдать их миссис Варден, а, Джо?

— Конечно, нет, сэр, — ответил Джо, не очень успешно пытаясь скрыть свое разочарование. — С большим удовольствием, сэр...

— Ну, вот и хорошо, — слесарь похлопал его по плечу. — Ведь тебе безразлично, кому их отдать, не так ли?

— Совершенно безразлично, сэр. — Боже, какого труда ему стоило выжать из себя эти слова! Они просто застревали у него в глотке.

— Ну, так пойдем, — сказал слесарь. — Меня как раз звали чай пить. Она в столовой.

«Она»? Кто же — мать или дочка?» — подумал Джо. Но слесарь, как будто подслушав этот мысленный вопрос, рассеял все сомнения гостя. Подойдя к двери, он сказал:

— Милая Марта, у нас гость, молодой Уиллет.

Миссис Варден считала «Майское Древо» чем-то вроде западни для мужской половины рода человеческого, ловушки, расставленной для мужей, а хозяина этого трактира и всех его пособников и покровителей — ловцами христианских душ. Более того — она была убеждена, что под мытарями и грешниками, о которых говорится в священном писании, следует разуметь именно трактирщиков, имеющих патент на торговлю спиртными напитками. Все это никак не могло расположить ее к неожиданному гостю, и миссис Варден немедленно пришла в крайне расслабленное состояние, а когда ей почтительно преподнесли крокусы и подснежники, она, по зрелом размышлении, решила, что это они — виновники охватившей ее слабости.

— Боюсь, что я ни минуты больше не смогу оставаться здесь из-за этого запаха, — сказала почтенная дама. — Вы не обидитесь, если я их выставлю за окно?

Джо попросил ее не стесняться и даже пытался улыбнуться, глядя, как его букет отправляют на наружный подоконник. Если бы кто-нибудь знал, какого труда ему стоило собрать эти цветы, с которыми поступили так бесцеремонно!

— Ох, слава богу, избавилась от них! — сказала миссис Варден. — Мне сразу легче стало. — И действительно, она заметно оживилась.

Джо вслух выразил удовольствие по этому поводу. Он все время старался показать, что его ничуть не интересует вопрос, где Долли.

— Все вы там, в Чигуэлле, — ужасные люди, мистер Джозеф, — начала миссис Варден.

— Напрасно вы так думаете, мэм, — возразил Джо.

— Да, да, вы самые жестокие и отчаянные люди на

свете, — продолжала миссис Варден, закусив удила. — Не понимаю, как ваш отец может так поступать! Ведь он сам был женат. То, что это — его хлеб, ничуть его не оправдывает. Я готова была бы уплатить в двадцать раз больше, чем тратит Варден, только бы он приезжал домой в таком виде, как подобает порядочному и трезвому человеку. По-моему, нет ничего противнее и возмутительнее пьяницы.

— Полно тебе, Марта, милая, — весело заметил слесарь. — Давайте-ка пить чай и не поминать о пьяных. Здесь их нет, и Джо такой разговор, наверное, неприятен.

В этот критический момент появилась мисс Миггс с гренками.

— Не сомневаюсь, что он неприятен мистеру Джозефу, да и тебе тоже, Варден, — не унималась миссис Варден. — Однако я ни на кого не намекаю, — тут Миггс кашлянула, — что бы я ни думала про себя. — Миггс выразительно фыркнула. — Тебе никогда не понять, Варден, а мистер Уиллет по молодости лет — уж вы меня извините, сэр, — тем более не может понять, как страдает женщина, ожидая дома пьянствующего мужа. Если вы мне не верите — а я знаю, что не верите! — спросите у Миггс, она часто, слишком часто, видит это... Спросите у нее.

— Ах, как ей было худо той ночью! Как худо, сэр! — воскликнула Миггс. — Если бы не ваша ангельская кротость, мэм, вы, наверное, не перенесли бы этого. Уверена, что не перенесли бы.

— Ты кощунствуешь, Миггс, — сказала миссис Варден.

— Прошу прощения, мэм, — визгливо возразила Миггс, — я этого не хотела, и, смею сказать, это не в моем характере, хоть я и простая служанка.

— Напрасно ты возражаешь, — продолжала ее госпожа, с достоинством поглядывая вокруг. — Как смеешь ты сравнивать с ангелами грешных людей? Меня, бедную грешницу? Что такое все мы, смертные? — Тут миссис Варден украдкой погляделась в зеркало и поправила ленту на чепчике. — Черви, ползающие во прахе.

— У меня и в мыслях не было обидеть вас, — сказала Миггс с тайной уверенностью, что ее комплимент возымел свое действие. И, по обыкновению все повышая го-

лос, продолжала: — Не думала я, что вы так истолкуете мои слова. Уж поверьте, я знаю свое ничтожество и презираю и ненавижу себя и всех ближних, как следует истинной христианке.

— Будь любезна, поднимись наверх, — с величественным видом приказала миссис Варден, — посмотри, оделась ли, наконец, Долли, и скажи ей, что заказанный для нее портшез будет здесь через минуту. Если она заставит себя ждать, я его тотчас же отошлю... Я вижу, ты не пьешь чаю, Варден, и вы тоже, мистер Джозеф. Это меня очень огорчает, но, разумеется, глупо было ожидать, что вам приятна семейная обстановка и общество женщин.

Местоимение, употребленное во множественном числе, показывало, что это язвительное замечание относится к обоим мужчинам, а между тем оба его вовсе не заслуживали, ибо слесарь уписывал завтрак весьма добросовестно, пока жена не испортила ему аппетит, а Джо общество обитательниц этого дома (во всяком случае — некоторых из них) доставляло радость, с какой ничто не могло сравниться.

Но Джо не успел ничего сказать в свою защиту, так как в эту минуту в комнату влетела Долли, и он онемел от восторга. Никогда еще Долли не была так хороша, как сейчас, когда появилась во всем блеске и очаровании своей юности. Очарование еще во сто раз увеличивал ее наряд, который чрезвычайно шел к ней, и тысяча уловок невинного кокетства, которые ни одна женщина не умела с большей грацией пускать в ход. Долли вся сияла в радостном ожидании предстоящего бала.

Проклятый бал! Невозможно передать, *как* Джо ненавидел этот бал и всех, кто будет там окружать Долли!

И она почти не смотрела на него — да, едва удостоила взглядом! А когда увидела в открытую дверь, что в мастерскую внесли портшез, захлопала в ладоши — видно, очень уж торопилась уйти. Джо подставил ей плечо — это было все-таки некоторым утешением! — и помог усесться. Каково было видеть Долли в портшезе, ее глаза, сиявшие ярче алмазов, ее ручку — несомненно самую красивую ручку на свете, — свесившуюся через опущенное окно, и мизинец, приподнятый так задорно, словно он удивлялся, почему Джо не схватит и не поцелует его!

Каково было знать, что скромные подснежники, которые так украсили бы ее изящный корсаж, валяются где-то за окном, и видеть физиономию Миггс, на которой словно написано, что уж ей-то, Миггс, известно, *какими* средствами достигается все это очарование, известна тайна каждого шнурка, каждой булавки, крючка и петельки: все это даже наполовину не то, чем кажется, и она, Миггс, если бы постаралась, могла бы выглядеть ничуть не хуже этой девчонки! Каково было услышать восхитительный легкий крик Долли, когда портшез был поднят на шестах, увидеть в последний раз (мимолетное, но незабываемое зрелище!) ее смеющееся счастливое личико! Какое мученье и вместе с тем — какое блаженство! Даже в носильщиках, которые унесли Долли на улицу, Джо готов был видеть счастливых соперников.

Казалось невероятным, что за столь короткое время в комнате все может так перемениться, как переменилось в столовой, куда они, проводив Долли, вернулись допивать чай. Здесь стало так пусто и уныло! До чего же глупо, бессмысленно сидеть здесь, когда она танцует на балу, а вокруг нее уйма поклонников, и все увиваются за ней, обожают ее, все от нее без ума и хотят жениться на ней!.. А ты сиди тут и томись от скуки, да еще вдобавок Миггс торчит перед глазами все время. Если сравнить ее с Долли, то существование этой особы, самый факт ее рождения на свет кажется какой-то непостижимой насмешкой судьбы.

Конечно, в таком настроении поддерживать разговор было немыслимо, и Джо молча помешивал ложечкой свой чай, размышляя о всех достоинствах дочки слесаря.

Варден.тоже притих. Зато его супруга, как только заметила мрачное настроение обоих, стала весела и разговорчива — такова была особенность ее довольно непостоянного нрава.

— Должно быть, у меня очень жизнерадостный характер, если я еще могу, несмотря ни на что, сохранять хорошее расположение духа, — объявила она, улыбаясь. — Понять не могу, как мне это удается.

— Ах, мэм, — вздохнула Миггс. — Извините, что я вмешиваюсь, но я все-таки скажу: на свете мало таких женщин, как вы.

— Убери со стола, Миггс, — сказала миссис Варден, вставая. — Убери все, пожалуйста, а я пойду к себе. Чувствую, что я здесь только мешаю, и хочу, чтобы все веселились без стеснения, так что мне лучше уйти.

— Нет, нет, Марта, не уходи! — воскликнул слесарь. — Право, нам будет очень жаль, если ты уйдешь. Не так ли, Джо?

Джо встрепенулся и сказал:

— Ну, конечно.

— Спасибо, Варден, друг мой, — возразила супруга. — Но я лучше знаю твои вкусы. Табак и пиво или водка тебе гораздо приятнее моего общества. Где мне с ними соперничать! Так что, дорогой мой, я уж лучше пойду к себе наверх и посижу у окна. До свиданья, мистер Джозеф, очень рада была повидать вас, сожалею только, что не смогла угостить вас чем-нибудь, что вам больше по вкусу. Кланяйтесь вашему отцу и передайте ему, пожалуйста, что, если он когда-нибудь заглянет к нам, у меня будет с ним серьезный разговор. Прощайте!

Все это было сказано самым любезным тоном, после чего достойная дама, сделав реверанс, полный величавой снисходительности, удалилась.

И этого-то дня Джо с таким волнением ожидал много недель, для этого он так усердно собирал цветы и составлял букет, принарядился, лихо заломил набекрень шляпу! Не удалось ему осуществить твердое решение, которое он принимал уже в сотый раз, — объясниться с Долли, сказать ей, как он любит ее! А вместо этого он видел ее одну минуту, только одну минуту, когда она уезжала на бал, сияя от радости, и с ним тут обошлись, как с обыкновенным пьяницей, которому только бы посидеть за трубкой да нахлестаться пива или водки!

Простившись со своим другом Варденом, Джо поспешил в «Черный Лев», где оставил лошадь, и скоро пустился в обратный путь. По дороге домой он, как и множество других Джо до и после него, твердил себе, что всем его надеждам конец, и то, о чем он мечтал, невозможно, несбыточно, что *она* его не любит, и, значит, жизнь разбита навсегда, ему остается только пойти в матросы или в солдаты и подставить лоб под пулю какого-нибудь услужливого врага.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В таком унылом настроении Джо Уиллет медленно трусил на своей кобыле, представляя себе, как дочка слесаря танцует бесконечные контрдансы и напропалую кокетничает с незнакомыми развязными кавалерами (мысль эта была просто нестерпима), как вдруг он услышал за собой стук копыт и, оглянувшись, увидел джентльмена, скакавшего галопом на прекрасной лошади. Проезжая мимо, всадник на миг придержал лошадь и окликнул Джо. Джо пришпорил свою серую кобылу и тотчас поравнялся с ним.

— Я так и подумал, что это вы, сэр, — сказал он, приподняв шляпу. — Какой прекрасный вечер! Я очень рад, что вы уже выезжаете из дому.

Джентльмен с улыбкой кивнул головой.

— Как провели этот счастливый день, Джо? *Она* все так же мила? Ну, ну, не краснейте, дружище!

— Разве я покраснел? Если да, мистер Эдвард, так это от стыда, что я был так глуп и питал какие-то надежды. Она для меня недосягаема, как небо.

— Ну, значит, не так уж недосягаема! — шутливо возразил Эдвард.

— Эх! — Джо вздохнул. — Хорошо вам говорить, сэр. Когда душа покойна, легко шутки шутить... Нет, я уже ни на что не надеюсь... Вы заедете к нам, сэр?

— Да, я еще недостаточно окреп, чтобы ехать дальше. Думаю переночевать у вас, а рано утром по холодку поеду домой.

— Если вы не особенно торопитесь, сэр, — сказал Джо, помолчав, — и если вам не скучно плестись так же медленно, как я на моей несчастной кляче, — то я с удовольствием доеду с вами до Уоррена и постерегу вашу лошадь, пока вы сходите в дом. Тогда вам не нужно будет идти пешком от нас туда и обратно. Времени у меня достаточно, я выехал из Лондона раньше, чем рассчитывал.

— Да и я не спешу, — отозвался Эдвард. — Если я пустил лошадь вскачь, так это, вероятно, в такт своим мыслям: они несутся как ураган. Едемте вместе, Джо, нам обоим будет гораздо веселее. Только не вешайте

носа, Джо, не вешайте носа! Смело атакуйте дочку слесаря, и вы ее победите, ручаюсь вам.

Джо покачал головой. Однако в тоне и словах Эдварда было столько жизнерадостной уверенности, что они подбодрили не только Джо, но, видимо, и серую кобылу, — в приливе энергии она сразу перешла на легкую рысцу, состязаясь с лошадью Честера, и, кажется, даже воображала, что делает это весьма успешно.

Был прекрасный погожий вечер, и только что взошедший молодой месяц вместе со светом разливал вокруг ту мирную тишину и покой, которые составляют главное очарование вечерней поры. Длинные тени деревьев, зыбкие, как отражения в воде, ложились на тропу, по которой ехали путники, и легкий ветерок веял еще тише, словно баюкая задремавшую природу. Молодые люди все реже перекидывались словами, потом, наконец, и совсем примолкли и ехали рядом, наслаждаясь тишиной.

— Смотрите-ка, «Майское Древо» сегодня сияет огнями, — заметил Эдвард, когда они ехали уже по аллее, откуда сквозь обнаженные деревья видна была гостиница.

— Да, сэр. Огней сегодня больше обычного, — подтвердил Джо, поднявшись на стременах, чтобы лучше видеть. — Свет горит в большой комнате наверху, а в нашей лучшей спальне топится камин. Не понимаю, для кого все это?

— Наверно, какой-нибудь запоздалый путешественник по дороге в Лондон остался здесь ночевать, напуганный рассказами о моем приятеле-бандите, — сказал Эдвард.

— Должно быть, человек он знатный, если отец отвел ему лучшие комнаты. И ведь занял вашу кровать, сэр!

— Пустяки, Джо, мне все равно где ночевать. Ого, бьет девять! Едем скорее!

Они поскакали вперед со всей быстротой, на какую способна была лошадь Джо, и скоро остановились в той самой рощице, куда Джо утром заезжал по пути в Лондон. Эдвард спешился, бросил ему поводья и бесшумными быстрыми шагами пошел к дому.

У боковой калитки его дожидалась служанка и тотчас впустила в парк. Эдвард прошел по дорожке к террасе

и, стрелой взлетев по широким ступеням, вошел в старинный мрачный зал, стены которого были увешаны ржавыми доспехами, оленьими рогами, охотничьим оружием и другими украшениями в таком же роде. Здесь молодой человек постоял недолго: в ту минуту, когда он оглянулся, ища глазами свою провожатую и удивляясь тому, что она не вошла сюда вместе с ним, в зал вбежала красивая девушка, и ее черноволосая головка мигом прильнула к его груди. Но тут чья-то тяжелая рука внезапно легла на ее плечо, а Эдвард был отброшен в сторону: между ними стоял мистер Хардейл.

Не снимая шляпы и одной рукой обняв племянницу, он сурово смотрел на Эдварда и хлыстом указывал ему на дверь. Эдвард выпрямился и смело встретил его взгляд.

— Хорошо же вы поступаете, сэр, нечего сказать! Подкупаете моих слуг и непрошенный, тайком, как вор, приходите в дом, — произнес мистер Хардейл. — Уходите, сэр, и никогда больше не появляйтесь здесь!

— Присутствие мисс Хардейл и ваше родство с ней мешают мне ответить, как должно, на ваши оскорбления, — сказал Эдвард. — Если вы человек порядочный, не злоупотребляйте этим. Вы сами вынудили меня так поступать. Вина не моя, а ваша.

— Нет, сэр, недостойно порядочного человека, неблагородно и бесчестно — добиваться любви слабой, доверчивой девушки тайно от ее опекуна и защитника. Хорошие, должно быть, у вас намерения, если вы боитесь встречаться с нею при свете дня и являетесь сюда ночью! Больше я ничего не скажу. Уходите немедленно и помните, что мой дом для вас закрыт навсегда.

— Так же бесчестно, и неблагородно, и недостойно порядочного человека брать на себя роль шпиона, — отпарировал Эдвард. — Ваши обвинения я отвергаю со всем презрением, какого они заслуживают.

— Ваш посредник ждет вас у калитки, через которую вы вошли, — сказал мистер Хардейл уже спокойнее. — Вы ошибаетесь, я ни за кем не шпионил. Я случайно увидел, как вы вошли в сад, и последовал за вами. Если бы вы не летели так и задержались бы хоть на секунду в саду, вы бы слышали, как я постучал в дверь раньше,

чем войти. А теперь уходите. Ваше присутствие оскорбительно для меня и расстраивает мою племянницу.

Говоря это, мистер Хардейл снова обнял за талию испуганную и плачущую девушку и крепче прижал ее к себе. В этом жесте чувствовалась нежность и жалость к ней, хотя лицо его сохраняло обычную суровость.

— Мистер Хардейл, — сказал Эдвард, — все мои помыслы и надежды связаны с той, кого вы сейчас обнимаете. За одну минуту счастья для нее я с радостью отдал бы жизнь. Этот дом — шкатулка, в которую заперта драгоценная жемчужина, единственное сокровище, которым я дорожу в жизни. Ваша племянница и я дали друг другу слово. Чем же я заслужил ваше неуважение и те резкости, которые выслушал сейчас? Что я сделал?

— Вы сделали то, с чем сейчас надо покончить, — отвечал мистер Хардейл. — Завязали отношения, которые во что бы то ни стало необходимо порвать. Я сказал — необходимо, и вы запомните это. Я не допущу никаких уз между вами. Я знать не желаю вас и весь ваш род, бессердечный, лживый и лицемерный.

— Сильно сказано, — с гневным презрением бросил Эдвард.

— Сказано не на ветер, а решительно и обдуманно, — был ответ. — Вы в этом скоро убедитесь. Так что отнеситесь к моим словам серьезно.

— Запомните же и вы мои слова, — сказал Эдвард. — Действовать тайком, хитрить и скрываться нам с Эммой вовсе не хотелось, это чуждо нам и противно гораздо более, чем вам, сэр. Но нас к этому вынудила ваша холодная суровость, которая леденит все живое вокруг, превращает все добрые чувства к вам — в страх, почтение — в трепет. Нет, сэр, я не лжец, не лицемер, не бессердечный человек. Это вы, видно, таковы, если позволили себе оскорблять меня такими несправедливыми, незаслуженными обвинениями после того, как я предупредил вас, что ваши оскорбления останутся безнаказанными. Вам не удастся разлучить нас. Я не откажусь от Эммы. Я твердо надеюсь на ее верность, на ее чувство чести и не боюсь вашего влияния на нее. Я ухожу, зная, что вы никогда не сможете поколебать ее доверия ко мне, и огорчает меня только то, что я не могу оста-

вить ее на чьем-нибудь более бережном и нежном попечении.

Эдвард прижал к губам холодную руку Эммы и вышел, в последний раз смело выдержав пристальный взгляд мистера Хардейла.

Садясь на лошадь, он в нескольких словах объяснил Джо, что случилось, и угнетенное настроение Джо после этого еще усилилось. В дороге они не обменялись ни словом, и оба приехали в «Майское Древо» в тяжком унынии.

Старый Джон увидел их, выглянув из-за красной занавески, когда они подскакали к дому и стали звать Хью. Он тотчас вышел встретить Эдварда и, поддерживая ему стремя, с важностью сказал:

— Он уже изволил улечься. В самой лучшей нашей кровати. Вот это настоящий джентльмен! Я не видывал на своем веку человека приятнее и любезнее.

— О ком это вы, Уиллет? — рассеянно спросил Эдвард, соскочив с лошади.

— О вашем почтенном батюшке, сэр, о вашем достойнейшем, благородном отце.

— Что такое он говорит? — Эдвард с недоумением и тревогой посмотрел на Джо.

— Что ты сказал, отец? — спросил Джо. — Ты же видишь, мистер Эдвард не понял.

— Неужто вы этого не знали, сэр? — Джон от удивления и глаза вытаращил. — Странно! Да ведь он здесь с самого полудня, и у них с мистером Хардейлом был долгий разговор — мистер Хардейл уехал не больше как час назад.

— Мой отец, Уиллет? Вы не ошибаетесь?

— Что вы, сэр, он сам мне это сказал. Красивый, статный джентльмен в зеленом кафтане с золотым шитьем. Он ночует в вашей комнате наверху. Вы можете к нему пройти, сэр. — Джон вышел на дорогу и посмотрел на верхнее окно. — В комнате еще горят свечи.

Эдвард тоже посмотрел на окно и, торопливо пробормотав, что он совсем забыл... что ночевать здесь не может, так как ему необходимо немедленно ехать в Лондон, снова вскочил на лошадь и ускакал, а Уиллеты, отец и сын, долго еще стояли и в немом удивлении смотрели друг на друга.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На другой день около полудня вчерашний гость Джона Уиллета сидел уже за завтраком у себя дома, окруженный комфортом, так неизмеримо превосходившим все удобства в гостинице «Майское Древо», что всякое сравнение было бы далеко не в пользу этого почтенного заведения.

Мистер Честер завтракал в большой комнате за прекрасно сервированным столом, весьма удобно расположившись под окном, на широком старомодном сидении, которое было шире многих нынешних диванов и устлано подушками, так что могло сойти за роскошную тахту. Сэр Джон сменил костюм для верховой езды на красивый халат, а сапоги — на домашние туфли и приложил все старания к тому, чтобы устранить погрешности в туалете, который ему сегодня утром пришлось совершить без несессера и всяких туалетных принадлежностей. Постепенно он забыл о неудобствах довольно плохо проведенной ночи и раннего возвращения в Лондон и сейчас был в самом мирном и приятном расположении духа.

Окружавшая его обстановка весьма этому благоприятствовала: разнеживающее влияние позднего завтрака и усыпительное чтение газет, а в доме и за его стенами — отрадная тишина, которая царит в этом квартале даже и в наши дни, хотя сейчас он стал уже более людным и деловым, чем в те давние времена.

И теперь еще в Тэмпле * приятнее, чем во многих других уголках Лондона, погреться в знойный летний день на солнышке или отдохнуть в тени. Его дворы полны сонного оцепенения, его деревья и сады располагают к задумчивой лени. Проходя его узкими улицами и площадями, слышишь эхо своих шагов по звонким камням мостовой, и те, кто попадает сюда с шумной Флит-стрит или Стрэнда, словно читают над его воротами надпись: «Кто входит сюда, оставляет шум позади». Здесь и до сих пор на красивой Площади Фонтанов слышен плеск и журчанье воды, здесь есть еще такие углы и закоулки, где скрывающиеся от кредиторов студенты, поглядывая вниз со своих пыльных чердаков, видят, как в тени вы-

соких домов по временам бродит заблудившийся солнечный луч, которому редко случается осветить случайно попавшего сюда прохожего. В Тэмпле до сих пор еще жив прежний монашеский и церковный дух, которого не потревожили даже появившиеся здесь в изобилии судебные учреждения, не смогли изгнать даже конторы адвокатов. Летом гуляющие утоляют жажду водой фонтанов — им кажется, что ни в одном горном ключе нет такой холодной, прозрачной, сверкающей на солнце воды; глядя, как она льется из переполненных кувшинов на горячую землю, и вдыхая ее свежесть, люди грустно смотрят в сторону Темзы и, думая о купанье, о прогулках и катанье на лодках, уныло бредут дальше.

Комната, где в блаженном безделье проводил утро мистер Честер, находилась в одном из красивых домов, сдававшихся внаймы. С фасада их осеняли вековые деревья, а задние стены выходили на Сады Тэмпла.

Мистер Честер то просматривал газету, которую он уже сто раз откладывал в сторону, то ковырял вилкой остатки еды на тарелке, то принимался орудовать золотой зубочисткой, лениво блуждая глазами по комнате или глядя в окно на аккуратно расчищенные дорожки парка, по которым уже бродили немногочисленные гуляющие. На одной скамейке влюбленная пара сперва ссорилась, потом мирилась, на другой сидела темноглазая молодая няня, которая уделяла слонявшимся здесь студентам гораздо больше внимания, чем своему питомцу; рядом старая дева с болонкой на цепочке искоса, с гневным презрением взирала на эти чудовищные неприличия, а с другой стороны старый сморщенный джентльмен украдкой любовался темноглазой нянюшкой и презрительно посматривал на старую деву, мысленно спрашивая у нее, почему она не хочет понять, что молодость ее позади. Вдали от этой группы, у реки медленно прохаживались парами люди деловые, занятые серьезным разговором. И там на скамье одиноко сидел молодой человек, видимо весь поглощенный своими мыслями.

— Нед удивительно терпелив! — промолвил вслух наблюдавший за ним мистер Честер. Он поставил на стол чашку и снова принялся усердно ковырять в зубах золотой зубочисткой. — Необыкновенно терпелив! Когда я

начал одеваться, он уже сидел там, и с тех пор, кажется, даже позы не переменил. Вот чудак!

В эту минуту молодой человек встал и быстро зашагал к дому.

— Право, можно подумать, будто он меня услышал, — сказал мистер Честер и, зевая, взял со стола газету. — Милый Нед!

Дверь отворилась, вошел Эдвард. Отец ласково улыбнулся ему и сделал приветственный жест.

— Вы не заняты, сэр? Можете уделить мне несколько минут для разговора? — спросил Эдвард.

— Разумеется, Нед, ты же знаешь, я никогда не бываю занят. Ты завтракал?

— Да, три часа назад.

— Вот ранняя пташка! — воскликнул мистер Честер, с томной улыбкой глядя на сына поверх зубочистки.

— Я плохо спал эту ночь и потому встал чуть свет, — сказал Эдвард, придвинув стул к столу и садясь. — Вы, конечно, знаете, сэр, что мне не давало уснуть. И об этом-то я и хочу говорить с вами.

— Да, да, мой мальчик, прошу тебя, говори совершенно откровенно. Но только, пожалуйста, Нед, без скучных банальностей — ты же знаешь, я их не выношу.

— Я буду говорить коротко и прямо...

— Не ручайся за себя, дружок, ты, конечно, этого не сможешь, — отозвался мистер Честер, закидывая ногу за ногу. — Так что ты хочешь сказать?

— А только то, — ответил его сын в сильном волнении, — что мне известно, где вы были вчера вечером, — я и сам там был. Знаю, с кем вы виделись и для чего.

— Неужели? — воскликнул мистер Честер. — Ну, вот и отлично. Это избавит нас от длинных и утомительных объяснений. Так ты был там, в этом самом доме? Почему же ты не поднялся ко мне? Я был бы очень рад.

— Я решил, что за ночь обдумаю все и лучше поговорить утром, когда оба мы поостынем, — сказал Эдвард.

— Видит бог, я и вчера достаточно там остыл, — возразил его отец. — Что за мерзкая гостиница! По адской выдумке того, кто ее строил, это не дом, а какой-то ветроуловитель, и холодище там, как на улице. Ты



помнишь, наверно, какой резкий восточный ветер дул месяца полтора назад? Так вот, клянусь честью, этот самый ветер до сих пор еще бушует в старом «Майском Древе», хотя на дворе полное затишье. Ну, что же ты хочешь мне сказать, дружок?

— Я хочу вам сказать — и, видит бог, говорю это совершенно серьезно, — что по вашей милости я глубоко несчастен. Угодно вам выслушать меня внимательно?

— Дорогой мой, я готов слушать тебя с терпением святых подвижников, — сказал мистер Честер. — Передай мне, пожалуйста, молоко.

— Вчера вечером я виделся с мисс Хардейл, — начал Эдвард, пододвинув отцу молочник. — И при ней ее дядя выгнал меня из дома. Это было сразу после вашей встречи с ним и, конечно, вызвано вашей беседой. Да, он самым оскорбительным образом выгнал меня, и я уверен, что это — ваша вина.

— Ну, уж извини, Нед, за его поведение, я, ей-богу, не отвечаю! Он — хам, неотесанный чурбан, попросту грубое животное, у него ни капли светского такта, который необходим в жизни... Смотри-ка, в молоке муха! Кажется, первая в этом году.

Эдвард встал и заходил по комнате, а его родитель продолжал невозмутимо пить чай.

— Отец, — сказал, наконец, молодой человек, останавливаясь перед ним, — поймите, такими вещами не шутят. Не будем обманывать друг друга и обманывать себя. Я намерен говорить с вами, как мужчина, говорить начистоту, так не мешайте же мне, не отталкивайте меня этим обидным равнодушием.

— Равнодушен ли я, предоставляю тебе самому решить, дружок! — возразил мистер Честер. — Скакать по грязи двадцать пять или тридцать миль, потом обед в «Майском Древе», разговор с Хардейлом, скажу без хвастовства, сильно напоминавший встречу Валентина и Орсона *, ночевка на постоялом дворе, общение с его хозяином и компанией идиотов и кентавров!.. Что же заставило меня добровольно вытерпеть все эти мучения? Равнодушие? Или сильнейшая тревога за тебя, отцовская привязанность и все такое? Суди сам.

— Я хочу, чтобы вы поняли, в какое ужасное поло-

жение вы меня ставите, — сказал Эдвард. — Любить мисс Хардейл так, как я ее люблю, и...

— Дорогой мой, ты вовсе ее не любишь, — перебил его отец, снисходительно усмехнувшись. — Ты говоришь о вещах, в которых ничего не понимаешь. Какая там любовь? Никакой любви нет, поверь мне, ее люди выдумали. Ты же — разумный человек, у тебя много здравого смысла, Нед, как ты можешь носиться с такими глупостями? Право, ты меня удивляешь, — никак я этого от тебя не ожидал.

— Повторяю вам, я ее люблю, — сказал Эдвард резко. — Вы вмешались, чтобы нас разлучить, и отчасти этого добились, как я вам уже сказал. Могу я надеяться, что вы в конце концов примиритесь с нашим браком, или вы твердо и окончательно решили сделать все, что можете, чтобы разлучить нас?

— Милый Нед,— мистер Честер понюхал табаку и придвинул табакерку сыну, — мои намерения именно таковы.

— С тех пор как я узнал и оценил Эмму, время для меня летело незаметно. Я жил как во сне и никогда не задумывался о своем положении, — сказал Эдвард. — Каково оно? Я с детства приучен к роскоши и праздности, меня воспитывали, как богатого наследника с самыми блестящими видами на будущее. Чуть не с колыбели мне внушали, что я богат и что те способы, которыми люди обычно прокладывают себе дорогу в жизни, мне вовсе не понадобятся и недостойны моего внимания. Я получил, как говорится, широкое образование, а в результате ни к чему не годен. И вот теперь я всецело завишу от вас и надеяться могу только на ваши милости. А между тем в важном вопросе о моем будущем мы с вами расходимся и, видимо, никогда не сойдемся. Я всегда чувствовал инстинктивное отвращение к тем людям, перед которыми, по-вашему, постоянно должен был заискивать, и к тем корыстным целям, которые в ваших глазах оправдывают такое поведение. То, что мы с вами до сих пор никогда не говорили откровенно и прямо, — не моя вина. И если сейчас моя прямота кажется вам чересчур резкой, — поверьте, отец, я говорю с вами так в надежде, что после этого в наших отношениях будет больше искренности, взаимного доверия и нежности.

— Я глубоко тронут, мой мальчик, — сказал, улыбаясь, мистер Честер. — Продолжай же, пожалуйста, но помни свое обещание. Говоришь ты очень серьезно, искренне и чистосердечно, но я с огорчением замечаю в твоих мыслях некоторую — правда, очень слабую — прозаичность...

— Извините, сэр...

— Нет, это ты меня извини, Нед, но ты же знаешь, — я не способен долго сосредоточивать мысли на одном и том же. Если ты сразу перейдешь к сути дела, я сам уже соображу все остальное и сделаю выводы. Пожалуйста, пододвинь мне опять молочник. Когда я долго слушаю кого-нибудь, я всегда прихожу в нервное состояние...

— Хорошо, я буду краток, — сказал Эдвард. — Так вот — я больше не могу мириться с моей полной зависимостью даже от вас, сэр. Времени потеряно много, всякие возможности упущены, но я еще молод и могу все наверстать. Дайте мне возможность посвятить все свои силы и способности какому-нибудь достойному делу. Я хочу попытаться проложить себе дорогу в жизни. В течение любого времени, какое вы назначите, — ну, скажем, в течение пяти лет, хорошо? — я обещаю ничего не предпринимать без вашего согласия в том деле, из-за которого между нами возник разлад. Все это время я буду так усердно и терпеливо, как только смогу, стараться прочно стать на ноги, чтобы не быть для вас обузой — я ведь вижу, вы этого боитесь, — когда женюсь на девушке, чье богатство — лишь ее красота и добродетели. Вы согласны, сэр? Когда пройдет назначенный срок, мы с вами вернемся к этому вопросу. А до тех пор не будем его поднимать — разве что вы сами этого захотите.

— Нед, голубчик, — мистер Честер, тем временем рассеянно просматривавший газету, отложил ее и уселся поудобнее, — думаю, тебе известно, как я ненавижу так называемые семейные дела, — пусть себе ими занимаются плебеи в рождественские вечера, а людям нашего круга это никак не пристало. Но я вижу, что все твои планы основаны на заблуждении — на глубочайшей ошибке, Нед! — так что делать нечего, придется мне побороть свое отвращение к таким разговорам. Я отвечу тебе совершенно прямо и откровенно. Но сперва, будь любезен, закрой дверь.

Когда Эдвард исполнил его просьбу, мистер Честер, подрезая ногти изящным ножичком, который достал из кармана, продолжал:

— Своим хорошим происхождением, Нед, ты обязан только мне — твоя мать, конечно, была очаровательная женщина и почти разбила мне сердце, когда так безвременно покинула меня и перешла в лучший мир, но знатным происхождением она похвастать не могла.

— Во всяком случае, ее отец был видный адвокат, — вставил Эдвард.

— Совершенно верно. Он занимал видное место в адвокатуре, был очень известен и богат, но происхождения был самого низкого — я всегда закрывал глаза на это и упорно старался забыть тот факт, что отец его, к сожалению, торговал свининой, а одно время даже телячьими ножками и колбасой. Твой дед хотел выдать дочь за человека знатного рода. Что ж, его заветное желание сбылось. А я был младшим сыном младшего в роде — и вот женился на ней. Каждый из нас имел свою цель и получил то, чего желал: твоя мать — доступ в самое избранное, аристократическое общество, а я — большое состояние, которое при моих вкусах было мне крайне необходимо, абсолютно необходимо, смею тебя уверить! В настоящее время это богатство, мой друг, отошло в область преданий. Оно исчезло, растаяло вот уже... Сколько тебе лет, Нед, я все забываю?

— Двадцать семь, сэр.

— Неужели? Уже двадцать семь? — воскликнул мистер Честер, поднимая брови с удивленным видом. — Ну, так значит, насколько мне помнится, от приданого твоей матери не осталось ни следа еще лет восемнадцать — девятнадцать тому назад. Тогда-то мне пришлось перебраться в эту квартиру, где была раньше контора твоего деда — адвоката. Она досталась мне в наследство от этого почтенного старца. И вот с тех пор я живу здесь на небольшую ренту и за счет своей былой репутации богача.

— Вы шутите, сэр! — сказал Эдвард.

— Ничуть, — возразил его отец все с тем же ясным спокойствием. — Всякие семейные вопросы — такая скучная материя, что, к сожалению, несовместимы с шутками. По этой-то причине, да еще потому, что они носят дело-

вой характер, я их так не терплю. Ну, остальное тебе известно. Ты сам понимаешь, Нед, что пока сын еще слишком молод, чтобы быть отцу товарищем, то есть пока ему не минуло года двадцать два — двадцать три, отцу неудобно держать его при себе. Он стесняет отца, отец стесняет его; словом, они мешают друг другу жить. Потому ты воспитывался вне дома и приобрел множество самых разнообразных талантов. Иногда мы проводили вместе неделю-другую, и при этом стесняли друг друга, как только могут стеснять такие близкие родственники. И, наконец, ты вернулся домой — кажется, это было года четыре назад, у меня плохая память на числа, но, если я ошибся, ты меня поправишь. И я тебе честно признаюсь, мой мальчик, что, если бы ты оказался слишком назойливым и недостаточно хорошо воспитанным, я отослал бы тебя куда-нибудь подальше, на край света.

— От души жалею, что вы этого не сделали, — сказал Эдвард.

— Ну, ну, неправда, Нед, тебе только так кажется, — возразил его отец довольно холодно. — Я нашел, что ты юноша красивый, привлекательный, с изящными манерами — и я ввел тебя в свет, где все еще пользуюсь влиянием. Считаю, что тем самым я обеспечил тебе успех в жизни и надеюсь, что в благодарность за это ты тоже сделаешь кое-что для меня.

— Не понимаю, к чему вы клоните, сэр.

— Понять меня нетрудно, Нед... Ох, опять в сливки попала муха! Только не вздумай, пожалуйста, вынимать ее, как ту, первую, а то начнет ползать и оставлять везде мокрые следы — смотреть противно! Да, так вот, Нед, я хочу сказать, что ты должен поступить, как поступил я когда-то: удачно жениться и извлечь как можно больше выгод из этого брака.

— Гоняться за деньгами! Продаться! — в негодовании воскликнул Эдвард.

— А что же ты хочешь, черт возьми? — возразил мистер Честер. — Все люди гонятся за деньгами, не так ли? Адвокатура и суд, церковь, двор, армия — везде люди ищут денег и успеха и каждый старается в погоне за удачей отпихнуть соперников. Куда ни загляни — на биржу, на церковную кафедру, в конторы, в королевскую

приемную, в парламент — кого ты там увидишь, кроме охотников за деньгами и удачей? Он не хочет продаваться, скажите пожалуйста! Да, ты будешь продаваться, Нед, и кем бы ты ни стал в будущем — виднейшим вельможей при дворе, адвокатом, законодателем, прелатом или купцом — все равно, ты будешь продаваться. А если ты так щепетилен в вопросах нравственности, то утешайся тем, что твоя женитьба на деньгах может сделать несчастной только одну женщину, а другого рода охотники за богатством — ну, как ты думаешь, сколько человек *они* топчут в этой скачке? Сотни на каждом шагу! А может, и тысячи...

Эдвард сидел, склонив голову на руку, и ничего не отвечал.

— Я очень, очень рад тому, что у нас произошел этот разговор, хотя он мало утешителен, — сказал его отец и, встав, стал медленно прохаживаться по комнате. По временам он останавливался, чтобы поглядеться в зеркало, или с видом знатока посмотреть в лорнет на одну из своих картин. — Теперь между нами установилась полная откровенность, а это прекрасно и безусловно необходимо. Право, не понимаю, как ты мог до сих пор так заблуждаться относительно нашего положения и моих планов. Пока я не узнал, что ты увлекся этой девушкой, я был уверен, что между нами существует молчаливое согласие по всем этим вопросам.

— Я знал, что у вас бывают денежные затруднения, сэр, — сказал Эдвард, на мгновение подняв голову, но затем снова опустив ее и сидя в прежней позе, — но понятия не имел, что мы нищие, как это можно заключить из ваших слов. Да и не могло это мне прийти в голову, когда меня воспитывали как сына богача, когда я видел, какой образ жизни вы ведете и какое положение занимаете в обществе.

— Милое дитя, — только так я могу назвать тебя, потому что ты рассуждаешь, как дитя, — воспитание твое имело определенную цель и вполне окупало себя: оно просто на удивление поддерживало мою репутацию богача и открывало мне широкий кредит. Ну, а мой образ жизни... Я не могу жить иначе, Нед. Все эти изысканные мелочи, этот комфорт мне просто необходимы. Я к ним

привык, я не могу обойтись без них. И хотя я не изменил своего образа жизни, наше положение именно таково, как я сказал, в этом можешь не сомневаться: оно безнадежно. *Твой* образ жизни тоже стоит далеко не дешево, одни только наши «карманные» расходы пожирают весь наш доход. Вот так обстоит дело.

— Но почему же вы до сих пор оставляли меня в неведении? Почему поощряли мою расточительность, на которую мы не имели ни средств, ни права?

— Пойми, друг мой, — в тоне мистера Честера было теперь еще больше сочувствия. — Если бы ты не блистал в обществе, как мог бы ты сделать ту выгодную партию, на какую я рассчитываю? А если мы живем не по средствам, так что же... Жить как можно лучше и удовлетворять все свои потребности — законное право каждого человека, и отказываются от этого права разве только какие-нибудь нравственные уроды. Долги у нас, — не буду скрывать, — очень большие, и тебе, как человеку с честью и правилами, следует уплатить их как можно скорее.

— Боже мой, каким же негодяем я вел себя, сам того не зная! — пробормотал Эдвард. — *Мне* добиваться любви Эммы Хардейл! Жаль, что я не умер до встречи с нею — для нее это было бы лучше.

— Я с радостью вижу, Нед, что и тебе сейчас совершенно ясна невозможность этого брака. Разумеется, тебе надо спешно жениться на другой — и ты сам понимаешь, что можешь сделать это хоть завтра, если захочешь. Но, помимо этого, я хотел бы, чтобы ты смотрел на вещи веселее. Да хотя бы с религиозной точки зрения — как ты, истинный протестант из такой доброй протестантской семьи, мог думать о союзе с католичкой, если это не какая-нибудь сказочно богатая наследница? Мы должны крепко держаться нравственных правил, Нед, — иначе грош нам цена. И даже если бы это препятствие было преодолимо, — есть другое, решающее. Жениться на девушке, отец которой зарезан, как баран! Боже мой, Нед, ведь это же ужасно! При таких условиях какое может быть уважение к твоему тестю? Сам подумай — человек, которого осматривали присяжные и коронеры *, — какое двусмысленное положение он занимал бы после этого в

твоей семье! Все это до того неприлично, что, право, во избежание подобных неприятностей для мужа этой девушки, правительству следовало бы приговорить ее к смертной казни... Ну, я, кажется, тебе надоел своими рассуждениями, ты хотел бы побыть один? Не стесняйся, дружок, я ухожу. Увидимся сегодня вечером, или если не сегодня, то уж непременно завтра утром. Береги себя ради нас обоих, Нед, ты — моя надежда, моя великая надежда. Да хранит тебя бог!

Сказав все это довольно отрывисто и небрежно, мистер Честер поправил перед зеркалом жабо и, напевая, вышел из комнаты. А его сын, настолько занятый своими мыслями, что, казалось, не слышал и не понял этих слов, сидел все так же неподвижно и молча. Прошло с полчаса. Честер-старший, нарядно одетый, уже ушел из дому, а Честер-младший по-прежнему сидел, не шевелясь, подпирая голову руками, словно в каком-то столбняке.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В те времена, к которым относится наш рассказ, — хоть это времена и сравнительно недавние — улицы Лондона ночью представляли картину настолько непохожую на современную, что, если бы они были зарисованы, мы не узнали бы в них знакомые нам до мелочей места: так сильно они переменились за какие-нибудь пятьдесят с лишним лет. В то время на всех улицах, от самой широкой и людной до самой узенькой и глухой, по ночам было очень темно. Уличные фонари, хотя их фитили аккуратно подправлялись два-три раза за долгую зимнюю ночь, только слабо мерцали, и в поздние часы, когда потухали лампы и свечи в окнах, а фонари эти отбрасывали только узкие полоски тусклого света на тротуар, фасады и подъезды домов оставались в полной темноте. Многие переулки и дворы были погружены в глубокий мрак. Если в кварталах похуже на десятка два домов приходился один подслеповатый фонарь, это считалось уже немалой роскошью. Впрочем, жители этих кварталов частенько не без

оснований находили нужным тушить и этот фонарь, как только его зажигали, и ночные сторожа были бессильны им помешать. Таким образом, даже на главных улицах, освещенных ярче других, на каждом шагу встречались темные и опасные закоулки, где вор мог укрыться от погони, и вряд ли кто решился бы искать его там; а так как центральная часть Лондона в те времена была опоясана кольцом полей, зеленых лугов, обширных пустырей и безлюдных дорог, отделявших ее от предместий (которые теперь слились с городом), то грабителям легко было скрыться даже от самых ярых преследователей.

Ничуть не удивительно, что при столь благоприятных условиях в самом сердце Лондона на улицах каждую ночь бывали грабежи и разбои, прохожих не только обирали, но нередко тяжело ранили, а то и убивали, и после закрытия лавок люди робкие боялись даже выходить на улицу; если кто в одиночку возвращался около полуночи, то обычно шел не тротуарами, а среди улицы, где легче было избегнуть внезапного нападения укрывавшихся в засаде бродяг и разбойников. Мало кто отваживался в поздний час идти в Кентиш-Таун или Хэмстед и даже в Кенсингтон или Челси * безоружным и без провожатых, и те, кто больше всех храбрился и хвастал своим бесстрашием за ужином в гостях или в трактире, — когда приходило время идти домой за милю с небольшим, предпочитали нанять себе в провожатые факельщика.

Улицы Лондона имели тогда и другие особенности, менее неприятные, с которыми люди как-то свыклись. Некоторые лавки (таких было больше всего в восточной части Тэмпл-Бара) еще придерживались старого обычая вывешивать над входом вывеску, и ветреными ночами эти вывески, со скрипом раскачиваясь в своих железных рамах, задавали дикий и унылый концерт, резавший уши тем обитателям квартала, кто уже лежал в постели, но не спал, и тем, кто торопливо пробирался по улицам; длинные ряды наемных портшезов на стоянках загораживали дорогу, и группы носильщиков, по сравнению с коими нынешние кэбмены — самый вежливый и кроткий народ, оглушали прохожих гамом и криками; ночные погребки, возвещавшие о себе лучами света, которые

тянулись через тротуар до середины мостовой, и доносившимся снизу глухим гулом голосов, зияли открытыми дверьми, обещая приют и развлечения беспутным мужчинам и женщинам; под каждым навесом и в каждом укрытом местечке факельщики проигрывали свой дневной заработок или, побежденные усталостью, тут же засыпали, роняя факелы, которые с шипеньем гасли на покрытой лужами земле.

Ходили тогда по улицам ночные сторожа с палками и фонарями, криками оповещая жителей, который час и какая погода. И, разбуженные этими криками, горожане поворачивались на другой бок, радуясь, что на дворе дождь или снег, ветер или мороз, а они лежат в теплой постели. Одинокий прохожий вздрагивал от испуга, когда над его ухом раздавался крик «эй, посторонись!» и мимо рысью неслись к ближайшей стоянке носильщики с пустым портшезом, который они тащили задом наперед в знак того, что он не занят. Проплывали то и дело частные портшезы с восседавшими в них прекрасными дамами в широчайших фижмах и пышных оборках, а впереди бежали лакеи с факелами (гасильники для факелов до сих пор еще висят у дверей некоторых аристократических особняков), и на минуту улица освещалась, оживала, а затем казалась еще более мрачной и темной. Среди весьма заносчивой лакейской братии в прихожих, где они дожидались своих господ, нередко вспыхивали ссоры, переходившие в потасовку тут же на месте или на улице, и тогда поле битвы усеивалось клочьями париков, сыпавшейся с этих париков пудрой и растерзанными букетами. Обычно ссоры возникали за какой-нибудь азартной игрой — порок этот был весьма распространен во всех слоях общества (в моду его ввели, конечно, представители высшего класса), причем игра в карты и кости в лакейских под лестницей велась так же открыто, как и в гостиных наверху, и порождала здесь столько же зла, разжигая страсти. А в то время как в Вест-Энде разыгрывались такие сцены на раутах, маскарадах и партиях в «кадрил» *, из окрестностей Лондона по направлению к Сити медленно катились с грохотом тяжелые почтовые кареты и не менее тяжелые фургоны; кучер, кондуктор и пассажиры — все были вооружены до зубов, и если

карета опаздывала на день-другой, это считалось вполне естественным, ибо она часто подвергалась ограблению разбойниками, которые не боялись нападать и в одиночку на целые обозы, иногда убивали одного-двух пассажиров, иногда сами погибали — смотря по обстоятельствам. Назавтра весть о новом дерзком нападении на дилижанс облетала город и на несколько часов давала пищу для разговоров, а там — публичное шествие к Тайберну * какого-нибудь представительного и одетого по последней моде джентльмена (полупьяного), который с неописуемой изобретательностью и виртуозностью осыпал бранью сопровождавшего его тюремного священника, служило для черни и приятно возбуждающим развлечением и глубоко поучительным примером.

Среди опасных субъектов, которые при таких порядках легко укрывались в столице и по ночам рыскали в поисках добычи, был один, которого с невольным ужасом сторонились многие, даже не менее его одичавшие и свирепые разбойники. «Кто он и откуда взялся?» — часто спрашивали люди, но на этот вопрос никто не мог дать ответа. Имя его тоже оставалось неизвестным; он впервые появился в Лондоне с неделю назад, и его не знали ни старые головорезы, чьи излюбленные притоны он бесстрашно посещал, ни «новички». Сыщиком этот человек вряд ли был — он сидел всегда, надвинув широкополую шляпу на глаза, и не обращал внимания ни на что вокруг, ни с кем не заговаривал, не прислушивался к разговорам, ни во что не вмешивался и не смотрел на входивших и выходивших. Но каждую ночь он неизменно появлялся среди бесшабашной компании в одном из ночных кабаков, где сходились отверженные всех сортов и рангов, и просиживал здесь до самого утра.

И не только на этих разгульных сборищах он казался призраком и видом своим леденил кровь и отрезвлял людей в разгаре угарного веселья — то же самое было и на улице. Как только стемнеет, он появлялся, всегда один — никогда не встречали его в обществе других; он не похож был на праздношатающегося, шел быстро, не останавливаясь, только (как уверяли те, кто встречал его) по временам оглядывался через плечо и затем еще ускорял шаг. В поле, на проселках и больших дорогах, во всех частях

Лондона — западной, восточной, северной и южной — везде видели этого человека, скользившего неслышно, как тень. Он всегда куда-то спешил. Встретив кого-нибудь, торопливо, словно крадучись, проходил мимо и, оглянувшись, исчезал в темноте.

Это его всегдашнее беспокойство и вечные скитания давали пищу странным слухам и фантастическим предположениям. Его видывали будто бы одновременно в различных местах, настолько отдаленных друг от друга, что люди уже начинали сомневаться, один это человек, или их два, а то и больше. Иные даже склонны были думать, что он перелетает с места на место каким-то сверхъестественным образом. Разбойник из своей засады в канаве видел, как он тенью проносился мимо, бродяга встречал его в темноте на большой дороге, нищий видел, как он, остановившись на мосту, смотрел в воду и потом мчался дальше, а те, кто добывал трупы для анатомов, готовы были поклясться, что он ночует на кладбищах, и утверждали, будто он бродит там среди могил и, увидев людей, исчезает. Часто, когда люди толковали об этом, кто-нибудь, оглянувшись, дергал соседа за рукав, потому что в эту минуту тот, о ком они говорили, появлялся вблизи.

В конце концов один из тех, кто промышлял трупами, решился порасспросить таинственного незнакомца, и однажды вечером, когда тот с жадностью пожирал свой скудный ужин (он всегда так набрасывался на еду, точно целый день ничего не ел), этот смельчак подсел к нему.

— Ох, и темная же сегодня ночка, верно?

— Да, темная.

— Темнее, чем вчера, хоть и вчера ни зги было не видать. А не вас ли это я вчера встретил около заставы на Оксфорд-роуд?

— Может, и меня. Не знаю.

— Ну, ну, дружище! — воскликнул гробокопатель, которого товарищи поощряли взглядами, и хлопнул его по плечу. — Развяжите язык! В такой славной компании надо быть разговорчивее и вести себя по-джентльменски. А то про вас и так уже поговаривают, будто вы продали душу черту... и мало ли что еще болтают.

— А разве все мы здесь не продали душу черту? — ответил незнакомец, поднимая глаза. — Было бы меньше охотников, так черт, быть может, платил бы дороже...

— Да-а... Вы-то, видно, на этой сделке не разжились! — заметил его собеседник, глядя на изможденное, грязное лицо и рваные лохмотья. — Ну, да что поделаешь! Развеселитесь, приятель! Затянем-ка хорошую песню...

— Пойте сами, коли вам охота, — отрезал незнакомец, грубо оттолкнув его. — А меня оставьте в покое, если вы человек благоразумный. Я ношу с собой оружие, которое легко может выстрелить, — такие случаи уже бывали, и те, кто, не зная этого, задевают меня, рискуют головой.

— Это как же понимать? Вы мне грозите?

— Да, — ответил незнакомец, вставая и свирепо озираясь кругом, как человек, который ожидает нападения со всех сторон.

Его тон, манеры, выражение лица — все говорило, что он человек бешеного нрава, дошедший до крайности, и это отпугнуло и сразу укротило буйную компанию. Эффект был такой же, как в тот памятный вечер в «Майском Древе», хотя там и люди и обстановка были другие.

— Я — вашего поля ягода и жизнь веду такую же, как вы все, — сурово сказал незнакомец после недолгого молчания. — Скрываюсь, как и другие, и, если нас здесь застигнут, поведу себя, может, не хуже самых смелых из вас. А раз я хочу, чтобы меня оставили в покое, так и оставьте меня в покое. Иначе, — тут он отвратительно выругался, — вам солоно придется, хотя бы вас было двадцать против меня одного.

Глухой ропот, вызванный страхом не то перед этим человеком, не то перед окружавшей его тайной, а может быть, даже искренним убеждением некоторых из этой компании, что неудобно и невыгодно проявлять такое назойливое любопытство к личным делам джентльмена, если он находит нужным их скрывать, предостерег зачинщика этого разговора, что спорить больше не следует. И несколько минут спустя странный незнакомец улегся спать на скамье, а когда другие снова о нем вспомнили, оказалось, что его уже и след простыл.



На другой день, как только смерклось, он снова стал бродить по улицам; несколько раз подходил к дому слесаря Вардена, но вся семья была в отсутствии, и на двери висел замок. В этот вечер незнакомец прошел через Лондонский мост в Саутуорк. В то время, как он брел по одной из боковых уличек, какая-то женщина с корзинкой в руке свернула туда же из-за другого угла. Заметив ее, он тотчас укрылся в первой подворотне, подождал, пока она прошла, затем крадучись выскользнул из своего убежища и последовал за ней.

Женщина, делая покупки, зашла в одну лавку, в другую. И куда бы она ни заходила, незнакомец кружил поодаль, подстерегая ее, как злой дух, а когда она шла дальше, следовал за нею. Было уже около одиннадцати, и улицы быстро пустели, когда женщина повернула назад — должно быть, к своему дому. А призрак все следовал за нею по пятам.

Она свернула в ту самую узкую и глухую уличку, где он ее впервые заметил. Здесь не было лавок, и потому царил полный мрак. Женщина зашагала быстрее, словно боясь, как бы ее не остановили и не отняли ее жалкие покупки. А ее преследователь крался за ней по другой стороне улицы. Казалось, полети она, как ветер, ей все равно не уйти от этой догонявшей ее жуткой тени.

Наконец вдова Радж — это была она — дошла до своей двери и, запыхавшись, остановилась, доставая ключ из корзинки. Вся раскрасневшись от быстрой ходьбы и от радости, что благополучно добралась домой, она нагнулась, чтобы всунуть ключ в замок, как вдруг, подняв голову, увидела подле себя безмолвную фигуру. Это походило на страшный сон!

Он вмиг зажал ей рот, но это было ни к чему — у нее и так язык прилип к гортани и она не могла издать ни звука.

— Я искал тебя много ночей. В доме никого нет? Отвечай! Есть там кто-нибудь?

Она только хрипела.

— Отвечай хоть знаком.

Она сделала жест — как будто отрицательный. Тогда он взял у нее ключ, отпер дверь и, втащив женщину в дом, запер изнутри дверь на засов.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Ночь была холодная, а огонь в камине едва тлел. Странный гость посадил миссис Радж на стул, затем, наклонясь к камину, сгреб полуостывшую золу в кучку и стал раздувать огонь своей шляпой. По временам он посматривал через плечо на женщину, словно желая убедиться, что она сидит смирно и не пытается убежать от него, — и снова принимался раздувать огонь.

Недаром он так старался — одежда на нем насквозь промокла, он стучал зубами и дрожал от холода. Всю прошлую ночь, да и с утра несколько часов лил дождь, прояснилось только после полудня. А незнакомец, видимо, много времени провел под открытым небом. Он был весь в грязи, намокшая одежда плотно облепила тело, лицо его с глубоко запавшими щеками было тоже грязно и небрито — трудно было представить себе что-нибудь более жалкое, чем этот несчастный, который сейчас сидел на корточках перед камином в столовой миссис Радж и налитыми кровью глазами смотрел на разгоравшееся пламя.

Вдова закрыла лицо руками — казалось, ей страшно было и взглянуть на этого человека. Оба некоторое время молчали. Наконец незнакомец оглянулся на нее и спросил:

— Это твой дом?

— Да. Ради бога, уходи! Как ты смеешь позорить его своим присутствием?

— Дай мне поесть и выпить чего-нибудь, — ответил он угрюмо. — Иначе я посмею сделать еще кое-что похуже. Я продрог до костей и голоден. Мне надо поесть и обогреться. Никуда я не уйду.

— Это ты грабил на Чигуэлской дороге?

— Я.

— И чуть не убил человека!

— Хотел, да не вышло. Кто-то прибежал и поднял крик. Не будь он такой прыткий, не ушел бы и он от моих рук. Я чуть не проткнул его.

— Ты поднял шпагу на *него*! — вскрикнула вдова. — Господи, ты слышишь! Ты слышишь, и ты видел это!

Незнакомец снова посмотрел на нее. Откинув голову и крепко сжав руки, она произнесла эти слова, как страстный, полный муки призыв к небу. Когда она встала, он вскочил и шагнул к ней.

— Берегись! — воскликнула она сдавленным голосом, так решительно, что он невольно остановился. — Если ты хоть пальцем меня тронешь, ты пропал. Да, да, ты погубишь и тело и душу.

— Слушай! — сказал он с угрожающим жестом. — Я человек, а веду жизнь загнанного зверя. Я, как привидение, как дух, брожу по земле, и все живое бежит от меня, только проклятые выходцы с того света не дают мне покоя. Я дошел до того, что меня ничто уже не страшит, только тот ад, в котором я живу изо дня в день. Кричи, если хочешь, зови на помощь, гони меня отсюда. Тебя я не трону. Но живым меня не возьмут — я лягу мертвым на этом пороге, это так же верно, как то, что ты только что угрожала мне. И если моя кровь прольется здесь, пусть она падет на тебя и твоих близких во имя дьявола, который соблазняет людей им на погибель!

Говоря это, он вынул из-за пазухи пистолет и решительно сжал его в руке.

— О боже, избавь меня от этого человека! — крикнула миссис Радж. — Смилуйся, пошли ему минуту раскаяния и порази его на месте!

— Бог не намерен исполнить твое желание, — сказал он, подойдя к ней вплотную. — Он глух. Дай же мне поесть и чего-нибудь выпить, иначе я сделаю то, чего ты тщетно просишь у бога, и даже он не сможет помешать мне.

— А поев, ты уйдешь? И больше никогда не придешь сюда?

— Никаких обещаний я не даю, — возразил он, садясь за стол. — Одно обещаю твердо — если ты меня выдашь, я сделаю так, как сказал.

Миссис Радж поднялась, наконец, и, подойдя к двери, за которой находился не то чулан, не то стенной шкаф, достала оттуда тарелку с остатками холодного мяса и хлеб, поставила все на стол. Незнакомец потребовал виски и воды. Она подала то и другое, и он принялся за еду с жадностью изголодавшейся собаки. А она, пока он ел,

сидела в дальнем углу и с ужасом наблюдала за ним. Она ни разу не отвернулась. И хотя, проходя от шкафа к столу и обратно, подбирала юбки, как будто ей было страшно даже краем платья коснуться этого человека, — она при всем своем отвращении не сводила с него глаз, следила за каждым его движением. Кончив есть (если можно так назвать пожирание пищи с жадностью голодного зверя), ночной гость придвинул стул к камину и, греясь у огня, теперь ярко пылавшего, снова обратился к миссис Радж:

— Я — отверженный, кров над головой для меня — великая роскошь, еда, которой брезгает даже нищий, — самое изысканное угощение. А ты, видно, ни в чем не нуждаешься. Одна тут живешь?

— Нет, — ответила она с усилием.

— А кто же еще?

— Один... Ну, да это тебя не касается. Уходи поскорее, чтобы он не застал тебя здесь. Чего тебе еще надо?

— Отогреться, — ответил он, протягивая руки к огню. — Отогреться как следует. Ты богата?

— Еще бы! — сказала она слабым голосом. — Богачка, что и говорить!

— Ну, все-таки деньжонки у тебя, наверно, водятся, не сидишь без гроша, как я. Ты сегодня делала какие-то покупки.

— У меня осталось совсем мало, только несколько шиллингов.

— Давай-ка свой кошелек. Ты же держала его в руках, когда открывала дверь. Давай его сюда.

Она подошла и положила кошелек на стол. Незнакомец протянул руку, взял его и, высыпав деньги на ладонь, пересчитал их. Вдруг миссис Радж, уже с минуту к чему-то прислушивавшаяся, метнулась к нему:

— Бери все, что есть, все возьми, только уходи скорее, пока не поздно! Я слышу шаги около дома, я знаю, чьи это шаги. Он сейчас войдет. Беги!

— Кто войдет?

— Не мешкай и не задавай вопросов, я все равно не отвечу. Как ни страшно мне дотронуться до тебя, я бы вытолкала тебя за дверь, если бы хватило силы. Не теряй ни минуты, беги отсюда, несчастный!

— Если на улице шпионы, так мне безопасней оставаться здесь, — растерянно возразил незнакомец. — Я не выйду отсюда, пока не минет опасность.

— Поздно! — вдруг вскрикнула женщина, все время настороженно прислушивавшаяся к шагам на улице. — Слышишь, идет? Что, дрожишь? Это мой сын, мой полоумный сын!

Не успели отзвучать эти полные ужаса слова, как кто-то снаружи громко забарабанил в дверь. Незнакомец и миссис Радж обменялись взглядами.

— Впусти его, — сказал он хрипло. — Лучше встретиться с ним, чем бродить темной ночью, как бездомный пес... Вот он опять стучит. Отопри же!

— Не отопру! — сказала женщина. — Всю жизнь я боялась этой минуты... Если вы с ним встретитесь лицом к лицу, это плохо кончится для него. Бедный мальчик! Ангелы небесные, вы знаете всю правду, услышьте же молитву несчастной матери и спасите моего сына от этого человека!

— Он стучит в ставни, — воскликнул незнакомец. — Зовет тебя... Ага! Я узнал этот голос. Это он схватился со мной той ночью на дороге. Он? Ведь верно?

Вдова упала на колени, губы ее шевелились, но слов не было слышно. Пока незнакомец смотрел на нее в нерешимости, не зная, что делать, кто-то дернул ставни снаружи с такой силой, что они распахнулись. Едва незнакомец успел схватить со стола нож, сунуть его в широкий рукав и спрятаться в чулане — все это было проделано с быстротой молнии, — как Барнеби, стукнув уже в стекло, с торжеством поднял, наконец, раму.

— Что же это, разве можно нас с Грипом оставлять на улице? — крикнул он, просунув голову внутрь и оглядывая комнату. — Ты здесь, мама? Как долго ты не пускаешь нас к огню и свету!

Мать, запинаясь, пробормотала что-то в свое оправдание и протянула ему руку. Но Барнеби и без ее помощи легко перескочил через подоконник. Очутившись подле матери, он обнял ее и осыпал ее лицо бессчетными поцелуями.

— Знаешь, мы были в поле. Прыгали через канавы, пролезали через изгороди, бегали по берегу вверх, вниз,

вперед и назад. Ветер дул здорово, а камыши и трава так гнулись, так низко кланялись ему — они его боятся, этакие трусишки! Ха-ха-ха! А вот Грип, Грип — молодец, ему ничего не страшно: ветер опрокидывает его и катает в пыли, а он оборачивается и пробует укусить его... Мой смельчак Грип схватывался с каждой веткой — когда ветки качались, он думал, что это они его дразнят, так он сам сказал мне. И ты бы видела, *как* он их трепал, — как настоящий бульдог, ха-ха-ха!

Ворон, сидевший в корзинке за спиной у своего хозяина, услышав, что его имя поминается так часто и восторженно, выразил свое удовольствие тем, что запел петухом, а потом прокричал одну за другой все выученные им фразы с такой быстротой и разнообразием оттенков, что его хриплые выкрики можно было принять за гомон целой толпы.

— И если бы ты знала, как он обо мне заботится, — продолжал Барнеби, — просто удивительно, мама! Когда я сплю, он сторожит меня. Если я лежу с закрытыми глазами и притворяюсь спящим, он тихонько заучивает вслух что-нибудь новенькое, но все время не спускает с меня глаз и, как увидит, что я улыбаюсь, хотя бы чуть-чуть, тотчас замолчит: это потому, что он хочет сначала заучить хорошенько новые слова и потом обрадовать меня.

Ворон снова радостно запел петухом, как бы говоря: «Все это верно, и я горжусь собой!» Между тем Барнеби закрыл окно, запер его на задвижку и, подойдя к камину, хотел было сесть у огня лицом к чулану, но мать поспешила сама занять этот стул, а ему указала на другой.

— Как ты сегодня бледна, — сказал Барнеби и, опершись на свою палку, наклонился к матери. — Грип, Грип, мы с тобой заставили ее беспокоиться. Какие мы злые!

Да, она беспокоилась, и еще как! Сердце у нее замирало от страха: ведь невидимый слушатель приоткрыл дверцу своего убежища и пристально смотрел на ее сына! А Грип, чуткий ко всему, что часто ускользало от его хозяина, уже высунул голову из корзины и в свою очередь уставился блестящими глазками на приоткрытую дверь чулана.

— Он хлопает крыльями, как будто здесь есть чужие, — сказал Барнеби, обернувшись так быстро, что не-

знакомец едва успел снова спрятаться и прикрыть дверь. — Но ты же умница, Грип, так не воображай то, чего нет. Ну, вылезай!

Приняв это приглашение со свойственным ему достоинством, ворон взлетел к Барнеби на плечо и оттуда перебрался на его протянутую руку. Барнеби поставил корзинку в углу, и через минуту Грип, спрыгнув с его руки на пол, первым делом поспешил захлопнуть ее крышку и сел на нее. Решив, по-видимому, что таким образом он лишил возможности кого бы то ни было запрятать его обратно в корзину, он от радости принялся откупоривать бутылки, сопровождая каждое щелканье криком «ура!».

— Мама, — сказал Барнеби, после того как отнес на место шляпу и палку и вернулся к камину. — Я тебе сейчас расскажу, где мы сегодня побывали и что делали. Хочешь?

Мать взяла его за руку и вместо ответа только головой кивнула — говорить она не могла.

— Только ты об этом никому ни слова! — Барнеби предостерегающе поднял палец. — Это тайна, понимаешь, и знаем ее только мы с Грипом да Хью. С нами была еще собака Хью, но держу пари, что она ни о чем не догадалась. Как ни умна она, а далеко ей до Грипа... Почему ты все смотришь куда-то через мое плечо, мама?

— Разве? Это я так, не нарочно. Придвинься ко мне поближе, — едва слышно отозвалась мать.

— Ты чего-то испугалась? — Барнеби вдруг переменился в лице. — Мама... может, ты увидела *то*...

— Что увидела?

— Здесь нигде нет... вот этого?.. — шепотом спросил Барнеби, придвинувшись к ней и сжав пальцами красное родимое пятно у себя на руке. — Я боюсь, что оно где-нибудь здесь... Ох, не гляди же так, у меня мороз подирает по коже и волосы, я чувствую, стали дыбом!.. Может, *оно* здесь в комнате? Я не раз видел во сне, как что-то красное заливает и стены и потолок. Ну, скажи, ты *это* видишь там, у меня за спиной?

Задавая этот вопрос, Барнеби трясся, как в лихорадке, и закрыл глаза руками. Через некоторое время, когда

приступ страха прошел, он поднял голову и осмотрелся по сторонам.

— Его больше нет?

— Здесь ничего и не было, дорогой мой, — сказала мать, стараясь его успокоить. — Право, ничего, ну, поверь мне! Посмотри сам, в комнате только ты да я.

Барнеби устремил на нее блуждающий взгляд, но постепенно успокоился и, наконец, дико захохотал.

— Постой, постой, — сказал он вдруг в раздумье. — Мы с тобой о чем-то говорили, да? Я и ты... А где же мы были?

— Здесь, и нигде больше.

— Ага... Это я был не с тобой, а с Хью... Да, вспомнил! Хью из «Майского Древа», я и Грип — мы все трое засели в лесу, когда стемнело... среди деревьев у дороги... у нас был с собой потайной фонарь и собака на своре. Мы хотели ее спустить на *того* человека, как только он покажется...

— Какого человека?

— Разбойника, того, на которого нам подмигивали звезды. Мы уже много вечеров подстерегаем его и непременно поймаем. Я его узнал бы среди тысячи. Вот смотри, мама, сейчас я покажу тебе его. Гляди!

Он обернул голову носовым платком, надвинул шляпу до самых бровей, закутался в свой плащ и стал перед матерью, настолько похожий на того, кого изображал, что мрачный субъект, наблюдавший из-за приоткрытой двери за его спиной, казался бледной копией этого портрета.

— Ха-ха-ха! Мы его непременно поймаем! — воскликнул Барнеби, принимая свой обычный вид так же быстро, как изменил его. — Увидишь, мама, его привезут в Лондон связанного по рукам и ногам, прикрученного к седлу. И, если нам это удастся, он еще будет болтаться на Тайбернском Дереве *. Так говорит Хью... Ну, вот ты опять побледнела, вся дрожишь. И зачем ты так смотришь туда, через мою голову?

— Пустяки, — ответила она. — Мне просто нездоровится. Иди ложись в постель, родной, а я еще посижу здесь.

— В постель? Я не люблю спать в постели. Я люблю лежать перед огнем и смотреть на горящие уголья — чего

только не увидишь в огне — и реки, и холмы, и леса в красном свете заката, и разные необыкновенные лица... И, кроме того, я не лягу спать без ужина. Я голоден, да и Грип не ел ничего с самого полудня. Давай поужинаем. Эй, Грип, дружище, ужинать!

Ворон захлопал крыльями и, одобрительно каркнув, вприпрыжку направился к хозяину. Остановившись у его ног, он разинул клюв, готовясь хватать куски мяса, которые Барнеби стал ему бросать. Он хватал их быстро, один за другим и без малейшей заминки проглотил кусков двадцать.

— Всё, — сказал Барнеби.

— Еще! — крикнул Грип. — Еще!

Только убедившись окончательно, что больше ничего не получит, он удалился со своим запасом в угол, и здесь, выбросив из зоба все кусочки, принялся прятать их по углам и закоулкам. Однако чулан он при этом старательно обходил, будто сомневался в способности укрывшегося там чужого человека устоять перед соблазном.

Окончив все эти приготовления, Грип сделал два-три рейса вокруг комнаты с видом беззаботного фланера (а между тем одним глазом все время зорко следил, не посягнет ли кто на его драгоценные запасы) и только после этого принялся вытаскивать кусок за куском и лакомиться ими с величайшим наслаждением.

Барнеби тоже ужинал с большим аппетитом, тщетно уговаривая мать поесть чего-нибудь. Ему не хватило хлеба, и он встал, чтобы принести еще из чулана, но мать поспешно остановила его и, призвав на помощь все свое мужество, сама вошла туда и принесла хлеб.

— Мама, — сказал Барнеби, пристально вглядываясь в ее лицо, когда она вернулась и села подле него. — Сегодня — мое рождение?

— Сегодня? Да что ты! — возразила мать. — Разве ты забыл, что оно было неделю тому назад? Теперь пройдет лето, осень и зима, и только тогда опять будет день твоего рождения.

— Да, я помню, так всегда бывало. А все-таки, мне думается, что сегодня тоже мое рождение.

— Почему? — спросила мать.

— Да потому, что в этот день ты всегда так печальна, как сегодня. Я это и раньше замечал, только виду не показывал. Мы с Грипом в этот день радуемся, а ты плачешь и как будто чего-то боишься... И руки у тебя бывают тогда холодные — вот как сейчас. А один раз, в день моего рождения, когда Грип и я уже ушли наверх спать, мы стали думать, отчего бы это. И после полуночи сошли вниз и заглянули к тебе в комнату, чтобы посмотреть, не заболела ли ты. А ты стояла на коленях и... забыл, что ты тогда говорила. Грип, какие слова она говорила в ту ночь?

— Я — дьявол! — немедленно прокричал Грип.

— Нет, нет, совсем не то! — сказал Барнеби. — Ты как будто молилась, мама. А когда поднялась и стала ходить по комнате, у тебя было точно такое лицо, как сейчас, такое, как всегда в этот день. Видишь, я хоть и дурачок, а это заметил. И значит, ты ошиблась, а я прав: сегодня наверное мое рождение. Слышишь, Грип, мое рождение!

Ворон ответил на это сообщение таким продолжительным кукареку, каким разве самый одаренный из петухов мог бы приветствовать самый длинный день в году. Затем, по зрелом размышлении, решив, по-видимому, что для дня рождения это не годится, прокричал много раз подряд: «Не вешай носа!», для пущей выразительности хлопая крыльями.

Миссис Радж постаралась замять разговор и отвлечь внимание сына — она знала по опыту, что это очень легко. Поужинав, Барнеби, несмотря на все ее уговоры, наверх не ушел, а растянулся на коврике у огня. Грип сел ему на ногу и то дремал, разнеженный приятным теплом, то пробовал припомнить новые заученные им фразы, которые твердил весь день.

Долго в комнате царила глубокая тишина, и только по временам Барнеби, неотступно глядевший в огонь широко открытыми глазами, ворочался, чтобы лечь поудобнее, или Грип, делая усилия восстановить в памяти свои познания, тихо вскрикивал: «Полли, подай чайн...», но сразу умолкал, забыв, что дальше, и снова засыпал.

Через некоторое время дыхание Барнеби стало ровнее и глубже, глаза его сомкнулись. Но неугомонный во-

рон вскрикнул опять: «Полли, подай чайник», и разбудил хозяина.

Наконец Барнеби уснул крепко, да и Грип, свесив клюв на грудь, выпяченную колесом, как у какого-нибудь олдермана, и все чаще и чаще жмуря свои блестящие глаза, тоже как будто окончательно успокоился. Время от времени он еще бормотал замогильным голосом: «Полли, подай чайн...», но совсем уже сонно и невнятно, скорее как пьяный человек, чем как мыслящий ворон.

Миссис Радж, боясь даже вздохнуть, чтобы не разбудить их, встала с места. Незнакомец выскользнул из чулана и потушил свечу на столе.

«Подай чайн...» — с необычайным оживлением вдруг крикнул Грип, видимо вспомнив внезапно всю фразу. — «Урра! Полли, подай чайник, мы все будем пить чай. Ура! Ура! Я дьявол, я дьявол, я чайник! Никогда не вешай носа! Веселей! Кра, кра, кра! Я дьявол, я... Полли, подай чайник, мы все будем пить чай!»

Миссис Радж и ее незваный гость так и приросли к полу, словно услышав голос с того света.

Но даже этот крик не разбудил Барнеби. Он только повернулся лицом к огню, рука его свесилась на пол, а голова упала на руку. Его мать и незнакомец с минуту смотрели на него, потом — друг на друга, и она указала незнакомцу на дверь.

— Погоди, — сказал он шепотом. — Хорошим же вещам ты учишь своего сына!

— Всему тому, что ты сегодня слышал, я его не учила. Уходи сейчас же, или я разбужу его.

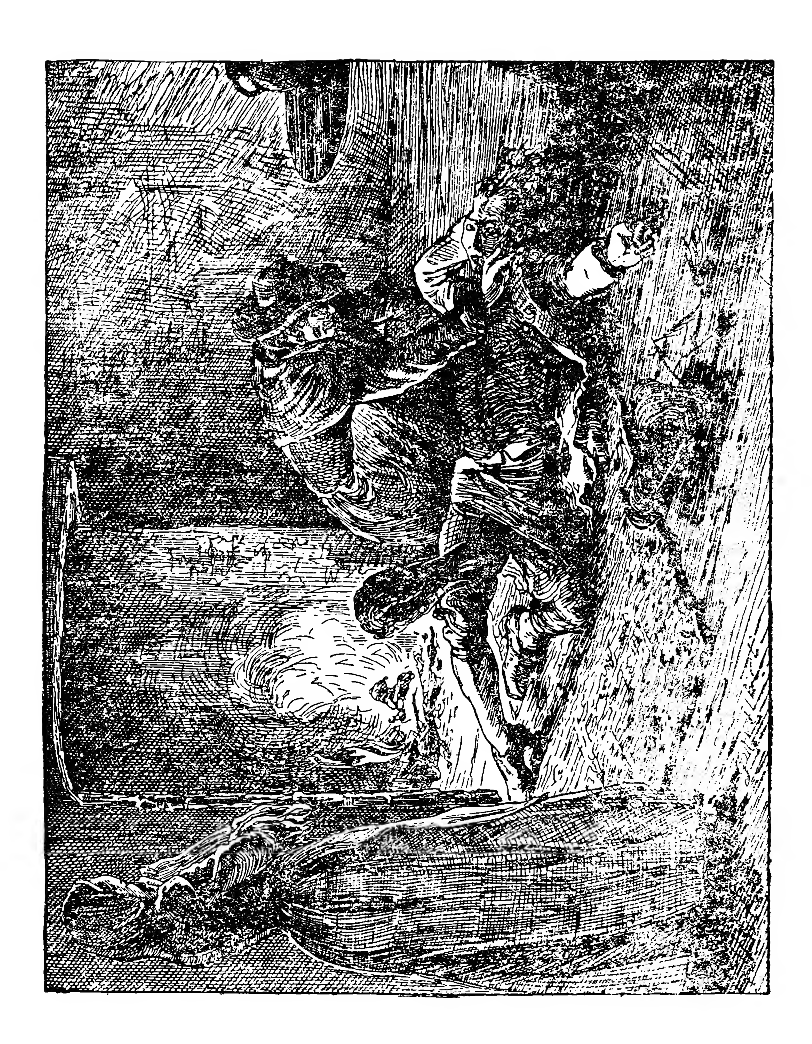
— Что ж, буди. А может, *мне* разбудить его?

— Не смей!

— Я тебе уже сказал — я все посмею. Он, видно, хорошо меня запомнил. Так не мешает и мне запомнить его лицо.

— Неужели ты убьешь его спящего? — воскликнула вдова, заслоняя собой сына.

— Отойди, женщина, — процедил гость сквозь зубы, отстраняя ее. — Мне нужно рассмотреть его поближе — и я это сделаю. А если хочешь, чтобы один из нас убил другого, — буди его!



Он подошел к камину и, наклонясь над распростертым на полу Барнеби, осторожно отогнул назад его голову и заглянул в лицо. Свет ярко озарил это лицо, отчетливо выделив каждую его черточку. Минуту-другую незнакомец внимательно смотрел на спящего, затем быстро выпрямился.

— Помни, — сказал он шепотом на ухо миссис Радж, — этот сын, о существовании которого я до сих пор не подозревал, отдает тебя мне во власть. Поэтому будь осторожна, не выводи меня из себя. Я голодаю, я — бездомный и нищий странник на земле, и мне терять нечего. Я могу мстить тебе медленно, но верно.

— В твоих словах какая-то страшная угроза. Но я не понимаю ее.

— Да, это угроза, и я вижу, что ты отлично поняла ее. Ты сама мне сказала, что много лет боялась этого. Так вот теперь поразмысли хорошенько и не забывай моего предупреждения.

Он указал на Барнеби и крадучись вышел из комнаты. А миссис Радж упала на колени подле спящего сына и замерла, словно окаменев в этой позе, пока благодетельные слезы, до тех пор замороженные страхом, не принесли ей облегчения.

— Господи, — говорила она, — ты вложил в меня великую любовь к сыну, он — единственное, что мне осталось. Быть может, его несчастье сделало его таким любящим и преданным, годы не состарят и не охладят его сердца, он и сильным мужчиной будет так же нуждаться в моей любви и заботах, как в младенчестве. Охраняй же его на его скорбном пути в этой жизни, не дай ему погибнуть, не разбивай моего бедного сердца!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Человек, вышедший из дома вдовы, брел, выбирая самые темные и безлюдные улицы, до Лондонского моста. Перейдя мост и очутившись в Сити, он углубился в глухие переулки и дворы между Корнхиллом и Смитфилдом

с единственной целью укрыться там, если за ним станут следить.

В эту глухую ночную пору на улицах стояла тишина. Порой лишь звучали на мостовой шаги сонного сторожа, или, совершая обычный обход, быстро проходил фонарщик, и его красный пылающий факел оставлял за собой струйку дыма со сверкающими искрами. А незнакомец, избегая даже этих случайных встреч, прятался под какой-нибудь аркой или в подворотне, пережидая, пока они пройдут, и тогда только снова пускался в свой одинокий путь.

Бродить одному бесприютным скитальцем в открытом поле, под стоны ветра, долгой томительной ночью, ожидая рассвета, слушать плеск дождя и, чтобы хоть немного согреться, укрываться под стеной какого-нибудь ветхого сарая или под стогом, а то и в дупле дерева — все это мучительно, но не так ужасно, как бродить отверженным без крова по городу, среди домов, где тысячи людей спят в теплых постелях. Час за часом мерить гулкие мостовые, считать глухие удары башенных часов, смотреть, как мигают огоньки в окнах, думать о том, что в каждом из этих жилищ к людям приходит блаженное забытье, что там спят в кроватках дети, свернувшись калачиком, и юноши, старцы, бедняки и богачи, все одинаково находят отдых и покой, — и не иметь ничего общего с этим спящим миром, знать, что тебе отказано даже в сне, этом благе, дарованном небесами всему живому, что удел твой — одно лишь отчаяние, и по мрачному контрасту с окружающим покоем чувствовать себя еще более одиноким и заброшенным, чем человек в бескрайней пустыне, — вот страдания, которые порождает только одиночество в толпе, вот муки, которые несет этим несчастным шумная река жизни в больших городах.

Несчастный скиталец все кружил по улицам, таким утомительно длинным и так похожим одна на другую, и часто с тоской поглядывал на восток, надеясь увидеть там первые слабые проблески утра. Но упрямая ночь все еще обнимала небо, и человек продолжал ходить без отдыха, без передышки.

Один дом в переулке сиял приветными огнями; оттуда доносилась музыка и топот танцующих, звучали там веселые голоса и часто взрывы смеха. К этому

дому он возвращался все снова и снова, его тянуло сюда, где люди не спали и веселились. И не один из гостей, выйдя из дома, где веселье было в разгаре, чувствовал, что его хорошее настроение разом улетучивается при виде этого человека, бродившего вокруг, как неприкаянная душа. Наконец все гости разошлись, входную дверь наглухо заперли, и дом стал таким же безмолвным и темным, как остальные.

Бродя по улицам, скиталец очутился у городской тюрьмы *. Вместо того чтобы поскорее уйти от этого зловещего места, которого он имел причины остерегаться, он присел неподалеку на каких-то ступенях и, подпирая рукой подбородок, смотрел на мрачные стены так, словно даже они казались ему желанным приютом. Встав, он обошел тюрьму кругом, потом вернулся на прежнее место. Так повторялось несколько раз, и, наконец, он метнулся через улицу к тюремной сторожке, где сидели караульные. Он уже поставил было ногу на ступеньку, решившись, видимо, войти и заговорить с ними, но в этот момент, оглянувшись, увидел, что на небе уже разгорается утренняя заря, и, передумав, бросился бежать от тюрьмы.

Скоро он очутился в том квартале, по которому недавно проходил, и стал бродить здесь. В одном тупике из каких-то ворот послышались громкие голоса, и на улицу с гиком высыпала компания гуляк. Перекрикиваясь и шумно прощаясь друг с другом, они маленькими группами рассеялись в разные стороны.

Рассудив, что, очевидно, в этом тупике есть какой-то ночной кабак, где он найдет до утра безопасное пристанище, бродяга дождался, чтобы все разошлись, и, войдя во двор, стал осматриваться в надежде увидеть полуоткрытую дверь, или освещенное окно, или другой признак, по которому можно было бы узнать, откуда вышла эта шумная компания. Но везде царила тьма, двор был зловеще мрачный, и бродяга решил, что люди эти забрели сюда просто по ошибке. Подумав так и убедившись, что, кроме тех ворот, в которые он сюда вошел, никакого другого входа нет, он уже хотел уйти, как вдруг из-под решетки у самых его ног блеснул свет и донеслись голоса. Он укрылся под каким-то навесом, чтобы, оста-

ваясь незамеченным, увидеть, что это за люди, и подслушать их разговор.

В эту минуту свет замерцал уже под самой решеткой, и там появился мужчина с факелом в руке. Отперев решетку, он поднял ее, чтобы пропустить кого-то другого. Этот другой был молодой человек маленького роста, но с весьма гордой осанкой, одетый старомодно и пестро.

— Покойной ночи, благородный старшина, — сказал человек с факелом. — Прощайте, начальник, счастливого пути, доблестный и знаменитый командир!

В ответ на эти любезности молодой человек приказал ему «заткнуть глотку», «придержать язык» и надавал еще множество советов в таком же роде, изложенных весьма красноречиво и самым суровым тоном.

— Передайте привет, старшина, раненной в сердце Миггс, — сказал мужчина с факелом, понизив голос. — Мой командир метит повыше разных Миггс, ха-ха-ха! Мой командир — орел, у него орлиный взор и орлиные крылья. Он разбивает сердца, как другие мужчины разбивают за завтраком яйца всмятку.

— Какой ты болван, Стэгг! — изрек мистер Тэппертит, выйдя во двор и принимаясь стряхивать пыль с одежды.

— Ах, эти прекрасные ноги! — воскликнул Стэгг, ухватив его за лодыжку. — Неужели какая-то Миггс смеет мечтать о человеке с *такими* ножками! Нет, нет, старшина. Мы будем похищать прекрасных дам и венчаться с ними в нашем тайном убежище. Мы раздобудем себе молодых и цветущих красавиц, старшина!

— Ну, ну, без вольностей, приятель! — отрезал мистер Тэппертит, освобождая ногу из пальцев Стэгга. — И некоторых вопросов ты лучше не касайся, когда о них с тобой не заговаривают. Подними-ка факел да посвети, пока я пройду через двор, а там убирайся в свою нору. Ясно?

— Ясно, благородный старшина.

— Ну, так повинуйся! — высокомерно бросил мистер Тэппертит. — Вперед, джентльмены! — И отдав такой приказ воображаемой свите или штабу, он скрестил руки и с важностью зашагал к воротам.

Его товарищ, так лебезивший перед ним, стоял, подняв факел над головой, — и тут только наблюдавший за

ним из своего укрытия бродяга заметил, что он слеп. Невольно сделанное им движение не ускользнуло от тонкого слуха слепого, и не успел бродяга сделать и шага, как тот вдруг круто повернулся в его сторону и крикнул:

— Кто здесь?

— Человек, — отозвался бродяга, подходя. — Друг.

— Чужие мне не друзья, — сказал слепой. — Что вам здесь нужно?

— Я увидел, как выходили ваши гости, и выжидал, пока все уйдут. Мне нужен ночлег.

— Ночлег в эту пору? — удивился Стэгг, указывая на полоску зари так уверенно, как будто видел ее. — Да ведь уже светает. Не заметили, что ли?

— Как не заметить! Я всю ночь ходил по этому безжалостному городу и ждал рассвета.

— Так походите еще, — сказал слепой, собираясь уже сойти вниз, — пока не найдете себе жилье по вкусу. Я не сдаю углов.

— Постойте! — Бродяга ухватил его за плечо.

— Пусти, или я разобью факел о твою рожу висельника — судя по твоему голосу, у тебя именно такая рожа — и подниму криком всех соседей, — огрызнулся слепой. — Сию минуту пусти, слышишь?

— А *вы* слышите вот это? — Бродяга позвенел монетами в кармане и затем поспешно сунул несколько шиллингов в руку слепому. — Я ведь у вас ничего не клянчу, я уплачу за ночлег. Черт возьми, неужто это, по-вашему, такое великое одолжение? Я пришел из-за города и хочу отдохнуть где-нибудь, где ко мне не будут приставать с расспросами. Я замучился, устал до смерти, я совсем без сил. Дайте мне, как собаке, полежать у огня. Ничего больше мне от вас не надо. Если захотите, чтобы я ушел, я уйду завтра же.

— Что ж... Если джентльмену не повезло в пути, — пробормотал Стэгг, уступая дорогу незнакомцу, который, отстранив его, уже успел сойти на одну ступеньку, — и если он может заплатить за ночлег...

— Я отдам вам все деньги, какие у меня есть. Я уже поел, и, видит бог, мне нужен только приют. Кто еще у вас там внизу?

— Никого нет.

— Тогда заприте решетку и ведите меня к себе. Живее!

После минутной нерешимости слепой сдался, и они вместе сошли вниз. Весь разговор занял не больше времени, чем нужно, чтобы произнести несколько слов, и не успел еще Стэгг опомниться от неожиданности, как они уже стояли в его жалком погребе.

— Можно посмотреть, что там, за той дверью, и дальше? — спросил незнакомец, зорко осматриваясь.

— Я сам вам покажу. Идите за мной — или впереди, как хотите.

Гость предложил слепому идти вперед и при свете факела, высоко поднятого его провожатым, осмотрел все три погреба самым тщательным образом. Убедившись, что Стэгг сказал правду и живет здесь один, он вернулся вместе с ним в первый погреб, где пылал яркий огонь, и с глухим стоном растянулся на полу у печки.

А хозяин занялся своим делом и, казалось, больше не обращал внимания на гостя. Но как только тот уснул (слепой заметил это сразу, как человек с самым острым зрением), он опустился подле него на колени, несколько раз осторожно провел рукой по его лицу и всему телу.

Незнакомец спал беспокойно, все вздрагивал и стонал во сне, иногда бормотал что-то. Руки его были сжаты в кулаки, брови нахмурены, губы закушены. Все это слепой очень хорошо заметил, и, видно, любопытство его было сильно возбуждено. Он уже почуял здесь какую-то тайну и до самого утра сидел подле спящего, наблюдая за ним (если можно так говорить о слепом) и вслушиваясь.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Хорошенькая головка Долли Варден еще шла кругом от воспоминаний о танцевальном вечере, перед ее блестящими глазами, как пылинки в лучах солнца, носились заманчивые картины и среди них чаще всего появлялся образ молодого каретника, владельца мастерской, кото-

рый, подсаживая ее в портшез и прощаясь с нею, дал ей понять, что твердо решил отныне забросить свое ремесло и умирать медленной смертью от любви к ней. Словом, все мысли, все семь чувств Долли были еще в смятении и трепете и всецело заняты балом, хотя после него прошло уже три дня. Сидя в рассеянности за завтраком, она видела на дне чашки картину своего будущего (то есть беспечной и счастливой жизни в замужестве), когда в мастерской послышались шаги, и за стеклянной дверью все увидели мистера Эдварда Честера, который стоял среди ржавых замков и ключей, как бог любви среди роз — не могу выдать это удачное сравнение за свое, ибо его придумала в приливе сентиментальности целомудренная и скромная Миггс: узрев мистера Эдварда с лестницы, которую она в это время мыла, она в глубине своего девичьего сердца назвала его именно так.

Глаза слесаря в эту минуту были подняты вверх и голова запрокинута ввиду тесного общения его с Тоби, так что он и не заметил гостя, пока миссис Варден, оказавшаяся бдительнее всех, не приказала Симу Тэппертиту отпереть застекленную дверь и впустить мистера Эдварда, после чего эта добрая женщина, умевшая из каждого пустяка извлекать драгоценную мораль, объявила, что пить по утрам пиво — привычка гибельная, безбожная, языческая, привычка, которую следовало бы предоставить свиньям и сатане, или хотя бы приверженцам Папы Римского, а правоверные протестанты должны остерегаться ее, как великого греха. Миссис Варден, конечно, продолжала бы развивать эту мысль, подкрепляя ее длинным перечнем убедительных примеров, но присутствие знатного джентльмена, который чувствовал себя крайне неловко и слушал ее нотацию мужу в явном замешательстве, вынудило ее несколько преждевременно закончить свою речь.

— Надеюсь, вы меня извините, сэр, — сказала она, присев перед гостем. — Варден так безрассуден и мне так часто приходится напоминать ему... Сим, подай же стул!

Мистер Тэппертит стул подал рывком и поставил его у стола с грохотом, выразив таким образом свой внутренний протест.

— Можешь идти, — Сим, — сказал ему слесарь.

Мистер Тэппертит и этот приказ выполнил и ушел в мастерскую, но все с тем же безмолвным внутренним протестом; он начинал не на шутку опасаться, что вынужден будет отравить хозяина раньше, чем истечет срок его пребывания в этом мире.

Между тем Эдвард подобающим образом ответил на учтивое приветствие миссис Варден, и она совсем растаяла; когда же он принял из прелестных ручек Долли чашку чаю, ее мать стала еще любезнее.

— Поверьте, если кто из нас — Варден, или я, или Долли — сможет чем-нибудь услужить вам, сэр, вам стоит только сказать слово, и все будет сделано, — объявила она.

— Благодарствуйте, миссис Варден, — отвечал Эдвард. — Ваши слова придают мне смелости, и я позволю себе сказать, что пришел к вам сегодня как раз затем, чтобы попросить об услуге.

Миссис Варден ответила, что она безмерно рада это слышать.

— Я подумал, что ваша милая дочь, быть может, сегодня или завтра поедет в Уоррен, — сказал Эдвард, посмотрев на Долли, — так не разрешите ли вы передать через нее письмо? И сказать вам не могу, как вы меня этим обяжете. Очень важно, чтобы оно попало по назначению, и я по некоторым причинам не могу доверить его никому другому. Так что, если вы мне не поможете, я окажусь в сильном затруднении.

— Сэр, Долли не собиралась ехать в Уоррен ни сегодня, ни завтра и ни на следующей неделе, но ради вас мы готовы все сделать, и если вы этого желаете, то письмо будет отвезено сегодня — можете на нас положиться... Видя, что Варден сидит такой мрачный и молчит, вы чего доброго подумаете, что он против этого, но не обращайте на него внимания, сэр: дома он всегда такой, он только вне дома весел и разговорчив.

На самом деле бедняга Варден весь сиял, мысленно благословляя судьбу за то, что его половина в таком прекрасном настроении, и с неописуемым удовольствием прислушивался к ее разговору с гостем. Так что эта внезапная атака застигла его положительно врасплох.

— Что ты, Марта, дорогая... — начал он.

— О, разумеется, *очень* дорогая, — перебила его миссис Варден, усмехаясь со смесью шутливости и гневного презрения. — Очень доро-гая! Это мы все знаем.

— Право, душа моя, ты ошибаешься, — твердил Гейбриэл. — Я в восторге, что ты так мила и любезна. Уверяю тебя, я с нетерпением ждал, что́ ты на это скажешь...

— С *нетерпением* ждал! — повторила миссис Варден. — Так... Спасибо, Варден. Ты, как всегда, рассчитывал свалить вину на меня, если бы вышла какая-нибудь заминка. Но я к этому привыкла, — добавила она, высокомерно усмехаясь. — Да, на мое счастье, я к этому привыкла.

— Уверяю тебя, Марта... — начал было Варден.

— Нет, мой друг, уж позволь *мне* тебя уверить, — улыбка миссис Варден на этот раз выражала истинно-христианское смирение, — что такие семейные споры не стоит и затевать. Так что, Варден, давай лучше прекратим этот разговор. Я не имею ни малейшего желания продолжать его. Конечно, я многое могла бы сказать, но предпочту молчать. Прошу тебя, не говори больше ничего.

— А я и не собирался, — сказал задетый за живое слесарь.

— Ну и отлично, и не говори.

— Не я первый начал этот разговор, Марта, — благодушно заметил слесарь.

— Не ты начал! — воскликнула его супруга, широко раскрывая глаза и глядя на остальных так, словно хотела сказать: «Слыхали вы что-нибудь подобное?» — Не ты начал, Варден? Нет, конечно, нет, мой друг, не ты! Пусть будет так. Не станешь же ты уверять, что это *я* была в дурном настроении?

— Полно, полно, — сказал слесарь. — Все в порядке и незачем больше об этом толковать.

— Да, незачем, — подхватила жена. — Если даже тебе вздумается объявить, что начала Долли, я не стану с тобой спорить. Я свои обязанности знаю. Я должна их знать. Мне часто приходится напоминать себе о них,

когда хотелось бы хоть на минутку о них забыть. Спасибо, Варден.

И миссис Варден, сложив руки с видом глубочайшего смирения и всепрощающей кротости, обвела взглядом присутствующих, а улыбка ее ясно говорила: «Если хотите видеть великомученицу — вот она перед вами!»

Этот небольшой инцидент, ясно показавший необыкновенную доброту и кротость почтенной дамы, почему-то так сильно затруднил продолжение общей беседы и смутил всех, кроме самой миссис Варден, что до ухода мистера Эдварда было высказано только несколько односложных замечаний. Эдвард, наконец, удалился, много раз поблагодарив хозяйку дома за ее любезную снисходительность и шепнув Долли на ухо, что он придет завтра за ответом на свое письмо — собственно, Долли и сама догадывалась об этом, так же, как заранее знала, что он сегодня посетит их, ибо накануне вечером к ним забегал Барнеби со своим другом Грипом и предупредил ее об этом.

Проводив гостя, слесарь стал суетливо расхаживать по комнате, заложив руки в карманы и украдкой бросая тревожные взгляды на супругу, которая с невозмутимым спокойствием изучала «Наставления протестантам». Наконец он спросил у Долли, каким способом она думает отправиться в Уоррен. Долли сказала, что почтовой каретой, и вопросительно посмотрела на мать, но та, заметив этот немой вопрос, еще глубже погрузилась в чтение с видом человека, отрешившегося от всего земного.

— Марта, — начал слесарь.

— Что скажешь, Варден? — отозвалась его жена, все еще не менее как на пять саженей погруженная в глубину благочестивых размышлений.

— Жаль, что ты так не любишь «Майского Древа» и старика Джона, а то мы могли бы все трое съездить в Чигуэлл в моей коляске — погода прекрасная, да и суббота сегодня, день почти свободный. Мы бы так хорошо провели время!

Миссис Варден моментально захлопнула книгу и, залившись слезами, потребовала, чтобы ее отвели наверх.

— Ну, чем я тебе опять не угодил, Марта? — спросил слесарь.

— Ах, не говори со мной! — крикнула Марта и с бурным возмущением объявила, что, если бы кто-нибудь сказал ей это раньше, она ни за что бы не поверила.

— *Чему* не поверила бы? Ну, Марта, скажи же, что тебя опять расстроило? — Слесарь загородил дорогу жене, которая уходила из комнаты, опираясь на плечо Долли. — Скажи, прошу тебя. Клянусь душой, я ничего не понимаю! А ты понимаешь, дочка? Ччерт! — Слесарь в каком-то неистовстве схватился за свой парик. — Никто не понимает. Разве одна только Миггс.

— Миггс, — произнесла миссис Варден слабым голосом, со всеми признаками близкой истерики, — Миггс ко мне привязана, и зато ее в этом доме ненавидят. Как бы она ни относилась к другим, *мне* она — единственная поддержка и утешение.

— А для меня она — не утешение! — крикнул Гейбриэл с храбростью отчаяния. — Она — несчастье моей жизни! Она одна стоит всех казней египетских, вместе взятых.

— Не сомневаюсь, что ты такого мнения, — сказала миссис Варден. — Я этого и ожидала, это естественно и вполне соответствует всему остальному. Если вы *мне* говорите колкости прямо в лицо, так могу ли я удивляться тому, что вы ругаете *ее* за спиной?

Тут с миссис Варден началась истерика, она и плакала и смеялась, она дрожала, икала и задыхалась. Она твердила, что это глупо, она сознает, что глупо, но ничего не может с собой поделать. И когда она умрет, они, вероятно, пожалеют об этом (что при данных обстоятельствах было, пожалуй, не так вероятно, как она полагала) и так далее, и так далее, все в том же духе.

Словом, миссис Варден весьма тщательно проделала весь церемониал, полагающийся в подобных случаях, после чего ее отнесли наверх в спальню и уложили в постель; здесь на тело страдалицы набросилась верная Миггс и принялась хлопотать вокруг нее.

А тайный смысл всего этого был тот, что миссис Варден *хотелось* ехать в Чигуэлл, но она не желала со-

знаться в этом, не желала делать никаких уступок мужу. Она хотела, чтобы ее умоляли и уговаривали ехать; только на этих условиях она готова была согласиться. И вот — уже наверху — начались бесконечные причитания и слезы, и мокрые компрессы на лоб, и смачивание висков уксусом, и нюхательные соли к носу, и прочее, и прочее. Наконец после патетических заклинаний Миггс, после подкрепления горячим коньяком, не слишком разбавленным, и разными другими сильно действующими средствами (страдалица принимала их сперва по чайной ложечке, но постепенно все бо́льшими дозами, и мисс Миггс за компанию тоже пила их в качестве предохранительной меры, ибо обмороки — вещь заразительная), — после применения всех этих и множества других лекарств, которые можно глотать, но невозможно все перечислить здесь, после бесконечных утешительных тирад морального, религиозного и смешанного характера, после того, как слесарь сдался и униженно просил прощения, — цель была достигнута.

— Сделай это, папа, хотя бы для того, чтобы в доме был мир и покой, — говорила Долли, упрашивая его пойти наверх.

— Эх, Долл, Долл, — отвечал ее добряк-отец. — Смотри, если выйдешь замуж...

Долли бросила взгляд в зеркало.

— Да, как будешь замужем, не падай никогда в обморок, девочка. Эти обмороки больше всего на свете портят семейную жизнь. Запомни это, дочка, если хочешь быть по-настоящему счастливой, а счастливой ты не можешь быть, если муж твой будет несчастлив. И еще скажу тебе словечко на ушко, мое сокровище: никогда не заводи у себя в доме такой Миггс!

После этого совета он поцеловал дочь в румяную щечку и медленно направился в спальню к миссис Варден. Она, бледная и томная, лежала на диване и утешалась, рассматривая свою новую шляпку, которую Миггс, чтобы успокоить ее расстроенные нервы, поместила на спинке кровати таким образом, чтобы выгодно показать все ее достоинства.

— А вот и хозяин, мэм! — сказала Миггс. — Ах, какое это счастье, когда между мужем и женой мир да

лад! Боже милостивый, как подумаешь, что они опять будут сидеть рядышком и ворковать, как голубки! — Столь энергично излив обуревавшие ее чувства в этом обращении к небесам, мисс Миггс напялила себе на голову хозяйкину шляпку и, сложив руки, дала волю слезам. — Ох, не могу, — рыдала она, — не могу удержаться, хотя бы я захлебнулась в слезах! У нее такое доброе сердце! Она забудет и простит все, что было, и поедет с вами, сэр. Да, да, она поедет с вами хоть на край света!

Миссис Варден, страдальчески улыбнувшись, кротко пожурила свою наперсницу за излишнюю восторженность и сказала, что она еще слишком плохо чувствует себя и не сможет сегодня выйти из дому.

— Нет, мэм, нет, сможете! — возразила Миггс. — Вот пусть хозяин скажет — ведь сможет? Свежий воздух и прогулка вас подбодрят, мэм, надо только не поддаваться слабости. Крепитесь, мэм! Правда, сэр, она должна крепиться ради всех нас? Я ей только что это говорила. Она должна помнить о нас, если уж забывает о себе. Хозяин вас уговорит, мэм, я уверена, что уговорит. И мисс Долли поедет, и вы с хозяином, и будет так хорошо и весело. Ах! — Тут Миггс опять открыла шлюзы и, раньше, чем в приливе чувств выскочить из комнаты, прокричала: — В жизни не видывала такой святой женщины, она все готова простить! Нет, другой такой на свете нет! И хозяин такой не видывал, и никто никогда не видывал!

Еще минут пять миссис Варден отклоняла — правда, довольно вяло — все просьбы супруга оказать ему милость и поехать развлекаться, но в конце концов смягчилась и дала себя уговорить, даровав Гейбриэлу полное прощение и смиренно сознавшись, что за это он должен быть благодарен не ей, а... «Наставлениям протестантам». Она велела позвать Миггс, чтобы та помогла ей одеться. Служанка появилась немедленно, и, отдавая должное их общим усилиям, мы должны сказать, что, когда почтенная дама через некоторое время сошла вниз в полном параде, готовая к отъезду, она имела вид женщины цветущего здоровья, и ничто не напоминало о разыгравшейся драме.

Тут была и Долли — само очарование — в нарядной накидке вишневого цвета с таким же капюшоном. Поверх капюшона красовалась шляпка с вишневыми лентами, надетая чуточку набекрень, только чуточку, но этого было достаточно, чтобы превратить шляпку в самый кокетливый и соблазнительный головной убор, когда-либо придуманный коварной модисткой на погибель мужчинам.

Не говоря уже о том, что этот вишневый наряд придавал блеску ее глазам, соперничал цветом с ее губками и подчеркивал яркие краски лица, его дополняли прелестная злодейка-муфточка и умопомрачительные туфельки, и, кроме того, Долли была вооружена еще таким множеством всяких опасных ухищрений кокетства, что, когда она вышла на улицу, мистер Тэппертит, державший под уздцы лошадь, увидев ее, почувствовал сильнейшее желание увлечь ее в коляску и с быстротой молнии умчать отсюда, что он непременно и сделал бы, если бы его не одолели сомнения относительно того, какой путь в Гретна-Грин — ближайший: ехать ли вправо, или влево, и куда сворачивать, а, если даже удастся взять приступом все заставы и шлагбаумы по дороге — согласится ли кузнец сочетать их браком в кредит? * Последнее было весьма сомнительно, принимая во внимание всем известные повадки духовенства, и даже взволнованному воображению Сима Тэппертита это казалось невероятным, поэтому он и колебался. А пока он колебался и смотрел на Долли, из дома вышли ее родители в сопровождении неизбежной Миггс, — и удобный момент был окончательно упущен. Коляска заскрипела на рессорах, ибо в нее села миссис Варден, потом заскрипела еще громче — это садился слесарь, и, наконец, только слегка вздрогнула, как вздрагивает человеческое сердце, когда в нее впорхнула Долли. После этого коляска укатила, а место, где она стояла, опустело — и на улице остались только он, Сим, и эта ужасная Миггс.

Славный слесарь был в самом радужном настроении, как будто уже целый год не случалось ничего такого, что могло бы вывести его из равновесия. Долли сияла прелестью и улыбками, и даже миссис Варден была лю-

безна, как никогда. Медленно проезжая по улицам и беседуя о том о сем, они вдруг заметили на тротуаре — кого бы вы думали? Ну, конечно, того самого каретника, одетого таким модным франтом, что никто бы и не подумал, будто он имеет дело с каретами — разве только катается в них, как знатный джентльмен, раскланиваясь со знакомыми. Нечего и говорить, что Долли смутилась, отвечая на его поклон, а вишневые ленты слегка затрепетали, когда она встретила его печальный взгляд, словно говоривший: «Видите, я сдержал слово. Уже началось: я забросил к черту все свои дела, и вы этому причиной». Он стоял как вкопанный (или, по выражению Долли, как статуя, а по словам миссис Варден, — как пожарный насос), пока коляска не свернула за угол, и, когда отец сказал, что этот малый, видно, порядочный нахал, а мать удивленно спросила, что могло означать его поведение, — Долли снова так вспыхнула, что ее щеки стали краснее ее капюшона.

Они ехали дальше, им было все так же весело, и слесарь, от полноты чувств забыв об осторожности, часто делал остановки в разных местах, обнаруживая самое близкое знакомство со всеми трактирами, встречавшимися на пути, со всеми трактирщицами и трактирщиками, и его лошадка была, видно, в таких же дружеских отношениях с ними — она беспрестанно останавливалась по собственному почину. Никогда никто так не радовался встрече с другими людьми, как радовались все эти хозяева и хозяйки трактиров при виде семейства Варден.

— Не сойдете ли? — говорил один. Другой настаивал, чтобы они поднялись наверх. Третья заявляла, что обидится и сочтет их гордецами, если они не захотят у нее отведать чего-нибудь, и так далее. Словом, то было настоящее путешествие короля по стране, непрерывный праздник гостеприимства от начала и до конца. Встречать повсюду такой почет очень приятно, не говоря уже об угощении. Поэтому миссис Варден всю дорогу не делала никаких замечаний и была воплощением приветливости. Но за этот день она собрала против бедняги Гейбриэла массу улик, чтобы при случае пустить их в ход, — такого количества обвинительного материала ни

одной супруге еще никогда не удавалось собрать для семейного употребления.

Через некоторое время — не очень скоро, так как все эти приятные остановки немало их задерживали, — они добрались до опушки леса и, проехав по тенистой аллее, прибыли, наконец, в «Майское Древо». Услышав веселый оклик слесаря «эй, друзья!», на крыльцо выбежал старый Джон, а за ним Джо. Оба были так поражены, увидев дам, что на мгновение окаменели и, не отвечая на приветствия, только смотрели на гостей, вытаращив глаза.

Впрочем, Джо растерялся только на секунду. Быстро опомнившись, он оттолкнул в сторону заспанного отца (к неописуемому негодованию мистера Уиллета) и бросился к экипажу, чтобы помочь гостьям сойти. Первой выпрыгнула Долли, и Джо принял ее в объятия. Да, он держал ее в объятиях — правда, один только миг, но какой это был блаженный миг, какое счастье!

Трудно передать, каким скучным и обыкновенным делом показалась ему после этого выгрузка миссис Варден, но он проделал это с величайшей готовностью. Затем его родитель, который смутно догадывался, что миссис Варден его не жалует, и опасался, не прибыла ли она сюда с воинственными намерениями, собравшись с духом, осведомился о ее здоровье и пригласил всех в дом. Предложение было милостиво принято, и они вошли вместе. За ними последовали рука об руку Джо и Долли (опять блаженство!), а Варден замыкал шествие.

Старый Джон непременно хотел, чтобы гости уселись в буфете, и, так как никто не возражал, они прошли туда. Все буфеты — уютные местечки, а буфет «Майского Древа» был самым уютным, гостеприимным и обильным из всех буфетов, созданных человеком. Какие удивительные бутылки стояли тут на старых дубовых полках, как сверкали пивные кружки, висевшие на колышках в таком же наклонном положении, в каком жаждущие подносят их к губам. Какие крепкие голландские бочонки выстроились здесь рядами на подставках, сколько лимонов висело, каждый в отдельной сетке, образуя как бы душистую рощицу, о которой мы уже ранее упоминали в этой летописи, и так же, как белоснежные головы са-

хару, хранившиеся здесь, вызывали мысль о пунше, превосходящем все человеческие мечты! Сколько тут было чуланчиков, шкафчиков, ящиков со всякими трубками, вытяжных шкафов под окнами, набитых доверху съестными припасами, всякими напитками, вкусными приправами. И, наконец, в довершение всего, здесь высился огромный сыр, как бы свидетельствуя о безграничных запасах этой гостиницы и приглашая посетителей резать и есть сколько душе угодно.

Сердце, которое никогда ничем не тешится, — жалкое сердце. А если оно остается равнодушным даже к соблазнам буфета в «Майском Древе», — значит, это самое холодное и вялое сердце, какое билось когда-либо в человеческой груди. Сердце миссис Варден не было таким — оно сразу растаяло. Среди всех этих кумиров домашнего очага — бочонков, бутылок, лимонов, трубок и сыров она не в силах была осуждать Джона Уиллета, это было так же немыслимо, как заколоть гостеприимного хозяина его собственным, начищенным до блеска ножом. Да и обед, который он при них заказывал, мог бы смягчить даже дикаря.

— Приготовишь рыбки, — сказал Джон кухарке, — и бараньи котлеты (обжаренные в сухарях и побольше красного перца туда), к ним — хороший салат, потом — жареного цыпленка, блюдо сосисок с картофельным пюре или что-нибудь другое в этом роде.

«Что-нибудь другое в этом роде!» Какие, однако, запасы в этих гостиницах! Говорить так небрежно о кушаньях, которые не стыдно подать на самом парадном праздничном обеде, даже на свадьбе! Да это все равно что сказать: «Если не достанете цыплят, подайте другую птицу, — ну, хоть павлина». А кухня какая! Один колпак над плитой — настоящая пещера! Нет яств, которые нельзя было бы приготовить в такой кухне!

Миссис Варден, обозрев все эти чудеса, вернулась в зал ошеломленная. Ее хозяйственные достижения бледнели перед такой роскошью. Голова у нее шла кругом, и ей пришлось пойти прилечь — дольше созерцать это великолепие было уже просто выше ее сил.

Тем временем Долли, чья голова и веселое сердечко заняты были совсем другим, вышла за калитку и, то и

дело оглядываясь (но, разумеется, ее вовсе не интересовало, видит ли ее Джо), побежала через поле по хорошо знакомой тропинке в Уоррен — выполнять поручение. Мне говорили — и я охотно этому верю, — что вишневая накидка и ленты, развевавшиеся среди зеленых лугов в ярком свете солнца, представляли очаровательное зрелище.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Гордое сознание, что ей доверено ответственное поручение, придало Долли столько важности, что секрет угадали бы по ее лицу все обитатели Уоррена, если бы они ее видели. Но Долли, молочная сестра мисс Хардейл, в детстве часто играла в мрачных комнатах и коридорах этого дома, да и потом осталась подругой Эммы и не хуже ее самой знала здесь все ходы и выходы. Поэтому она, не соблюдая особых предосторожностей (только мимо двери в библиотеку она проскользнула на цыпочках, затаив дыхание), как свой человек, направилась прямо в комнату Эммы. Эта комната, темноватая, как и все остальные, была, однако, самым веселым уголком в доме: ведь юность и красота вносят радость и в тюрьму (пока тюрьма не иссушит их), придают очарование самому унылому месту. Птички, цветы, книги, рисунки, ноты и сотня других доказательств утонченного женского вкуса и склонностей создавали в комнате атмосферу жизнерадостности и теплоты, какой никак нельзя было ожидать в этом доме. В комнате чувствовалось присутствие человеческой души, — а какая душа не чует незримое присутствие другой?

Долли несомненно была девушка с душой чуткой и нежной, несмотря на легкий налет кокетства, — так иногда солнце встает утром в дымке, немного затемняющей его сияние. И, когда Эмма пошла ей навстречу и, поцеловав ее в щеку, сказала своим тихим голосом, что ей очень тяжело, у Долли глаза тотчас наполнились слезами, и она почувствовала к Эмме жалость, которую не выразишь словами. Однако минуту спустя, случайно

взглянув на себя в зеркало, она увидела в нем нечто настолько приятное, что, вздохнув, невольно улыбнулась и неожиданно утешилась.

— Мне уже все известно, — сказала она Эмме. — И это очень печально. Но знаете, как в жизни бывает: когда думаешь, что хуже быть не может, все вдруг меняется к лучшему.

— А ты уверена, что хуже быть уже не может? — с улыбкой спросила Эмма.

— Право, не знаю, что может быть хуже! Дальше, кажется, уж некуда, — ответила Долли. — И, значит, скоро наступит перемена к лучшему. Для начала я вам принесла кое-что.

— От Эдварда?

Долли улыбнулась, закивала и, для пущей важности порывшись в карманах (в те времена у платьев были карманы) с таким видом, словно не может никак найти то, что требуется, наконец достала письмо. Когда Эмма, торопливо распечатав его, углубилась в чтение, глаза Долли, по какой-то странной случайности, снова устремились в зеркало. Она невольно задумалась над тем, сильно ли страдает влюбленный каретник, и от души пожалела беднягу.

Письмо было длинное-предлинное — все четыре странички исписаны вдоль и поперек — но, видно, мало утешительное: читая его, Эмма то и дело утирала глаза платком. Долли эта печаль удивляла до крайности, ибо, по ее понятиям, любовь была самой веселой и приятной забавой в жизни. Она решила, что грусть мисс Хардейл объясняется ее чрезмерным постоянством и если бы Эмма завела роман с каким-нибудь другим молодым человеком — роман самый невинный, только для того, чтобы «проучить» как следует своего первого дружка, — она сразу почувствовала бы облегчение.

«Во всяком случае, так поступила бы я на ее месте,— думала Долли. — Хорошенько помучить своего милого — это умно и правильно, а самой убиваться из-за него — ну, нет, это уж слишком!»

Но высказать это вслух было бы нетактично, и Долли сидела молча. Ей пришлось-таки запастись терпением — когда длинное послание было прочитано до



конца, Эмма стала его перечитывать. Перечла второй раз, потом — третий. Томясь ожиданием, Долли коротала время самым лучшим способом, какой могла придумать, — завивала на пальцах свои локоны и, глядя в зеркало, старалась придать им убийственно соблазнительный вид.

Всему бывает конец. И даже влюбленная девушка не может перечитывать одно письмо до бесконечности. Через некоторое время письмо было сложено, спрятано и оставалось только написать ответ.

Но, так как и это было делом нешуточным и требовало немало времени, Эмма объявила, что напишет письмо после обеда и что Долли непременно должна пообедать с нею. Долли уже заранее намеревалась остаться обедать, и Эмме не пришлось ее долго упрашивать. Порешив на этом, они вышли в сад погулять.

Они ходили по дорожкам, с увлечением разговаривая — Долли во всяком случае болтала без умолку, — и своим присутствием очень оживляли и красили это мрачное, полное меланхолии место. Не потому, что они говорили громко или много смеялись, — нет, но обе были так хороши, а день — такой свежий, их светлые платья и темные кудри так свободно и весело развевал ветерок, Эмма была так прекрасна, Долли — такая розовая и юная. Эмма так грациозна и стройна, а Долли — такая пухленькая! Словом, что бы там ни говорили ученые садоводы, — таких цветов не найти было ни в одном саду, и дом и парк Уоррена, как будто понимая это, сразу повеселели.

Настало время обеда, а после обеда Эмма писала письмо. Потом они еще немного поболтали, причем мисс Хардейл, пользуясь случаем, побранила Долли за легкомысленное кокетство и непостоянство, а Долли, кажется, восприняла эти обвинения как нечто весьма лестное и очень развеселилась. В конце концов, видя, что она неисправима, Эмма перестала выговаривать ей и отпустила, доверив ей бесценную вещь, которую следовало беречь как зеницу ока, — ответное письмо Эдварду, — и подарив на память прехорошенький браслетик. Надев ей на руку этот подарок и еще раз полушутя-полусерьезно посоветовав не быть такой ветреной и коварной (ибо Эмма

знала, что Долли в душе любит Джо, хотя Долли это стойко отрицала, высокомерно твердя, что уж во всяком случае может рассчитывать на жениха получше — «экое сокровище, подумаешь!»), Эмма простилась с нею. Затем она еще вернула ее с дороги, чтобы устно добавить для передачи Эдварду такое множество наказов, какое вряд ли мог бы запомнить даже человек в десять раз серьезнее Долли Варден, и, наконец, отпустила ее.

Простясь с Эммой, Долли легко и быстро сбежала вниз по лестнице и очутилась у опасного пункта — двери в библиотеку. Она хотела уже на цыпочках пройти мимо, но не тут-то было! Дверь отворилась, и на пороге появился мистер Хардейл.

Долли с самого детства побаивалась этого человека, в котором ей чудилось что-то мрачное и непонятное, к тому же еще в эту минуту у нее совесть была нечиста, — и при виде мистера Хардейла она от сильного волнения не смогла ни поздороваться, ни убежать. Она стояла перед ним, вся дрожа и не поднимая глаз.

— Войди-ка сюда, девочка, — сказал мистер Хардейл, беря ее за руку. — Мне надо с тобой поговорить.

— Извините, сэр, я тороплюсь, — запинаясь, пролепетала Долли. — Вы... вы вышли так неожиданно, что я испугалась... отпустите меня, пожалуйста, мне пора идти.

— Сейчас, — мистер Хардейл успел между тем ввести ее в комнату и закрыть дверь. — Сейчас отпущу. Ты была у Эммы?

— Да, сэр, я только что от нее... Отец меня дожидается, так что сделайте милость, сэр...

— Хорошо, хорошо, — сказал мистер Хардейл, — но сначала ответь мне на один вопрос. Для чего ты сегодня приходила к нам?

— Для чего приходила, сэр?.. — Долли замялась.

— Ты скажешь правду, я уверен. Что ты принесла?

Долли с минуту была в нерешительности, но, ободренная его тоном, ответила, наконец:

— Ну, хорошо, сэр, скажу: я принесла письмо.

— Разумеется, от мистера Эдварда Честера? И несешь ему ответ?

Этот вопрос опять застиг Долли врасплох, и, не зная, на что решиться, она расплакалась.

— Напрасно ты так волнуешься, глупенькая, — сказал мистер Хардейл. — Можешь спокойно ответить мне — ведь ты же знаешь, что мне стоит только спросить Эмму, и я тотчас узнаю правду. Письмо к Честеру при тебе?

Долли была, что называется, не робкого десятка. Она видела, что ее окончательно приперли к стене, однако не сдалась.

— Да, сэр, — ответила она, дрожа от волнения и страха. — Оно при мне, но я его не отдам. Вы можете меня убить, сэр, но я его вам не отдам. Простите, сэр, не могу я этого сделать.

— Мне нравится твоя стойкость и прямота, — сказал мистер Хардейл. — Поверь, я не собираюсь ни убивать тебя, ни отнять у тебя письмо. Ты славная девушка, и твои друзья, я вижу, могут на тебя положиться.

Подозревая все-таки (как она потом рассказывала), что мистер Хардейл этими похвалами просто хочет ее «обойти», Долли старалась держаться от него подальше, и все плакала, полная решимости защищать до последней капли крови свой карман, где лежало письмо.

А мистер Хардейл минуту-другую молча смотрел на нее, и улыбка осветила его всегда хмурое и печальное лицо, когда он заговорил снова:

— Знаешь, что: у меня есть план. Я решил взять для Эммы компаньонку, чтобы она не была так одинока. Не хочешь ли ты занять это место? Ты ведь ее подруга детства и больше всех имеешь на это право.

— Не знаю, сэр, — сказала Долли, опасаясь, не подшучивает ли он над ней. — Не знаю, что дома на это скажут. Я сама не могу ничего решить, сэр.

— А если твои родные не будут против, неужели ты откажешься? — возразил мистер Хардейл. — Ну, смелее! Вопрос простой и ответить на него нетрудно.

— Конечно, нетрудно, — промолвила Долли. — Я люблю мисс Эмму и рада всегда быть при ней.

— Ну, вот и отлично. Только это я и хотел знать, — сказал мистер Хардейл. — Тебе, видно, не терпится уйти? Так я тебя больше не задерживаю.

Долли не стала дожидаться, пока он передумает; не успели эти слова слететь с его губ, как она была уже за порогом и, выбежав из дома, помчалась в поле.

Немного придя в себя и вспоминая пережитой испуг, она, конечно, первым делом опять поплакала, а затем, при мысли о том, как удачно все кончилось, весело засмеялась. Слезы высохли, их сменила улыбка, и Долли в конце концов расхохоталась так, что вынуждена была прислониться к дереву, пока не пройдет этот приступ веселости. Совсем обессилев от смеха, она поправила прическу, вытерла глаза, победоносно оглянулась на трубы Уоррена, уже едва видные отсюда, и пошла дальше.

Наступили сумерки и быстро темнело, но тропинка, по которой Долли часто ходила, была ей настолько знакома, что она вряд ли замечала сгущающийся мрак и ничуть не боялась идти одна. Притом она была занята рассматриванием нового браслета; надо же было и протереть его как следует, чтобы он чудесно засверкал на вытянутой руке, и полюбоваться на него с разных сторон, вертя руку и так и этак, — все это целиком поглощало Долли. Потом — письмо Эммы; у него был такой загадочный и многозначительный вид, и Долли знала, что оно содержит в себе много важного, — как было не вынуть его из кармана, не осмотреть внимательно раз, другой и третий, гадая, с чего оно начинается, какими словами кончается и что вообще в нем написано? Это тоже отняло много времени. Браслет и письмо занимали все внимание Долли — где же тут было думать еще о чем-то! И, любуясь то одним, то другим, она весело шла к «Майскому Древу».

Когда она проходила по узкой тропке между живыми изгородями, среди которых кое-где росли и деревья, ей послышался рядом какой-то шорох, приковавший ее к месту. Она прислушалась. Вокруг все было тихо, и Долли пошла дальше. Хоть и не очень испугавшись, она все же немного ускорила шаг и была уже не так беззаботно весела, как до сих пор, — все-таки боязно было одной в темноте.

Как только она двинулась дальше, она услышала тот же легкий шум — казалось, кто-то крался за нею среди зарослей. Вглядываясь в то место, откуда доносились звуки, Долли как будто различила согнутую фигуру. Она опять остановилась, но вокруг все было спокойно, как

и прежде. Она зашагала вперед уже значительно быстрее и даже попробовала мурлыкать песенку, уверяя себя, что, наверное, это ветер шелестел в кустах.

Но почему же ветер шумит, пока она идет, и утихает, как только она останавливается? При этой мысли Долли невольно остановилась — и шорох в кустах тотчас затих. Тут она уже не на шутку перетрусила. И в то время, как она стояла в нерешимости, кусты впереди затрещали, раздвинулись, и из них на тропинку выскочил какой-то мужчина.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В первый момент Долли почувствовала невыразимое облегчение, узнав в человеке, который так внезапно выскочил из кустов и загородил ей дорогу, Хью, конюха из «Майского Древа». Она окликнула его с искренней радостью.

— Ах, это вы? — сказала она. — Слава богу! Зачем вам вздумалось так меня пугать?

Хью ничего не ответил — стоял неподвижно и смотрел на нее.

— Вы вышли ко мне навстречу? — спросила Долли.

Хью утвердительно кивнул и буркнул что-то невнятное — вроде того, что он ее дожидается давно, а она почему-то долго не шла.

— Я так и думала, что кого-нибудь пошлют меня встречать, — продолжала Долли, уже совсем успокоенная.

— Никто меня не посылал, — угрюмо отрезал Хью, — я пришел сам от себя.

Грубость этого парня, его неряшливый и дикий вид часто внушали Долли смутное беспокойство даже и тогда, когда вокруг были люди. А встреча с этим непрошенным провожатым в таком уединенном месте и в быстро сгущавшейся темноте еще усилила ее тревогу.

Если бы физиономия Хью выражала сейчас, как обычно, только упрямство и угрюмую свирепость, он казался бы Долли не более антипатичным, чем всегда,

и она, пожалуй, даже была бы довольна, что пойдет дальше не одна. Но в его глазах сейчас заметно было что-то вроде дерзкого восхищения, и это сильно пугало девушку. Она боязливо покосилась на него, не зная, как быть, — идти дальше или отступить, а Хью все стоял, похожий на красивого сатира, и в упор смотрел на нее. Так прошло несколько минут, и никто из них не шевельнулся, не прервал молчания. Наконец Долли, собравшись с духом, стрелой прошмыгнула мимо Хью и побежала вперед.

— Зачем это вы так бежите от меня? — сказал Хью, догнав ее, и пошел рядом, соразмеряя свой шаг с шагом Долли.

— Мне надо вернуться как можно скорее. А вы мне мешаете. Вы идете слишком близко, — сказала Долли.

— Слишком близко? — Хью наклонился к ней, и она ощутила на лбу его дыхание. — Почему слишком? Вы всегда задираете нос, когда разговариваете со мной, мисс гордячка.

— Вы ошибаетесь, я не гордячка, — возразила Долли. — Отодвиньтесь, пожалуйста, или ступайте вперед.

— Нет, мисс, — Хью, изловчившись, взял Долли под руку. — Я пойду рядом с вами.

Она вырвалась и, сжав маленькую ручку в кулак, изо всей силы ударила его. В ответ Хью разразился громким хохотом и, обхватив ее одной рукой, сжал в своих могучих объятиях с такой же легкостью, как мальчик сжимает в кулаке птичку.

— Ха-ха-ха! Здорово, мисс! Ну-ка, ударьте еще раз! Можете бить меня по щекам, и вцепиться в волосы, и вырвать с корнем мою бороду, я все стерплю ради ваших прекрасных глазок. Бейте, мисс! Ха-ха-ха! Мне это приятно.

— Пустите! — крикнула Долли, обеими руками пытаясь оттолкнуть его. — Сию минуту пустите!

— Вам следовало бы быть ко мне добрее, милашка, — сказал Хью. — Право, следовало бы! Скажите на милость, чем это вы так гордитесь? Впрочем, я на вас не в обиде. Мне нравится, что вы такая гордячка. Ха-ха-ха! Красы своей вы все равно не спрячете, ею может любоваться даже такой бедняк, как я. И это хорошо.

Долли, не отвечая, продолжала идти, благо Хью пока не пытался остановить ее. Но быстрая ходьба, страх и крепкие объятия Хью, наконец, так ее обессилили, что она не могла больше и шагу сделать.

— Хью, — взмолилась она, задыхаясь. — Хью, голубчик, пусти меня, я тебе заплачу. Отдам все, что у меня есть, и не расскажу про тебя ничего ни одной живой душе.

— Да, рассказывать не советую, — отозвался Хью. — Слышишь, моя кошечка, *не советую*. Здесь все кругом меня знают и знают, что я способен натворить, если захочу. Так что, когда тебе вздумается болтать, удержись, вспомни, какую беду ты накличешь на ни в чем не повинных людей, — а ведь ты не хочешь, чтобы хоть один волос упал с их голов? Насолишь мне, так я насолю тем, кто тебе дорог, и не только насолю, а еще что похуже сделаю. Мне люди не дороже собак — за что мне их любить? Я скорее человека убью, чем собаку. Я ни разу в жизни не жалел, когда умирали люди, а по издохшим собакам горевал.

В тоне этих слов, во взгляде и жестах, которыми они сопровождались, было что-то настолько дикое и жестокое, что ужас перед этим человеком придал Долли сил, и она, неожиданным движением вырвавшись от него, помчалась вперед. Тщетное усилие! Во всей Англии не найти было такого ловкого, сильного и быстрого парня, как Хью, и он догнал и обнял ее раньше, чем она успела пробежать сотню ярдов.

— Потише, моя красотка, потише! Неужто ты хочешь убежать от меня? Право, неотесанный Хью любит тебя не меньше, чем какой-нибудь знатный щеголь!

— Все равно убегу! — крикнула Долли, вырываясь. — Помогите!

— За крики — штраф! — объявил Хью. — Ха-ха-ха! Приятный штраф с твоих губок. Я его сам возьму, ха-ха-ха!

— Спасите! Спасите! — завопила Долли из последних сил — и вдруг издали донесся ответный крик, потом другой, третий.

— Слава богу! — радостно воскликнула Долли. — Джо, милый Джо, сюда! Помогите!

Хью на миг растерялся и стоял в нерешимости, но крики слышались все ближе и вынудили его действовать быстро. Он отпустил Долли, шепнул угрожающе: «Только пикни ему — так увидишь, что будет!» — и, прыгнув в кусты, исчез. А Долли побежала вперед и попала прямо в раскрытые объятия Джо Уиллета.

— Что случилось?! На вас напали? Кто? Где он? Каков из себя? — были первые слова Джо. Затем на Долли посыпалось множество других вопросов и ободряющих, успокоительных заверений, что теперь ей нечего бояться. Но бедняжка Долли была так напугана и так запыхалась, что некоторое время не могла выговорить ни слова в ответ, и только цеплялась за своего спасителя, плача так, словно сердце у нее разрывалось на части.

Джо решительно ничего не имел против того, что Долли припала к его плечу, хотя вишневые ленты от этого сильно смялись и шляпка утратила свой нарядный вид. Но на слезы Долли он не мог смотреть спокойно, они камнем ложились ему на душу. Он старался утешить ее, шептал ей что-то, наклонясь, и, говорят, даже целовал, но это басни. Во всяком случае, он говорил все нежные и ласковые слова, какие мог придумать, а Долли их слушала, ни разу не оттолкнув его, и прошло добрых десять минут, прежде чем она подняла голову с его плеча и поблагодарила его.

— Что вас так испугало? — спросил Джо.

Она сказала, что за ней гнался какой-то неизвестный, что он сперва попросил милостыню, потом перешел к угрозам, хотел ее ограбить и сделал бы это, если бы не подоспел Джо. Объясняла она все довольно бессвязно, в явном смущении, но Джо приписал это пережитому ею испугу и ни на минуту не заподозрил правды.

«Только пикни, и увидишь, что будет!» Сто раз в этот вечер, да и позднее очень часто, когда у Долли уже была на языке изобличающая Хью правда, она вспоминала эту угрозу и подавляла желание рассказать все. Глубоко укоренившийся страх перед этим человеком, уверенность, что он, разозлившись, ни перед чем не остановится, и боязнь, что, если она его изобличит, гнев его и месть обрушатся на Джо, который спас ее, — вот что заставляло ее молчать.

А Джо был слишком счастлив, чтобы интересоваться подробностями и расспрашивать ее о случившемся. Так как Долли все еще не оправилась от потрясения и не могла идти без чужой помощи, они, к удовольствию Джо, брели очень медленно. Вдруг, когда огни «Майского Древа» были уже совсем близко и приветливо мигали им, Долли остановилась и вскрикнула:

— А письмо?

— Какое письмо? — спросил Джо.

— То, что я несла... Я его держала в руке... И мой браслет! — Она сжала свою руку у кисти. — Я потеряла их.

— Вы думаете, что потеряли только сейчас, на дороге?

— Да, я их обронила. Или у меня их украли, — сказала Долли, тщетно обследовав свой карман. — Нет их нигде... пропали! Боже, какая я несчастная!

И бедняжка Долли — к чести ее надо сказать, что потеря письма огорчила ее не меньше, чем потеря браслета, — снова разразилась слезами и жалобами на свою судьбу, глубоко трогавшими Джо.

Он пытался утешить ее, говоря, что как только доставит ее благополучно в «Майское Древо», вернется сюда с фонарем (было уже совсем темно) и будет везде искать пропавшие вещи, и они, наверное, найдутся, так как вряд ли кто еще проходил сегодня вечером по этой дороге, а если бы их насильно отняли у Долли, она бы это помнила.

Долли от всего сердца поблагодарила его, однако она не очень-то надеялась, что поиски его будут успешны. Они двинулись в путь. Долли жалобно причитала, а Джо ободрял и утешал ее и, так как она очень ослабела, нежно ее поддерживал, пока они, наконец, не дошли до гостиницы, где слесарь с женой и старый Джон все еще пировали.

Мистер Уиллет выслушал рассказ о злоключениях Долли с той удивительной невозмутимостью, которая выгодно отличала его от других людей. Сочувствие миссис Варден горю дочери выразилось в том, что она энергично выбранила ее за позднее возвращение. А славный Гейбриэл то утешал и целовал Долли, то сердечно

жал руку Джо, не зная, как и выразить свою благодарность, и превознося его до небес за храбрость и великодушие.

В этом последнем пункте почтенный Джон был решительно несогласен со своим приятелем. Во-первых, он вообще не одобрял излишнюю смелость и предприимчивость, во-вторых, у него мелькнула мысль, что, если бы сын его и наследник серьезно пострадал в стычке, это несомненно повлекло бы за собой большие расходы и неприятности и даже могло бы нанести немалый ущерб его гостинице. Эти соображения, да еще неодобрительное отношение к молодым девицам, существование которых в мире, как и вообще существование всего женского пола, было, по его мнению, просто какой-то нелепой ошибкой природы, побудили Джона под благовидным предлогом удалиться от общества. Он посидел в одиночестве перед котлом, качал головой, и, вдохновленный этим немым оракулом, потом украдкой несколько раз подтолкнул локтем Джо — в виде родительского упрека и деликатного внушения впредь не соваться не в свое дело и не валять дурака.

Тем не менее Джо принес сверху фонарь, зажег его и, вооружившись толстой палкой, осведомился, в конюшне ли Хью.

— Спит у огня на кухне, — сказал мистер Уиллет. — А на что он тебе?

— Хочу, чтобы он пошел со мной поискать браслет и письмо, — ответил Джо. — Эй, Хью!

Долли побледнела, как смерть, и чуть не лишилась чувств. Через минуту-другую вошел Хью, потягиваясь и зевая, как человек, только что разбуженный от сладкого сна.

— На, держи, соня ты этакий! — сказал Джо, передавая ему фонарь. — Кликни собаку да захвати свою дубинку. И горе тому разбойнику, если он попадется нам.

— Какому разбойнику? — пробурчал Хью, не переставая протирать глаза и потягиваться.

— Какому? — отозвался Джо, полный кипучей энергии и сознания важности предстоящей экспедиции. — Тебе это следовало бы знать и побольше этим интере-

соваться. Вот оттого, что такие здоровенные лентяи, как ты, храпят все вечера напролет у печки, девушка из порядочной семьи не может в сумерки пройтись спокойно по нашим тихим местам без того, чтобы на нее не напали грабители и не напугали ее до смерти.

— Меня никто не грабит, — сказал Хью со смехом. — Потому что с меня взять нечего. Но я тоже не прочь задать перцу этим бродягам. Сколько их там?

— Только один, — слабым голосом отозвалась Долли, потому что все посмотрели на нее.

— А каков он на вид, мисс? — спросил Хью, бросив на молодого Уиллета взгляд, такой беглый, что скрытую в нем угрозу уловила только Долли. — Ростом будет с меня, нет?

— Нн-нет, пониже, — ответила Долли, едва сознавая, что говорит.

— А одет как? — продолжал Хью, пристально глядя на нее. — Я знаю всех здешних жителей и мог бы догадаться, кто это, если вы его опишете.

Долли еще больше побледнела и с трудом, запинаясь, объяснила, что напавший на нее человек был в широком плаще, а лицо закрывал платком, так что она не могла разглядеть его.

— Значит, вы не узнали бы его, если бы встретили опять? — спросил Хью с злорадной усмешкой.

— Нет, — Долли снова расплакалась. — И не хотела бы его встретить. Мне и вспомнить о нем противно, и не буду я больше говорить о нем. Не ходите искать мою пропажу, мистер Джо! Умоляю вас, не ходите вы с этим человеком!

— Не ходить со мной! — воскликнул Хью. — Что, видно, я слишком неотесанный парень для такой компании? И чего это все меня боятся? А у меня, видит бог, мисс, сердце мягкое, как воск. Я люблю всех женщин, миссис, — добавил он, обращаясь на этот раз к жене слесаря.

Миссис Варден высказала мнение, что, если это правда, ему должно быть стыдно за себя, ибо такое любвеобилие присуще нечестивому мусульманину или дикарю-островитянину, но никак не приличествует ревностному протестанту. Заключив из слов Хью, что нравствен-

ность его далеко не на высоте, она предположила, что он никогда не изучал «Наставлений протестантам». Хью признался, что не читал их и что он вообще не умеет читать, после чего миссис Варден, еще строже пристыдив его, горячо посоветовала ему откладывать свои карманные деньги на покупку этой книги, а когда купит, прилежно изучать ее содержание. В самый разгар ее проповеди Хью довольно бесцеремонно и непочтительно вышел из комнаты вслед за молодым хозяином, предоставив ей поучать остальное общество. Продолжая разглагольствовать, она заметила, что глаза мистера Уиллета устремлены на нее, по-видимому, с глубоким вниманием, и стала обращаться к нему одному. Она прочла ему весьма длинную лекцию на темы религиозно-нравственные, уверенная, что в душе ее слушателя происходят великие сдвиги. Между тем истина заключалась в том, что, хотя глаза мистера Уиллета были широко открыты и не отрывались от сидевшей перед ним гостьи, голова ее казалась ему все больше и больше, заполнила, наконец, всю комнату — и мистер Уиллет, надо прямо сказать, крепко уснул. Откинувшись на спинку стула и засунув руки в карманы, он преспокойно спал, пока его не разбудил приход сына — тогда он проснулся с глубоким вздохом, смутно припоминая, что ему снилась ветчина с горошком. Это сонное видение объяснялось, без сомнения, тем обстоятельством, что миссис Варден часто произносила слово «грешник», усиленно подчеркивая его: слово это, похожее на слово «горошек», проникая в незащищенные преддверия мозга мистера Уиллета, и создало представление о ветчине с таким именно гарниром.

Поиски пропажи успехом не увенчались. Джо двадцать раз обшарил тропку, искал в траве, в сухой канаве, в кустах — все напрасно. Долли была в отчаянии. Она написала мисс Хардейл записку, объяснив все так же, как объяснила в «Майском Древе», и Джо обещал доставить записку в Уоррен завтра рано утром, как только там проснутся слуги.

После этого все уселись пить чай, и к чаю была подана целая гора гренков с маслом, а еще (для того, чтобы гости не обессилели от недостатка пищи и подкрепились между обедом и ужином) всякие аппетитные за-

куски, например, нарезанная тонкими ломтиками превосходная ветчина, как раз в меру поджаренная и с пылу горячая, распространявшая чудесный соблазнительный аромат.

Обычно миссис Варден за едой редко вспоминала, что она ревностная протестантка, если кушанья не были пережарены или недоварены, или что-нибудь другое не выводило ее из себя. При виде такого обильного угощения она заметно повеселела и от рассуждений о несущественности добрых дел без веры перешла с большим удовольствием к таким существенным вещам, как ветчина и гренки. Под влиянием этих живительных средств она даже стала сурово журить дочь за то, что та легко падает духом (такое малодушие миссис Варден считала совершенно недопустимым), и, протягивая свою тарелку за добавочной порцией, объявила, что Долли, которая горюет из-за потери какой-то побрякушки и листка бумаги, не мешало бы вспомнить о добровольном самоотречении миссионеров в чужих странах, где они питаются почти одним только салатом.

События этого дня могли вызвать сильные колебания «душевной температуры» (если можно так выразиться) у кого угодно, а тем более у такой чувствительной и утонченной натуры, как миссис Варден. За обедом термометр показывал летний зной: миссис Варден была весела, мила, улыбалась. После обеда солнечный жар выпитого вина поднял температуру по меньшей мере на пять-шесть градусов, и почтенная дама была уже просто очаровательна. Когда действие вина стало ослабевать, температура начала быстро падать: миссис Варден поспала час-другой при умеренной, а проснулась с температурой ниже нуля. Зато сейчас термометр снова показывал летнюю температуру в тени, и после чая, когда старый Джон, достав из дубового шкафа бутылку с «укрепляющим средством», заставил ее выпить подряд два стакана, температура в течение часа с четвертью держалась устойчиво на девяноста градусах. Умудренный опытом супруг воспользовался этой прекрасной погодой, чтобы выкурить трубочку на крыльце, и благодаря такой предусмотрительности был готов двинуться в обратный путь, как только термометр снова начал падать.

Запрягли лошадь, подали к крыльцу коляску. Джо, не слушая уговоров, решил сопровождать гостей, пока они не проедут самую пустынную и опасную часть пути. Он вывел из конюшни серую кобылу и, подсадив Долли в экипаж (снова минута счастья!), весело вскочил в седло. Затем после многократного прощанья, советов укутаться потеплее, после того как были зажжены факелы и принесены все плащи и шали, коляска тронулась. Джо трусил рядом с ней — разумеется, с той стороны, где сидела Долли, и даже весьма близко к колесу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Был прекрасный светлый вечер, и, несмотря на грустное настроение, Долли все время глядела на звезды. Она была при этом так чарующе хороша (и знала это), что Джо совсем потерял голову. Уже нельзя было не видеть, что если есть на свете человек влюбленный не то что по уши, а по верхушку Монумента и купол собора св. Павла *, то это он, Джо. Дорога была очень хорошая, ровная, ехали без тряски, однако Долли все время держалась маленькой ручкой за край повозки. И даже если бы за спиной Джо стоял палач с занесенным топором, готовый отсечь ему голову, если он дотронется до этой ручки, — Джо был бы не в силах устоять перед искушением. Сначала он как будто невзначай прикрывал своей рукой ручку Долли и через минуту-другую отнимал ее, потом долгое время ехал рядом, не отнимая ее, — можно было подумать, что это было главной его обязанностью, как конвоира, и он для того и сопровождал их. И любопытнее всего то, что Долли как будто ничего не замечала. Временами она поглядывала на Джо так невинно, с таким отсутствующим видом, что это было просто обидно.

Впрочем, она с ним разговаривала: вспоминала, как испугалась тогда на дороге, как вовремя Джо явился к ней на помощь, снова благодарила его, твердя, что не знает, как и выразить ему свою благодарность, что от-

ныне они будут друзьями навеки. А когда Джо ввернул: «Нет, надеюсь, не друзьями», Долли очень удивилась и возразила, что не врагами же им быть. А Джо на это спросил: «Разве не может быть между нами кое-что получше и дружбы и вражды?»

Тут Долли вдруг высмотрела на небе звезду, которая была ярче всех, и указала на нее Джо, а выражение лица у нее при этом было еще в тысячу раз невиннее и рассеяннее, чем раньше.

Так они ехали, переговариваясь почти шепотом, втайне жалея, что дорога не может растянуться и стать в десять раз длиннее (Джо по крайней мере сильно об этом жалел), как вдруг, когда они уже выезжали из леса на менее пустынную дорогу, за ними раздался конский топот. Кто-то мчался крупной рысью и, видимо, быстро настигал их, так как стук копыт слышен был все явственнее. Миссис Варден испустила вопль, но в ответ ей раздался успокоительный крик всадника: «Свой!» Затем всадник, тяжело дыша, подскакал к коляске и осадил лошадь.

— Опять он! — воскликнула Долли, вздрогнув.

— Хью! — удивился Джо. — Ты зачем?

— Мне велено проводить вас обратно домой, — отвечал Хью, украдкой поглядывая на дочку слесаря. — Это *он* меня послал.

— Отец? — переспросил бедный Джо и буркнул себе под нос без всякой сыновней почтительности: — Когда же он, наконец, поймет, что я уже взрослый мужчина и не нуждаюсь в его опеке?

— Он, — ответил Хью на его первый вопрос. — Дороги в такой час небезопасны, и вдвоем ехать спокойнее.

— Ладно, так поезжай вперед, — сказал Джо. — Я еще не собираюсь повернуть обратно.

Хью послушался, и они продолжали путь. Хью почему-то ехал перед самой коляской и беспрестанно оглядывался. Долли чувствовала, что он смотрит на нее, и сидела с опущенными глазами — ни разу она не подняла их, такой страх внушал ей этот парень.

Вторжение в их компанию Хью, разбудившего миссис Варден (до этого она все время клевала носом и только порой просыпалась на минуту и ворчала на мужа за то, что он осмелился обнять ее, чтобы не дать ей во сне

вывалиться на дорогу), стесняло Джо и Долли и мешало им продолжать свой тихий разговор. Не проехали они и мили, как Варден, по требованию жены, остановил лошадь, и добрая женщина заявила, что ни за что не допустит, чтобы Джо провожал их хотя бы на шаг дальше. Сколько ни протестовал Джо, говоря, что он ничуть не устал, что он скоро поедет обратно, вот только проводит их еще до такого-то места, — ничто не помогло. Миссис Варден была женщина упрямая, и никакими силами невозможно было переупрямить ее.

— Что ж, прощайте, раз вы меня гоните, — грустно сказал Джо.

— Прощайте, — ответила Долли. Ей хотелось прибавить: «Остерегайтесь этого человека, ради бога не доверяйте ему», но Хью уже повернул лошадь и очутился около Джо. Долли молча позволила Джо легонько пожать ей руку, а когда они отъехали на некоторое расстояние, она оглянулась и помахала ему этой самой ручкой, видя, что Джо все еще стоит на том же месте, где они расстались, а позади темнеет фигура Хью.

Мы не знаем, о чем она думала, пока они добирались до города, и занимал ли теперь каретник в ее мыслях столько же места, сколько занимал еще сегодня утром. Наконец они приехали домой — я говорю «наконец», ибо путь был долгий и брюзжание миссис Варден не помогало коротать его. Услышав стук колес, Миггс тотчас очутился у дверей.

— А вот и они, Симмун! Вот и они! — закричала она, хлопая в ладоши, и бросилась к хозяйке, чтобы помочь ей сойти. — Принесите стул, Симмун! Ну, что, мэм, вы теперь лучше себя чувствуете? Довольны, что не остались дома? Господи, какие у вас холодные руки! Ах, сэр, она просто в сосульку превратилась.

— Ну, что ж поделаешь, моя милая. Веди ее скорее в дом, к огню, — сказал слесарь.

— Можно подумать, что хозяин у нас совсем бесчувственный, — сказала Миггс соболезнующим тоном. — Но я уверена, мэм, что в душе он не таков. После того что вы сегодня для него сделали, у него, наверно, в сердце столько любви, что он не скажет вам ни одного недоброго слова. Пойдемте, мэм, посидите у огня.

Миссис Варден вошла в дом, слесарь, держа руки в карманах, последовал за ней, а мистер Тэппертит покатил коляску в сарай.

— Марта, милая, — сказал слесарь, когда они вошли в столовую, — хорошо бы тебе самой присмотреть за Долли или послать к ней кого-нибудь. Ты же знаешь, как она перепугалась. Она сегодня просто сама не своя.

Действительно, Долли упала на кушетку и, не обращая внимания на то, что измялся ее наряд, которым она так гордилась сегодня утром, плакала навзрыд, закрыв лицо руками.

Долли вовсе не имела обыкновения устраивать такие сцены (чем чаще устраивала их мать, тем меньше склонна была дочь следовать ее примеру) — и потому при виде столь необычайного зрелища миссис Варден объявила, что нет и не было на свете женщины несчастнее ее, что жизнь ее — непрерывный ряд испытаний, и как только она почувствует себя хорошо, окружающие непременно стараются чем-нибудь ее огорчить, — вот сегодня ей приходится расплачиваться за приятно проведенный день, а бог видит, как редко в ее жизни случаются такие дни! Ей усердно подпевала Миггс. От этих тонических средств бедняжке Долли становилось не лучше, а хуже, и, видя, что она не на шутку расстроена, миссис Варден и Миггс, наконец, пожалели ее и принялись за ней ухаживать. Однако даже тут они не отступали от обычной своей тактики, и, хотя Долли лежала без чувств, даже глупцу было ясно, что страдалица не она, а ее мать. Когда Долли немного полегчало и она пришла уже в такое состояние, в каком, по мнению почтенных мамаш, с успехом можно слушать нотации и поучения, миссис Варден со слезами на глазах принялась ей внушать, что страдание — удел человека на земле, а в особенности удел женщины, что женщина всю жизнь ни на что иное надеяться не может и должна с кротостью и терпением нести свой крест, — об этом Долли должна помнить и примириться с тем, что у нее сегодня был тяжелый день. Миссис Варден напомнила дочери, что ей, вероятно, в самое ближайшее время предстоит, насилуя свои чувства, выйти замуж, а брак, как она сама ежедневно может видеть (увы, Долли действительно это видела!), требует

великой силы духа и великого терпения. Не жалея красок, почтенная матрона доказывала Долли, что, если бы она, миссис Варден, на своем жизненном пути в этой юдоли слез, не руководилась твердым сознанием долга, которое только и поддерживает ее и не дает ей пасть духом, она уже давно сошла бы в могилу, — и, спрашивается, что сталось бы тогда с этим заблудшим (под «заблудшим» подразумевался слесарь), для которого она была зеницей ока, светочем и путеводной звездой в жизни?

К ее наставлениям мисс Миггс добавила от себя коечто в том же духе. Она сказала, что уж, конечно, мисс Долли должна брать пример с такой святой женщины, как ее мать, и хотя бы ее, Миггс, за это повесили, утопили и четвертовали сию же минуту, она всегда будет твердить, что миссис Варден — самая кроткая, самая великодушная, самая снисходительная и многострадальная женщина в мире. Она, Миггс, раньше и поверить не могла, что такие бывают. Достаточно ей было рассказать о добродетелях миссис Варден своей невестке, как в душе этой невестки произошла благодетельная перемена: до того они с мужем жили как кошка с собакой, швыряли друг в друга медными подсвечниками, крышками от кастрюль, утюгами и другими столь же увесистыми доказательствами своего раздражения, а сейчас они — самая счастливая и любящая парочка на свете, в этом когда угодно можно убедиться, если заглянуть в дом номер двадцать семь на площади Золотого Льва, второй звонок справа. Далее Миггс, вскользь упомянув о себе, как о существе ничтожном, но имеющем все же кое-какие заслуги, стала заклинать Долли, чтобы она всегда помнила, что ее дражайшая и единственная мать — женщина чувствительная и слабого здоровья и что в семейной жизни ей постоянно приходится переносить потрясения, в сравнении с коими нападение какого-то там разбойника или грабителя — совершенный пустяк, и все же она никогда не падает духом, не поддается ни гневу, ни отчаянию и, выражаясь языком боксеров, всегда «в форме», бодра, весела и выходит победительницей из испытаний.

Когда Миггс окончила свое соло, к ней присоединилась хозяйка, и они уже дуэтом продолжали развивать все ту

же тему, а неизменный припев сводился к тому, что миссис Варден — угнетенная добродетель, а мистер Варден, как и следует ожидать от представителя мужского пола, — существо грубое, с порочными привычками, совершенно неспособное оценить то счастье, которое ему досталось на долю.

Эти нападки под маской сочувствия к Долли делались весьма тонко и ловко, и когда Долли, оправившись, нежно поцеловала отца, как бы желая защитить его попранное достоинство, миссис Варден торжественно выразила надежду, что это послужит ему уроком на весь остаток жизни и впредь он будет ценить женскую душу, с чем мисс Миггс выразила полное согласие многозначительным покашливанием и сопением, более красноречивым, чем самая длинная речь.

Однако больше всего радовало Миггс то, что ей не только удалось во всех подробностях узнать о случившемся, но она смогла доставить себе утонченное наслаждение: передать все мистеру Тэппертиту и усилить таким образом его ревность и душевные терзания. По случаю нездоровья Долли этому джентльмену предложено было ужинать в мастерской, куда мисс Миггс собственными прелестными ручками и принесла его ужин.

— Ах, Симмун, — сказала эта молодая особа. — Если бы вы знали, что сегодня случилось! Помилуй бог, Симмун!

Мистер Тэппертит был в довольно мрачном настроении, и, кроме того, мисс Миггс была ему более всего противна, когда клала руку на грудь и бурно дышала, ибо тогда особенно бросалось в глаза несовершенство ее форм. Он смерил ее пренебрежительным взглядом, не проявляя никакого интереса к ее словам.

— Слыхано ли что-нибудь подобное! — продолжала Миггс, — и придет же в голову связываться с *нею*! Что в ней такого находят, ума не приложу, хи-хи-хи!

Поняв, что речь идет о какой-то женщине, мистер Тэппертит высокомерно предложил своей прекрасной собеседнице выражаться яснее и объяснить, что это за «она» и о ком идет речь.

— Ну, эта Долли, — сказала Миггс, резко отчеканивая каждый слог. — Впрочем, Джозеф Уиллет, по-моему,

молодчина и уж, конечно, ее достоин. Да, ей-богу, он молодчина!

— Женщина! — воскликнул мистер Тэппертит, вскакивая с конторки, на которой сидел. — Берегись!

— Силы небесные! — в притворном ужасе ахнула Миггс. — Вы меня до смерти напугали, Симмун! Что с вами?

— Есть струны в человеческом сердце, — произнес мистер Тэппертит, размахивая ножом, которым резал хлеб и сыр, — струны, которых лучше не касаться. Вот что!

— Ну, ладно. Если вы так рассердились, то лучше мне уйти, — и Миггс шагнула к двери.

— Рассердился или нет, это все равно, — сказал мистер Тэппертит, удержав ее за руку. — Что ты хотела сказать, Иезавель? * Что означают твои намеки? Отвечай!

Несмотря на такое невежливое обращение, Миггс охотно выполнила его требование: она рассказала, что ее молодая хозяйка шла вечером одна полем и на нее напали не то трое, не то четверо рослых мужчин, которые, конечно, похитили бы, а то и убили бы ее, если бы не подоспел Джозеф Уиллет. Он дрался с ними голыми руками, всех обратил в бегство и спас Долли, чем заслужил уважение и восхищение всех людей и вечную любовь и благодарность Долли Варден.

— Ну, хорошо же, — тяжело переводя дух, сказал мистер Тэппертит, когда Миггс окончила свой рассказ, и принялся ерошить волосы, да так, что они все стали дыбом. — Дни его сочтены!

— Ох, Симмун!

— Повторяю: дни его сочтены. А теперь оставьте меня. Ступайте!

Миггс тотчас удалилась, но не потому, что ее гнали, а потому, что ей хотелось поскорее дать волю распиравшему ее смеху. Нахохотавшись в укромном уголке, она вернулась в столовую, где слесарь, ободренный наступившим затишьем, праздновал встречу с Тоби. Став после этой встречи словоохотливым, он принялся было весело вспоминать о происшествиях сегодняшнего дня. Но миссис Варден, благочестие которой (как это нередко бывает)

носило ретроспективный характер, то есть обычно поднимало голос, так сказать, задним числом, сурово остановила мужа, указав на греховность такого рода развлечений и на то, что давно пора спать, после чего она с таким мрачным и унылым видом, что могла бы в этом отношении соперничать с парадной кроватью в «Майском Древе», удалилась на покой, и скоро ее примеру последовали все в доме.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Сумерки уже давно сменились вечером, но в некоторых кварталах Лондона жизнь еще кипела ключом, как в полдень. Эти кварталы удостоил своим пребыванием так называемый «высший свет» (который и тогда, как в наши дни, представлял собой весьма тесный круг), и в одном из них, Тэмпле, в этот вечер мистер Честер полулежал на диване в своей спальне и читал книгу.

Он, видимо, совершал свой туалет не спеша, постепенно, и когда был уже наполовину одет (очень изящно, по последней моде), решил сделать длительную передышку. Остальные части его костюма лежали наготове, оставалось только их надеть. Камзол был распялен на специальной подставке, напоминая нарядное чучело, жилет тоже разложен самым эффектным образом, и тут же в живописном порядке лежали другие элегантные принадлежности туалета, а мистер Честер развалился на диване и был поглощен чтением, как будто на сегодня уже покончил со всеми светскими обязанностями и собирался лечь спать.

— Честное слово, — сказал он, наконец, вслух, подняв глаза к потолку с видом человека, серьезно размышляющего о прочитанном. — Честное слово, я не знаю другой так мастерски написанной книги! Какие тонкие мысли, какие прекрасные правила нравственности и истинно-джентльменские чувства! Ах, Нед, Нед, если бы ты мыслил и чувствовал так, мы с тобой всегда сходились бы во всем, на все смотрели бы одинаково!



Это замечание, как и вся тирада, обращены были в пространство: Эдварда здесь не было, и отец его разговаривал сам с собой.

— Милорд Честерфилд! * — продолжал он, чуть не с нежностью положив руку на книгу. — Если бы я мог в свое время использовать ваши гениальные мысли и воспитал сына в тех правилах, какие вы завещали всем мудрым отцам, Эдвард и я были бы сейчас богачами. Шекспир, без сомнения, очень хорош в своем роде, хорош и Мильтон, хотя он прозаичен, лорд Бэкон — глубокий мыслитель, но гордостью отчизны я могу назвать только одного писателя: лорда Честерфилда.

Он задумался и стал орудовать зубочисткой.

— Я считал себя достаточно светским человеком, — снова заговорил он. — Я льстил себя надеждой, что обладаю всеми светскими талантами и лоском, отличающими людей высшего круга от простонародья и освобождающими нас от тех недопустимо пошлых, плебейских черт, которые называются «национальным характером». Да, я верил, что я — подлинно светский человек, и вовсе не из естественного пристрастия к собственной особе. А между тем на каждой странице книги этого просвещенного писателя я нахожу примеры такого пленительного лицемерия, какое мне и во сне не снилось, или высшего эгоизма, до сих пор совершенно мне чуждого. Я должен бы краснеть за себя перед этим изумительным писателем, если бы сам он не учил нас никогда не краснеть. Какой замечательный человек, — настоящий аристократ! Король или королева могут любого сделать лордом, но только сам сатана да грации могут создать Честерфилда!

Люди пустые и лживые до мозга костей редко пытаются скрыть свои пороки от самих себя. Однако именно в том, что они откровенно признаются себе в этих пороках, они видят высшую добродетель, ту добродетель, которую якобы презирают. «Ведь моя откровенность с самим собой — это честность, это правдивость, — твердят они. — Все люди таковы, как я, но у *них* не хватает честности признать это». Чем энергичнее они отрицают искренность во всех людях, тем больше им хочется показать, что они сами искренни до дерзости. Таким-то образом эти философы бессознательно отдают долж-

ное Истине и, глумясь над всем, глумятся над самими собой.

После панегирика своему любимому писателю мистер Честер в порыве восторга снова взял в руки книгу, намереваясь дальше изучать изложенную в ней высокую мораль, но ему помешал шум у входной двери: по-видимому, его слуга не хотел пускать какого-то непрошенного посетителя.

— Для назойливого кредитора час слишком поздний, — пробормотал про себя мистер Честер, поднимая брови с таким беспечным выражением, как будто шум этот доносился с улицы и нисколько его не касался. — Они обычно являются гораздо раньше. И всегда под тем же неизменным предлогом, что им предстоит завтра крупный платеж. Этот бедняга только потеряет даром время, а время — деньги, как говорит пословица, хотя *мне* в этом ни разу не пришлось убедиться. Ну, что там такое? Тебе же сказано, что меня нет дома.

— Какой-то парень, сэр, — доложил слуга, в совершенстве усвоивший себе холодно-небрежный тон своего господина. — Принес вам хлыст, который вы на днях где-то оставили. Я ему сказал, что вас дома нет, но он объявил, что не уйдет, пока я не отнесу вам хлыст.

— И прекрасно сделал, — отозвался мистер Честер. — А ты — олух без капли сообразительности! Приведи его сюда — да пусть раньше, чем войти, пять минут вытирает ноги.

Слуга положил хлыст на стул и вышел. А хозяин, который не потрудился даже обернуться, когда он вошел в комнату, и во время разговора ни разу не взглянул на него, продолжал свои размышления вслух, прерванные было его приходом:

— Если бы пословица «время — деньги» была справедлива, — промолвил он, вертя в руках табакерку, — я легко пришел бы к соглашению со всеми кредиторами и мог бы выплачивать им... сейчас, прикинем, сколько же я мог бы им уделять в день? Ну, скажем, послеобеденный сон — этот час я пожертвовал бы охотно, пусть берут и пользуются на здоровье. Утром, между завтраком и чтением газет, я тоже мог бы выкроить для них час, вечером, до обеда, — так и быть, еще один. Выходит три часа

в день. За двенадцать месяцев они таким способом взыскали бы с меня долг сполна, да еще с процентами. Пожалуй, предложу им... А, это вы, мой кентавр?

— Я, — ответил Хью. Он, широко шагая, вошел в комнату, а за ним шла собака, такая же угрюмая и взлохмаченная, как он сам. — Немалого труда мне стоило прорваться к вам! Вы сами велели мне прийти, а когда я пришел, держите меня за дверью, — это как же понимать?

— Очень рад вас видеть, милейший, — сказал мистер Честер, приподняв голову с подушки и меряя его с головы до ног равнодушным взглядом. — Ваше присутствие здесь — лучшее доказательство, что вас не держат за дверью. Как поживаете?

— Хорошо,— ответил Хью, не скрывая своего нетерпения.

— Вид у вас цветущий, настоящее олицетворение здоровья. Присядьте.

— Я уж лучше постою.

— Как хотите, как хотите, мой друг. — Мистер Честер встал, не спеша снял халат и сел перед зеркалом за туалетный стол. — Пожалуйста, не стесняйтесь.

Сказав это самым учтивым и ласковым тоном, он начал одеваться, не обращая больше внимания на гостя, который стоял растерянный, не зная, как быть дальше, и время от времени хмуро поглядывал на него.

— Что же, хозяин, вы говорить со мной будете? — спросил он после длительного молчания.

— Вы, видно, не в духе, любезный, немного раздражены. Я подожду, пока вы совершенно успокоитесь. Время терпит.

Этот тон подействовал на Хью именно так, как рассчитывал мистер Честер: он его смутил и лишил уверенности в себе. На грубость он сумел бы ответить тем же, за обиду отплатил бы с лихвой, но это холодно-любезное и равнодушно-пренебрежительное обхождение, спокойный и самоуверенный тон дали ему почувствовать его ничтожество лучше, чем самые красноречивые доводы. Все этому способствовало: контраст между его грубой и нескладной речью и гладкими, спокойными, но внушительными фразами мистера Честера, его неотесанностью —

и изысканными манерами этого джентльмена, его неопрятными лохмотьями — и элегантным костюмом того, не виданные им никогда роскошь и комфорт обстановки и наступившее молчание, во время которого он успел все заметить и почувствовать себя обескураженным... Это очень часто влияет даже на людей развитого ума, а на такого человека, как Хью, действует почти неотразимо, — и Хью был совершенно подавлен и усмирен; он понемногу придвигался все ближе к мистеру Честеру и, глядя через его плечо на свое отражение в зеркале, словно искал в нем ободрения. Наконец он сделал неуклюжую попытку умилостивить мистера Честера:

— Ну, как, вы мне скажете что-нибудь, сэр, или велите уходить?

— Говорите вы, — ответил тот. — Говорите, мой друг. Ведь я уже свое сказал, не так ли? Теперь я хочу услышать, что скажете вы.

— Послушайте, сэр, — отозвался Хью со все возрастающим замешательством, — не мне ли вы перед отъездом из «Майского Древа» оставили свой хлыст и велели его принести, когда мне надо будет потолковать с вами насчет одного дела?

— Именно вам, если только у вас нет брата-близнеца, — подтвердил мистер Честер, бросив взгляд в зеркало, где отражалось растерянное лицо Хью. — Но это, я думаю, мало вероятно.

— Ну, так вот я и пришел, сэр, — сказал Хью. — И принес хлыст, да еще кое-что: письмо, сэр. Я его отнял у того, кто должен был его доставить.

Говоря это, Хью положил на туалетный стол то самое послание, пропажа которого так сильно огорчила Долли.

— Вы его силой отняли? — спросил мистер Честер, глянув на письмо без малейшего признака интереса или удовлетворения.

— Не совсем, — ответил Хью. — Только отчасти.

— А кто был тот посланец, у которого вы его отняли?

— Это женщина. Дочь слесаря Вардена.

— Вот как! — весело воскликнул мистер Честер. — И что еще вы взяли у нее силой?

— Что еще?

— Да, что еще? — повторил мистер Честер с расстановкой, так как он в эту минуту наклеивал крошечную «мушку» из липкого пластыря на прыщик, вскочивший в уголку рта.

— Гм... Ну, еще поцелуй, — ответил Хью с запинкой.

— А еще что?

— Больше ничего.

— Однако, — продолжал мистер Честер так же весело и непринужденно, улыбнувшись раз-другой, чтобы проверить, крепко ли пристала мушка, — помнится, мне говорили о какой-то побрякушке... но это такая безделица, что вы могли и забыть о ней. Не помните, что́ это было, — браслет, кажется?

Хью пробормотал себе под нос какое-то ругательство, полез за пазуху и вытащил браслет, обернутый в клок сена. Он хотел положить и его на стол рядом с письмом, но мистер Честер остановил его.

— Вы же взяли эту вещь для себя, любезный друг, — сказал он, — так и оставьте ее себе. Я не вор и не укрыватель краденого, незачем показывать мне вашу добычу. Спрячьте-ка ее поскорее. Я не хочу и видеть, куда вы ее спрячете, — добавил он, отвернувшись.

— Вы не берете краденого? — сказал Хью резко, несмотря на все возраставший благоговейный страх, который внушал ему мистер Честер. — А как же это, сэр? — Он ударил мощным кулаком по письму.

— Это совсем другое дело, — сухо ответил мистер Честер. — И я вам это сейчас докажу... Слушайте, вам, наверное, хочется выпить?

Хью утер губы рукавом и подтвердил, что хочется.

— Так подойдите к тому шкафу, в нем найдете бутылку и стакан. Принесите их сюда.

Хью повиновался. Его покровитель следил за ним взглядом и усмехнулся у него за спиной, хотя все время, пока Хью мог его видеть, лицо мистера Честера оставалось серьезным. Когда Хью вернулся с бутылкой, он налил ему полный стакан, потом второй, третий.

— Сколько вы можете выпить? — спросил он, наливая четвертый.

— Сколько дадите. Лейте, лейте, доверху наливайте, вровень с краями! За добрую порцию такого вина я готов

по вашему слову человека убить! — добавил Хью, опрокинув стакан в свою волосатую пасть.

— Я не собираюсь просить вас об этом, и вы, вероятно, и без моей просьбы этим кончите, если будете столько пить. Так что давайте, мой друг, прекратим это развлечение после следующего стакана, — с величайшим хладнокровием отвечал мистер Честер. — Вы, должно быть, выпили уже и перед тем, как прийти сюда.

— Я пью всегда, когда только удается, — с пьяной развязностью прокричал Хью, вертя пустым стаканом над головой и стоя в такой позе, словно собирался пуститься в пляс. — Я всегда пью. Да и как мне не пить? Ха-ха-ха! Разве есть у меня другая утеха в жизни? Нет, и не было никогда. Что согревало меня в студеные ночи и заглушало голод, когда нечего было есть? Что придавало мне силу и смелость мужчины, когда меня, малого ребенка, люди оставили умирать под забором? Если бы не вино, я давно подох бы в канаве, — только оно поддерживало во мне дух. Когда я был несчастным, хилым парнишкой и от слабости у меня подгибались ноги, а перед глазами стоял туман, — разве кто-нибудь хоть раз подбодрил меня? Никто, только вино. Пью за вино, хозяин! Ха-ха-ха!

— Вы, я вижу, весельчак, — заметил мистер Честер, неторопливо и сосредоточенно завязывая шарф на шее и осторожно поворачивая голову то влево, то вправо, чтобы узел пришелся как раз под подбородком. — С таким собутыльником не соскучишься!

— Видите эту руку, сэр? — И Хью обнажил свою мускулистую руку до самого локтя. — Она была когда-то кожа да кости и давно бы сгнила в земле на каком-нибудь погосте, если бы я не пил.

— Можете прикрыть ее, — сказал мистер Честер. — Она и в рукаве имеет достаточно внушительный вид.

— Если бы я не выпил, разве хватило бы у меня смелости поцеловать такую гордую красотку? — выкрикивал Хью. — Ха-ха-ха! Что за поцелуй! Сладкий, как лепестки жимолости, можете мне поверить! И за это тоже вину спасибо! Налейте еще стаканчик, хозяин, я выпью за вино! Ну, же! Только один!

— Вы подаете большие надежды, — сказал мистер Честер, пропустив мимо ушей эту просьбу и аккуратно

застегивая жилет. — Столь большие, что я должен вас предостеречь: если будете так упиваться вином, то преждевременно угодите на виселицу. Сколько вам лет?

— Не знаю.

— Ну, во всяком случае вы еще достаточно молоды и раньше, чем умереть этой, я сказал бы, естественной для вас смертью, можете прожить немало лет. Так зачем же вы сами надеваете себе петлю на шею и целиком отдаетесь в мои руки, хотя так мало меня знаете? Очень уж вы доверчивы!

Хью отступил на шаг и уставился на мистера Честера со смешанным выражением ужаса, гнева и удивления. А этот джентльмен, все с тем же безмятежным спокойствием смотрясь в зеркало, говорил так беспечно и плавно, как будто обсуждал какую-нибудь занятную городскую сплетню:

— Грабежи на большой дороге — дело очень опасное и рискованное, друг мой. Оно, должно быть, приятно, спору нет, но, как и многие другие удовольствия в нашем бренном мире, оно не вечно. И видя, как охотно вы со всем чистосердечием молодости поверяете другим свои тайны, я боюсь, что ваш жизненный путь будет весьма короток.

— Как так? — спросил Хью. — Вам ли это говорить, мистер? А кто меня толкнул на такое дело?

— Кто? — Мистер Честер круто обернулся и в первый раз посмотрел Хью в лицо. — Я не расслышал. *Кто* вас толкнул на это?

Хью замялся и буркнул что-то невнятное.

— Кто же, интересно знать? — продолжал мистер Честер удивительно мягко. — Какая-нибудь деревенская красотка? Берегитесь, приятель, не всем им можно доверять. Мой вам совет — будьте осторожны.

Сказав это, он снова повернулся к зеркалу и занялся своим туалетом.

Хью хотелось ответить ему, что это он и никто другой подучил его сделать то, что сделано, но слова застряли у него в горле. Исключительная ловкость, с какой этот джентльмен направлял весь их разговор, совершенно ошарашила Хью и опрокинула все его расчеты. Он не сомне-

вался, что, если бы у него вырвались те слова, которые были уже на языке, когда мистер Честер обернулся и так резко задал ему вопрос, этот джентльмен немедленно позвал бы констебля, и его с украденной вещью в кармане потащили бы к судье, а уж тогда ему не миновать виселицы — это так же верно, как то, что он живет на свете. С этой минуты власть над молодым дикарем, которой добивался мистер Честер, была достигнута, и Хью окончательно укрощен. Он теперь ужасно боялся мистера Честера, он чувствовал, что попал в сети и ловкий вельможа одним движением опытной руки может послать его на виселицу.

Размышляя так и все еще не понимая, каким образом он, пришедший сюда в самом воинственном настроении и гордый тем, что знает тайны мистера Честера, так быстро и окончательно покорен, Хью стоял съежившись и то и дело тревожно поглядывал на мистера Честера, пока тот одевался. Окончив свой туалет, мистер Честер взял со стола письмо, сломал печать и, усевшись поудобней, не спеша прочел послание мисс Хардейл.

— Превосходно написано, клянусь жизнью! Настоящее женское письмо, полное так называемой нежной любви, самоотверженности, мужества и все такое.

Он свернул письмо в трубочку и, бросив беглый взгляд на Хью, будто хотел сказать: «Видишь?», поднес его к свечке. Когда бумага ярко вспыхнула, он бросил ее в камин, где она тлела, пока не обратилась в пепел.

— Это письмо адресовано моему сыну, — сказал он, обращаясь к Хью. — И вы правильно сделали, что принесли его сюда. Распечатать его было моей отцовской обязанностью, и вы видели, что я с ним сделал... Вот вам за труды.

Хью подошел, чтобы взять деньги.

Сунув ему в руку монету, мистер Честер добавил:

— Если вам случится найти еще что-нибудь в таком роде или узнать новость, которую вы найдете нужным мне сообщить, приходите. Придете?

Это было сказано с улыбкой, в которой — по крайней мере так показалось Хью — читалась угроза: «Попробуй только отказаться — и тебе не сдобровать!»

И Хью ответил, что придет.

— А ваша маленькая неосторожность, о которой сейчас шла речь, пусть вас не тревожит, — сказал его собеседник самым ласковым и покровительственным тоном. — Не падайте духом, дружок, и будьте уверены, что в моих руках ваша шея в такой же безопасности, как если бы ее обвивали руки младенца... Выпейте еще стаканчик. Сейчас вы спокойнее, так что вам это не повредит.

Хью принял стакан из рук мистера Честера и, украдкой глянув в его улыбающееся лицо, молча выпил вино.

— Что же вы... Ха-ха-ха! Что же вы больше не провозглашаете тоста за вино? — с подкупающей любезностью спросил мистер Честер.

— Пью за вас, — хмуро отозвался Хью с неуклюжим поклоном. — За ваше здоровье.

— Спасибо, спасибо! А кстати, мой друг, как ваша фамилия? Я знаю, конечно, что зовут вас Хью, — ну, а дальше как?

— Никак. Фамилии у меня нет.

— Как странно! Что вы этим хотите сказать: что вы не знаете своей фамилии или вам не угодно, чтобы другие ее узнали?

— Почему же, я бы сказал вам, если бы знал, — быстро ответил Хью. — Но я ничего не знаю. Меня всегда называли Хью — и все. Я никогда в жизни не видел своего отца и не задумывался, почему это так. Я был мальчишкой лет шести — не больно-то взрослый! — когда мою мать повесили в Тайберне на глазах у нескольких тысяч зевак. Вешать ее было не за что — она была достаточно бедна.

— Ах, какая жалость! — воскликнул мистер Честер со снисходительной усмешкой. — Я уверен, что она была превосходная женщина.

— Видите моего пса? — отрывисто спросил Хью.

— Вижу. — Мистер Честер посмотрел на собаку в лорнет. — Должно быть, он вам очень предан и замечательно умен. Все одаренные и добродетельные животные — как люди, так и четвероногие, — обычно бывают безобразны на вид.

— Вот такая же собака, такой же породы, как эта, была единственным живым существом, которое, кроме

меня, в тот день выло по моей матери, — сказал Хью. — Больше двух тысяч человек смотрело, как вешали мою мать, — когда вешают женщину, народ всегда валом валит на место казни. А жалели ее только я да наша собака. Будь этот пес человеком, он рад был бы с нею расстаться, потому что матери нечем было кормить его и он у нас отощал от голода. Но это был пес, у него не было человечьего разума, — вот он и выл по ней.

— Да, глупая животная привязанность!.. Все животные глупы, — заметил мистер Честер.

Ничего не ответив, Хью свистнул своей собаке, и, когда она, вскочив, подбежала к нему и стала весело вертеться у его ног, он простился со своим новым другом, мистером Честером, пожелав ему доброй ночи.

— Доброй ночи, — ответил тот. — Так помните — вы за мной, как за каменной стеной. Я вам друг, пока вы будете этого достойны. Надеюсь, это будет всегда, и на мое молчание вы можете твердо рассчитывать. Но сами-то будьте осторожны, не забывайте, какая опасность вам грозила. Ну, прощайте, храни вас бог!

Испуганный тайным смыслом этих слов, перетрусив, как только может трусить подобный человек, Хью вышел с приниженным, покорным видом, совсем непохожим на тот, с каким он вошел, а мистер Честер, оставшись один, еще шире заулыбался.

— А все-таки, — сказал он вслух, беря понюшку табаку, — жаль, что его мать повесили. Я уверен, что она была красавица, — недаром же у сына такие красивые глаза. Впрочем, она, наверно, была вульгарна... и, может, у нее был красный нос или безобразные большие ноги. Нет, пожалуй, все к лучшему.

Придя к такому утешительному выводу, мистер Честер надел камзол, бросил последний взгляд в зеркало и кликнул слугу, который тотчас явился в сопровождении двух носильщиков с портшезом.

— Фу! — сказал мистер Честер. — Этот кентавр положительно оставил здесь запах тюрьмы и виселицы. Пик, обрызгайте пол духами. Да уберите стул, на котором он сидел, и проветрите его. Обрызгайте и меня тоже — я просто задыхаюсь.

Слуга сделал, как ему было приказано, и, после того как комната и ее хозяин избавились от чуждого запаха, мистеру Честеру оставалось только взять шляпу и, с небрежным изяществом держа ее под мышкой, усесться в портшез. Так он тронулся в путь, напевая модную песенку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Стоит ли рассказывать, как этот высокообразованный и прекрасно воспитанный джентльмен провел вечер в блестящем обществе, как он чаровал всех изяществом манер, учтивостью обхождения, живостью беседы и приятным голосом, и в каждом углу слышались замечания, что у Честера счастливый характер — его ничто не может вывести из себя, что бремя житейских забот и ошибок он носит так же легко и свободно, как свой костюм, и на его улыбающемся лице всегда отражается спокойствие духа? Стоит ли описывать, как люди порядочные, инстинктивно ему недоверявшие, тем не менее склонялись перед ним, почтительно ловили каждое его слово, всячески добивались его благосклонного внимания; как люди, по-настоящему хорошие, подражая другим, заискивали перед ним, льстили ему, восторгались им, втайне презирая себя за это, но не имея мужества плыть против течения, — словом, как в обществе его принимали и, что называется, носили на руках десятки людей, которым втайне был глубоко противен этот всеобщий любимец, предмет восторженного почитания? Все это — явления столь обычные, что вы легко можете сами их себе представить. О таких обычных вещах достаточно бегло упомянуть — и все.

Есть две категории человеконенавистников (помимо подражателей и просто дураков этого толка): одни считают себя обиженными и не оцененными по заслугам, другие, тешась лестью и поклонением окружающих, про себя вполне сознают свое ничтожество. И самые черствые мизантропы, как правило, всегда принадлежат к этой второй категории.

На другое утро, когда мистер Честер еще пил кофе в постели, вспоминая с каким-то презрительным удовлетворением, как он блистал на вчерашнем вечере, как за ним ухаживали и заискивали перед ним, слуга подал ему грязный клочок бумаги, старательно запечатанный сургучом в двух местах. На бумажке большущими буквами было написано: «Друг желает поговорить. Немедленно. По секрету. Когда прочтете, сожгите».

— Клянусь Пороховым Заговором *, ну и послание! Где ты это подобрал? — спросил мистер Честер.

Слуга объяснил, что ему передал записку какой-то человек и что он ждет у дверей.

— В плаще и с кинжалом? — спросил мистер Честер.

Выяснилось, что ничего угрожающего слуга не заметил, если не считать кожаного фартука и неумытой физиономии.

— Ну, так впусти его.

И вошел... мистер Тэппертит. Волосы у него, как всегда, были взъерошены, а в руках — большой замок, который он положил на пол посреди комнаты: можно было подумать, что он готовится к какому-то представлению, в котором замок был необходимым аксессуаром.

— Сэр, — начал он, отвесив низкий поклон. — Благодарю за милость и очень рад, что удалось вас повидать. Простите мне мою низкую профессию и отнеситесь сочувственно к человеку, который, несмотря на свой непритязательный вид, по стремлениям души гораздо выше своего звания.

Мистер Честер шире раздвинул полог кровати и оглядел посетителя, смутно заподозрив, что это помешанный, который бежал из сумасшедшего дома, да еще к тому же унес с собой замок. Мистер Тэппертит снова поклонился и стал так, чтобы показать свои ноги в самой выгодной позиции.

— Вы, верно, слыхали, сэр, про мастерскую «Г. Варден, слесарные изделия, устройство звонков и всякий ремонт в городе и окрестностях, исполнение самое аккуратное. Лондон, Клеркенуэл»?

— Ну, и что же? — спросил мистер Честер.

— Так я — его подмастерье, сэр.

— А дальше что?

— Гм!.. — произнес мистер Тэппертит. — Вы разрешите закрыть дверь? И еще, сэр, прошу вас, дайте мне слово, что вы этот разговор сохраните в строжайшей тайне.

Мистер Честер спокойно откинулся на подушки и, с самым невозмутимым видом глядя на странного гостя, который тем временем успел закрыть дверь, попросил, если это не очень его затруднит, высказаться как можно короче и ближе к делу.

— Прежде всего, сэр, — начал мистер Тэппертит, достав из кармана носовой платочек и встряхнув его, чтобы развернуть, — так как у меня нет визитной карточки (вот до чего принизила нас злоба тиранов-хозяев!), позвольте предложить вам взамен то, что возможно при таких обстоятельствах. Если вы возьмете в руки этот платок, сэр, и посмотрите на метку в правом углу, — тут мистер Тэппертит грациозным жестом протянул платочек мистеру Честеру, — то получите обо мне нужные сведения.

— Весьма вам признателен, — поблагодарил мистер Честер, принимая платок, и в одном из его углов увидел ярко-красные буквы: «Четыре. Саймон Тэппертит. Один». — Так это и есть ваши...

— Да, мое имя и фамилия, сэр. А номера — это для прачки и никакого отношения не имеют ко мне и моей фамилии...

— А ваша фамилия, сэр, — мистер Тэппертит очень внимательно вгляделся в ночной колпак хозяина, — Честер, не так ли? Не снимайте колпака, сэр, благодарю вас, я и отсюда вижу буквы Э. Ч., остальное ясно.

— Скажите, пожалуйста, мистер Тэппертит, — спросил мистер Честер. — Что, это сложное произведение слесарного искусства, которое вы соблаговолили принести сюда, имеет какое-нибудь непосредственное отношение к предстоящему нам разговору?

— Никакого, сэр. Я должен навесить его на дверь склада по Темз-стрит.

— В таком случае, — сказал мистер Честер, — быть может, вы будете так любезны вынести эту вещь за дверь? Она пахнет смазкой слишком сильно, сильнее, чем это нужно для освежения воздуха в моей спальне.

— С удовольствием, сэр,— согласился мистер Тэппертит, немедленно перейдя от слов к действию.

— Вы, надеюсь, меня извините?

— Ну, конечно. Пожалуйста, не извиняйтесь, сэр. А теперь, если позволите, — к делу.

Во время всего этого диалога мистер Честер стойко сохранял безоблачно-ясное и любезное выражение лица. А Сим Тэппертит был о себе слишком высокого мнения, чтобы заподозрить, что над ним могут потешаться, и поэтому, решив, что ему оказывают, наконец, должное уважение, сравнивал мысленно учтивость мистера Честера с обхождением своего хозяина, и сравнение это было никак не в пользу почтенного слесаря.

— Сэр, из того, что говорится у нас в доме, я понял, что ваш сын против вашей воли встречается с одной молодой леди... Сэр, ваш сын дурно обходился со мной!

— Мистер Тэппертит, я и сказать вам не могу, как это меня огорчает!

— Благодарю вас, сэр, — отвечал подмастерье. — Очень рад это слышать. Ваш сын — гордец. Да, да, слишком уж он зазнается.

— Боюсь, что вы правы, — согласился мистер Честер, — меня, знаете ли, давно тревожили такие опасения, а теперь вы их подтверждаете.

— Если бы вы знали, сэр, сколько раз мне приходилось оказывать вашему сыну унизительные услуги, услуги, которые вовсе не входят в мои обязанности подмастерья, — сказал Тэппертит. — Сколько раз я бывал вынужден подавать ему стул, нанимать для него экипаж — да если все записать, не хватит места даже в семейной библии! Кроме того, сэр, он еще молод, и я нахожу, что «спасибо, Сим», — недостаточно приличная форма обращения ко мне в этих случаях.

— Мистер Тэппертит, такая мудрость в ваши годы — редкость. Продолжайте, прошу вас!

— Спасибо за доброе мнение обо мне, сэр, — сказал очень довольный Сим. — Итак, продолжаю. По той причине, о которой вы уже слышали (а может быть, и по некоторым другим, но о них говорить не буду) я — на вашей стороне. И должен вас предупредить: пока Вардены будут колесить взад и вперед, в это прекрасное «Майское Древо» и обратно, передавать письма и устные поручения, вы не сможете помешать вашему сыну уха-

живать за той молодой леди через посредников, — нет, не сможете, хотя бы его днем и ночью стерегла вся конная гвардия в полном составе и вооружении.

Мистер Тэппертит перевел дух и снова заговорил:

— Перехожу к главному, сэр. Вы меня, конечно, спросите: как положить этому конец? И я вам подскажу, что делать: если бы такой благородный, вежливый и любезный джентльмен, как вы...

— Мистер Тэппертит, право, я...

— Нет, нет, я говорю совершенно серьезно, честное слово,— перебил подмастерье. — Если бы такой благородный, вежливый, приятный джентльмен, как вы, минут десять побеседовал с нашей старухой, то есть с миссис Варден, и полюбезничал бы с ней немножко, — вы легко переманили бы ее на нашу сторону. А тогда дело было бы в шляпе, то есть ее дочери Долли (тут мистер Тэппертит невольно покраснел) раз навсегда запретили бы служить посредницей между влюбленными. Пока вы этого не добьетесь, ничто на свете не сможет помешать Долли... Имейте это в виду.

— Как хорошо вы знаете людей, мистер Тэппертит!..

— Погодите минутку, — остановил его Сим, с жутким спокойствием скрестив на груди руки. — Есть еще один пункт, самый главный. Сэр, в этом «Майском Древе» живет один негодяй, чудовище в человеческом образе, отъявленный мерзавец, и если вы не избавитесь от него — ну, хотя бы схватите и увезите его куда-нибудь подальше, это самое меньшее, что необходимо сделать, — он женит вашего сына на этой девушке так же легко, как если бы он был сам архиепископ Кентерберийский *. Да, да, сэр, он это сделает из ненависти и злобы к вам, не говоря уже о том, что для него учинить какую-нибудь пакость — первейшее удовольствие. Знали бы вы, как часто этот Джозеф Уиллет — так его зовут — таскается к нам в дом, постоянно на вас клевещет, поносит вас, угрожает вам — я весь дрожу, когда это слышу! — вы бы его возненавидели еще сильнее, чем я. — Говоря это, мистер Тэппертит яростно взъерошил волосы и скрипнул зубами. — Да, сэр, сильнее, чем я, если можно ненавидеть сильнее!

— У вас с ним, как видно, личные счеты? Маленькая месть, — а, мистер Тэппертит?

— Личные ли счеты, сэр, или общественные интересы, или то и другое вместе — все равно вы должны его уничтожить! — сказал мистер Тэппертит. — То же самое говорит Миггс. Миггс и я — мы оба такого мнения. Нам не по нутру все эти интриги и заговоры. Они нам глубоко противны. Барнеби и миссис Радж тоже в них участвуют, но всему зачинщик — этот негодяй, Джозеф Уиллет. Нам с Миггс известны все их планы и замыслы — если захотите что-нибудь узнать, обращайтесь к нам. И прежде всего избавьте нас от Джозефа Уиллета, сэр. Уничтожьте его! Сотрите с лица земли! Желаю вам удачи!

С этими словами мистер Тэппертит, не дожидаясь ответа, так как, видимо, не сомневался, что его красноречие совершенно ошеломило, потрясло его собеседника и замкнуло ему уста, скрестил руки таким образом, что ладони легли на плечи, и скрылся внезапно, на манер тех таинственных вестников, о которых он читал в романах.

— Этот малый, — сказал себе мистер Честер (убедившись, что гость ушел окончательно, он перестал улыбаться, чтобы дать передышку мускулам лица), — этот малый заставил меня таки поупражняться в выдержке. Оказывается, я отлично умею управлять своим лицом... Однако он мне будет полезен. Он полностью подтвердил мои подозрения. И тупые орудия иной раз годятся в дело там, где не помогают острые. Боюсь, не пришлось бы мне сильно потревожить этих почтенных людей. Как это неприятно! Мне их от души жаль.

И мистер Честер снова погрузился в сладкую дремоту, безмятежную, как сон младенца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Оставим этого любимца высшего света, избалованного лестью человека, который никогда не компрометировал себя ни одним не джентльменским поступком и не имел на совести ни единого просто человечного поступка. Пусть себе спит, улыбаясь во сне (ибо даже сон почти не сры-

вал маски с его лица и не изобличал его холодного расчетливого лицемерия), а мы тем временем последуем за двумя людьми, медленно бредущими по дороге в Чигуэлл.

Это Барнеби и его мать, а с ними, конечно, и Грип.

Вдове каждая с трудом пройденная миля казалась длиннее предыдущей, и она еле шла; зато Барнеби носился взад и вперед, подчиняясь всякой мимолетной прихоти, и то далеко обгонял мать, то задерживался где-нибудь и сильно отставал, то убегал на боковую тропинку или проселок, и тогда мать шла дальше одна, пока он не появлялся откуда-то и не кидался к ней с криком в одном из тех бурных порывов веселья, которые свойственны были его неуравновешенной и своенравной натуре. Он то вдруг окликал мать с верхушки росшего у дороги высокого дерева, то, пользуясь своей длинной палкой, как шестом, перелетал через канавы, плетни и даже высокие ворота, то с поразительной быстротой бежал вперед по дороге милю-другую и, остановившись, играл на траве с Грипом, поджидая мать. Так он развлекался. И терпеливая мать, слыша его веселый голос, глядя на разрумянившееся, дышащее здоровьем лицо, никогда не умеряла его восторгов грустным взглядом или словом, хотя эти потехи были для нее источником страдания в такой же мере, в какой для Барнеби — источником радости.

Все же отрадно видеть свободное, непринужденное веселье и наслаждение природой, хотя бы это было веселье помешанного. Утешительно сознавать, что господь и такое существо не лишил способности радоваться, и как бы люди ни старались угашать эту радость в душах своих ближних, творец вселенной дарует ее каждому, самому обездоленному и жалкому из своих созданий. Кто не согласится, что отраднее видеть бедного идиота, который наслаждается свободой и солнцем, чем разумного человека, тоскующего в темнице?

Вы, угрюмые и суровые, кому лик Безграничной Благости представляется вечно хмурым, читайте в книге Вечности, широко открытой перед вашими глазами, то, чему она учит нас. Перед нами проходят на ее страницах картины не темных и мрачных, а светлых и ослепительно ярких тонов, в музыке ее — если только вы не

станете ее заглушать — звучат не вздохи и стоны, а песни и ликование. Вслушайтесь в миллион голосов природы в летнем воздухе: есть ли среди них хоть один такой унылый, как ваш? Вспомните, если еще можете, те чувства блаженства и надежды, которые пробуждает рождение каждого нового дня во всех неиспорченных душах, — и учитесь мудрости даже у лишенных рассудка, когда они бессознательно откликаются на ту светлую радость, которую приносит с собой народившийся день.

Душа вдовы полна была забот, угнетена тайным страхом и горем, но беззаботное веселье сына радовало ее и делало долгий путь менее утомительным. Порой Барнеби брал ее под руку и некоторое время степенно шагал рядом. Но ему больше нравилось носиться повсюду, а мать, как ни хотелось ей иметь его подле себя, предпочитала, чтобы он резвился на свободе, потому что любила его больше, чем себя.

Деревню, куда они сейчас направлялись, миссис Радж покинула сразу после события, перевернувшего всю ее жизнь. С тех пор прошло двадцать два года, и за все время она ни разу не нашла в себе мужества снова побывать в Чигуэлле. А ведь она родилась там. Сколько воспоминаний нахлынуло на нее, когда впереди показались знакомые домики!

Двадцать два года. Ровно столько лет ее сыну. Когда она, уходя навсегда, в последний раз оглянулась тогда на эти крыши среди деревьев, она несла на руках новорожденного. И как же часто потом сиживала она над ним, дни и ночи, подстерегая первые проблески разума, которых так и не дождалась! Сколько раз страх и сомнения сменялись упрямой надеждой даже и после того, как пришлось ей поверить в свое несчастье! Разные уловки, к которым она прибегала, чтобы испытать ум ребенка, особенности его поведения, признаки не просто тупости, а чего-то безмерно худшего, проявления какой-то недетской, пугавшей ее хитрости — все вспоминалось ей так живо, словно это было только вчера. Комната, в которой она всегда сидела с ребенком, место, где стояла колыбель Барнеби, его миниатюрное, старообразное, бесконечно дорогое ей личико, безумный, блуждающий взгляд, которым он смотрел на нее, напевая что-то странное, монотонное,

когда она его укачивала, каждая подробность его детства — все это теснилось в памяти, и яснее всего помнились, пожалуй, самые обыденные мелочи.

Вспоминала она и отроческие годы Барнеби — его странные фантазии, страх перед некоторыми неодушевленными предметами, которые казались ему живыми, постепенное действие того ужаса, который еще до рождения омрачил его разум. А она, мать, несмотря ни на что, утешала себя мыслью, что он не похож на других детей и попросту развивается медленнее, чем они. Она почти верила в это, но Барнеби вырос, а по уму оставался ребенком, и было ясно, что это уже навсегда.

Все эти былые думы, одна за другой, просыпались в ее голове, словно став еще назойливее после долгой спячки и горше, чем когда бы то ни было.

Она взяла Барнеби за руку, и они быстро пошли деревенской улицей. Эта улица, памятная ей с давних времен, была теперь как будто не та, миссис Радж не узнавала ее. Изменилась не улица, а она сама, но она не сознавала этого и с удивлением спрашивала себя, откуда такая перемена и что же на этой улице стало иным.

Здесь все знали Барнеби, и деревенские ребятишки толпой окружили его. Так и она, его мать, вместе с отцами и матерями этих ребят бегала в детстве за каким-нибудь бедным дурачком...

Никто в деревне не узнал ее. Они прошли мимо хорошо знакомых ей домов, дворов, ферм и, выйдя за околицу в поле, снова остались одни.

Целью их путешествия был Уоррен. Когда они подошли к чугунной решетке, прогуливавшийся в саду мистер Хардейл увидел их и, открыв калитку, пригласил войти.

— Наконец-то вы решились посетить родные места. Я очень рад этому, — сказал он вдове.

— Это в первый и последний раз, сэр, — отвечала она.

— В первый раз за много лет, это я знаю. Но неужели в последний?

— Да, сэр, в последний.

Мистер Хардейл удивленно посмотрел на нее.

— Неужели же, пересилив себя, наконец, вы уже жалеете об этом и опять поддадитесь своей слабости? Право, Мэри, это на вас не похоже! Я не раз говорил, что вам надо вернуться сюда. Уверен, что в Уоррене вам было бы лучше, чем везде. Да и Барнеби здесь как дома.

— И Грип тоже, — вставил Барнеби, открывая корзину. Ворон важно вылез оттуда и, взлетев на плечо хозяина, закричал, явно обращаясь к мистеру Хардейлу и, должно быть, желая намекнуть, что гости не прочь подкрепиться с дороги:

— «Полли, подай чайник, мы все будем пить чай!»

— Послушайте, Мэри, — ласково сказал мистер Хардейл, знаком приглашая миссис Радж идти с ним к дому. — Ваша жизнь — пример терпения и стойкости. Одно только меня глубоко огорчало и огорчает. Достаточно печально уже то, что вы так жестоко пострадали, когда я потерял единственного брата, а Эмма — отца, — но зачем же вы еще заставляете меня думать (а я это думаю иногда), что в мыслях вы как бы связываете нас с виновником нашего общего несчастья?

— Связывать *вас* с ним! Да что вы, сэр! — воскликнула вдова.

— Право, мне так кажется. Ваш муж верно служил нашей семье, он погиб, защищая моего брата... и я почти уверен, что вы невольно вините нас в его гибели.

— Ах, сэр, как вы ошибаетесь! Вы не знаете, что́ творится у меня на душе.

— Что ж, такое чувство вполне естественно, — продолжал мистер Хардейл, не слушая ее и говоря как бы с самим собой. — И может быть, это чувство бессознательное... Мы обеднели. Даже если бы мы могли щедро помогать вам, деньги — очень жалкое вознаграждение за те страдания, что выпали вам на долю. А скудная помощь, которую я в моем стесненном положении могу вам оказывать,— просто насмешка... Бог видит, как остро я это сознаю, — добавил он быстро. — Так что же удивительного, если и вы так думаете?

— Дорогой мистер Хардейл, вы, право, меня обижаете, — возразила вдова с глубокой серьезностью. — Вы неверно обо мне судите. И я боюсь, как бы то, что я пришла вам сказать...

— Не подтвердило моих подозрений? — докончил мистер Хардейл, подметив ее нерешимость и смущение. — Не так ли?

Он пошел быстрее, но, сделав несколько шагов, остановился, поджидая ее, и, когда она поравнялась с ним, спросил:

— Так вы проделали такой путь только затем, чтобы поговорить со мной?

— Да, — отвечала миссис Радж.

— Эх, черт возьми, как ужасно быть гордым нищим! — пробормотал мистер Хардейл. — И бедняки и богачи одинаково нас чуждаются. Одни вынуждены оказывать нам почтение, но почтение это — холодное и притворное. Другие каждым словом и поступком как бы снисходят до нас и стараются держаться подальше... Что же, если вам тяжело было побороть чувство, укоренившееся за двадцать два года (а я уверен, что это тяжело), зачем же вы пришли? Вы могли дать мне знать, — и я приехал бы к вам.

— Не успела, сэр. Я только прошлой ночью решила поговорить с вами, и нельзя было терять ни одного дня... нет, ни одного часа...

Они уже подошли к дому, и мистер Хардейл, остановившись на миг, взглянул на вдову, пораженный, должно быть, решительностью ее тона. Но, заметив, что она словно забыла о нем и с содроганием смотрит на старые стены, в которых пережила такой ужас, он не сказал ничего и повел ее по боковой лестнице к себе в библиотеку, где у окна за книгой сидела Эмма.

Увидев, кто вошел, молодая девушка, отложив книгу, поспешно встала, горячо приветствовала гостью ласковыми словами и не удержалась от слез. Но вдова с каким-то испугом уклонилась от ее поцелуя и дрожа опустилась на стул.

— Вас взволновало возвращение в этот дом после стольких лет, — сказала Эмма нежно. — Позвони, пожалуйста, дядя... или погоди — лучше Барнеби сам сбегает и прикажет подать вина.

— Нет, нет! — воскликнула миссис Радж. — Я все равно не смогу и капли проглотить. Дайте мне только чуточку передохнуть — больше ничего не надо.

Мисс Хардейл стояла у ее стула и смотрела на нее с безмолвным состраданием. Минуту-другую вдова сидела молча и неподвижно, затем встала и подошла к мистеру Хардейлу, который наблюдал за ней с напряженным вниманием.

Как мы уже говорили, тому, кто знал историю этого дома, невольно приходило в голову, что трудно было бы найти более подходящую обстановку для преступления, которое совершилось здесь. Комната, где сейчас находились хозяева и гости (смежная с той, где произошло убийство), темная, мрачная и унылая, была загромождена шкафами с ветхими книгами, вылинявшие портьеры, заглушая все звуки, словно отгораживали ее от мира, выключали из жизни, а росшие под окнами деревья наполняли густой тенью, и по временам вечно шелестевшие ветви их, как руки призраков, стучали в стекла. Да и люди, собравшиеся здесь сейчас, были под стать этой печальной комнате. Вдова с ее трагическим лицом, в котором было что-то пугающее, и опущенными глазами, мистер Хардейл, как всегда, угнетенный и суровый, а рядом с ним его племянница, при всей непохожести чем-то напоминавшая покойного отца, портрет которого с укором смотрел на всех с потемневшей стены, Барнеби с бессмысленным выражением лица и блуждающим взглядом — все они были действующими лицами в мрачной истории дома и производили такое же впечатление, как окружающая обстановка. Право, даже ворон, который, взлетев на стол, глубокомысленно, подобно старому чародею, как будто изучал большую книгу, раскрытую на пюпитре, дополнял общую картину, и легко можно было вообразить, что это дьявол, принявший образ птицы, выжидает своего часа, чтобы свершить злое дело.

— Просто не знаю, как и начать, — сказала вдова, прерывая молчание. — Вы подумаете, что я не в своем уме.

— Полноте, за вас говорит ваша безупречная и скромная жизнь все эти годы, — мягко возразил мистер Хардейл. — Почему вы так боитесь, что мы отнесемся к вам с недоверием? Ведь мы вам не чужие и не впервые вы ищете у нас внимания и сочувствия. Так будьте же смелее! Вы знаете, что имеете право на любую помощь, ка-

кую только я могу вам оказать, и что я с радостью окажу ее.

— А что вы скажете, сэр, если я, у которой, кроме вас, нет ни одного друга на свете, откажусь от вашей помощи? Если я скажу вам, что хочу идти одна, своим путем, без чьей бы то ни было поддержки, все равно, какая ни ждет нас судьба.

— Если бы вы пришли ко мне и заявили это, я попросил бы вас объяснить, чем вызвано такое странное решение, — сказал мистер Хардейл спокойно. — И, разумеется, если бы причины были веские, я принял бы их во внимание, хотя не могу себе представить, чтобы такая дикая нелепость была возможна.

— В том-то и горе, сэр, что я не могу вам ничего объяснить, — отвечала вдова. — Вам придется поверить мне на слово, что поступить так я обязана, так велит мне долг. И если я не выполню этот долг, я буду низкой женщиной, преступницей. Вот и все. Больше я ничего не могу вам сказать.

Видимо, сознание, что главное уже сказано, облегчило ее душу и придало сил, чтобы довести начатое до конца. Она заговорила увереннее и смелее:

— Бог мне свидетель и совесть порукой, что с того самого дня, который связан для нас с такими тяжелыми воспоминаниями, я чувствовала к вашей семье одну лишь неизменную любовь и благодарность. И знаю, вы сердцем мне поверите, дорогая мисс Эмма. Бог свидетель, что, куда бы ни занесла меня судьба, я всегда буду чувствовать то же самое. Только эта любовь и благодарность к вам заставляют меня принять такое решение, и, клянусь спасением души, я ни за что от него не отступлюсь.

— Странные вы нам загадываете загадки! — сказал мистер Хардейл.

— На этом свете вы их, может быть, никогда не разгадаете, сэр, — отозвалась миссис Радж. — Но когда господь призовет нас к себе, правда откроется. И дай бог, чтобы время это еще не скоро настало, — добавила она тихо.

— Право, я не знаю, что и думать, — сказал мистер Хардейл. — Верно ли я вас понял? Неужели вы хотите отказаться от помощи, которую столько лет принимали, от пенсии, которую получаете вот уже двадцать

лет, бросить дом, все свое имущество и начать жизнь сначала? И все это по какой-то таинственной причине или, быть может, необъяснимой прихоти, которая возникла только что: ведь до сегодняшнего дня ее, очевидно, не существовало? Ради бога, Мэри, объясните, что за фантазия пришла вам в голову?

— Именно потому, что я глубоко благодарна хозяевам этого дома, живым и умершим, за все их благодеяния, именно потому, что я не хочу, чтобы этот кров когда-нибудь обрушился и раздавил меня, чтобы на стенах этих выступала кровь всякий раз, как здесь прозвучит мое имя, я больше никогда не стану принимать вашей великодушной помощи, не хочу жить на ваши деньги. Вы не знаете, — порывисто добавила миссис Радж, — на *что* могут пойти эти деньги, в *какие* руки они могут попасть! А я это знаю — и отказываюсь от них.

— Но ведь этими деньгами всецело распоряжаетесь вы! — возразил мистер Хардейл.

— Так было до сих пор. А теперь не так. Теперь они могут пойти — да они уже и пошли на такие дела, от которых мертвые перевернутся в могилах. Эти деньги не принесут мне добра, они могут навлечь новую кару божью на голову моего дорогого мальчика, и он, ни в чем не повинный, будет страдать за вину матери.

— Что вы такое говорите? — воскликнул мистер Хардейл, с беспокойством глядя ей в лицо. — О какой вине толкуете? К каким людям вы попали в руки? Вас вовлекли в какое-нибудь дурное дело?

— Я виновна — и все же невинна, я не делала зла, но вынуждена покрывать зло и способствовать ему. Ни о чем больше не спрашивайте меня, сэр, и только поверьте, что я заслуживаю скорее жалости, чем осуждения. Я должна завтра покинуть свой дом, потому что, пока я живу в нем, его будут посещать призраки прошлого. Для того чтобы они меня оставили в покое, никто не должен знать, где я поселюсь. Если мой бедный сын когда-нибудь забредет сюда, не старайтесь у него выведать, где мы живем, и не следите за ним, когда он будет возвращаться домой: если нас начнут разыскивать, нам придется снова бежать куда-нибудь. Ну, вот, теперь я все сказала, и на душе стало легче. Умоляю вас, сэр, и вас, дорогая мисс Эмма, —

верьте мне и, если можете, думайте обо мне так же хорошо, как до сих пор. Если мне нельзя будет открыть мою тайну даже в смертный час (а это может случиться), мне все же легче будет умирать с сознанием, что я поступила так, как надо. На смертном одре, как и всю жизнь до последнего дня, я буду молиться за вас и благословлять вас обоих. И никогда больше я не стану вас беспокоить.

Сказав это, миссис Радж хотела сразу уйти, но Эмма и мистер Хардейл удержали ее и стали ласково успокаивать. Они умоляли ее подумать о том, что она делает, а главное — довериться им и рассказать, что̀ ее так сильно мучает. Видя, однако, что она остается глуха ко всем их уговорам, мистер Хардейл, в качестве последнего средства, предложил, чтобы она открыла все только Эмме, думая, что с женщиной, и притом молодой, она будет откровеннее и смелее. Однако и это предложение вдова отклонила все с тем же необъяснимым упорством. От нее удалось добиться только обещания, что она подождет мистера Хардейла, который приедет к ней завтра вечером, а тем временем еще раз обдумает свое намерение и все, что они ей говорили. Взяв с нее такое обещание, хотя она и предупреждала их, что ни за что не переменит своего решения, они, наконец, неохотно отпустили миссис Радж, так как она решительно отказалась поесть или выпить чего-нибудь у них в доме. И она с Барнеби и, конечно, с Грипом ушла, как пришла, по боковой лестнице и через сад, так что никто в доме их не видел и они никого не видели по дороге.

Замечательно, что в продолжение всего разговора ворон смотрел в книгу с видом хитрого мошенника, который притворяется, будто занят чтением, на самом же деле прислушивается к тому, что говорят, не упуская ни единого слова. И, видно, подслушанный разговор крепко засел у него в памяти: когда они остались втроем, он, хотя несчетное число раз отдавал приказ немедленно подать чайник, но делал это как-то рассеянно, словно по скучной обязанности, а вовсе не для того, чтобы угодить друзьям и быть, как говорится, душой общества.

Они хотели вернуться в Лондон почтовой каретой. И, так как до ее отхода оставалось еще целых два часа,

а они устали и проголодались, Барнеби стал горячо уговаривать мать пойти в «Майское Древо». Но она не хотела встречаться с теми, кто знавал ее много лет назад, к тому же боялась, как бы мистер Хардейл, передумав, не послал туда за нею, и потому сказала, что лучше в ожидании посидеть на погосте. Барнеби весело согласился купить и принести туда какой-нибудь еды, и скоро они уселись за свой скудный обед.

Ворон по-прежнему был в глубокой задумчивости. Поев, он стал ходить взад и вперед важно, степенно — так и казалось, что прохаживается пожилой джентльмен, заложив руки за фалды сюртука; при этом Грип критическим оком оглядывал надгробные памятники, словно читая надписи на них. Время от времени, после долгого изучения какой-нибудь эпитафии, он стучал клювом по могильной плите и хрипло выкрикивал: «Я дьявол, я дьявол, я дьявол». Относилось ли это к тому, кто, по его предположению, покоился в данной могиле, или высказывалось просто в виде общего замечания, сказать трудно.

Это деревенское кладбище, тихий и красивый уголок, для матери Барнеби было связано с печальными воспоминаниями: здесь был похоронен мистер Рубен Хардейл, а близ склепа, в котором покоился его прах, стоял памятник ее мужу, и краткая надпись поясняла, когда и как он погиб. Вдова, задумавшись, сидела здесь, пока отдаленный звук рожка не возвестил о приближении дилижанса. Как только затрубил рожок, спавший на траве Барнеби мигом вскочил, а Грип, тоже как будто понимая, что означает этот звук, сразу же полез в свою корзину и принялся оттуда умолять всех вообще «никогда не вешать носа и не трусить», как бы иронически намекая на одолевающий людей на кладбище страх смерти. Скоро вся компания уже сидела на крыше дилижанса и катила по дороге в Лондон.

Проезжая мимо «Майского Древа», дилижанс остановился перед крыльцом. Джо не было дома, вышел только сонный, как всегда, Хью, чтобы передать посылку, за которой и заезжал кучер. Появления на дворе самого Джона нечего было опасаться. С крыши кареты видно было, что он крепко спит в своем уютном местечке за стойкой. Та-

ков был обычай старого Джона. Он считал долгом чести всегда спать в часы прибытия дилижанса, находя для себя унизительным выбегать ему навстречу и поднимать суету. Джон рассматривал дилижансы, как нарушителей общественного спокойствия, как нечто предосудительное, что следовало бы запретить. По его мнению, такие изобретения, беспокойные и шумные, возвещающие о себе трубными звуками, просто унижают мужское достоинство и годятся разве лишь для ветреных бабенок, у которых только и дела, что переливать из пустого в порожнее да ездить по лавкам.

— Мы здесь дилижансами не интересуемся, сэр, — говорил Джон, если какой-нибудь проезжий неосторожно обращался к нему за справками относительно этого ненавистного вида транспорта.— Мы их сюда не приглашали и рады бы их в глаза не видеть — от них только шум да треск, беспокойства больше, чем проку. Коли хотите дожидаться дилижанса, ждите, но меня про него не спрашивайте, я ничего не знаю: может, придет, а может, и не придет. А с нас хватит и возчиков — во времена моей молодости все ими довольствовались.

Когда Хью влез на крышу кареты, миссис Радж опустила вуаль и не поднимала ее, пока он стоял тут и о чем-то шептался с Барнеби. Тревога ее была напрасна, — ни Хью и никто другой не заговаривал с ней, не обращал на нее внимания, она не возбуждала ничьего любопытства. И она, как чужая, покинула деревню, где родилась, жила веселым ребенком, а затем красивой девушкой, где стала счастливой женой, где изведала свою долю радостей жизни и ее жесточайшие страдания.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

— И вас это не удивляет, Варден? — сказал мистер Хардейл. — Что ж, вы с ней — старые друзья, и уж кто-кто, а вы, конечно, должны ее понимать.

— Простите, сэр,— возразил слесарь.— Я не говорил, что понимаю ее. Этого я не решился бы сказать ни про



одну женщину. Не так-то легко их понять. Но, разумеется, то, что вы мне рассказали насчет Мэри, удивило меня меньше, чем вы ожидали, сэр.

— А можно узнать, почему?

— Видите ли, — с явной неохотой отвечал слесарь, — я заметил за ней кое-что такое, что меня обеспокоило и подорвало доверие к ней... Она завела дурные знакомства — каким образом и когда, не знаю, но в одном я уверен: у нее в доме укрывается один грабитель и разбойник... Вот, сэр, теперь вы все знаете.

— Что вы говорите, Варден!

— Я его собственными глазами видел, сэр. И, право, лучше бы мне быть полуслепым, чтобы я мог не верить своим глазам. Я эту тайну хранил до сих пор, и надеюсь, что она останется между нами. Но от вас я не скрою, что сам видел однажды вечером в передней у Мэри того самого разбойника с большой дороги, который ограбил и ранил мистера Эдварда Честера и угрожал мне...

— И вы не пытались его задержать? — с живостью перебил мистер Хардейл.

— Сэр, это она помешала, — пояснил слесарь. — Изо всех сил вцепилась в меня и не отпускала, пока он не улизнул.

И, зайдя уже так далеко, слесарь решился подробно описать все, что произошло в ту ночь.

Этот разговор велся вполголоса в маленькой гостиной Варденов, где честный слесарь принимал своего гостя. Мистер Хардейл пришел к нему с просьбой отправиться вместе к вдове — он надеялся, что Гейбриэл имеет на нее больше влияния и поможет ему переубедить ее. Эта просьба и вызвала разговор о миссис Радж.

— Я ни слова никому не сказал о том, что видел, — продолжал Варден. — Потому что никому это не принесло бы пользы, а ей могло бы сильно повредить. По правде говоря, я надеялся, что она придет и объяснит мне, в чем тут дело. Однако она упорно молчала, хотя я после этого вечера не раз и не два встречался с нею, — нарочно выискивал предлоги для встреч. Да, она молчала и только смотрела на меня *такими* глазами... Верите ли, эти глаза говорили гораздо больше, чем любые слова. Они как

будто умоляли: «Ни о чем не спрашивай». И я не спрашивал. Знаю, сэр, вы, наверно, думаете про меня: «Вот старый дурак!» Что ж, ругайте меня, если этим можете облегчить душу...

— Я очень расстроен тем, что от вас услышал, — сказал мистер Хардейл, помолчав. — Как вы думаете, что все это значит?

Слесарь только головой покачал, озабоченно глядя в окно на угасающий закат.

— Неужели она вторично вышла замуж? — заметил мистер Хардейл.

— Нет, конечно. Мы бы знали об этом, сэр.

— А может, она скрыла это, боясь, что мы станем хуже относиться к ней. Возможно, что замуж она вышла необдуманно, очертя голову — это ничуть не удивительно после стольких лет одиночества и тоскливой жизни, — а муж оказался негодяем. Теперь она его укрывает, но душа ее восстает против его преступлений. Все это вполне вероятно и объясняет ее вчерашнее поведение и разговор со мной. А как вы думаете — Барнеби посвящен во все?

— Трудно сказать, сэр, — слесарь снова покачал головой. — А у него почти немыслимо узнать что-нибудь. Если ваша догадка верна, я дрожу за него: такого, как он, легко вокруг пальца обвести и втянуть в дурные дела.

— А что, Варден, — мистер Хардейл еще больше понизил голос, — если мы с самого начала были слепы и обманывались в этой женщине? Что, если с этим разбойником она связалась еще при жизни мужа, и тут и кроется причина его гибели и гибели моего брата?

— Бог с вами, сэр! Ни на минуту не допускайте таких дурных мыслей о ней. Вспомните, какая она была двадцать пять лет назад, — другой такой девушки днем с огнем не сыщешь. Веселая, красивая, всегда, бывало, улыбается, а глаза так и блестят... И теперь еще, хотя я старик и у меня дочь-невеста, душа болит, как вспомню, какая она была и чем стала. Конечно, все мы с годами переменились. Время честно делает свое дело... Впрочем, с ним можно ладить — если им не злоупотреблять, то и оно вас щадит. А вот заботы и горе (это они так изме-

нили Мэри) — настоящие черти, да, сэр, коварные черти, точат и точат человека, пока не подкосят его совсем. Они губят самые прекрасные цветы рая, и за месяц могут разрушить больше, чем Время — за целый год. Вспомните на минуту, какой была Мэри, раньше чем они изгрызли ее молодую душу, съели ее красоту. Окажите ей эту справедливость — и посудите сами, возможно ли то, что вы про нее подумали?

— Вы — славный малый, Варден, — промолвил мистер Хардейл. — И вы совершенно правы. Я так много думаю о нашем несчастье, что по малейшему поводу новые подозрения лезут в голову. Нет, нет, разумеется, вы правы!

— И поверьте, сэр, — воскликнул слесарь, и глаза его засверкали, голос звучал искренне и горячо, — если я скажу, что Радж ее не стоил, так скажу это не потому, что я сватался к ней раньше него и получил отказ. Ведь, честно говоря, я тоже был ее недостоин. А Радж — он был слишком скрытный и черствый человек... Я не хочу порочить память бедняги и говорю все это только для того, чтобы вы знали, что за женщина была Мэри. Я-то хорошо помню это, и помню, что ее изменило, поэтому всегда буду ей верным другом и постараюсь вернуть мир ее душе. И черт меня побери — извините за это слово, сэр, — если я когда-нибудь от нее отвернусь, хотя бы полсотни бандитов за один год перебывало ее мужьями. Думаю, что поступлю согласно с «Наставлениями протестантам», и, хотя Марта это отрицает, я буду так думать всегда и скажу это даже на Страшном суде.

Если бы в маленькой темной гостиной стоял густой туман и вместо этого тумана она внезапно наполнилась ярким блеском и светом, — и тогда в ней не повеселело бы все так, как повеселело после горячих слов честного слесаря. Мистер Хардейл почти так же громко и горячо крикнул: «Славно сказано!» — и предложил немедленно отправиться к миссис Радж. Слесарь охотно согласился, и они, усевшись в дожидавшийся на улице кэб, поехали к ней.

На углу они отпустили кэб и пешком дошли до домика вдовы. На первый стук никто не отозвался. На второй тоже. Наконец, когда они постучали в третий раз и

уже энергичнее, кто-то не спеша поднял окно в столовой, и мелодичный голос воскликнул:

— А, Хардейл, милый друг, как я рад вас видеть! И как прекрасно вы выглядите, гораздо лучше, чем при нашей прошлой встрече. Никогда еще я не видел вас таким цветущим. Как поживаете?

Мистер Хардейл посмотрел туда, откуда слышался голос (хотя и без того сразу узнал его), и увидел мистера Честера, который с любезной улыбкой махал ему рукой, приглашая войти.

— Сейчас вам отопрут, — сказал он. — Здесь для услуг имеется только одна ветхая старушонка, — так что вы извините. Если бы она занимала более высокое положение в обществе, она страдала бы подагрой. Поскольку же она только колет дрова и носит воду, назовем ее болезнь ревматизмом. Таковы естественные сословные различия, дорогой Хардейл, смею вас уверить.

Как только мистер Хардейл услышал этот голос, лицо его приняло угрюмое и замкнутое выражение. Он холодно кивнул мистеру Честеру и повернулся к нему спиной.

— Еще не отперла! — сказал тот. — О, господи! Надеюсь, старушонка не увязла по дороге в какой-нибудь паутине. Ага, наконец-то! Входите, прошу вас!

Мистер Хардейл вошел первым, за ним Варден. С величайшим изумлением посмотрев на открывшую им дверь старуху, он спросил, где миссис Радж, где Барнеби. Тряся головой, старуха ответила, что оба уехали, совсем уехали, но в гостиной сидит джентльмен, и, может быть, он им что-нибудь скажет, а она ничего больше не знает.

— Позвольте узнать, сэр, — обратился мистер Хардейл к этому новому жильцу, — где та, к кому мы пришли?

— Понятия не имею, дорогой мой, — ответил мистер Честер.

— Шутки ваши неуместны, — сказал мистер Хардейл, с трудом сдерживаясь. — И тему для них вы выбрали неподходящую. Приберегите их для своих друзей, а передо мной не расточайте остроумия, — я не гонюсь за этой честью и самоотверженно от нее отказываюсь.

— Дорогой сэр, вас, я вижу, разгорячила ходьба. Присядьте, прошу вас. Ваш приятель...

— Он только простой и честный человек и недостоин вашего внимания, — отрезал мистер Хардейл.

— Мое имя — Гейбриэл Варден, сэр, — вставил слесарь сухо.

— А, вы тот почтенный человек, о ком я не раз слышал от моего дорогого сына Неда, — сказал мистер Честер. — Я очень хотел с вами познакомиться, мой милый Варден, и весьма рад, что мы встретились, — мистер Честер томно посмотрел на мистера Хардейла и продолжал: — Вы удивлены тем, что застали меня здесь? Да, несомненно удивлены.

Мистер Хардейл глянул на него далеко не ласково и не одобрительно, усмехнулся, но промолчал.

— Загадку эту я вам мигом объясню, — продолжал мистер Честер. — Отойдемте на минуту в сторонку... Помните, Хардейл, наше соглашение насчет Неда и вашей милой племянницы? Помните, кто им помогал в их невинной интрижке? Среди помощников были, как вы знаете, и те двое, что жили в этом доме. Так вот, дорогой мой, поздравьте себя и меня. Я их купил.

— *Что* вы сделали? — переспросил мистер Хардейл.

— Купил их, — улыбаясь, пояснил его собеседник. — Я пришел к заключению, что необходимо принять решительные меры, чтобы раз и навсегда пресечь этот детский роман, и для начала удалил двух посредников. Вас это удивляет? Но кто устоит перед кругленькой суммой? Они нуждались в деньгах, и я их подкупил. Нам их больше опасаться нечего. Они уехали.

— Уехали! — повторил мистер Хардейл. — Куда?

— Мой друг... Позвольте мне снова сказать, что никогда еще вы не выглядели таким молодым, как сегодня, — юноша, да и только! Вы спрашиваете, куда? А бог их знает. Полагаю, что сам Колумб не мог бы их найти. Между нами говоря, у них есть какие-то свои тайные причины скрываться. Но об этом я обещал молчать. Знаю, что она назначила вам на сегодня свидание, а потом передумала — она не могла ждать до вечера. Вот вам ключ от входной двери. Боюсь, что нести такую громоздкую вещь вам будет неудобно, но дом — ваш, и вы по доброте своей, конечно, извините меня, Хардейл.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Мистер Хардейл стоял в столовой миссис Радж с ключом в руке и смотрел то на мистера Честера, то на Вардена, а по временам — на ключ, словно ожидая, что он откроет ему эту тайну. Только когда мистер Честер, надев шляпу и перчатки, самым любезным тоном осведомился, не по дороге ли им, он очнулся.

— Нет, — сказал он. — Дороги у нас с вами, как вы знаете, совсем разные. К тому же я еще побуду здесь.

— Вы здесь соскучитесь, Хардейл, будете чувствовать себя несчастным и окончательно захандрите, — возразил мистер Честер. — Это самое неподходящее место для человека с вашим характером. Я знаю, вам здесь будет очень тяжело.

— Пусть так, — сказал мистер Хардейл, садясь. — Можете утешаться этой мыслью. Прощайте!

Как будто не заметив порывистого жеста, сопровождавшего эти слова, жеста, которым его скорее изгоняли, чем прощались с ним, мистер Честер ответил кротким и прочувствованным тоном — «Да хранит вас бог» и спросил у Вардена, в какую сторону он идет.

— Идти с вами вместе — слишком большая честь для такого человека, как я, — ответил тот, не двигаясь с места.

— Я просил бы вас, Варден, не уходить пока, — сказал мистер Хардейл, не поднимая глаз. — Мне надо вам сказать два слова.

— Не буду мешать вашему совещанию, — объявил мистер Честер с величайшей учтивостью. — И желаю, чтобы оно имело успешные результаты. Благослови вас бог! — С этими словами он подарил слесаря сияющей улыбкой и вышел.

— Что за несчастный характер у этого колючего человека! — сказал он вслух, выйдя на улицу. — Это чудовище, кажется, в тягость самому себе... Медведь, терзающий себя самого... Ах, какое это, однако, бесценное качество — умение владеть собой! Во время двух коротких встреч с Хардейлом у меня сто раз появлялось сильное искушение проткнуть его шпагой. Из шести человек пять,

не выдержав, так бы и поступили на моем месте. А я подавил это желание и ранил Хардейла глубже и больнее, чем самый лучший фехтовальщик в Европе. Нет, — тут мистер Честер погладил эфес своей шпаги, — разумный человек прибегает к тебе только в самом крайнем случае. Ты — последнее средство, когда все уже сказано и испробовано. Пускать тебя в ход сразу, избавив противника от всех других неприятностей, — варварский способ борьбы, совершенно недостойный человека, хоть сколько-нибудь претендующего на хорошее воспитание и тонкость чувств.

Рассуждая сам с собой, он так приятно улыбался, что это придало смелости какому-то нищему: он увязался за мистером Честером и попросил у него милостыни. Мистер Честер был весьма доволен новым доказательством того, что он умеет владеть лицом и пленять людей, и в награду позволил нищему следовать за ним по пятам, пока не встретил портшез, а усевшись в него, милостиво простился с нищим неизменным «Да благословит вас бог».

«Это так же легко, как послать человека к черту, а звучит гораздо приличнее и располагает к тебе», — мудро рассуждал он про себя, усаживаясь.

— В Клеркенуэл, прошу вас, друзья!

Любезная учтивость седока так окрылила носильщиков, что они помчались во всю прыть.

Остановив их там, где ему нужно было сойти, мистер Честер расплатился с ними далеко не так щедро, как можно было ожидать от столь любезного джентльмена, и, свернув на улицу, где жил Варден, скоро очутился под сенью Золотого Ключа. Мистер Тэппертит, усердно трудившийся в углу мастерской при свете лампы, не заметил посетителя, и только, когда тот положил ему руку на плечо, он вздрогнул и поднял голову.

— Трудолюбие — душа всякого дела и залог благосостояния, — сказал мистер Честер. — Мистер Тэппертит, я рассчитываю, что вы пригласите меня на обед, когда станете лорд-мэром Лондона.

— Сэр, — отозвался подмастерье, отложив молоток и потирая нос тыльной стороной руки, так как остальная часть ее была в саже, — я презираю лорд-мэра и всех, кто с ним. Прежде, чем я стану лорд-мэром, нам нужно перестроить общество. Как ваше здоровье, сэр?

— Прекрасно чувствую себя, мистер Тэппертит, особенно сейчас, когда снова вижу ваше открытое честное лицо. А вы как поживаете? Надеюсь, хорошо?

— Настолько, насколько это возможно при постоянных притеснениях, сэр, — отвечал Сим хриплым шепотом, встав на цыпочки, чтобы дотянуться до уха мистера Честера. — Жизнь мне в тягость, сэр. Если бы не жажда отомстить, я поставил бы ее на карту — пусть пропадает!

— Дома миссис Варден? — спросил мистер Честер.

— Дома, сэр, — ответил Сим, сверля его подчеркнуто выразительным взглядом. — Вы к ней?

Мистер Честер утвердительно кивнул.

— Тогда пожалуйте сюда. — Сим утер лицо фартуком. — Идите за мной, сэр. Вы позволите шепнуть вам кое-что на ухо? Это займет не более, чем полсекунды.

— Пожалуйста, я вас слушаю.

Мистер Тэппертит опять стал на цыпочки, приложил губы к его уху, но, ничего не сказав, откинул голову назад, пристально посмотрел на мистера Честера, опять нагнулся к его уху — и опять отодвинулся. Наконец он прошептал:

— Его зовут Джозеф Уиллет. Тсс! Больше ничего не скажу.

После этого содержательного сообщения он с таинственным видом сделал мистеру Честеру знак следовать за ним в столовую и на пороге возвестил тоном церемониймейстера:

— Мистер Честер!

— Не мистер Эдвард, — добавил он в качестве постскриптума, снова заглянув в дверь, — а его отец.

— И этот отец, — сказал мистер Честер, входя с шляпой в руке и заметив, какой эффект произвело пояснение Сима, — никак не желал бы помешать вашим занятиям, мисс Варден.

— Ах, подумайте, мэм, он принимает вас за вашу дочь! Ну разве я не говорила всегда, что вы с виду — просто молоденькая девушка, мэм! Да, да, теперь вы поверите мне! Ну, что я говорила, мэм? — закричала Миггс, хлопая в ладоши.

— Неужели, — самым умильным голосом сказал мистер Честер, — неужели же вы — *миссис* Варден? Я пора-

жен. А это, конечно, не ваша дочь, миссис Варден? Нет, нет, не может быть! Это, вероятно, ваша сестра?

— Нет, это моя дочь, сэр, уверяю вас, — возразила миссис Варден, краснея, как девочка.

— Ах, миссис Варден! — воскликнул гость. — Какое это счастье — видеть себя возрожденными в своих детях и оставаться такими же молодыми, как они! Разрешите, сударыня, по доброму старому обычаю поцеловать вас... и вашу дочь также.

Долли попробовала уклониться от этой церемонии, но мать сердито пожурила ее и приказала сию же минуту исполнить желание гостя. Сурово и внушительно заявив, что гордыня — один из семи смертных грехов, а послушание и скромность — великие добродетели, она потребовала, чтобы Долли тотчас же позволила гостю поцеловать себя. При этом миссис Варден дала понять дочери, что, когда она, ее мать, делает что-нибудь, Долли может спокойно делать то же без всяких рассуждений, которые были бы дерзостью с ее стороны и прямым нарушением законов божиих.

После такого нагоняя Долли повиновалась, но весьма неохотно: ее очень смущало откровенное и бесцеремонное до наглости восхищение, которое она прочла на лице мистера Честера, как ни старался он скрыть его под маской изысканной учтивости. Она опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, а он стоял и любовался ею. Затем обратился к ее матери:

— Вижу, что мой друг Гейбриэл, с которым я только сегодня познакомился, — счастливый человек, миссис Варден.

— Ах! — миссис Варден вздохнула и покачала головой.

— Ах! — немедленно вздохнула и Миггс.

— Неужели же... — сочувственно подхватил мистер Честер. — Господи, твоя воля!

— Хозяин старается, сэр, — прошептала Миггс, бочком подобравшись к нему, — старается быть благодарным, насколько ему характер позволяет и насколько он способен оценить то, что ему послал бог. Но знаете, сэр, — тут Миггс искоса посмотрела на миссис Варден и, перемежая свою речь выразительными вздохами, продолжала: — Мы

не умеем ценить дары божии, пока не лишимся их. Тем хуже для тех, сэр, кто не печется о своем винограднике и смоковнице и у кого этот грех останется на совести, когда они погибнут и зацветут в *ином* саду. — И мисс Миггс подняла глаза к небу, чтобы показать, *какой* сад она имеет в виду.

Миссис Варден, конечно, слышала эту достаточно внятно произнесенную и явно предназначавшуюся для ее ушей тираду, в которой заключалось метафорическое предсказание, что она, миссис Варден, преждевременно падет под бременем испытаний и воспарит в надзвездные края. Она тотчас приняла томный вид и, взяв с соседнего стола один из томиков «Наставлений протестантам», оперлась на него, как бы желая показать, что он — ее якорь надежды. Не преминув заметить это и прочтя заглавие на корешке, мистер Честер тихонько взял у миссис Варден книгу и стал ее перелистывать.

— Это — моя настольная книга, дорогая миссис Варден. Как часто, ах, как часто черпал я из нее правила нравственности и в доступной детям форме внушал их моему дорогому сыну Неду, — тогда он был так мал, что вряд ли это помнит. (Последнее было совершенно верно.) Вы знаете Неда?

Миссис Варден ответила, что имела честь познакомиться с ним и что он — очень приятный и красивый молодой человек.

— Миссис Варден, вы — мать, — промолвил мистер Честер, беря понюшку табаку, — и понимаете, что́ я чувствую, когда хвалят моего сына. Правда, он меня несколько заботит... даже сильно заботит... У него такой непостоянный нрав, миссис Варден! Порхает, как мотылек, с цветка на цветок, от одной любви к другой. Впрочем, молодость — пора легкомыслия, сударыня, и не следует слишком строго судить ее за это.

Он посмотрел на Долли. Она очень внимательно слушала. А ему этого только и нужно было!

— Единственное, что заставляет меня сожалеть об этой слабости Неда... Кстати говоря, я вспомнил, что хотел вас просить уделить мне минутку для разговора с глазу на глаз... Да, единственное, в чем я упрекаю Неда, это в неискренности, которую неизбежно влечет за собой

ветреность. Из любви к нему я стараюсь скрыть это от себя самого, но не могу не думать об этом постоянно. Для меня лицемер — последний человек. Будем всегда искренни, дорогая миссис Варден.

— И добрыми протестантами, — подсказала шепотом миссис Варден.

— И, конечно, добрыми протестантами. Будем искренни, глубоко благочестивы, будем строго блюсти нравственность и справедливость (не забывая притом о милосердии), будем честны и правдивы — и мы только выиграем от этого. Разумеется, это немного, но все же кое-что: мы, так сказать, закладываем этим фундамент, на котором зиждется великое здание духовного совершенства.

«Вот поистине замечательный человек!» — мысленно говорила себе миссис Варден. Она уже видела в мистере Честере идеал кроткого, добродетельного и стойкого христианина. Обладая всеми качествами, которые так трудно даются людям, он сумел сохранить в себе все основные добродетели, так сказать насыпав им соли на хвост, чтобы не улетучились, — и притом ничуть не ставит себе этого в заслугу и стремится к еще большему совершенству! Добрая женщина, как и многие, принимала за чистую монету его притворную скромность, позу человека, якобы не придающего значения своим великим заслугам, небрежный тон, словно говоривший: «Вот я какой, я не горд, не считаю себя лучше других, — не будем говорить об этом». Именно потому, что мистер Честер говорил о себе словно нехотя, покоряясь необходимости, речи его произвели на слушательницу такое впечатление.

Сообразив это — ибо мало кто мог в таких случаях соперничать с ним в наблюдательности, — мистер Честер усилил атаку и провозгласил еще несколько неоспоримых истин — правда, довольно неопределенного и общего характера и смахивающих на затрепанные и банальные сентенции, но высказанных так мило, с такой задушевностью, что они подействовали как нельзя лучше. И это ничуть не удивительно: пустые сосуды при падении издают гораздо более мелодичный звук, чем полные, и точно так же пустые слова часто звучат в мире громче всего и больше всего нравятся людям.

Картинным жестом вытянув руку с открытой книгой, а другую руку положив на грудь, мистер Честер разглагольствовал, чаруя всех своих слушателей, как ни различны были их мысли и чувства. Даже Долли, сильно смущенная его плотоядными взглядами и «гипнотизирующим» взором Сима Тэппертита, сознавалась себе, что никогда еще не встречала такого красноречивого джентльмена. Даже Миггс, в душе которой боролись восхищение мистером Честером и смертельная зависть к хозяйской дочке, — и та в конце концов была умиротворена. И мистер Тэппертит, хоть и был, как мы уже говорили, поглощен созерцанием своей дамы сердца, невольно отвлекался от этого занятия, плененный голосом чародея. А миссис Варден мысленно твердила себе, что ничто в жизни никогда еще не действовало на ее душу так благотворно, как речи гостя. Когда же мистер Честер встал и попросил разрешения поговорить с нею наедине, а затем, предложив ей руку и отступив на полшага, повел ее торжественно наверх, в парадную гостиную, она решила, что он — сущий ангел во плоти.

— Дорогая миссис Варден, — сказал он, галантно поднося к губам ее руку, — присядьте, прошу вас.

Миссис Варден села, призвав на помощь все свое знание светских обычаев.

— Вы догадываетесь, о чем я хочу говорить? — спросил мистер Честер, придвинув свой стул поближе. — Вы поняли меня? Дорогая миссис Варден, я — любящий отец.

— Сэр, я в этом ничуть не сомневаюсь, — отозвалась миссис Варден.

— Благодарю вас, — мистер Честер постучал пальцем по табакерке. — Миссис Варден, на родителях лежит великая моральная ответственность!

Она развела руками, тряхнула головой и устремила взгляд на пол с таким выражением, словно смотрела сквозь весь земной шар в необозримые просторы вселенной.

— С вами я могу быть совершенно откровенен, — продолжал мистер Честер. — Я люблю сына, нежно люблю. Любя его, я не желал бы, чтобы он причинил зло. Вы знаете о его привязанности к мисс Хардейл. Вы даже

помогали им, — это очень великодушно с вашей стороны. Я вам глубоко признателен за ваше участие к Неду. Но, дорогая моя, поверьте, вы поступали опрометчиво.

Миссис Варден, запинаясь, пробормотала, что очень сожалеет...

— Нет, нет, дорогая миссис Варден, — перебил ее мистер Честер, — не сожалейте о том, что делалось с самыми лучшими намерениями, со всей свойственной вам добротой. Но очень серьезные и веские причины, важные семейные соображения и, кроме всего прочего, различие вероисповеданий делают этот брак невозможным, совершенно невозможным. Мне следовало сообщить об этом вашему мужу, но он — простите мою вольность — не обладает вашей быстротой соображения и такой глубиной нравственного чувства... Какой у вас превосходный уютный дом и в каком порядке он содержится! Для меня, старого вдовца, все эти признаки присутствия в доме женской заботливой руки и женского глаза имеют невыразимую прелесть.

Миссис Варден (не отдавая себе отчета, почему) уже начинала думать, что прав Честер-старший, а Честер-младший кругом виноват.

— Мой сын, как я слышал, пользовался услугами вашей прелестной дочери и даже вашего доброго простодушного мужа, — продолжал искуситель, пуская в ход все свое обаяние.

— Меньше всех помогала ему я, сэр, — сказала миссис Варден. — Гораздо меньше, чем другие. Меня часто одолевали сомнения. Мне казалось, что это...

— Что это — дурной пример, — подхватил мистер Честер. — И вы совершенно правы. Конечно, дурной! Ваша дочь в таком возрасте, когда особенно опасно видеть, что в столь важном вопросе, как брак, дети не повинуются родительской воле. Да, да, вы совершенно правы. И как это мне самому не пришло в голову? Сознаюсь, я совсем упустил это из виду. Насколько женщины прозорливее и мудрее нас, мужчин!

Миссис Варден сделала такую глубокомысленную мину, как будто она действительно сказала что-то очень мудрое и заслужила его похвалу. Она в это уже твердо

верила, и уважение ее к собственному уму значительно возросло.

— Дорогая миссис Варден, — продолжал мистер Честер. — Вижу, что с вами я смело могу быть откровенным. В этом вопросе мы с сыном совершенно расходимся. Так же не согласен с выбором мисс Хардейл ее опекун, заменивший ей отца. И, наконец, мой сын во имя сыновнего долга, чести, во имя всех священных уз и обязанностей должен жениться на другой.

— Значит, он обручен с другой! — воскликнула миссис Варден, воздевая руки к небу.

— Дорогая миссис Варден, к этому браку его готовили, когда растили, воспитывали, учили... Говорят, мисс Хардейл — очаровательная девушка?

— Кому же это знать, как не мне, — ведь я ее выкормила. Другой такой на свете нет! — ответила миссис Варден.

— Я в этом ничуть не сомневаюсь. И вы, такой близкий ей человек, обязаны подумать о ее счастье. Судите сами, как я могу допустить (это самое я сказал Хардейлу, и он со мной вполне согласен), чтобы она связала свою судьбу с юнцом, у которого нет сердца? Называя его бессердечным, я его этим ничуть не позорю — таковы почти все молодые люди, погруженные в легкомысленную суету большого света. Только к тридцати годам в них может заговорить сердце. Пожалуй, — даже наверное, — и я в возрасте Неда был бессердечен.

— О нет, сэр, этому я не могу поверить! — возразила миссис Варден. — Чтобы такой добрый человек, как вы, когда-нибудь был бессердечным!

— Надеюсь, — мистер Честер слегка пожал плечами, — надеюсь, сейчас меня нельзя уже назвать человеком без сердца. Видит бог, я не совсем бессердечен. Ну, да не обо мне речь, а о Неде. Вы, верно, подумали, что я настроен против мисс Хардейл, и поэтому великодушно помогали ей и Неду. Это же вполне естественно. Но поймите, дорогая моя, от этого брака я оберегаю вовсе не Неда — я хочу уберечь *ее!*

Миссис Варден была совершенно ошеломлена этим открытием.

— Если он честно выполнит то священное обязательство, о котором я вам уже говорил, — а он обязан доро-

жить своей честью, иначе он мне не сын, — то ему достанется большое состояние. Он очень расточителен, у него разорительные привычки. И если он, под влиянием мимолетного каприза или просто из упрямства, женится на мисс Хардейл и не будет иметь средств жить так, как он привык, — поверьте, дорогая, он разобьет сердце этой милой девушки. Миссис Варден, голубушка, скажите сами — можно ли допустить, чтобы она стала жертвой его легкомыслия? Можно ли так играть сердцем женщины? Спросите это у своего собственного сердца, дорогая, умоляю вас!

«Вот поистине святой человек!» — подумала миссис Варден.

— Однако, — это она произнесла уже вслух, — если вы разлучите мисс Эмму с любимым, что *тогда* будет с ее бедным сердцем?

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с вами, — отозвался мистер Честер, нимало не смутившись. — Брак с моим сыном, брак, который я никак не смогу признать, сулит мисс Эмме много лет горя. Не пройдет и года, как они расстанутся, А разлука сейчас, когда их связывает чувство скорее воображаемое, чем подлинное, будет стоить бедняжке слез, но она поплачет и утешится. Возьмите к примеру эту милую девушку, вашу дочь, вылитый ваш портрет. — Миссис Варден кашлянула и жеманно улыбнулась. — Я слышал от Неда об одном ее поклоннике, — это, к сожалению, какой-то шалопай с весьма сомнительной репутацией... Как бишь его? Буллет... Пуллет... Муллет?

— Может быть, Джозеф Уиллет? Мы знаем одного такого молодого человека, — подсказала миссис Варден, с достоинством складывая руки.

— Да, да, Уиллет! — с живостью откликнулся ее собеседник. — Так что бы вы сказали, если бы этот Джозеф Уиллет добивался любви вашей прелестной дочери и преуспел в этом?

— С его стороны даже и подумать об этом было бы наглостью, — с негодованием отрезала миссис Варден.

— Вот видите, дорогая! И такая же наглость со стороны Неда — делать то, что он делает. Вы, конечно, не задумались бы пресечь в зародыше это увлечение ва-

шей дочери, хотя бы она и поплакала немного. Я хотел было потолковать об этом с вашим мужем, когда встретился с ним сегодня у миссис Радж...

— Лучше бы мой муж сидел дома и не ходил так часто к этой миссис Радж! — с сердцем перебила его миссис Варден. — Не понимаю, что он там делает и зачем ему мешаться в ее дела.

— Я не стану выражать вам сочувствие, на которое вы могли бы рассчитывать, — и знаете, почему? Потому что встреча с вашим мужем в доме миссис Радж и его неотзывчивость привели меня сюда, где я имел счастье познакомиться с вами, женщиной, на которой, как я вижу, держится весь этот дом, все благополучие семьи.

Он взял руку миссис Варден и снова поднес эту руку к губам с изысканной галантностью того времени, несколько утрированной, чтобы она сильнее подействовала на почтенную даму, непривычную к такому обращению. Затем, мешая лесть, софистику и ложь, продолжал внушать миссис Варден, что ей следует употребить все свое влияние на мужа и дочь и не позволять им впредь быть посредниками между Эдвардом и мисс Хардейл и вообще тем или иным способом помогать этой паре. Миссис Варден была не более как женщина и, следовательно, не лишена упрямства, тщеславия и охоты властвовать. Кончилось тем, что она заключила со своим вкрадчивым гостем тайный союз, оборонительный и наступательный, искренне веря (как поверили бы многие на ее месте, если бы слышали и видели его), что делает это во имя справедливости, правды и добродетели.

Радуясь успеху своих переговоров и в душе немало потешаясь над миссис Варден, мистер Честер повел ее вниз так же торжественно. Затем, снова проделав церемонию поцелуев (причем, конечно, не обошел и Долли), он удалился, окончательно покорив сердце мисс Миггс, когда осведомился, «не угодно ли этой молодой леди» посветить ему в передней.

— Ах, мэм! — сказала Миггс, воротясь со свечой. — Ах, мэм, вот это настоящий джентльмен! Говорит, как ангел небесный, — а какой красавец! Осанистый, важный такой, как будто презирает землю, по которой ходит, — а на самом-то деле ласковый, снисходительный, гла-

зами так и говорит: «Не бойтесь, я даже земле под ногами не сделаю вреда». И подумайте только — принял вас за мисс Долли, а мисс Долли — за вашу сестру! Ну на месте хозяина я, ей-богу, приревновала бы вас к нему!

Миссис Варден пожурила служанку за такие суетные речи, сказав — правда, весьма кротко и даже с улыбкой, — что она — глупая и легкомысленная девушка, что ее восторженность переходит всякие границы и она болтает, не думая, только поэтому не стоит на нее сердиться.

— А мне что-то кажется, — сказала Долли задумчиво, — что этот мистер Честер так же, как и Миггс, говорит не то, что думает. Несмотря на его вежливость и любезные слова, я почти уверена, что в душе он просто смеялся над нами.

— Если вы еще раз посмеете сказать это, мисс, и в моем присутствии поносить людей у них за спиной, я прикажу вам немедленно взять свечу и идти спать... Да как тебе не стыдно, Долли! Ты меня просто поражаешь. Сегодня вечером ты ведешь себя вообще безобразно. Где это слыхано, — тут разгневанная дама залилась слезами, — где это слыхано, чтобы дочь говорила родной матери, что над ней смеются?

Вот какой непостоянный нрав был у миссис Варден!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Из дома слесаря мистер Честер отправился в модную кофейню в Ковент-Гардене *, где долго сидел за обедом, безмерно забавляясь воспоминаниями о своих сегодняшних подвигах и восторгаясь своей ловкостью. Появившееся на его лице под влиянием этих мыслей ясное и благостное выражение до того пленило прислуживавшего ему лакея, что тот почти готов был умереть за этого человека с лицом апостола, решив, что такой клиент стоит доброго десятка других. Разубедился в этом лакей только тогда, когда подал мистеру Честеру счет и за свои немалые хлопоты получил весьма скромные чаевые.

После обеда мистер Честер засиделся еще за игорным столом — он не был азартным игроком, нет, ему просто доставляло удовольствие ставить несколько золотых монет в угоду царившему в его кругу безрассудному увлечению, и он с одинаковым благоволением взирал на выигравших и проигравших — поэтому домой он вернулся поздно.

Мистер Честер, уходя, обычно наказывал слуге — если только Пик в этот вечер не был ему нужен — ложиться спать, не дожидаясь его прихода, и оставлять на лестнице свечу. На площадке горел фонарь, у которого мистер Честер всегда зажигал свечу, когда возвращался поздно, и, так как у него был при себе ключ от двери, он мог приходить, когда ему вздумается.

На этот раз он тоже открыл стеклянную дверцу тускло горевшего фонаря, в котором фитиль под шапкой нагара был похож на распухший нос пьяницы и, когда к нему поднесли свечу, от него полетели во все стороны рубиновые искры, так что зажечь свечу удалось не сразу. Возясь с этим делом, мистер Честер вдруг услышал на лестнице какие-то звуки, доносившиеся сверху и заставившие его насторожиться: это было похоже на громкий храп. Он прислушался внимательнее — да, где-то ясно слышалось тяжелое дыхание спящего. Видимо, кто-то забрался на открытую лестницу и уснул там. Когда свеча, наконец, разгорелась, мистер Честер открыл свою дверь и затем тихонько стал подниматься по лестнице, держа свечу высоко над головой и зорко осматриваясь по сторонам: ему было любопытно увидеть, что это за человек вздумал ночевать в таком неудобном месте.

Положив голову на площадку и раскинувшись всем своим могучим телом, занявшим полдюжины ступеней, наверху, как труп, случайно брошенный здесь пьяными носильщиками, лежал Хью. Лежал на спине, и длинные волосы, как перепутанные дикие травы, разметались по деревянному изголовью, а из широкой, бурно дышащей груди вылетали звуки, такие необычные в этом месте и грубо нарушавшие ночную тишину.

Наткнувшись на него так неожиданно, мистер Честер хотел уже разбудить его пинком, но, глянув в лицо спящего, вдруг замер и, нагнувшись над ним, заслоняя свет

рукой, внимательно всмотрелся в его черты. Не удовлетворившись этим, он продолжал пристально изучать лицо Хью, все ближе поднося свечу и так же старательно заслоняя свет рукой.

В это время спящий вдруг проснулся и, не дрогнув, не шевельнувшись, открыл глаза. В их неподвижном взгляде было, вероятно, что-то притягательное, потому что мистер Честер не мог отвернуться. Так они некоторое время смотрели друг на друга, пока мистер Честер, наконец, не прервал молчания, спросив вполголоса у Хью, как он здесь очутился.

— А мне показалось, что я еще сплю и вы мне снитесь, — сказал Хью, медленно приподнимаясь и все так же пристально глядя ему в лицо. — Странный я видел сон. Хоть бы он не был в руку!

— Отчего ты так дрожишь?

— От... от холода, должно быть, — буркнул Хью и, встряхнувшись, поднялся. — Я еще не разберу, где это я...

— А меня-то узнал? — спросил мистер Честер.

— Как не узнать, — отвечал Хью. — Я же говорю: вы мне снились. Слава богу, что мы с вами не в том месте, которое мне приснилось.

Говоря это, он осматривался вокруг и несколько раз поднял глаза вверх, словно ожидал увидеть у себя над головой то, что давеча видел во сне. Затем протер глаза, снова встряхнулся и пошел за мистером Честером в его квартиру.

Мистер Честер зажег свечи на туалетном столе, подкатил кресло к камину, в котором еще тлели угли, и, помешав их, пока не вспыхнул яркий огонь, сел перед ним, приказав своему гостю подойти и снять с него сапоги.

— Ты, видно, опять пил, приятель? — сказал он, когда Хью, опустившись на одно колено, исполнил его приказание.

— Провалиться мне на этом месте, хозяин, если я с самого полудня хлебнул хоть глоток! Я прошел двенадцать миль пешком и дожидался вас здесь невесть сколько времени.

— И ничего лучше не придумал, как спать на лестнице и храпеть так, что весь дом трясся? — сказал мистер Честер. — Не можешь видеть сны у себя в конюшне

на соломе, олух ты этакий, непременно тебе для этого понадобилось прийти сюда? Подай-ка мне туфли, да ходи поосторожнее, не стучи так.

Хью молча принес домашние туфли.

— И вот что, мой молодой друг, — продолжал мистер Честер, надев их, — в следующий раз постарайтесь видеть во сне не меня, а какую-нибудь собаку или лошадь — ведь эти твари вам лучше знакомы, чем люди. Налейте себе стаканчик — бутылка в шкафу на том же месте — и выпейте, это вас взбодрит. Но только один стакан!

Хью послушался — на этот раз гораздо охотнее — и, выпив, подошел к мистеру Честеру.

— Ну-с, — спросил тот, — зачем это я тебе понадобился?

— Есть новости, — отвечал Хью. — Ваш сын был сегодня у нас в «Майском Древе». Приехал верхом из Лондона. Он хотел увидеться со своей милой, да не удалось. Вот он и оставил Джо письмо для нее или на словах велел что-то передать. Но когда сын ваш уехал, Джо с отцом поспорили из-за этого, старик не позволил ему идти в Уоррен. Он сказал — Джон то есть, — что никому из своей семьи не позволит вмешиваться в это дело, чтобы не навлечь на него неприятности. Потому что, говорит, у меня гостиница, и я разорюсь, если клиенты будут недовольны мной.

— Этот Джон — настоящее сокровище, — со смехом заметил мистер Честер. — И болван притом, а это всего ценнее. Ну, что же дальше?

— Дочка Вардена, та девушка, которую я поцеловал...

— И у которой украл браслет на большой дороге, — спокойно вставил мистер Честер. — Так что ты хотел о ней сказать?

— В тот вечер она написала из «Майского Древа» мисс Хардейл, что письмо она потеряла — то самое письмо, которое я вам принес, а вы сожгли. И наш Джо должен был отнести записку, но старик не пускал его из дому весь следующий день — нарочно, чтобы он не мог сходить в Уоррен. И сегодня утром Джо велел *мне* отнести записку. Вот она.

— Значит, ты ее не отнес по адресу, голубчик? — притворно изумился мистер Честер, вертя в пальцах записку Долли.

— Я думал, что вы захотите получить и ее тоже. Раз сожгли одно, так и все — туда же, — пояснил Хью.

— Право, ты — отчаянный малый, — отозвался мистер Честер. — И если не научишься разбираться во всем, твоя карьера с поразительной быстротой придет к концу. Ведь ты же знаешь, что *то* письмо было адресовано моему сыну, и сын живет тут же, в моем доме. А *это* письмо не к нему, оно адресовано другому человеку. Неужели тебе не понятна разница?

— Коли оно вам не нужно, так верните мне его, и я отнесу его куда следует. Уж не знаю, сэр, как вам и угодить, — сказал Хью, обескураженный этим выговором, обрушившимся на него вместо ожидаемых горячих похвал.

— Я сам его передам, — после минутного размышления сказал мистер Честер, пряча письмо. — Не знаешь, эта леди в хорошую погоду ходит гулять?

— Да. Она все больше гуляет около полудня.

— Одна?

— Да.

— А в каких местах?

— В парке, поблизости от дома. Там, где тропка уходит в поле.

— Пожалуй, если завтра утро будет ясное, я с ней встречусь на дороге, — сказал мистер Честер так уверенно, словно говорил о своей доброй знакомой. — И вот что, мистер Хью, — если мне доведется заехать в «Майское Древо», ведите себя так, как будто видите меня первый раз в жизни. Сдержите свою благодарность и постарайтесь забыть ту снисходительность, с которой я отнесся к истории с браслетом. Благодарность с вашей стороны делает вам честь и вполне естественна, но в присутствии других вам следует ради собственной безопасности держать себя так, как будто вы ничем мне не обязаны и никогда не бывали у меня в доме. Ясно?

Хью отлично все понял. После некоторого молчания он, тихо и запинаясь, выразил надежду, что «хозяин» не захочет причинить ему неприятностей из-за этой записки — ведь он ее не передал по адресу единственно из

желания угодить ему. Мистер Честер прервал его бессвязные оправдания и с добродушно покровительственным видом сказал:

— Я уже вам обещал, мой друг, защищать вас всегда, пока вы этого будете заслуживать, — а мое слово все равно что письменное обязательство, скрепленное подписью и печатью. Так что не тревожьтесь, прошу вас, и сохраняйте полное спокойствие. Когда человек отдается в мою власть так покорно, как вы, я чувствую, что он имеет некоторое право на мое участие. И вы себе представить не можете, как я тогда бываю снисходителен и великодушен. Рассчитывайте на мое покровительство, и, пока мы остаемся друзьями, сердце ваше может быть спокойно, как ни одно сердце, которое бьется в человеческой груди. Выпейте еще стаканчик на дорогу — мне прямо-таки совестно, что вы проделали ради меня такой дальний путь — и ступайте с богом.

— А там у нас думают, что я крепко сплю в конюшне! — сказал Хью, залпом осушив стакан. — Конюшня заперта, но лошадь сбежала. Ха-ха-ха!

— А вы, оказывается, шутник и весельчак, — заметил его покровитель. — Это мне в вас больше всего нравится. Ну, прощайте. И, ради моего спокойствия, хорошенько берегите себя.

Любопытно, что во время всего этого разговора каждый из собеседников не смотрел другому прямо в лицо, но оба исподтишка следили друг за другом. Только сейчас они обменялись быстрым взглядом, и оба тотчас отвели глаза. Хью вышел, осторожно и бесшумно закрыв за собою дверь. А мистер Честер сидел все в той же позе и сосредоточенно смотрел на огонь в камине.

— Ну, что ж! — произнес он вслух после долгого раздумья. Он сказал это с глубоким вздохом и нетерпеливо зашевелился в кресле, словно хотел отогнать какую-то назойливую мысль и вернуться к тем, которые занимали его весь день. — Заговор удался. Бомба брошена. Полагаю, что она взорвется через сорок восемь часов и разнесет вдребезги всю эту славную компанию. Посмотрим!

Он лег в постель и уснул, но скоро проснулся в испуге: ему почудилось, будто Хью стоит у входной двери и каким-то странным, не своим голосом кричит, чтобы

его впустили. Иллюзия была так сильна, что мистер Честер, охваченный тем смутным страхом, который вызывает у людей ночные видения, встал, схватил шпагу и, отперев дверь, выглянул на лестницу. Он поискал глазами те ступеньки, где нашел Хью спящим, и даже окликнул его. Но на лестнице было темно и тихо. Мистер Честер вернулся в спальню, лег и после целого часа мучительной бессонницы уснул и не просыпался уже до самого утра.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Мысли людей светских всегда подчинены закону «духовного тяготения», который, действуя подобно закону физического тяготения, не дает им оторваться от земли. Великолепие солнечного дня и дивная тишина звездных ночей тщетно взывают к их душе. Солнце, звезды и луна ничего не говорят им. Люди эти подобны тем ученым мудрецам, которые знают латинские названия всех планет, но совсем забыли о таких скромных небесных созвездиях, как Милосердие, Сострадание, Терпимость и Человеколюбие, хотя плеяда их сияет ночью и днем так ярко, что ее и слепой заметит. Даже в усеянном звездами небе эти люди видят лишь отражение своей великой мудрости и учености.

Любопытно было бы прочесть мысли такого человека, который, озирая сияющие над нами бесчисленные миры, ищет в них лишь того, чем постоянно занят его ум. Тем, чья жизнь проходит под сенью тронов, ночные светила напоминают о звездах, что украшают грудь придворных фаворитов. У людей завистливых, даже когда они смотрят на небо, перед глазами всегда лишь почести, воздаваемые их ближним, а стяжателям и большинству людей суетных и алчных великая вселенная кажется усеянной сверкающими новенькими золотыми, только что с монетного двора, где на них вычеканили голову монарха, — эта картина всегда стоит перед ними, куда бы они ни повернулись, и заслоняет им небо. Так призраки наших вожделений становятся между нами и тем, что есть в нас лучшего, и затмевают его сиянье.

Мистер Честер медленно ехал верхом по лесной дороге, и мир вокруг сиял такой свежестью и радостью, словно создан был только этим утром. Весна наступила недавно, но погода стояла прекрасная, очень теплая, листья на деревьях уже распускались, зеленела трава и живые изгороди, а воздух звенел птичьими голосами, и высоко в небе заливался жаворонок. В тени на каждом листочке, на каждой травинке еще сверкала утренняя роса, и, когда сюда забредал солнечный луч, капли ее вспыхивали, как алмазы, словно протестуя против того, что должны высохнуть, покинуть этот чудесный мир, просуществовав в нем так недолго. Даже легкий ветер, шелест которого ласкал слух, как тихое журчанье ручейка, сулил радость и окрылял душу надеждой, когда, пролетая и оставляя за собой нежный аромат, шептал о своей встрече с летом и возвещал его приход.

Одинокий всадник ехал под деревьями, то солнечными местами, то в тени, ровным шагом, глядя вперед, — правда, он порой озирался по сторонам, но чудесное утро и окружающие картины вызывали в нем только одну мысль — что ему повезло, погода хороша и ничто не грозит его элегантному костюму. Думая так, он удовлетворенно улыбался, и улыбка эта говорила, что более всего он доволен самим собой. Он ехал на гнедой лошади, такой же красивой и породистой, как он сам, но, вероятно, более чувствительной к радостным голосам сиявшей вокруг весны.

Через некоторое время впереди показались массивные трубы «Майского Древа», но мистер Честер не стал подгонять лошадь и все так же неторопливо и степенно доехал до дверей гостиницы. Джон Уиллет — который до этой минуты поджаривал свою красную физиономию у веселого огня в камине и, глядя на голубое небо, уже со свойственной ему изумительной дальновидностью и быстротой соображения начинал приходить к заключению, что если такая погода прочно установится, то придется, пожалуй, в конце концов перестать топить камин и раскупорить окна, — вышел навстречу гостю, чтобы помочь ему сойти, и стал громко звать Хью.

— Ага, пришел! — сказал он парню, немало изумленный быстротой его появления. — Веди драгоценную

лошадку на конюшню и позаботься о ней как следует, если не хочешь потерять место... Ведь это отпетый лодырь, доложу я вам, сэр! Постоянно приходится его расшевеливать.

— У вас же есть сын, — заметил мистер Честер. Сойдя с лошади, он бросил поводья Хью и ответил на его поклон, небрежно прикоснувшись к шляпе. — Почему вы не заставите его помогать вам?

— Дело в том, сэр, — начал Джон с глубокой серьезностью, — что мой сын... Ты зачем это подслушиваешь, бездельник?

— Кто подслушивает? — сердито огрызнулся Хью. — Подумаешь, как интересно! Стою тут, потому что лошадь еще не остыла. Или вы хотите, чтобы я ее потную поставил в конюшню?

— Поводи ее по двору, да подальше отсюда, — резко приказал Джон. — И вообще не лезь ко мне, когда я беседую с благородным джентльменом, — знай свое место. А если не будешь знать своего места, сэр, — добавил мистер Уиллет после чудовищно долгой паузы, во время которой он, уставив на Хью большие тусклые глаза, с завидным терпением дожидался, пока его осенит еще какая-нибудь мысль, — я скоро найду способ указать его тебе.

Хью презрительно пожал плечами и с небрежно-самоуверенным видом зашагал на другой конец лужайки. Здесь он, перебросив через плечо конец уздечки, стал водить лошадь взад и вперед, время от времени поглядывая из-под кустистых бровей на хозяина с самым зловещим выражением.

Мистер Честер, незаметно наблюдавший за ним во время его перебранки с Джоном, взошел на крыльцо и, круто обернувшись к мистеру Уиллету, сказал:

— Странные у вас слуги, Джон.

— Он странный только на вид, сэр, — возразил хозяин. — Но для работы на дворе, ухода за лошадьми и собаками и прочего во всей Англии не сыщешь такого подходящего работника, как этот Хью... Для работы по дому он не годится, — добавил мистер Уиллет конфиденциальным тоном человека, сознающего свое превосходство. — В доме делаю все я сам. Однако, если бы этот Хью имел хоть немного смекалки, сэр...

— Парень он как будто проворный, — промолвил мистер Честер задумчиво, словно говоря сам с собой.

— Проворный ли? — выразительно подхватил Джон.— Эй, ты! Подойди-ка сюда с лошадью, а потом ступай повесь мой парик на флюгер. Покажи джентльмену, проворный ты парень или нет.

Хью, ничего не ответив, подошел, передал поводья хозяину и, сорвав с его головы парик так бесцеремонно и размашисто, что это немало расстроило мистера Уиллета, хотя и сделано было по его желанию, проворно стал взбираться на стоявшее перед домом «майское древо». Добравшись до самой его верхушки, он повесил парик на флюгер и стал его вертеть, как вертел. Проделав этот фокус, он швырнул парик на землю, а сам с непостижимой быстротой соскользнул по стволу и очутился на земле почти одновременно с париком.

— Вот, полюбуйтесь, сэр, — сказал Джон, уже флегматично, как всегда, — таких вещей вы нигде не увидите, не говоря уже о том, что у нас в «Майском Древе» — все удобства для постояльцев и их лошадей. И вот это вы тоже вряд ли где увидите, а он проделывает и не такие еще штуки!

Последнее замечание относилось к вольтижировке Хью на лошади. Как и в первое посещение мистера Честера, он одним прыжком взлетел на седло и мигом скрылся в воротах конюшни.

— Да, это еще пустяки, — повторил мистер Уиллет, чистя свой парик и мысленно решив увеличить счет, который подаст гостю, на небольшую сумму — за пострадавший и запыленный парик. — Он может выскочить из любого окна в доме. Ни один акробат не сумеет так прыгать и кувыркаться, как он, — и ведь кости у него всегда остаются целы. Я так полагаю, сэр, — все оттого, что голова у него безмозглая. Если бы можно было вбить ему в голову мозги, он не стал бы больше проделывать все это. Но что невозможно, то невозможно... Мы говорили о моем сыне, сэр...

— Да, да, Уиллет, — гость повернул к хозяину свое, как всегда, безмятежно-ясное. лицо. — Так что же с ним?

Рассказывают, будто раньше, чем ответить, мистер Уиллет якобы подмигнул мистеру Честеру. Но, так как

ни до этого, ни после он ни разу не был уличен в таком легкомыслии, то слух этот можно считать злостным вымыслом его врагов, основанным, быть может, на том бесспорном факте, что Джон взял гостя за третью (считая от подбородка) пуговицу камзола и стал шептать ему что-то на ухо.

— Сэр, — прошептал он с достоинством, — я знаю свой долг. Нам здесь не нужны любовные свидания без ведома родителей. Я уважаю известного вам молодого джентльмена, как джентльмена, я уважаю известную вам молодую леди, как следует уважать благородных леди, но как о влюбленной паре, я о них ничего не знаю и знать не хочу. А сын мой находится под надзором, сэр.

— Я, кажется, видел его только что в угловом окне, — сказал мистер Честер.

— Безусловно могли его видеть там, сэр, — отвечал Джон. — Он под надзором и не выходит из комнаты. Я и мои друзья, которые заглядывают сюда вечерком, рассудили, что это самый лучший способ помешать ему сделать что-нибудь такое, что было бы вам неприятно и нежелательно, сэр. Вот я и засадил его под домашний арест. И смею вас уверить, сэр, что я не скоро его выпущу.

Эта блестящая идея пришла в голову Джону после того, как его деревенские приятели прочитали в газете среди прочих новостей заметку об одном офицере, который, состоя под военным судом, был отпущен «под надзор». Сообщив на ухо гостю о домашнем аресте сына, Джон откинулся назад и трижды явственно хихикнул, но лицо его при этом ни на йоту не изменилось. Такие приступы веселья (они случались с Джоном редко, только в исключительных случаях) никак не отражались на его физиономии — вот и сейчас он и губ не разжал, ни на мгновение не дрогнул его жирный двойной подбородок, который на широкой карте лица казался пустыней, гладкой, голой и однообразной.

Чтобы никого не удивляло то, что мистер Уиллет так смело выступил против Эдварда Честера, которого он часто принимал в своей гостинице и который всегда щедро оплачивал его услуги, следует сказать, что к этому, как

и к столь необычным для него проявлениям игривой веселости, его побудили соображения весьма дальновидные и практические. Тщательно взвесив в уме относительные достоинства отца и сына, он сделал четкий вывод, что мистер Честер-старший — более выгодный клиент, чем его сын. А когда он бросил на перевесившую чашку весов еще интересы мистера Хардейла, владельца арендуемого им дома, и свою настойчивую потребность укротить злополучного Джо, и свое предубеждение против любви и брака вообще, — чашка эта сразу опустилась до самой земли, а та, на которой лежал груз незначительный — чувства молодого Честера, — взлетела чуть не под потолок.

Мистер Честер был не такой человек, чтобы хоть сколько-нибудь обманываться насчет истинных побуждений мистера Уиллета, однако он поблагодарил его так горячо, словно Джон был самым бескорыстным подвижником из всех, кто когда-либо украшал собой наш мир, и много раз повторив, что вполне полагается на его опытность и прекрасный вкус и предоставляет ему самому придумать меню обеда, пешком направился в сторону Уоррена.

Он был одет элегантнее обычного, его изящные манеры, результат длительной тренировки, казались естественными и очень его красили, лицу он придал безмятежно-ясное выражение, — словом, все до мелочей было обдумано: видимо, мистеру Честеру сегодня было очень важно произвести выгодное впечатление. Вооруженный таким образом, он отправился туда, где обычно прогуливалась мисс Хардейл. Ему не пришлось идти далеко, — не успел он осмотреться, как увидел шедшую навстречу женщину. Ему достаточно было одного беглого взгляда, пока она проходила по разделявшему их дощатому мостику, чтобы убедиться, что это та, кого он искал. Он поспешил ей навстречу и, сделав несколько шагов, очутился перед ней.

Сняв шляпу, он сошел с дорожки и пропустил девушку. Но, когда она уже прошла мимо, он, словно осененный внезапной догадкой, поспешно шагнул к ней и сказал с живостью:

— Простите... я имею честь говорить с мисс Хардейл?

Мисс Хардейл остановилась, немного смущенная неожиданным обращением к ней незнакомого человека, и ответила:

— Да, это я.

— Я так и подумал, — продолжал мистер Честер, взглядом давая ей понять, как он восхищен ее красотой. — Мисс Хардейл, моя фамилия вам небезызвестна. Более того — я знаю, что вам приятно ее слышать, и горд, но в то же время и опечален этим. Как видите, я уже немолод. Я — отец того, кому вы оказали честь, избрав его среди всех. Не уделите ли вы мне минутку для беседы? Весьма важные и весьма огорчительные для меня причины вынуждают меня просить об этом.

Как неискушенная во лжи, молодая и чистая сердцем девушка могла усомниться в искренности этого джентльмена, если в голосе его слышала слабое эхо другого голоса, так хорошо знакомого и дорогого ей? Она наклонила голову в знак согласия и остановилась на дорожке, опустив глаза.

— Отойдем немного в сторону — вон туда, под деревья. Позвольте предложить вам руку — это рука старого и, поверьте, мисс Хардейл, честного человека.

В ответ на эти слова Эмма подала ему руку, и он подвел ее к ближайшей скамье.

— Вы меня пугаете, сэр, — сказала она тихо, — надеюсь, вы пришли не с дурными вестями?

— Ничего такого, чего вы опасаетесь, — ответил мистер Честер, садясь рядом с ней. — Эдвард здоров, с ним все благополучно. Я, разумеется, именно о нем хочу говорить с вами. Но я вовсе не вестник несчастья.

Девушка ничего не сказала и только слегка кивнула головой, словно приглашая его продолжать.

— Я сознаю, что положение мое невыгодно. Поверьте, дорогая мисс Хардейл, я не настолько еще забыл свою молодость и чувства, которые тогда волновали меня, чтобы не понимать, что вы настроены против меня. Вам, конечно, описывали меня, как расчетливого, холодного эгоиста...

— Никогда, сэр, — перебила его мисс Хардейл, уже совсем другим, решительным тоном. — Никогда я не слышала о вас от Эдварда ни одного резкого или непочти-



тельного слова. Вы очень несправедливы к сыну, если считаете его способным на какую бы то ни было низость или коварство.

— Извините, моя дорогая, но ваш дядя...

— И мой дядя тоже не такой человек, — возразила мисс Хардейл, вспыхнув. — Не в его характере исподтишка наносить удары в спину, и не в моем — одобрять подобные вещи.

Говоря это, она встала и хотела уйти, но мистер Честер удержал ее спокойным и вежливым жестом и стал умолять, чтобы она его выслушала, да так горячо и убедительно, что она быстро сдалась и снова села на скамью.

— Ах, Нед, Нед! И эту чистую, благородную, бесхитростную душу ты можешь так легкомысленно ранить! — изрек мистер Честер, подняв глаза к небу. — Стыдись, стыдись, сын мой!

Девушка быстро повернулась к нему с разгневанным видом, глаза ее засверкали. А в глазах мистера Честера стояли слезы, но он тотчас смахнул их, словно стыдясь своей слабости, и посмотрел на мисс Хардейл с восхищением и состраданием.

— Никогда не думал, что ветреность, свойственная юности, способна так меня возмутить, как возмущает сейчас ветреный поступок сына. До нынешнего дня я не знал настоящей цены женскому сердцу, которое молодые люди так легко побеждают и так же легко разбивают. Клянусь, никогда я не встречал в жизни девушки, подобной вам. Конечно, отвращение к лжи и вероломству заставило бы меня искать этой встречи, хотя бы даже вы были самой ничтожной из женщин. Но если бы я мог вообразить, что вы *такая,* — у меня, пожалуй, не хватило бы духу встретиться с вами.

Ах, если бы миссис Варден могла увидеть сего добродетельного джентльмена в ту минуту, когда он произносил эти слова с негодованием, обрывающимся, дрожащим голосом. Если бы она могла видеть, как он стоит на солнце с непокрытой головой и с какой энергией расточает свое красноречие!

С гордо-замкнутым выражением лица, но бледная и дрожащая, Эмма молча наблюдала за ним. Она не гово-

рила ни слова, не шевелилась, — и только глядела на него так, словно хотела заглянуть в самую глубину его души.

— Я преодолел в себе те естественные чувства, которые замыкают уста некоторым людям, и мною руководит только долг и любовь к истине. Мисс Хардейл, вы обмануты. Да, вас обманывает ваш недостойный избранник и мой негодный сын.

Она все не говорила ни слова и так же пристально смотрела ему в лицо.

— Я с самого начала был против того, чтобы он добивался вашей любви. Будьте ко мне справедливы, дорогая мисс Хардейл, и не забывайте этого. Мы с вашим дядей когда-то были врагами, и, если бы я жаждал мести, то сейчас мог бы торжествовать. Но с годами мы становимся мудрее и, как мне хочется верить, добрее. Поэтому я противился намерениям Эдварда. Я предвидел, чем это кончится, и пытался, насколько мог, уберечь вас...

— Говорите прямо, сэр, — сказала, наконец, Эмма, запинаясь. — Вы меня обманываете или сами обманываетесь. Я вам не верю... Не могу, не должна верить.

— Прежде всего, — начал мистер Честер мягко, — позвольте вручить вам это письмо, потому что вы, быть может, таите в душе обиду на Эдварда, и я не хочу этим воспользоваться. Письмо попало ко мне случайно, по ошибке, а в нем, как мне сказали, объясняется, почему мой сын не ответил на одно из ваших писем. Боже упаси, — добавил он с чувством, — чтобы в вашей душе осталось чувство несправедливого гнева. Вам следует узнать — и вы увидите из письма, что в *этом* он не виновен.

Так искренне звучали его слова, столько безупречного благородства и прямоты было в поведении мистера Честера, что ему нельзя было не верить — и у Эммы сердце упало. Она отвернулась и заплакала.

— Дорогая моя, — наклонясь над ней, сказал мистер Честер с благоговейной нежностью, — я был бы рад, если бы вместо того, чтобы причинить вам еще больше горя, мог осушить эти слезы и успокоить вас. Мой сын... — я не буду обвинять его в умышленном обмане, потому что люди молодые, не раз уже влюблявшиеся и затем изменявшие, обыкновенно поступают так безрассудно,

почти не сознавая, какое зло они причиняют. Так вот мой грешный сын хочет нарушить данную вам клятву верности, — да он уже, собственно, ее нарушил. Можно мне ограничиться этим предупреждением, и пусть все идет своим чередом? Или вы хотите, чтобы я продолжал?

— Да, пожалуйста, продолжайте, сэр, — отвечала Эмма. — Скажите мне все, без утайки, вы должны это сделать ради него и ради меня.

— Дорогая, — мистер Честер еще ближе наклонился к ней и заговорил еще ласковее, — как я был бы рад назвать вас своей дочерью, но... видно, не судьба! Эдвард намерен порвать с вами под выдуманным, совершенно неосновательным предлогом. У меня есть тому доказательство: письмо, написанное его рукой. Простите мне то, что я следил за ним, — я его отец, мне дорог ваш покой и его честь, и другого выхода у меня не было. Письмо и сейчас лежит у него на письменном столе, готовое к отправке. В нем он пишет, что наша бедность — моя и его бедность, мисс Хардейл, — не позволяет ему добиваться вашей руки, и потому он решился не связывать вас больше вашим обещанием. Далее он великодушно обещает (как обычно в таких случаях делают все мужчины), что постарается в будущем стать более достойным вашей любви... и так далее. Словом, в письме этом он не только лжет вам — извините за откровенность, но я надеюсь на вашу гордость и чувство собственного достоинства. Отказываясь от вас ради особы, чье равнодушие в свое время уязвило его и толкнуло к вам, он еще разыгрывает из себя жертву собственного благородства и хочет, чтобы вы поставили ему в заслугу его отречение.

Эмма снова посмотрела на него с выражением оскорбленной гордости и, прерывисто дыша, сказала:

— Если все это правда, то напрасно он так старается. Я, конечно, очень ему благодарна за трогательную заботу о моем душевном спокойствии, но, право, он слишком добр, — пусть не стесняется и поступает как хочет.

— В том, что я сказал вам правду, вы убедитесь, когда получите его письмо... А, Хардейл, милый друг, очень рад вас видеть, хотя встреча наша довольно неожиданна и я оказался здесь по весьма печальному поводу. Надеюсь, вы здоровы?

При этих словах молодая девушка подняла глаза, полные слез, и увидела, что у скамьи действительно стоит ее дядя. Чувствуя, что это испытание ей больше не под силу и что она не может сейчас ни говорить, ни слушать, она вскочила и пошла к дому, оставив мужчин вдвоем. Они стояли, глядя то друг на друга, то на удалявшуюся Эмму, и долго ни один из них не произносил ни слова.

— Что это значит? Объясните, — сказал, наконец, мистер Хардейл. — Зачем вы здесь и что вам нужно от нее?

— Дорогой друг, — отозвался мистер Честер, устало садясь на скамью и с удивительной быстротой переходя на свой обычный тон, — вы не забыли, надеюсь, нашу недавнюю встречу в той чудесной старой гостинице, владельцем которой вы являетесь, — прекрасное заведение для людей с деревенскими привычками и железным здоровьем, которым не страшна никакая простуда? Вы мне тогда сказали, что во всех видах лжи и обмана я изобретателен и опытен, как настоящий дьявол. И я считал — да, я был уверен, что вы мне льстите. Но сейчас я начинаю удивляться вашей проницательности и, не хвастая, могу сказать: вы были правы. Приходилось вам когда-нибудь разыгрывать благородное негодование и величайшее чистосердечие? Если нет, то вы понятия не имеете, дорогой мой, как это утомительно!

Мистер Хардейл смерил его взглядом, полным холодного презрения.

— Знаю, вам хотелось бы уклониться от объяснения, — сказал он, скрестив руки. — Но мне оно необходимо. Я подожду.

— Да нет же, нет, друг мой, вам не придется ждать ни одной минуты, — возразил мистер Честер, небрежно закинув ногу на ногу. — Это проще простого, и объяснить все можно в двух словах. Мой сын написал ей письмо, мальчишеское, благородное и сентиментальное послание, и оно пока еще лежит у него на письменном столе, потому что у Неда не хватает духу отослать его. Я позволил себе ознакомиться с содержанием этого письма — думаю, что отцовская любовь и беспокойство за сына служат мне достаточным оправданием. И сейчас я пересказал письмо вашей племяннице — ах, Хардейл, какая

очаровательная девушка, настоящий ангел! — и, конечно, в соответствующем освещении, выгодном для нашей цели. Теперь дело сделано, и вы можете быть совершенно спокойны. Посредники и пособники устранены, самолюбие вашей племянницы уязвлено до крайности, ревность вспыхнула пожаром... Разоблачить обман некому, а вы подтвердите ей то, что я сказал. Таким образом, после ее ответа разрыв будет окончательным. Если она получит письмо Неда завтра днем, считайте, что вечером все между ними будет кончено. Можете не благодарить, я старался для себя. И если я выполнил наше соглашение со всем усердием, какого только вы могли пожелать, — я делал это из чисто эгоистических побуждений, уверяю вас.

— Будь оно проклято, это соглашение! — воскликнул Хардейл. — Будь проклят час, когда я решился на обман и связался с вами. Правда, я поступил так из добрых побуждений, и вряд ли вы поймете, чего это мне стоило, — но я ненавижу и презираю себя за это.

— Ну и горячий же вы человек! — заметил мистер Честер с ленивой усмешкой.

— Да, горячий. И меня бесит ваше хладнокровие. Черт возьми, если бы ваша кровь была горячее, а я не был связан... Ну да ладно, дело сделано, — так вы сказали, и в этом случае вам можно верить. Когда совесть будет укорять меня в предательстве, я вспомню вас, *ваш* брак, — и пусть это послужит мне оправданием перед самим собой в том, что я разлучил Эмму с вашим сыном. Ну, а теперь наш союз расторгнут, и мы можем не встречаться больше.

Мистер Честер грациозно послал ему воздушный поцелуй, и все с тем же спокойствием, которое не изменило ему даже тогда, когда его собеседник весь трясся от душевной муки и гнева, продолжал сидеть на скамье в удобной позе и смотрел вслед уходившему мистеру Хардейлу.

— Ты был моим козлом отпущения и рабом в школе, — сказал он, подняв голову и провожая его глазами. — А позднее — моим другом и тогда не сумел удержать свою возлюбленную, сам свел нас, и я отнял ее у тебя. Как в прошлом, так и сейчас я оказался победи-

телем. Можешь лаять на меня сколько хочешь, незадачливый и злой пес! Удача всегда на моей стороне, и твой лай меня только забавляет.

Встреча их произошла в тенистой аллее, и мистер Хардейл шел теперь по ней прямо, никуда не сворачивая. Отойдя уже довольно далеко, он случайно оглянулся и, увидев, что мистер Честер стоит у скамьи и смотрит ему вслед, остановился, словно поджидая его.

— Может, когда-нибудь это и будет, но не теперь, — промолвил тихо мистер Честер и, помахав ему рукой, как лучшему другу, зашагал в другую сторону. — Нет, Хардейл, пока нет! Жизнь мне еще мила, а тебе она в тягость. Скрестить шпаги с таким, как ты, потешить тебя, пока в этом нет крайней нужды, было бы малодушием.

Рассуждая так, он все же на ходу вытащил шпагу из ножен и раз двадцать рассеянно осмотрел ее от рукоятки до острия, но, вспомнив пословицу, что мысли множат морщины, вложил шпагу в ножны, разгладил нахмуренный лоб и замурлыкал игривую песенку еще веселее, чем прежде. Обычное спокойствие уже вернулось к нему.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Есть на свете несносная категория людей, о которых народная пословица говорит: «Протяни ему палец, так он всю руку оторвет». Не будем приводить тому примеры из истории и называть знаменитых героев, чей счастливый жизненный путь от колыбели до могилы был отмечен кровью, огнем и разрушением, и кто, будучи бичом человечества, существовал, кажется, лишь для того, чтобы доказать этому человечеству, что отсутствие страдания есть уже счастье, а значит, земля, избавленная от таких героев, как они, может считаться местом благословенным. Примеры эти всем известны, и вместо того, чтобы приводить их, достаточно будет указать на старого Джона Уиллета.

Старый Джон, урезав свободу Джо сперва на дюйм, а там и на добрый фут (когда дело дошло до домашнего

ареста), стал так деспотичен и так возгордился, что его жажда власти уже попросту не знала границ. Чем чаще Джо уступал ему, тем больше старый Джон тиранил его. Фут скоро отошел в область преданий, и старый Джон продолжал распространять свою власть уже на сажени, версты, мили, с величайшим наслаждением ограничивая Джо то в одном, то в другом, лишая его свободы слова и действий, и в своем маленьком царстве стал править так самодержавно, как ни один из величайших деспотов древних и новых времен, кому воздвигнуты памятники на главных улицах и площадях.

Великих людей обычно подстрекают к злоупотреблению властью (в тех довольно редких случаях, когда они нуждаются в таком подстрекательстве) всякие льстецы да угодники. Так и старого Джона воодушевляло одобрение и восхищение его старых приятелей. В промежутках между вечерней трубкой и кружкой пива они, покачивая головами, твердили, что мистер Уиллет понимает свои отцовские обязанности, как их понимали все отцы в доброй старой Англии, и очень хорошо, что он не признает всяких этих новомодных идей насчет воспитания; что Джон напоминает им их собственных отцов во времена их детства; что он действует совершенно правильно — побольше бы таких отцов на благо стране и очень жаль, что их немного! Высказывалось немало и других столь же оригинальных мыслей такого же сорта. При этом все трое снисходительно внушали Джо, что все делается для его же пользы и со временем он будет отцу благодарен. Мистер Кобб неизменно сообщал Джо, что, когда он был в его летах, родитель считал своей обязанностью походя награждать его отеческими пинками, подзатыльниками, оплеухами или наставлять его другими способами в таком же роде. В заключение Кобб всегда с многозначительным видом добавлял, что, не получи он столь правильного воспитания, он вряд ли стал бы таким человеком, каким является в настоящее время. (С этим можно было вполне согласиться, ибо Кобб бесспорно был самый тупоголовый из всей компании.)

Словом, Джон и его друзья до такой степени изводили, запугивали, раздражали и угнетали бедного Джо, так ему

докучали, что не было на свете парня несчастнее, и жизнь уже становилась ему невмоготу.

Постепенно такое обхождение с ним стало, так сказать, узаконенным и общепризнанным, и в день приезда мистера Честера Джон, желая похвастать перед этим джентльменом своим родительским авторитетом, превзошел самого себя: он так допек сына придирками, что, если бы Джо не дал себе слова держать руки в карманах, когда они не заняты, неизвестно, чем бы все это кончилось. Но и самый долгий день приходит к концу, и вот наступила минута, когда мистер Честер сошел вниз и сел на свою лошадь, которая стояла уже оседланной у крыльца.

Джона в эту минуту не было поблизости, и Джо, который сидел за стойкой, размышляя о своей горькой участи и многочисленных достоинствах Долли Варден, выбежал, чтобы подержать стремя гостю и подсадить его. Только что мистер Честер очутился в седле и Джо отвесил ему учтивый поклон, как откуда-то вынырнул старый Джон и ухватил сына за шиворот.

— Ты зачем здесь? — сказал он. — Как ты смел выйти без разрешения? Хочешь улизнуть, нарушить слово и опять стать предателем? Что все это значит, сэр?

— Пусти, отец, — взмолился Джо, заметив усмешку мистера Честера и явное удовольствие, с каким достойный джентльмен наблюдал всю сцену. — Это уж слишком. Кто хочет улизнуть?

— Кто? Да ты, ты! — крикнул Джон, встряхивая его. — Это ты вздумал втираться в чужие дома, — тут Джон, по-прежнему держа одной рукой сына за шиворот, другой помахал гостю вдобавок к глубокому прощальному поклону, — и ссорить благородных джентльменов с их сыновьями. Скажешь, нет? Лучше уж придержи язык, сэр.

Джо и не пытался возражать. Это была последняя капля, переполнившая чашу унижения! Он вырвался из рук отца, бросил сердитый взгляд на отъезжавшего гостя и вошел в дом.

«Если бы не она, — думал Джо, сидя в зале за столом и опустив голову на скрещенные руки, — если бы не Долли, я сегодня же вечером навсегда покинул бы этот

дом. Но если я сбегу, ей наплетут бог знает что, а я не хочу, чтобы она считала меня негодяем».

Вечерело, и в зале на своих обычных местах уже сидели Соломон Дэйзи, Том Кобб и долговязый Паркс. Через окно они видели все, что произошло. Вернувшийся со двора мистер Уиллет-старший с обычным хладнокровием выслушал комплименты всей компании и, закурив трубку, подсел к ним.

— Да, джентльмены, — начал он после длительной паузы. — Мы еще посмотрим, кто здесь хозяин. Посмотрим, кто кого обязан слушаться: мальчишки — взрослых, или взрослые — мальчишек.

— Совершенно верно, Джонни! — поддакнул Соломон Дэйзи, одобрительно кивая головой. — Что правда, то правда. Хорошо сказано, мистер Уиллет! Браво, сэр!

Джон медленно поднял глаза, долго в упор смотрел на Соломона и, наконец, к невыразимому смущению слушателей, изрек:

— Когда я буду нуждаться в вашем одобрении, я обращусь к вам. А до тех пор не суйтесь в мои дела. Уж как-нибудь без вас справлюсь. Пожалуйста, не приставайте ко мне, сэр.

— Не сердитесь, Джонни, я не хотел вас обидеть, — заверил его коротышка Дэйзи.

— Вот и хорошо, сэр, — отвечал Джон, окрыленный недавним успехом и потому ставший еще заносчивее. — Полагаю, что сам смогу за себя постоять, сэр, без вашей поддержки.

Произнеся эту тираду, мистер Уиллет уставился на котел и впал в транс, его обычное состояние за трубкой.

Настроение остальной компании, обескураженной поведением хозяина, несколько упало, и все долго хранили молчание. Наконец мистер Кобб, встав, чтобы выколотить золу из трубки, решился выразить вслух надежду, что впредь Джо будет во всем слушаться отца, ибо, как он сегодня мог убедиться, с таким человеком, как Джон Уиллет, шутки плохи.

— Так что, — добавил Кобб, — я бы ему советовал на будущее время, как говорится, держать ухо востро.

— А я бы вам советовал оставить меня в покое, — обрезал его Джо, подняв голову и густо покраснев.



— Молчать! — крикнул мистер Уиллет, вдруг встрепенувшись и оборачиваясь к нему.

— Не замолчу, отец! — Джо так стукнул кулаком по столу, что зазвенели бутылки и стаканы. — Достаточно мне тяжело терпеть это от тебя, а уж от других я больше терпеть не намерен. Так что, мистер Кобб, не приставайте ко мне.

— А кто вы такой, Джо, что с вами уж и разговаривать нельзя? — насмешливо осведомился мистер Кобб.

Джо ничего не ответил, только с зловещим видом мотнул головой и снова опустил ее на руки. Так он и просидел бы смирно до закрытия буфета, но мистер Кобб, ободренный изумлением всей компании, не ожидавшей от Джо такой дерзости, стал донимать его колкими насмешками, которые ни один человек не мог бы стерпеть. Накапливавшиеся годами гнев и возмущение вдруг прорвались: Джо вскочил, опрокинув при этом стол, кинулся с кулаками на своего мучителя и принялся тузить его что есть силы. Затем он с удивительной быстротой загнал его в угол. Наткнувшись на груду сваленных там плевательниц, Кобб со страшным грохотом растянулся во весь рост, головой вперед, и, оглушенный, остался лежать неподвижно среди произведенного им разгрома. А победитель, не рассчитывая на одобрение зрителей отступил с поля боя в свою комнату и, считая себя в осадном положении, построил перед дверью баррикаду из всей мебели, какую только мог сдвинуть с места.

— Ну, вот и все, — сказал он, садясь на кровать и утирая потное лицо. — Я знал, что когда-нибудь этим кончится. Пора мне расстаться с «Майским Древом». Теперь я — бездомный бродяга... А *она* меня презирает... Все пропало!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В раздумье о своей печальной судьбе Джо долго сидел, насторожившись, каждую минуту ожидая услышать шаги на скрипучих ступенях и приказ своего почтенного родителя сдаться немедленно на безоговорочную

капитуляцию. Однако на лестнице не слышно было ни шагов, ни голоса. Через длинные коридоры по временам доносились снизу какие-то глухие отголоски — хлопанье дверей, беготня, — свидетельствуя о царившей там необычной суматохе, но в убежище Джо тишина, по контрасту с этим шумом, казалась еще глубже, было уныло и мрачно, как в келье отшельника.

Становилось темно, старая мебель в комнате (сюда, как в больницу, отправляли все пришедшее в негодность) принимала неясные и таинственные очертания. Стулья и столы, днем имевшие вид обыкновенных честных калек, теперь казались какими-то странными и загадочными предметами, а словно изъеденная проказой ширма из вылинявшей индийской кожи с золоченой рамой, защищавшая некогда хозяев от холодного ветра и скрывавшая не одно хорошенькое личико, теперь торчала в отведенном ей углу, как скелет, хмуро уставясь на Джо словно в ожидании допроса. Напротив окна висел портрет, из его овальной рамы пялил серые глаза старый генерал в старинном мундире. По мере того как в комнате меркдневной свет, генерала все больше одолевала дремота, и, наконец, когда угас последний слабый луч, он закрыл глаза и крепко уснул. Вокруг стало так тихо, что скоро и Джо уснул, как генерал на портрете. Он спал и видел во сне Долли, пока часы на чигуэлской церкви не пробили два раза.

В комнату по-прежнему никто не заглядывал. В доме затихло все, и снаружи тоже все было безмолвно, только изредка лаял какой-нибудь неугомонный пес да шумели ветви, когда ночной ветер качал их. Джо некоторое время печально смотрел в окно на хорошо знакомые предметы, дремавшие в бледном лунном свете, потом вернулся на место и снова стал вспоминать недавний скандал. Он думал о нем так долго, что ему уже стало казаться, будто случилось это с месяц назад.

Так прошла ночь. Джо то дремал, то размышлял, то подходил к окну и выглядывал во двор. Но вот угрюмая старая ширма и ее сверстники, столы и стулья, стали понемногу выступать из мрака и принимали свой обычный вид, а сероглазый генерал как будто мигал и зевал, просыпаясь, и, наконец, совсем проснулся, но, видно, ему

было не по себе — в сером утреннем полусвете он казался таким изможденным и озябшим.

Из-за леса уже выглянуло солнце и ярким золотом лучей пронизывало клубящийся туман, когда Джо, выбросив из окна на землю узелок и свою верную палку, приготовился и сам спуститься вниз.

Это не требовало особенной ловкости: на стене было так много выступов и украшений, что по ним можно было сойти, как по ступеням, а затем оставалось только спрыгнуть с высоты в несколько футов. Через минуту Джо с палкой и узелком на плече уже стоял на твердой земле и смотрел на старый дом — быть может, в последний раз.

Он не обратился к «Майскому Древу» с речью, ибо он был простой необразованный парень. Он не проклял его, потому что был незлобив. В эту минуту он чувствовал к старому дому больше нежности, чем когда-либо в жизни, и, от всей души сказав ему на прощанье: «Храни тебя бог!», пошел прочь.

Он шел бодрым, быстрым шагом, всецело занятый мыслями о будущем; он уже видел себя солдатом, воображал, как умирает на чужбине, в стране, где очень жарко и везде пески, и, умирая, завещает добытые им несметные богатства Долли, которая будет потрясена, когда узнает это. Поглощенный своими юношескими мечтами, то радужными, то печальными, но всегда вертевшимися вокруг Долли, он быстро шел вперед, — и вот, наконец, ушей его коснулся шум Лондона и впереди замаячил «Черный Лев».

Было только восемь часов утра, и в «Черном Льве» всех очень удивило появление Джо в такой ранний час и притом в запыленных башмаках, пешком, а не на своей неизменной серой кобыле. Но, так как он попросил как можно скорее приготовить ему завтрак и, когда завтрак подали, проявил бесспорно замечательный аппетит, то «Лев» принял его так же радушно, как всегда, с тем почетом, на который он, как постоянный посетитель и собрат по профессии, имел полное право.

Этот «Лев», хозяин трактира (которого называли то его человеческим, то звериным именем с тех пор, как он велел живописцу придать чертам изображенного на

вывеске царя зверей как можно больше сходства с его собственной физиономией), был человек почти такого же быстрого и тонкого ума, как сам великий Джон Уиллет, с той лишь разницей, что мистеру Уиллету исключительная находчивость и быстрая смекалка даны были природой, тогда как Лев этими качествами обязан был в значительной степени пиву — он поглощал его в таких огромных количествах, что потопил в нем все свои способности, за исключением одной — способности спать без просыпу, в которой он достиг поразительного совершенства.

Таким образом, скрипучий Лев над дверью трактира был, по правде говоря, лев ручной, заспанный и слабосильный. А так как изображения представителей этой дикой породы обычно носят условный характер (изображают их чаще всего в каких-то неестественных позах и красках), то наиболее невежественные соседи принимали Черного Льва на вывеске за портрет хозяина в костюме, который он надевал по случаю каких-нибудь пышных похорон или национального траура.

— Кто это так шумит у вас в соседней комнате? — спросил Джо после того, как покончил с едой, умылся и почистил свое платье.

— Это сержант-вербовщик, — ответил Лев.

Джо невольно вздрогнул. Вот оно, то, о чем он думал всю дорогу!

— Я предпочел бы, чтобы он был где угодно, только не здесь, — добавил Лев. — Эти люди здорово орут, а заказывать почти ничего не заказывают. Как говорится, шуму много, а толку мало, мистер Уиллет. Знаю, ваш папаша их тоже не жалует.

Если старый Джон при всех обстоятельствах не очень-то жаловал вербовщиков, то, знай он, что происходит в эту минуту в душе Джо, он еще больше невзлюбил бы их.

— А этот сержант вербует в какой-нибудь хороший полк? — спросил Джо, глянув в круглое зеркальце, висевшее близ стойки.

— Вероятно, — был ответ. — Но не все ли равно, в какой полк он вербует? Когда начинается стрельба со всех сторон, пуля не очень-то разбирает, в кого угодить.

— Ну, не всех же убивают в бою, — заметил Джо.

— Не всех, — согласился Лев. — И кого убьет — если только сразу, без мучений, те, по-моему, дешевле всего отделаются.

— Вот как! — сказал Джо. — Значит, слава, по-вашему, — пустяк?

— Что пустяк? — переспросил Лев.

— Слава.

— Да, мистер Уиллет, вы угадали: по-моему, она ничего не стоит. Приди она сюда и потребуй чего-нибудь выпить, я бы с нее за выпивку ничего не взял, даже если бы она хотела разменять гинею и заплатить. Помоему, сэр, добывать славу — не очень прибыльное занятие.

Выслушав это далеко не утешительное мнение, Джо вышел из буфета и, остановившись у дверей в соседнюю комнату, прислушался. Сержант расписывал своим собеседникам прелести военной службы: по его словам выходило, будто солдаты только и делают, что выпивают да в промежутках между попойками едят и волочатся за девушками, а война — самое расчудесное дело для тех, кто побеждает, англичане же всегда побеждают.

— Но ведь на войне могут и убить, сэр, — робко подал голос кто-то из угла.

— А если даже и убьют, так что? — возразил сержант. — Родина любит своих павших сынов, сэр. И его величество король Георг Третий тоже любит их. Память о вас будут хранить и чтить. Все будут вам благодарны. Ваше имя полностью впишут в книги военного министерства. Черт возьми, все равно двум смертям не бывать, а одной не миновать. Не так ли, джентльмены?

Задавший вопрос кашлянул и больше не вступал в разговор.

Джо вошел в комнату. С полдюжины парней собрались здесь и жадно слушали сержанта. Один возчик в холщовой блузе, видимо, был уже склонен записаться, но еще колебался. Остальные, как водится, горячо уговаривали его решиться поскорее, хотя сами вовсе не собирались на военную службу. Они хором поддерживали доводы сержанта, а втихомолку подсмеивались над возчиком.

— Ничего больше я не скажу, ребята, — объявил сержант, сидевший со своей кружкой немного поодаль. —

Храбрый человек, — тут он покосился на Джо, — и сам не захочет упустить такой случай. Не стану вас уговаривать — слава богу, вербовщикам короля в этом нет надобности. Молодая горячая кровь — вот что нам нужно, а не вода с молоком. Из шести охотников мы бракуем пять, берем только отборных молодцов. Я не собираюсь рассказывать вам сказки. Черт побери, если подсчитать, сколько в нашем корпусе служит знатных джентльменов, которые оказались в беде, немного не поладив с родителями...

Сержант опять посмотрел на Джо, да так доброжелательно, что Джо сделал ему знак выйти с ним за дверь. Сержант сразу же вышел.

— Вы джентльмен, ей-богу, — были первые его слова, и он хлопнул Джо по спине. — Переодетый джентльмен, как и я. Дадим друг другу клятву быть друзьями.

Клятвы Джо не дал, но пожал сержанту руку и поблагодарил за лестное мнение.

— Вы хотите служить королю, — сказал его новый друг. — И будете! Вы прямо-таки рождены для военной службы. Вы наш, вы солдат с головы до ног. Что вы будете пить?

— Пока ничего, — с легкой улыбкой ответил Джо. — Я еще не окончательно решил...

— Такой смельчак — и не может сразу решиться! — воскликнул сержант. — Ну, ну, позвольте мне позвонить в колокольчик. Я уверен, если сейчас позвоню хозяину, через полминуты дело будет кончено!

— В этом вы правы: если позовете здешнего хозяина, который меня хорошо знает, — не быть мне солдатом! Посмотрите на меня внимательно. Присмотрелись?

— Чего тут присматриваться! — отозвался сержант, чертыхнувшись предварительно. — Я и так вижу, что вы самый бравый парень из всех, каких я встречал, вполне подходящий для службы королю и отечеству.

— Спасибо, — сказал Джо. — Я не для того задал вопрос, чтобы напроситься на похвалы, но благодарю вас за них. Похож я на подлого труса или обманщика?

Сержант самым категорическим образом и в самых отборных выражениях опроверг это и заявил, что, если бы его родной отец посмел сказать про Джо такую ересь,

он тут же проткнул бы старика шпагой и гордился бы своим поступком.

Снова поблагодарив сержанта, Джо продолжал:

— Следовательно, вы можете на меня положиться и верить тому, что я скажу. Скорее всего я сегодня же вечером запишусь к вам в полк. Но до вечера я не хочу ничего окончательно решать. Где я могу вас найти?

Новый друг Джо, после настойчивых, но тщетных уговоров сейчас же решить вопрос, с некоторым неудовольствием сказал, что он остановился в «Кривой Палке» на Тауэр-стрит *, и там с ним можно встретиться сегодня до полуночи или завтра утром.

— А если я приду — миллион шансов против одного, что так и будет, — когда вы увезете меня из Лондона? — спросил Джо.

— Завтра утром, в половине девятого, — отвечал сержант. — Поедете за границу, в страну, где можно набрать уйму добычи, где все залито солнцем и лучший в мире климат.

— Уехать из Англии — это как раз то, чего мне хочется, — сказал Джо, пожимая ему руку. — Так что ждите меня.

— Вот таких нам и нужно! — Сержант в порыве восторга никак не хотел выпустить руку Джо. — Такой человек, как вы, быстро пробьет себе дорогу. Скажу вам не из зависти, не потому, что хочу умалить ваши будущие заслуги: если бы мне ваше образование и воспитание, я бы уже теперь был полковником.

— Полноте, — остановил его Джо. — Не так уж я глуп, чтобы на это рассчитывать. Чего не сделаешь, когда беда прижмет! А моя беда — пустой карман да домашние неприятности. Ну, пока до свиданья!

— За короля и Англию! — воскликнул сержант, взмахнув шапкой.

— За хлеб и мясо! — сказал Джо, щелкнув пальцами. И они разошлись в разные стороны.

Денег у Джо было очень мало, так мало, что, когда он уплатил за свой завтрак (он мог бы поесть на отцовский счет, но не позволяла честность да и гордость тоже), в кармане у него остался всего один пенни. И все же у него хватило мужества отказаться от назойливо предла-

гаемых услуг любезного сержанта, который подстерег его у дверей и с бесконечными уверениями в вечной дружбе умолял принять от него хотя бы один шиллинг в качестве временной ссуды. Отказавшись и от наличных денег и от кредита, Джо ушел, как пришел — с палкой и узелком за спиной, намереваясь как-нибудь скоротать последний день, а вечерком пойти к Варденам: ему было бы слишком тяжело уехать из Англии, не простившись с милой Долли.

Он вышел из города через Излингтон *, прошел до Хайгета, по дороге много раз садился отдыхать на придорожных камнях или у чьих-либо ворот, но церковные колокола не звонили, приказывая ему вернуться. Прошли времена благородного Виттингтона, гордости английского купечества, и в наши дни церковные колокола принимают уже меньше бескорыстного участия в судьбе человека *. Звонят они только за деньги и в дни официальных торжеств. Из Англии уезжает теперь гораздо больше людей, корабли отплывают из портов Темзы в дальние страны, от кормы до носа набитые этим человеческим грузом, — а колокола молчат. Они ни о чем не молят, ни о чем не сожалеют — они привыкли ко всему и стали из церковных мирскими.

Джо на последний пенни купил себе булочку, и кошелек его уподобился (однако с некоторой разницей) знаменитому кошельку Фортуната *, в котором, сколько бы ни тратил его счастливый владелец, всегда оказывалось то же количество золота. В наш прозаический век, когда все феи умерли и не воскресают, кошельки очень многих имеют то же волшебное свойство — их содержимое неизменно выражается цифрой нуль и, сколько ни помножайте этот нуль на самого себя, сосчитать результат — самая легкая задача на свете.

Наконец смерклось, и Джо, чувствуя себя заброшенным и одиноким, как всякий бесприютный человек, который остался один на свете, направился к дому слесаря. Он приурочил свой визит к тому часу, когда, как он знал, миссис Варден одна или с Миггс отправляется иногда в церковь слушать проповедь, и горячо надеялся, что именно сегодня — один из тех вечеров, которые она посвящает нравственному совершенствованию.

Он прошелся два-три раза по противоположной стороне улицы, и, когда подошел к дому, у двери мелькнула развевающаяся юбка. Это была, конечно, юбка Долли, а то чья же? Ни одно женское платье в мире не падало такими красивыми складками. Джо собрался с духом и последовал за нею в мастерскую под Золотым Ключом.

Когда он остановился на пороге и заслонил свет, Долли оглянулась. Ох, это лицо! «Если бы не она, я никогда не набросился бы на беднягу Кобба, — подумал Джо. — А она стала еще в двадцать раз красивее! Она достойна быть женой лорда!»

Он не произнес этого вслух, а только подумал — но, пожалуй, это можно было прочесть по его глазам. Долли сказала, что рада его видеть и как жаль, что родителей нет дома. Джо горячо заверил ее, что это не имеет значения.

Долли не решалась вести его в гостиную, где было уже почти темно. С другой стороны, неудобно было стоять и разговаривать в освещенной мастерской на виду у всей улицы. К тому же оба, незаметно для себя, очутились около наковальни, и Джо все еще держал руку Долли (на что он не имел никакого права, ибо Долли протянула ее ему только затем, чтобы поздороваться), похоже было, будто они — жених и невеста перед алтарем. И это ужасно смущало Долли.

— Я пришел проститься, — начал Джо. — Проститься бог знает на сколько лет. Может быть, навсегда... Я уезжаю в чужие края.

Вот этого-то ему не следовало говорить! Пришел и рассуждает, как знатный господин, который волен уезжать и приезжать, когда ему вздумается, колесить по всему свету для своего удовольствия! А вот каретник — тот, как влюбленный рыцарь, только вчера клялся, что мисс Варден приковала его к себе несокрушимыми цепями, и категорически утверждал, не жалея слов, что она обрекла его на медленную смерть и не далее, как через две недели, он надеется достойно встретить свой конец, оставив мастерскую матери.

Долли высвободила руку, сказала: «Вот как!» — и тут же прибавила, что вечер сегодня прекрасный. Словом,

она проявила не больше волнения, чем наковальня, у которой они стояли.

— Я не мог уехать, не повидав вас, — сказал Джо. — Мне это было бы очень тяжело.

Долли выразила величайшее сожаление, что он из-за нее проделал такой дальний путь — ведь у него перед отъездом, наверное, масса дела! А как поживает милый старичок, мистер Уиллет?

— И это все, что вы мне скажете на прощанье? — воскликнул Джо.

Господи боже, а чего же еще он ожидал? Долли была вынуждена поднять свой фартучек к глазам и внимательно рассматривать рубчик от одного края до другого, для того чтобы не рассмеяться Джо в лицо. Да, именно для этого, а вовсе не потому, что ее смущал взгляд Джо — конечно, не потому!

В сердечных делах Джо был неопытен и понятия не имел, что молодые девицы ведут себя в разное время по-разному. Он ожидал увидеть Долли такой же, какой она была во время их чудного ночного путешествия, и перемена в ее обращении была для него такой же неожиданностью, как если бы солнце и луна поменялись местами. Весь день его поддерживала смутная надежда, что Долли скажет: «Не уезжайте!», или: «Не покидайте нас», или: «Ну, зачем вы уезжаете?», а может, и как-нибудь иначе поощрит его. Он даже готов был вообразить, что Долли бросится к нему в объятия или сразу упадет в обморок, не вымолвив ни единого слова. Но ничего похожего на ее нынешнее поведение он себе не представлял и теперь смотрел на нее в немом удивлении.

Долли между тем занялась уже уголками своего фартука, измерила его в ширину и длину, потом разгладила на нем каждую складочку и все время молчала так же, как Джо. Наконец после длительной паузы Джо стал прощаться.

— До свиданья, — сказала ему Долли с милой улыбкой, таким тоном, словно Джо уходил не дальше соседней улицы и должен был вернуться к ужину. — До свиданья!

— Ну, Долли, — Джо протянул к ней обе руки. — Дорогая Долли, неужели мы так расстанемся? Я вас люблю, люблю всем сердцем, искренне и горячо, как только

может мужчина любить женщину. Вы знаете, я бедняк и сейчас еще беднее, чем прежде, потому что я убежал из дому, где мне уже стало невтерпеж, и должен сам, без чужой помощи, пробивать себе дорогу. А вы — красавица, все вас любят и восхищаются вами, вы счастливы и не знаете забот о завтрашнем дне. И дай бог, чтобы так было всегда! Я не простил бы себе, если бы сделал вас несчастной. Но скажите же мне в утешение хоть одно ласковое словечко! Разумеется, я не имею никакого права требовать этого от вас, а только прошу, потому что люблю вас, и самое коротенькое ваше слово буду всю жизнь хранить как сокровище. Долли, родная, неужто вам так-таки нечего мне сказать?

Никакого ответа. Долли была кокетка и балованный ребенок. Она вовсе не желала, чтобы ее вот так взяли штурмом. Каретник на месте Джо заливался бы слезами, упал бы на колени и, проклиная себя, ломал бы руки, или бил себя в грудь и рвал на себе шейный платок, — словом, делал бы все, как полагается в романах. А Джо... он смеет уезжать за границу так спокойно, как ни в чем не бывало! Если бы он, как влюбленный каретник, был скован несокрушимыми цепями, он не стал бы этого делать!

— Да я уже два раза сказала вам «прощайте». Чего же вам еще? Сейчас же уберите вашу руку, мистер Джозеф, не то я позову Миггс.

— Не буду вас упрекать, — промолвил Джо. — Наверное, я сам во всем виноват. Мне казалось иногда, что вы меня не презираете, но глупо было с моей стороны думать так. Каждый, кто знает, как я жил до сих пор, не может не презирать меня, а вы в особенности. Прощайте, дай вам бог счастья!

Он ушел, ушел совсем! Долли подождала немного, думая, что он вернется, осторожно выглянула за дверь, окинула взглядом улицу с одного ее конца до другого, насколько позволяла темнота, потом вошла в дом, подождала еще и пошла наверх, мурлыча песенку. Очутившись у себя в комнате, она заперлась и, упав на постель, долго плакала, так горько, словно у нее разрывалось сердце. Однако такие натуры сотканы из противоречий — и если бы Джо Уиллет вернулся в тот же вечер, или на

другой день, через неделю или через месяц, — держу пари на сто против одного, что она встретила бы его не лучше, чем проводила, а потом рыдала бы так же отчаянно.

Как только Долли вышла из мастерской, из-за трубы горна опасливо высунулась голова. Голова эта и раньше незаметно высовывалась раза два из своего укрытия, теперь же ее обладатель, убедившись, что он один, высунул ногу, затем плечо, и так, постепенно, вся фигура мистера Тэппертита оказалась на виду, увенчанная небрежно заломленным набекрень колпаком из оберточной бумаги. Подбоченясь, мистер Тэппертит произнес вслух:

— Что это, я ослышался? Или спал и видел все во сне? Благодарить мне тебя, судьба, или проклинать?

Он торжественно сошел с возвышения, поставил осколок зеркала на скамейку, прислонив его к стене, и, вертя головой, стал внимательно разглядывать свои икры и ляжки.

— Если и это — только сон, так пусть бы ваятелям снились такие сны, чтобы они после пробуждения могли высечь подобные ноги из мрамора, — сказал Сим. — Но нет, это не сон, а действительность, такие ноги никому и присниться не могли. Трепещи, Уиллет, трепещи и оставь надежду. Она моя! Она моя!

После этих торжествующих выкриков он схватил молоток и нанес им сильный удар по наковальне, словно вообразив, что это была голова (или, как он мысленно выражался, «башка») Джо Уиллета. Затем разразился хохотом, таким громким, что он заставил вздрогнуть даже Миггс в кухне, на другом конце дома, и, окунув голову в таз с водой, прибегнул к помощи полотенца, висевшего за дверью чулана. Оно послужило двум целям — для вытирания лица и успокоения взволнованных чувств мистера Тэппертита.

Тем временем Джо, безутешный, но не утративший мужества, выйдя из дома Вардена, поспешил в «Кривую Палку» и здесь осведомился о своем новом приятеле, сержанте. Тот никак не ждал его и принял с распростертыми объятиями. Через каких-нибудь пять минут после появления Джо в этом увеселительном заведении он был зачислен в ряды доблестных защитников отечества, а через полчаса уже пировал, поглощая дымящийся ужин — варе-

ные рубцы с луком, приготовленные, как неоднократно уверял сержант, по специальному заказу его королевского величества. Джо в полной мере оказал честь этому блюду, которое после продолжительного поста показалось ему особенно вкусным. После трапезы, сопровождавшейся множеством патриотических и верноподданнических тостов, его отвели на соломенный тюфяк на чердаке над конюшней и заперли там.

На другое утро Джо увидел, что благодаря трогательным заботам сержанта его шляпа украшена разноцветными лентами, придававшими ей очень веселый вид. В сопровождении этого начальника и трех новобранцев, которые все еще были сильно под хмельком, он отправился на берег. Здесь к ним присоединился капрал и еще четыре будущих героя; двое были пьяны и бодрились, двое — трезвы и уже раскаивались в своем решении. И у всех, как у Джо, не было с собой ничего, кроме запыленной палки и узелка. Всю компанию погрузили на судно, направлявшееся в Грейвзенд, оттуда им предстояло идти пешком до Четема. Ветер был попутный, и Лондон скоро остался позади, как огромное черное марево.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Старая пословица говорит: «Беда никогда не приходит одна». И в самом деле, неприятности цепляются друг за друга, носятся всегда стаями и садятся, где им вздумается. Они своенравно обрушиваются тучей на голову какого-нибудь бедняги, не оставляя на его макушке ни одного незанятого дюйма, а на других людей, чьи головы представляют не менее удобное место для привала, не обращают ровно никакого внимания.

Возможно, что стая бед, летавшая по Лондону в поисках Джозефа Уиллета, не найдя его, наугад ринулась вниз и налетела на первого молодого человека, который привлек ее внимание. Так это или нет, одно достоверно — в день отъезда Джо целая туча их свалилась на голову Эдварду Честеру, жужжала ему в уши, хлопала крыльями



и атаковала так энергично, что он чувствовал себя глубоко несчастным.

Было уже восемь часов вечера, когда Эдвард с отцом впервые за этот день оказались одни, после того как им подали вино и десерт. Они обедали сегодня вместе, но за обедом присутствовал третий, и только сейчас они остались с глазу на глаз. Между тем они не виделись со вчерашнего вечера.

Эдвард был сдержан и молчалив, отец его — весел, даже веселее обычного. Не желая, видимо, вступать в разговор с человеком, настроенным совсем не так, как он, мистер Честер выражал свое приятное расположение духа только улыбками и сияющими взглядами, не делая никаких попыток привлечь внимание Эдварда. Так они сидели некоторое время, отец — с обычной небрежной грацией развалясь на диване, сын против него за столом, опустив глаза, — видно было, что он занят какими-то тревожными и мучительными размышлениями.

— Дорогой мой, — начал, наконец, мистер Честер с подкупающей улыбкой. — Ты сегодня какой-то сонный и совсем забыл о графине. Передай мне его, пожалуйста. Никогда не следует до такой степени поддаваться хандре.

Эдвард извинился, передал ему графин и снова впал в прежнее состояние.

— Напрасно ты и себе не нальешь, — сказал мистер Честер, поднимая стакан и разглядывая его на свет. — Вино в умеренном количестве полезно — конечно, только в умеренном, ибо люди в пьяном виде отвратительны. Оно придает глазам блеск, голосу звучность, мыслям и речам живость, — словом, оказывает нам тысячу благодеяний. Ты бы попробовал, Нед.

— Ах, батюшка! — вырвалось у Эдварда. — Если бы вы...

— Дорогой мой, — поспешно перебил его мистер Честер и поставил стакан на стол, с испуганным и возмущенным видом подняв брови, — ради всего святого, не зови меня так — ведь это какое-то старомодное, прямо-таки допотопное слово! Будь же немного деликатнее! Разве я сед, или весь в морщинах, или хожу на костылях, или у меня выпали все зубы, что ты вздумал *так* меня называть? Господи, как это грубо!

— Я хотел говорить с вами от всего сердца, сэр, с доверием, естественным между нами, а вы сразу же одергиваете меня, — сказал Эдвард.

— Ох, Нед, прошу тебя, не употребляй таких убийственных выражений! — Мистер Честер сделал холеной рукой умоляющий жест. — «Говорить от всего сердца!» Пора бы тебе знать, что сердце — это весьма разумно устроенная часть нашего организма, центр кровеносной системы и так далее, но ко всему тому, что ты думаешь и говоришь, имеет такое же отношение, как твои колени. К чему же такие бессмысленные и банальные выражения? Предоставь употреблять этот анатомический термин господам медикам, которые в хорошем обществе просто нетерпимы. Право, ты меня очень удивляешь, Нед!

— Да, да, по-вашему, в человеческой груди нет ничего такого, что можно было бы ранить или исцелить и к чему следовало бы относиться бережно. Я знаю ваши взгляды, сэр, и ничего больше не скажу, — отозвался Эдвард.

— А вот и ошибаешься, — возразил мистер Честер, потягивая вино. — Я определенно утверждаю, что сердце существует. Все мы знаем, что это такое. Сердца животных — бычьи, овечьи и так далее — в вареном виде употребляются в пищу. Говорят, это любимое блюдо простонародья. Случается, что человека убивают ударом ножа в сердце или пулей в сердце. Но такие выражения, как «от всего сердца», «тронуть сердце», иметь «холодное» или «горячее» сердце, быть «бессердечным», «разбить сердце» — все это чепуха, мой мальчик!

— Да, конечно, сэр, — отозвался Эдвард, заметив, что отец молчит в ожидании его ответа. — Разумеется.

— Взять хотя бы племянницу Хардейла, твою пламенную страсть, — продолжал мистер Честер небрежным тоном человека, который приводит первый пришедший в голову пример. — Ты, конечно, горячо верил, что это девушка с «большим сердцем». Сейчас она оказывается уже девушкой «без сердца». А между тем она все та же, Нед, все та же.

— Нет, сэр, она переменилась, — воскликнул Эдвард, вспыхнув. — И я уверен — под чьим-то дурным влиянием.

— Ты получил холодный отказ, не так ли? — сказал его отец. — Бедный мой мальчик! Я же тебе еще накануне это предсказывал... Передай мне, пожалуйста, шипчики.

— На нее повлияли, коварно обманули ее! — крикнул Эдвард, вскочив с места. — Ни за что не поверю, что она сама захотела отказать мне, когда узнала из моего письма, что я беден. Я знаю — ее мучили, ее вынудили к этому. Пусть нашей любви конец, и все между нами порвано, пусть она оказалась недостаточно стойкой, изменила и мне и себе, — я не верю и никогда не поверю, что ею руководил какой-то низкий расчет, что она отказала мне добровольно. Этого не может быть!

— Честное слово, я краснею за тебя, — шутливо промолвил мистер Честер. — Хотя мы часто не знаем самих себя, я горячо надеюсь, что эту безрассудную пылкость ты унаследовал не от меня. Ну, а что касается мисс Хардейл, дорогой мой, так она поступила вполне разумно и естественно. Сделала именно то, что ты ей предлагал, — это я слышал от Хардейла. Я так тебе и предсказывал — впрочем, для этого не требовалось особой проницательности. Она думала, что ты богат или хотя бы состоятелен, а оказалось, что ты бедняк. Брак — это сделка. Люди вступают в брак, чтобы улучшить свое положение в обществе, поднять свой престиж. Брак — это вопросы о доме, мебели, ливреях, слугах, экипаже и прочих вещах. Раз и она и ты бедны — вопрос ясен. Ты не способен посмотреть на это с деловой точки зрения, а она проявила редкий здравый смысл. Чту ее за это и пью за ее здоровье! Пусть это послужит тебе уроком. Налей же и себе стаканчик, Нед.

— Нет, никогда я не воспользуюсь этим уроком, — возразил Эдвард. — И если правда, что испытания и годы накладывают свою печать на...

— Не говори «на сердце»! — вставил мистер Честер.

— ...на людей, развращенных лицемерием света, — с жаром продолжал Эдвард, — то избави меня бог от такой мудрости.

— Ну, довольно, оставим это, — мистер Честер приподнялся с дивана и в упор посмотрел на сына. — Не забывай, пожалуйста, своих интересов, своего нравствен-

ного долга — сыновней любви, сыновних обязанностей и всего прочего, о чем помнить так приятно и благородно, иначе ты в этом раскаешься.

— Я никогда не буду раскаиваться в том, что сохранил человеческое достоинство, сэр, — сказал Эдвард. — Простите, но я никогда им не поступлюсь ради вас и не пойду по тому пути, который вы для меня выбрали и на который рассчитывали толкнуть меня, тайно способствуя моему разрыву с мисс Хардейл.

Мистер Честер еще больше выпрямился и внимательнее всмотрелся в лицо Эдварда, словно проверяя, вполне ли серьезно он это говорит. Затем опять развалился на диване и, не переставая щелкать орехи, сказал очень спокойно:

— Эдвард, у моего отца был еще сын, такой же сумасброд, как ты, непокорный сын с вульгарными наклонностями. И однажды утром за завтраком отец проклял его и лишил наследства. Мне почему-то сегодня удивительно живо вспоминается эта сцена. Помню, я как раз в тот момент ел пирожок с вареньем... Этому сыну потом жилось очень трудно, и умер он молодым, — к счастью для всех, так как он позорил нашу семью. Очень прискорбно, Эдвард, когда отцу приходится прибегать к таким крутым мерам.

— Да, это печально, — отозвался Эдвард, — и не менее печально, когда сына, который любит отца и выполняет свой долг в самом высоком и подлинном смысле этого слова, отец на каждом шагу отталкивает от себя и вынуждает к неповиновению. Дорогой отец, — добавил он уже мягче и все с той же глубокой серьезностью, — я часто думаю о том, что произошло между нами, когда мы в первый раз обсуждали этот вопрос. Объяснимся откровенно, по-настоящему откровенно. Выслушайте меня.

— Я предвижу, что̀ это будет за объяснение, и потому отказываюсь от него, Эдвард, — сухо остановил его мистер Честер. — Я заранее уверен, что этот разговор меня расстроит, а я терпеть не могу всяких огорчений. Если ты намерен противиться моим планам, не хочешь упрочить свое положение и сохранить тот блеск и почет, которые так долго сохранял наш род, словом, если ты ре-

шаешься идти своим путем, иди и унеси с собой мое проклятие. Мне очень жаль, но другого исхода я не вижу.

— Что ж, проклинайте меня, — сказал Эдвард. — Проклятие — это пустой звук, не более. Я не верю, что человек может проклятиями навлечь несчастье на другого, а в особенности на собственных детей, — это так же не в его силах, как заставить хоть одну каплю дождя или снежинку упасть из туч на землю. Подумайте, сэр, о том, что вы делаете.

— Ты такой безбожник и нечестивец, такой возмутительно неблагодарный сын, — отпарировал его отец, лениво повернувшись к нему и продолжая щелкать орехи, — что я больше не могу тебя слушать. При таких условиях нам совершенно немыслимо жить вместе. Будь любезен, позвони слуге, пусть проводит тебя. И прошу тебя больше в мой дом не возвращаться. Убирайтесь, сэр, если у вас не осталось ни капли совести, ступайте к черту, искренне желаю вам попасть к нему в лапы. Прощайте.

Ни слова не говоря, ни разу не оглянувшись, Эдвард вышел и навсегда покинул отцовский дом.

Мистер Честер был несколько красен и возбужден, но держал себя как обычно. Когда на вторичный звонок вошел слуга, он сказал ему:

— Пик, если этот господин, который только что ушел...

— Извините, сэр, — вы говорите о мистере Эдварде?

— Что за вопрос, болван? Разве тут был кто-нибудь еще? Так вот, если этот господин пришлет за своими вещами, отдайте их, понятно? А если он придет сам — меня нет дома. Так ему и скажите и захлопните перед ним дверь.

Вскоре везде стали шушукаться, что у мистера Честера очень неудачный сын, который причиняет ему много забот и горя. И добрые люди, слышавшие и передававшие это другим, еще больше дивились выдержке и спокойствию несчастного отца. «Какой же это прекрасный человек, — говорили они, — если, столько пережив, он остался таким кротким и уравновешенным». При имени Эдварда в «свете» теперь качали головами, прикладывали палец к губам, вздыхали и делали серьезные мины. Те,

у кого были сыновья в возрасте Эдварда, кипя благородным негодованием, желали ему смерти во имя торжества добродетели. А земной шар продолжал вертеться, как и раньше, и вертелся все пять следующих лет, о которых наша повесть умалчивает.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В один холодный вечер в начале года тысяча семьсот восьмидесятого от рождества Христова, как только смерклось, подул резкий северный ветер, и быстро надвинулась темная жуткая ночь. Жестокие ледяные вихри секли мокрые улицы густой смесью дождя и снега и барабанили в дребезжавшие окна. Вывески, вырванные из скрипевших рам, с грохотом валились на мостовую. Старые расшатанные трубы качались под ветром и каждую минуту грозили упасть. И не одна колокольня дрожала в эту ночь, словно при землетрясении.

В такую ночь люди, имеющие хоть малейшую возможность укрыться там, где тепло и светло, не станут искушать ярость снежной бури. В кофейнях поприличнее посетители, собравшись у камелька, на время утратив интерес к политике, с тайным удовлетворением сообщали друг другу, что ветер крепчает с каждой минутой. А во всех убогих харчевнях на берегу Темзы у огня сидели компании людей, неотесанных, странных на вид. Здесь толковали о кораблях, гибнущих в такую погоду в море со всем экипажем, здесь можно было услышать немало страшных рассказов о кораблекрушениях и утонувших моряках, и одни выражали надежду, что ушедшие в плавание знакомые матросы спасутся, другие в сомнении покачивали головами. В семейных домах дети теснились у камина, с упоением и страхом слушая сказки о привидениях, домовых и высоких фигурах в белом, которые появляются у кровати, о людях, уснувших в старой церкви, — их, не заметив, заперли там, и поздней ночью они просыпались одни в пустой церкви. Наслушавшись таких рассказов, дети дрожали при одной мысли о темной

спальне наверху, но все же им весело было слушать, как ветер воет за окнами, и хотелось, чтобы он выл подольше. Время от времени счастливцы, защищенные надежным кровом, умолкали и прислушивались, или кто-нибудь из них, подняв палец, восклицал: «Тсс!» — и тогда в наступившем молчании, заглушая треск дров в камине и частый стук дождя и снежной крупы в оконные стекла, слышался то заунывный шум ветра, от которого дрожали стены, словно сотрясаемые рукой гиганта, то хриплый рев морского прибоя; а то поднимался такой грохот и бешеные вихри, что казалось — вся природа обезумела; затем вихри с протяжным воем улетали прочь, и ненадолго наступало затишье.

Весело сияли в тот вечер огни «Майского Древа», хотя никто не мог их видеть, ибо дорога была безлюдна. Да будет благословенна ветхая занавеска на окне, красная, как жаркое пламя, как рубин, — сквозь нее смешанный поток яркого света, шедший от огня в камине, свечей, и, кажется, даже от яств, бутылок и веселых лиц, сиял приветливо манящим оком в мрачной пустыне ночи. А внутри! Какой ковер сравнится с хрустящим под ногами песком, какая музыка — с веселым потрескиванием дров в камине, какой аромат духов — с аппетитными запахами из кухни, какое тепло погожего дня — с живительным теплом этого дома? Благословенный старый дом, как стойко он выдерживал натиски стихий! Сердитый ветер бесновался и гудел вокруг его крепкой крыши, наскакивал на широкие трубы, а те, как ни в чем не бывало, выбрасывали из своих гостеприимных недр огромные клубы дыма и вызывающе пыхтели прямо ему в лицо; он с грохотом сотрясал все здание, словно жаждал задушить веселый огонек в окне, но огонек не сдавался и, казалось, назло ему разгорался еще ярче.

А как описать изобилие благ земных в этой прекрасной гостинице, размах и щедрость во всем! Мало того, что в большущем камине пылал огонь, — и в изразцах, которыми камин был выложен, так же ярко горели и плясали пятьсот веселых огней. Мало того, что красная занавеска не впускала сюда мрак и ярость ненастной ночи и придавала комнате веселый и уютный вид — в крышке каждой кастрюли, каждом подсвечнике, в медной, оловянной,

жестяной посуде, развешанной по стенам, отражались бесчисленные красные занавески, словно загоравшиеся при каждой вспышке пламени, так что, куда ни глянь, пылали бесконечные ленты яркого пурпура. И в старых дубовых панелях и балках, стульях и скамьях отражался этот пурпурный свет, — только более тусклого и темного тона; огни и красные занавески отражались даже в зрачках собеседников, в их пуговицах, в вине, которое они пили, и трубках, которые они курили.

Мистер Уиллет сидел на том же месте, на котором сиживал пять лет назад, так же устремив глаза на неизменный котел. Сидел здесь с тех пор, как часы пробили восемь, и не подавал никаких признаков жизни, кроме шумного дыхания, сильно напоминавшего храп, хотя он вовсе не спал и даже по временам подносил ко рту стакан или выколачивал трубку и снова набивал ее табаком. Было уже половина одиннадцатого. Как и прежде, мистеру Уиллету составляли компанию мистер Кобб и долговязый Фил Паркс, и за два с половиной часа никто из них трех не вымолвил ни единого слова.

Быть может, люди, которые в течение многих лет встречаются в одной и той же обстановке, сидят на тех же местах и делают одно и то же, обретают какое-то шестое чувство или заменяющую его таинственную способность воздействовать друг на друга? Этот вопрос могут решить только философы. Достоверно только то, что старый Джон Уиллет, мистер Паркс и мистер Кобб считали себя самыми занимательными и веселыми собеседниками и, пожалуй, даже — людьми величайшего ума. Достоверно и то, что они, сидя у огня, часто переглядывались, словно между ними происходил беспрерывный обмен мыслями, и ни один из них отнюдь не считал себя и соседей молчаливыми. Встречая взгляд другого, каждый кивал ему, словно говоря: «Вы чрезвычайно ясно высказали свое мнение, сэр, и я с вами совершенно согласен».

В комнате было так тепло, табак был так хорош, а огонь в камине горел так приятно, что мистер Уиллет задремал. Но, так как в силу давнишней привычки, он в совершенстве владел искусством курить во сне, а дышал он одинаково шумно, когда не спал и когда спал, — разве только с той разницей, что во сне дыхание у него иногда

на миг застопоривалось (вроде как у плотника застопоривается работа, когда он, стругая дерево, наткнется на сучок), — то никто из его товарищей не заметил, что он спит, пока мистер Уиллет не наткнулся на такой «сучок» и на миг перестал храпеть.

— Дрыхнет наш Джонни, — шепотом заметил мистер Паркс.

— Как сурок, — подтвердил мистер Кобб.

Никто из них не вымолвил больше ни слова, пока у мистера Уиллета не вышла опять заминка с дыханием и на сей раз такая долгая, что она чуть не вывела его из равновесия. Однако он в конце концов каким-то сверхъестественным усилием преодолел ее и не проснулся.

— Удивительно крепкий у него сон, — сказал мистер Кобб.

Мистер Паркс, вероятно не уступавший в этом отношении Джону, довольно пренебрежительно буркнул: «Ну, не очень-то!» — и уставился на объявление, наклеенное над каминной полкой. Объявление это украшал рисунок — некий отрок, весьма юный на вид, улепетывал во всю прыть с надетым на палку узелком через плечо, а рядом, для пущей ясности, изображен был дорожный столб и указатель со стрелкой. Мистер Кобб устремил взгляд туда же и долго созерцал объявление с таким интересом, словно видел его впервые. Документ этот сочинил сам мистер Уиллет после исчезновения своего сына Джозефа: в нем он оповещал аристократию, и мелкое дворянство, и все население вообще, при каких обстоятельствах сын его сбежал из дому, описывал его костюм и наружность, и обещал вознаграждение в пять фунтов тому или тем, кто его схватит и доставит в гостиницу «Майское Древо» в Чигуэлле, или же засадит в одну из королевских тюрем, пока отец его не востребует. В объявлении мистер Уиллет, несмотря на доводы и уговоры друзей, упорно именовал своего сына «мальчишкой» — мало того, указывал его рост на полтора-два фута ниже подлинного. Этими двумя неточностями, вероятно, в известной мере и объяснялось то, что Джо не был пойман, зато в Чигуэлл доставили в разное время не менее сорока пяти юных беглецов в возрасте от шести до двенадцати лет, и это стоило Джону немало денег.

Мистер Кобб и мистер Паркс многозначительно посматривали то на объявление, то друг на друга, то на старого Джона. С того дня, как мистер Уиллет собственноручно расклеил свое сочинение, он ни словом, ни взглядом не напоминал никому о бегстве Джо и никак не поощрял к этому других. Окружающие понятия не имели, что думает Джон об этом событии, вспоминает он о нем или забыл все так прочно, словно ничего и не случилось. Поэтому, даже когда он спал, никто не решался при нем упоминать об этом, и сейчас его два закадычных друга только молча смотрели на объявление.

Мистер Уиллет между тем наткнулся во сне на целое скопление «сучков», и было совершенно ясно, что он сейчас или проснется, или умрет. Он выбрал первое и открыл глаза.

— Подождем еще пять минут, — сказал он, — и, если он не явится, будем ужинать без него.

Тот, о ком это было сказано, упоминался в их разговоре в восемь часов вечера, то есть ровно два с половиной часа тому назад. Но Паркс и Кобб, привыкшие к такому стилю беседы, ответили, не задумываясь, что Соломон в самом деле очень опаздывает и непонятно, что могло его задержать.

— Надеюсь, его не унесло ветром, — сказал Паркс. — Сегодняшний ветер легко может сбить с ног такого человечка, как Соломон. Слышите, как ревет? Ох, натворит он бед сегодня ночью в лесу, и завтра на земле будет лежать немало хворосту.

— В моей гостинице, полагаю, он ничего не натворит, сэр, — отрезал Джон. — Пусть только попробует... Это что еще за шум?

— Ветер, — воскликнул Паркс. — Воет, как человек. И так весь вечер.

— Слыхали вы когда-нибудь, — спросил Джон после минутного раздумья, — чтобы ветер кричал «Майское Древо»?!

— Ну, где же это слыхано! — возразил Паркс.

— А чтобы ветер кричал «Эй!»?

— Нет, и этого никогда не слыхал.

— Очень хорошо, сэр, — продолжал с прежней невозмутимостью мистер Уиллет. — Тогда помолчите минутку,

и вы ясно услышите, как ветер — если это ветер, по-вашему, — кричит эти три слова.

Мистер Уиллет был прав. После минуты напряженного ожидания они ясно услышали сквозь рев бури крик, такой пронзительный, отчаянный, что было ясно — это кричит человек в сильной тревоге или страхе. Все трое побледнели, переглянулись, притаили дыхание. Но ни один не двинулся с места.

И в этот-то критический момент мистер Уиллет проявил ту силу духа и замечательную находчивость, которыми так восхищал всех друзей и соседей. Некоторое время он молча смотрел на Паркса и Кобба, затем, сжав руками щеки, испустил такой рев, что в комнате задребезжали стекла и загудели балки под потолком. Этот протяжный крик, жуткий, оглушительный, как гонг, был подхвачен ветром, ему со всех сторон долго вторило эхо, и ночь стала еще во сто раз шумнее. Джон, у которого от сильной натуги вздулись жилы на висках и шее, а лицо, налившись кровью, стало багровым, придвинулся к огню и, грея спину, сказал с достоинством:

— Если это кому-нибудь поможет, — тем лучше. Если нет — очень жаль. Может, кто из вас, джентльмены, хочет выйти и посмотреть, что там приключилось? Тогда идите, пожалуйста. А меня это не интересует, я не любопытен.

В эту минуту крик повторился. Он слышался все ближе и ближе, и, наконец, кто-то пробежал под окном, поднял щеколду, открыл и затем с силой захлопнул входную дверь. В комнату ворвался Соломон Дэйзи с зажженным фонарем в руке. Одежда его была в полном беспорядке, и с нее ручьями текла вода.

Маленький причетник являл собой настоящее олицетворение ужаса. Лицо его было пепельно-серо и усеяно крупными каплями пота, колени подгибались, он весь трясся и не мог выговорить ни слова, — стоял, тяжело переводя дух, и смотрел на всех таким безжизненным взглядом, что заразил страхом остальных, хотя они не знали, в чем дело. Ужас отразился на их лицах, и они во все глаза смотрели на Соломона, не решаясь задать ему вопрос. Наконец старый Джон, словно взбесившись, ухватил его за шарф и стал трясти так, что у Соломона даже зубы застучали.

— Говорите, что случилось, или я вас пришибу на месте! — крикнул Джон. — Если вы сию секунду не скажете, в чем дело, сэр, я окуну вас головой в котел. Чего глаза таращите, как смеете пугать людей? За вами кто-нибудь гонится? Да отвечайте же, или я вас сейчас задушу!

Мистер Уиллет в своем исступлении был близок к тому, чтобы выполнить эту угрозу буквально, — у Соломона Дэйзи уже закатились глаза, и он хрипел, как удавленник. Но оба свидетеля этой сцены, немного опомнившись, силой оторвали Джона от его жертвы и усадили причетника в кресло. Соломон, опасливо поглядывая по сторонам, слабым голосом попросил дать ему чего-нибудь выпить, а главное — тотчас запереть входную дверь и заложить болтами ставни. Вторая просьба была не такого сорта, чтобы успокоить слушателей или способствовать веселому настроению; они ее исполнили с величайшей поспешностью, подали Соломону стопку горячего, как кипяток, бренди с водой и ждали, что он скажет.

— Ах, Джонни! — начал Соломон, схватив мистера Уиллета за руку. — Ах, Паркс, ах, Томми! И дернула меня нелегкая уйти отсюда! Ведь сегодня — девятнадцатое марта! Понимаете, девятнадцатое марта!

Они придвинулись к огню, а Паркс, сидевший ближе всех к двери, вздрогнул и глянул на нее через плечо. Мистер Уиллет сердито спросил его, какого черта он оглядывается, затем, невольно пробормотав: «Господи, прости!» — сам покосился на дверь и еще ближе придвинулся к остальным.

— Когда я выходил вечером отсюда, я и не вспомнил, *какое* сегодня число, — начал Соломон Дэйзи. — А ведь вот уже двадцать семь лет я в этот вечер никогда не хожу один в церковь. Люди говорят, что мертвецы, которые не обрели покой в могиле, празднуют годовщину своей смерти — все равно как живые празднуют день рождения... Ох, как воет ветер!..

Никто не отозвался. Все глаза были прикованы к лицу Соломона.

— Уже по одной только погоде можно было догадаться, *какое* сегодня число. Ни разу в году не бывает

такой ужасной бури, как в эту ночь. Девятнадцатого марта я никогда не сплю спокойно.

— Я тоже, — тихо вставил Том Кобб. — Ну, рассказывай дальше.

Соломон Дэйзи поднес стакан к губам, отпил немного, поставил его на пол (рука у него дрожала, ложечка звякнула громко, как колокольчик), затем продолжал:

— Говорил же я вам, — девятнадцатого марта всегда что-нибудь напоминает о несчастье в Уоррене. Ну, вот, и сегодня — думаете, случайно я забыл завести башенные часы? Никогда такого со мной не случалось в другое время, — а ведь эти дурацкие часы приходится заводить каждый божий день! Так почему же именно сегодня это вылетело у меня из головы?

Идя отсюда в церковь, я спешил как только мог, потому что надо было еще сначала зайти домой за ключами. Всю дорогу дождь и ветер так меня донимали, что временами я еле держался на ногах. Наконец я добрался до церкви, отпер дверь и вошел. По дороге я не встретил ни одной живой души, и вы сами понимаете, как мне было жутко. Никто из вас не хотел пойти со мной, как будто предчувствовал, что̀ случится.

Ветер так бесновался, что мне с трудом удалось захлопнуть церковную дверь, навалившись на нее всем телом, да и то она дважды раскрывалась настежь, я еле мог ее удержать и готов был поклясться, что кто-то толкает ее снаружи. Наконец я ее все-таки захлопнул, повернул ключ и пошел на колокольню заводить часы — как раз вовремя: не приди я, они бы через полчаса остановились. Беру я, значит, свой фонарь, собираюсь уходить, — и тут только вспомнил, что сегодня — девятнадцатое марта, да так неожиданно, словно кто меня толкнул или по голове стукнул. И в эту самую минуту слышу снаружи голос — как будто из могилы на погосте...

Тут старый Джон торопливо перебил рассказчика и, обратясь к мистеру Парксу (тот сидел против него и смотрел поверх его головы на дверь), спросил, не будет ли он любезен объяснить, что̀ именно он там видит. Мистер Паркс извинился и заверил его, что он ни на что не смотрит, а просто так слушает, на что мистер Уиллет с негодованием заметил, что слушать с таким выраже-

нием на лице — манера не очень-то приятная, и если уж мистер Паркс не может иначе, пусть лучше закроет лицо носовым платком. Мистер Паркс покорно согласился сделать это, если потребуется, и Джон Уиллет предложил Соломону рассказывать дальше. Тот подождал, пока утихнет сильный порыв ветра, потрясший, казалось, до основания даже этот крепкий дом, и продолжал:

— Не вздумайте уверять, что это мне почудилось или что я какой-то звук принял за человеческий голос. Я слышал, как ветер свистит под сводами церкви. Слышал, как колокольня скрипит и трещит, как дождь барабанит в стены. Я видел, что колокола дрожат и веревки качаются взад и вперед. И так же ясно я слышал этот голос.

— А что же он говорил? — спросил Том Кобб.

— Не знаю. Может, он и не говорил ничего. Это был крик — ну, вот, как вскрикнет человек иной раз со сна или когда увидит что-нибудь страшное. Крик облетел вокруг церкви и замер где-то вдали.

— Ничего в этом нет особенного, — сказал Джон, переводя дух и с облегчением осматриваясь кругом.

— Может, и нет, — отозвался Соломон. — Но это еще не все.

— А что еще? — спросил Джон, перестав утирать лицо фартуком. — Что еще вы нам расскажете?

— То, что *видел*.

— Видел! — повторили хором все три слушателя и наклонились ближе.

— Хочу я, значит, выйти из церкви, — сказал Соломон с таким выражением лица, что невозможно было усомниться в его искренности, — открываю дверь, очень быстро открываю, чтобы захлопнуть ее раньше, чем опять налетит ветер, — и вдруг мимо меня промелькнула какая-то фигура, так близко, что стоило мне протянуть палец, и я мог бы до нее дотронуться. Голова у этого человека была непокрыта — в такую-то непогоду! — и он, пробегая, обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Это было привидение — да, призрак!

— Чей же? — в один голос крикнули все трое.

Рассказчик, дрожа, откинулся на спинку стула и отмахивался рукой, словно умоляя, чтобы его больше ни о чем не спрашивали. Он был в таком волнении, что ответ

его расслышал один только Джон Уиллет, сидевший с ним рядом.

— Да кто же, кто это был? — повторяли Паркс и Том Кобб, с жадным любопытством глядя то на Соломона, то на мистера Уиллета.

— Джентльмены, — сказал, наконец, мистер Уиллет, помолчав, — нечего и спрашивать. Это был призрак убитого. Сегодня ведь девятнадцатое марта.

Некоторое время царило глубокое молчание.

— Если хотите знать мое мнение, — подал голос Джон, — всем нам лучше держать язык за зубами. Такие истории не понравятся в Уоррене. Будем все помалкивать, иначе наживем беды, а Соломон может потерять место. Так ли это было, как он рассказывает, или ему только померещилось, — все равно никто ему не поверит. Да я и сам не думаю, — тут мистер Уиллет оглядел все углы, и по лицу его видно было, что он, как некоторые другие философы, вовсе не так уж верит в свою теорию, — не думаю, чтобы дух разумного человека стал бродить в такую погоду. Во всяком случае, *я* на его месте не стал бы.

Однако эта еретическая теория вызвала горячие протесты трех друзей Джона, и они привели множество примеров, доказывающих, что призраки любят появляться именно в ненастные ночи. А мистер Паркс (у которого в роду с материнской стороны имелось фамильное привидение) при обсуждении этого вопроса приводил такие глубокомысленные доводы и яркие примеры, что Джону пришлось бы позорно капитулировать, если бы его не спасло своевременное появление на столе ужина, за который все принялись с ужасающим аппетитом. Даже Соломон Дэйзи под живительным действием света, тепла, бренди и приятного общества настолько оправился от потрясения, что мог уже с самым похвальным усердием орудовать ножом и вилкой и так энергично отдавал честь яствам и напиткам, что нечего было опасаться никаких вредных последствий пережитого им испуга.

После ужина они снова уселись перед камином и, как водится в таких случаях, Соломону стали наперебой задавать «наводящие» вопросы, рассчитанные на то, чтобы разукрасить его приключение еще новыми, страшными и

необычайными подробностями. Однако Соломон Дэйзи, несмотря на все искушения, стойко держался своей первой версии и повторял ее много раз с очень незначительными изменениями и клятвенными уверениями, что все это — истинная правда. Так что в конце концов эта история стала казаться слушателям еще более поразительной. Соломон был совершенно согласен с Джоном Уиллетом, что разглашать ее не следует, только, если призрак появится снова, надо будет немедленно посоветоваться со священником. Они торжественно поклялись молчать обо всем. А так как большинству людей нравится быть посвященными в какую-либо тайну — ведь это как бы повышает их престиж, — то друзья Соломона приняли это решение с удивительным единодушием.

За разговорами они просидели гораздо позднее обычного часа, и пора было расходиться. Соломон Дэйзи, вставив в свой фонарь новую свечу, отправился домой под охраной долговязого Фила Паркса и мистера Кобба, трусивших еще больше, чем он сам. А мистер Уиллет, проводив их до дверей, вернулся на свое место, чтобы при помощи котла собраться с мыслями, и долго еще сидел у огня, прислушиваясь к плеску дождя и вою ветра, ярость которого ничуть не утихала.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Старый Джон не просидел и двадцати минут, глядя на котел, как ему уже удалось привести свои мысли в порядок и сосредоточить их на приключении Соломона Дэйзи. Чем дольше он думал об этом, тем больше восхищался собственной мудростью и тем сильнее хотелось ему поразить ею мистера Хардейла. Наконец, желая сыграть во всем этом главную роль, опередить Соломона и других приятелей, усилиями которых, как он знал, вся история в сильно приукрашенном виде завтра же утром станет известна по меньшей мере двум десяткам людей, а по всей вероятности и самому мистеру Хардейлу, Джон решил сейчас же, до того как лечь спать, сходить в Уоррен.

«Я же его арендатор, — рассуждал Джон, ставя свечу в угол, куда не достигал ветер, и открывая окно, выходившее на двор к конюшням. — В последние годы мы виделись не так часто, как прежде, из-за всяких перемен в их доме... а мне желательно сохранить с ним самые лучшие отношения... Это мне придаст весу... Если люди начнут шушукаться насчет привидения, он здорово разгневается. А человека с таким характером не мешает расположить к себе, заслужить его доверие».

— Эй, Хью! Эй!

Лишь после того как он прокричал это раз десять, разбудив и переполошив всех голубей, в одном из полуразрушенных надворных строений открылась дверь, и грубый голос спросил, что случилось и почему даже ночью человеку не дают спокойно поспать.

— Вот как! Значит, тебя нельзя поднять, если это нужно, в кои-то веки раз? Мало ты еще дрыхнешь, грубиян? — сказал Джон.

— Мало. Я и наполовину не выспался, — отвечал Хью, зевая и потягиваясь.

— Я вообще не понимаю, как ты можешь спать, когда ветер воет над ухом и черепицы летят, как щепки, — сказал Джон. — Ну, да все равно. Накинь на себя что-нибудь и ступай сюда. Пойдешь со мной в Уоррен. Да живее пошевеливайся!

Ворча что-то себе под нос, Хью ушел в свою берлогу и затем снова появился с фонарем и дубинкой, укутанный с головы до ног в грязную и ветхую попону. Мистер Уиллет впустил его с черного хода, затем облачился в несколько теплых кафтанов и плащей и так замотал лицо платками и шарфами, что было непонятно, как он еще мог дышать.

— Хозяин, вы же не потащите человека из дому в такую погоду, да еще в полночь, не дав ему подкрепиться? — сказал Хью.

— Потащу, — возразил мистер Уиллет. — А подкрепиться, как ты это называешь, я дам тебе, когда ты благополучно доставишь меня обратно домой. Тогда будет уже не так важно, крепко ты держишься на ногах или нет. Держи фонарь повыше и ступай вперед, освещай мне дорогу.

Хью вышел довольно неохотно, с вожделением посмотрев на бутылки. А Джон строго наказал кухарке запереть дверь и никого не пускать в дом до его прихода, если она не хочет потерять место, и последовал за Хью во мрак, где бесновался ветер.

Ночь была так темна, а дорогу так размыло, что, не будь у мистера Уиллета провожатого, он непременно угодил бы в глубокий прудок в нескольких стах ярдов от дома и таким жалким образом закончил бы свое земное существование. Но у Хью глаза были зоркие, как у ястреба, и к тому же он так знал все дороги на десять миль вокруг, что мог пройти повсюду с завязанными глазами. Он взял хозяина на буксир и вел его вперед по своему усмотрению, не обращая никакого внимания на его протесты. Они шли, борясь с ветром, как могли; Хью тяжелыми сапогами топтал мокрую траву и шагал, как всегда, стремительно, напролом, а мистер Уиллет шел за ним на расстоянии протянутой руки, ступал осторожно и то и дело озирался по сторонам. опасаясь то ли луж и рытвин, то ли привидений, которые могли ведь бродить и здесь. Лицо его (насколько по этому неподвижному лицу можно было что-либо угадать) выражало страх и беспокойство.

Наконец они очутились в широкой, усыпанной гравием аллее, перед домом Хардейлов. Дом был погружен во мрак, и, кроме них, в парке не было ни живой души. В одном только окне на башенке еще виднелся свет, и к этому-то маяку в холодной, унылой и безмолвной тьме мистер Уиллет велел идти своему проводнику.

— Старая комната в башне, — сказал он, боязливо глядя вверх на светившееся окно. — Комната мистера Рубена, с нами крестная сила! Странно, что его брат сидит там в такой поздний час — да еще нынче ночью!

— А где же ему сидеть, как не здесь? — отозвался Хью, прижимая фонарь к груди, чтобы огонь не задуло ветром, пока он снимал пальцем нагар со свечи. — Комната очень уютная — скажете, нет?

— «Уютная»! — сердито передразнил его Джон. — Хорошее у тебя понятие об уюте! Разве ты не знаешь, пень этакий, что̀ случилось в этой комнате?

— Ну и что? Хуже она стала от этого? — громко возразил Хью, глядя в толстощекое лицо Джона. — Разве она меньше укрывает теперь от дождя, снега и ветра? Или оттого, что в ней убили человека, она стала сырой и холодной? Ха-ха-ха! Не верьте вздору, хозяин. Одним человеком меньше — эка важность, подумаешь!

Мистер Уиллет тупо уставился на своего спутника, и внезапно его осенила мысль, что этот Хью, пожалуй, человек опасный и не мешает поскорее от него избавиться. Помня, однако, что ему предстоит еще обратный путь вдвоем с Хью, Джон из осторожности не сказал ничего и, подойдя к чугунным воротам, перед которыми происходил этот короткий диалог, дернул звонок. Башенка, где светилось окно, находилась в углу здания, над соседней дорожкой, так что мистер Хардейл тотчас распахнул окно и спросил, кто там.

— Прошу прощения, сэр, — сказал Джон. — Я знаю, что вы ложитесь поздно, и потому осмелился прийти. Мне надо бы поговорить с вами.

— Это вы, Уиллет?

— Так точно, сэр, Уиллет из «Майского Древа». К вашим услугам, сэр.

Мистер Хардейл закрыл окно и отошел от него. Через минуту он уже появился внизу, у входа в башню, и, пройдя по дорожке, отпер калитку.

— Что это вы так поздно, Уиллет? Случилось что-нибудь?

— Ничего серьезного, сэр. Так, пустое дело, но я подумал, что вам лучше узнать о нем, только и всего.

— Пропустите вперед вашего слугу с фонарем и давайте руку: лестница крутая, винтовая и узкая! Осторожнее с фонарем, приятель! Размахиваешь им, точно кадилом!

Хью уже успел дойти до башни. Крепче зажав фонарь в руке, он первый стал подниматься по лестнице, время от времени оборачиваясь, чтобы посветить другим. Шедший за ним мистер Хардейл не очень-то благосклонно посматривал на хмурое лицо Хью, а тот отвечал ему еще более неприязненными взглядами.

Винтовая лестница вела в маленькую прихожую, а из нее был ход в комнату, в которой горела лампа. Мистер

Хардейл вошел первый и сел за письменный стол, на то же место, где сидел, когда услышал звонок.

— Входите, — сказал он Джону, который, стоя на пороге, отвешивал поклоны. — А ты побудь там, в прихожей, — поспешно остановил он Хью, вошедшего было вслед за хозяином.— Уиллет, зачем вы привели с собой этого парня?

— Видите ли, сэр, — подняв брови, ответил Джон так же тихо, как был задан вопрос. — Он — надежная охрана.

— Сомневаюсь. Не очень-то ему доверяйте, — сказал мистер Хардейл, глянув издали на Хью. — Не нравятся мне его глаза.

— В глазах у него смекалки нет, это верно, — мистер Уиллет критически взглянул через плечо на орган зрения, о котором шла речь.

— И недобрые они, уверяю вас, — сказал мистер Хардейл. Затем, уже громко, обратился к Хью: — Подожди в прихожей, друг, да закрой дверь.

Хью пожал плечами и вышел с презрительной миной, ясно показывавшей, что он или подслушал, или догадался, о чем они шептались. Когда он закрыл за собой дверь, мистер Хардейл повернулся к Джону и попросил его объяснить, зачем он пришел, но потише, потому что парень, наверное, уже навострил уши.

После этого предостережения мистер Уиллет елейным шепотом рассказал все, что слышал в этот вечер. Он особенно подчеркивал собственную прозорливость, а также свою глубокую преданность семье Хардейл и заботу об их спокойствии и счастье. Рассказ взволновал слушателя гораздо больше, чем ожидал Джон. Мистер Хардейл то вставал и начинал ходить из угла в угол, то снова садился, требовал, чтобы Джон как можно точнее повторил подлинные слова Соломона, и вообще казался настолько расстроенным и встревоженным, что даже мистер Уиллет был поражен.

— Очень хорошо, что вы уговорили их держать все в тайне, — сказал мистер Хардейл, выслушав его. — Это просто дурацкий бред безмозглого и суеверного звонаря, который потерял голову от страха. Но такие россказни могут встревожить мисс Эмму, если дойдут до нее, хотя и она, конечно, не примет их всерьез. Вся эта история

слишком живо напоминает о нашем несчастье, и мы не можем отнестись к ней равнодушно. Вы поступили очень разумно, Уиллет, и оказали мне большую услугу. Я вам очень благодарен.

Это превосходило самые оптимистические расчеты Джона, но ему хотелось, чтобы мистер Хардейл, говоря так, смотрел ему в глаза, как человек, действительно полный благодарности, а тот ходил взад и вперед, говорил отрывисто и часто останавливался, затем снова начинал стремительно шагать с рассеянным видом, словно почти не сознавал, что он говорит и делает.

Такое поведение мистера Хардейла сильно смущало Джона, и он долго сидел молча, не зная, как быть дальше. Наконец он поднялся. Мистер Хардейл одно мгновение смотрел на него так, словно совсем забыл о его присутствии, затем пожал ему руку и открыл перед ним дверь. Хью спал (или притворялся спящим) на полу в прихожей. При входе хозяина он вскочил, накинул свою попону и, взяв палку и фонарь, подошел к двери на лестницу.

— Постойте-ка, — сказал мистер Хардейл Джону, — может, ваш слуга выпьет чего-нибудь?

— Выпьет ли? Да он вылакал бы всю Темзу, если бы в ней было что-нибудь покрепче воды, — ответил Джон. — Но лучше не давайте ему сейчас ничего, сэр. Вернемся домой, тогда и выпьет.

— Ну, вот еще! Полдороги уже пройдено, так почему мне нельзя выпить? — запротестовал Хью. — Какой вы упрямый, хозяин! Да я дойду скорее, если выпью стаканчик. Давайте, сэр, давайте!

Так как Джон молчал, мистер Хардейл вынес из комнаты стакан вина и подал Хью, а тот, взяв его, пролил несколько капель на пол.

— Не можешь вести себя поаккуратнее в порядочном доме? Чего ты льешь вино на пол? — сказал Джон.

— За здоровье хозяина этого дома, — сказал Хью, подняв стакан выше головы и глядя в упор на мистера Хардейла. — За дом и его хозяина! — Он пробормотал еще что-то про себя, допил вино и, молча поставив пустой стакан на стол, первый стал сходить с лестницы.

Джон был крайне шокирован развязностью своего слуги, но видя, что мистер Хардейл не обратил внимания

на слова и поведение Хью и мысли его заняты другим, он не стал извиняться и молчал все время, пока они спускались вниз и шли по дорожке. Выйдя за ворота, они остановились, и Хью посветил мистеру Хардейлу, запиравшему изнутри калитку. Тут только Джон с удивлением заметил (и впоследствии часто рассказывал об этом своим друзьям), что мистер Хардейл бледен, как смерть, что у него измученный вид и за эти полчаса лицо его изменилось до неузнаваемости.

Они с Хью вышли на дорогу. Шагая за своим телохранителем, Джон Уиллет сосредоточенно размышлял о только что виденном, как вдруг Хью поспешно оттащил его в сторону, и почти в тот же миг мимо проскакали трое всадников так близко, что один, проезжая, чуть не задел его за плечо. Увидев двух пешеходов, все трое круто осадили лошадей и остановились, поджидая Джона и Хью.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Увидев, что всадники, ловко повернув лошадей, остановились все трое в ряд на узкой дороге, ожидая, пока он и Хью подойдут ближе, Джон Уиллет с необычной для него быстротой пораскинул умом и решил, что это разбойники. Будь Хью вооружен не тяжелой дубинкой, а мушкетоном, хозяин несомненно приказал бы ему стрелять наудачу, а сам, под этим прикрытием, поспешил бы спастись бегством. Но, так как он и его телохранитель оказались в невыгодном положении, он благоразумно пустил в ход иную тактику, шепнув Хью, чтобы он поговорил с этими людьми как можно вежливее и миролюбивее. Следуя этому наказу, Хью выступил вперед и, вертя дубиной перед самым носом ближайшего всадника, грубо спросил, с какой стати он и его товарищи мчатся так, что чуть их не задавили, и чего они вообще рыщут по большой дороге в такой поздний час.

Тот, к кому он обращался, начал уже было сердитую фразу в таком же духе, но средний всадник перебил его и спросил громко и властно, однако вовсе не резко:

— Скажите, пожалуйста, это дорога в Лондон?

— Если не собьетесь с нее, попадете в Лондон, — отвечал Хью все так же грубо.

— Эге, брат, — сказал тот же всадник, — ты, я вижу, порядочный невежа. Да англичанин ли ты? Если бы ты не говорил на нашем языке, я бы сильно в этом усомнился. Твой спутник, наверное, ответит нам вежливее. Что *вы* скажете, приятель?

— Скажу, что это действительно дорога в Лондон, сэр, — отозвался Джон и, оборотясь к Хью, добавил вполголоса: — Жаль, что ты не оказался где-нибудь на другой дороге, бездельник! Тебе, видно, жизнь не мила, что ты задеваешь трех здоровенных головорезов, которым ничего не стоит затоптать нас насмерть лошадьми, а потом отвезти наши трупы за десять миль и утопить там?

— А далеко еще до Лондона? — осведомился всадник.

— Отсюда не больше как тринадцать миль и по очень хорошей дороге, сэр, — заверил его Джон.

Последнее он прибавил для того, чтобы всадники поскорее пустились в путь, но его слова произвели как раз обратное действие. Его собеседник воскликнул: «Тринадцать миль! Как далеко!» — и за этим последовало нерешительное молчание.

— Скажите, — начал тот же джентльмен, — нет ли здесь поблизости какого-нибудь постоялого двора?

Услышав слова «постоялый двор», Джон удивительно быстро воспрянул духом, и все его страхи рассеялись, как дым. В нем заговорил хозяин.

— Постоялых дворов нет, — сказал он с ударением. — А есть гостиница, одна-единственная: «Майское Древо». Вот уж, можно сказать, гостиница! Не часто встретишь такую.

— Не вы ли ее хозяин? — спросил всадник с улыбкой.

— Так точно, сэр, — подтвердил Джон, недоумевая, как незнакомец мог догадаться об этом.

— И далеко отсюда до вашего «Майского Древа»?

— С милю, не больше, — Джон хотел уже добавить «и по лучшей в мире дороге», но тут неожиданно вме-

шался третий всадник, до сих пор державшийся несколько позади:

— А найдется у вас, хозяин, вполне удобная кровать? И можете вы поручиться, что постель будет хорошо проветрена и что на ней ночевали только почтенные и безупречные люди?

— У меня в гостинице других и не бывает, сэр. Проходимцев и всякую рвань мы на порог не пускаем, — отвечал Джон. — А что касается кровати...

— Скажем, трех кроватей, — вставил тот, кто первый задал вопрос о гостинице. — Если мы у вас остановимся, нам понадобятся три. Мой товарищ напрасно справился только об одной.

— Нет, нет, милорд, вы слишком добры, слишком заботливы! Ваша жизнь в эти тяжкие времена так дорога и нужна народу, что нельзя ее ставить на одну доску с такой ничтожной и бесполезной жизнью, как моя. На вас возложено великое, святое дело, милорд, вы — его главный защитник, наш авангард, наш вождь и глава. А дело идет о спасении наших алтарей и домашних очагов, нашей страны и нашей веры. Позвольте же мне спать на стульях, на ковре, где попало. Если *я* простужусь или схвачу лихорадку, никто не станет горевать. Если Джон Груби заночует хоть под открытым небом, это не вызовет никакого ропота в народе. А к лорду Джорджу Гордону прикованы глаза и мысли сорока тысяч человек на нашем острове, не считая женщин и детей, и все они ежедневно от восхода до заката солнца молят бога сохранить вам здоровье и силы. Милорд, — тут говоривший приподнялся на стременах — наше дело — славное дело, и нельзя о нем забывать. Это дело великое, милорд, и нельзя им рисковать, это дело священное, и ничто нас не заставит изменить ему, милорд.

— Да, дело наше священно, — воскликнул лорд Гордон, торжественно обнажая голову. — Аминь!

— Джон Груби, — тоном кроткого упрека произнес сладкоречивый джентльмен. — Разве вы не слышали, что милорд сказал «аминь»?

— Слышал, сэр, — отозвался третий всадник, сидя в седле неподвижно, как истукан.

— Так почему же вы не повторили за ним «аминь»?

Джон Груби, не отвечая, смотрел куда-то в пространство.

— Право, вы меня поражаете, Груби, — продолжал тот же джентльмен. — В такие тяжкие времена, когда наша королева-девственница, Елизавета, льет слезы в своей могиле, а Кровавая Мария * с мрачным и грозным ликом шествует, торжествуя...

— Эх, сэр, — сердито перебил его Джон Груби, — нашли время толковать про Кровавую Марию, когда милорд промок до костей и устал от трудной дороги! Одно из двух — либо едемте сейчас в Лондон, либо останемся ночевать в гостинице, иначе на совести этой злосчастной Кровавой Марии будет еще новый грех, а она уж и без того, лежа в могиле, наделала, кажется, больше вреда, чем за всю свою жизнь.

Тут мистер Уиллет (он еще никогда в жизни не слыхал, чтобы люди произносили столько слов подряд, да еще с таким жаром, как сладкоречивый спутник милорда, и у него сейчас голова шла кругом, отказываясь воспринять и переварить все, что тут говорилось) собрался с мыслями настолько, чтобы сообщить путешественникам, что в «Майском Древе» они найдут сколько угодно места и всевозможные удобства: хорошие кровати, первосортные вина, отличный уход и за людьми и за лошадьми, комнаты большие и небольшие, обеды, которых почти не приходится ждать, превосходные конюшни и каретный сарай с крепким запором. Словом, старый Джон процитировал все рекламные объявления, красовавшиеся на стенах его гостиницы, объявления, которые он за сорок лет успел выучить наизусть и повторял довольно бойко. В то время как он пытался придумать еще что-нибудь в том же духе, джентльмен, первым заговоривший с ним, обратился к другому, сладкоречивому:

— Ну, как, Гашфорд, заночуем в этой гостинице или поедем дальше? Решайте вы.

— В таком случае, милорд, я осмелюсь заметить, — елейным тоном отозвался тот, кого он назвал Гашфордом, — что ради сохранения ваших сил и здоровья, которые потребуются для великой миссии, для нашего святого и правого дела (тут лорд снова снял шляпу,

несмотря на то, что дождь лил как из ведра), вам следует хорошенько отдохнуть и подкрепиться.

— Ну, хорошо. Идите вперед, хозяин, показывайте дорогу, — сказал лорд Джордж Гордон. — А мы поедем за вами шагом.

— Если позволите, милорд, я поеду впереди, — вполголоса сказал Джон Груби. — У этого парня, что сопровождает трактирщика, рожа не очень-то внушает доверие. Осторожность никогда не мешает.

— Джон Груби совершенно прав, — вмешался мистер Гашфорд, поспешно ретируясь за спину лорда. — Вашу драгоценную жизнь нельзя подвергать риску. Непременно поезжайте вперед, Джон. И если этот малый будет вести себя подозрительно, пустите ему пулю в лоб.

Джон Груби, ничего не отвечая и глядя куда-то в пространство, как всегда, когда с ним заговаривал Гашфорд, велел Хью идти вперед и двинулся за ним. Следующим ехал его господин, рядом с ним шагал Джон Уиллет, ведя его лошадь под уздцы, а замыкал шествие секретарь лорда Гордона, — по-видимому, такую именно должность занимал при нем этот Гашфорд.

Хью шел быстро, но часто оглядывался на ехавшего за ним по пятам слугу и с усмешкой косился на его кобуру с пистолетами, на которые Джон Груби, видимо, очень полагался. Этот Джон Груби был типичный англичанин, коренастый и сильный, с бычьим затылком. В ответ на взгляды Хью он с подчеркнутым презрением мерил его глазами. Он был гораздо старше Хью — на вид лет сорока пяти, — но из породы тех хладнокровных упрямцев, которые, когда их побивают в кулачном бою или другой борьбе, не признают себя побежденными и спокойно продолжают драться, пока не одолеют противника.

— Если бы я повел вас не по той дороге, вы бы небось — ха-ха-ха! — всадили мне пулю в голову, а? — насмешливо спросил Хью.

Джон Груби пропустил это замечание мимо ушей так невозмутимо, словно он был глух, а Хью — нем, и продолжал ехать вперед, устремив глаза на горизонт.

— А приходилось вам когда-нибудь в молодости драться с другими парнями, мистер? — не унимался Хью. — Фехтовать дубинкой умеете?

Джон Груби посмотрел на него искоса, но сохранял все то же безмятежное спокойствие и не удостоил его ответа.

— Вот этак, например? — Хью проделал своей дубинкой в воздухе ловкий маневр (подобными упражнениями тешились в те времена деревенские парни). — Гоп! Вот так!

— Или вот так, — отпарировал Джон Груби, стегнув Хью хлыстом и вдобавок отвесив ему рукояткой удар по голове. — Да, и я когда-то умел проделывать эти штуки. Волосы у тебя слишком длинные, будь они острижены покороче, череп твой дал бы трещину.

Удар был действительно ловкий и довольно звонкий, и в первую минуту ошарашенный Хью хотел было стащить с седла своего нового знакомого. Но на лице Джона Груби не выражалось ни злорадства, ни торжества, ни гнева, ни даже сознания, что он кого-то обидел, глаза все так же неподвижно смотрели куда-то вдаль, и он был так спокоен, как будто попросту отогнал докучливую муху. Хью был поражен и, решив, что его обидчик — человек какой-то сверхъестественной силы, с которым лучше не связываться, только расхохотался, воскликнул «ловко!» и, отойдя от него подальше, уже молча зашагал вперед.

Через несколько минут вся кавалькада остановилась перед гостиницей. Лорд Джордж и его секретарь тотчас сошли с лошадей и поручили их слуге, которому Хью указал дорогу в конюшню. Очень довольные тем, что могут укрыться от холода и ненастья, они вошли за мистером Уиллетом в комнату и, стоя перед огнем, весело пылавшим в камине, отогревались и сушили одежду, пока хозяин отдавал распоряжения и готовился к приему столь знатных гостей.

Занятый этими хлопотами, Джон то и дело выходил из комнаты, однако успевал наблюдать за двумя путешественниками, которых он не мог рассмотреть на дороге и в темноте различал только по голосам. Лорд Гордон, эта важная особа, чье посещение было великой честью для «Майского Древа», оказался человеком среднего роста и хрупкого сложения, с желтовато-бледным лицом, орлиным носом и длинными каштановыми волосами,

гладко зачесанными за уши, слегка припудренными, но совершенно прямыми, без малейшего следа завивки. Сняв плащ, он остался в черном костюме без всяких украшений и самого строгого покроя. Эта суровая простота одежды, некоторая чопорность манер и аскетическая худоба лица старили его лет на десять, но фигура у него была стройная, как у человека молодого. Сейчас, когда он стоял, задумавшись, освещенный красным пламенем камина, особенно обращали на себя внимание его очень блестящие большие глаза, в которых читалась какая-то напряженная работа мысли и душевная неуравновешенность, так не вязавшаяся с нарочитым внешним спокойствием, сдержанностью манер и странной мрачностью костюма. Ничего грубого или жестокого не было во всем его облике. Напротив, тонкое лицо выражало кротость и меланхолию. Но в нем чувствовалось какое-то постоянное беспокойство, оно заражало всех, кто на него смотрел, и будило что-то вроде жалости к этому человеку, хотя трудно было бы объяснить, почему это так.

Секретарь его, Гашфорд, был ростом повыше, угловат, костист и нескладен. В подражание своему хозяину он был одет очень скромно и строго, держался как-то церемонно и натянуто. У этого джентльмена руки, уши и ноги были очень велики, а глаза под нависшими бровями сидели в таких неестественно-глубоких впадинах, точно хотели совсем спрятаться в череп. Манеры у Гашфорда были вкрадчивые, в его смиренной мягкости и любезности было что-то очень хитрое и льстивое. Он напоминал человека, постоянно подстерегающего какую-то добычу, которая упорно не дается в руки, — но он, видимо, был терпелив, очень терпелив и в ожидании своего часа угодливо вилял хвостом, как спаньель. Даже теперь, когда он, потирая руки, грелся у огня, он, казалось, просил прощения за такую смелость, и, хотя лорд Гордон не смотрел на него, секретарь то и дело заглядывал ему в лицо и, словно практикуясь, улыбался слащаво и подобострастно.

Таковы были посетители, за которыми Джон Уиллет наблюдал, то и дело устремляя на них исподтишка неподвижный, свинцовый взор. Наконец он подошел к ним

с парадными подсвечниками в обеих руках, прося их перейти в другую комнату.

— Видите ли, милорд, — сказал он (и почему это некоторым людям доставляет такое же удовольствие произносить титулы, как обладателям этих титулов — носить их?), — *это* помещение, милорд, никак не годится для вашей милости, и прошу прощения, милорд, что на минуту задержал здесь вашу милость.

Произнеся эту речь, Джон повел гостей наверх, в парадные апартаменты, которые, как и все парадное, были холодны и неуютны. Гости слышали собственные шаги, глухо отдававшиеся в большой пустой комнате, а сырость и холод казались еще неприятнее по контрасту с блаженным теплом в общем зале, из которого они только что вышли.

Но о возвращении туда нечего было и думать — приготовления к их ночлегу происходили в таком быстром темпе, что остановить их не было никакой возможности. Джон, все еще держа в каждой руке по высокому подсвечнику, с поклоном подвел их к камину, Хью, вошедший с вязанкой дров и пылающей головней, швырнул дрова в камин и тотчас развел огонь, а Джон Груби (на шляпе у него красовалась большая синяя кокарда, которая, по-видимому, вызывала в нем самом лишь глубочайшее презрение) внес дорожный мешок, который вез на своей лошади, и положил его на пол, затем все трое принялись хлопотать — расставили ширмы, накрыли на стол, осмотрели кровати, затопили камины в спальнях, подали ужин — словом, сделали комнаты настолько уютными и удобными, насколько это было возможно за такое короткое время. Не прошло и часа, как ужин был съеден, со стола убрано, а лорд Джордж и его секретарь уже сидели у камина, протянув к огню ноги в домашних туфлях, и попивали горячий глинтвейн.

— Вот и окончен благословенный труд благословенного нынешнего дня, милорд, — промолвил Гашфорд, с превеликим удовольствием наливая себе второй стакан.

— И столь же благословенного вчерашнего, — поправил его лорд Гордон, поднимая голову.

— Ах, разумеется, разумеется, и вчерашнего! — Секретарь молитвенно сложил руки. — Суффолкские проте-

станты * — люди набожные и верные. Они стремятся к свету и благодати, не то, что другие наши соотечественники, которые сбились с пути и блуждают во мраке так же, как сегодня блуждали мы с вами, милорд.

— А как вам кажется, Гашфорд, сумел я их воодушевить? — спросил лорд Гордон.

— Воодушевить, милорд? Еще бы! Да вы же слышали, они кричали, чтобы их повели на папистов, призывали на их головы страшные кары... Они вопили, как одержимые...

— Но одержимые не бесами, — вставил его светлость.

— Как можно, милорд! Не бесами, а благодатью небесной. Ангелы говорили их устами.

— Да... да, конечно, ангелы. — Лорд Джордж сунул руки в карманы, потом вынул их и, грызя ногти, как-то смущенно уставился на огонь. — Конечно, ангелы, не правда ли, Гашфорд?

— А вы разве в этом сомневаетесь, милорд?

— Ничуть, что вы! Сомневаться в этом, по-моему, было бы безбожно — ведь так, Гашфорд?.. Хотя среди них, — добавил милорд, не дожидаясь ответа, — были и какие-то препротивные, подозрительные личности.

— А когда вы в благородном порыве обратились к ним с пламенными словами, — начал секретарь, зорко следя за полуопущенными глазами лорда, которые от его слов постепенно стали разгораться, — когда вы им сказали, что никогда не были трусом или равнодушным человеком с вялой душонкой и поведете их вперед, хотя бы даже на смерть, когда вы упомянули, что по ту сторону шотландской границы сто двадцать тысяч человек готовы, если потребуется, в любую минуту выйти на бой за правду, когда вы воскликнули: «Долой папу и всех его гнусных приверженцев! Законы против них не будут отменены, пока у англичан есть руки и в груди бьется сердце!» — и, взмахнув руками, схватились за шпагу, вся толпа закричала: «Долой папистов!» — а вы в ответ: «Долой, даже если бы пришлось затопить землю кровью!» — и все стали бросать шапки в воздух, кричали: «Ура! Даже если земля будет в крови, долой папистов, лорд Джордж! Месть на их головы!» В эти минуты, милорд, видя и слыша все, что было, видя, как вы

одним словом можете поднять народ или успокоить его, я понял, что значит величие души, и сказал себе: «Какая сила может сравниться с силой лорда Джорджа Гордона?»

— Да, вы правы, в наших руках — великая сила, великая сила! — воскликнул лорд Джордж, и глаза его засверкали. — Но скажите, дорогой Гашфорд, неужели же... я в самом деле говорил все это?

— И это и многое другое! — Секретарь поднял глаза к небу. — Ах, как вы говорили!

— И я вправду сказал им насчет ста сорока тысяч шотландцев? — допытывался лорд Джордж с явным удовлетворением. — Это было смело!

— Наше дело требует смелости. Правда всегда отважна.

— Ну, разумеется. И вера тоже. Ведь так, Гашфорд?

— Да, истинная вера смела, милорд.

— А наша вера — истинная, — подхватил лорд Джордж. Он снова беспокойно заерзал в кресле и принялся грызть ногти так ожесточенно, словно решил обгрызть их до живого мяса. — В этом никак нельзя сомневаться. Ведь вы в этом убеждены так же, как я, да, Гашфорд?

— *Мне* вы задаете такой вопрос, милорд! — жалобно протянул Гашфорд, придвигая свой стул ближе и кладя на стол широкую и плоскую руку. — *Мне!* — повторил он тем же обиженным тоном, с болезненной усмешкой обращая к лорду Гордону темные впадины глаз. — Мне, который только год назад в Шотландии, плененный магией ваших речей, отрекся от заблуждений Римской церкви и примкнул к вам, и ваша рука вовремя извлекла меня из бездны погибели!

— Вы правы. Нет, нет, я не сомневаюсь в твердости вашей веры, — сказал лорд Гордон, пожимая ему руку. Он поднялся и в волнении заходил по комнате. — Какая это высокая миссия, Гашфорд, — вести за собой народ, — добавил он вдруг, останавливаясь.

— И притом — силой убеждения, — услужливо подхватил секретарь.

— Да, разумеется. Пусть в парламенте кашляют, хихикают, брюзжат и называют меня глупцом и сумасшед-

шим, но кто из них способен возмутить этот людской океан и заставить его реветь или утихать по своему желанию? Никто.

— Никто, — повторил Гашфорд.

— А кто из них может доказать свою честность, как я? Кто не дал подкупить себя, отказался от тысячи фунтов в год за то, чтобы уступить свое место другому? Никто.

— Никто, — снова поддакнул Гашфорд, который к тому времени успел уже выпить львиную долю поданного лорду глинтвейна.

— И так как мы люди честные, Гашфорд, борцы за правое, за святое дело, — лорд Джордж положил лихорадочно дрожащую руку на плечо секретаря. Голос его окреп, щеки покраснели. — Так как мы одни стоим за народ, народ нас любит. Мы будем стоять за него до конца. Мы кликнем клич против этих папистов, которые недостойны называться англичанами, и наш боевой клич громом прокатится по всей стране. Я хочу быть достоин девиза, начертанного на моем гербе: «Призван, избран, верен».

— Да, — сказал секретарь. — Призван богом.

— Правда!

— Избран народом.

— Да.

— Верен и тому и другому.

— До плахи!

Трудно описать то волнение, с каким лорд отвечал на подсказки секретаря, стремительность его речи, возбужденные жесты и тон, в которых сквозь обычную сдержанность пуританина прорывалось что-то неукротимое, почти исступление. Несколько минут он быстро шагал из угла в угол, затем круто остановился и воскликнул:

— Гашфорд, да ведь и вы вчера воодушевили их! Да, да, и вы тоже.

— Это ваша заслуга, милорд, — секретарь смиренно приложил руку к сердцу, — я следовал вашему примеру.

— Вы говорили хорошо, — сказал лорд Джордж. — Вы — достойное орудие нашего великого дела. Позвоните, пожалуйста, Джону Груби, пусть перенесет мои

вещи в спальню. И, если вы не очень устали, подождите здесь, пока я разденусь: мы, как всегда, потолкуем о наших делах.

— Устал? Это я-то, милорд? Какая доброта и заботливость! Настоящий христианин!

С этими словами, произнесенными как бы про себя, секретарь наклонил кувшин и пытливо заглянул внутрь, проверяя, сколько там еще осталось вина.

На звонок появились одновременно Джон Уиллет и Джон Груби, первый — с парадным подсвечником, второй — с дорожным мешком, и оба проводили лорда в его спальню. А секретарь, оставшись один, зевал, клевал носом и, наконец, крепко уснул, сидя перед огнем.

Через некоторое время (а ему-то казалось, что он вздремнул только на одну минуту) его разбудил голос Джона Груби над самым его ухом:

— Мистер Гашфорд, милорд уже в постели.

— Ага. Хорошо, Джон, — ответил секретарь мягко. — Спасибо, Джон. Можете идти спать, не дожидаясь меня. Я знаю, где моя комната.

— Хоть бы вы сегодня больше не утруждали себя и не докучали милорду разговорами про Кровавую Марию! — сказал Джон. — И зачем только эта проклятая старуха родилась на свет!

— Я же вам сказал, чтобы вы шли спать, Джон, разве вы не слышали?

— От всех этих Кровавых Марий, да великих королев Бесс, да синих кокард, да «Долой папистов!», от этих протестантских союзов и бесконечных речей милорд и так уже ополоумел, — продолжал Джон Груби, словно не слыша замечания Гашфорда и, как всегда, глядя не на него, а куда-то в пространство. — Стоит вам только выйти на улицу, как за нами бежит с криками «Да здравствует Гордон!» толпа таких оборванцев, что от стыда просто не знаешь, куда глаза девать. Когда сидим дома, они орут, как черти, под окнами. А милорд, вместо того чтобы прогнать их, выходит на балкон да еще унижается перед ними, произносит речи, называет их «согражданами», «сынами Англии», благодарит за то, что пришли, — можно подумать, что он их нежно любит! Далась же им эта злосчастная Кровавая Мария — кричат о ней по-

стоянно до хрипоты. Послушать их, так все они — протестанты, все до единого, от мала до велика. И протестанты эти, как я заметил, — большие охотники до серебряных ложек и всякой серебряной посуды: стоит только оставить открытым черный ход, как всё утащат. Ну, да это еще полбеды, дай-то бог, чтобы чего похуже не было. Если вовремя не уймете этих бесноватых, мистер Гашфорд, — а вы-то и подливаете масла в огонь, знаю я вас! — так потом уже и вы с ними не справитесь. В один прекрасный день, когда наступит жаркая погода и у «протестантов» этих пересохнет в глотках, они разнесут вдребезги весь Лондон. Знаменитую Кровавую Марию — и ту перещеголяют.

Гашфорд давно скрылся, и тирада Джона Груби была обращена к пустой комнате. Ничуть не обескураженный этим открытием, Джон нахлобучил шляпу задом наперед, чтобы не видеть и тени ненавистной ему кокарды, и отправился спать, всю дорогу до своей комнаты уныло и зловеще качая головой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

А Гашфорд пошел в спальню своего хозяина, приглаживая на ходу волосы и напевая сквозь зубы какой-то псалом. На его улыбающемся лице написаны были почтительность и глубочайшее смирение. Подходя к двери лорда Джорджа, он откашлялся и запел громче.

Поведение его удивительно противоречило выражению лица, злобному и крайне отталкивающему, когда его никто не видел. Мрачно нависшие брови почти скрывали глаза, губы презрительно кривились, и даже приподнятые плечи, казалось, насмешливо перешептывались с большими отвислыми ушами.

— Тсс! — произнес он вполголоса, заглянув в спальню. — Кажется, уснул. Дай-то бог! Столько забот, бессонных ночей, о стольких вещах приходится думать! Да хранит бог этого великомученика. Если есть святой человек в нашем грешном мире, так это — он.

Поставив на стол свечу, он на цыпочках подошел к камину, сел перед ним, спиной к кровати, и продолжал говорить вслух, якобы рассуждая сам с собой:

— Спаситель родной страны и веры, друг бедняков, враг гордецов и жестокосердых, надежда всех отверженных и угнетенных, кумир сорока тысяч смелых и верных английских сердец! Какие блаженные сны, должно быть, снятся ему!

Тут Гашфорд вздохнул, погрел руки над огнем, покачал головой, как бы от избытка чувств, испустил вздох и опять протянул руки к огню.

— Это вы, Гашфорд? — окликнул его лорд Джордж — он вовсе не спал и, повернувшись на бок, наблюдал за секретарем с той минуты, как тот вошел в спальню.

— Ах, милорд! — Гашфорд вздрогнул и оглянулся, изобразив крайнее изумление. — Я вас разбудил!

— Я не спал.

— Не спали! — повторил Гашфорд с напускным смущением. — Не знаю, как и оправдаться перед вами, — я вслух в вашем присутствии высказывал свои мысли. Но я все это думаю искренне, искренне! — воскликнул он, торопливо проводя рукавом по глазам. — К чему же сожалеть, что вы услышали?

— Да, Гашфорд, — взволнованно сказал бедный одураченный лорд, протягивая ему руку, — не сожалейте об этом. Я знаю, как горячо вы меня любите. Слишком горячо, — я не заслуживаю такого поклонения.

Гашфорд, ничего не отвечая, схватил руку лорда Джорджа и прижал ее к губам. Затем, встав, достал из дорожного мешка шкатулку, поставил ее на стол у камина, отпер ключом, который носил при себе, и, сев за стол, достал гусиное перо. Прежде чем обмакнуть в чернильницу, он пососал его — быть может, для того, чтобы скрыть усмешку, все еще бродившую на губах.

— Ну, сколько же у нас теперь в Союзе верных после недавнего призыва? — осведомился лорд Джордж. — Действительно, сорок тысяч человек, или мы по-прежнему берем такую цифру только для круглого счета?

— Записано теперь даже больше сорока тысяч. На двадцать три человека больше, — ответил Гашфорд, просматривая бумаги.

— А фонды Союза?

— Не очень-то растут, но и в нашей пустыне перепадает манна небесная, милорд... В пятницу вечером поступили кое-какие лепты вдовиц... От сорока мусорщиков три шиллинга четыре пенса, от престарелого церковного сторожа прихода святого Мартина — шесть пенсов. От звонаря другой церкви — шесть пенсов, от новорожденного младенца протестанта — полпенса, от объединения факельщиков — три шиллинга, из них один фальшивый. От арестантов-антипапистов из Ньюгетской тюрьмы — пять шиллингов четыре пенса, от друга из Бедлама — полкроны. От палача Денниса — один шиллинг...

— Этот Деннис — ревностный член нашего Союза, — заметил лорд Гордон. — Вот и в прошлую пятницу я его видел в толпе на Уэлбек-стрит.

— Прекрасный человек, — подтвердил секретарь, — надежный, преданный и истинно верующий.

— Его следует поощрить, — сказал лорд Джордж. — Отметьте его в списке, а я с ним побеседую.

Гашфорд исполнил это приказание и продолжал читать список жертвователей:

— «Поклонники Разума» — полгинеи, «Друзья Свободы» — полгинеи, «Друзья Мира» — полгинеи, «Друзья Милосердия» — полгинеи, «Общество Памятующих о Кровавой Марии» — полгинеи, «Союз Непоколебимых» — полгинеи.

— Эти «Непоколебимые», кажется, новое объединение? — спросил лорд Джордж, лихорадочно грызя ногти.

— Это бывшие Рыцари-Подмастерья, милорд. Прежние члены этого общества постепенно выходили из него, когда кончался срок их учения, и потому общество переменило название, хотя в нем и сейчас есть немало подмастерьев и ремесленников.

— Как зовут их председателя? — спросил лорд Джордж.

— Председатель, — Гашфорд заглянул в свой список, — мистер Саймон Тэппертит.

— Ага, вспомнил! Это тот человечек, что иногда приходит на наши собрания с пожилой сестрой, а иногда — с другой женщиной... она, наверное, ревностная протестантка, но далеко не красавица.

— Он самый, милорд.

— Тэппертит, кажется, горячий сторонник нашего дела, не так ли, Гашфорд? — задумчиво спросил лорд Джордж.

— Да, милорд, один из самых рьяных. Он, как боевой конь, уже издалека чует битву. Во время уличных шествий он, точно одержимый, бросает в воздух шляпу и произносит зажигательные речи, стоя на плечах у товарищей!

— Отметьте Тэппертита, — приказал лорд Гордон. — Пожалуй, его следует назначить на ответственный пост.

— Ну, вот и все, — сказал секретарь, поставив птичку против фамилии Тэппертита. — Да, еще из копилки миссис Варден (открыта в четырнадцатый раз) — семь шиллингов и шесть пенсов серебром и медяками и полгинеи золотом. Потом — от Миггс (из жалованья за три месяца) — один шиллинг и три пенса.

— Миггс? Это мужчина?

— В списке указано, что женщина, — пояснил секретарь. — Это, кажется, та самая худая и долговязая особа, о которой вы только что сказали, что она далеко не красавица. Она иногда приходит с Тэппертитом и миссис Варден слушать ваши речи, милорд.

— Значит, миссис Варден — это та пожилая дама?

Секретарь утвердительно кивнул головой и кончиком пера почесал переносицу.

— Она — усердный член нашего братства, — заметил лорд Джордж. — Сборы денег проводит с большим рвением и успешно. А муж ее — тоже наш?

— Нет, это человек зловредный, недостойный такой жены, — ответил Гашфорд, складывая бумаги. — Он все еще бродит во тьме и упорно отказывается вступить в наш Союз.

— Тем хуже для него. Послушайте, Гашфорд...

— Да, милорд?

— Как вы думаете? — Лорд Джордж беспокойно заворочался в постели. — Не покинут меня все эти люди, когда придет время действовать? Я смело ратовал за них, я многое поставил на карту и ничего не замалчивал. Неужели же они отступятся от нашего дела?

— Нет, милорд, этого опасаться нечего, — отозвался Гашфорд с многозначительным взглядом, который не

столько предназначался для успокоения лорда Джорджа (так как лорд как раз в эту минуту не смотрел на него), сколько был невольным отражением тайных мыслей секретаря. — Смею вас уверить, этого бояться не приходится.

— А того, что их... — начал лорд Джордж еще нервнее. — ...Но нет, ведь не может быть, чтобы они пострадали за то, что пошли за нами? Правда на нашей стороне, если бы даже сила оказалась против нас. Скажите, положа руку на сердце, вы так же в этом уверены, как я?

— Неужели вы сомневаетесь... — начал секретарь, но лорд Джордж нетерпеливо перебил его:

— Сомневаюсь? Нет. Кто сказал, что я сомневаюсь? Если бы у меня были какие-либо сомнения, разве я бросил бы родных, друзей, все на свете ради нашей несчастной родины? Ради несчастной родины, — говорил он словно про себя раз десять и, подскочив, воскликнул громко: — Ради этой несчастной страны, забытой богом и людьми, отданной во власть опасной лиге сторонников папы, страны, ставшей жертвой порока, идолопоклонства и деспотизма. Кто говорит, что я сомневаюсь? Ведь я призван, избран и верен? Отвечайте, да или нет?

— Да, верен богу, родине и себе! — воскликнул Гашфорд.

— И буду верен всегда. Повторяю: верен, хотя бы меня ждала плаха. Кто еще скажет это о себе? Вы, быть может? Или хоть один человек в Англии?

Секретарь наклонил голову в знак своего полнейшего согласия со всем, что было или будет сказано, и лорд Джордж успокоился. Голова его все ниже опускалась на подушку, и он, наконец, уснул.

Хотя в неистовой горячности изможденного и некрасивого лорда Гордона было что-то нелепо-комичное, вряд ли эта горячность вызвала бы усмешку у человека доброжелательного, а если бы и вызвала, то через минуту этому человеку стало бы совестно. Ибо и пыл лорда Джорджа и все его сомнения были глубоко искренни. Самым худшим в его натуре была нелепая восторженность и тщеславное стремление быть «вождем». В остальном же это был слабый человек — и только. Такова уж печальная участь слабых людей, что даже их

положительные черты — отзывчивость, доброта, доверчивость, все то, что у людей сильных и здравомыслящих является добродетелями, у них превращается в недостатки или даже в явно выраженные пороки.

Все время подозрительно косясь на кровать и внутренне посмеиваясь над глупостью своего хозяина, Гашфорд не вставал с места, пока тяжелое и шумное дыхание лорда Джорджа не убедило его, что можно уже уйти. Он запер шкатулку, положил ее на место (сперва вынув из секретного отделения два каких-то печатных листка) и на цыпочках вышел из комнаты, оглядываясь на бледное лицо спящего, над которым пыльные султаны, украшавшие изголовье парадной кровати, качались уныло и зловеще, как над погребальными дрогами.

На лестнице Гашфорд остановился, прислушался, проверяя, все ли спокойно, и, сняв башмаки, чтобы не потревожить чей-либо чуткий сон, сошел вниз. Здесь он подсунул одно из воззваний под входную дверь, затем тихонько прокрался в свою комнату и бросил через окно во двор вторую бумажку, предусмотрительно завернув в нее камень, чтобы ее не унесло ветром.

Воззвания эти были озаглавлены: «Всем протестантам, к которым это попадет в руки», и гласили:

«Братья! Всем, кто найдет это, следует без промедления присоединиться к сторонникам лорда Джорджа Гордона. Настали смутные и грозные времена, готовятся великие события. Внимательно прочтите это воззвание, сберегите его и передайте другим. За короля и Англию! Союз Протестантов»

— Сеем и сеем, — промолвил Гашфорд, закрывая окно. — А когда же придет время жатвы?

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Все, что окружено тайной, хотя бы это было нечто чудовищное или до смешного нелепое, обладает загадочным очарованием и притягательной силой, неотразимо действующими на толпу. Лжепророки, лжесвященники,

лжепатриоты, лжечудотворцы всех видов очень успешно пользовались всегда людским легковерием, и если они на время брали верх над Истиной и Разумом, то были обязаны своим успехом скорее таинственности, чем многим другим средствам из арсенала лжи и плутовства. С сотворения мира любопытство — самая непреодолимая человеческая слабость. Пробуждать это любопытство, разжигать его, удовлетворяя лишь наполовину, так, чтобы всегда что-то оставалось неразгаданным, — вернейший путь к власти над невежественными умами.

Если бы кто-нибудь стал на Лондонском мосту и до хрипоты призывал прохожих вступить в Союз, возглавляемый лордом Джорджем Гордоном (цели этого Союза были никому не понятны, в чем и крылся секрет его успеха), — он, вероятно, завербовал бы за месяц каких-нибудь два десятка сторонников. Если бы всех ревностных протестантов публично призывали объединиться заведомо для того, чтобы время от времени петь хором гимны, слушать скучные речи и, наконец, посылать в парламент протесты против отмены законов, преследующих католических священников, наказующих пожизненным заключением тех, кто воспитывает детей своих в католической вере, и лишающих всех католиков права наследовать или приобретать в Соединенном Королевстве всякого рода недвижимое имущество, — то все эти цели, столь мало говорящие уму и сердцу простого народа, могли бы увлечь разве какую-нибудь сотню людей. Но когда пошла глухая молва, что под видом Союза Протестантов какая-то тайная организация с неведомыми, грандиозными планами действует против правительства, когда зашептались повсюду о сговоре католических стран, решивших поработить Англию, ввести в Лондоне инквизицию и превратить загоны Смитфилдского рынка * в костры и плахи, когда и в парламенте и вне его некий энтузиаст, сам себя не понимавший, стал сеять тревогу и ужас, и давно отжившие свой век, покоившиеся в могилах пугала были извлечены на свет божий для устрашения легковерных невежд, — и все это делалось втайне, а прокламации с призывом вступить в Великий Протестантский Союз для защиты веры, жизни и свободы разбрасывались украдкой на людных дорогах, подкладыва-

лись под двери домов, влетали в окна, или по ночам на улицах их совали в руки прохожим; когда эти воззвания облепили стены и заборы, лезли в глаза на каждом столбе, каждой тумбе и, казалось, даже неодушевленные предметы вокруг заразились общим страхом, и все побуждало людей вслепую примкнуть к этому неведомому союзу борьбы неизвестно с чем и для чего, — тогда словно безумие охватило всех, и число членов Союза, возрастая день ото дня, достигло сорока тысяч.

Во всяком случае, такую цифру называл в марте 1780 года лорд Джордж Гордон, председатель Союза. А верно это было или нет, мало кто знал или пытался проверить. Союз никогда не устраивал публичных демонстраций, о нем знали только со слов лорда Гордона, и многие считали, что существование такого союза — лишь плод его расстроенного воображения. Воодушевленный, должно быть, успехом мятежа, вспыхнувшего год назад в Шотландии по такому же поводу, лорд Гордон любил разглагольствовать о великом движении протестантов, но в палате общин, членом которой он состоял, с ним мало считались и называли его полоумным, так как он выступал против всех партий, не принадлежа ни к одной. Известно было, что в стране есть недовольные, — но где же их не бывает? Лорд Гордон и раньше имел обыкновение обращаться к народу с речами, писал воззвания и брошюры по разным вопросам, но до сих пор все его усилия ничего не изменили в Англии, и от нынешней его затеи тоже не ожидали ничего. Так же, как появился он перед читателем, лорд время от времени появлялся перед публикой, но на другой же день о нем забывали. И вдруг, так же неожиданно, как он появился на страницах этой повести, после промежутка в пять долгих лет, и сам лорд и его деятельность стали настойчиво привлекать внимание тысяч людей, которые все эти годы участвовали в жизни страны и, не будучи ни слепы, ни глухи к событиям этой жизни, едва ли вспоминали когда-нибудь о лорде Гордоне.

— Милорд, — позвал Гашфорд на другое утро, отдернув полог у кровати и наклонясь к уху лорда Джорджа. — Милорд!

— А? Кто тут? Что такое?

— Било девять, — сказал секретарь, с елейным видом складывая руки. — Хорошо ли вы почивали? Надеюсь, что хорошо. Если молитвы мои услышаны, вы, наверное, восстановили свои силы.

— Признаться, я спал так крепко, — лорд Джордж протер глаза и осмотрелся, — так крепко, что даже не совсем припоминаю... Где это мы?

— Ах, милорд! — воскликнул Гашфорд с улыбкой.

— Впрочем... Да, да, — продолжал лорд Джордж. — Так вы не еврей?

— Еврей? Я? — ахнул благочестивый секретарь, невольно отшатнувшись.

— Понимаете, Гашфорд, мне снилось, что мы с вами евреи. Да, что оба мы — евреи с длинными бородами.

— Господи помилуй! Что вы, милорд! Это не лучше, чем быть папистами!

— Пожалуй, что не лучше, — согласился лорд Гордон. — Вы и в самом деле так думаете, Гашфорд?

— Конечно, — воскликнул секретарь с выражением крайнего изумления.

— Гм... — пробормотал лорд Гордон. — Да, вы, пожалуй, правы.

— Надеюсь, милорд, — начал было секретарь.

— Надеетесь? — перебил его лорд Гордон. — Почему это вы *надеетесь?* Ничего дурного нет в таких мыслях.

— В таких снах, — поправил его секретарь.

— Снах? Нет, и в мыслях наяву.

— «Призван, избран, верен», — произнес Гашфорд, беря со стула часы лорда Джорджа и как бы в рассеянности читая вслух надпись на крышке.

То была мелочь, не стоящая внимания, попросту следствие минутной задумчивости. Но едва прозвучали эти три слова, как лорд Джордж сразу осекся, присмирел и, покраснев, умолк. Словно совершенно не замечая этой перемены, хитрый секретарь, якобы затем, чтобы поднять штору, отошел к окну, чтобы дать лорду Джорджу оправиться от смущения.

— Наше святое дело отлично подвигается, милорд, — сказал он, вернувшись к кровати. — Я и этой ночью не терял времени. Перед тем как лечь, подбросил два воззва-

ния, и к утру оба исчезли. Я целых полчаса пробыл внизу, но не слышал, чтобы кто-нибудь в доме обмолвился о них хоть словечком. Предвижу, что они сделают свое дело, привлекут в наши ряды парочку неофитов, и кто знает, сколько их будет еще, когда господь благословит ваши вдохновенные труды?

— Да, это с самого начала оказалось замечательным средством, — отозвался лорд Джордж. — И сослужило прекрасную службу в Шотландии. Вот мысль, вполне достойная вас... Вы мне напомнили, Гашфорд, что не следует лениться, когда нашему винограднику грозит гибель под ногами папистов. Распорядитесь, чтобы оседлали лошадей, надо ехать и приниматься за дело!

Он сказал это, покраснев от волнения, и так пылко, что секретарь счел дальнейшее воздействие на него излишним и молча вышел.

«Ему снилось, что он еврей! — рассуждал он мысленно, закрыв за собой дверь спальни. — А ведь он может и наяву дойти до этого, это даже довольно вероятно. Что ж, я не против — при условии, что ничего на этом не потеряю. Религия евреев подойдет мне не хуже всякой другой. Среди евреев есть богатые люди... Притом мне порядком надоело бриться. Да, право, я ничего не имею против такой перемены. Но до поры до времени мы должны быть самыми ревностными христианами. Наш пророческий девиз пригодится для всех религий по очереди — это большое удобство».

Занятый такими утешительными размышлениями, Гашфорд сошел в столовую и позвонил, чтобы ему подали завтрак.

Лорд Джордж оделся быстро (его незатейливый туалет не требовал ни времени, ни усилий) и, так как его умеренность в еде равнялась пуританской строгости его одежды, он очень скоро управился со своим завтраком. Зато его секретарь, потому ли, что он больше ценил радости земного существования, или больше заботился о поддержании своих духовных и физических сил на благо великой миссии протестантов, добросовестно ел и пил до последней минуты, и только после трех-четырех напоминаний со стороны Джона Груби нашел в себе мужество оторваться от обильного стола мистера Уиллета.

Утирая жирные губы, он сошел вниз, уплатил по счету и, наконец, сел на свою лошадь. Лорд Джордж, который, поджидая его, прохаживался перед домом и, энергично жестикулируя, разговаривал сам с собой, тоже вскочил в седло и, ответив на торжественный поклон Джона Уиллета и прощальные возгласы десятка зевак, которые толпились у крыльца гостиницы, привлеченные сюда вестью, что в «Майском Древе» ночевал настоящий живой лорд, они тронулись в путь с Джоном Груби в арьергарде.

Мистеру Уиллету еще накануне вечером внешность лорда Джорджа Гордона показалась несколько странной, а поутру впечатление это еще во сто раз усилилось. Сидя прямо, как палка, на костлявой лошади, угловатый и нескладный, он подскакивал и мотался всем телом при каждом ее движении, некрасиво выставив локти, а его длинные прямые волосы развевались по ветру, — трудно было представить себе что-нибудь нелепее и комичнее этой фигуры. Вместо хлыста он держал в руке длинную трость с золотым набалдашником, столь же внушительную, как булава современного лакея, и самая его манера держать это громоздкое оружие — то прямо перед собой, как кавалерист держит саблю, то на плече, как мушкет, то между большим и указательным пальцами, и всегда одинаково неуклюже и неловко — делало лорда Гордона еще более смешным. Его худоба, его чопорная, важная осанка, необычайный костюм, подчеркнутая — невольно или умышленно — странность манер, природные и напускные черты, отличавшие его от других людей, могли бы вызвать смех у самого сурового зрителя, и этим объяснялись улыбки, перешептывания и насмешки, которыми его провожали, когда он уезжал из «Майского Древа».

Совершенно не замечая, какое он производит впечатление, лорд Гордон ехал рысцой рядом со своим секретарем, почти всю дорогу разговаривая сам с собой. В двух-трех милях от Лондона на дороге стали уже попадаться прохожие, знавшие лорда в лицо; они указывали на него тем, кто его не знал, иногда останавливались и смотрели ему вслед или — одни в шутку, другие всерьез — кричали: «Ура, Джорди! Долой папистов!» А он в ответ торжественно снимал шляпу и кланялся.

Когда всадники добрались до города и ехали по улицам, на лорда все чаще обращали внимание, встречая его то смехом, то свистом. Иные оглядывались на него и улыбались, другие с удивлением спрашивали, кто он такой, и по мостовой рядом с его лошадью бежали какие-то люди, приветствуя его криками. Там, где был затор телег, портшезов, карет и приходилось останавливать лошадь, лорд Гордон, сняв шляпу, кричал «Джентльмены, долой папистов!», на что «джентльмены» отвечали громовым девятикратным «ура»; затем он продолжал путь, а за ним бежали десятка два самых неприглядных оборванцев и орали до хрипоты.

Приветствовали его и старушки — их на улицах было немало, и все они знали лорда Гордона. Некоторые — не очень-то высокопоставленные, всякие разносчицы и торговки фруктами — хлопали сморщенными руками и кричали старчески-пискливыми или пронзительными голосами: «Ура, милорд!» Старушки махали, кто рукой, кто платком, веером или зонтиком, а в домах распахивались окна, и те, кто высовывался, звали всех остальных посмотреть на милорда. Все эти знаки почтения лорд Гордон принимал с глубочайшей серьезностью и признательностью, кланяясь в ответ очень низко и так часто, что голова его почти все время оставалась непокрытой, и, проезжая, поднимал глаза к окнам с видом человека, который совершает торжественный въезд и хочет показать, что он ничуть не возгордился.

Так их кортеж проследовал (к величайшему неудовольствию Джона Груби) по всему Уайтчеплу, по Лиденхолл-стрит и Чипсайду до «Погоста св. Павла» *. Подъехав к собору, лорд Гордон остановился, сказал что-то Гашфорду и, подняв глаза к величественному куполу, покачал головой, словно говоря: «Церковь в опасности!» Тут окружавшая их толпа, разумеется, снова принялась драть глотки. И лорд двинулся дальше под громкие крики, кланяясь еще ниже.

Так проехал он по Стрэнду, затем улицей Ласточек до Оксфорд-роуд и, наконец, добрался до своего дома на Уэлбек-стрит близ Кэвендиш-сквера. Здесь он, взойдя на крыльцо, простился с проводившими его до самого дома двумя-тремя десятками зевак, воскликнув: «Джентль-



мены, долой папистов! Прощайте, храни вас бог!» Такого короткого прощанья никто не ожидал, оно вызвало общее недовольство и крики: «Речь! Речь!» Это требование было бы выполнено, если бы рассвирепевший Джон Груби не налетел на толпу с тремя лошадьми, которых он вел в конюшню, и не заставил всех разбежаться по соседним пустырям, где они принялись играть в орлянку, чет и нечет, лунку, стравливать собак и предаваться другим невинным протестантским развлечениям.

После полудня лорд Джордж снова вышел из дому, облаченный в черный бархатный кафтан, клетчатые панталоны и жилет традиционных цветов шотландского клана Гордонов — всё такого же квакерского покроя. В этом костюме, придававшем ему еще более эксцентричный и нелепый вид, он пешком отправился в Вестминстер *. А Гашфорд усердно занялся делами и все еще сидел за работой, когда — уже в сумерки — Джон Груби доложил ему, что его спрашивает какой-то человек.

— Пусть войдет, — сказал Гашфорд.

— Эй, вы, входите! — крикнул Джон кому-то, стоявшему за дверью. — Вы ведь протестант?

— Еще бы! — отозвался чей-то низкий и грубый голос.

— Оно и видно, — заметил Джон Груби. — Где бы я вас ни встретил, сразу признал бы в вас протестанта. — С этими словами он впустил посетителя и вышел, закрыв за собой дверь.

Перед Гашфордом стоял приземистый, плотный мужчина с низким и покатым лбом, копной жестких волос и маленькими глазками, так близко посаженными, что, казалось, только его перебитый нос мешал им слиться в один глаз нормального размера. Шея его была обмотана грязным платком, скрученным жгутом, из-под которого видны были вздутые жилы, постоянно пульсировавшие, словно под напором сильных страстей, злобы и ненависти. Его вельветовый костюм, сильно потертый и засаленный, вылинял так, что из черного стал серовато-бурым, как зола, выколоченная из трубки или пролежавшая весь день в погасшем камине, носил следы многих попоек и от него исходил крепкий запах портовых кабаков. Штаны на коленях были стянуты вместо пряжек обрыв-

ками бечевки, а в грязных руках он держал суковатую палку с набалдашником, на котором было вырезано грубое подобие его собственной отталкивающей физиономии. Этот посетитель, сняв свою треуголку, со скверной усмешкой поглядывал на Гашфорда, ожидая, пока тот удостоит его внимания.

— А, это вы, Деннис! — воскликнул секретарь. — Садитесь.

— Я только что встретил милорда, — сказал Деннис, указывая большим пальцем в ту сторону, где, видимо, произошла встреча. — А он мне и говорит — милорд, то есть... «Если вам, говорит, делать нечего, сходите ко мне домой да потолкуйте с мистером Гашфордом». Ну, а в этот час, сами понимаете, какое у меня может быть дело? Я работаю только днем. Ха-ха-ха! Вышел подышать свежим воздухом и повстречал милорда. Я, как сыч, мистер Гашфорд, прогуливаюсь по ночам.

— Но бывает, что и днем, а? — сказал секретарь. — Когда выезжаете в полном параде?

— Ха-ха-ха! — Посетитель громко захохотал и шлепнул себя по ляжке. — Такого шутника, как вы, мистер Гашфорд, во всем Лондоне и Вестминстере не сыщешь! И у милорда нашего язык хорошо подвешен, но против вас он просто дурак дураком. Да, да, верно вы сказали — когда я выезжаю в полном параде...

— В собственной карете, — добавил секретарь, — и с собственным капелланом, не так ли? И со всем прочим, как полагается?

— Ох, уморите вы меня! — воскликнул Деннис с новым взрывом хохота. — Ей-ей, уморите!.. А что новенького, мистер Гашфорд? — прибавил он сиплым голосом. — Нет ли уже приказа разгромить какую-нибудь папистскую церковь или что-нибудь в этом роде?

— Тсс! — остановил его секретарь, разрешив себе лишь едва заметную усмешку. — Боже упаси! Вы же знаете, Деннис, — мы объединились только для самых мирных и законных действий.

— Знаю, знаю, — подхватил Деннис, прищелкнув языком, — недаром же я вступил в Союз, верно?

— Конечно, — подтвердил Гашфорд с той же усмешкой. А Деннис опять загоготал и еще сильнее хлопнул

себя по ляжке. Нахохотавшись до слез, утирая глаза кончиком шейного платка, он прокричал:

— Нет, право, другого такого шутника днем с огнем не сыскать!

— Мы с лордом Джорджем вчера вечером как раз говорили о вас, — начал Гашфорд после короткого молчания. — Он считает, что вы очень преданы нашему делу.

— Так оно и есть, — подтвердил палач.

— Что вы искренне ненавидите папистов.

— И это верно. — Свое утверждение Деннис подкрепил сочным ругательством. — И вот что я вам скажу, мистер Гашфорд, — он положил на пол шляпу и палку и медленно похлопывал пальцами одной руки по ладони другой. — Заметьте, я на государственной службе, работаю для куска хлеба и дело свое делаю добросовестно. Так или нет?

— Бесспорно, так.

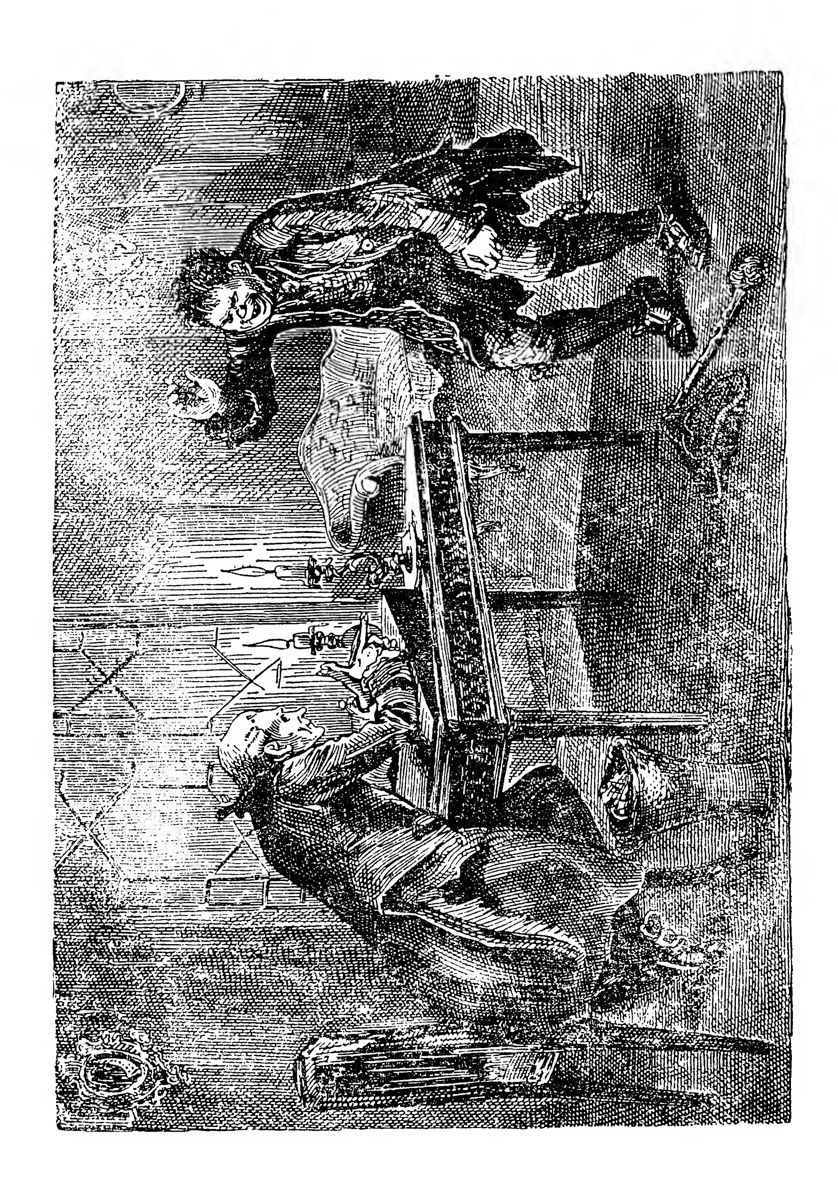
— Отлично. Еще два слова. Ремесло мое — честное, протестантское, английское ремесло, оно установлено законом. Верно я говорю?

— Ни один живой человек в этом не сомневается.

— Да и мертвый тоже. Парламент что говорит? Парламент говорит: «Если мужчина, женщина или ребенок сделает что-нибудь против наших законов...» Сколько у нас сейчас таких законов, что присуждают к виселице, мистер Гашфорд? Пятьдесят наберется?

— Точно не знаю, — ответил Гашфорд, откинувшись в кресле и зевая. — Во всяком случае, их немало.

— Ладно, скажем, полсотни. Значит, парламент говорит: «Если мужчина, женщина или ребенок провинится в чем-нибудь против одного из этих пятидесяти законов, то дело Денниса — покончить с этим мужчиной, или женщиной, или ребенком». Если к концу сессии таких набирается слишком много, в дело вмешивается Георг Третий * и говорит: «Нет, это слишком много для Денниса. Половину я оставляю себе, а половина пойдет Деннису». Бывает и так, что он подкинет мне неожиданно когонибудь в придачу, — вот три года назад подкинули мне Мэри Джонс, молодую бабенку лет девятнадцати, которую привезли в Тайберн с грудным ребенком на руках



и вздернули за то, что она стащила с прилавка в магазине на Ледгет-Хилл штуку холста, хотя, когда торговец это заметил, она положила холст обратно. До того за ней ничего худого не водилось, да и на эту кражу толкнула ее только нужда: мужа за три недели перед тем забрали в матросы, и ей с двумя малышами пришлось побираться. Это все свидетели показали на суде. Ха-ха! Что поделаешь — таков закон и обычай у нас в Англии, а наши законы и обычаи — наша слава. Не так ли, мистер Гашфорд?

— Разумеется, — подтвердил секретарь.

— И когда-нибудь, — продолжал палач, — наши внуки вспомнят дедовские времена и, видя, как с тех пор все переменилось, скажут: «Славное было тогда времечко, а теперь у нас все идет хуже да хуже». Скажут ведь, мистер Гашфорд?

— Несомненно скажут, — согласился секретарь.

— Ну, вот видите ли, — продолжал палач, — если паписты возьмут верх и вместо того, чтобы вешать, начнут варить и жарить людей, что станется с моим ремеслом? А ведь оно — опора закона! Если на него ополчатся, что тогда будет с законами, что будет с религией и всей страной?.. Вы в церкви бывали когда-нибудь, мистер Гашфорд?

— «Когда-нибудь»? — сердито повторил секретарь. — Еще бы!

— Ну, и мне случилось быть там раз — нет, два раза, считая тот, когда меня крестили. И когда я слышал, как молились там за парламент, и вспоминал при этом, сколько новых законов, посылающих людей на виселицу, издает парламент во время каждой сессии, я говорил себе: это за *меня* люди молятся в церкви. Так что понимаете, мистер Гашфорд, — тут палач свирепо потряс своей палкой, — на мое протестантское ремесло посягать нельзя, нельзя менять наши протестантские порядки, и я на все пойду, чтобы этого не допустить. Пусть паписты и не пробуют сунуться ко мне — разве что закон отдаст их мне в обработку. Рубить головы, жечь, поджаривать — всего этого быть не должно. Только вешать — и делу конец. Милорд недаром говорит, что я — парень усердный: чтобы отстоять великие протестантские законы, которые

дают мне работы вволю, я готов, — он стукнул палкой о пол, — драться, жечь, убивать, делать все, что прикажете, какое бы это ни было дьявольское и смелое дело и чем бы оно ни кончилось для меня, хотя бы той же виселицей. Так и знайте, мистер Гашфорд!

Это неоднократное осквернение благородного слова «закон», которым он оправдывал свое гнусное ремесло, Деннис соответственно завершил, с азартом выпалив десятка два ужаснейших ругательств, затем утер лицо все тем же шейным платком и заорал:

— Долой папистов! Клянусь дьяволом, я истинно верующий!

Гашфорд сидел, откинувшись в кресле и устремив на Денниса глаза, так глубоко запавшие и настолько затененные густыми нависшими бровями, что палач совсем не ощущал их взгляда, словно разговаривал со слепым. Некоторое время секретарь молча усмехался, затем сказал, медленно отчеканивая слова:

— Да, вы действительно рьяный протестант, Деннис, бесценный для нас человек, самый верный из всех, кого я знаю в нашем Союзе. Но вам следует себя сдерживать, быть миролюбивым, послушным и кротким, как ягненок. И я уверен, что вы таким будете.

— Ладно, ладно, мистер Гашфорд, там увидим... Думаю, останетесь мною довольны, — отозвался Деннис, тряхнув головой.

— И я так думаю, — сказал секретарь все тем же мягким и многозначительным тоном. — В будущем месяце или в мае, когда билль о льготах папистам будет внесен в палату общин, мы хотим в первый раз созвать всех наших людей. Милорд подумывает о том, чтобы устроить шествие по улицам, — конечно, с самой невинной целью: показать наши силы и сопровождать нашу петицию до самых дверей палаты общин.

— Чем скорее, тем лучше, — сказал Деннис и опять грубо выругался.

— Нас так много, что придется разделиться на отряды, — продолжал Гашфорд, словно не слыша его слов. — И хотя прямых указаний мне не дано, позволю себе сказать, что лорд Джордж считает вас вполне подходящим человеком для того, чтобы стать во главе одного из этих

отрядов. И я тоже не сомневаюсь, что вы будете превосходным командиром.

— Испытайте меня, — сказал палач, отвратительно подмигивая.

— Вы будете сохранять выдержку и хладнокровие, знаю. — Секретарь не переставал улыбаться, пряча глаза так, что его зоркое наблюдение оставалось незаметным для собеседника, — слушаться приказов и строго обуздывать себя. И я уверен, что не введете в беду свой отряд.

— Мистер Гашфорд, я их поведу на... — начал было палач задорно, но вдруг Гашфорд сделал ему знак замолчать и притворился, что пишет, так как в эту минуту Джон Груби открыл дверь и заглянул в комнату.

— Тут к вам пришел еще один протестант, — сказал он.

— Пусть подождет в той комнате, — отозвался секретарь самым слащавым тоном. — Я сейчас занят.

Но Джон уже привел нового посетителя к двери, и тот, непрошенный, ввалился в комнату. Это был Хью, так же неряшливо одетый и такой же беспечно-дерзкий, как всегда.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Гашфорд, заслонив рукой глаза от света, несколько мгновений, сдвинув брови, вглядывался в Хью, — ему казалось, что он где-то недавно видел этого парня, но он не мог припомнить, где и при каких обстоятельствах. Впрочем, его недоумение быстро рассеялось, и раньше чем Хью успел вымолвить хоть слово, лицо Гашфорда прояснилось:

— Ага, помню! Можете идти, Джон, вы мне больше не нужны. А вы, Деннис, пока останьтесь.

— Я к вам, хозяин, — сказал Хью, когда Груби вышел.

— Слушаю вас, мой друг, — отвечал секретарь самым учтивым тоном. — Что привело вас сюда? Надеюсь, мы ничего не забыли в вашей гостинице?

Хью отрывисто рассмеялся и, сунув руку за пазуху, вытащил одно из тех воззваний, которые тайно разбрасывал Гашфорд. Оно было перепачкано, так как пролежало целую ночь на дворе. Бумажку эту Хью положил на стол перед секретарем, предварительно развернув ее на колене и разгладив своей широкой ладонью.

— Вы забыли только вот эту штуку, сэр. Как видите, она попала в хорошие руки.

— А что это такое? — спросил Гашфорд с прекрасно разыгранным изумлением, вертя в руках листок. — Где вы это раздобыли, приятель? И в чем тут дело? Ничего не понимаю.

Немного обескураженный таким приемом, Хью смотрел то на секретаря, то на Денниса, который, стоя у стола, украдкой разглядывал незнакомого парня, чья наружность и повадки, кажется, весьма пришлись ему по вкусу. Решив, что взгляды Хью — немой призыв и к нему тоже, мистер Деннис трижды покачал головой, словно говоря: «Нет, Гашфорд ничего не знает, ручаюсь, что не знает. Побожиться готов!» — и, заслонив лицо от Хью концом грязного шейного платка, кивал головой и хихикал за этим заслоном в знак своего величайшего восхищения хитростью секретаря.

— Да здесь же написано, чтобы тот, кто найдет это, шел сюда, к вам, — сказал Хью. — Я не грамотен, но я показывал это одному знакомому человеку, и он сказал, что так тут сказано.

— Совершенно верно, — подтвердил Гашфорд, широко открывая глаза. — Вот чудеса! Как эта бумажонка попала к вам, милейший?

— Мистер Гашфорд! — свистящим шепотом сказал палач. — Во всем Ньюгете нет вам равного!

Услышал ли Хью эти слова, догадался ли по гримасам Денниса, что его морочат, или, быть может, еще раньше разгадал хитрости секретаря, — но он, по своему обыкновению, сразу пошел напролом.

— Послушайте, — сказал он, протянув руку и отобрав у секретаря воззвание. — Хватит уже толковать про эту бумажку, да про то, что̀ в ней говорится. Вы ничего не знаете, а я еще меньше, и он, — Хью взглянул на Денниса, — тоже. Словом, никто из нас не знает, откуда она

взялась, для чего писана, — и делу конец. А пришел я к вам вот зачем: хочу идти против католиков. Я антипапист и готов записаться в ваш Союз и принять присягу.

— Запишите его, мистер Гашфорд, — одобрительно сказал Деннис. — Вот за это люблю молодца — приступает прямо к делу, без обиняков и лишней болтовни!

— А на кой черт стрелять мимо цели? — отозвался Хью.

— Вот и я это самое говорю, — сказал палач. — Ты, я вижу, как раз такой парень, какие мне требуются в мой отряд. Мистер Гашфорд, кончайте это дело, внесите его в списки. Пусть он будет моим крестником, а в честь его крещения мы зажжем костры на развалинах Английского банка *.

После этих и других столь же лестных выражений доверия мистер Деннис наградил Хью энергичным тумаком в спину, на что Хью не замедлил ответить тем же.

— Долой папистов, брат! — крикнул палач.

— Долой богачей, брат! — откликнулся Хью.

— Папистов, папистов! — поправил его секретарь с присущей ему кротостью.

— Это все равно! — воскликнул Деннис. — Верно он говорит! Долой всех и все, мистер Гашфорд, и да здравствует протестантская вера! Действовать пора, мистер Гашфорд! Самое время!

Секретарь, весьма благосклонно наблюдавший эту демонстрацию патриотических чувств, только что хотел сделать какое-то замечание, как Деннис, подойдя к нему вплотную и прикрывая рот рукой, подтолкнул его локтем и хриплым шепотом сказал:

— Вы пока не распространяйтесь насчет моей государственной должности, мистер Гашфорд. У людей, знаете ли, есть разные предрассудки, ему мое ремесло может не понравиться. Подождите, пока мы с ним ближе сойдемся. А парень хорош, верно? И сложен-то как!

— Да, здоровенный малый.

— Поглядите на него, мистер Гашфорд, — продолжал шептать Деннис с тем опасным восхищением, с каким, вероятно, голодный каннибал способен смотреть даже на близкого друга. — Видали вы когда-нибудь, — тут он еще ближе нагнулся к уху секретаря и заслонил рот уже обе-

ими ладонями, — такую шею? Вот уж, можно сказать, есть на что надеть петлю! Вы только гляньте!

Секретарь согласился, призвав на помощь весь свой светский такт (трудно профану разделять такие чисто профессиональные и потому несколько своеобразные вкусы), и, задав кандидату несколько обычных вопросов, принял его в члены Великого Протестантского Союза Англии. Благополучное окончание этой церемонии доставило мистеру Деннису истинное удовольствие, перешедшее в настоящий восторг, когда он услышал, что новый член Союза не умеет ни читать, ни писать. Ибо (так клятвенно уверял Деннис) эти два искусства — величайшее из бедствий, когда-либо постигавших цивилизованное человечество, и ничто так не вредит общественно-полезному и доходному делу, которое он, Деннис, имеет честь выполнять на своем государственном посту.

Внеся Хью в список, Гашфорд своим обычным тоном предупредил его, что у сообщества, в которое он вступил, цели мирные и строго законные (во время этого разъяснения мистер Деннис беспрестанно подталкивал Хью локтем и делал какие-то странные гримасы), и затем дал понять обоим гостям, что он желает остаться один. Они тотчас распрощались с ним и вместе вышли на улицу.

— Ты куда, братец? — спросил Деннис. — Идешь прогуляться?

— Пойду, куда хотите, — отозвался Хью.

— Вот это по-компанейски, — одобрил его новый знакомый. — Куда бы нам пойти?.. Давай-ка посмотрим на те двери, в которые мы скоро здорово забарабаним, — согласен?

Хью ответил утвердительно, и они не спеша зашагали по направлению к Вестминстеру, где тогда заседали обе палаты парламента. Замешавшись в толпу слуг, носильщиков, факельщиков, рассыльных и всякого рода зевак, теснившихся среди лошадей и экипажей, они долго слонялись здесь, и новый знакомый Хью с многозначительными ужимками указывал ему, где самые незащищенные и доступные части здания, объяснял, как легко пробраться в кулуары, а оттуда — до самых дверей палаты общин, и если войти толпой, то выкрики несомненно будут услышаны в зале заседания. Все эти и многие дру-

гие сведения такого же рода Хью выслушивал с явным удовольствием. Деннис называл ему также членов палаты лордов и палаты общин, входивших в здание или выходивших оттуда, объяснял, кто из них — друг католиков, кто — враг, советовал хорошенько рассмотреть и запомнить их экипажи и ливреи их лакеев, чтоб отличить их, когда понадобится. Порой Деннис тащил Хью к окнам проезжавшей кареты, чтобы он рассмотрел при свете фонарей лицо ее владельца. Он проявлял во всем такую осведомленность, какая могла быть только результатом основательного изучения. И в самом деле, позднее, когда Хью и Деннис больше сблизились, Деннис признался ему, что давно уже собирает такого рода сведения.

Но больше всего поразило Хью то, что в толпе он приметил множество людей, которые группами — по двое или по трое — шныряли здесь, видимо с одной и той же тайной целью. С большинством этих людей спутник Хью обменивался только едва заметным кивком или взглядом, но по временам кто-нибудь из них подходил и, среди окружающей сутолоки, став рядом с Деннисом, но не поворачивая головы, будто и не видя его, тихо произносил несколько слов, на которые тот отвечал так же осторожно. Затем они расходились, как чужие. Иные из этих людей часто появлялись снова, неожиданно вынырнув из толпы около Хью, и, проходя, пожимали ему руку или пристально заглядывали в лицо, но не заговаривали с ним, так же как и он с ними: ни один не обмолвился ни словом.

Любопытно было и то, что, когда бы Хью ни опустил глаза, он видел, как протягивалась чья-то рука и, сунув бумажку в карман или в руку стоящего рядом человека, исчезала так внезапно, что невозможно было уследить за ней. И ни на одном из окружающих лиц быстрый взгляд Хью не мог уловить ни малейшего смущения или удивления. Он то и дело замечал у себя под ногами такие листки, как тот, что он прятал за пазухой, но Деннис шепотом приказывал ему не поднимать их, даже не смотреть на них. И они проходили, не трогая ни одного.

Прослонявшись таким манером перед парламентом и по всем окрестным улицам чуть не два часа, друзья

повернули обратно, и Деннис спросил у Хью, что он думает обо всем виденном и готов ли принять участие в жарком деле, если дойдет до этого.

— Чем жарче, тем лучше, — ответил тот. — Я на все готов.

— Я тоже, — объявил его новый знакомый. — И не мы одни, таких много.

Они скрепили свои слова рукопожатием, торжественной клятвой и градом ужасных ругательств по адресу папистов.

Так как после столь долгой прогулки им захотелось промочить горло, Деннис предложил пойти вместе в «Сапог», где всегда имеется веселое общество и крепкие напитки. Хью охотно согласился, и они, не теряя времени, отправились туда.

Дом, в котором помещался трактир под вывеской «Сапог», стоял одиноко среди пустырей, за Приютом для подкидышей. В те времена это было довольно пустынное место, а по вечерам и совсем безлюдное. Трактир стоял в стороне от проезжих дорог, в конце темного и узкого проулка, так что Хью был очень удивлен, застав здесь довольно многочисленную компанию, которая выпивала и бурно веселилась. Еще больше поразился он, когда увидел здесь знакомые лица — почти всех тех, кого приметил сегодня в толпе перед парламентом. Но Деннис при входе шепотом предупредил его, что в «Сапоге» не принято проявлять излишнее любопытство, и потому Хью ничем не выдал своего удивления и сделал вид, что никого здесь не знает.

Когда им подали вино, Деннис первым делом громко провозгласил тост за здоровье лорда Джорджа Гордона, председателя Великого Протестантского Союза, и Хью с надлежащим воодушевлением поддержал этот тост. Находившийся среди посетителей скрипач, признанный менестрель этой почтенной компании, тотчас заиграл шотландскую плясовую, да так лихо, что Хью и его приятель, бывшие уже под хмельком, разом, словно сговорившись, вскочили с мест и, к великому восторгу зрителей, исполнили какой-то импровизированный антипапистский танец.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Еще не затихли аплодисменты, вызванные пляской Хью и Денниса, и оба танцора не успели отдышаться после столь неистовых упражнений, как честная компания получила подкрепление: в трактир прибыли новые посетители, отряд «Непоколебимых», встреченный самыми лестными знаками внимания и уважения.

Командиром этого маленького отряда — он состоял только из троих людей, включая командира, — был наш старый знакомый, мистер Тэппертит, чье бренное тело с годами как будто еще усохло (особенно поражали худобой его ноги), зато дух окреп, а чувство собственного достоинства и уважение к себе возросли до гигантских размеров. Самому ненаблюдательному человеку бросалось в глаза это состояние души бывшего подмастерья, ибо оно безошибочно и ярко сказывалось в его величавой походке и горящем взоре, о нем с потрясающей выразительностью свидетельствовал и вздернутый нос, который Сим с глубочайшим презрением воротил от всего земного и устремлял к небесам, родине высоких душ.

Мистер Тэппертит, как вождь и глава «Непоколебимых», явился в сопровождении двух адъютантов: один был товарищ его юности, долговязый Бенджамен, другой — Марк Джилберт, в былые времена принятый в Общество Рыцарей-Подмастерьев и работавший у Томаса Керзона на Голден-Флис. Оба эти джентльмена, как и Тэппертит, уже освободились от кабалы ученичества и работали по найму, как свободные ремесленники. Смиренно соревнуясь со своим славным вождем, отважные молодые люди мечтали сыграть выдающуюся роль в великих политических событиях. Этим объяснялась их связь с Протестантским Союзом, которому в их глазах придавало вес имя лорда Джорджа Гордона, и это привело их сегодня в «Сапог».

— Рад видеть вас, джентльмены! — начал мистер Тэппертит и снял шляпу жестом великого полководца, приветствующего свои войска. — Милорд просил меня передать вам привет, оказав этим честь и мне и вам.

— Вы видели милорда? — спросил Деннис. — Я тоже встретился с ним сегодня.

— Да, сэр. После закрытия мастерской мне пришлось отправиться по делам в кулуары палаты, там-то я с ним и встретился, — пояснил мистер Тэппертит, когда он и его адъютанты уселись. — Как поживаете?

— Весело живем, друг, весело! — отозвался Деннис. — А вот вам и новый брат, записан по всем правилам, черным по белому, мистером Гашфордом. Он для нашего дела — находка. Хват! Люблю таких. Поглядите-ка на него! Ну, что скажете — хорош? — воскликнул он, шлепнув Хью по спине.

— Не знаю, хорош или нет, — сказал Хью, с пьяной удалью размахивая рукой. — Но я для вас самый подходящий человек. Ненавижу папистов, всех до единого. Они меня ненавидят, а я — их. Они мне вредят, чем только могут, а я им постараюсь насолить как только смогу. Ура!

— Ну? — сказал Деннис, обводя всех взглядом, когда затихли раскаты громового голоса Хью. — Видали вы когда-нибудь такого боевого молодца? Знаете, братцы, что я вам скажу? Исходи мистер Гашфорд хоть сотню миль и завербуй хоть полсотни людей, все они вместе и в подметки не будут годиться этому одному.

Большинство безусловно согласилось с таким мнением и выражало Хью доверие весьма выразительными кивками и подмигиваньем. Мистер Тэппертит со своего места созерцал Хью долго и молча, воздерживаясь от чересчур поспешного суждения, потом придвинулся к нему поближе, «пронзил» его взором и, наконец, подошел к нему вплотную и отвел в сторону, в темный угол.

— Послушайте, — начал он, напряженно морща лоб. — Я, кажется, где-то уже встречал вас?

— Не знаю, — ответил Хью своим обычным небрежным тоном. — Может, и встречали. Ничего тут нет удивительного.

— Но это же очень легко проверить, — возразил Сим. — Посмотрите-ка на меня. Вы-то *меня* видели? Если видели когда-нибудь, так вряд ли могли забыть. Глядите хорошенько, не бойтесь, никакого вреда вам не будет. Ну?

Ободряющий тон мистера Тэппертита и его заверения, что Хью может его не бояться, сильно насмешили Хью. Он не мог даже разглядеть стоявшего перед ним человечка, потому что закрыл глаза в приступе бурного хохота, потрясавшего его могучее тело. Он хохотал до колик.

— Будет! — сказал мистер Тэппертит, немного раздраженный столь бесцеремонным поведением. — Так вы меня знаете или нет?

— Нет! — крикнул Хью сквозь смех. — Ха-ха-ха! Не знаю, но очень хотел бы поближе познакомиться.

— А я готов держать пари на целых семь шиллингов, что вы служили конюхом в «Майском Древе», — сказал мистер Тэппертит. Скрестив руки и широко расставив ноги, он стоял перед Хью как вкопанный и смотрел ему в лицо.

Услышав эти слова, Хью открыл глаза и с величайшим изумлением уставился на мистера Тэппертита.

— Да, так оно и есть, — продолжал тот, со снисходительной шутливостью подталкивая Хью. — Мои глаза меня никогда не обманывают, они могут обмануть разве только какую-нибудь молодую леди. Ну, узнаете?

— Гм... Да вы, кажись... — Хью нерешительно умолк.

— Кажись? А вы все еще не уверены? Гейбриэла Вардена помните?

Разумеется, Хью помнил Гейбриэла Вардена. И Долли Варден тоже — но *этого* он не сказал мистеру Тэппертиту.

— А помните, как вы пришли к нему в дом, когда я еще служил у него подмастерьем, справиться насчет одного бездельника, который удрал, оставив безутешного отца в полном отчаянии и все такое? Помните? — спросил мистер Тэппертит.

— Конечно, помню! — воскликнул Хью. — Значит, вот где я вас видел.

— Еще бы! Я думаю, видел. Хорош был бы этот дом без меня! А помните, как я вообразил, будто вы — друг того бродяги, и чуть было не затеял с вами ссору, но когда оказалось, что вы его смертельно ненавидите, предложил вам выпить со мной? Неужто не помните?

— Помню, помню!

— Вы и теперь питаете к нему такие же чувства? — допытывался мистер Тэппертит.

— Еще бы! — прорычал Хью.

— Вот это речь настоящего мужчины! И я охотно пожму вам руку, — объявил мистер Тэппертит и немедленно перешел от слов к делу, а Хью с готовностью откликнулся на его любезность, и они торжественно, с подчеркнутой сердечностью, пожали друг другу руки.

— Оказывается, мы с этим джентльменом старые знакомые, — сказал мистер Тэппертит, обращаясь ко всему обществу. Затем он снова повернулся к Хью.

— И вы с тех пор больше ничего не слыхали об этом мерзавце?

— Ничего, — ответил Хью. — И не желаю о нем слышать и вряд ли услышу. Надеюсь, он давно сломал себе шею.

— Надо надеяться, что это так, ради блага всего человечества и счастья нашего общества, — изрек мистер Тэппертит, отирая правую ладонь о штаны и то и дело осматривая ее. — А другая рука у вас почище? Ну-ка, покажите. Нет, почти такая же. Ладно, второе рукопожатие считайте за мной. Если вы ничего не имеете против, предположим, что оно состоялось.

Хью снова покатился со смеху. Он хохотал так бурно, что, казалось, руки и ноги у него сейчас оторвутся и все тело разлетится на куски. Но мистер Тэппертит не только не рассердился за этот взрыв необузданного веселья, а наблюдал его в высшей степени благосклонно и даже принял в этом веселье некоторое участие, насколько это позволяли приличия и благопристойность, обязательные для такого серьезного и видного человека.

Мистер Тэппертит этим не ограничился, как сделали бы на его месте многие общественные деятели: он подозвал своих адъютантов и представил им Хью в самых лестных выражениях, сказав, что в наше время такому человеку просто цены нет. Затем он удостоил заметить, что Хью был бы находкой даже для «Непоколебимых» и Союз этот мог бы гордиться таким членом. Убедившись после осторожных расспросов, что Хью весьма не прочь вступить в него (ибо Хью был вовсе не привеpед-

лив, а в этот вечер готов был присоединиться к кому угодно, для какой угодно цели), мистер Тэппертит тут же, не сходя с места, распорядился, чтобы были выполнены все необходимые формальности. Таким признанием великих заслуг Хью более всех был доволен мистер Деннис, о чем он и заявил, сопровождая свои слова отборными и виртуозными ругательствами, к неподдельному восторгу всего общества.

— Распоряжайтесь мной, как хотите! — кричал Хью, размахивая кружкой, которую он уже не раз опорожнил. — Давайте мне любое дело. Я — ваш. Я на все согласен. Вот он, мой начальник, мой вождь! Ха-ха-ха! Пусть только скомандует, и я выйду в бой один против всего парламента или подожгу факелом хотя бы трон самого короля.

Тут он с такой силой хлопнул по спине мистера Тэппертита, что тщедушное тело великого человека съежилось до размеров почти невидимых, и снова загоготал так оглушительно, что даже подкидыши в соседнем приюте проснулись и дрожали от испуга в своих кроватках.

Поведение Хью объяснялось тем, что фантастическая нелепость этого нового товарищества всецело занимала сейчас его неповоротливый ум. Уже одно то, что человек, которого он мог бы пальцем раздавить, изображает из себя его начальника и покровителя, казалось ему до того забавным и необычайным, что он не мог сдержать буйного веселья. Он все хохотал и хохотал, сто раз пил за здоровье мистера Тэппертита, кричал, что он, Хью, отныне «Непоколебимый» до мозга костей, и клялся в верности этому Союзу до последней капли крови.

Все его любезности мистер Тэппертит принимал, как должное, как лестную, но вполне естественную дань своим неисчислимым достоинствам и своему превосходству. Его величественное спокойствие и самообладание только еще больше потешали Хью, — словом, между карликом и гигантом в этот вечер был заключен дружественный союз, обещавший быть прочным и длительным, ибо один считал, что он призван повелевать, другой в подчинении ему видел увлекательную забаву. При этом

Хью вовсе не был пассивным подчиненным, который не позволяет себе действовать без четкого приказа начальника. Когда мистер Тэппертит влез на пустую бочку, заменявшую здесь трибуну, и обратился к присутствующим с речью о надвигающихся коренных переменах, Хью стал за его спиной и, хотя сам ухмылялся во весь рот при каждом слове оратора, не давал потачки другим насмешникам и так выразительно размахивал своей дубиной, что те, кто вначале пробовал перебивать Саймона, стали слушать необыкновенно внимательно и громче всех выражали одобрение.

Не думайте, впрочем, что в «Сапоге» гости только шумели и веселились и что все собравшиеся здесь слушали речь мистера Тэппертита. В дальнем углу «залы», длинной комнаты с низким потолком, какие-то люди весь вечер вели серьезный разговор, и когда кто-нибудь из этой группы уходил, вместо него очень скоро являлся другой и усаживался на его место, как будто они сменяли друг друга на караульном посту или дежурстве. Так оно, вероятно, и было, ибо эти уходы и появления чередовались аккуратно каждые полчаса. Собеседники все время перешептывались, держались в стороне от остальной компании и часто озирались кругом, словно боясь, что их подслушают. Двое или трое записывали то, что им докладывали приходившие, а в промежутках один из них просматривал разложенные на столе газеты и вполголоса читал остальным вслух из «Сент-Джеймской хроники» и «Геральда» выдержки, очевидно имевшие отношение к тому, что они так горячо обсуждали. Но больше всего они интересовались листком под заглавием «Громовержец», который, видимо, излагал их собственные взгляды и, как говорили, выпускался Союзом Протестантов. Этот листок был в центре внимания: его читали вслух кучке жадных слушателей или каждый про себя, и чтение его неизменно вызывало бурные обсуждения и зажигало огонь в глазах.

Ни буйное веселье, ни восторги дружбы с новым начальником не помешали Хью по всем этим признакам почуять в воздухе какую-то тайну, что-то, поразившее его еще тогда, когда он с Деннисом стоял в толпе перед

зданием парламента. Он не мог отделаться от ощущения, что вокруг происходит нечто очень серьезное и под прикрытием трактирного пьяного веселья невидимо зреет какая-то грозная опасность. Впрочем, это его мало тревожило, он был всем доволен и оставался бы здесь до утра, если бы его спутник, Деннис, не собрался уходить вскоре после полуночи. Примеру Денниса последовал и мистер Тэппертит, и у Хью не было уже никакого предлога оставаться. Они вышли втроем, горланя антипапистскую песню так громко, что этот дикий концерт был слышен далеко в окрестных полях.

— Ну, ну, веселей, капитан! — воскликнул Хью, когда они уже накричались до изнеможения и еле переводили дух. — Еще куплет!

И мистер Тэппертит охотно начал снова. Так эти трое, взявшись под руки, шагали, спотыкаясь, и надсаживали глотки, отважно бросая вызов ночному дозору. Правда, для этого не требовалось особой храбрости, так как ночных сторожей в ту пору набирали из людей, уже ни к чему другому не пригодных, совсем дряхлых, немощных стариков, и они имели обыкновение при первом же нарушении тишины и порядка накрепко запираться в своих будках и сидеть там, пока не минет опасность. Больше всех отличался в этот вечер мистер Деннис, обладатель сильного, хотя и хриплого голоса и здоровенных легких, и это чрезвычайно возвысило его в глазах обоих соратников.

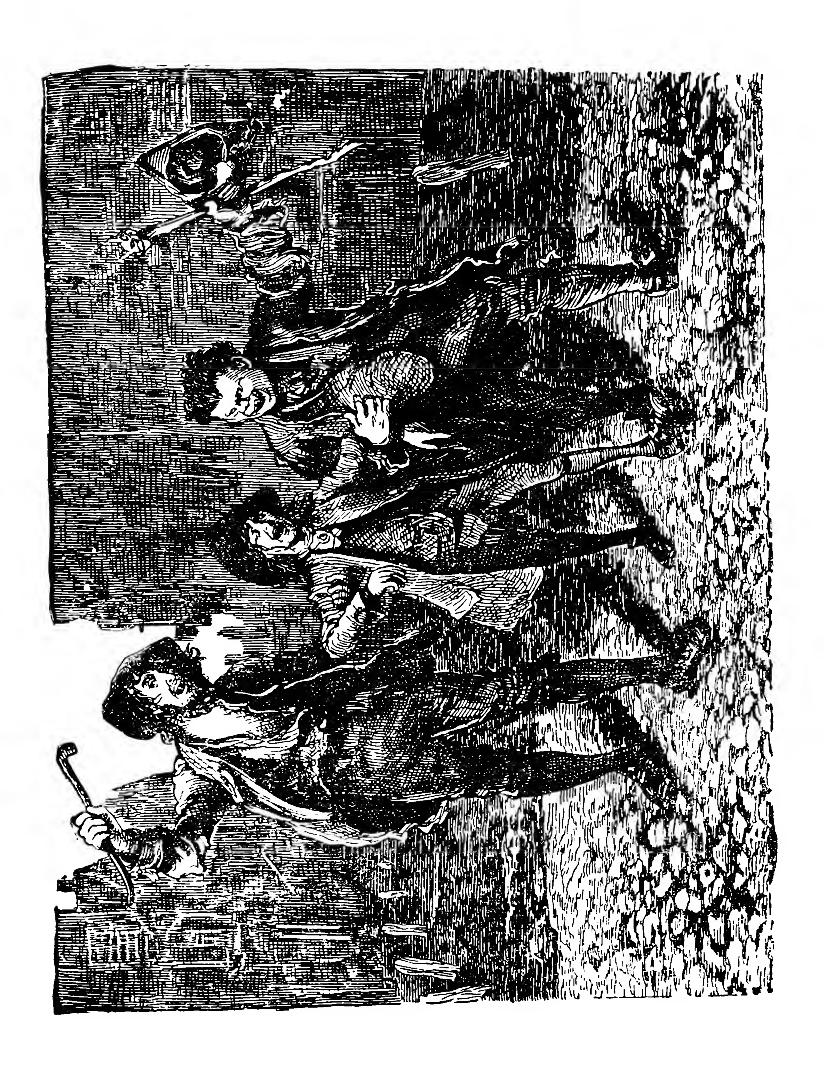
— Какой вы чудак! — сказал ему мистер Тэппертит. — До чего же хитер и скрытен! Ну, почему вы не хотите сказать, какое у вас ремесло?

— Сейчас же отвечай капитану! — крикнул Хью, нахлобучивая Деннису шляпу на глаза. — Почему скрываешь свое занятие?

— Занятие у меня, брат, почтенное, не хуже, чем у любого честного англичанина, и такое легкое, какого только может себе пожелать каждый джентльмен.

— А в ученье вы были? — осведомился мистер Тэппертит.

— Нет. У меня природный талант, — пояснил мистер Деннис. — И никто меня не обучал, я — самоучка. Мистеру Гашфорду известно, какое у меня ремесло. Взгля-



ните на мою руку — немало эта рука переделала дел, и такой ловкой и чистой работы днем с огнем поискать. Когда я смотрю на эту руку, — мистер Деннис потряс ею в воздухе, — и вспоминаю, какую красивую работу она проделывала, становится даже грустно при мысли, что она когда-нибудь станет слабой и дряхлой. Что делать — такова жизнь человеческая.

Занятый этими печальными размышлениями, Деннис испустил глубокий вздох и как бы в рассеянности ощупал пальцами шею Хью, в особенности местечко под левым ухом, словно исследуя анатомическое строение этой части тела, затем уныло покачал головой и даже прослезился.

— Так вы, наверное, что-то вроде художника, — предположил мистер Тэппертит.

— Угадали, — отвечал Деннис. — Да, могу сказать, я — художник своего дела, артист. «Искусство улучшает природу» — вот мой девиз.

— А это что такое? — спросил мистер Тэппертит, беря из рук Денниса его палку и разглядывая набалдашник.

— Это — мой портрет, — пояснил Деннис. — Как по-вашему, похоже?

— Гм... Немного приукрашено. А чья это работа? Ваша?

— Моя? — воскликнул Деннис, любовно поглядывая на свое изображение. — Ну, нет! Хотел бы я иметь такой талант! Это вырезал один мой знакомый, его уже нет на свете... Вырезал перочинным ножом, по памяти... в самый день своей смерти. «Умру молодцом, — так он говорил. — И пусть уж последние мои минуты будут посвящены Деннису: вырежу его портрет». Так-то, ребята!

— Странная фантазия! — заметил мистер Тэппертит.

— Да, странная, — согласился Деннис, подув на свое изображение и полируя его рукавом. — Он вообще был со странностями... цыган, что ли. Другого такого стойкого парня я не видывал. В утро перед смертью он рассказал мне кое-что... Если бы вы это слышали, у вас бы мороз пошел по коже.

— Значит, вы были при нем, когда он умирал? — спросил мистер Тэппертит.

— А как же, — ответил Деннис с каким-то странным выражением. — Конечно, был. Не будь меня, смерть его и вполовину не была бы так легка. Я таким же манером проводил на тот свет не только его, но и трех или четырех его родственников. И все они были славные ребята.

— Видно, вас очень любила вся семья, — заметил мистер Тэппертит, искоса глянув на Денниса.

— Этого не знаю, не могу сказать, — как-то нерешительно ответил Деннис. — Но я всех их проводил на тот свет. И одежонка их мне досталась. Вот этот шарф, что у меня на шее, носил раньше парень, про которого я вам только что рассказывал, — тот, что вырезал мой портрет.

Мистер Тэппертит бросил взгляд на упомянутую принадлежность туалета и, кажется, подумал, что у покойника, видно, был вкус своеобразный и отнюдь не разорительный. Но он воздержался от замечания, чтобы не прерывать своего загадочного соратника.

— И штаны тоже, — продолжал Деннис, похлопывая себя по ляжкам, — вот эти самые штаны достались мне от знакомого, когда он навеки покинул нашу юдоль слез. А кафтан, что на мне? Не раз я шел за ним по улицам и гадал, достанется он мне или нет. А в этих башмаках их прежний хозяин не меньше как раз пять-шесть отплясывал джигу у меня на глазах. А моя шляпа? — Он снял шляпу и повертел ею, насадив на кулак. — Господи, сколько раз я видел, как она катила по Холборну на козлах кэба!

— Неужели же те, кто до вас носил эти вещи, все умерли? — спросил мистер Тэппертит, невольно отступая.

— Все до единого, — заверил его Деннис. — Все уже на том свете.

В этом было что-то до такой степени жуткое и как будто объяснявшее ветхость его одежды, словно выцветшей от могильной сырости, что мистер Тэппертит внезапно решил идти другой дорогой и, остановившись, стал прощаться самым дружеским образом. А так как они в это время как раз оказались вблизи Олд-Бейли * и мистер Деннис знал, что в сторожке найдет знакомых

тюремщиков, с которыми сможет приятно коротать ночь у огонька за стаканом вина, обсуждая разные интересующие их и его профессиональные дела, то он без особого сожаления расстался с мистером Тэппертитом и Хью, которому сердечно пожал руку и назначил свидание утром в «Сапоге». Хью и Сим пошли дальше уже вдвоем.

— Странный человек, — начал мистер Тэппертит, следя издали за удалявшейся от них шляпой покойного кэбмена. — Не пойму его. Ну, почему он не шьет себе штаны, как все, у портного? Или хотя бы не носит одежду с живых людей, а не с покойников!

— Просто-напросто ему везет, капитан, — воскликнул Хью. — Вот бы мне таких друзей, как у него!

— Надеюсь, он не заставлял их писать завещание в его пользу, а затем спешил их укокошить! — задумчиво сказал мистер Тэппертит. — Ну, вперед! Меня ждут у «Непоколебимых»... Что же вы?

— Я совсем забыл, — сказал Хью, услышав бой часов на соседней башне. — Мне еще нужно сегодня повидать одного человека... Придется повернуть обратно. За вином да за песнями у меня совсем из головы вон... Хорошо еще, что вовремя вспомнил.

Мистер Тэппертит посмотрел на него так, словно собирался разразиться громовой речью по поводу его дезертирства, но торопливость Хью ясно показывала, что дело неотложное, и потому его начальник, сменив гнев на милость, разрешил ему уйти, за что Хью поблагодарил его с громким смехом.

— Спокойной ночи, капитан, — крикнул он. — Помните же — я ваш до гроба.

— Прощайте! — отозвался мистер Тэппертит и помахал ему рукой. — Будьте храбры и бдительны!

— Долой папистов, капитан! — проревел Хью.

— Хотя бы пришлось залить всю Англию кровью! — подхватил грозный капитан. Хью опять загоготал и помчался прочь, как борзая.

— Этот молодец не посрамит моей армии! — сказал себе Саймон. — У меня есть мысль... Когда в стране все переменится — а перемены будут несомненно, если мы восстанем и победим, — дочка слесаря будет моя, а от

Миггс надо будет как-нибудь избавиться, иначе она в один прекрасный день подсыплет нам яда в чай. Так я женю Хью на ней — в пьяном виде он даже на Миггс способен жениться. Решено! Надо будет это иметь в виду.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Нимало не подозревая, что в плодовитом мозгу его дальновидного командира возник план этого счастливого брака, Хью шел не останавливаясь, пока гиганты св. Дунстана не оповестили его, который час *. Тут он схватился за рукоятку ближайшего насоса и, подставив голову под кран, стал обливаться так усердно, что вода текла ручьями с каждого волоска его всклокоченной гривы, и скоро он был весь мокрый до пояса. Хорошо освежив таким образом и тело и мозг, почти протрезвившись, Хью кое-как вытерся и, перейдя улицу, энергично постучал молотком в ворота Миддл-Тэмпла *.

Привратник выглянул через решетку и сердито крикнул: «Кто там?» — на что Хью ответил ему так же резко и потребовал, чтобы его поскорее впустили.

— Здесь пива не продают! — крикнул привратник. — Чего надо?

— Войти, — ответил Хью, ударив ногой в ворота.

— А куда именно?

— В Пейпер Билдингс.

— Чья квартира?

— Сэра Джона Честера.

Каждый ответ Хью сопровождал новым ударом ногой в ворота.

Поворчав, привратник, наконец, отпер их и впустил ночного гостя, подвергнув его предварительно строгому осмотру.

— Это ты являешься к сэру Джону Честеру, да еще среди ночи!

— Да, я, — сказал Хью. — А что?

— А то, что я тебе не очень-то верю. Придется пойти с тобой.

— Что ж, пойдемте.

Подозрительно поглядывая на Хью, привратник с ключами и фонарем проводил его до дверей сэра Честера. Хью с такой силой грохнул молотком в эту дверь, что тусклый огонек лампы над дверью вздрогнул и заметался, а по темной лестнице прокатилось эхо, как зловещий призыв из потустороннего мира.

— Ну, как, теперь верите, что меня ждут? — сказал Хью.

Раньше, чем привратник успел ответить, за дверью послышались шаги, замелькал свет, и сэр Джон в халате и ночных туфлях отпер дверь.

— Простите, сэр Джон, — сказал привратник, снимая шапку. — Тут какой-то парень вас спрашивает. Для посетителей час поздний, вот я и подумал, что лучше самому сходить да проверить...

— Ага, это вы, посыльный? — воскликнул сэр Джон, глядя на Хью. — Входите же. Да, да, мой друг, — это относилось уже к привратнику, — благодарю вас, такая осторожность весьма похвальна. Не беспокойтесь. Спасибо и покойной ночи.

Удостоиться похвалы, благодарности и любезного прощания со стороны человека, чье имя произносится не иначе, как с титулом «сэр», и который после своей фамилии ставит две буквы Ч. П. *, было привратнику очень лестно. Смиренно извинившись, он ретировался, а сэр Джон провел позднего гостя в комнату и, усевшись перед камином в кресло, которое он повернул так, чтобы лучше видеть Хью, стоявшего у двери с шапкой в руке, смерил его взглядом с головы до ног.

Сэр Честер не переменился. Все то же лицо, невозмутимо спокойное и приветливое, все такой же юношески-свежий румянец, та же улыбка, неизменное изящество в одежде, прекрасные белые зубы, холеные руки, сдержанность и самообладание — словом, все как прежде, никаких следов прожитых лет и страстей, зависти, ненависти, неудовлетворенности. Все тот же безмятежно-веселый и благодушный джентльмен, на которого приятно было смотреть.

Он писал теперь после своей фамилии «Член Парламента». Как это вышло? А вот как. Джон Честер был

из знатной семьи, более знатной, чем богатой. Ему грозил арест за долги — визит судебных приставов, затем тюрьма, самая обыкновенная тюрьма, в которую попадает всякая мелкая сошка, люди с очень скромными доходами. Суровый закон не дает исключений для джентльменов из хороших домов, привилегиями пользуются люди из одного только Большого Дома: члены парламента. И у мистера Джона Честера нашелся высокопоставленный родственник, который имел возможность провести его туда. Он решил помочь мистеру Честеру — не заплатить его долги, нет, а сделать его депутатом в парламент от одного отдаленного городка на то время, пока его собственный сын не достигнет совершеннолетия, что должно было произойти через двадцать лет, если этот сын до тех пор не умрет.

Это было не хуже, чем перспектива попасть в тюрьму в качестве несостоятельного должника, и неизмеримо приличнее. Так что мистер Джон Честер стал членом парламента.

А как он превратился из мистера Честера в сэра Джона Честера? Да ничего нет легче и проще. Одно прикосновение королевской шпаги — и превращение свершилось. Члену парламента Джону Честеру довелось раз-другой побывать при дворе — подносить адрес, возглавлять какую-то депутацию. Столь изысканные манеры, светский лоск и дар красноречия не могли остаться незамеченными. И как было обращаться со словом «мистер» к человеку со всеми этими блестящими достоинствами? Судьба капризна: столь благородному джентльмену следовало бы родиться герцогом, тогда как есть герцоги, которым следовало бы быть простыми рабочими. Мистер Джон Честер понравился королю и, преклонив колено гусеницей, встал бабочкой. Джон Честер, эсквайр, получил титул и стал называться «сэр Джон».

— Ну-с, мой уважаемый друг, — начал сэр Джон после довольно долгого молчания, — когда вы сегодня вечером уходили от меня, вы, кажется, обещали вернуться очень скоро?

— Я так и думал, хозяин.

— А вернулись когда? — Сэр Джон посмотрел на часы. — По-вашему, это называется скоро?

Хью, не отвечая, переминался с ноги на ногу, теребил шапку, смотрел на пол, на стены, на потолок — и в конце концов, бросив взгляд на приятное лицо сэра Джона, поспешно опустил глаза.

— А чем же вы занимались до сих пор? — спросил сэр Джон, лениво вытягивая ноги и кладя одну на другую. — Где побывали? Много ли накуролесили?

— Вовсе я не куролесил, — смиренно пробормотал Хью. — Все делал, как вы приказали.

— Как я — что? — перебил его сэр Джон.

— Ну, как вы... советовали, — смущенно поправился Хью. — Сказали, что мне следовало бы... или что я мог бы сделать... или что вы бы это сделали на моем месте. Не будьте же так строги, хозяин!

Что-то похожее на торжество мелькнуло на миг в лице сэра Джона, когда он увидел, каким покорным орудием его воли стал этот буян, но лицо его тотчас приняло прежнее выражение, и, принимаясь подрезать ногти, он сказал:

— Вы употребили слово «приказал», это можно понять так, что я заставил вас делать что-то для меня, что-то, нужное мне для каких-то моих целей, — ясно? Но, разумеется, нечего и объяснять, какая это бессмыслица, — вы, наверное, просто обмолвились. Впредь, — тут он устремил глаза на Хью, — осторожнее выбирайте выражения. Обещаете?

— Я вовсе не хотел вас обидеть, — сказал Хью. — Не знаю, как и быть, уж очень круто вы со мной обходитесь.

— С вами скоро еще и не так круто обойдутся, мой милый, гораздо круче, будьте уверены, — спокойно отрезал его покровитель. — Кстати, мне следовало бы удивиться не тому, что вы так долго отсутствовали, а тому, что вы вообще пришли сюда. Что вам нужно?

— Вы же знаете, сэр, я не мог прочитать ту бумажку, что подобрал, — сказал Хью. Вот я и принес ее вам. По тому, ка̀к она была свернута, я сразу смекнул, что в ней что-то особенное.

— Что же, вы не могли попросить кого-нибудь другого прочесть ее вам, медведь вы этакий? — возразил сэр Джон.

— Мне больше некому довериться, сэр. Вот уже пять лет как Барнеби Радж куда-то пропал, — и с тех пор я ни с кем, кроме вас, и не говорю.

— Это для меня, конечно, большая честь.

— Я все время ходил к вам, сэр, всякий раз, когда бывали новости, потому что знал, что иначе вы на меня будете гневаться, — выпалил Хью после растерянного молчания. — И еще потому, что хотелось вам угодить... Вот оттого я и сегодня пришел. Вы сами это знаете.

— Однако и лицемер же вы! — сказал сэр Джон, в упор глядя на него. — Двуличный человек! Разве вы сегодня вечером здесь, в этой самой комнате, не приводили мне совсем другую причину? Не говорили, что ненавидите кое-кого, кто вас ни в грош не ставит, оскорбляет и всегда обращается с вами грубо, как будто вы дворовый пес, а не такой же человек, как он?

— Говорил, это верно! — воскликнул Хью, мгновенно разъярившись, как и предвидел его собеседник. — Говорил и еще повторю. Я на все готов, чтобы как-нибудь отплатить ему. И когда вы мне объяснили, что ему и всем католикам здорово достанется от тех, кто написал это объявление, я сказал, что пойду с ними, хотя бы ими командовал сам дьявол. Вот и пошел! Увидите, крепко мое слово или нет, и сумею ли я выйти на первое место. Пусть башка у меня работает не так быстро, как у других, — но на то ее хватает, чтобы помнить моих обидчиков. Придет время, увидите и вы, и он, и сотни людей, что я — парень не робкого десятка. Я не так громко лаю, как больно кусаю. Уж поверьте, некоторым людям лучше встретиться с диким львом, чем со мной, когда я сорвусь с цепи!

Сэр Джон, следивший за Хью с многозначительной усмешкой, куда более выразительной, чем всегда, указал ему на старинный шкафчик, и пока Хью наливал себе стакан вина и затем пил его, сэр Джон не сводил с него глаз и за его спиной усмехался еще выразительнее.

— Вы что-то очень сегодня расхвастались, мой друг, — сказал он, когда Хью, выпив, обернулся к нему.

— Вовсе нет, хозяин, — возразил Хью с жаром. — Я и половины того не сказал, что думаю, — язык-то у меня

суконный. Ну, да в нашем Союзе хватает говорунов и без меня. Я буду не болтать, а действовать.

— Значит, вы и в самом деле уже связались с этими людьми? — промолвил сэр Джон с видом глубочайшего безразличия.

— Ну, да, я пошел в тот дом, про который вы мне говорили, и записался. Был там еще и другой парень, Деннисом его звать.

— Деннис, вот как? — со смехом воскликнул сэр Джон. — Должно быть, славный малый?

— Весельчак, сэр, и разбитной парень — люблю таких. А за наше дело горой стоит — горяч, как огонь!

— Да, я о нем слышал, — небрежно бросил сэр Джон. — А вы случайно не знаете, чем он занимается?

— Нет, он это скрывает. Никак не хотел сказать.

— Ха-ха-ха! Странная причуда, — сэр Джон снова рассмеялся. — Но я готов поручиться, что вы скоро узнаете его секрет.

— Мы с ним уже подружились, — вставил Хью.

— Что ж, это вполне понятно. И, конечно, пили вместе? — продолжал сэр Джон. — Вы, кажется, сказали, но я забыл — *куда* вы с ним отправились из дома лорда Джорджа?

Хью вовсе не говорил этого, да и не собирался говорить. Тем не менее, отвечая на последовавший за этим ряд вопросов, он постепенно рассказал обо всем, что произошло в этот вечер в трактире и на улице, каких людей он встретил, сколько их было, о чем они говорили, чего ждут и каковы их намерения. Допрос велся так искусно, что Хью воображал, будто он сообщает все сведения добровольно, а вовсе не потому, что их у него выпытывают. Ему так ловко это внушили, что, когда мистер Честер, наконец, зевнул и объявил, что он ужасно утомлен, Хью начал неуклюже извиняться за свою болтливость.

— Ну, убирайтесь, — сказал сэр Джон, открывая дверь. — Напроказили вы сегодня немало! Говорил я вам, чтобы вы не совались туда, — еще чего доброго наживете беды. Но вам непременно хочется насолить вашему спесивому приятелю Хардейлу, и ради этого вы готовы, я вижу, идти на любой риск. Так, что ли?

— Верно! — подтвердил Хью, остановившись на по-

роге. — Но о каком риске вы говорите, сэр? *Чем* я рискую, *что* могу потерять? Друзей, родной дом? Их у меня нет. И наплевать, не надо ничего! Мне подавайте хорошую драку, чтобы я мог свести старые счеты, да смелых товарищей, с которыми я пойду вместе драться, а там — будь, что будет, мне все равно.

— Куда вы девали ту бумажонку? — спросил вдруг сэр Джон.

— Она при мне.

— Как выйдете, бросьте ее куда-нибудь. Такие вещи держать у себя не стоит.

Хью кивнул и, приподняв шапку со всей почтительностью, на какую был способен, вышел на улицу. А сэр Джон запер за ним дверь, вернулся к себе и, снова сев у камина, долго еще сосредоточенно размышлял о чем-то, глядя в огонь.

— Все складывается удачно, — сказал он вслух, и лицо его расплылось в довольную улыбку. — Можно рассчитывать на успех. Ну-ка, сообразим. Мой благодетель и я — самые ревностные протестанты и желаем всякого зла сторонникам римско-католической церкви. А с Сэвилем *, который внес их билль в парламент, у меня к тому же личные счеты. Однако каждому своя рубашка ближе к телу, — и мы не можем себя компрометировать, связавшись с таким безумцем, как этот Гордон, — ведь совершенно очевидно, что он помешан. Теперь надо будет втихомолку раздувать недовольство, им посеянное, пользуясь таким покорным орудием, как мой дикарь. Это может, пожалуй, способствовать нашим истинным целям. И, хотя мы в принципе и согласны с лордом Джорджем, надо будет при всяком удобном случае в умеренной и приличной форме порицать его действия, — таким путем непременно приобретешь репутацию человека справедливого и честного, а это весьма полезно и придаст мне весу в обществе. Прекрасно! Это, так сказать, мотивы общие. Ну, а в частности, признаюсь, я буду чрезвычайно рад, если эти бездельники и в самом деле поднимут бунт и немного проучат Хардейла, как довольно деятельного члена своей секты. Да, это мне доставило бы истинное удовольствие! И это опять-таки прекрасно — пожалуй, даже лучше всего остального.

Сэр Джон понюхал табаку и стал неторопливо раздеваться. Рассуждения свои он с улыбкой заключил следующими словами:

— Ох, боюсь, ужасно боюсь, что мой приятель быстро пойдет по стопам своей матери! В его дружбе с мистером Деннисом есть что-то роковое. Впрочем, нечего и сомневаться, что он все равно рано или поздно кончил бы так же. И если я чуточку его подтолкну, разница будет только та, что он успеет выпить на своем веку немного меньше галлонов, или бочонков, или бочек вина. Эка важность! О такой мелочи и думать не стоит.

Он взял еще понюшку табаку и лег в постель.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Из мастерской под Золотым Ключом раздавался звон железа, такой веселый и задорный, что всем, кто слышал эту музыку, невольно думалось: наверное, там работает человек, любящий свое дело. Тот, для кого работа — лишь скучная обязанность, никак не мог бы извлекать из железа или стали такую веселую музыку. На это способен только человек жизнерадостный, здоровый, всем на свете довольный и доброжелательный. Будь он хоть простой котельщик, медь под его руками звучала бы мелодично, и даже если бы он трясся в телеге, нагруженной железными брусьями, — то, вероятно, и тогда сумел бы извлечь из них гармоничные звуки.

Дзинь, дзинь, дзинь! — пело железо, звонко, как серебряный колокольчик, и особенно внятно, когда на улице затихал грохот. «Мне все нипочем, я никогда не унываю и непременно хочу быть счастливым», — слышалось в этом звоне. Перебранивались женщины, пищали дети, грохотали тяжелые телеги, во всю силу своих легких орали разносчики, но среди всего этого шума и гама звон был все-таки слышен, всегда одинаковый, не громче и не тише, не звонче и не гуще, ничуть не навязчивый, но не дающий более громким звукам заглушить себя. Дзинь, дзинь, дзинь!..

Он совершенно напоминал человеческий голос, негромкий и ясный, без малейшей хрипоты или сиплости, без каких бы то ни было признаков насморка или нездоровья. Прохожие замедляли шаг, с удовольствием прислушиваясь к нему, а те обитатели соседних домов, кто в это утро проснулся в желчном настроении, чувствовали, как у них становится легче на душе, и понемногу оживлялись; матери под этот звон подбрасывали на руках детишек. А волшебное «дзинь-дзинь!» все так же весело неслось и неслось из мастерской под Золотым Ключом.

Кто, как не Гейбриэл Варден, мог тешить людей такой веселой музыкой? В открытое окно заглянуло солнце, и лучи его, пронизав темную мастерскую, широким снопом упали на слесаря, словно их тянула к себе светлая душа этого человека. Он работал у наковальни, засучив рукава, сдвинув парик с лоснящегося лба, и его раскрасневшееся лицо светилось довольством, — казалось, никому на свете не живется так беззаботно, счастливо и спокойно, как Гейбриэлу Вардену. Около него сидел холеный кот, мурлыча и жмурясь на солнце, — он до того разомлел от тепла, что частенько закрывал глаза и впадал в ленивую дремоту. А с высокой скамейки, стоявшей вблизи, ухмылялся хозяину Тоби, сияя весь, от широкой коричневой физиономии до слабее обожженных и потому более светлых пряжек на башмаках. Даже развешанные по стенам ржавые замки, казалось, сияли благодушием и смахивали на старых веселых подагриков, готовых посмеяться над собственными немощами. Ничто угрюмое или суровое не омрачало окружающей картины. Невозможно было себе представить, что какой-либо из этих бесчисленных ключей предназначен для денежного сундука скряги или тюремной камеры. Нет, пивные и винные погреба, комнаты, согретые ярко пылающим в камине огнем, полные книг, веселой болтовни и смеха, — вот куда эти ключи должны были открывать доступ. А места, где гнездятся недоверие, жестокость и угнетение, ключи Гейбриэла Вардена могли только *запирать* накрепко, навеки.

Дзинь, дзинь, дзинь!.. Наконец слесарь наш перестал работать и утер лоб. Внезапно наступившая тишина разбудила кота. Соскочив на пол, он бесшумно подобрался к

двери и хищным взглядом тигра уставился на клетку с птицей в окне напротив. А Гейбриэл поднес ко рту Тоби и сделал основательный глоток.

Когда он выпрямился, откинув назад голову и выпятив мощную грудь, стало заметно, что на нем солдатские штаны. А на стене за его спиной были развешаны на нескольких колышках красный мундир, кушак, шляпа с пером и сабля. Всякий сведущий человек сразу мог бы сказать, что все это вместе составляет военную форму сержанта Королевских Волонтеров Восточного Лондона.

Поставив опустевшую кружку обратно на скамейку, с которой только что улыбался ему Тоби, слесарь весело оглядел эти части своего костюма, склонив голову набок, словно для того, чтобы охватить их все одним взглядом, и, опершись на молот, сказал вслух:

— Когда-то, помню, меня с ума сводило желание надеть вот этакий мундир. Если бы в то время кто-нибудь, кроме родного отца, посмел сказать мне, что это глупо, — как бы я распетушился! А ведь, по правде сказать, я тогда и в самом деле был дурак дураком.

— Ах! — со вздохом подхватила незаметно вошедшая в эту минуту миссис Варден. — Ты и до сих пор дурак. В твои годы, Варден, ты мог бы быть благоразумнее.

— Чудачка ты, Марта, право! — сказал слесарь, с улыбкой оборачиваясь к ней.

— Ну, конечно, — с глубочайшим смирением отозвалась миссис Варден. — Конечно, чудачка. Я это знаю, Варден. Благодарю тебя.

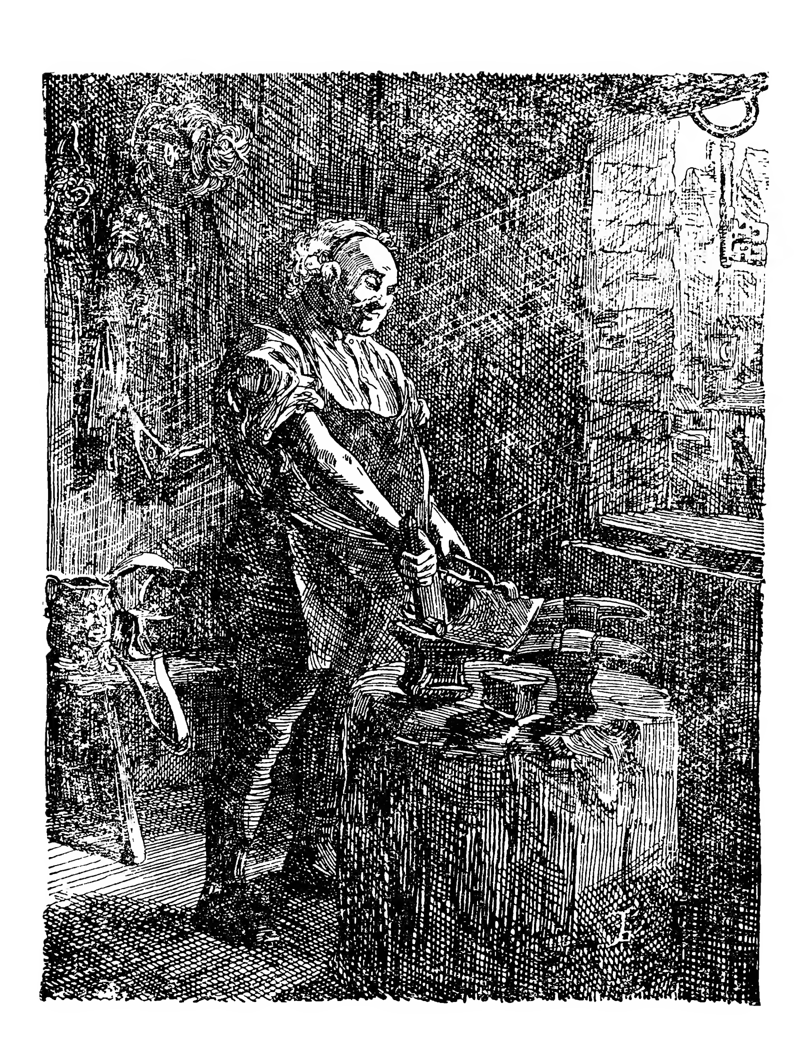
— Да я хотел сказать... — начал было слесарь.

— Знаю, что ты хотел сказать. Ты говоришь так ясно, Варден, что понять тебя нетрудно. Спасибо, что приноровляешься к моему пониманию, это очень любезно с твоей стороны.

— Полно, полно, Марта, нечего обижаться из-за пустяков. Я просто хотел сказать, что напрасно ты ругаешь волонтеров — ведь мы хотим защищать тебя же и всех других женщин, защищать семьи всех добрых людей, если в этом будет нужда!

— Это не по-христиански, — объявила миссис Варден, качая головой.

— Не по-христиански? Да почему же, черт возьми?..



Миссис Варден подняла глаза к потолку, словно ожидая, что после таких богохульных слов он немедленно обрушится на ее супруга вместе с кроватью под балдахином на четырех столбиках из третьего этажа и всей мебелью парадной гостиной из второго. Но так как этой кары божьей почему-то не последовало, почтенная матрона только испустила глубокий вздох и с видом покорности судьбе предложила супругу не стесняться в выражениях, кощунствовать сколько душе угодно, — ведь он же знает, как ей приятно это слушать!

Слесарю в первую минуту, кажется, очень хотелось воспользоваться ее разрешением и отвести душу, но он сделал над собой усилие и ответил кротко:

— Я хочу знать, почему ты считаешь, что это не по-христиански? Что же, по-твоему, должен делать настоящий христианин, Марта, — сидеть сложа руки в то время, как чужеземные войска будут грабить наши дома? Или выйти на бой, как следует мужчине, и прогнать их? Хороший бы я был христианин, если бы в своем доме, забившись в камин, покорно смотрел, как банда косматых дикарей уносит Долли и тебя?

При словах «и тебя» миссис Варден оттаяла и невольно улыбнулась: в предположении супруга было все же нечто лестное для нее.

— Ну, если бы до того дошло, тогда, конечно... — жеманно пролепетала она.

— «Если бы до того дошло!» — повторил слесарь. — Будь уверена, с этого бы *началось*. Даже на Миггс нашлись бы охотники. Какой-нибудь чернокожий барабанщик в громадном тюрбане на голове непременно утащил бы ее. И, если только он не заговорен от щипков и царапин — горе ему! Ха-ха-ха! Этому барабанщику я простил бы его вину и ни за что на свете не стал бы мешать ему, бедняге!

И слесарь снова расхохотался до слез, к великому негодованию миссис Варден, которая считала, что похищение такой ревностной протестантки и достойной девицы, как Миггс, да еще язычником, негром — возмутительный и недопустимый скандал.

Картина, нарисованная Гейбриэлом, грозила ему серьезными последствиями и без сомнения вызвала бы их,

но, к счастью, в эту минуту за дверью послышались легкие шаги, в мастерскую вбежала Долли и, повиснув у отца на шее, крепко поцеловала его.

— Вот и она, наконец! — воскликнул слесарь. — Как ты мила сегодня, Долли, и как долго тебя не было, моя девочка!

«Мила»! Только-то? Да если бы он истощил весь человеческий словарь восторженных прилагательных, их не хватило бы, чтобы описать Долли. Где и когда вы видели другую такую пухленькую, хорошенькую, яркоглазую плутовку, такую пленительную, очаровательную, прелестную, обворожительную кошечку, как Долли? Разве можно сравнить ту Долли, с которой мы познакомились пять лет назад, с *этой* Долли? Какое множество каретников, седельщиков, столяров и знатоков других полезных ремесел, влюбившись в нее, забыли отцов, матерей, сестер, братьев, а главное — кузин! Сколько неизвестных джентльменов, предполагаемых обладателей если не высоких титулов, то по крайней мере громадных состояний, подстерегали в сумерки за углом неподкупную Миггс и, соблазняя ее золотыми гинеями, просили передать Долли письмо с предложением руки и сердца! Сколько неутешных отцов, солидных торговцев, посещали Вардена с этой же целью и рассказывали печальную повесть любовных мук своих сыновей, которые теряли аппетит, запирались в темных комнатах или бродили, бледные и унылые, в уединенных местах, — и всему виной была красота и жестокость Долли Варден! Какое множество молодых людей, ранее примерных и степенных, начинали вдруг безумствовать от неразделенной любви и в исступлении срывать дверные молотки и опрокидывать будки ревматиков-сторожей! Сколько молодых новобранцев для службы на суше и на море приобрел король благодаря Долли, которая довела до полного отчаяния всех его влюбчивых подданных в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет! Сколько молодых девиц чуть не со слезами заявляли во всеуслышание, что на их вкус Долли Варден чересчур мала ростом или чересчур высока, слишком бойка или слишком холодна, слишком толста или непозволительно худа, слишком белобрысая или слишком черная — словом, все у нее в излишке, только не красота. Сколько

пожилых дам в дружеских беседах между собой благодарили бога за то, что дочки их не похожи на Долли Варден, выражали опасение, что она кончит плохо, утверждая в то же время, что хорошо кончить она никак не может, и недоумевали, что в ней находят хорошего, и приходили к заключению, что красота ее уже «отцветает», или что она никогда и не знала расцвета, что эта красота — просто миф и всеобщее заблуждение!

Тем не менее Долли была все та же, любо было смотреть на ее улыбающееся личико с ямочками на щеках, а так как она до сих пор еще называлась Долли Варден, то легко догадаться, что она была все так же капризна и разборчива, и страдания тех пяти-шести десятков молодых людей, которые в данное время жаждали на ней жениться, трогали ее так мало, как будто это были влюбленные устрицы, которых глотают живыми.

Как мы уже видели, Долли кинулась обнимать отца. Потом она поцеловала мать и прошла вместе с ними в маленькую столовую, где уже был накрыт обеденный стол и мисс Миггс — еще более прямая и костлявая, чем пять лет назад, — встретила ее какой-то истерической гримасой, которая должна была изображать улыбку. Сняв шляпку и накидку (та и другая были убийственно эффектны и соблазнительны), Долли отдала их сей юной деве и сказала со смехом, который смело мог соперничать с недавней музыкой в мастерской слесаря:

— Как радостно всегда бывает вернуться домой!

— А уж мы-то как тебе рады, Долл! — сказал отец, отводя с ее лба темные кудряшки, падавшие на блестящие глаза. — Поцелуй меня!

Если бы кто-либо из представителей мужского пола мог видеть, *как* она целовала старого слесаря! Но, к счастью, никто из них здесь не присутствовал.

— Как жаль, что ты живешь в Уоррене, — сказал Варден. — Я очень скучаю без тебя... Ну, что там у них нового, Долл?

— Думаю, эти новости тебе уже известны, — отозвалась Долли. — Я просто уверена, что ты все знаешь.

— Как так? — воскликнул слесарь. — О чем ты толкуешь?

— Ну, ну, отлично знаешь, — сказала Долли. — Ты

мне лучше скажи, почему мистер Хардейл — ох, как он опять стал мрачен! — вот уже несколько дней где-то пропадает? И почему он то и дело уезжает из дому, а племяннице не говорит, куда едет и зачем? Только из писем видно, что он не сидит в Лондоне, а разъезжает по разным местам?

— Ручаюсь, что мисс Эмма вовсе и не стремится это узнать, — возразил слесарь.

— Не знаю, как она, а я по крайней мере хочу это знать! — воскликнула Долли. — Объясни мне, почему у него завелись какие-то секреты от Эммы и всех? И что это за история о привидении, которую запрещено рассказывать мисс Эмме? История эта, видно, как-то связана с его отъездом? Я же вижу, что ты знаешь, — ага, даже покраснел!

— Что это за история, что она означает и какое отношение имеет к отъезду мистера Хардейла, я знаю не больше тебя, милочка, — возразил слесарь. — И думаю, что все это просто — дурацкая фантазия Соломона и выеденного яйца не стоит. Ну, а мистер Хардейл... Он, я полагаю, уехал...

— Куда? — перебила Долли.

— Полагаю, — повторил слесарь, ущипнув ее за щеку, — что по своим делам. А по каким — это уже совсем другой вопрос. Прочитай-ка про «Синюю Бороду», дружок, и не будь слишком любопытна. Поверь, нас с тобой это не касается. А вот и обед — как нельзя более кстати!

Несмотря на то, что обед был подан, Долли непременно запротестовала бы против такого решительного прекращения разговора на интересующую ее тему, но когда слесарь упомянул о «Синей Бороде», вмешалась миссис Варден: она объявила, что по совести не может сидеть спокойно и слушать, как ее дочери предлагают знакомиться с похождениями какого-то турка и мусульманина, а тем более — турка мифического, каким она считала этого барона. Миссис Варден находила, что в такие тяжкие и тревожные времена для Долли будет гораздо полезнее подписаться на «Громовержца», на страницах которого печатаются дословно все речи лорда Джорджа Гордона, ибо чтение их может принести душе гораздо

больше отрады и утешения, чем сто пятьдесят басен вроде «Синей Бороды». Сказав это, миссис Варден обратилась за поддержкой к прислуживавшей за столом мисс Миггс, и та подтвердила, что действительно чтение «Громовержца», а в особенности напечатанной в нем на прошлой неделе статьи под заголовком «Великобритания утопает в крови», умиротворило ее душу так, что этому даже поверить трудно. Та же статья оказала на ее замужнюю сестру (проживающую на площади Золотого Льва номер двадцать семь, второй звонок справа) весьма благотворное действие: когда она, женщина хрупкого здоровья и притом ожидающая прибавления семейства, прочла эту статью, с ней сделалась истерика, и с этого дня она не перестает проклинать инквизицию в назидание мужу и всем знакомым. Далее мисс Миггс объявила, что всем бесчувственным людям она советует самим послушать лорда Джорджа, и стала восторгаться его стойкой преданностью протестантской вере, потом его красноречием, потом его глазами, его носом, его ногами, наконец всей его фигурой, которая могла бы служить моделью скульптору для любой статуи — принца или ангела. Целиком согласившись с таким мнением, миссис Варден остановила взор на копилке в виде красного домика с желтой крышей и точным подобием дымовой трубы. Копилка стояла на камине и добровольные жертвователи опускали в нее золотые и серебряные монеты, а то и медяки. На стене домика красовалась медная дощечка, весьма похожая на настоящую, с четкой надписью «Союз Протестантов». Устремив глаза на эту надпись, миссис Варден сказала, что поведение мужа для нее — источник тяжких страданий: никогда он не опускает ничего из своих сбережений в этот храм и только раз потихоньку — как она потом дозналась — бросил туда два осколка от сломанной трубки. Дай бог, чтобы ему этого не припомнили на Страшном суде! Да и Долли, к сожалению, так же скупится на пожертвования и предпочитает тратить деньги на ленты и всякие побрякушки, вместо того чтобы содействовать великому делу, которое сейчас претерпевает тяжкие невзгоды. Поэтому она, мать, умоляет Долли (ее отца она уже не надеется тронуть своими мольбами) следовать прекрасному примеру Миггс, которая четверть

своего жалования швырнула, словно камень, в лицо папе римскому.

— Ах, мэм, — с живостью вмешалась Миггс, — не стоит об этом говорить. Я вовсе не стремлюсь, чтобы люди это узнали. Мои пожертвования — просто лепта вдовицы. Я даю, что имею, — тут Миггс, ни в чем не знавшая меры, разразилась потоком слез, — но уповаю, что мне воздастся сторицей.

Последнее было совершенно верно, хотя, пожалуй, не в том смысле, какой Миггс хотела придать этим словам: так как она свои добровольные пожертвования делала неизменно на глазах у хозяйки, то получала от нее за свое рвение столько даров в виде чепчиков, платков и других предметов туалета, что, в общем, вклады в красный домик-копилку оказывались самым выгодным помещением ее скромного капитала, какое Миггс могла придумать, ибо они приносили ей семь-восемь процентов прибыли деньгами и по меньшей мере на пятьдесят процентов повышали ее репутацию и доверие к ней хозяйки.

— Не надо плакать, Миггс, — сказала миссис Варден, но и сама прослезилась. — Вам нечего стыдиться, ваша бедная хозяйка всецело с вами согласна.

При этих словах Миггс заголосила еще отчаяннее и объявила, что знает, как хозяин ее ненавидит, что ужасно тяжело жить в доме, где тебя не любят и где ты ничем не можешь угодить; что она ни за что не хочет, чтобы из-за нее были раздоры в семье, — совесть ей этого не позволит. И если хозяину угодно с ней расстаться, то самое лучшее так и сделать, и она надеется, что после этого он будет чувствовать себя счастливее, и желает ему всяких благ. Дай бог, чтобы он нашел на ее место когонибудь, кто будет ему более по вкусу. Конечно, добавила Миггс, для нее разлука с такой хозяйкой будет очень тяжела, но когда совесть ей говорит, что она поступает, как должно, никакие страдания ее не пугают, и она готова даже на разлуку. Вряд ли она переживет это, и если ее здесь ненавидят и смотрят на нее косо, то, пожалуй, лучше ей умереть поскорее, ее смерть будет для всех желанным исходом. После такого драматического заключения мисс Миггс снова залилась обильными слезами и принялась громко рыдать.

— И ты можешь спокойно смотреть на это, Варден? — спросила миссис Варден, отложив нож и вилку.

— Не очень-то, друг мой, да что поделаешь? — отозвался слесарь. — Креплюсь, насколько могу.

— Не стоит за меня вступаться, мэм, — всхлипывая, прокричала Миггс. — Лучше всего нам расстаться. Не хочу, чтобы в доме из-за меня были раздоры, ни за что на это не соглашусь, хотя бы мне сулили золотые горы, да еще на всем готовом, с чаем и сахаром.

Чтобы вывести из затруднения читателя, который, верно, недоумевает, чем была так сильно расстроена мисс Миггс, мы скажем ему по секрету, что она, по своей привычке подслушивая у дверей, слышала разговор Гейбриэла с женой и его шутку насчет чернокожего барабанщика. Такая насмешка вызвала целую бурю злобы в ее прекрасной груди, и это-то и было причиной той вспышки, которую мы наблюдали. Видя, что положение критическое, слесарь, как всегда, сдался, чтобы восстановить мир и спокойствие в доме.

— Ну, чего ты плачешь, голубушка? — сказал он. — И откуда ты взяла, что тебя здесь ненавидят? *Я* никакой ненависти не питаю ни к тебе и ни к одному человеку на свете. Утри глаза и, ради бога, не мучь ты нас. Будем все веселы, пока можно.

Союзные державы, решив, что будет правильной стратегией удовлетвориться этим извинением и считать, что неприятель признал свою вину, утерли слезы и приняли слова слесаря благосклонно. Мисс Миггс объявила, что она всем желает добра, даже злейшему своему врагу, и чем больше ее обижают, тем большей любовью она отвечает обидчикам. Миссис Варден в самых высокопарных выражениях похвалила ее за такую кротость и незлобивость, а в виде заключительного пункта мирного договора потребовала, чтобы Долли сегодня вечером пошла с ней на собрание Союза Протестантов. Это было ярким доказательством ее предусмотрительности и ловкости: она с самого начала к этому клонила, но, втайне опасаясь возражений мужа (всегда проявлявшего смелость и упорство, когда дело касалось Долли), поддержала Миггс, чтобы, воспользовавшись его невыгодным положением, настоять на своем. Маневр блестяще удался, Гейбриэл

ограничился лишь недовольной гримасой, но не посмел и пикнуть, так как только что происшедшая сцена служила ему предостережением.

Кончилось тем, что Миггс получила от хозяйки платье, а от Долли — полкроны в виде награды за великий подвиг добродетели. Миссис Варден, по своему обыкновению, не преминула выразить надежду, что ее супруг запомнит урок и впредь будет великодушнее. Обед между тем успел остыть, а бурная сцена никому не прибавила аппетита, так что обедали, по выражению миссис Варден, «как подобает христианам».

В тот день был назначен смотр Королевским Волонтерам, и слесарь не пошел больше в мастерскую работать. Расположившись поудобнее, с трубкой в зубах, обняв одной рукой хорошенькую дочку и нежно поглядывая на супругу, он весь с головы до пят сиял добродушием. А когда пришло время облачиться в военные доспехи и Долли, вертясь вокруг него с грациозными и обольстительными ужимками, помогала ему застегиваться, затягивать разные пряжки и ремешки и, наконец, влезть в теснейший из всех мундиров, когда-либо сшитых портным, он чувствовал себя самым счастливым отцом во всей Англии.

— Вот ведь как ловко управляется со всем, плутовка, — сказал он о Долли, обращаясь к миссис Варден, которая стояла перед ним, сложив руки (в эту минуту и она весьма гордилась мужем), между тем как Миггс держала наготове его шапку и саблю, далеко отставив руку, словно опасаясь, как бы это оружие по собственному почину не проткнуло кого-нибудь насквозь. — А все же, Долл, милочка моя, ни за что не выходи за солдата!

Долли не спросила почему, не вымолвила ни слова и, низко-низко опустив голову, стала завязывать отцу кушак.

— Всякий раз, как надеваю мундир, вспоминается мне бедняга Джо, — сказал добросердечный слесарь. — Он всегда был моим любимцем. Бедный Джо!.. Душа моя, не затягивай так туго!

Долли засмеялась, но как-то неестественно, совсем не как всегда, и еще ниже опустила голову.

— Да, жаль Джо! — заключил слесарь, словно говоря сам с собой. — Эх, приди он тогда ко мне, я, может, сумел бы их помирить. Старый Джон сделал большую ошибку! Не следовало ему так обращаться с парнем.... Ну, скоро ты кончишь, девочка?

Что за несносный кушак! Он опять развязался и волочился по земле. Долли пришлось стать на колени и начать все сначала.

— Нашел о ком говорить, — сказала миссис Варден, нахмурив брови. — Ты мог бы, я думаю, выбрать когонибудь более достойного внимания, чем твой Джо Уиллет.

Мисс Миггс громко фыркнула, чтобы поддержать хозяйку.

— Полно, Марта, — воскликнул слесарь. — Не будь к нему так сурова. Может, его уже и в живых нет, так будем его хоть поминать добром.

— Это беглого-то шалопая! — возмутилась миссис Варден, а Миггс тем же фырканьем выразила ей сочувствие.

— Беглый, но не шалопай, — возразил слесарь кротко. — Вел он себя всегда примерно и был красивый, славный паренек. Напрасно ты его ругаешь, Марта.

Миссис Варден кашлянула. То же самое немедленно сделала Миггс.

— Если хочешь знать, Марта, он очень старался тебе понравиться, — продолжал слесарь, с улыбкой потирая подбородок. — Да, да! Как сейчас помню — раз вечером, когда я уезжал из «Майского Древа», он вышел за мной на крыльцо и стал просить, чтобы я никому не рассказывал, что с ним здесь обращаются, как с мальчишкой... не хотел, чтобы у нас дома это узнали. Но тогда я не понял... «А как поживает мисс Долли, сэр?» — спросил он потом. Бедный Джо! — с грустью вспоминал слесарь.

— Господи помилуй! — воскликнула вдруг Миггс. — Вот тебе раз!

— Ну, что там еще? — спросил Гейбриэл, круто обернувшись.

— Посмотрите-ка на мисс Долли, — ответила служанка, наклонясь и заглядывая Долли в лицо. — Ведь она плачет, разливается! Ох, мэм! Ох, сэр! Верите ли, я, как увидела, так и обомлела, перышком меня теперь сшибить можно, — завопила эта чувствительная девица, при-

жав руку к груди, словно для того, чтобы сдержать сильное биение сердца.

Слесарь бросил на мисс Миггс взгляд, говоривший, что он был бы не прочь иметь сейчас в руках такое перышко, потом удивленно проводил глазами убегавшую из комнаты Долли, за которой тотчас последовала преисполненная сочувствия Миггс, и, обращаясь к жене, пробормотал:

— Что с Долли, не заболела ли она? Или опять я в чем-то виноват?

— Виноват ли он! — укоризненно воскликнула миссис Варден. — Ох, уж лучше бы ты уходил поскорее!

— Да что я такого сделал? — допытывался бедный Гейбриэл. — Мы с тобой условились никогда не поминать про мистера Эдварда, — так я же не говорил о нем. Не говорил ведь?

Миссис Варден ответила только, что он хоть кого выведет из терпения, после чего устремилась из комнаты вслед за ушедшими. А бедняга Гейбриэл сам завязал свой кушак, прицепил саблю, взял шапку и вышел.

— Не такой уж я мастер военного дела, — рассуждал он про себя. — Но там по крайней мере меньше беды наживешь, а тут, как ни ступи, — оплошал! Каждый человек для чего-то родится на свет, и мне, видно, судьба — без всякого умысла заставлять всех женщин плакать. Нелегко это, видит бог.

Но, не успев дойти до угла, он уже забыл о своем огорчении и зашагал вперед с сияющим видом, кивая по дороге соседям, и его дружеские приветствия изливались на всех как теплый весенний дождь.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Королевские Волонтеры Восточного Лондона в этот день представляли эффектное зрелище: построившись шеренгами, каре, кругами, треугольниками и всякими другими способами, они под барабанный бой, с развевающимися знаменами проделывали множество сложных манев-

ров, и во всех сержант Варден принимал деятельное участие. Показав свою воинскую удаль во время этого парада, волонтеры стройными рядами промаршировали в Челси и до темноты пировали в соседних тавернах. Затем, созванные боем барабанов, снова построились и под громкие приветствия подданных его величества вернулись на то место, откуда пришли.

Обратное шествие порядком замедлилось из-за неприличного поведения некоторых капралов. Эти люди, степенные у себя дома, но весьма неуравновешенные за его пределами, разбили штыками несколько окон и вынудили своего начальника вести их дальше под усиленным конвоем, но и с конвойными они дорогой то и дело имели стычки. Было уже девять часов вечера, когда Варден вернулся домой. У дверей стояла наемная карета, и, когда слесарь проходил мимо, из окна кареты его окликнул мистер Хардейл.

— От души рад вас видеть, сэр, — сказал слесарь, подходя. — Как жаль, что вы не зашли к нам, вместо того чтобы ждать здесь...

— У вас, оказывается, никого нет дома, — пояснил мистер Хардейл. — К тому же я бы хотел, чтобы разговор с вами был как можно более секретным.

— Гм! — Слесарь оглянулся на свой дом. — Отправились, конечно, с Саймоном Тэппертитом в этот знаменитый Союз!

Мистер Хардейл предложил ему сесть в карету и, если он не устал и не торопится домой, прокатиться вместе — чтобы по дороге спокойно поговорить. Гейбриэл охотно согласился, и кучер, взобравшись на козлы, погнал лошадь.

— Варден, — начал мистер Хардейл, помолчав минуту. — Вы, наверное, будете удивлены, когда услышите, зачем я приехал. Вам это покажется очень странным.

— Не сомневаюсь, сэр, что цель у вас разумная. Если бы в ней не было смысла, вы бы не приехали. Вы только сейчас вернулись из поездки, сэр?

— Да, всего лишь полчаса назад.

— Разузнали что-нибудь про Барнеби и его мать? — спросил слесарь с сомнением в голосе. — Нет? Эх, сэр, я с самого начала думал, что это безнадежная затея.

Ведь как только они уехали, вы пустили в ход все, чтобы их найти, и ничего не вышло. Сызнова начинать поиски после того, как прошло столько времени, — бесполезно, сэр, совершенно бесполезно.

— Но куда же они пропали? — с раздражением сказал мистер Хардейл. — Или их уже нет в живых?

— Кто знает! — отозвался слесарь. — Немало моих знакомых пять лет назад ходили по земле, а теперь почивают в ней, и могилы их заросли травой... Да если Мэри и Барнеби и живы, поверьте, сэр, напрасно будете их искать. Мир велик. Может, время или случай раскроют и эту тайну, если будет на то воля божья.

— Ах, Варден, дорогой мой, недаром я так стремлюсь именно сейчас отыскать их, у меня более серьезные причины, чем вы думаете, — возразил мистер Хардейл. — Это не каприз, не случайный возврат к прежним попыткам, это серьезное, очень серьезное решение. Все мои мысли им заняты, оно не выходит у меня из головы, я, как одержимый, не знаю покоя ни днем ни ночью.

Голос мистера Хардейла звучал настолько необычно, в нем, как и в жестах, заметно было такое сильное волнение, что пораженный Гейбриэл не отвечал ни слова. Он сидел молча и в темноте пытался рассмотреть выражение его лица.

— Не спрашивайте меня ни о чем, — продолжал мистер Хардейл. — Если бы я попробовал объяснить вам, что̀ меня мучает, вы бы подумали, что я сошел с ума, стал жертвой навязчивой фантазии. Достаточно вам знать, что я не в состоянии, да, не в состоянии сидеть сложа руки, — я *должен* делать то, что вам покажется странным.

— А с каких же пор вы в таком беспокойстве, сэр? — спросил слесарь, помолчав.

Мистер Хардейл ответил не сразу, — он, казалось, был в нерешимости.

— С той ночи, как бушевала буря. С девятнадцатого марта.

И, словно боясь, что Варден сейчас станет удивляться или расспрашивать его, мистер Хардейл поспешно продолжал:

— Знаю, вы подумаете, что я в заблуждении. Может, и так. Но во всяком случае мое подозрение — не плод

больной фантазии, а вывод здравого ума, основанный на фактах. Вы знаете, что в доме миссис Радж все осталось как было, и он, по моему распоряжению, стоит запертый со дня ее отъезда — только раза два в неделю старуха соседка заходит, чтобы разогнать крыс. Я сейчас еду туда.

— Зачем? — спросил слесарь.

— Проведу там ночь, — пояснил мистер Хардейл. — И не одну, а много ночей. Для всех это секрет, но вам я его открыл на случай, если произойдет что-нибудь непредвиденное. Приходите туда ко мне только в случае крайней необходимости, я буду там с сумерек до утра. Эмма, Долли и все остальные уверены, что меня нет в Лондоне — я действительно вернулся только час назад. Не говорите им ничего! Вот за этим я и приехал. Знаю, что на вас можно положиться, и прошу вас — ни о чем пока меня не спрашивайте.

И, вероятно, для того, чтобы переменить тему, мистер Хардейл стал расспрашивать ошеломленного слесаря о его столкновении с разбойником на дороге, о нападении в ту же ночь на Эдварда Честера, о встрече с этим разбойником в доме миссис Радж и всех последующих необычайных происшествиях. Он даже — как бы между прочим — осведомился, какого роста и сложения этот человек, какая у него наружность и не показался ли он ему, Вардену, похожим на кого-нибудь... — ну, например, на Хью или другого знакомого. Много еще подобных вопросов задавал Вардену мистер Хардейл, а тот, считая, что это делается лишь для того, чтобы отвлечь его внимание, отвечал на все рассеянно — первое, что приходило в голову.

Они доехали, наконец, до той улицы, где стоял дом миссис Радж, и здесь мистер Хардейл, сойдя на углу, отпустил кэб.

— Если хотите сами убедиться, что я здесь хорошо устроюсь, войдемте в дом! — с грустной усмешкой сказал он Вардену.

Гейбриэл, которому все прежние неожиданности казались пустяком по сравнению с этой новой, молча пошел за ним по узкому тротуару. Дойдя до входной двери, мистер Хардейл бесшумно отпер ее принесенным с собой

ключом, вошел, пропустив вперед Вардена, и запер ее изнутри.

Они очутились в полной темноте и ощупью добрались до комнаты в нижнем этаже. Здесь мистер Хардейл зажег свечу, которую предусмотрительно захватил с собой. Только сейчас, когда огонек осветил его лицо, слесарь заметил, как оно побледнело и осунулось, как сильно исхудал и переменился мистер Хардейл. Видно было, что он действительно в таком тяжелом состоянии, как говорил дорогой. После всего услышанного Гейбриэл с вполне естественным интересом всмотрелся ему в лицо. Выражение этого лица было настолько разумно и серьезно, что Варден даже устыдился своего минутного подозрения и, встретив взгляд мистера Хардейла, отвел глаза, словно боясь выдать свои мысли.

— Хотите обойти дом? — предложил мистер Хардейл и, покосившись на окно, закрытое ветхими ставнями, добавил: — Только говорите потише.

Предупреждение было излишне — эти комнаты будили какое-то жуткое чувство, заставлявшее невольно понижать голос. Гейбриэл шепнул «хорошо» и пошел за мистером Хардейлом наверх.

Там все имело такой же вид, как и тогда, когда он приходил сюда в последний раз. Но было душно, царила гнетущая тишина, словно самый дом загрустил от долгого одиночества. Занавески на окнах и у кровати, прежде такие чистенькие и веселые, уныло повисли, и в складках их густым слоем залегла пыль; на потолке, стенах и полу пятнами проступала сырость. Половицы скрипели под ногами вошедших, словно протестуя против неожиданного вторжения, а проворные пауки, ослепленные светом, замерли на стенах или падали на пол, как мертвые. Тикал где-то жук-точильщик, которого народ называет «часы смерти», и за панелями шумели поспешно убегавшие крысы и мыши.

При виде обветшавшей мебели Гейбриэлу и мистеру Хардейлу с удивительной живостью вспомнились те, кто раньше владел ею, сжился с нею. Казалось, Грип снова восседает на высокой спинке стула, Барнеби лежит в своем любимом уголке у камина, а его мать сидит на обычном месте и, как бывало, издали наблюдает за сы-

ном. И даже когда обоим посетителям удавалось отогнать эти призраки, возникшие в их воображении, те, казалось, все же незримо витали вокруг, таились за дверьми, в чуланах, готовые вновь появиться и внезапно заговорить хорошо знакомыми голосами.

Мистер Хардейл и Варден вернулись в комнату на первом этаже. Хардейл снял шпагу и положил ее на стол вместе с парой карманных пистолетов, затем вышел со свечой в переднюю проводить слесаря.

— Тоскливо вам будет тут одному, сэр, — заметил Гейбриэл. — Разве нельзя кому-нибудь побыть с вами?

Мистер Хардейл молча покачал головой, так ясно выразив этим свое желание остаться в одиночестве, что слесарь не решился настаивать. Через минуту он был уже на улице и видел, как в доме огонек свечи снова перекочевал наверх, затем вернулся в комнату на первом этаже и ярко засветился сквозь щели в ставнях.

Кто пожелал бы увидеть человека в тяжком смятении и крайней растерянности, тому стоило в этот вечер посмотреть на Гейбриэла Вардена. Даже когда он уютно устроился у камина напротив миссис Варден в ночном чепчике и ночной кофте, а рядом с ним села Долли (в самом соблазнительном дезабилье), и, завивая свои локоны, улыбалась так весело, будто она никогда в жизни не плакала и не умела плакать, а Миггс (впрочем это уж не так важно) клевала носом в глубине комнаты, — даже тогда, с Тоби под рукой и трубкой в зубах, Варден не мог отделаться от мучившего его беспокойства. У него из головы не выходила мысль о мистере Хардейле, угрюмом, измученном заботами, ловившим в пустом доме каждый звук, пока утренняя заря не заставит померкнуть огонек свечи и не положит конец его одинокому ночному бдению.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Утро не принесло слесарю успокоения, в тревоге прошли второй, третий и ряд следующих дней. С наступлением темноты он часто ходил на улицу, где стоял так

хорошо ему знакомый дом; там сквозь щели ставень неизменно мерцал огонек одинокой свечи, но внутри не слышно было ни звука, — унылая тишина могилы! Боясь рассердить мистера Хардейла, если нарушит его строгий приказ, Варден ни разу не решился постучать в дверь или другим способом дать знать о своем присутствии. Но любопытство и горячее сочувствие мистеру Хардейлу приводили его сюда довольно часто, и, когда он ни приходил, сквозь ставни по-прежнему мерцал свет.

Если бы Варден и мог видеть, что происходит в доме, это все равно не помогло бы ему разгадать причину таинственных ночных бдений. Мистер Хардейл в сумерки запирался в доме, а на рассвете покидал его. Он не пропускал ни одной ночи, приходил и уходил всегда один и никогда ни на йоту не менял этого порядка.

Что же он делал в этом доме? С наступлением вечера входил, как тогда с Гейбриэлом, зажигал свечу и, обходя комнаты, тщательно осматривал все уголки. Затем возвращался в нижнюю комнату и, положив на стол шпагу и пистолеты, просиживал там до утра.

Он обычно приносил с собой книгу и пытался читать, но и на пять минут не мог сосредоточиться. Глаза его то и дело отрывались от страницы, ухо настороженно ловило малейший шорох снаружи, и при каждом звуке шагов на тротуаре у него екало сердце.

Чтобы подкрепиться во время долгих часов одиночества, он приносил с собой в кармане сандвичи с мясом и вино в маленькой фляжке. Вино разводил большой порцией воды, выпивал его с лихорадочной жадностью, как будто у него постоянно сохло в горле, но еды в рот не брал — за всю долгую ночь пожует разве иногда кусочек хлеба.

Быть может (как после некоторого размышления предположил Варден), мистер Хардейл добровольно лишал себя сна и покоя, потому что суеверно ожидал, что сбудется какая-то мечта или предчувствие, связанные с событием, которое столько лет камнем лежало у него на сердце; а быть может, он ждал появления какого-то призрака, который бродит по ночам, когда добрые люди спокойно спят в своих постелях. Как бы то ни было, в нем

не заметно было никакого страха или сомнений. В чертах его сурового лица, сдвинутых бровях и складке крепко сжатого рта читалась непреклонная воля и твердая решимость. Если он и вздрагивал при каждом звуке, это была не дрожь страха, а дрожь надежды, он хватался за шпагу, как человек, дождавшийся, наконец, своего часа, крепко сжимал ее в руке и с выражением жадного нетерпения в сверкающих глазах прислушивался, пока шум не утихал.

Такие разочарования бывали часто, их вызывал чуть не каждый шорох, но и это не могло поколебать решимости мистера Хардейла. Каждая ночь заставала его на посту, как бодрствующего бессменно часового. Ночь проходила, наступало утро, а там — снова в карауле.

Так шли недели. Он снял себе квартиру в Воксхолле *, здесь проводил дневные часы и отдыхал, отсюда, пользуясь приливом, доезжал в лодке от Вестминстера к Лондонскому мосту, избегая людных улиц.

Как-то раз к вечеру, незадолго до сумерек, он шел обычной дорогой по набережной Темзы, намереваясь пройти через Вестминстер-Холл * на Пелес-Ярд *, а оттуда, как всегда, доехать лодкой до Лондонского моста. У здания парламента толпилось множество людей, они глазели на входивших и выходивших членов палаты и громогласно выражали им свое одобрение или недовольство, смотря по их политическим убеждениям. Пробираясь через толпу, мистер Хардейл слышал раз-другой выкрики «Долой папистов!», становившиеся уже привычными для ушей лондонцев. Мистеру Хардейлу «антипаписты» внушали мало почтения, к тому же он заметил, что здесь собрался всякий сброд, и, не обращая на выкрики никакого внимания, равнодушно шел своей дорогой.

В Вестминстер-Холле люди стояли маленькими группами. Некоторые смотрели вверх, любуясь великолепными сводами в блеске заходившего солнца — его косые лучи вливались сквозь узкие окна и постепенно меркли, поглощенные царившим внизу мраком. Шумными компаниями проходили ремесленники, торопясь домой с работы, своими голосами они будили в зале гулкое эхо и то и дело заслоняли пролет низенькой двери в глубине, теснясь к

выходу на улицу. Иные медленно прохаживались взад и вперед, оживленно толкуя о политике, о своих делах, или, не поднимая глаз, с усиленным вниманием слушали собеседников. Тут десяток мальчишек дрались, поднимая адский шум, там — одиноко ходил какой-то мужчина, не то клерк, не то нищий, в лице и даже походке его чувствовалась угнетенность изголодавшегося человека; мимо него пробежал мальчишка-посыльный, размахивая во все стороны корзинкой и пронзительным свистом рассекая, кажется, не только воздух, но даже балки на потолке, а неподалеку какой-то школьник посмирнее прятал на ходу в карман мяч, завидев издали шедшего ему навстречу сторожа. Была та предвечерняя пора, когда человеку, если он закроет глаза и тотчас их откроет, кажется, что темнота наступила сразу, в одну секунду, а вовсе не сгущалась постепенно в течение последнего часа. Отшлифованные ногами прохожих пыльные плиты пола словно взывали к высоким стенам, беспрерывно отражая шарканье и топот ног, и по временам стук одной из массивных дверей, раскатившись громом по всему зданию, заглушал все другие звуки.

Мистер Хардейл мимоходом поглядывал на ближайшие к нему группы, да и то рассеянно, как человек, мысли которого далеко. Но когда он уже дошел до конца зала, его внимание привлекли двое людей впереди. Один из них был одет весьма щегольски и шел походкой фланера, небрежно вертя в руке трость. Второй, подобострастно вихляясь всем телом, слушал собеседника с видом заискивающим и смиренным, подняв плечи чуть не до ушей и потирая руки. Он только изредка угодливо вставлял слово-другое или отвечал наклонением головы, — это был не то знак согласия, не то поклон, выражающий самое глубокое почтение.

Собственно, ничего особенно примечательного в этой паре не было, ибо преклонение перед нарядным костюмом и дорогой тростью (не говоря уже о золотых и серебряных жезлах, которые являются символом власти) — явление у нас довольно обычное. Но было в этом щеголе, да и в его спутнике что-то такое, что неприятно поразило мистера Хардейла. Он вдруг остановился в нерешимости и хотел уже свернуть в другую сторону,

чтобы избежать встречи, но в эту минуту шедшие впереди быстро обернулись и столкнулись с ним лицом к лицу.

Джентльмен с тростью приподнял шляпу и начал было извиняться. Мистер Хардейл поспешно ответил тем же и хотел уйти, но тот остановился и воскликнул:

— Как, это вы, Хардейл? Бог мой, вот так неожиданность!

— Да, — нетерпеливо отозвался мистер Хардейл, — это я и...

— Дорогой мой, куда вы так спешите? — воскликнул джентльмен с тростью, удерживая его. — Ну ради нашего старого знакомства подарите мне минутку.

— Я тороплюсь, — возразил мистер Хардейл. — Никто из нас не искал этой встречи, так не стоит длить ее. Прощайте.

— Фи, как нелюбезно! — сказал сэр Честер (это был он). — А мы как раз говорили о вас. Быть может, вы даже слышали, как я произнес ваше имя? Нет, не слышали? Жаль, право, очень жаль. Вы, конечно, знакомы? Помните нашего общего друга, Хардейл? Ах, какая удивительная встреча!

«Друг», на которого указал сэр Джон, явно чувствовал себя неловко. Он даже осмелился дернуть сэра Джона за рукав и всячески давал ему понять, что желал бы избежать разговора. Но так как у сэра Джона на этот счет были свои соображения, он делал вид, что не замечает его безмолвных протестов, и даже указал рукой на своего спутника, чтобы обратить на него внимание мистера Хардейла.

«Другу» волей-неволей пришлось изобразить на лице приятную улыбку и, когда мистер Хардейл посмотрел на него, заискивающе отвесить поклон. Видя, что Хардейл узнал его, он неловким жестом протянул ему руку, и смущение его еще возросло, когда рукопожатие было презрительно отвергнуто.

— А, мистер Гашфорд! — сухо сказал Хардейл. — Значит, то, что я слышал, — правда: вы обратились от тьмы к свету и теперь со всем ожесточением ренегата ненавидите тех, чьи убеждения раньше разделяли. Впрочем, вы делаете честь всякому делу, за какое ни возьме-

тесь. Тех, к кому вы сейчас примкнули, можно поздравить с таким ценным приобретением.

Секретарь потирал руки и кланялся, словно хотел своим смирением обезоружить противника. А сэр Джон Честер снова воскликнул самым веселым тоном с никогда не изменявшим ему самообладанием: «Ах, как замечательно, что мы вас встретили!» — и взял из табакерки щепотку табаку.

— Мистер Хардейл, — начал Гашфорд, украдкой подняв глаза, но тотчас опустив их под пристальным взглядом Хардейла. — Такой достойный, благородный и совестливый человек, как вы, не станет, конечно, объяснять низким расчетом честную перемену взглядов. Хотя я не верю больше в то, во что верите вы, вы слишком великодушны и справедливы, слишком хорошо понимаете человеческую душу, чтобы...

— Ну, что же вы хотели мне сказать, сэр? — с саркастической усмешкой спросил мистер Хардейл, когда секретарь запнулся и умолк.

Гашфорд только слегка пожал плечами и молчал, попрежнему не поднимая глаз.

Тут к нему на выручку поспешил сэр Джон.

— Нет, вы только подумайте, — воскликнул он. — Подумайте, какая странная случайность! Извините, Хардейл, друг мой, мне кажется, вы недостаточно уяснили себе, как это необычайно. Вдруг мы, трое старых школьных товарищей, словно сговорившись, сходимся в Вестминстер-Холле! Три бывших пансионера скучной и унылой Сент-Омерской семинарии — вы оба, католики, воспитывались там, так как вынуждены были учиться вне Англии, а я, тогда подававший надежды молодой протестант, был отправлен туда учиться французскому языку у настоящих парижан.

— Прибавьте к этому, сэр Джон, еще одну странность, — отозвался мистер Хардейл, — то, что некоторые из вас, подающих надежды протестантов, в настоящее время объединились вон в том здании с целью помешать нам получить неслыханно-высокую привилегию обучать наших детей грамоте здесь, в Англии, где ежегодно тысячи католиков идут служить в ее войсках, защищают ее свободу, гибнут в кровавых битвах на чужбине. А другим

протестантам, — их, говорят, в вашем Союзе уже несколько тысяч, — этот самый Гашфорд внушает, что все мои единоверцы — дикие звери. Прибавьте к этому то, что подобный человек принят в обществе, среди бела дня разгуливает по улицам... (я хотел сказать «с высоко поднятой головой», но это было бы неверно), — и вам все в Англии покажется странным, очень странным, уверяю вас!

— О, вы очень строги к нашему другу, — возразил сэр Джон с обольстительной улыбкой, — право же, слишком строги.

— Оставьте его, сэр Джон, пусть говорит что хочет, — сказал Гашфорд, теребя свои перчатки. — Я умею прощать обиды. Если такой человек, как вы, почтил меня своим доверием, так что для меня мнение мистера Хардейла! Мистер Хардейл — один из пострадавших от наших законов, как же я могу рассчитывать на дружеские чувства с его стороны?

— Напротив, я к вам настолько хорошо отношусь, сэр, что рад видеть вас в такой подходящей компании, — отрезал мистер Хардейл, метнув злой взгляд на сэра Джона. — Оба вы, конечно, достойные представители вашего славного Союза.

— Нет, в этом вы ошибаетесь, — сказал сэр Джон еще благодушнее, чем прежде. — Нет, Хардейл, как это ни странно, вы, при всей своей непогрешимости, жестоко заблуждаетесь. Я не состою в Союзе. Я чрезвычайно уважаю его членов, но в Союзе не состою. Впрочем, я действительно против возвращения прав католикам. Мне это стоило тяжкой борьбы с самим собой, но такова печальная необходимость — я считаю долгом чести возражать против этого... Не угодно ли воспользоваться моей табакеркой? Если вы не возражаете против надушенного табака, вам понравится его тонкий аромат.

— Прошу прощения, сэр Джон, — сказал мистер Хардейл, жестом отклоняя это любезное предложение, — за то, что приравнял вас к тем рядовым исполнителям чужой воли, кто действует открыто, на глазах у всех. Мне следовало отдать должное вашим способностям. Люди вашего типа действуют тайно и безнаказанно, предоставляя глупцам занимать видные и опасные посты.

— Ради бога, не извиняйтесь, — любезно сказал сэр Джон. — Между такими старыми друзьями, как мы, позволительны некоторые вольности, черт возьми!

Тут Гашфорд — он все время беспокойно топтался на месте и ни разу не поднял глаз — решился, наконец, обратиться к сэру Джону и пробормотал, что ему пора идти, так как милорд, вероятно, ждет его.

— Не беспокойтесь, сэр, — сказал ему мистер Хардейл, — я сейчас ухожу и не буду вас стеснять.

Он действительно хотел уже уйти без дальнейших церемоний, но его остановил шум и галдеж в другом конце зала, и, бросив взгляд в ту сторону, он увидел лорда Джорджа Гордона, который шел к ним, окруженный толпой.

Физиономии обоих союзников лорда Джорджа выразили (хотя и совсем по-разному) плохо скрытое торжество, и это, естественно, раззадорило мистера Хардейла: решив не отступать перед их вождем, а остаться на месте, пока тот пройдет, он выпрямился и, заложив руки за спину, с высокомерно-презрительным видом ожидал лорда Джорджа, который шел к ним медленно, с трудом пробираясь сквозь теснившуюся вокруг него толпу.

Лорд Джордж только что вышел из палаты общин и направился прямо в Вестминстер-Холл — как всегда, с новостями. Он на ходу сообщал своим единомышленникам, что сегодня говорилось в парламенте о папистах, и какие петиции поданы в их защиту, и кто из выступавших их поддерживал, и когда будет внесен билль о льготах, когда лучше всего подать петицию от Великого Союза Протестантов. Все это он громогласно излагал слушателям, сопровождая свои слова усиленной и неуклюжей жестикуляцией. Те, кто был поближе, обсуждали эти вести; слышался ропот и угрожающие возгласы. Задние кричали: «Тише!» или «Пропустите!» — и пытались силой пробиться вперед. Так все они двигались, беспорядочно, нестройно, как всегда движется толпа.

Подойдя уже совсем близко к тому месту, где стояли его секретарь, сэр Джон и мистер Хардейл, лорд Джордж

обернулся и, прокричав несколько фраз с большим жаром, но бессвязно, закончил обычным возгласом «Долой папистов», предложив поддержать его троекратным «ура». И в то время как его свита с большим воодушевлением выполняла это, лорд выбрался из давки и подошел к Гашфорду. Секретаря и сэра Джона все эти люди хорошо знали, и толпа отхлынула назад, оставив их вчетвером.

— Лорд Джордж, позвольте вам представить мистера Хардейла, — сказал сэр Джон Честер, видя, как испытующе лорд смотрит на незнакомого ему человека. — К сожалению, он католик. Да, католик, к несчастью, но человек почтенный и мой старый знакомый. И не только мой, но и мистера Гашфорда. Дорогой Хардейл, это — лорд Джордж Гордон.

— Если бы я и не знал в лицо его светлость, я мог бы догадаться, что это он, — сказал мистер Хардейл. — Думаю, что никто другой во всей Англии не стал бы, обращаясь к темной и возбужденной толпе, говорить о значительной части своих сограждан в тех оскорбительных выражениях, какие я только что слышал. Стыдно, стыдно, милорд!

— Я не считаю возможным говорить с вами, сэр, — громко отпарировал лорд Джордж, в явном смущении и волнении отмахнувшись от него. — Между нами нет ничего общего.

— Напротив, у нас много общего, очень много: все то, что дано нам Создателем, — возразил мистер Хардейл. — И хотя бы обязательное для всех милосердие, не говоря уже о здравом смысле и простой порядочности, должно было удержать вас от таких выходок. Если бы даже у всех этих людей было сейчас в руках то оружие, которое они жаждут пустить в ход, я все равно не ушел бы отсюда, не сказав вам, что вы позорите свое звание.

— Я вас не слушаю, сэр, — сказал лорд Джордж тем же тоном. — Я не стану вас слушать, и мне безразлично, что́ вы думаете. Молчите, Гашфорд, не возражайте ему, — добавил он, так как его секретарь сделал вид, будто хочет вступиться. — Не будем препираться с идолопоклонниками.

Говоря это, он посмотрел на сэра Джона, а тот поднял брови, поднял руки, словно ужасаясь несдержанности мистера Хардейла, и умильно улыбался, глядя то на толпу, то на ее вождя.

— Не хватало только, чтобы *он* стал мне возражать! — вокликнул Хардейл. — Да вы знаете ли, милорд, что это за человек?

Лорд Джордж вместо ответа доверчиво положил руку на плечо съежившегося секретаря.

— Этот человек, — продолжал мистер Хардейл, смерив Гашфорда взглядом с головы до ног, — уже в детстве был воришкой и по сей день остался лживым и трусливым подлецом. Всю жизнь он пресмыкался, готовый каждый миг укусить руку, которую лизал, нанести тяжкую рану тем, перед кем вилял хвостом. Это льстец и наушник, не знающий, что такое честь, правда и мужество, человек, который обольстил дочь своего благодетеля и, женившись на ней, вогнал ее в могилу побоями и жестокостью. И этот пес, который скулил под окнами кухонь, ожидая объедков, нищий, выпрашивавший медяки на паперти нашей церкви, теперь является апостолом веры, и его чуткая совесть отвергает наши алтари, перед которыми были всенародно изобличены его пороки! Да знаете ли вы этого человека?

— Ах, право же, вы чересчур суровы к нашему другу! — воскликнул сэр Джон.

— Оставьте, пусть мистер Хардейл говорит что хочет, — сказал Гашфорд, изможденное лицо которого во время этой речи покрылось крупными каплями пота. — Поверьте, сэр Джон, меня его слова ничуть не трогают. Мне они так же безразличны, как милорду. Если он, как вы сами слышали, поносит милорда, так неужели же он меня оставит в покое?

— Разве мало того, — продолжал мистер Хардейл, — что я, такой же дворянин, как и вы, вынужден, чтобы сохранить свое имущество, прибегать ко всяким уловкам, на которые даже власти смотрят сквозь пальцы, понимая, что старые законы слишком уж суровы? Мало того, что нам не позволяют учить наших детей в школах и внушать им общечеловеческие понятия о добре и зле, — неужели мы должны еще терпеть оскорбления от таких вот

людишек, как этот, и будем отданы им во власть? Да, нечего сказать, вполне подходящий вождь для тех, кто орет «Долой папистов!» Какой позор!

Пораженный лорд Джордж уже не раз поглядывал на сэра Джона Честера, словно спрашивая, есть ли доля правды в том, что он слышит здесь о Гашфорде, а сэр Джон отвечал только пожатием плеч или выразительным взглядом, ясно говорившим: «Боже мой, конечно, нет!» Наконец лорд сказал все так же громогласно и с той же нескладной жестикуляцией, что и раньше:

— Мне нечего вам отвечать, сэр, и я не желаю больше вас слушать. Прошу вас прекратить этот разговор и ваши нападки. Уверяю вас, никакая хула, от кого бы она ни исходила, от папских агентов или нет, не помешает мне выполнить долг перед родиной и соотечественниками. Пойдемте, Гашфорд.

Во время всего этого разговора они успели пройти короткое расстояние до дверей и сейчас вместе вышли на улицу. Мистер Хардейл, ни с кем не прощаясь, направился к лестнице, спускавшейся к Темзе почти у самых дверей Вестминстер-Холла, и окликнул единственного незанятого лодочника.

Однако в передних рядах толпы, сопровождавшей лорда Гордона, слышали каждое сказанное им слово; быстро распространилась весть, что этот незнакомец — папист и оскорбляет лорда, который стоит за народ. Толпа в беспорядке хлынула следом за мистером Хардейлом, вынесла вперед милорда, его секретаря и сэра Джона, так что они оказались во главе этого движения, и остановилась на верхних ступеньках лестницы, неподалеку от мистера Хардейла, ожидавшего лодки.

Они еще бездействовали, но языки их действовали вовсю. За глухим ропотом последовали свистки и крики и, постепенно нарастая, перешли в настоящую бурю. Потом кто-то крикнул: «К черту папистов!», его поддержали довольно дружным «ура!» — и только. Но после минутного затишья один человек заорал: «Побить его камнями!», другой — «В реку его!», третий гаркнул: «Долой папистов», и этот излюбленный клич подхватила уже вся толпа, в которой было человек двести.

До этой минуты мистер Хардейл спокойно стоял на



верхней ступеньке, когда же раздались крики, он бросил через плечо презрительный взгляд на толпу и не спеша стал спускаться вниз. Он уже почти дошел до лодки, когда Гашфорд, словно невзначай, обернулся, — и тотчас чья-то рука метнула из толпы увесистый камень, который угодил мистеру Хардейлу в голову с такой силой, что он зашатался, как пьяный.

Из раны обильно лилась кровь на кафтан. Мистер Хардейл круто обернулся и, взбежав вверх по ступеням так стремительно и смело, что все невольно попятились, спросил:

— Кто это сделал? Укажите мне того, кто бросил камень!

Никто не шелохнулся, только где-то в задних рядах несколько человек шмыгнули из толпы на другую сторону улицы и остановились там с видом безучастных зрителей.

— Я спрашиваю, кто это сделал! — повторил мистер Хардейл. — Уж не ты ли, подлец? Знаю, если не сам ты бросил камень, все равно — это твоих рук дело! Знаю я тебя!

С этими словами он бросился на Гашфорда и сбил его с ног. Толпа заволновалась, и несколько человек подскочили к мистеру Хардейлу, но его обнаженная шпага заставила всех отступить.

— Милорд! Сэр Джон! — крикнул он. — Один из вас будет драться со мной! Вы мне ответите за это оскорбление. Я жду — обнажите шпаги, если вы джентльмены!

Он ударил сэра Джона шпагой плашмя в грудь и, весь красный, с горящими глазами, стоял в оборонительной позе, один против целой толпы.

На один миг, всего на миг, быстрый, как мысль, лицо сэра Джона, всегда такое безмятежное, приняло выражение, какого никогда никто не видел на этом лице. Но через секунду он уже шагнул к мистеру Хардейлу и, положив одну руку ему на плечо, другую протянул вперед, пытаясь этим жестом утихомирить толпу.

— Хардейл, дорогой мой, вы ослеплены гневом! Это вполне понятно, но гнев мешает вам отличить друзей от врагов.

— Нет, сэр, я умею отличать их и хорошо знаю, кто мне враг, — отрезал мистер Хардейл уже вне себя от гнева. — Сэр Джон, лорд Джордж, вы слышали, что я сказал? Или вы трусы?

— Оставьте их, сэр, — промолвил какой-то человек, пробравшись к нему сквозь толпу, и с дружеской настойчивостью подтолкнул его к лестнице. — Ни к чему эти вопросы. Ради бога, уходите отсюда поскорее. Что вы сделаете один против такой оравы? А на соседней улице их еще столько же, и они сейчас кинутся сюда. (Действительно, из-за угла уже бежал народ.) У вас от этой раны сразу же в первой стычке голова закружится. Уходите, уходите, сэр, иначе, поверьте, вам плохо придется, хуже, чем если бы вся эта орава состояла из баб, и каждая была бы Кровавой Марией. Ну же, сэр, живее! Не мешкайте!

Мистер Хардейл, у которого уже действительно кружилась голова и подкашивались ноги, понял, как разумен этот совет, и стал сходить вниз, поддерживаемый незнакомым другом. Джон Груби (это был он) помог ему сесть в лодку и, оттолкнув ее с такой силой, что она сразу очутилась в тридцати футах от пристани, крикнул перевозчику, чтобы он греб, как подобает настоящему британцу. После этого он поднялся на лестницу так спокойно, как будто только что высадился на берег.

В первую минуту толпу возмутило это вмешательство, но хладнокровие Джона, его бросавшаяся в глаза физическая сила и притом его ливрея, показывавшая, что он — слуга лорда Гордона, отбили у забияк охоту связываться с ним. Они удовольствовались тем, что послали вдогонку лодке град камней, но эти метательные снаряды шлепались в воду, не принося никому вреда, так как лодка успела уже проскочить под мостом и мчалась посредине реки.

После этого неудавшегося развлечения ревностные протестанты двинулись дальше, барабаня по дороге в двери домов, разбивая кое-где фонари и нападая на встречных констеблей. Но едва пронеслась весть, что против них выслан отряд лейб-гвардии, все поспешно пустились наутек, и улица вмиг опустела.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Когда толпа схлынула, беспорядочными группами рассеявшись в разные стороны, на месте происшествия остался один человек. Это был Гашфорд. Он больно ушибся при падении, но еще мучительнее было воспоминание о пережитом только что позоре и публичном разоблачении. Он бродил, прихрамывая, взад и вперед, бормоча себе под нос проклятия и угрозы.

Однако не в его характере было изливать свой гнев попусту. Дав волю кипевшей в нем злобе, он все время зорко следил за двумя людьми, которые, убежав вместе со всеми, когда поднялась тревога, затем вернулись; при свете луны видно было, как они прохаживались неподалеку, толкуя о чем-то между собой.

Гашфорд, не приближаясь к ним, терпеливо ждал на темной стороне улицы, пока они, устав, наконец, бродить взад и вперед, не пошли прочь. Тогда он двинулся следом за ними, но на некотором расстоянии, чтобы, не теряя их из виду, не быть заподозренным в слежке, а если удастся, остаться и вовсе не замеченным.

Они прошли по улице Парламента, мимо церкви св. Мартина и вышли на Тоттенхем-Корт-роуд; к востоку от нее в те времена находились так называемые «Зеленые тропы», глухое место, пользовавшееся не очень-то хорошей славой, а дальше уже начинались поля. Груды золы, стоячие прудки, густо заросшие ряской и сорными травами, сломанные рогатки и одиноко торчавшие колья давно разобранных на дрова заборов, грозившие рассеянному прохожему острыми ржавыми гвоздями, — таков был окружающий пейзаж. Там и сям осел или заморенная кляча, привязанные к столбу, щипали чахлую жесткую траву, свой единственный жалкий корм. Они вполне гармонировали с окружающей картиной и свидетельствовали (впрочем, об этом же достаточно красноречиво говорили и дома) о бедности здешних жителей, ютившихся в ветхих лачугах, и о том, как рискованно прилично одетому человеку, имеющему при себе деньги, появляться здесь одному, — разве что среди бела дня.

Бедняки, как и богачи, имеют свои прихоти и вкусы. Некоторые домишки были украшены башенками, у других, на источенных плесенью стенах — нарисованы фальшивые окна, а один даже был увенчан подобием часов на шаткой четырехфутовой башенке, маскировавшей дымовую трубу. При каждом домике в крохотном палисаднике непременно стояла простая, грубо сколоченная скамейка или беседка. Обитатели «Зеленых троп» кормились тем, что собирали и продавали кости, тряпье, битое стекло, старые колеса, торговали птицами и собаками, которые содержались в палисадниках, в различных (смотря по роду этого «товара») хранилищах и наполняли воздух далеко не приятными ароматами, оглушали криками, лаем, визгом и воем.

В этот-то уголок Лондона попал секретарь, следуя за двумя людьми, которые привлекли его внимание, и здесь увидел, как они вошли в одну из самых жалких лачуг, состоявшую из одной только комнаты, да и то очень небольшой. Подождав на улице, пока не услышал их голоса и нестройное пение, ясно показывавшее, что они навеселе, он только тогда прошел к дому по качающейся доске, переброшенной через канаву, и постучал в дверь.

— Мистер Гашфорд! — с явным изумлением воскликнул отворивший ему мужчина, вынимая трубку изо рта. — Вот не думал, не гадал, что вы окажете мне такую честь! Входите же, мистер Гашфорд, входите, сэр!

Не ожидая вторичного приглашения, Гашфорд вошел с самой любезной миной. На ржавой решетке очага горел огонь (несмотря на то, что весна наступила давно, вечера были холодные), а на табурете у огня сидел Хью и курил. Деннис придвинул гостю единственный стул и сам сел на табурет, с которого только что встал, чтобы открыть дверь.

— Что слышно, мистер Гашфорд? — спросил он, снова сунув трубку в рот и бросив искоса взгляд на секретаря. — Есть уже какой-нибудь приказ из штаба? Приступаем, наконец, к делу?

— Пока ничего, — отозвался секретарь, приветливым кивком здороваясь с Хью. — Но лед тронулся! Сегодня уже была небольшая буря, не так ли, Деннис?

— Ну, какая это буря! — проворчал палач. — Так, безделица. И вполовину не то, что было бы мне по вкусу.

— И не по мне тоже такие безделицы! — подхватил Хью. — Дайте нам дело боевое, чтобы разгуляться как следует, хозяин! Ха-ха-ха!

— Но вы же не хотели бы такого дела, которое пахнет кровью? — промолвил секретарь с самым зловещим выражением лица, но самым вкрадчивым тоном.

— Не знаю, — ответил Хью. — Что прикажут, то и буду делать. Я не привередлив.

— И я тоже, — гаркнул Деннис.

— Молодцы! — сказал секретарь тоном пастыря, благословляющего их на великий подвиг доблести и мужества. — А кстати, — он сделал паузу и погрел руки над огнем, затем вдруг поднял глаза. — Кто это сегодня бросил камень?

Мистер Деннис крякнул и покачал головой, словно говоря: «В самом деле, непонятно!» А Хью продолжал молча курить.

— Меткий удар! — продолжал секретарь, снова протянув руки к огню. — Хотелось бы познакомиться с этим человеком.

— В самом деле? — переспросил Деннис и посмотрел ему в лицо, точно желая убедиться, что он говорит серьезно. — Хотите познакомиться?

— Разумеется.

— Ну, так, с божьей помощью, познакомитесь. — Палач хрипло захохотал и концом трубки указал на Хью. — Вот он перед вами. Он самый. И клянусь небом и веревкой, мистер Гашфорд, — добавил он шепотом, придвинувшись вплотную к секретарю и подталкивая его локтем, — презанятный парень, доложу я вам! Его, как настоящего бульдога, все время приходится держать на привязи. Если бы не я, он бы сегодня прикончил этого католика и в одну минуту взбунтовал бы народ.

— А почему бы и нет? — воскликнул Хью сердито, услышав последние слова Денниса. — Что толку тянуть да откладывать? Куй железо пока горячо — вот это помоему!

— Ишь какой торопыга! — отозвался Деннис, покачав головой с видимым снисхождением к наивности сво-

его молодого приятеля. — Ну, а если железо еще не горячо, братец? Раньше чем поднять народ, надо хорошенько разогреть в нем кровь. А сегодня не было ничего такого, что могло бы достаточно рассердить его — это *я* тебе говорю. Если бы не я, ты испортил бы нам всю будущую потеху и погубил бы нас.

— Это верно, — сказал Гашфорд примирительно. — Деннис совершенно прав. Он хорошо знает жизнь.

— Как же мне ее не знать, мистер Гашфорд, когда я стольким людям помогал расстаться с нею? — шепнул палач, прикрывая рот рукой и многозначительно ухмыляясь.

Секретарь хихикнул, чтобы удовлетворить Денниса, затем обратился к Хью:

— Вы легко могли заметить, что я придерживаюсь именно такой тактики, о какой говорит Деннис. Вот, например, сегодня я упал, как только на меня набросился этот Хардейл. Я не хотел сопротивляться, чтобы, боже упаси, не вызвать преждевременной вспышки...

— Истинная правда, черт возьми! — воскликнул Деннис с громким хохотом. — Преспокойно шлепнулись на землю, мистер Гашфорд, и растянулись во всю длину. Я даже подумал: «Ну, конец, видно, нашему мистеру Гашфорду!» Отродясь не видывал, чтобы живой человек лежал так тихо и смирно! С этим папистом шутки плохи, что и говорить!

В то время как Деннис гоготал и, сощурив глаза, переглядывался с вторившим ему Хью, лицо секретаря могло бы служить моделью для изображения дьявола. Он сидел молча, пока оба приятеля не угомонились, а тогда сказал, озираясь вокруг:

— Здесь у вас очень уютно, Деннис, и я охотно посидел бы подольше, хотя отсюда и небезопасно возвращаться одному вечером. Но милорд настойчиво просил меня отужинать с ним сегодня, и мне пора идти. Как вы и сами догадались, я, собственно, пришел к вам по делу... Да, я хочу дать вам небольшое поручение, очень для вас лестное. Если мы рано или поздно будем вынуждены... а ручаться ни за что нельзя, в нашем мире все так ненадежно...

— Верно, мистер Гашфорд! — перебил его палач, с важностью кивнув головой. — Господи, сколько я на

своем веку перевидал случайностей и неожиданных перемен! Мне ли не знать, какая ненадежная штука — человеческая жизнь!

Решив, вероятно, что тема эта слишком обширна, попросту неисчерпаема, Деннис умолк, запыхтел трубкой и посмотрел на собеседников.

— Так вот, — продолжал секретарь медленно и с подчеркнутой выразительностью, — нельзя знать, как все сложится. И на тот случай, если нам придется против воли прибегнуть к силе, милорд — он сегодня был обижен так тяжко, как только могут обидеть человека, — милорд, которому я вас обоих рекомендовал как надежных и верных людей, поручает вам почетное дело — наказать этого Хардейла. Можете расправиться, как хотите, с ним и его семьей, и помните — никакой пощады! Разнесите его дом, камня на камне не оставьте. Грабьте, жгите, делайте, что вам заблагорассудится, дом нужно сровнять с землей! Пусть Хардейл и все его близкие останутся без крова, как брошенные матерью новорожденные младенцы. Вы меня поняли? — Гашфорд замолчал и медленно потер руки.

— Как не понять, хозяин? — воскликнул Хью. — Чего яснее! Вот это здорово, ей-богу!

— Я так и знал, что это поручение придется вам по душе, — сказал Гашфорд, пожимая ему руку. — Ну, до свиданья. Не провожайте меня, Деннис, не надо. Я сам найду дорогу. Мне, может быть, придется еще бывать здесь — так лучше, если не придется всякий раз вас затруднять. Покойной ночи!

Он вышел и закрыл за собой дверь. А Хью и Деннис переглянулись и подмигнули друг другу. Деннис помешал огонь.

— Это уже как будто похоже на дело, — сказал он.

— Еще бы! — подтвердил Хью. — Это я люблю.

— Я слыхал, что у мистера Гашфорда замечательная память и железная воля, — сказал палач. — Он ничего не забывает и ничего не прощает. Выпьем за его здоровье.

Хью охотно согласился — на этот раз он не пролил на пол ни капли. И они выпили за здоровье секретаря, ибо это был человек вполне в их вкусе.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

В то время как низкие люди, покорствуя своим дурным страстям, готовили черное дело и покров религии, которым прикрывались гнуснейшие безобразия, грозил стать погребальным саваном для всего лучшего и мирного, что было в тогдашнем обществе, произошло нечто, снова изменившее жизнь двух людей, с которыми мы давно расстались и к которым нам теперь следует вернуться.

В одном провинциальном городке Англии, жители которого кормились трудами рук своих — обрабатывали и плели солому для шляп и других принадлежностей туалета, а также разных украшений — жили теперь, скрываясь под вымышленной фамилией, Барнеби и его мать. Жили в неизменной бедности, без всяких развлечений, но и без особых забот, если не считать тяжкой борьбы изо дня в день за кусок хлеба насущного, который зарабатывали в поте лица. Ничья нога не ступала на порог их убогого жилища с тех пор, как они пять лет назад нашли приют под его кровлей, и все эти годы они не поддерживали никакого общения с тем миром, из которого бежали. Спокойно трудиться и посвятить все силы, всю жизнь своему несчастному сыну — вот чего хотела вдова. И если можно говорить о счастье тех, кого грызет тайная печаль, — миссис Радж была теперь счастлива. Спокойствие, покорность судьбе и горячая любовь к тому, кто так нуждался в ее любви, составляли весь тесный круг ее утешений, и, пока ничто не врывалось в него, она была довольна.

Для Барнеби время летело стрелой. Дни и годы проносились, не озаряя ни единым лучом его разум, и в глубоком мраке его не видно было просвета. Барнеби часто целыми днями сиживал на низенькой скамеечке у огня или на пороге их коттеджа, работал (он тоже выучился ремеслу, которым занялась вдова) и слушал сказки, которые мать рассказывала ему, пытаясь этим удержать его подле себя. Барнеби не запоминал их, и выслушанная вчера сказка назавтра уже казалась ему новой. Увлеченный ими, он терпеливо сидел дома и, с жадностью ребенка внимая всему тому, что рассказывала мать, усердно рабо-

тал от зари до полной темноты, когда уже ничего нельзя было разглядеть.

Но бывали периоды, когда он отправлялся бродить и пропадал где-то с раннего утра до вечера, — тогда их скудного заработка едва хватало на еду и то самую неприхотливую. В этих местах было очень мало людей праздных, здесь даже детям приходилось работать, и Барнеби для прогулок не находил товарищей. Да если бы даже их был целый легион, вряд ли кто мог бы за ним угнаться. Но ему вполне заменяли людей десятка два соседских собак. В сопровождении двух-трех, а иной раз и целых полдюжины этих псов, которые с лаем неслись за ним по пятам, он отправлялся странствовать на целый день. Когда они к ночи возвращались домой, собаки были еле живы от усталости, с трудом волочили стертые в кровь ноги, а Барнеби назавтра как ни в чем не бывало вставал с зарей и опять убегал с новой свитой и вечером возвращался таким же манером. Во всех этих экскурсиях неизменно участвовал Грип, сидя в своей корзинке за плечами хозяина, и, если погода бывала хороша и компания настроена весело, ни одна собака не лаяла так громко, как этот ворон.

Удовольствия, которым они предавались на прогулках, были довольно просты. Корка хлеба и кусочек мяса, запитые водой из ручья или родника, составляли всю их еду. Барнеби любил ходить, бегать и прыгать, а устав, ложился в высокую траву, или на меже среди зреющих хлебов, или в тени какого-нибудь высокого дерева; следил за легкими облачками, бегущими по голубому небу, и слушал серебряные трели жаворонка, заливавшегося в вышине. Он любил рвать полевые цветы — ярко-красные маки, хрупкие колокольчики, белую буквицу, шиповник, — наблюдать за птицами, рыбами, муравьями, червяками, за кроликами и зайцами, которые стрелой перебегали дальнюю лесную тропинку и скрывались в чаще. Вокруг были миллионы живых тварей, и все они интересовали Барнеби. Лежа в траве, он подстерегал их и, когда они убегали, хлопал в ладоши и кричал от восторга. А когда их поблизости не было или надоедало следить за ними — как приятно было любоваться игрой солнечных лучей, которые косо скользили между листьев, а потом

прятались где-то в глубине леса, где трепещущие ветви деревьев словно купались и плескались в озере расплавленного серебра.

Радовали Барнеби и сладкие ароматы лета, нежное благоухание цветущих полей клевера и бобов, свежий запах влажных листьев и мха, полный таинственной жизни трепет деревьев и беспрерывная смена теней. А когда он, утомленный, изнемогая от блаженства, закрывал глаза, на смену тихим радостям приходила дремота. Убаюканный музыкой легкого ветерка, Барнеби засыпал, и все вокруг сливалось для него в дивный сон.

Их хижина — ибо жилище это трудно назвать иначе — стояла на окраине городка, неподалеку от большой дороги, но в месте глухом и уединенном, куда во всякое время года только случайно забредал какой-нибудь путник. При домике был разбит небольшой садик, содержавшийся в порядке, — за ним ухаживал Барнеби, когда на него находили припадки усердия. А мать трудилась без устали дома и вне дома, чтобы прокормить себя и сына, и ни град, ни дождь, ни снег, ни жаркое солнце не могли помешать ей.

Прошлое осталось далеко позади, и как ни мало она надеялась и мечтала побывать когда-нибудь опять в родных местах, ее, по-видимому, мучило необъяснимое желание узнать, что творится в этом покинутом ею бурном мире. С жадностью подбирала она каждую брошенную газету, ловила каждый слух, каждую весть из Лондона. Волнение, которое эти известия вызывали в ней, было далеко не радостным, лицо ее в такие минуты выражало сильнейшее смятение и страх, но чувства эти ничуть не уменьшали жадного любопытства. В ненастные зимние вечера, когда ветер выл и бесновался вокруг дома, на лице вдовы появлялось прежнее выражение застывшего ужаса, и ее трясло, как в лихорадке. Барнеби редко замечал это: она ценой огромных усилий всегда брала себя в руки прежде, чем сыну бросалась в глаза перемена в ней.

Грип был далеко не праздным и не бесполезным членом этого бедного семейства. Отчасти уроки Барнеби, отчасти же свойственная этой породе птиц способность живо все схватывать и большая наблюдательность по-

могли Грипу стать таким мудрым и ученым, что он прославился на много миль вокруг. О его красноречии и удивительных талантах шла молва повсюду, и посмотреть на чудо-ворона приходило немало людей, а так как никто из них не забывал вознаградить его за старания (если ему угодно бывало дать представление, что случалось не всегда, ибо гении капризны), то его заработок составлял изрядную долю доходов семьи. Ворон как будто сам понимал это и знал себе цену: сохраняя полную свободу и непринужденность наедине с Барнеби и его матерью, он в присутствии посторонних напускал на себя необыкновенную важность и никогда не снисходил до даровых представлений, — разве только клюнет в ногу уличного мальчишку (его любимое развлечение), заклюет при случае одного-двух цыплят или сожрет обед какой-нибудь из соседских собак, — даже самым злым из них он внушал трепет и величайшее почтение.

Так шло время, и ничто не нарушало и не меняло их образа жизни. Как-то летним вечером, в июне, Барнеби и его мать отдыхали в своем садике от дневных трудов. У миссис Радж еще лежала на коленях работа, а на земле была рассыпана солома. Барнеби стоял, опираясь на лопату, и любовался яркими красками заката, тихонько напевая что-то.

— Какой славный вечер, — правда, мама? Если бы у нас в карманах звенело хоть немножко того золота, что рассыпано в небе, мы стали бы богачами на всю жизнь.

— Будем довольны тем, что имеем, — спокойно улыбаясь, сказала мать. — Не надо нам золота, не будем и думать о нем, даже если бы оно лежало у нас под ногами. Нам и так хорошо.

— Хорошо-то хорошо, — отозвался Барнеби. Он попрежнему стоял, скрестив руки на лопате, и задумчиво смотрел на закат, — но с золотом лучше. Как жаль, что я не знаю, где его достать. Будь оно у нас, мы с Грипом сумели бы многое сделать, уж в этом не сомневайся!

— А что бы вы стали делать с этим золотом? — спросила миссис Радж.

— Да мало ли что! Мы бы нарядно оделись — не Грип, конечно, а ты и я, — завели бы лошадей, собак,



накупили пестрой богатой одежды и красивых перьев...Мы не работали бы, как теперь, и жили бы припеваючи. Ого, поверь, мама, уж мы бы придумали, что делать с золотом, мы употребили бы его с пользой! Если б только знать, где оно лежит, я не пожалел бы сил и откопал его!

— Нет, ты еще не знаешь, — миссис Радж встала и положила руку на плечо сыну, — ты не знаешь, Барнеби, как грешили люди ради золота, а потом они узнавали — слишком поздно, — что оно блестит так ярко только издали, а в руках у людей теряет весь свой блеск.

— Вот как! — Барнеби все с тем же сосредоточенным вниманием смотрел на закат. — А все-таки, мама, хотелось бы попробовать...

— Разве ты не видишь, какое оно красное? — возразила мать. — Это цвет крови: ни на чем нет столько крови, как на золоте. Беги от него. Нам с тобой больше, чем кому бы то ни было, следует ненавидеть даже это слово. Ты забудь о нем и думать, родной! Из-за него нам на долю выпало такое горе, какое мало кто знал в жизни, да и не дай бог никому узнать. Лучше мне сойти в могилу с тобой вместе, чем увидеть тебя когда-нибудь в погоне за золотом.

Барнеби на мгновение отвел глаза от неба и удивленно посмотрел на мать. Затем, попеременно глядя то на багровую полосу заката, то на родимое пятно у себя на руке, словно сравнивая их цвет, он вдруг стал серьезен; он хотел, видно, задать матери какой-то вопрос, но тут нечто новое отвлекло его неустойчивое внимание, и он тотчас забыл о своем намерении.

За изгородью, отделявшей их садик от проселочной дороги, стоял какой-то мужчина без шапки, в запыленной одежде и таких же пыльных башмаках. Осторожно наклонясь вперед, он, казалось, прислушивался к их разговору и ждал случая вставить слово. Лицо его тоже было обращено в сторону пылавшего заката, но заметно было, что человек слеп и не видит его.

— Да будут благословенны ваши голоса, — промолвил, наконец, прохожий. — Слушая их, я сильнее чувствую красоту вечера. Они заменяют мне глаза. Говорите же еще, порадуйте сердце бедного странника.

— У вас разве нет поводыря? — спросила вдова после некоторого молчания.

— Только этот, — отвечал он, указывая посохом на солнце. — А в ночную пору мне иногда указывает путь другой поводырь, послабее, но сейчас он отдыхает.

— Издалека ли идете?

— Да, я прошел длинный и трудный путь, — сказал прохожий, качая головой. — И я устал, очень устал... Сейчас я палкой нащупал бадью вашего колодца. Будьте так добры, леди, дайте мне глоток воды.

— Зачем вы меня величаете «леди»? — сказала вдова. — Мы такие же бедняки, как и вы.

— Я могу судить о людях только по их речам, а ваша речь так вежлива и приятна на слух. Я ведь не вижу, как вы одеты, и отличить дерюгу от тончайшего шелка могу разве только на ощупь.

— Пойдемте! Вот сюда, — сказал Барнеби. Он успел выйти за калитку и стоял сейчас вплотную около слепого. — Давайте руку. Так вы слепой, и, значит, вокруг вас всегда темно? А вам не страшно в темноте? Вы видите иногда во сне много-много лиц, которые скалят зубы и что-то бормочут?

— Увы, я не вижу ничего, — ответил слепой, — ни наяву, ни во сне.

Барнеби с интересом посмотрел на его глаза и даже потрогал их пальцами, как любопытный ребенок, затем повел его к дому.

— Значит, вы пришли издалека? — сказала вдова, встречая гостя. — Но как же вы находили дорогу?

— Недаром говорится, что привычка и нужда хоть кого научат, — промолвил слепой и, сев на стул, к которому Барнеби подвел его, положил шапку и палку на кирпичный пол. — Дай бог, чтобы ни вам, ни вашему сыну никогда не пришлось у них учиться. Ох, какие это суровые учителя!

— Но вы все же сбились с большой дороги, — сочувственно заметила вдова.

— Возможно, возможно. — Слепой вздохнул, но едва заметная усмешка скользнула по его лицу. — Что поделаешь, дорожные столбы и указатели мне ничего не говорят. Да, похоже, что я заплутался. Большое спасибо

вам за то, что позволили мне отдохнуть у вас и утолить жажду.

С этими словами он поднес ко рту кружку с водой. Вода была свежая, холодная, кристально-чистая, но, видно, страннику не пришлась по вкусу, или жажда вовсе не так уж его томила, — он только омочил в ней губы и отставил кружку.

На шее у него, на длинном ремне, висел какой-то мешок или котомка для провизии. Миссис Радж положила перед ним на стол хлеб и сыр, но он, поблагодарив ее, объяснил, что добрые люди сегодня уже дали ему поесть, и он не голоден. Сказав это, он развязал свою суму и достал несколько пенсов — видимо, все, что в ней было.

— Могу я попросить, — он повернулся туда, где стоял Барнеби, не сводивший с него глаз, — чтобы тот, кому небо даровало зрение, купил мне на эти деньги хлеба на дорогу? Благослови, господь, молодые ноги, которые потрудятся для меня, беспомощного калеки.

Барнеби посмотрел на мать, она утвердительно кивнула ему в ответ, и через минуту он умчался выполнять поручение. Слепой настороженно прислушивался к его удалявшимся шагам долго еще после того, как вдова перестала их слышать, и вдруг сказал, совершенно переменив тон:

— Слепота, знаете ли, мэм, бывает разного сорта и разной степени. Есть слепота супружеская — быть может, она вам знакома по собственному опыту? Это слепота упрямая, слепота людей, которые сами себе завязали глаза. Есть слепота политических деятелей, — это слепота бешеного быка, очутившегося среди полка солдат в красных мундирах. Есть слепая доверчивость юности, это слепота новорожденных котят, у которых еще не открылись глаза на мир. Есть физическая слепота, мэм, — вот я поневоле могу служить ее наглядным примером. И, наконец, мэм, есть слепота умственная, как у вашего славного сына. А так как у таких слепцов бывают иногда проблески рассудка, то их слепоте вряд ли можно вполне доверять. Потому-то, мэм, я и позволил себе услать на короткое время вашего сына, пока мы с вами тут кое-что обсудим. Эту предосторожность я принял исключительно

из деликатности и внимания к вам, так что вы, конечно, меня простите.

Окончив свою витиеватую речь, слепой достал из-за пазухи плоскую глиняную фляжку и, вытащив зубами пробку, долил изрядную порцию ее содержимого в кружку с водой. Затем, галантно объявив, что пьет за здоровье хозяйки и всех женщин вообще, осушил кружку и, с наслаждением причмокнув губами, поставил ее на стол.

— Я — гражданин мира, мэм, — сказал он, закупоривая фляжку, — и этим объясняется мое поведение, которое могло показаться вам несколько вольным. Вы, разумеется, спрашиваете себя, кто я такой и что привело меня сюда. Хорошо зная человеческую душу, я угадал это, хотя не могу читать ваших чувств по лицу. Ваше любопытство, мэм, будет немедленно удовлетворено. Не-ме-дленно!

Он шлепнул ладонью по фляжке, спрятал ее под кафтан, перекинул ногу за ногу, скрестил руки, уселся поудобнее и тогда только опять заговорил.

Перемена в его тоне и манерах была настолько разительна и неожиданна, и эта откровенная наглость так не вязалась с его физической беспомощностью (ибо мы привыкли в тех, кто обижен природой, встречать вместо отнятой у них физической способности нечто высшее, не от мира сего), что миссис Радж в испуге не могла выговорить ни слова. Слепой помолчал, ожидая ответа, но, не дождавшись, продолжал:

— Сударыня, моя фамилия Стэгг. Один из моих друзей вот уже пять лет жаждет чести увидеться с вами, и я пришел по его поручению. Разрешите шепнуть вам на ушко имя этого джентльмена. Черт возьми, разве вы глухи, мэм? Вы не слышали, что я сказал? Я хочу шепнуть вам на ухо имя моего друга.

— Можете не называть его, — сказала вдова, подавляя вздох. — Я отлично знаю, кто вас послал.

— Нет, мэм, мне честь дорога, и я хочу, чтобы в моих полномочиях никто не мог усомниться, — тут слепой ударил себя в грудь. — Я позволю себе все-таки назвать этого джентльмена... Нет, нет, не вслух, — добавил он, уловив, должно быть, чутким ухом невольный жест миссис Радж. — С вашего позволения, мэм, я шепну его вам на ухо.

Она подошла и наклонилась к нему. Слепой шепнул ей одно слово, и она, ломая руки, заметалась по комнате, как безумная. А он преспокойно вытащил опять свою фляжку, налил себе новую порцию, потом спрятал фляжку и, время от времени отхлебывая из кружки, молча следил за миссис Радж, поворачивая голову туда, где слышались ее шаги.

— Однако вы не разговорчивы, милая вдовушка, — сказал он немного погодя, в промежутке между двумя глотками. — Придется, видно, толковать в присутствии вашего сына.

— Чего вы от меня хотите? — спросила она. — Что вам нужно?

— Мы бедны, вдовушка, мы очень нуждаемся, — ответил он, протянув к ней правую руку и выразительно тыча большим пальцем в ладонь.

— Бедны! — воскликнула она. — А я не бедна?

— Сравнения тут ни к чему, — возразил слепой. — Ничего я не знаю и знать не хочу. Я сказал: мы бедны. Дела моего друга не блестящи, и мои тоже. Если вы не откупитесь, мы будем настаивать на своих правах. Ну, да вы это понимаете не хуже меня, к чему же лишние разговоры?

Миссис Радж все еще металась из угла в угол. Наконец она круто остановилась перед слепым и спросила:

— Он близко?

— Близехонько. Рукой подать.

— Тогда я пропала!

— Не пропали, моя милая, а нашлись. Ну, что же, позвать его?

— Боже упаси! — вскрикнула она, содрогнувшись.

— Отлично, как хотите. (За минуту перед тем слепой сделал вид, будто хочет встать и уйти, теперь же он снова развалился на стуле, вытянув ноги.) Я думаю, мы обойдемся без него. Так вот: оба мы хотим жить. Чтобы жить, надо есть и пить. А на еду и питье нужны деньги. Ясно?

— Да вы знаете ли, как мы бедны, в какой мы нужде? Нет, не знаете, да и где вам знать это? Если бы вы были зрячим и могли увидеть нашу убогую лачугу, вы бы сжалились надо мной. Ох, неужели собственное несчастье не смягчило вашего сердца и вы не пощадите меня?



Слепой щелкнул пальцами.

— Об этом не может быть и речи, мэм! Нет, нет, и речи быть не может! У меня нежнейшее сердце на свете, да что толку? Этим сыт не будешь. Немало есть джентльменов, которых вывозит дубовая башка, но мягкое сердце — только великая помеха в жизни. Слушайте, что я вам скажу. Я пришел к вам по делу, нежные чувства тут ни при чем. Я ваш общий друг и хочу уладить все наилучшим образом. А это вполне возможно. В том, что вы сильно нуждаетесь, вы сами виноваты. У вас есть друзья, которые всегда готовы помочь вам. Мой приятель в самом тяжелом положении, он одинок и беден, а так как вас с ним связывают общие интересы, он, естественно, ждет от вас помощи. Я приютил его и кормил долгое время (ибо, как я уже вам говорил, у меня нежное сердце) и вполне одобряю его решение. У вас всегда был кров над головой, а он — бездомный изгнанник. У вас есть сын, утеха и опора, у него — ни одного близкого человека. Несправедливо, чтобы все выгоды были у одной стороны. Вы с ним плывете в одной лодке, так надо распределить балласт немного равномернее.

Миссис Радж хотела что-то сказать, но слепой, не дав ей вставить ни слова, продолжал:

— А сделать это можно только одним-единственным способом: вы должны время от времени уделять моему другу малую толику своих доходов. И я вам очень советую согласиться на это. Насколько я знаю, он не питает к вам никакой вражды. Хотя вы не раз обходились с ним жестоко и, скажем прямо, выгоняли его вон, он к вам так расположен, что, если даже вы и на этот раз обманете его ожидания, он, я думаю, все же не откажется взять под свое попечение сына и сделать из него человека.

Последние слова он выразительно подчеркнул и замолк, словно проверяя, какое они произведут впечатление. Миссис Радж плакала и ничего не отвечала.

— А вашего сынка можно склонить к чему угодно, — сказал слепой как бы в раздумье. — И он не прочь попытать счастья в жизни, если судить по сегодняшнему разговору с вами, который я слышал из-за изгороди. Впутается еще в какую-нибудь передрягу! Ну, решайтесь же!

Коротко говоря, моему приятелю крайне нужны двадцать фунтов. Если вы отказались от пенсии, значит и уделить ему такую мелочь вам нетрудно. Не хотелось бы причинять вам неприятности. Вы, кажется, здесь хорошо устроились и, чтобы все осталось по-старому, стоит раскошелиться. Двадцать фунтов, милая вдовушка, — это очень скромное требование. Вы знаете, где их добыть, — напишите туда, и вам их пришлют следующей почтой. Двадцать фунтов!

Миссис Радж снова попыталась ответить, но он тотчас перебил ее:

— Не торопитесь решать, чтобы потом не каяться. Подумайте. Двадцать фунтов из чужого кармана — какой пустяк! Поразмыслите, а я подожду. Мне не к спеху. Вечер близко, и мне все равно придется заночевать, если не здесь, то где-нибудь поблизости. Двадцать фунтов! Даю вам двадцать минут на размышление, по минуте на каждый фунт, — этого более чем достаточно. А я тем временем пойду подышу свежим воздухом, — очень приятная погода в здешних местах.

Нащупывая палкой дорогу, он пошел к двери, захватив с собой стул. На дворе он уселся под развесистой жимолостью, вытянув ноги через порог, чтобы никто не мог ни войти в дом, ни выйти без его ведома, достал из кармана трубку, огниво, кремень и закурил. Был чудесный тихий вечер — в эту пору года сумерки бывают особенно хороши. Пуская из трубки дым, медленно поднимавшийся кольцами в воздух, вдыхая благодатный аромат цветов, слепой сидел в непринужденной позе (можно было подумать, что он у себя дома и живет здесь всю жизнь), ожидая ответа вдовы и возвращения Барнеби.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Когда Барнеби вернулся с хлебом, даже его, кажется, удивил благочестивый странник, расположившийся у них совсем как дома и безмятежно покуривавший трубочку, — особенно когда этот почтенный старец, взяв от него хлеб,

вместо того чтобы уложить его в свою котомку, как драгоценный запас, небрежно бросил его на стол и, достав фляжку, пригласил Барнеби присесть и выпить с ним.

— Как видите, у меня с собой всегда есть что-нибудь подкрепляющее, — сказал он. — Отведайте-ка. Что, нравится?

Барнеби хлебнул и так сильно раскашлялся, что у него слезы выступили на глазах, но ответил утвердительно.

— Выпейте еще, — предложил слепой. — Смелее! Не часто приходится вам пробовать такую прелесть, а?

— Не часто? — повторил Барнеби. — Да никогда.

— Денег не хватает? — спросил слепой со вздохом. — Да-а, обидно. Ваша бедная мать была бы счастливее, если бы у вас было больше денег.

— Вот это самое и я ей говорил как раз сегодня, перед вашим приходом, когда небо было в золоте, — сказал Барнеби, придвинувшись к слепому и жадно глядя ему в лицо. — Вы не знаете какой-нибудь способ разбогатеть? Как бы мне тоже узнать его!

— *Какой-нибудь* способ? Да их сотня!

— Неужели правда? А какие?.. Ну, ну, мама, я ведь ради тебя хочу это узнать, а вовсе не для себя! Скажите, что же надо делать?

Слепой с выражением торжества повернулся туда, где в безмолвном отчаянии стояла миссис Радж.

— Видишь ли, дружок, домоседам золота никогда не добыть.

— Домоседам! — воскликнул Барнеби, хватая его за рукав. — Да я вовсе не домосед. Нет, нет, вы ошибаетесь. Я часто встаю раньше солнца и убегаю из дому, а возвращаюсь, когда оно уже ушло на покой. Я прихожу в лес раньше, чем солнце заглянет в его тенистую чащу, и часто серебряная луна еще застает меня там, когда выходит из-за ветвей, чтобы полюбоваться на вторую луну, ту, что живет в воде. И где бы я ни бродил, я всегда ищу в траве и мху те блестящие денежки, ради которых мама работает с утра до ночи, а когда их не было, проливала столько слез. Когда я засыпаю в тени, я вижу их во сне; мне снится, что я откапываю их целые груды, что

высмотрел их под кустами, где они сверкают, как роса на листьях. Но наяву я нигде, нигде их не нахожу. Скажите, где же прячется золото? Я пойду туда, хотя бы пришлось идти целый год, потому что, когда я вернусь домой с золотом, она повеселеет. Ну, говорите же. Расскажите мне, что вы знаете о нем, я готов слушать хоть всю ночь.

Слепой слегка провел рукой по лицу бедного помешанного. Убедившись, что Барнеби сидит, опершись локтями на стол, а подбородком — на скрещенные руки, подавшись вперед в позе нетерпеливого ожидания, он помолчал минуту, как будто для того, чтобы дать миссис Радж хорошенько заметить это, а потом сказал:

— Видишь ли, удалец, золото можно найти только в шумном, веселом мире, а не в той глуши, где ты живешь. Оно там, где толпы людей, где кипит жизнь.

— Чудесно! — воскликнул Барнеби, потирая руки. — Это я люблю, и Грип тоже. Да, да, это замечательно и нам обоим придется по вкусу.

— Золото есть в таких местах, которые нравятся молодым людям, и там добрый сын за один месяц может сделать для своей матери, да и для себя самого больше, чем здесь за целую жизнь — конечно в том случае, если у него есть друг и советчик, — сказал слепой.

— Слышишь, мама? — восторженно крикнул Барнеби, оглядываясь на мать. — И не говори мне больше, что золото не нужно нам, даже если оно будет лежать у нас под ногами. Почему же мы так нуждаемся? Почему ты так тяжело работаешь с утра до ночи?

— Правильно,— поддержал его слепой. — Правильно! Ну, что же, мэм, вы ничего не отвечаете?.. Вы еще не решились? — добавил он с расстановкой.

— Нам надо поговорить с глазу на глаз.

— Хорошо. Возьмите меня за рукав, — сказал Стэгг, вставая из-за стола, — и ведите куда хотите. Не унывай, дружок Барнеби! Мы еще потолкуем с тобой насчет этого — ты мне очень полюбился. Подожди меня здесь. Ну, пойдемте, вдовушка.

Миссис Радж вывела его в садик, и там они остановились.

— Он выбрал себе подходящего посредника,— сказала она, едва переводя дух.— Вы достойны того, кто вас послал.

— Я передам ему ваши слова, — ответил Стэгг. — Он вас почитает и после вашей похвалы еще больше (если это возможно) будет ценить меня. Итак, мэм, мы отстаиваем свои права.

— Права! Да знаете ли вы, что стоит мне сказать слово, и...

— Ну, что же вы не договариваете? — спокойно спросил слепой после долгого молчания. — Знаю ли я, что стоит вам сказать слово — и моему другу придется протанцевать в воздухе последнюю фигуру пляски жизни? Да, знаю. Ну и что же? Вы этого слова никогда не скажете, вдовушка!

— Вы в этом уверены?

— Вполне. Так уверен, что не стану и обсуждать этот вопрос! Не за тем я сюда пришел. Повторяю — мы либо вернем себе наши права, либо потребуем отступного. И не тяните, иначе я вернусь к моему юному другу, ибо я глубоко сочувствую ему и хочу научить его, как добывают золото. Знаю, что вы скажете, — добавил он торопливо, — можете не повторяться. Вас удивляет, как это я, слепой, не хочу пожалеть вас? Нет, не пожалею! Почему я, живущий в вечном мраке, должен быть добрее зрячих? С какой стати? Что же, разве я, безглазый, обязан богу бо́льшим, чем вы, которым он дал глаза? Все вы считаете долгом ужасаться, когда слепой ворует, плутует, разбойничает. Ну, как же, ведь слепому, который еле кормится на те жалкие гроши, что ему бросают на улице прохожие, это менее простительно, чем вам, хотя вы — зрячие, вы можете работать и не нуждаетесь в подачках. Ох, будьте вы прокляты! Вы, обладающие всеми пятью чувствами, разрешаете себе грешить вволю, а от нас, калек, лишенных самого главного и вынужденных кормиться своим несчастьем, требуете высокой добродетели! Вот оно, истинное милосердие и справедливость богачей к обездоленным везде, во всем мире!

Он замолчал, услышав, что в руках у миссис Радж зазвенели деньги.

— Ага! — воскликнул он, сразу переменив тон. — Вот это дело! Так мы быстрее договоримся, вдовушка.

— Сначала ответьте мне на один вопрос, — сказала миссис Радж. — Вы сказали, что он близко. Значит, из Лондона он ушел?

— Раз он здесь, моя милая, следовательно там его нет, — отозвался слепой.

— Вы отлично понимаете, о чем я спрашиваю. Я хочу знать, навсегда ли он оставил Лондон.

— Да. Дальнейшее пребывание там грозило ему неприятностями. Вот по этой-то причине он и ушел.

— Слушайте, — миссис Радж стала отсчитывать монеты, кладя их одну за другой на скамью подле слепого. — Считайте.

— Шесть, — сказал тот, внимательно прислушиваясь к звону монет. — А еще?

— Это все мои сбережения за пять лет: тут шесть гиней.

Он протянул руку, взял у нее одну монету, тщательно взвесил ее на ладони, попробовал на зуб, постучал ею по скамье. Затем сделал миссис Радж знак, чтобы она подала ему остальные.

— Я экономила на всем и с трудом скопила эти деньги на черный день, когда болезнь или смерть разлучит меня с сыном и он останется один. Чтобы их скопить, я часто голодала, вечно работала, не давая себе роздыху. Если вы *способны* взять их у меня, — берите, но с условием, что вы тотчас же уйдете отсюда, не входя больше в дом, где он сидит и ждет вас.

— Шесть гиней, — слепой покачал головой. — Хотя бы они были самые полновесные из всех монет на свете, тут еще очень много не хватает до двадцати фунтов.

— Вы же знаете, — чтобы достать столько денег, я должна написать людям, которые живут очень далеко отсюда, и дождаться ответа. На это нужно время.

— Ну, сколько? Два дня? — сказал слепой.

— Больше.

— Четыре?

— Неделя. Приходите через неделю в этот же час, но в дом не входите. Ждите меня на углу.

— А вы придете туда? — спросил слепой, хитро прищурившись.

— Конечно. Куда же я от вас скроюсь? По вашей милости я стала нищей, отдала все, что с таким трудом сберегла, для того только, чтобы остаться жить здесь, — так неужели вам этого недостаточно?

— Гм! Ну, ладно, — сказал слепой после некоторого размышления.— Поверните меня лицом к тому месту, про которое вы говорите, и выведите на дорогу... Так это здесь?

— Да.

— Значит, ровно через неделю с сегодняшнего дня, после захода солнца. И помните о том, кто ждет вас в доме. Ну, пока до свиданья!

Она не ответила, да он и не стал ждать ответа и медленно пошел по дороге. По временам на ходу оборачивался или останавливался, прислушиваясь, — видно, проверял, не следят ли за ним. Вечерние тени быстро сгущались, и скоро слепой скрылся во мраке. Но вдова все-таки прошла весь проулок из конца в конец и только когда убедилась, что Стэгг действительно ушел, вошла в дом, поспешно заперла двери и закрыла окно.

— Что ты делаешь, мама? И где же слепой? — спросил Барнеби.

— Ушел.

— Ушел! — крикнул Барнеби, вскакивая с места. — А мне непременно надо еще поговорить с ним. По какой дороге он пошел?

— Не знаю, — ответила мать и обняла его. — Не выходи больше сегодня. Вокруг дома бродят привидения.

— Ой, неужели? — спросил Барнеби испуганным шепотом.

— Да. И ходить опасно. А завтра мы совсем уйдем отсюда.

— Уйдем? А как же дом? И наш огород?

— Все равно. Уйдем завтра на заре. Нужно идти в Лондон. Во всяком другом месте нас легко найти, а в таком большом городе, как Лондон, мы затеряемся бесследно. Из Лондона пойдем дальше и поселимся где-нибудь в новом месте.

Барнеби не надо было долго уговаривать, он готов был примириться с чем угодно, если это сулило какую-нибудь перемену. В первый момент он пришел в дикий восторг,

минуту спустя опечалился при мысли о разлуке со своими друзьями — собаками, потом опять развеселился, потом вспомнил слова матери о привидениях, сказанные для того, чтобы помешать ему выйти из дому, и в ужасе засыпал ее самыми нелепыми вопросами. В конце концов беспечность взяла верх, он лег, не раздеваясь, чтобы утром быть в полной готовности, и скоро уже крепко спал у чуть тлевшего на очаге огня.

А мать оставалась на страже. Всю ночь просидела она подле него, не смыкая глаз. При каждом легком шуме ветра ей чудились за дверью знакомые шаги, которых она так боялась, или казалось, что чья-то рука стучит щеколдой у двери. И эта мирная летняя ночь была для нее ночью ужасов.

Наконец наступил желанный день. Окончив все сборы и со слезами помолившись богу, она разбудила Барнеби, который весело вскочил при первом ее оклике.

Узелок с одеждой был совсем не тяжел, а нести Грипа было для Барнеби самой приятной обязанностью. Как только первые лучи солнца брызнули на землю, мать и сын закрыли за собой двери покинутого ими дома и двинулись в путь. Небо было ясно-голубое, воздух свеж и напоен тысячью ароматов. Барнеби шагал, глядя вверх, и веселился от всей души. В такие дни он обычно предпринимал дальние прогулки. И сегодня одна из неизменно сопровождавших его собак, самая безобразная, побежала за ним, радостно прыгая вокруг. Барнеби пришлось сердито прикрикнуть на нее, чтобы она вернулась домой. Сделал он это скрепя сердце. Собака сначала побежала обратно, но тотчас вернулась и, глядя на него недоверчивыми и умоляющими глазами, остановилась поодаль.

То был последний призыв отвергнутого товарища и верного друга. Барнеби не выдержал: качая головой и жестами прогоняя собаку, он залился слезами.

— Ох, мама, мама, как ей будет грустно, когда она станет скрестись в нашу дверь, а ей никто не откроет!

В этих словах звучала такая привязанность к домашнему очагу, что миссис Радж, хотя и у нее глаза были полны слез, не променяла бы этой минуты ни на какие блага мира и не хотела бы, чтобы она стерлась когда-нибудь в ее памяти и памяти ее сына.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

В неисчерпаемом списке милостей, дарованных небом человеку, наша способность при самых тяжких испытаниях находить в чем-то каплю утешения должна по праву занимать первое место. Способность эта поддерживает и укрепляет нас, когда мы более всего нуждаемся в поддержке, и притом в ней, в этом источнике утешения, мы с полным основанием угадываем божественное начало, которое даже грешнику подает надежду на искупление, — нечто такое, что людей равняет с ангелами. Оно живет в нас с тех древних времен, когда ангелы еще ходили по земле, оно оставлено нам небесами из милосердия.

Как часто миссис Радж во время их странствий говорила себе, что, не будь Барнеби лишен рассудка, он не был бы так беззаботно весел и так привязан к ней, — и при этой мысли в ее сердце просыпалось чувство благодарности судьбе. Сколько раз она напоминала себе, что, если бы не его болезнь, он мог вырасти угрюмым брюзгой, черствым, чуждым ей, а быть может, даже и порочным и жестоким. Как часто она находила утешение в его силе, жизнерадостности, в его простодушии! Даже то, что он благодаря своему слабоумию так быстро забывал пережитое, вспоминая его разве только урывками, при коротких, как молния, вспышках сознания, служило матери утешением. Ведь для Барнеби жизнь была полна радостей, каждое дерево, каждая травка, цветок, каждая птица, животное, крохотное насекомое, сброшенное на землю дуновением летнего ветерка, приводили его в восторг, — а его радости были ее радостями. Сколько разумных сыновей приносят только горе своим матерям, а этот бедный, беспечно-веселый дурачок наполнял ее сердце лишь благодарностью и любовью.

Денег у них было очень мало, но, отдавая слепому свои сбережения, миссис Радж утаила одну гинею. Эта гинея да еще оставшиеся у нее несколько пенсов составляли целый капитал для двух столь неприхотливых людей, как она и ее сын. Кроме того, с ними был Грип — и когда гинее уже грозил размен, им стоило заставить ворона

показать свои штуки перед дверью придорожной харчевни, или на деревенской улице, или в парке какой-нибудь богатой усадьбы, — и десятки людей, которые из милосердия не дали бы им ни гроша, охотно платили за развлечение, доставленное говорящей птицей.

В один из таких дней (двигались они медленно и, хотя не раз подсаживались на попутные фургоны и телеги, были уже целую неделю в пути) Барнеби, шедший впереди с Грипом на плече, дойдя до чистенькой сторожки у ворот чьей-то усадьбы, попросил разрешения пройти к большому дому в конце аллеи и показать господам своего ворона. Привратник хотел уже было впустить их, но в эту минуту подъехал верхом тучный джентльмен с длинным хлыстом в руке — его багровая физиономия наводила на мысль, что он уже с утра изрядно угостился, — и, пересыпая свои слова ругательствами гораздо обильнее, чем этого требовали обстоятельства, стал кричать, чтобы ему немедленно открыли ворота.

— Что это за люди? — спросил джентльмен сердито, когда привратник широко распахнул перед ним ворота и поклонился, сняв шляпу. — Небось попрошайки? Эй, женщина, вы что тут делаете?

Миссис Радж, почтительно присев, сказала, что они — бедные путники.

— Ну, конечно, бродяги, — подхватил джентльмен, — бродяги и праздношатающиеся. Хотите, видно, познакомиться с тюрьмой, а? Не пробовали еще тюремных колодок да плетей у позорного столба? Откуда вы взялись?

Смущенная хриплыми окриками и сердитой, красной физиономией, этого джентльмена, миссис Радж робко попросила его не гневаться, потому что они — люди безобидные и сейчас уйдут.

— Это мы еще посмотрим! — возразил джентльмен. — Мы не позволим бродягам шляться здесь. Знаю, чего вам надо, — высматриваете небось, где можно стащить белье, что сушится на заборе, или зазевавшуюся курицу. Что у тебя в корзинке, бездельник?

— Грип, Грип, Грип! Умница Грип, проказник Грип, Грип — хитрец! Грип, Грип, Грип! — закричал вдруг ворон, которого Барнеби упрятал в корзинку, когда подъехал суровый джентльмен. — Я — дьявол! Дьявол, дья-

вол!.. Не вешай носа, не трусь! Ура! Полли, подай чайник, мы все будем пить чай!

— Вынь эту тварь из корзины, негодник, и покажи ее мне! — крикнул джентльмен.

Повинуясь этому требованию, выраженному в столь любезной форме, Барнеби со страхом и трепетом вынул Грипа из корзины и пустил его на землю. Ворон немедленно откупорил по меньшей мере полсотни бутылок и принялся плясать. При этом он все время удивительно нагло поглядывал на джентльмена, вертя головой так энергично, как будто задался целью во что бы то ни стало вывихнуть себе шею.

Откупоривание бутылок, видимо, поразило джентльмена больше, чем умение ворона говорить, — должно быть, эти звуки были особенно знакомы и близки его сердцу. Он пожелал услышать их еще раз, но, несмотря на его повелительный окрик и на ласковые уговоры Барнеби, Грип остался глух к этому требованию и хранил гробовое молчание.

— Неси его за мной туда, — сказал джентльмен, указывая на дом. Однако наблюдательный Грип, увидев этот жест, опередил хозяина и побежал вприпрыжку по аллее, не переставая хлопать крыльями и кричать: «Кухарка! Кухарка!» — вероятно, он давал этим понять, что идут гости, которые не прочь закусить.

Барнеби и его мать шли по обе стороны лошади, а ехавший на ней джентльмен время от времени высокомерно и неприязненно поглядывал на них и громовым голосом задавал вопросы, резкий тон которых так смущал Барнеби, что он не находил ответа и молчал. Когда джентльмен в раздражении намеревался уже, кажется, пустить в ход свой хлыст, вдова набралась смелости и со слезами на глазах шепотом объяснила ему, что сын ее — слабоумный.

— Идиот! Вот как! — сказал джентльмен, глядя на Барнеби. — И давно?

— Она знает, — робко ответил Барнеби, указывая на мать. — Кажется, я... всегда...

— Да, с рождения, — сказала миссис Радж.

— Не верю, — рявкнул джентльмен. — Ни за что не поверю! Это — выдумка, отговорка, чтобы увильнуть от

работы. Самое лучшее средство в таких случаях — порка. Ручаюсь, что я бы его вылечил в десять минут!

— Господь за два десятка лет не мог сделать этого, сэр, — возразила вдова кротко.

— Тогда почему не засадить его в сумасшедший дом? Немало с нас дерут денег на эти заведения, черт бы их побрал! Но тебе, конечно, выгоднее таскать его повсюду за собой, чтобы тебя жалели и подавали больше. Знаю я вас!

Этому джентльмену, надо вам сказать, близкие приятели давали разные лестные прозвища. Его называли и «славным провинциалом старого закала» и «образцом джентльмена», а иные твердили, что он — «истый британец», «подлинный Джон Буль». И все единодушно сходились на том, что, к сожалению, таких людей теперь мало и потому страна быстро идет к разорению и гибели. Он занимал должность мирового судьи и умел почти разборчиво подписать свое имя и фамилию, а главное — обладал целым рядом других, более замечательных качеств: сурово преследовал браконьеров, был лучший стрелок и самый неутомимый наездник во всем графстве, держал лучших лошадей и собак, и никто не мог в один присест столько съесть и столько выпить вина, ложиться каждый вечер вдрызг пьяным, а наутро вставать трезвым. Лошадей он умел лечить, пожалуй, не хуже любого коновала, уходу за ними мог бы поучить своего старшего конюха, и ни одна свинья в его поместье не могла сравняться с ним в обжорстве. Членом парламента он не был, но, преисполненный высокого патриотизма, всегда собственными руками тащил своих избирателей к урнам. Он был горячим приверженцем церкви и государства и в свой приход допускал только таких священников, которые могли выпить три бутылки, не поморщившись, и отличались в охоте на лисиц. Он не верил в честность грамотных бедняков и втайне завидовал собственной жене (на этой молодой леди он, по выражению его приятелей, «следуя доброй старой английской традиции», женился потому, что имение ее отца примыкало к его собственному), которая в искусстве читать и писать далеко превзошла его. Словом, если Барнеби был полоумный, а Грип — тварь с чисто животными инстинктами, то очень

трудно решить, к какой же категории отнести почтенного судью.

Он подъехал к красивому дому, где у подножия высокой лестницы уже дожидался слуга, чтобы принять его лошадь. Бросив ему поводья, джентльмен вошел первый в зал, в котором, несмотря на его внушительные размеры, воздух был спертый и пахло вином после вчерашней попойки. Повсюду валялись плащи, хлысты для верховой езды, уздечки, сапоги, шпоры и тому подобные предметы. Они да громадные оленьи рога и несколько портретов собак и лошадей составляли главное убранство этой комнаты.

Плюхнувшись в глубокое кресло (в нем он, кстати сказать, частенько храпел всю ночь, когда более обычного заслуживал данной ему почитателями характеристики «славный провинциал старого закала»), судья послал слугу доложить госпоже, что он просит ее сойти вниз. Она тотчас же пришла, явно обеспокоенная столь необычным приглашением. Легко было заметить, что она гораздо моложе супруга, слаба здоровьем и не очень-то счастлива.

— Ну вот, ты не любишь охотиться с собаками, как подобает настоящей англичанке, так полюбуйся-ка: авось хоть это тебя развлечет, — сказал ей судья.

Молодая леди улыбнулась, села поодаль и сострадательно посмотрела на Барнеби.

— Эта женщина говорит, что он слабоумный, — сказал джентльмен, качая головой. — Но я ей не верю.

— Вы ему мать? — спросила леди.

Миссис Радж ответила утвердительно.

— Бесполезно спрашивать ее, — сказал хозяин дома, засовывая руки в карманы. — Разумеется, она скажет, что это ее сын. А вернее всего, она его просто наняла на время. Эй, ты! Заставь-ка птицу показать свои штуки.

Грип на этот раз был покладистее и, вняв просьбам Барнеби, прокричал множество фраз из своего репертуара, затем проделал все трюки, имевшие огромный успех. Откупоривание бутылок и возгласы: «Не вешай носа! Не трусь!», очень понравились судье, и он требовал повторения этих номеров до тех пор, пока Грип не удалился в свою корзину и решительно не отказался вы-

молвить хотя бы еще одно слово. Молодую хозяйку ворон тоже очень позабавил, а мужа ее даже упрямство Грипа привело в такой восторг, что он хохотал до упаду и осведомился, сколько они хотят за птицу.

Барнеби посмотрел на него с недоумением, как будто не понимая, чего от него требуют. Вероятно, он и в самом деле не понимал этого.

— Я спрашиваю, сколько он стоит, — пояснил джентльмен, побрякивая деньгами в кармане. — Сколько ты за него возьмешь?

— Он не продается, — ответил, наконец, Барнеби, поспешно закрыв корзину крышкой и вешая ее на ремне через плечо, — Мама, пойдем!

— Видишь теперь, моя ученая леди, каков этот дурачок, — сказал судья, презрительно взглянув на жену. — Знает, как цену набить. Ну-с, сколько за твоего ворона, старуха?

— Он — верный товарищ моего сына, — сказала миссис Радж. — И мы его не продадим, сэр.

— Не продадите! — закричал судья, и физиономия его стала в десять раз краснее, а голос — еще более хриплым и громовым. — Не продадите!

— Нет, сэр, право, не можем, — повторила миссис Радж. — Нам никогда и в голову не приходило с ним расстаться, уверяю вас, сэр.

У достойного джентльмена явно был уже на языке весьма резкий ответ, но тут жена шепнула ему несколько слов, он круто повернулся к ней и спросил:

— А? Что?

— Мы не можем требовать, чтобы они продали птицу, если они этого не хотят, — повторила она, запинаясь. — Раз они предпочитают оставить ее у себя, то...

— «Пред-по-читают!» — передразнил ее муж. — Скажите пожалуйста, эти бродяги, которые рыскают повсюду, бездельничают и воруют все, что попадется, «предпочитают» не продавать птицу, когда ее хочет купить землевладелец и судья! Старуха училась в школе, вижу, что училась! Не смей возражать, знаю, что училась! — заорал он на миссис Радж.

Она признала себя в этом виновной, но выразила надежду, что в учении нет ничего дурного.

— Ничего дурного! — повторил судья. — Вот как! Ничего дурного, старая бунтовщица! Ничего, разумеется! Жаль, нет здесь моего писаря, а то не миновать бы вам обоим колодок, посидели бы в тюрьме за то, что шляетесь повсюду, цыганское отродье, да высматриваете, что бы стянуть! Эй, Саймон, гони в шею этих воришек, вышвырни их за ворота, чтоб и духу их тут не было! Ага, птицу продать вы не хотите, а попрошайничать — это ваше дело? Если они сию минуту не уберутся, выпусти на них собак!

Барнеби и его мать, не дожидаясь дальнейших напутствий, обратились в бегство, предоставив судье бушевать в одиночестве (бедная жена его уже раньше ушла к себе) и тщетно пытаясь успокоить Грипа. Взбудораженный шумом, он все время, пока они бежали по аллее, откупоривал бутылки в таком количестве, что их хватило бы на пир для целого города, и, кажется, был чрезвычайно горд тем, что из-за него поднялась такая суматоха. Когда они уже добежали до сторожки, из-за кустов вынырнул слуга: делая вид, будто усердно помогает гнать их, он украдкой сунул вдове крону, шепнув, что это от леди, и выпроводил их за ворота.

Когда они, пройдя несколько миль, остановились на отдых в харчевне, им довелось там услышать, как расхваливают судью его приятели. Вспоминая все, что с ними произошло, миссис Радж подумала, что, пожалуй, чтобы называться «образцом провинциального джентльмена», «истым британцем», «настоящим Джоном Булем», мало иметь вместительный желудок и питать страсть к псарне и конюшне и что этих наименований судья не только не заслуживает, но, можно сказать, позорит их. Ей тогда и на ум не могло прийти, что такое незначительное происшествие повлияет на их будущее, но время и опыт доказали ей это.

— Мама, — сказал Барнеби на другой день, когда они ехали в фургоне, который должен был довезти их до одной деревни в десяти милях от столицы. — Ты говорила, что мы первым делом поедем в Лондон. А встретимся мы там со слепым?

Ей хотелось крикнуть «Упаси бог!», но она сдержалась и ответила:

— Не думаю. А почему ты спрашиваешь?

— Он — очень умный человек, — сказал Барнеби задумчиво. — Жаль, если мы с ним больше не встретимся. Как это он сказал про золото? Что его можно найти только там, где живет много людей, а не в лесу и других тихих местах? Из его слов видно, что он тоже любит золото. А в Лондоне много народу — так наверно мы встретим его там.

— Да на что он тебе, родной? — спросила миссис Радж.

— Видишь ли, — Барнеби серьезно поглядел на мать, — с ним можно было бы потолковать насчет золота, а золото — замечательная вещь, и что ни говори, а ты, я знаю, была бы не прочь его иметь. Притом этот слепой появился и исчез так неожиданно, совсем как те седые старички, что приходят иногда по ночам к моей кровати. Они что-то говорят, но днем я забываю, что́ они говорили. Слепой обещал мне вернуться — не понимаю, почему он не сдержал слова!

— Но ты же прежде никогда не думал о богатстве, милый мой! Ты всем был доволен.

Барнеби засмеялся и попросил ее повторить эти слова, после чего закричал: «Да, да, это верно!» И захохотал еще громче. Через минуту его уже что-то отвлекло, и другие впечатления вытеснили из его памяти и слепого и золото.

Однако и в тот день и на следующий Барнеби еще не раз вспоминал о слепом, и из его замечаний было видно, что мысль об этом человеке, а главное — слова слепого о золоте сильно занимают его. Как знать, почему? Родилась ли у него мысль о богатстве впервые в тот вечер, когда он смотрел на золотое закатное небо (ведь часто какие-то предметы или внешние впечатления рождали в его мозгу образы, имеющие с ними весьма мало общего), или их убогое и трудное существование уже давно, в силу контраста, вызывало мысли о счастье, которое приносит с собой золото? Было ли всему причиной случайное (как он думал) появление слепого и слова, так совпавшие с его собственными мыслями, или его так сильно поразила слепота этого человека, отличавшая его от всех, с кем приходилось встречаться до тех пор? Мать всяче-

ски пыталась выяснить это, но все ее старания были тщетны: вряд ли и сам Барнеби отдавал себе в этом отчет.

Миссис Радж тревожило то, что он упорно возвращается к вопросу о золоте, и она всякий раз спешила занять его чем-нибудь другим, — это было единственное, что она могла сделать. Она опасалась, что, если предостеречь сына против Стэгга, показать, какой страх и недоверие он внушает ей, это только обострит интерес Барнеби к слепому и желание опять встретиться с ним. Оставалось одно — надеяться, что в лондонской сутолоке опасный преследователь потеряет их след, а они, избавившись от него, уедут куда-нибудь подальше и там, соблюдая как можно большую осторожность, смогут жить в безвестности, тихо и спокойно.

Через некоторое время они доехали до заранее намеченной остановки в десяти милях от Лондона и там переночевали, сговорившись с владельцем телеги, которая порожняком возвращалась в Лондон и должна была выехать туда в пять часов утра, что он за небольшую плату довезет их до столицы. Он выехал точно в назначенное время, дорога была хорошая — если не считать пыли, потому что погода стояла сухая и жаркая. Ровно в семь часов утра в пятницу, 2 июня 1780 года, мать и сын сошли у Вестминстерского моста и, простившись с возчиком, остановились на раскаленном тротуаре, одинокие в этом громадном городе. От ночной прохлады не осталось и следа, солнце сияло нестерпимо ярко.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Не зная, куда идти теперь, ошеломленные толчеей на улицах, по которым, несмотря на ранний час, уже двигалась густая толпа, миссис Радж и Барнеби присели отдохнуть в одной из ниш на мосту. Они скоро заметили, что людской поток несется в одном направлении — из Мидлсекса в Сэррей *, причем бросалась в глаза необыкновенная торопливость и возбуждение этой огромной

толпы. Большинство шло группами по двое, по трое, кое-где — и впятером или вшестером, разговаривали мало, а многие всю дорогу молчали и шагали быстро, как люди, поглощенные мыслью о том, что впереди, и спешившие все к одной цели.

И еще Барнеби и его мать с удивлением заметили, что в этой толпе, которая безостановочно текла и текла мимо них, почти у всех мужчин на шляпах — синие кокарды, а случайно попавшие в эту толпу прохожие, у которых не было на шляпах такого украшения, боязливо жались к стенам, стараясь остаться незамеченными, и уступали другим дорогу, чтобы умилостивить их и избежать нападения. Опасения их были довольно понятны, ибо людей с кокардами было в сорок или пятьдесят раз больше. Впрочем, никаких ссор не возникало, синие кокарды потоком неслись мимо, обгоняя друг друга, развивая такую быстроту, какая возможна в толпе, и только обменивались взглядами — да и то не часто — с теми, кто был без кокард.

Вначале толпа двигалась по тротуарам и только кое-кто из отставших, торопясь догнать своих, бежал по мостовой. Но не прошло и получаса, как улица была уже запружена во всю ширину, и страшная давка, которую увеличивали встречные телеги и кареты, задерживавшие движение, вынуждала людей идти все медленнее, по временам даже стоять на месте пять, а то и целых десять минут.

Часа через два толпа стала заметно редеть и, постепенно рассеиваясь, очистила, наконец, мост, — только порой какой-нибудь человек с кокардой на шляпе, разгоряченный и весь в пыли, пробегал, запыхавшись, боясь опоздать, или останавливался, чтобы расспросить, в какую сторону прошли его товарищи, а получив ответ, мчался дальше, воспрянув духом. Когда наступили относительное безлюдье и тишина, казавшиеся такими странными и неожиданными после недавней сутолоки, миссис Радж тут только решилась осведомиться о причине недавнего столпотворения у старика, который присел около них.

— Как! Откуда же вы явились, что не слыхали о лорде Джордже Гордоне и его великом Союзе? — сказал старик. — Сегодня лорд Гордон — дай бог ему

здоровья! — вносит в парламент петицию против католиков.

— А причем же тут вся эта толпа? — спросила вдова.

— Причем? Вот так вопрос! Неужто не знаете? Ведь милорд объявил, что он не подаст петиции, если его не будут сопровождать до самых дверей палаты хотя бы сорок тысяч верных протестантов. Их-то вы и видели.

— Да, вот это толпа так толпа! — сказал Барнеби. — Слыхала, мама? Сорок тысяч!

— А собралось, говорят, еще гораздо больше, — отозвался старик. — Добрых сто тысяч. Да, да, на лорда Джорджа можно положиться. Он свою силу знает. Там, за этими тремя окнами наверху, — он указал на здание палаты общин, высившееся над рекой, — немало людей побледнеет как смерть, когда наш славный лорд Джордж войдет туда сегодня. И недаром! Ого, положитесь на лорда Джорджа! Он знает, что делает!

Бормоча это, хихикая и помахивая большим пальцем, старик с трудом поднялся, опершись на палку, и заковылял дальше.

— Мама, а эти парни, про которых он говорил, — молодцы, правда? Пойдем за ними.

— Только не за ними! — воскликнула мать.

— Почему же? Да, да, пойдем! — Барнеби потянул ее за рукав.

— Ты не знаешь, сколько зла они могут натворить! — возразила мать. — Не знаешь, куда они могут завести тебя! Барнеби, милый, ну ради меня...

— Ради тебя? — Барнеби погладил ее руку. — Так ведь это именно ради тебя, мама! Помнишь, что сказал слепой про золото? Пойдем! Его надо искать там, где много людей. Или подожди здесь, пока я вернусь. Да, да, подожди меня здесь!

Миссис Радж со всей настойчивостью, порожденной страхом, пыталась отговорить его от этого намерения, но все ее усилия были тщетны. Барнеби нагнулся, чтобы застегнуть пряжку на башмаке, и в эту минуту из быстро проезжавшей мимо кареты раздался голос, приказывавший кучеру остановиться.

— Эй, молодой человек! — окликнул Барнеби тот же голос.

— Кто меня зовет? — спросил Барнеби, подняв глаза.

— Есть у вас такое украшение? — Незнакомец протянул ему синюю кокарду.

— Ради бога, не надо, умоляю вас, не давайте ему этого! — воскликнула вдова.

— Не отвечайте за него, женщина! — сухо сказал человек в карете. — Пусть юноша решает сам, он достаточно взрослый и нечего ему цепляться за ваш фартук. Он и без вас знает, хочет он носить кокарду честного англичанина или нет.

Барнеби, дрожа от нетерпения, чуть не в десятый раз закричал: «Да, да, хочу!» Незнакомец бросил ему кокарду, крикнул: «Бегите на Сент-Джордж-Филдс» — и, велев кучеру ехать поскорее, укатил.

В то время как Барнеби дрожащими от волнения руками прикреплял на шляпу новое украшение и, стараясь получше его приладить, торопливо отвечал что-то на мольбы плачущей матери, по другой стороне улицы проходили двое мужчин. Заметив мать и сына и видя, чем занят Барнеби, они остановились, пошептались и, перейдя улицу, подошли к миссис Радж.

— Чего вы тут сидите? — сказал один из них, мужчина с длинными прямыми волосами, в простой черной одежде и с массивной тростью в руке. — Почему не пошли со всеми?

— Сейчас иду, сэр, — ответил Барнеби. Он уже прикрепил кокарду и с гордостью надел шляпу. — Мигом добегу туда.

— Надо говорить не «сэр», а «милорд», когда имеешь честь беседовать с его светлостью, — поправил его второй джентльмен. — Если вы, молодой человек, с первого взгляда не узнали лорда Джорджа Гордона, так пора хоть сейчас узнать его.

— Ну, ну, Гашфорд, — промолвил лорд Джордж в то время, как Барнеби, сорвав с головы шляпу, отвешивал ему низкий поклон. — Стоит ли говорить о таких пустяках сегодня, в великий день, который все англичане будут вспоминать с восторгом и гордостью. Надень шляпу, друг, и ступай следом за нами, потому что ты опаздываешь. Уже одиннадцатый час. Разве тебе неизвестно, что сбор назначен к десяти?

Барнеби отрицательно замотал головой, переводя блуждающий взгляд с одного на другого.

— А следовало бы знать это, — заметил Гашфорд. — Ведь было ясно сказано, что в десять. Как же это вы не знаете?

— Он ничего не знает, сэр, — вмешалась миссис Радж, — бесполезно и спрашивать его. Мы только сегодня утром приехали сюда издалека.

— Наше дело пустило, видно, глубокие корни и распространилось широко, — сказал лорд Джордж своему секретарю. — Возблагодарим бога за эту радостную весть!

— Аминь, — подхватил Гашфорд с торжественной серьезностью.

— Вы не так меня поняли, милорд, — сказала вдова. — Простите, но вы жестоко ошибаетесь. Мы ничего не знаем обо всех здешних делах. И не желаем и не имеем права участвовать в том, что вы затеяли. Мой бедный сын — слабоумный. Он мне дороже жизни. Ради всего святого, милорд, идите своей дорогой без него, не вовлекайте его в опасное дело.

— Милая моя, как вы можете говорить подобные вещи! — возмутился Гашфорд. — О какой опасности вы толкуете? Что же, по-вашему, милорд — лев рыкающий, который бродит вокруг, ища кого бы растерзать? О, господи!

— Нет, нет, милорд, простите, — взмолилась вдова, прижав обе руки к груди и от волнения едва сознавая, что делает и говорит. — Но я недаром умоляю вас внять моей горячей материнской просьбе и не уводить от меня сына. О, не делайте этого! Он не в своем уме, да, да, милорд, верьте мне!

— Вот какова испорченность нашего века! — сказал лорд Джордж, отпрянув от протянутых к нему рук и густо краснея. — Тех, кто стремится к правде и стоит за святое дело, уже объявляют сумасшедшими. И у вас хватает духу говорить так о родном сыне! Какая же вы после этого мать?

— Вы меня поражаете, — подхватил Гашфорд с кроткой укоризной. — Какой печальный пример развращенности!

— Он вовсе не похож на... — начал лорд Джордж, взглянув на Барнеби, и докончил шепотом на ухо секре-

тарю: — ...на помешанного. Как по-вашему? И если даже это правда, не следует каждую пустячную странность объявлять безумием. Если бы это стало правилом, кто из нас... — тут лорд снова покраснел, — мог бы избегнуть такого клейма?

— Никто, — согласился секретарь. — Чем больше рвения, способностей и верности делу проявлял бы человек, чем громче звучал бы в нем глас божий, тем больше все были бы уверены в его безумии. А что касается этого юноши, милорд, — добавил Гашфорд и, кривя губы, бросил взгляд на Барнеби, который стоял перед ними, вертя шляпу в руках и украдкой знаками приглашал их идти поскорее, — так у него, по-моему, здравого смысла и силы воли не меньше, чем у всех, кого я знаю.

— Значит, ты хочешь стать членом нашего великого Союза? — обратился лорд Джордж к Барнеби. — И уже собирался это сделать?

— Да, да, — подтвердил Барнеби, и глаза его ярко заблестели. — Конечно, хочу! Я только что говорил ей это.

— Ага, я так и думал, — отозвался лорд Джордж, неодобрительно посмотрев на несчастную мать. — Тогда иди с нами, и твое желание исполнится.

Барнеби с нежностью поцеловал мать в щеку и, наказав ей быть веселой, так как теперь их ждет счастливая жизнь, пошел за лордом и его секретарем. А она, бедняжка, следовала за ними — трудно описать, как печально и тревожно было у нее на душе.

Они быстро прошли по Бридж-роуд, где все лавки были закрыты (ибо торговцы, увидев валившую мимо толпу, испугались за целость своих товаров и, полагая, что толпа будет возвращаться обратно той же дорогой, поспешили запереть двери), а в верхних этажах жильцы теснились у окон и смотрели вниз. На лицах этих людей выражались различные чувства: у кого — страх, у кого — любопытство, нетерпеливое ожидание или негодование. Одни аплодировали, другие свистели. Но лорд Джордж, не обращая ни на что внимания, все ускорял шаг, так как издали уже слышался гул громадной толпы, отдававшийся в его ушах, как рев прибоя. И, наконец, они пришли на Сент-Джордж-Филдс.

В те времена это было еще поле, обширное поле, и тут-то сейчас собралось несметное множество людей со знаменами различного вида и размеров, но одного цвета — синего, как и кокарды. Одни отряды в боевом порядке маршировали взад и вперед, другие стояли, построившись в каре или шеренги. Большинство маршировавших и стоявших на месте пели гимны или псалмы. Кто бы это ни придумал, мысль была хороша: хор тысяч голосов, сливавшихся в воздухе, не мог не волновать сердца энтузиастов, хотя бы и заблуждающихся.

На аванпостах всей этой громадной армии стояли дозорные, которые должны были сообщить о прибытии вождя. Как только они прибежали с этой вестью, она быстро облетела всех, и на несколько мгновений огромная толпа замерла в такой неподвижности, что стоило ветерку зашевелить где-нибудь одно из знамен, как это тотчас бросалось в глаза и приковывало внимание. Затем раздался громовой клич, за ним — другой, третий, они раскалывали и колебали воздух, как пушечные залпы.

— Гашфорд! — воскликнул лорд Джордж, крепко сжав руку секретаря; его голос и внезапная перемена в лице выдавали сильное волнение. — Гашфорд, вот теперь я знаю, чувствую, что бог возложил на меня великую миссию! Я — вождь всего этого великого воинства. Пусть бы они сейчас единодушно потребовали, чтобы я повел их на смерть, — я сделал бы это. Да, повел бы их и первым пал бы в бою.

— Какое замечательное зрелище! — сказал секретарь. — Сегодня великий день для Англии и для нашего святого дела во всем мире. Примите же, милорд, тот знак почтения, какой я, ничтожный, но смиренно преданный вам человек, могу...

— Что вы делаете! — крикнул лорд Джордж, хватая за обе руки секретаря, который сделал вид, будто хочет стать перед ним на колени. — Дорогой Гашфорд, не расстраивайте меня, иначе я не смогу выполнить священную обязанность, предстоящую мне в этот торжественный день. — Бедный лорд говорил это со слезами на глазах. — Пойдемте же к ним, нам еще надо найти в каком-нибудь отряде место для нашего новобранца. Давайте руку!

Гашфорд вложил свою холодную предательскую руку в руку лорда, и так они, в сопровождении Барнеби и его матери, вмешались в толпу.

А толпа уже снова пела, и, когда ее предводитель проходил между рядами, люди заливались еще громче. Многие из них, якобы объединившиеся для защиты своей религии и готовые умереть за нее, отроду не слыхивали ни одного гимна или псалма. Но эти молодцы обладали здоровенными легкими и не прочь были погорланить, — вот они и распевали сейчас вместо гимнов всякую бессмыслицу или непристойности, какие только приходили им в голову: в общем хоре все равно не слышно было слов, да, впрочем, не очень-то они и беспокоились об этом. И подобные импровизации распевались под самым носом у лорда Джорджа Гордона, а он, не понимая их смысла, шествовал, как всегда, чопорно и торжественно, очень довольный и умиленный благочестием своих приверженцев.

Так шли они и шли, то вдоль одной шеренги, то вдоль другой, обходили каре и круги, а впереди были все новые ряды, каре и круги, необозримые и неисчислимые. Стало уже очень жарко, солнце беспощадно обливало поле жгучими лучами, знаменосцы просто с ног валились, обессиленные тяжелой ношей, и большинство собравшихся, не вытерпев, расстегивали кафтаны и жилеты, снимали шейные платки. А в гуще толпы, где из-за тесноты жара была еще невыносимее, некоторые в полном изнеможении ложились на траву и предлагали все, что у них было с собой, за глоток воды. Однако ни один из этих мучеников не ушел с поля. А лорд Джордж, обливаясь потом, все шествовал вдоль рядов об руку с Гашфордом. И Барнеби и его мать следовали за ними по пятам.

Они дошли до конца длинного ряда, в котором человек восемьсот стояли «колонной», и лорд Джордж оглянулся, услышав громкий возглас удивления. Голос прозвучал как-то глухо и странно, как всегда звучит одинокий голос на открытом воздухе, в густой толпе, — и в тот же миг из рядов с громким хохотом выскочил какой-то парень. Хлопнув Барнеби по спине своей могучей лапой, он закричал:

— Вот чудеса! Да это же Барнеби Радж! Век тебя не видел. Где это ты пропадал так долго?

Барнеби в эту минуту думал о том, что истоптанная трава пахнет здесь совсем так, как на чигуэлском лугу, где он в детстве играл в крикет. Ошеломленный внезапным и шумным приветствием, он растерянно уставился на окликнувшего его человека и сказал только:

— Как, это ты, Хью?!

— Я ли это? Ну, конечно, я, Хью из «Майского Древа»! А помнишь моего пса? Он до сих пор жив, и ручаюсь, что узнает тебя... Ага, и ты носишь нашу кокарду? Молодчина! Ха-ха-ха!

— Так вы знаете этого юношу? — спросил лорд Джордж.

— Знаю ли, милорд?.. Конечно, знаю, как собственную правую руку... И мой командир тоже знает его. Все мы тут его хорошо знаем.

— Значит, примете его в свой отряд?

— Еще бы! У нас в отряде не найдется ни одного такого славного, проворного парня, как Барнеби Радж, — сказал Хью. — Хотел бы я знать, кто посмеет спорить против этого! Иди к нам, Барнеби! Он пойдет между мной и Деннисом, милорд, и понесет знамя, — Хью взял знамя из рук утомленного знаменосца, — самое красивое шелковое знамя в нашей доблестной армии.

— Ради бога, не троньте его! — пронзительно крикнула миссис Радж, бросаясь к сыну. — Барнеби!.. Милорд!.. Вот увидите, он не захочет меня оставить!.. Барнеби! Барнеби!..

— Женщины в строю? — рявкнул Хью, став между вдовой и сыном и отталкивая ее. — Эй! Капитан, сюда!

— Что тут за шум? — закричал, подбегая, разгневанный Саймон Тэппертит. — Такой-то у вас порядок?

— Я и сам говорю, что это непорядок, — отвечал Хью, продолжая удерживать миссис Радж. — Это против всех правил: женщины отвлекают от дела наших храбрых солдат. Отдайте команду, капитан, не то все разбегутся! Живо!

— Сомкнуть ряды! — прокричал Саймон во всю силу своих легких. — Стройся! Шагом марш!

Миссис Радж была отброшена и упала. Толпа пришла в движение. Барнеби увлекли в этот людской водоворот, и мать потеряла его из виду.



ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Собравшаяся здесь масса людей с самого начала была разбита на четыре отряда — Лондонский, Вестминстерский, Саутуоркский и Шотландский. В каждом из них были свои части, и так как построены они были по-разному, то в общей системе могли разобраться лишь немногочисленные командиры и вожаки этой армии; остальным эта система была так же непонятна, как план большого сражения — рядовому солдату. Однако в этом строю был, видимо, какой-то порядок, ибо, придя в движение, вся толпа очень скоро разделилась на три части и, как было заранее условлено, приготовилась переходить Темзу через разные мосты, чтобы затем с трех сторон подойти к зданию парламента.

Во главе того отряда, которому предстояло идти через Вестминстерский мост, стал лорд Гордон, имея по правую руку Гашфорда. Его окружали какие-то головорезы самого отталкивающего вида, составлявшие нечто вроде штаба. Командование вторым отрядом, которому путь лежал через мост Блекфрайерс, было поручено целой группе, состоявшей человек из двенадцати, а третьим отрядом, который должен был идти по Лондонскому мосту и главным улицам, чтобы все увидели, как их много, и оценили серьезность их намерений, командовал Саймон Тэппертит (в помощники себе он взял несколько «Непоколебимых»), палач Деннис, Хью и другие.

Раздалась команда, и каждый из трех громадных отрядов двинулся по своему маршруту в полном порядке и без всякого шума. Тот, который должен был пройти через Сити, был гораздо многочисленнее двух остальных и растянулся настолько, что, когда хвост его только пришел в движение, первые ряды были уже почти на четыре мили впереди, несмотря на то, что люди шли по трое в ряд и тесно сомкнутым строем.

Барнеби шел в авангарде, куда по сумасбродной прихоти поставил его Хью, между этим опасным покровителем и палачом. Среди тысяч людей, впоследствии вспоминавших этот день, многие хорошо помнили Барнеби. В своем экстазе ничего не замечая вокруг, с сияющими

глазами и раскрасневшимися щеками, не чувствуя тяжести большого знамени, которое он нес, и только любуясь, как ярко его шелк горит на солнце, как плещется под летним ветерком, он шагал, гордый, ликующий, безмерно счастливый, среди всей этой толпы единственный, кто шел с легким сердцем и без корыстных расчетов.

— Ну, как тебе это нравится? — спросил у него Хью, когда они проходили по людным улицам, поглядывая вверх, на окна, у которых теснились зрители. — Ишь, все высыпали на улицу поглазеть на наши знамена! Что скажешь, Барнеби? Ведь ты же сейчас — самый видный человек во всей нашей компании. Твое знамя — самое большое да и самое нарядное. Кто может сравниться с Барнеби? Все смотрят только на него. Ха-ха-ха!

— Будет тебе галдеть, братец! — сердито пробурчал палач, обращаясь к Хью, но в то же время не очень-то ласково глядя на Барнеби. — Уж не воображает ли он, будто ему придется только таскать эту синюю тряпку да резвиться, как школьник на каникулах? Ты, надеюсь, не откажешься и от настоящего дела, а? Эй, тебе говорю! — добавил он, грубо толкнув Барнеби локтем. — На что это ты глаза пялишь? Почему не отвечаешь?

Барнеби, до этой минуты погруженный в созерцание своего знамени, рассеянно перевел глаза на Денниса, потом на Хью.

— Он твоих намеков не понимает, — сказал последний. — Постой, я сейчас ему все растолкую. Барнеби, дружок, слушай внимательно, что я скажу.

— Слушаю, — отозвался Барнеби, с беспокойством озираясь по сторонам. — Только почему ее нигде не видать?

— Кого это? — спросил Деннис ворчливо. — Уж не влюблен ли ты, чего доброго? Это никуда не годится, брат! Нам здесь влюбленные ни к чему.

— Она бы так гордилась мной, если бы могла меня сейчас видеть, правда, Хью? — сказал Барнеби. — Сам посуди, разве ей не было бы приятно увидеть меня в первом ряду такой большой процессии? Да она бы заплакала от радости, знаю, что заплакала бы! Куда она могла деваться? Она никогда еще не видела меня таким наряд-

пым и веселым. А что мне с того, что я гляжу молодцом, если ее нет здесь?

— Что это еще за сюсюканье? — сказал мистер Деннис с глубочайшим презрением. — Не хватало нам тут влюбленных слюнтяев!

— Успокойся, друг! — воскликнул Хью. — Он говорит о матери.

— О ком? — переспросил Деннис, сопровождая этот вопрос крепким ругательством.

— О матери.

— Так неужели я связался с этим отрядом и пришел сюда в такой великий день только затем, чтобы слушать болтовню о мамашах? — прорычал Деннис с величайшим возмущением. — Мне и о любовницах слушать тошно, а тут — о матери! Тьфу! — Его негодование дошло до таких пределов, что он только плюнул и умолк.

— Нет, Барнеби прав, — возразил Хью, ухмыляясь, — прав, я тебе говорю! Послушай, мой храбрый солдатик, ее здесь нет, потому что я о ней позаботился: послал к ней полдюжины джентльменов, всех с синими знаменами, — правда, далеко не такими красивыми, как твое, — и они торжественно поведут ее в роскошный дом, весь увешанный золотыми и серебряными флагами. Там она будет тебя ожидать, и у нее будет вволю всего, что только душа пожелает.

— Правда? — сказал Барнеби, просияв. — Ты это сделал? Как я рад! Какой ты добрый, Хью!

— То ли еще впереди, дружок! — продолжал Хью, подмигнув Деннису, который теперь с великим изумлением уставился на нового соратника. — Это пустяки по сравнению с тем, что нас ждет.

— Неужели? — ахнул Барнеби.

— А как же! — подтвердил Хью. — Деньги, шляпы с перьями, красные камзолы с золотым позументом. Самые красивые вещи, какие есть, были и будут на белом свете, все будет наше, если мы останемся верны тому благородному джентльмену, лучшему человеку на свете, если несколько дней походим с этими знаменами и сохраним их в целости. Вот и все, что от нас требуется.

— Только-то! — воскликнул Барнеби, крепче сжав древко своего знамени. Глаза его загорелись. — Ну, так

я тебе ручаюсь, что оно будет в сохранности. Ты отдал его в надежные руки. Ты меня знаешь, Хью. Никому не удастся вырвать его у меня.

— Хорошо сказано! — восхитился Хью. — Ха-ха! Благородные слова! Узнаю моего смельчака — Барнеби, с которым мы столько раз вместе лазали и бегали повсюду. Я знал, что Барнеби не подведет!

— Разве ты не видишь, — шепнул он Деннису, заходя с другой стороны, — что он дурачок и его можно заставить делать что угодно, только сумей за него взяться. Он нас и повеселит, и силен, в драке стоит десяти, можешь мне поверить! Вот попробуй поборись с ним, — сам узнаешь. Одним словом, предоставь все дело мне, и скоро вы все увидите, подходит он нам или нет.

Мистер Деннис выслушал эти пояснения Хью, выражая свое удовольствие многочисленными кивками и подмигиванием, и с этой минуты его обращение с Барнеби заметно смягчилось. А Хью, приставив палец к носу, вернулся на свое место, и они продолжали путь молча.

В третьем часу дня все три главных отряда сошлись у Вестминстера и, слившись в одну громадную армию, потрясли воздух громовым кличем. Так они оповестили о своем прибытии и вместе с тем дали кому следует сигнал занять все подступы к зданию парламента, кулуары обеих палат и лестницу, ведущую на галереи.

Хью и Деннис ринулись прямиком на эту лестницу, а с ними и новобранец Барнеби, передавший свое знамя человеку, оставленному у двери снаружи, чтобы охранять все знамена. Сзади напирала толпа, и, подхваченные стремительным потоком, Хью, Деннис и Барнеби были отнесены к самому входу на галерею. Вернуться назад было уже невозможно, даже если бы они этого и хотели: толпа наводнила все коридоры. Говоря о густой толпе, мы часто употребляем выражение: «Можно было пройти по головам». И здесь действительно так и было: мальчишка, который каким-то образом затесался сюда, увидев, что ему грозит опасность быть задавленным, вскочил на плечи соседа и по шляпам и головам выбрался на улицу, пройдя таким способом две лестницы и длинную галерею. Да и снаружи давка была не меньше: брошенная кем-то в толпу корзинка запрыгала с головы на голову,

с плеча на плечо, кружась и вертясь, пока не скрылась из виду, ни разу не упав и даже не приблизившись к земле.

Сквозь эту-то огромную толпу, в которой, конечно, попадались и честные фанатики, но большинство составляли подонки общества (количество их в Лондоне все росло благодаря суровым уголовным законам, плохому режиму в тюрьмах и никуда не годной полиции), пришлось прокладывать себе дорогу тем членам парламента, которые имели неосторожность опоздать. Их экипажи были остановлены и сломаны, колеса выворочены, стекла разбиты вдребезги, стенки вдавлены внутрь, кучера, лакеи и их господа сброшены в грязь. Лордов, преподобных епископов, членов палаты общин — всех, не разбирая, что за человек и какой он партии — толкали, угощали пинками и щипками: они перелетали из рук в руки, подвергаясь всяким оскорблениям, пока в конце концов не появлялись в палате среди своих коллег в самом жалком виде: одежда висела на них клочьями, парики были сорваны, и они с ног до головы были осыпаны пудрой, выколоченной из этих париков. Они едва переводили дух, не могли выговорить ни слова. Один лорд так долго пробыл в руках черни, что пэры решили в полном составе отправиться к нему на выручку и уже двинулись было на улицу, но тут он, к счастью, появился среди них, весь в грязи и синяках, избитый так, что его с трудом узнавали самые близкие знакомые. Шум и гам усиливался с каждой минутой, воздух сотрясали ругательства, гиканье, свист, вой. Чернь бесновалась и ревела без передышки, подобно осатаневшему чудовищу, каким она и была, и каждое новое издевательство над жертвами еще сильнее раздувало ее ярость.

Внутри здания парламента положение было еще более угрожающее. Лорд Джордж в сопровождении человека, несшего впереди на наплечной подушке, какие употребляют грузчики, длиннейшую петицию, прошел по коридору к двери в палату общин. Петиция была принята двумя чиновниками парламента и развернута на столе для официального рассмотрения, после чего лорд Джордж занял свое место в палате, хотя было еще рано и спикер не начинал молитвы. В это время приверженцы лорда,

как мы уже знаем, хлынули внутрь здания и сразу заполнили все кулуары и проходы. Таким образом, члены обеих палат подвергались насилиям не только на улице, но и в стенах парламента, а шум снаружи и внутри был такой оглушительный, что те, кто пробовал говорить, едва слышали собственный голос; члены палаты не имели возможности ни посовещаться относительно того, как действовать в такой трудный момент, ни подбодрить друг друга и дать черни достойный и решительный отпор. Всякий раз, как с улицы появлялся еще один депутат, растрепанный, в изодранной одежде, и проталкивался к дверям в зал заседаний, толпа в коридоре поднимала торжествующий вой, а когда дверь зала осторожно приоткрывалась изнутри, чтобы впустить его, и стоявшим поближе удавалось на миг заглянуть внутрь, они еще больше свирепели, как хищные звери при виде добычи, и наваливались на дверь так яростно, что все замки и запоры с трудом выдерживали напор и даже балки потолка дрожали.

Галереи для публики, расположенные прямо над входной дверью, приказано было закрыть при первой же вести о беспорядках, и потому они были пусты. Один только лорд Джордж время от времени заходил туда: с галереи ему было удобнее выходить на лестницу и сообщать своим людям, что происходит в зале. На этой именно лестнице и стали на посту Барнеби, Хью и Деннис. Лестница состояла из двух параллельных рядов ступеней. Эти короткие, крутые и узкие лесенки вели к двум дверям, открывавшимся в низкий проход на хоры. Между ними был пролет с незастекленным окном, через которое свет и воздух проникали в кулуары, находившиеся на двадцать футов ниже.

На одной из этих лесенок — не на той, куда выходил лорд Джордж, а на другой — стоял Гашфорд, облокотясь на перила и подпирая рукой щеку, с обычным своим хитрым и непроницаемым видом. Каждый раз, как он едва заметно менял позу — хотя бы это было самое легкое движение руки, — крики не только на лестнице, но и внизу, в коридорах, явно усиливались. Должно быть, оттуда кто-то, служивший связным, все время наблюдал за Гашфордом и подавал толпе сигналы.

— Смирно! — скомандовал Хью, покрыв своим голосом весь шум и гомон, когда лорд Джордж появился на верхней площадке лестницы. — Милорд идет с вестями!

Однако, несмотря на появление лорда Джорджа, шум не утихал, пока Гашфорд не оглянулся. Тут сразу наступила тишина даже в наружных коридорах и на других лестницах, где люди не могли ничего увидеть или услышать: сигнал был передан с поразительной быстротой.

— Джентльмены, — начал лорд Джордж, бледный и взволнованный, — мы должны твердо стоять на своем. Там говорят об отсрочке, но мы ни на какие отсрочки не пойдем. Они хотят отложить рассмотрение нашей петиции до будущего вторника, но мы потребуем, чтобы ее обсуждали сегодня. Все складывается неблагоприятно для нас, но мы *должны* победить — и победим!

— Мы должны победить — и победим! — эхом откликнулась толпа.

Лорд Джордж раскланялся и под одобрительные крики и хлопки ушел в зал, но скоро вернулся. Снова жест Гашфорда — и сразу мертвая тишина.

— Боюсь, джентльмены, что у нас мало надежды на поддержку в парламенте, — сказал лорд на этот раз. — Но наши требования должны быть удовлетворены. Мы соберемся снова. Будем уповать на бога, и он благословит наши усилия.

Эта речь, несколько более сдержанная, чем предыдущая, принята была уже не так восторженно. Когда шум и возбуждение достигли крайних пределов, лорд Джордж снова вышел и сказал, что тревога распространилась на много миль вокруг, и когда король услышит, что их собралось такое множество, он несомненно отдаст тайный приказ удовлетворить их просьбу. В том же духе — по-детски нерешительно, так же туманно, как туманны были все его идеи, — лорд продолжал говорить, как вдруг из дверей, у которых он стоял, появилось двое мужчин.

Протиснувшись мимо него, они сошли на две-три ступени ниже и остановились перед толпившимся здесь народом.

Такая смелость ошеломила бунтовщиков. Они еще больше опешили, когда один из джентльменов, обернувшись к лорду Джорджу, произнес громко, чтобы его слышали все, и совершенно спокойно и хладнокровно:

— Милорд, не угодно ли вам объяснить этим людям, что я — генерал Конвей *, о котором они, конечно, слышали, и что я против петиции, против всего, что творите вы и они. Скажите им, что я — солдат и своей шпагой буду защищать неприкосновенность этого места. Вы видите, милорд, — члены парламента сегодня все вооружены, и знаете, что вход сюда узок. Вам должно быть ясно, что в этих стенах есть люди, решившиеся защищать вход в палаты до последней капли крови, так что, если ваши сторонники будут упорствовать, погибнут многие. Подумайте, что вы делаете!

— А еще, милорд — сказал второй джентльмен, обратясь к нему таким же тоном, как первый, — я хочу, чтобы все здесь слышали и то, что скажу я, полковник Гордон, ваш близкий родственник. Если хоть один из этой толпы, оглушающей нас своими криками, перешагнет порог палаты общин, клянусь — я в ту же минуту пущу в ход свою шпагу и проткну не его, а вас!

После этих слов оба джентльмена, не поворачиваясь спиной к толпе, поднялись по ступеням назад, к двери, подхватили под руки злосчастного лорда, втащили его в коридор и, захлопнув дверь, тотчас накрепко заперли ее изнутри. Это произошло так быстро, и оба джентльмена, люди немолодые, проявили столько мужества и решительности, что толпа была смущена, и все только обменивались испуганными и вопросительными взглядами. Многие пытались протолкнуться к двери, наиболее малодушные кричали, что лучше всего убраться отсюда поскорее, и требовали, чтобы задние их пропустили. Смятение и паника все росли, но тут Гашфорд шепнул что-то Хью.

— Куда! — гаркнул Хью, оборачиваясь. — С какой стати нам уходить? Где еще мы можем добиться своего? Эй, ребята, навалимся дружно на эту дверь да на нижнюю, и дело будет в шляпе. Кто там внизу трусит, — отойди прочь, а кто смел — вперед! Ну, кто первый пройдет в нижнюю дверь? Вот так, глядите! Эй, там, внизу, берегись!

И, не теряя ни секунды, он стремглав ринулся через перила, прыгнул в нижний коридор. Не успел он коснуться ногами пола, как Барнеби был уже рядом.

Помощник капеллана и несколько членов парламента, упрашивавшие народ в нижнем коридоре разойтись, тотчас ретировались. Тогда вся толпа в беспорядке бросилась к дверям, и тут уже началась настоящая осада палаты общин.

При втором натиске неизбежно произошло бы столкновение с теми, кто стоял внутри, намереваясь оборонять палату, было бы много жертв и пролито много крови. Но вдруг задние ряды нападающих отступили, и из уст в уста стал передаваться слух, что через реку был послан гонец за войсками, что войска уже прибыли и строятся на улице. Боясь, что начнут обстреливать узкие проходы, в которых они были стиснуты, бунтовщики хлынули на улицу так же стремительно, как раньше — внутрь здания.

Когда весь людской поток сразу повернул, Барнеби и Хью были унесены им. Толкаясь, работая локтями, топча упавших и падая другим под ноги, они вместе с толпой выбрались наружу как раз в тот момент, когда им навстречу двигался большой отряд конной и пешей гвардии, очищая улицу на своем пути так быстро, что толпа словно таяла при их приближении.

Послышалась команда «стой!», солдаты выстроились вдоль улицы. Бунтовщики, запыхавшиеся, утомленные недавними усилиями, тоже построились, но кое-как, без всякого порядка. Офицер гвардейского отряда поспешно выехал вперед. Его сопровождали член городского магистрата и чиновник палаты общин, — два кавалериста уступили им своих лошадей. Был прочитан вслух Закон о мятеже *, и толпе предложили разойтись. Но никто и не шелохнулся.

В первом ряду мятежников стояли плечом к плечу Барнеби и Хью. Когда Барнеби вышел из парламента на улицу, кто-то сунул ему в руки его драгоценное знамя. Свернутое и завязанное вокруг древка, оно походило на громадную дубину, и Барнеби, крепко сжимая его, стоял в воинственной позе. Если был когда-нибудь на свете человек, всем сердцем и душой веривший, что он борется



за правое дело и обязан до последней капли крови защищать своего вождя, то это был бедняга Барнеби, а вождем своим он считал лорда Джорджа Гордона.

После бесплодной попытки заставить себя слушать, член магистрата отдал приказ, и конные гвардейцы врезались в толпу. Но даже после этого он еще разъезжал перед рядами, уговаривая народ разойтись, а солдатам — хотя их забросали камнями и некоторые из них были тяжело ранены или ушиблены — было приказано только арестовать наиболее отчаянных бунтовщиков и разогнать остальных, действуя саблями плашмя. Как только лошади были направлены в толпу, она во многих местах подалась назад, и гвардейцы, воспользовавшись этим, начали быстро очищать площадь. Двое или трое передних, отрезанные от товарищей окружившей их толпой, поскакали прямо на Барнеби и Хью (на которых им, вероятно, указали, как на зачинщиков, так как они первые прыгнули с лестницы в нижний коридор), по пути нанося удары направо и налево — и не без успеха: самые воинственные из бунтовщиков, не желавшие отступать, были легко ранены, и то тут, то там кто-нибудь падал на руки соседей среди общего смятения, воплей и стонов.

При виде окровавленных, рассеченных лиц, которые, мелькая перед ним, тотчас заслонялись другими, Барнеби побледнел и был близок к обмороку, но стойко оставался на месте, еще крепче сжав в руках древко. Он не сводил глаз с ближайшего солдата, кивками головы отвечая Хью, который, сердито хмурясь, шептал ему что-то.

Солдат, пришпорив лошадь, оттеснил толпившихся вокруг людей, колотя саблей по рукам, протянутым, чтобы схватить поводья и осадить его коня назад, и одновременно знаками звал на помощь других гвардейцев, — а Барнеби, не отступая ни на шаг, ожидал его. Товарищи кричали ему «беги!», и несколько человек уже хотели окружить его и спасти от ареста, как вдруг в воздухе над их головами мелькнуло древко знамени — и солдата больше не было в седле.

В тот же миг Барнеби и Хью бросились бежать. Толпа расступалась, пропуская их, и сразу смыкалась так быстро, что невозможно было уследить за беглецами. Разгоряченные, запыхавшись и изнемогая от усталости, они

благополучно домчались до Темзы, поспешили сесть в лодку и скоро очутились там, где им уже не грозила непосредственная опасность.

Плывя по реке, они ясно услышали радостные крики и, вообразив, что их товарищи одолели солдат, на несколько минут перестали грести, раздумывая, не вернуться ли. Однако вскоре по Вестминстерскому мосту повалила толпа, и они поняли, что это расходятся по домам бунтовщики. Хью правильно рассудил, что донесшиеся до них крики «ура!» были ответом на обещание олдермена отозвать солдат, если все немедленно разойдутся, — и, значит, ему и Барнеби лучше не возвращаться. Поэтому он предложил доехать до моста Блекфрайерс и, высадившись там, сразу идти в «Сапог», где можно и весело провести время и надежно укрыться. К тому же там они наверняка встретятся со многими товарищами. Барнеби был на все согласен, и они двинулись к мосту Блекфрайерс.

Момент был опасный, но, к счастью для них, они высадились как раз вовремя. На Флит-стрит царило необычайное оживление; спросив, что случилось, они узнали, что здесь сейчас проскакал отряд гвардейской конницы, конвоируя арестованных бунтовщиков, которых они для безопасности везли в Ньюгет. Хью и Барнеби, ничуть не сожалея о том, что разминулись с гвардейцами, и не теряя времени на дальнейшие расспросы, двинулись к «Сапогу» со всей быстротой, которая, по мнению Хью, была совместима с осторожностью, то есть не могла показаться странной и привлечь нежелательное внимание встречных.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Они добрались до таверны одни из первых, но не прошло и получаса, как туда стали приходить беспорядочными группами люди, с которыми они вместе осаждали парламент. Среди них были Саймон Тэппертит и мистер Деннис. Оба, а в особенности мистер Деннис, очень обрадовались Барнеби и горячо похвалили его за проявленную им доблесть.

— Здорово было сделано, черт возьми! — сказал Деннис. Поставив свою дубинку в угол и повесив на нее шляпу, он подсел к их столу. — Даже вспомнить приятно... Этакий удобный случай... и все-таки ничего у нас не вышло! Не знаю, что теперь и делать будем. Народ нынче пошел никудышный... Эй, подайте чего-нибудь выпить и закусить!.. Опротивел мне весь род людской!

— Это почему же? — спросил мистер Тэппертит, погрузивший уже разгоряченное лицо в кружку с пивом емкостью в полгаллона. — Разве плохое сегодня начало?

— А кто мне поручится, что это начало, а не конец? — возразил палач. — Когда тот солдат слетел с седла, Лондон мог бы быть в наших руках. Так нет же — мы стояли и глазели, разинув рты! А потом этот судья... жаль, что ему не всадили по пуле в каждый глаз! И всадили бы, если бы взялись за дело по-моему... Этот судья объявляет: «Ребята, если дадите слово разойтись, я отзову солдат», — и наши начинают кричать «ура», бросают все козыри, что были у них на руках, и удирают, поджав хвосты, как свора трусливых собак. Трусы и есть. Эх! — В тоне палача слышалось глубочайшее отвращение. — Как тут не покраснеть от стыда за людей? Лучше бы я родился быком, ей-богу!

— Бык из вас получился бы, я думаю, такого же ангельского нрава, какой у вас сейчас, — бросил Саймон Тэппертит, величественно удаляясь.

— Напрасно так думаете! — крикнул ему вдогонку палач. — Будь я сейчас быком с человеческим разумом, я бы выпустил кишки всем нашим людишкам, кроме этих двух, — он указал на Хью и Барнеби, — за их сегодняшнее поведение.

Дав такую мрачную оценку людям и событиям, мистер Деннис пробовал искать утешения в пиве и холодной говядине, однако даже их благотворное действие не только не смягчило, но, кажется, еще усилило его недовольство: лицо его сохраняло угрюмое и сердитое выражение.

В другое время обруганная им компания отплатила бы ему столь же крепкими словами, а то и рукоприкладством, но сейчас все были слишком утомлены и подавлены. Большинство с утра ничего не ело, и всех страшно

измучила невыносимая жара. Они накричались до того, что были совсем без голоса, и от всех волнений и усталости так обессилели, что еле держались на ногах. Притом они не знали, что делать дальше, опасались последствий своего бунта и понимали, что не только не достигли цели, но несомненно ухудшили положение. Через какой-нибудь час из «Сапога» ушли многие, и бывшие среди них по-настоящему честные и искренние люди давали себе слово никогда больше не связываться с такими товарищами. Иные остались здесь только для того, чтобы подкрепиться, а затем и они ушли домой в таком же подавленном состоянии духа. После этого дня некоторые завсегдатаи «Сапога» стали даже избегать это заведение. Пять-шесть человек, арестованных гвардейцами, молва размножила уже до целой полусотни, и унылая весть об этих арестах окончательно отрезвила уцелевших. Они настолько пали духом и утратили энергию, что к восьми часам в трактире остались только Хью, Деннис и Барнеби, да и те уже крепко спали, сидя за столом, и разбудил их только приход Гашфорда.

— О, господи! Так вот вы где! — сказал секретарь.

— А где же еще нам быть, мистер Гашфорд? — отозвался Деннис.

— О, нигде, нигде, — тон секретаря был преувеличенно мягок. — Улицы кишат синими кокардами, вот я и думал, что вы там, среди них. Очень рад, что вы здесь.

— Так у вас есть для нас поручение, хозяин? — спросил Хью.

— Нет, что вы! Какие я могу давать поручения? Разве вы у меня на службе?

— Мистер Гашфорд, но мы же служим нашему общему делу, не так ли? — возразил Деннис.

— Делу? — повторил секретарь, глядя на него каким-то отсутствующим взглядом. — Дела больше нет. Дело проиграно.

— Проиграно!

— Ну, да! Разве вы не слышали? Петиция отвергнута сто девяносто двумя голосами против шести. Это конец. Не стоило столько хлопотать. Только это меня огорчает да гнев милорда. Всем остальным я вполне доволен.

Говоря это, он достал из кармана перочинный нож и,

положив шляпу на колено, стал спарывать с нее синюю кокарду, которой щеголял весь день. При этом он мурлыкал себе под нос псалом, звучавший сегодня особенно часто на Сент-Джордж-Филдс, с кроткой грустью подчеркивая слова.

Оба его союзника переглянулись, затем уставились на него, словно недоумевая, как понимать его поведение. Наконец Хью, которого мистер Деннис всячески поощрял, подмигивая ему и подталкивая локтем, решился прервать молчание и спросил у Гашфорда, почему это он снимает кокарду.

— А потому, — подняв глаза, сказал секретарь, не то сердито, не то шутя, — потому, что носить ее, когда сидишь сложа руки, носить ее, когда спишь или удираешь от опасности, — это просто насмешка. Вот и все, приятель.

— А что же прикажете нам делать? — воскликнул Хью.

— Ничего, — Гашфорд пожал плечами. — Ничего. Когда милорда осыпали упреками и грозили ему за то, что он защищает ваши интересы, я, как человек осторожный, не требовал, чтобы вы что-то сделали. Когда солдаты топтали вас лошадьми, я не ждал, что вы тут что-нибудь сделаете. Когда один из солдат был выбит из седла чьей-то дерзкой рукой и я видел смятение и ужас на их лицах, я не требовал, чтобы вы что-нибудь сделали, — и вы действительно ничего не делали. Ага, вот он, этот юноша, такой неосторожный и смелый! Как мне жаль его!

— Жаль, хозяин? — воскликнул Хью.

— Жаль, мистер Гашфорд? — сказал и Деннис.

— Если завтра будет вывешено объявление, в котором за поимку его обещают пятьсот фунтов или другую пустячную сумму, если в этом объявлении то же самое будет сказано о другом человеке, том, что прыгнул с лестницы в нижний коридор, — вы по-прежнему не делайте ничего, — сказал Гашфорд холодно.

— Черт возьми, хозяин! — Хью вскочил. — Почему вы так с нами разговариваете? Что мы сделали?

— Ничего, — ответил Гашфорд с иронией. — Если вас посадят за решетку, если этого молодца, — он пристально взглянул на внимательно слушавшего Барнеби, — оторвут от нас, его друзей, и от родных, тех, кого он любит и кого, быть может, убьет его смерть, если его будут гноить

в тюрьме, а потом повесят у них на глазах, — все равно, не делайте ничего. Вы, конечно, сочтете такое поведение самым правильным.

— Идемте! — крикнул Хью и шагнул к двери. — Деннис, Барнеби, идем!

— Куда? Зачем? — спросил Гашфорд, опередив его и загородив собой дверь.

— Куда-нибудь, все равно! Посторонитесь, мистер Гашфорд, иначе выскочим в окно. Пустите!

— Ха-ха-ха! Ишь какой... горячий! — промолвил Гашфорд, сразу меняя тон на самый добродушный и приятельски-шутливый. — Настоящий порох! Но перед уходом вы не откажетесь выпить со мной?

— Ну, конечно! — прогудел Деннис, отирая рукавом свой всегда жаждущий рот. — Не сердись, брат Хью! Выпьем с мистером Гашфордом.

Хью утер вспотевший лоб и облегченно улыбнулся. А ловкач секретарь громко расхохотался.

— Подайте чего-нибудь, да живее, не то этот отчаянный убежит, не дождавшись! — сказал Гашфорд, а мистер Деннис поддержал его, усиленно кивая и бормоча ругательства. — Когда его расшевелишь, ему удержу нет!

Хью со всего размаха треснул Барнеби по спине своей здоровенной лапой, заверяя его, что ему нечего бояться. Они пожали друг другу руки — бедный Барнеби был совершенно уверен, что он находится среди благороднейших и бескорыстнейших людей в мире, настоящих героев, — а Гашфорд снова рассмеялся.

— Слыхал я, — промолвил он вкрадчиво, стоя среди них с большой бутылью в руках и наполняя стаканы так же быстро и часто, как их ему протягивали. — Слыхал, но не знаю, правда ли это, будто народ, что шатается сегодня вечером по улицам, не прочь разнести две-три католические церкви и только ждет, чтобы кто-нибудь повел его. Мне даже называли эти церкви — на Дьюк-стрит, в Линкольнс-Инн-Филдс, на Уорвик-стрит, на Голден-сквер. Но слухам, вы знаете, не всегда можно верить... Вы ведь не собираетесь туда идти?

— Значит, советуете нам ничего не делать. Так, хозяин? — гаркнул Хью. — Ну, нет, мы с Барнеби не желаем идти ни в тюрьму, ни на виселицу. Надо *их* так пугнуть,



чтобы у них пропала охота связываться с нами. Вожаки, говорите, нужны? Идем, ребята!

— Ох, буйная головушка! — воскликнул секретарь. — Ха-ха! Что за бесстрашный, неистовый, горячий парень! Такой человек...

Фразу кончать не стоило, потому что они уже выбежали из трактира и не могли ее слышать. Гашфорд сразу перестал смеяться, прислушался... Натянув перчатки и заложив руки за спину, он долго еще ходил взад и вперед по опустевшей комнате, потом отправился бродить по шумным улицам.

Улицы были полны народа, так как события этого дня наделали много шуму. Те, кому не хотелось выходить из дому, стояли у дверей или окон, и везде разговор шел о том же. Одни уверяли, что мятеж окончательно подавлен, другие — что он опять вспыхнул. Рассказывали, что лорд Джордж Гордон под усиленным конвоем отправлен в Тауэр, что было покушение на жизнь короля, что снова вызваны войска и откуда-то с окраин города какой-нибудь час назад ясно слышалась пальба. С наступлением темноты все эти слухи стали казаться еще страшнее и таинственнее. Стоило пробегавшему мимо перепуганному обывателю крикнуть, что бунтовщики идут сюда, что они уже близко, как все двери моментально захлопывались и запирались изнутри, окна в нижних этажах закрывались ставнями, начиналась такая паника, как будто в город вступила вражеская армия.

Гашфорд крадучись бродил в толпе, ко всему прислушивался и где опровергал, а где подтверждал услышанный ложный слух, смотря по тому, что̀ ему было на руку. Весь поглощенный этим занятием, он уже в двадцатый раз направился было к Холборну, как вдруг увидел бегущих навстречу женщин и детей. Они все сильно запыхались, на бегу часто оглядывались назад, и в уши секретарю хлынул слитный гул множества голосов, доносившийся издали. По этим признакам и красному зареву, осветившему дома по обе стороны улицы, Гашфорд понял, что и в самом деле приближаются его союзники; юркнув в первую приоткрытую дверь, он попросил приюта на несколько минут и вместе с другими побежал наверх, к окнам, чтобы увидеть надвигавшуюся толпу.

У многих в руках были факелы, и при свете их хорошо видны были лица бежавших впереди вожаков. Легко было угадать, что эти люди только что громили католический храм; об этом свидетельствовали трофеи, награбленная добыча, которую они несли: облачения священников и дорогая церковная утварь. Впереди, как бешеные, неслись Барнеби, Хью и Деннис. Вид их был ужасен — с головы до ног они были в саже, в грязи, в известке и пыли, одежда превратилась в лохмотья, волосы были всклокочены, руки и лица исцарапаны ржавыми гвоздями, покрыты кровоточащими ранами. За ними, теснясь и толкаясь, валила густая толпа. Горланили песни, оглашали воздух торжествующими криками, перебранивались и на бегу грозили зрителям... Те, кто нес какие-то деревянные обломки, изливали на них свою ярость, как на живые существа: ломали их на мелкие куски и подбрасывали высоко в воздух. Некоторые в диком опьянении, казалось, и не замечали ран и ушибов, полученных при падении кирпичей, балок, камней. Среди толпы несли кого-то на сорванной ставне, — страшную своей неподвижностью ношу, прикрытую грязной холстиной... Все это — ряды сатанински свирепых лиц, освещенных кое-где дымным огнем факелов, безумные глаза, качавшийся в воздухе лес палок и железных прутьев, ошеломляющий кошмар, открывавший взору так много и вместе так мало, казавшийся таким длительным, но промелькнувший в один миг, множество фантастических видений, которые врезались в память на всю жизнь, и вместе с тем множество подробностей, которые невозможно было охватить за один этот страшный миг, — все пронеслось мимо и скрылось.

А когда промчалась толпа, сеявшая на своем пути ярость и разрушение, на улице раздался вдруг душераздирающий вопль. Несколько человек бросились туда, откуда он донесся, а с ними и Гашфорд, только что вышедший на улицу. За спинами других ему было не видно и не слышно, что там случилось, но кто-то, опередивший его, рассказал, что кричала женщина, вдова, увидевшая в толпе бунтовщиков своего сына.

— Только-то? — сказал секретарь, уходя домой. — Ну, кажется, наши молодцы на этот раз принялись за дело как следует!

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Однако неистовства черни, которые Гашфорд называл «настоящим делом» и на которые возлагал большие надежды, в ту ночь дальше не пошли. Снова были вызваны солдаты, снова они арестовали человек пять-шесть, а остальные разбежались после короткой и бескровной схватки. Как ни были они пьяны, как ни разыгрались в них страсти, — они еще не решались перейти все границы, презреть законы и бросить вызов правительству. Их еще сдерживала доля привычного уважения к власти, установленной обществом для защиты своих интересов, и если бы эта власть вовремя отстояла свой авторитет, секретарю лорда Гордона пришлось бы пережить горькое разочарование.

К полуночи улицы были уже тихи и безлюдны, все приняло свой обычный вид, и только в двух частях города, на тех местах, где солнце в час заката освещало еще красивые и богато украшенные здания, сейчас остались одни расшатанные стены да груды обломков и мусора. Даже католики, которых много было среди дворян и купцов в Лондоне и его предместьях, не боялись больше за свою жизнь и имущество и не очень возмущались тем, что разрушены и разграблены их церкви. Они верили в правительство, под защитой которого жили много лет, они с полным основанием рассчитывали на добрые чувства к ним и справедливость большей части населения, людей, с которыми, несмотря на разницу вероисповеданий, всегда сохраняли близкие и дружеские отношения, — и это их поддерживало при всех издевательствах и насилиях, которым они подверглись. Они были убеждены, что все честные протестанты так же невиновны в недавних позорных событиях, как невиновны были они, католики, в пытках на дыбе, сожжении на кострах, казнях на плахе и виселице в царствование жестокой королевы Марии.

Был уже час ночи, а Гейбриэл Варден, его супруга и мисс Миггс все еще не ложились и ожидали чего-то в маленькой гостиной. Их присутствие здесь в столь позд-

ний час, и нагар на фитилях тускло горевших свечей, и царившее в комнате безмолвие, а более всего — ночные чепчики служанки и ее госпожи свидетельствовали, что какая-то уважительная причина помешала им лечь спать в обычный час и вынудила засидеться допоздна.

Если требовалось еще более убедительное доказательство, то им вполне могло служить поведение мисс Миггс: дойдя до того беспокойного и нервного состояния, которое всегда вызывается долгим бдением, она беспрестанно потирала и пощипывала нос, вертелась и ерзала на стуле, как будто сидела на иголках, почесывала брови, кашляла, вздыхала или даже тихо стонала, шмыгала носом, шумно сопела или судорожно вздрагивала — и всем этим до того раздражала слесаря, что у него, наконец, лопнуло терпение: молча понаблюдав за нею некоторое время, он не выдержал и сказал:

— Миггс, голубушка, ступай-ка ты спать! Иди, иди, а то ты можешь надоесть хуже, чем сто бочек дождевых капель, которые стучат в окно, или сотня мышей, когда они скребутся за панелью. Это, ей-богу, невыносимо! Сделай милость, иди спать!

— Вам легко говорить, сэр,— возразила мисс Миггс,— ведь вас раздевать и расстегивать не нужно, а хозяйку — нужно. И пока вы не ляжете, мэм, — обратилась она к миссис Варден,— до тех пор и я не смогу уснуть со спокойной совестью, — нет, ни за что, хотя бы мне сию же минуту вылили за шиворот не сто бочек, а в двадцать раз больше холодной воды!

Объявив это, мисс Миггс стала всячески извиваться, пытаясь почесать плечи в недоступном месте, и при этом содрогалась вся с головы до ног, как бы давая зрителям понять, что воображаемый холодный душ действует уже вовсю, но сознание долга придает ей мужество и заставляет ее терпеть это и все другие мучения.

Миссис Варден так клонило ко сну, что она не стала вмешиваться, и, когда Миггс высказалась, слесарю оставалось только вздохнуть и вооружиться терпением.

Однако сидеть спокойно, имея перед глазами такого василиска, было невозможно. Гейбриэл старался смотреть в другую сторону, но представлять себе, как она трет щеку, или дергает себя за ухо, или моргает глазами, или

проделывает бог знает что со своим носом, было еще мучительнее, чем видеть все это. Если она на миг прекращала подобные упражнения, то только потому, что у нее немела ступня, или сводило руку или ногу, или ее всю корчило от какого-нибудь другого недомогания. Когда же наступала минута передышки и Миггс, закрыв глаза и разинув рот, неподвижно застывала на стуле, то через мгновение она начинала клониться вперед, потом, вздрогнув и очнувшись, разом останавливалась, потом снова клонилась вперед, вздрагивала и выпрямлялась, медленно начинала опять клониться все ниже и ниже, а когда уже казалось несомненным, что через секунду она потеряет равновесие, и слесарь в испуге готов был ее окликнуть, чтобы она не свалилась со стула и не проломила себе череп, она совершенно неожиданно оказывалась опять сидящей очень прямо, словно аршин проглотила, глаза ее были открыты и упрямое, вызывающее выражение сонной физиономии ясно говорило: «Я готова поклясться, что ни на минуту не сомкнула глаз».

Наконец, когда часы пробили два, за входной дверью послышался стук, словно кто-то нечаянно наткнулся на дверной молоток. Мисс Миггс моментально вскочила и, захлопав в ладоши, крикнула, путая со сна духовное с мирским:

— Аллилуйя, мэм! Это стучит Симмун!

— Кто там? — спросил Гейбриэл.

— Я! — крикнул хорошо знакомый голос мистера Тэппертита.

Слесарь отпер дверь и впустил его.

Мистер Тэппертит имел сейчас не очень презентабельный вид: человеку его роста всегда плохо приходится в давке, а так как он к тому же принимал деятельное участие в событиях вчерашнего утра, то одежда его буквально превратилась в лохмотья, шляпа смялась и потеряла всякую форму, а задники башмаков были стоптаны до того, что они напоминали ночные туфли. Кафтан висел на нем клочьями, пряжки с подвязок и башмаков были сорваны, от шарфа на шее осталась только половина, сорочка на груди была разорвана. Однако, несмотря на беспорядок в костюме, на то, что Сим изнемогал от жары и усталости и был весь в грязи и пыли, как в фуг-

ляре, под которым уже нельзя было различить его естественную оболочку (то есть кожу или облекавшую ее одежду), он вошел в гостиную величавой поступью, с высокомерным видом и, сев в кресло, с мрачным достоинством обозревал все общество, тщетно пытаясь засунуть руки в карманы коротких штанов, вывернутые наружу и болтавшиеся по бокам, словно кисточки.

— Саймон, — начал слесарь серьезным тоном, — что это значит, что ты приходишь домой так поздно ночью да еще в подобном виде? Можешь ты дать мне слово, что не безобразничал на улицах вместе с бунтовщиками? Если можешь, я не стану больше упрекать тебя.

— Сэр, — отвечал мистер Тэппертит, устремив на него презрительный взгляд, — удивляюсь, как это у вас хватает наглости предъявлять мне такие требования.

— Ты пьян, — сказал слесарь.

— Говоря вообще, — возразил Сим с полным самообладанием, — вы лжец, сэр, и в самом оскорбительном смысле этого слова! Но в данном случае вы нечаянно — да, нечаянно, сэр! — сказали правду.

— Марта, — обратился слесарь к жене, сокрушенно качая головой, хотя вид этой торчавшей перед ним нелепой фигуры вызывал невольную улыбку на его открытом лице. — Марта, я все же надеюсь, что этот бедняга не попал в руки тех подлецов и дураков, о которых мы так часто толковали с тобой и которые натворили столько зла. Но если он сегодня ночью был на Уорвик-стрит или Дьюк-стрит, то...

— Он не был ни тут, ни там, сэр, — воскликнул мистер Тэппертит громким голосом и, внезапно перейдя на шепот, повторил, в упор глядя на слесаря: — Не был ни тут, ни там, да!

— Этому я от души рад, — сказал слесарь торжественно, — потому рад, Марта, что если бы он там был и это стало бы известно, то твой Великий Союз оказался бы для него той телегой, в которой человека везут на виселицу. Да, клянусь жизнью, не миновать бы ему болтаться в воздухе!

Миссис Варден ничего не отвечала, ее слишком ужасал вид Саймона и его резко изменившийся тон, и она еще раньше была напугана рассказами о бунте. Она даже



не прибегла к своей обычной супружеской тактике. А мисс Миггс — та уже рыдала и ломала руки.

— Да, Гейбриэл Варден, он не был ни на Дьюк-стрит, ни на Уорвик-стрит, — сказал Саймон сурово. — Но он *был* в Вестминстере. И возможно, сэр, что он там надавал пинков какому-нибудь депутату графства. Быть может, он пустил кровь лорду — да, да, сколько бы вы ни таращили на меня глаза, сэр, а я повторяю — кровь там рекой лилась из носов, и возможно, что я стукнул какого-нибудь лорда. Кто знает? Вот смотрите, — тут он запустил руку в жилетный карман и извлек оттуда большой зуб, при виде которого и Миггс и миссис Варден громко взвизгнули, — это зуб епископа. Так что берегитесь, Гейбриэл Варден!

— Я бы охотно отдал пятьсот фунтов, чтобы ничего этого не было, — с живостью сказал слесарь. — Да понимаешь ли ты, болван, какая тебе грозит опасность?

— Понимаю, сэр, — ответил подмастерье, — и горжусь этим. Я был там у всех на глазах, я стал видным человеком. И готов нести последствия.

Слесарь, не на шутку расстроенный, молча ходил из угла в угол, поглядывая на своего бывшего подмастерья. Наконец, остановившись перед ним, он сказал:

— Ложись, поспи час-другой. Авось, когда проспишься, немного образумишься и пожалеешь о том, что натворил. Если раскаешься, мы постараемся тебя спасти... Разбужу его часов в пять, — обратился Варден к жене, — тогда он успеет привести себя в порядок, добраться до Тауэрской лестницы и с приливом уплывет в Грейвзенд раньше, чем его здесь начнут разыскивать. Оттуда ему легко будет попасть в Кентербери *, где твой кузен даст ему работу, пока вся эта буря уляжется. Не знаю, хорошо ли я делаю, что спасаю его от заслуженной кары... Но он прожил у нас в доме двенадцать лет, мальчиком еще пришел... и жаль будет, если из-за одного этого злосчастного дня он плохо кончит. Запри входную дверь, Миггс, и, когда пойдешь наверх, смотри, чтобы с улицы не увидели свет. Ну, Саймон, живо в постель!

— Так, по-вашему, сэр, я такой ничтожный подлец, что приму ваше унизительное предложение? — хрипло возразил мистер Тэппертит заплетающимся языком — его

медленная речь составляла резкий контраст с живостью и выразительностью слов его доброго хозяина. — После этого вы сами негодяй, сэр.

— Мели что хочешь, Саймон, но ложись скорее, каждая минута дорога! Давай свечу, Миггс.

— Да, да, иди скорее спать! — в один голос взмолились обе женщины.

Мистер Тэппертит встал, оттолкнул стул, чтобы показать, что он в поддержке не нуждается, и, пошатываясь, болтая головой так, словно она не была никак соединена с телом, изрек:

— Вы сказали «Миггс»?.. К черту Миггс, сэр!

— Ах, Симмун! — пролепетала эта девица замирающим голосом. — Ах, мэм! Ах, сэр! Боже милосердный, какой удар!

— И всю вашу компанию к черту! — отрезал мистер Тэппертит, с улыбкой невыразимого презрения взглянув на потрясенную Миггс. — Всех, кроме миссис Варден. Я пришел сюда, сэр, только ради нее. Миссис Варден, вот возьмите эту бумагу. Это охранная грамота, мэм. Она может вам понадобиться.

И он протянул ей грязную, измятую бумажку. Слесарь перехватил ее, развернул и прочел:

— «Надеюсь, что никто из сочувствующих нашему делу не тронет имущества истинных протестантов. Удостоверяю, что владелец этого дома — верный и достойный наш союзник. Джордж Гордон».

— Это еще что? — буркнул слесарь, меняясь в лице.

— Она вам очень и очень пригодится, молодой человек, — отвечал его подмастерье. — Сами увидите! Храните ее как зеницу ока в таком месте, чтобы она была у вас под рукой, как только понадобится. А завтра вечером напишите мелом на двери своего дома «Долой папистов!» и не стирайте эту надпись всю неделю. Вот и все.

— Документ подлинный, — сказал слесарь. — Знаю, потому что уже видел этот почерк. Какую еще беду предвещает твоя бумажонка? Что за дьявол опять сорвался с цепи?..

— Свирепый, огненный дьявол, — перебил его Сим. — Не становитесь у него на дороге, иначе вам каюк. Я вас вовремя предупреждаю, Гейбриэл Варден. Прощайте!

Но обе женщины загородили ему дорогу. Особенно энергично действовала мисс Миггс: она налетела на него так стремительно, что Сим оказался пригвожденным к стене, и в трогательных выражениях заклинала не уходить, пока он не протрезвится, отдохнуть, поразмыслить, а потом уже принять решение.

— Сказано вам, что решение я уже принял, — сказал мистер Тэппертит. — Истекающая кровью родина призывает меня, и я иду! Миггс, пропустите сейчас же, или я вас ущипну!

Мисс Миггс, навалившаяся всем телом на мятежника, вдруг пронзительно вскрикнула — неизвестно, от избытка ли горести или оттого, что он привел в исполнение свою угрозу.

— Отвяжитесь от меня, — продолжал Саймон, вырываясь из ее целомудренных объятий, в которых он застрял, как муха в паутине. — Я позабочусь о вас, и после переустройства нашего общества вы благодаря мне будете жить припеваючи. Надеюсь, вы довольны? Пустите!

— Ах, Симмун! — воскликнула мисс Миггс. — Мой славный Симмун! О мэм! Если бы вы знали, что̀ я чувствую в эту трудную минуту!

Чувства были, видно, и в самом деле бурные: ночной чепец мисс Миггс во время ее борьбы с Саймоном свалился с головы, а сама она очутилась на коленях и являла собой какую-то причудливую смесь синих и желтых папильоток, растрепанных прядей, болтавшихся корсетных шнурков и завязок уже совершенно неизвестного назначения. Она задыхалась, сжимала руки, закатывала глаза, проливала обильные слезы и проявляла все другие признаки сильнейших душевных мук.

— Я оставляю наверху сундучок с моими вещами, — сказал Саймон хозяину, не обращая ни малейшего внимания на девичье горе Миггс. — Делайте с ними что хотите, мне они не нужны. Я сюда больше не вернусь. Ищите себе, сэр, другого работника, а я буду служить родине. Отныне *это* будет моим делом.

— Через два часа можешь делать что хочешь, а сейчас ложись спать, — слесарь заслонил собой дверь. — Марш в постель! Слышишь?

— Слышу, Варден, но не повинуюсь, — отрезал мистер Тэппертит. — Сегодня вечером я был за городом и обсуждал план одного дела, которое поразит и наполнит ужасом вашу слесарскую душонку. Для этого дела мне нужно собрать все силы. Пропустите меня!

— Только сунься к двери, так я тебя с ног сшибу, — пригрозил ему Варден. — Иди-ка ты лучше спать.

Саймон, не отвечая, выпрямился и со всей быстротой, на какую еще был способен, нагнув голову, как бык, бросился на хозяина. Оба выкатились в мастерскую, так усиленно работая руками и ногами, что могло показаться, будто их не двое, а пятеро или шестеро. При этом Миггс и миссис Варден вопили за десятерых.

Вардену ничего не стоило бы одолеть противника и связать его по рукам и ногам. Но ему не хотелось пользоваться беспомощностью пьяного, и он только отражал его удары, а когда это не удавалось, кротко сносил их и упорно не подпускал Сима к выходу, выжидая удобного момента, чтобы загнать его наверх, в его комнату, и запереть там. Однако слесарь наш в простоте души слишком понадеялся на слабость противника, забыв, что пьяные, даже когда они уже нетвердо держатся на ногах, часто способны быстро бегать. Саймон Тэппертит, хитро улучив минуту, сделал вид, что падает, и, внезапно ринувшись вперед, пробежал мимо Вардена, открыл входную дверь (секрет этого замка был ему хорошо известен) и, как бешеный, помчался по улице. Слесарь оторопел от неожиданности и только через минуту пустился бежать за ним.

Все благоприятствовало погоне: в этот поздний час жару сменила прохлада, улицы опустели, так что фигура беглеца была хорошо видна издалека — он мчался, а за ним по пятам неслась его длинная тень. Однако где было слесарю с его одышкой угнаться за молодым и худощавым Симом! Прошло то время, когда он мог бы вмиг догнать его. Расстояние между ними быстро увеличивалось, и, когда лучи восходящего солнца осветили Саймона, огибавшего в эту минуту дальний угол, Гейбриэл Варден был вынужден отказаться от погони и присесть на чьем-то крылечке, чтобы перевести дух. А мистер Тэппертит между тем летел, не останавливаясь, и все с такой же

быстротой, к «Сапогу», где, как он знал, ночевало несколько человек из его отряда. В этом почтенном заведении его всю ночь поджидали друзья и сейчас еще там дежурили, ибо он уже успел прославиться, как человек, которому грозит тяжкая кара за нарушение законов.

— Что же, Сим, ты сам выбрал себе дорогу, — сказал вслух слесарь, отдышавшись. — Я сделал, что мог, чтобы спасти тебя, беднягу, и спас бы, — ну, а теперь... Боюсь, теперь петля уже все равно что у тебя на шее.

Бормоча это и безутешно качая головой, он повернул обратно и скоро пришел домой, где миссис Варден и верная Миггс с нетерпением ожидали его возвращения.

Миссис Варден (а следовательно, и мисс Миггс) втайне тревожило сознание своей вины: ведь она, насколько это позволяли ей скромные средства, поддерживала Союз и, значит, способствовала возникшим беспорядкам, которые еще неизвестно чем кончатся! Она чувствовала себя отчасти виноватой и в том, что сегодня произошло у них в доме. Теперь настал черед Гейбриэла торжествовать и упрекать ее. Миссис Варден так остро сознавала это и настолько приуныла, что, пока ее супруг гнался за своим бывшим подмастерьем, она спрятала под стул красный домик-копилку с желтой крышей, чтобы не было лишнего повода возвращаться к неприятной теме. Когда Варден вошел, она постаралась еще больше укрыть копилку своими юбками.

Но слесарь по дороге домой как раз вспомнил о копилке. Войдя в комнату и не видя ее, он сразу спросил, куда она девалась.

Миссис Варден не оставалось ничего другого, как достать ее из-под стула, что она и сделала, разразившись рыданьями и бессвязными уверениями, что если бы только она предвидела...

— Ну, разумеется, я понимаю, — сказал Варден, — и вовсе не намерен укорять тебя, дорогая. Но на будущее время ты запомни, что извращать хорошее и заставлять его служить дурным целям — хуже, чем просто творить зло. Когда религия идет не по тому пути, она — великое зло. Не будем больше говорить об этом, дорогая.

Он швырнул на пол красную копилку и, наступив на нее, раздавил на мелкие куски. Полупенсы, шестипенсо-

вики и другие доброхотные даяния раскатились во все стороны, но никто не стал подбирать их.

— Вот и все, — сказал слесарь. — С этим легко разделались. Дай-то бог, чтобы и со всем, что натворил этот Союз, можно было так же легко покончить.

— Нам еще повезло, Варден, — отозвалась его жена, утирая слезы. — Если опять будут какие-нибудь беспорядки... впрочем, я надеюсь, от души надеюсь, что их не будет...

— Я тоже, дружок.

— Но, если они будут — у нас, к счастью, есть бумага, которую принес этот бедный заблудший Сим.

— Ах, да! Где она, эта бумажка? — спросил слесарь, быстро оборачиваясь к жене.

Миссис Варден остолбенела от ужаса, когда он взял протянутую ему бумагу, разорвал ее на мелкие куски и бросил в камин.

— Разве нельзя было ею воспользоваться? — спросила она.

— Воспользоваться? — крикнул Варден. — Нет! Пусть приходят, пусть обрушат нам на голову крышу, пусть сожгут дом и выгонят нас! Не надо мне покровительства их вожака, и не напишу я мелом на своей двери те слова, что они орут, хотя бы они за это убили меня на пороге моего собственного дома. Воспользоваться этой бумагой! Нет, пусть приходят и делают с нами что хотят. Первый, кто переступит этот порог, пожалеет, зачем он не за сотню миль отсюда. Ну, а там — будь что будет! Я не стану просить, не стану откупаться, хотя бы у меня в мастерской вместо каждого фунта железа было сто фунтов золота. Иди спать, Марта. А я открою ставни и примусь за работу.

— Так рано? — удивилась жена.

— Да, так рано, — уже весело сказал слесарь. — Когда бы они ни пришли, они увидят, что мы не прячемся, не боимся пользоваться своей долей дневного света и вовсе не намерены весь отдать им. Ну, покойной ночи, моя милая, и приятных снов!

Он крепко поцеловал жену, советуя поторопиться, иначе не успеет она лечь, как уже пора будет вставать. Миссис Варден отвечала ему дружелюбно и кротко и тотчас пошла наверх в сопровождении Миггс. Эта девица,

хоть и порядком притихшая, все-таки не могла удержаться, чтобы не показать, как ее удивила дерзость хозяина: идя за своей госпожой, она то выразительно покашливала, то фыркала, то разводила руками.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Толпа — это нечто крайне загадочное, особенно толпа в большом городе. Откуда она берется, куда исчезает? Собирается она так же внезапно и быстро, как рассеивается, и уследить за ней трудно, как за волнами морскими. Да и не только этим она подобна морю: она так же коварна и непостоянна, как оно, так же страшна, когда разбушуется, и так же бессмысленно жестока.

Толпа, буйствовавшая в пятницу утром в Вестминстере, и та, что ночью с азартом предавала все разрушению на Дьюк-стрит и Уорвик-стрит, в основном состояла из одних и тех же людей. Если не считать случайных «пополнений», на которые можно было рассчитывать в большом городе, где нет недостатка во всяком сброде, тут и там орудовали одни и те же люди, хотя после полудня все они рассеялись в разные стороны, не уговорившись, где снова собраться, не имея никаких планов и определенных целей и не рассчитывая в дальнейшем снова объединиться.

В трактире «Сапог», который, как вы уже видели, представлял собой нечто вроде штаба мятежников, в пятницу вечером не набралось и десятка посетителей. Одни ночевали в конюшне и сараях, другие — в общем зале, и только несколько человек — на кроватях. Остальные громилы разошлись по своим обычным убежищам и всяким притонам. Среди тех, кто эту ночь проводил в окрестных полях, на дорогах, под стогами или под теплыми стенами кирпичеобжигательных печей, не нашлось бы и двух десятков таких, которые не всегда ночевали под открытым небом. А на улицах города и в эту ночь можно было встретить лишь ночных бродяг, обычные картины порока и несчастья — и ничего более.

Однако события этого вечера убедили бесшабашных вожаков толпы, что, стоит им теперь появиться на улицах, как вокруг них немедленно соберутся люди, тогда как держать их наготове, когда в них не было нужды, можно было бы лишь ценой больших затрат, еще большего риска и усилий. Узнав этот секрет, вожаки чувствовали себя так уверенно, как если бы их окружало двадцать тысяч человек, покорных их воле. В субботу они весь день бездействовали. В воскресенье придумывали способ иметь всегда своих людей под рукой и внушить им полную веру в успех, и пока не пытались продолжать то, что начато было в первый день.

— Надеюсь, мистер Гашфорд даст нам отдохнуть, — сказал Деннис своему другу Хью в воскресенье утром. Широко зевая, он приподнялся с соломы, служившей ему постелью, и подпер голову рукой. — Или, может, он прикажет нам опять приняться за дело? Как думаешь?

— Не такой он человек, чтобы тянуть да откладывать, не сомневайся, — проворчал Хью в ответ. — А мне не хотелось бы сегодня двигаться с места. Тело у меня одеревенело, как у мертвеца, и я весь в царапинах, будто вчера целый день дрался с дикими кошками.

— Это потому, что ты уж больно горяч, — заметил Деннис, с искренним восхищением глядя на лохматую голову, спутанную бороду и в кровь изодранные руки и лицо сидевшего перед ним дикаря. — Черт, а не человек! Всегда лезешь вперед и хочешь всех перещеголять. Оттого и достается тебе во сто раз больше, чем другим.

— Ну, не я один, — возразил Хью, откинув волосы со лба и указывая глазами на дверь конюшни, в которой они лежали, — вот там стоит вояка почище меня. Помнишь, что я тебе говорил? Ведь говорил же, что он стоит дюжины других? А ты не верил.

Мистер Деннис лениво перевернулся на живот, уткнул подбородок в руки, приняв такую же позу, как Хью, и, тоже посмотрев в сторону двери, отозвался:

— Да, да, ты тогда верно предсказал, брат. Но кто бы подумал, глядя сейчас на этого паренька, что он может драться, как настоящий мужчина? И черт знает, как глупо, что он забавляется, как мальчишка, игрой в солдатики, вместо того чтобы отдохнуть как следует и подго-

товиться к новой драке на пользу нашему благородному делу... А какой чистюля! (Мистер Деннис, естественно, не мог сочувствовать такой прихоти.) Эта его чистоплотность, ей-богу, — просто болезнь. В пять часов утра он уже мылся у колодца, а ведь после всего, что проделано позавчера, он должен бы, кажись, в такой час спать как убитый! Нет, где там! Проснулся я на минуту, смотрю — он уже у колодца. И видел бы ты, как он, умывшись, втыкал эти павлиньи перья в свою шляпу — смех, да и только! Жаль, что у него голова не в порядке! Ну, да кто из нас без изъяна?

Предметом этого разговора и последующих философских рассуждений Денниса был, как вы уже, верно, догадались, Барнеби: со знаменем в руках он то стоял на часах у открытой двери, в полосе солнечного света, то ходил взад и вперед, тихонько напевая под разносившийся в воздухе звон церковных колоколов. Стоял ли он, опершись обеими руками на древко знамени, или, вскинув его на плечо, медленно шагал взад и вперед, все в нем — и опрятность убогой одежды и прямая, величавая осанка — показывало, какой важной он считал вверенную ему обязанность, как он был счастлив, как горд ею. Для Хью и Денниса, лежавших в темном углу мрачного сарая, фигура Барнеби, яркий солнечный свет и мирный праздничный звон колоколов, которому он подпевал, сливались как бы в одну светлую картину в рамке двери, особенно подчеркнутую мраком конюшни. Все это составляло такой контраст с ними, валявшимися, как скот, в грязи на соломе! И на минуту-другую оба примолкли, почувствовав что-то вроде стыда за себя.

— Да, — сказал, наконец, Хью, маскируя свои чувства смехом, — чудак он, это верно. Но зато работяга, каких мало. Сна, еды и питья ему требуется меньше, чем любому из нас. И вовсе он не играет в солдатики — это я ему велел стоять на часах.

— Готов поручиться, что ты это сделал с какой-то целью, и, конечно, разумной, — заметил Деннис, ухмыляясь, и сочно выругался. — В чем тут дело, выкладывай!

— Видишь ли, — Хью придвинулся ближе. — Вчера утром наш бравый капитан, как тебе известно, пришел

сильно под хмельком, а вечером тоже здорово нализался, не меньше, чем мы с тобой...

Деннис бросил взгляд в тот угол, где, свернувшись клубком на охапке сена, храпел Саймон Тэппертит, и кивнул головой.

— А мы, то есть наш благородный капитан и я, — продолжал Хью с новым взрывом хохота, — задумали назавтра замечательную вылазку — в такие места, где будет чем поживиться.

— Опять на папистов? — спросил Деннис, потирая руки.

— Да, на одного паписта, против которого кое-кто из наших имеет зуб — вот и я, например, сильно хочу свести с ним счеты.

— Уж не тот ли это знакомый мистера Гашфорда, про которого он нам говорил у меня дома? — осведомился Деннис, захлебываясь от удовольствия в предвкушении поживы.

— Он самый, — подтвердил Хью.

— Вот это люблю! — весело воскликнул Деннис, пожимая ему руку. — Побольше обиженных, жаждущих мести и все такое прочее, тогда дело у нас пойдет вдвое быстрее. Ну, рассказывай, что вы затеяли!

— Капитан... Ха-ха-ха!.. капитан намерен во время этой переделки похитить одну женщину. И я... ха-ха-ха!.. я тоже!

Эту часть плана мистер Деннис выслушал с кислым видом и объявил, что он принципиально против женщин: они — народ ненадежный, увертливый и могут опрокинуть все расчеты, ибо у них семь пятниц на неделе. На эту благородную тему Деннис мог бы распространяться довольно долго, но вдруг вспомнил, что еще не знает, какая связь между предполагаемой экспедицией и дежурством Барнеби у дверей конюшни. На его вопрос Хью, из предосторожности понизив голос, отвечал:

— Понимаешь, те люди, которых мы собираемся навестить, были когда-то его друзьями... А я его хорошо знаю — если только он догадается, что мы хотим с ними расправиться, он будет на их стороне и непременно постарается им помочь. Поэтому я уверил его (мы ведь старые друзья), что лорд Джордж избрал его для охраны

этого места завтра, когда нас тут не будет, и что это — великая честь. Вот он и стоит на часах и горд этим так, словно его произвели в генералы. Ха-ха! Ну, что ты скажешь? Выходит, я — парень не только отчаянный, но, когда надо, и осторожный, а?

Мистер Деннис рассыпался в комплиментах, затем спросил:

— А куда же мы отправимся?

— Не беспокойся, все подробности узнаешь сейчас от меня и нашего храброго капитана — видишь, он уже просыпается. Вставайте, Львиное Сердце! Ха-ха-ха! Развеселитесь и выпейте еще! Надо же вам опохмелиться, капитан. Как говорится, — чем ушибся, тем и лечись. Велите подать вина, найдется чем заплатить, хотя бы за двадцать бочек: здесь у меня под соломою запрятано немало золотых и серебряных кубков, чаш и подсвечников, — он разворошил солому и указал на свежевзрытую в одном месте землю. — Пейте, капитан!

Мистер Тэппертит отнесся к его веселым и дружеским советам весьма немилостиво: две ночи погромов и попоек настолько ослабили его дух и тело, что он едва держался на ногах. С помощью Хью он кое-как добрался до насоса и, выпив изрядную порцию холодной воды, затем освежив голову обильным ее потоком, приказал подать себе рому с молоком и позавтракал сухариками и сыром, запивая их этим невинным напитком. Кончив есть, он удобно разлегся на полу рядом со своими двумя товарищами (которые тоже подкрепились соответственно своим вкусам) и стал излагать Деннису подробности завтрашней экспедиции.

Что разговор был интересный, видно было уже из того, как долго он продолжался и с каким неослабным увлечением его вели все трое. Однако он не носил утомительно-серьезного характера и оживлялся шутками, о чем свидетельствовали частые и громкие взрывы хохота, от которых стоявший на посту Барнеби невольно вздрагивал, удивляясь про себя легкомыслию товарищей. Они не приглашали его в свою компанию, пока не наелись, напились, выспались и наговорились всласть (разговор их продолжался несколько часов). Наконец в сумерки они объявили ему, что намерены устроить небольшое шествие по улицам (только для того, чтобы товарищи поразмялись —

ведь сегодня воскресенье. Да и народ будет разочарован, если ничего не предпринять), а он, если хочет, может идти с ними.

Сборы были недолги — они захватили с собой только дубинки и, нацепив синие кокарды, вышли на улицу без всякого определенного плана, с одним лишь намерением наделать как можно больше кутерьмы. К ним стали присоединяться другие, число их быстро возрастало, и они скоро разделились на группы. Уговорившись встретиться на пустыре близ Уэлбек-стрит, они пошли рыскать по городу во всех направлениях. Самая большая и быстрее других разраставшаяся группа, в которой были Хью и Барнеби, двинулась в сторону Мурфилдса — им было известно, что в тех местах есть богатая католическая церковь и живет немало католиков.

Начав с домов этих людей, они принялись разбивать двери и окна, ломать всю мебель, оставляя внутри одни голые стены, и тщательно обыскивали все помещения в поисках нужных им орудий разрушения. Молотки, кочерги, топоры, пилы — все пошло в ход. Опоясавшись кто веревкой, кто — платком, всем, что попадалось под руку и годилось для этой цели, многие затыкали за эти пояса свое импровизированное оружие и в таком виде открыто шли по улицам, как саперы на полевых маневрах. Вообще в этот вечер громилы уже ничуть не стеснялись, не скрывали своих намерений и действовали даже без особого азарта и спешки. В католических церквах они снимали и уносили все — кафедры, скамьи, полы, а из жилых домов даже панели и лестницы. Все эти воскресные упражнения они проделывали преспокойно, как рабочие — свое задание. Достаточно было бы полусотни решительных людей, чтобы обратить их в бегство, одна рота солдат разбила бы их в пух и прах. Но никто им не мешал, блюстители порядка и не пытались их останавливать, те, на кого обращена была их ярость, в ужасе бежали при их приближении, а остальные обращали на них так мало внимания, как будто это были почтенные люди, спокойно занимавшиеся своим законным делом.

После этих трудов праведных они так же спокойно и беспрепятственно сошлись на условленном месте, развели большие костры в поле и, отобрав из своей добычи наибо-

лее ценное, сожгли остальное. Ризы священников, статуи святых, дорогие ткани и всякая церковная утварь — все летело в огонь, и местность далеко вокруг освещена была заревом. Бунтовщики плясали вокруг костров, горланили, пока не выбились из сил, и никто не мешал им.

Когда основная группа бунтовщиков на обратном пути шествовала по Уэлбек-стрит, они заметили впереди Гашфорда — он все время издали следил за их подвигами и теперь крадучись шел в стороне, по тротуару. Поравнявшись с ним, Хью незаметно для всех шепнул ему на ухо:

— Ну, как? Теперь дела пошли лучше, хозяин?

— Нет, — ответил Гашфорд. — Ничуть не лучше.

— Чего же вы хотите? — сказал Хью. — Горячка никогда не вспыхивает сразу. Она развивается постепенно.

— Чего хочу? — Гашфорд ущипнул его за руку с такой злостью, что ногти впились Хью в кожу. — Хочу, чтобы вы действовали с толком. Болваны! Вы, видно, умеете жечь только тряпки да обломки? А устроить костер из целого дома — на это у вас пороху не хватает?

— Побольше терпения, хозяин! — отозвался Хью. — Несколько часов потерпите, а там увидите! Завтра вечером ищите в небе зарева.

Сказав это, Хью пропустил вперед секретаря, вернулся на свое место рядом с Барнеби, и, когда Гашфорд оглянулся, оба уже затерялись в толпе.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Следующий день начался под веселый перезвон колоколов и пальбу пушек Тауэра, на колокольнях многих церквей развевались флаги: Лондон обычным порядком праздновал день рождения короля. И люди шли по своим делам или развлекались, как ни в чем не бывало, будто в городе царил полный порядок и в разных его укромных местах не тлели искры, из которых с наступлением ночи должно было снова вспыхнуть пламя, распространяя вокруг ужас и разрушение. Вожаки бунтовщиков, окрыленные вчерашними успехами и доставшейся им богатой добычей, все время держались вместе и думали только о

том, как бы втянуть в свои преступные затеи всю массу сторонников настолько крепко, чтобы нечего было опасаться, что они, соблазнившись надеждой на прощение или наградой, предадут главарей в руки правосудия.

Действительно, сознание, что они зашли слишком далеко, чтобы надеяться на помилование, сплотило трусов не менее, чем смельчаков. Многие из них охотно назвали бы главных зачинщиков и дали показания против них, если бы не понимали, что таким способом спасти свою шкуру уже не удастся, ибо их собственные подвиги видели сотни людей, не участвовавших в беспорядках, людей, которые пострадали, лишились покоя и всего имущества во время буйств черни и с величайшей готовностью выступят свидетелями, а власти, без сомнения, поверят им охотнее, чем участникам бесчинств. Среди этой категории было много подмастерьев, еще в субботу утром побросавших работу, и хозяева видели их в толпе громил. Другие понимали, что они под подозрением и будут уволены, как только вернутся. А были и такие отчаянные, что сразу решились на все и утешались известной поговоркой: «Семь бед — один ответ», рассудив, что если уж быть повешенным, так все равно, за что — за кражу овцы или ягненка.

Все эти люди надеялись и верили (одни — больше, другие — меньше), что власти, по-видимому, сильно ими устрашенные и потому бездействовавшие, войдут с ними в конце концов в переговоры и примут их условия. И каждый, даже самый безнадежный скептик, рассуждал про себя, что бунтовщиков все-таки слишком много, всех не покарают, и что у него столько же шансов уцелеть, как и у всякого другого. Впрочем, большинство ни о чем не задумывалось и не рассуждало. Оно действовало под влиянием разбушевавшихся страстей, побуждаемое нищетой, невежеством, озорством и надеждой на добычу.

Следует отметить еще одно обстоятельство: после первой вспышки бунта в Вестминстере бунтовщики действовали уже без всякого плана и предварительного сговора: когда они группами разбегались по различным кварталам города, делалось это по внезапному побуждению, и такие беспорядочные банды по дороге обрастали людьми, ширились, как река, стремящаяся к морю. Всё новые вожаки

появлялись, как только в них возникала надобность, исчезали, когда становились ненужны, и в критический момент снова вырастали как из-под земли. Вспышки принимали различный характер в зависимости от обстановки. Мирные рабочие люди, возвращавшиеся домой после трудового дня, бросали свои сумки с инструментами и в один миг становились бунтовщиками. К ним присоединялись и мальчишки-посыльные. Словно какая-то эпидемия охватила весь город. Возбуждение, шум, стремительное движение имели для сотен людей притягательную силу, перед которой они не могли устоять. Заразительное безумие распространялось, как страшная злокачественная лихорадка. Оно еще не достигло крайних пределов, но каждый час охватывало все новые жертвы, и лондонское общество уже начинало трепетать, наблюдая это буйное сумасшествие.

В третьем часу дня Гашфорд, заглянув в логово, описанное уже нами в предыдущей главе, и застав там только Барнеби и Денниса, спросил, где Хью.

Барнеби объяснил ему, что Хью вот уже больше часа как ушел и до сих пор не вернулся.

— Деннис, — с улыбкой, сладчайшим тоном позвал секретарь, присев на бочонок и закинув ногу за ногу. — А, Деннис!

Палач с трудом приподнялся, сел на соломе и уставился на секретаря широко открытыми глазами.

— Здорово, Деннис, — продолжал тот, кивая ему. — Надеюсь, недавние труды не слишком утомили вас?

— Я всегда говорю, что этот ваш тихий голос, мистер Гашфорд, может и мертвеца поднять на ноги, — отозвался палач, в упор глядя на него. — И больно в нем хитрости много, — добавил он, тихонько чертыхнувшись про себя и по-прежнему сосредоточенно глядя в лицо Гашфорда. — Да, вот оно что!

— Разве голос у меня такой уж внятный, Деннис?

— Внятный? — Деннис почесал голову, все еще не отрывая глаз от секретаря. — Да, *меня* он прошибает до мозга костей!

— Очень рад, что у вас такой тонкий слух и что вы меня так хорошо понимаете, — сказал Гашфорд все тем же неизменно-ровным тоном. — А где ваш приятель?

Мистер Деннис оглянулся, словно ожидая увидеть Хью спящим на соломе, но тут же припомнил, что видел, как он уходил.

— Не знаю, где он пропадает, мистер Гашфорд. Я думал, что он уже воротился. Неужто сегодня опять на работу?

— Кому же знать это, как не вам? — возразил секретарь. — Я ничего вам не указываю, Деннис. Вы сами себе хозяин и за свои дела ни перед кем не в ответе — разве что иной раз перед законом, не так ли?

Деннис, сперва изрядно сбитый с толку хладнокровным и естественным тоном секретаря, сразу насторожился при этом намеке на его профессиональные обязанности, и, указав на Барнеби, покачал головой и нахмурился.

— Тсс! — воскликнул вдруг Барнеби.

— На этот счет вы лучше помалкивайте, мистер Гашфорд, — сказал палач вполголоса. — Вы постоянно забываете... У людей есть предрассудки... Что такое, Барнеби, дружок? Что ты там услышал?

— Идет! — ответил Барнеби. — Слышите теперь? Это он. Я хорошо знаю его шаги, и шаги его пса тоже. Бум-бум, топ-топ-топ — идут оба! Ха-ха-ха, вот и они! — крикнул он радостно и обеими руками стал пожимать руку Хью, потом любовно похлопал его по спине, как будто этот грубый дикарь был милейшим из людей. — Вот он, живехонек и цел! Как я рад, что он вернулся!

— Ей-ей, ни один разумный человек никогда не встречал меня так горячо, как он, — сказал Хью, отвечая на пожатие Барнеби с какой-то свирепой нежностью, столь необычной для него. — Как поживаешь, дружище?

— Отлично! — воскликнул Барнеби, размахивая шляпой. — Ха-ха-ха! И превесело, Хью! Готов на все ради нашего святого дела, ради справедливости и нашего доброго, ласкового лорда, которого так обижают, — ведь верно, Хью?

— Как же! — отозвался Хью, выпустив руку Барнеби. Выражение его лица изменилось, и одно мгновение он молча смотрел на Гашфорда, затем сказал:

— Здравствуйте, сэр!

— Здравствуйте, — ответил секретарь, поглаживая

ногу. — Желаю здравствовать много дней, много лет... Вам, я вижу, очень жарко?

— И вам было бы жарко, хозяин, если бы вы бежали так, как я, — отвечал Хью, утирая потное лицо.

— Значит, вам уже известна новость? Я так и думал, что вы услышите ее в городе.

— Новость? Какая новость?

— Не знаете? — удивленно поднимая брови, воскликнул Гашфорд. — Да неужели? Ах, боже мой! Значит, придется-таки мне первому сообщить об оказанной вам чести. Видите — королевский герб? — Он с усмешечкой достал из кармана какую-то длинную бумагу и развернул ее перед глазами Хью.

— Ну, и что же? — сказал Хью. — Я-то тут при чем?

— Очень даже при чем. Прочтите!

— Я вам давно, еще в первый день сказал, что не умею читать, — возразил Хью сердито. — Что тут написано? Какого черта...

— Это — объявление Тайного Совета * от сегодняшнего числа, — пояснил Гашфорд.— В нем обещают пятьсот фунтов (а пятьсот фунтов — большие деньги и, значит, великое искушение для некоторых) тому, кто укажет хотя бы одного наиболее деятельного участника разгрома церквей в субботу вечером.

— И больше ничего? — сказал Хью равнодушно. — Это мне известно.

— Действительно, как я не сообразил, что вам это известно? — Гашфорд все с той же улыбкой сложил бумагу. — Наверное, ваш друг сообщил вам об этом? Ну, разумеется, он и сообщил?

— Мой друг? — с запинкой переспросил Хью, тщетно пытаясь изобразить удивление. — Какой такой друг?

— Та-та-та — что же, вы думаете, я не знаю, у кого вы сегодня были? — ответил Гашфорд, хитро прищурившись и то потирая руки, то похлопывая одной о другую. — Каким же дураком вы меня считаете! Назвать его?

— Не надо! — Хью бросил быстрый взгляд в сторону Денниса.

— Он, конечно, рассказал вам и о том, — помолчав, продолжал секретарь, — что арестованных бунтовщиков — бедняги! — будут судить. Против них имели смелость вы-

ступить очень энергичные и опасные свидетели. Между прочим, — Гашфорд сжал зубы, словно с трудом удерживая просившееся на язык резкое слово, и процедил очень медленно, — между прочим, и один католик, видевший то, что творилось на Уорвик-стрит. Его фамилия Хардейл.

Хью хотел остановить Гашфорда, но не успел. Слово было произнесено, и, услыхав его, Барнеби быстро обернулся.

— На пост, на пост, мой храбрый Барнеби! — крикнул Хью как можно суровее и решительно сунул Барнеби в руки древко со знаменем, стоявшее у стены. — Становись в караул немедленно, потому что мы уже отправляемся. Вставай, Деннис, собирайся!.. Да смотри, Барнеби, чтобы никто не трогал соломы на моей постели — ты же знаешь, что̀ лежит под нею! Ну, сэр, говорите скорее, что хотели сказать, потому что крошка-капитан со всей компанией уже ждут нас в поле. Дело не терпит! Живее!

Барнеби не мог остаться равнодушным к такой суматохе и спешке. Выражение изумления и гнева, мелькнувшее в его лице, когда он услыхал слова Гашфорда, уже исчезло, и слова эти улетучились из его памяти, как след дыхания с поверхности зеркала. Схватив знамя, сунутое ему Хью, он гордо занял свой пост снаружи, откуда уже не мог слышать разговора в сарае.

— Вы чуть не испортили нам все дело, сэр, — сказал Хью. — От вас я этого не ожидал!

— Да кто же мог думать, что он так сообразителен! — оправдывался Гашфорд.

— Иногда у него башка работает еще быстрее, чем руки, не хуже, чем у нас с вами, — сказал Хью. — Ну, Деннис, пора, они нас ждут, и я пришел за тобой. Подай-ка мою палку и ремень... Вот так... Помогите, пожалуйста, сэр, перекиньте эту штуку мне через плечо и застегните ее сзади!

— Легок на подъем, как всегда! — сказал секретарь, исполняя его просьбу.

— Сейчас иначе нельзя, дело не терпит.

— Разве? — бросил Гашфорд с таким раздражающе-невинным видом, что Хью смерил его через плечо злым взглядом и сказал:

— А вы будто не знаете? Вы лучше всех знаете, что первым делом надо проучить хорошенько этих свидетелей и так припугнуть всех остальных, чтобы у них пропала охота доносить на нас или на кого другого из нашего Союза.

— Есть у нас с вами один общий знакомый, который знает это не хуже нас, — заметил Гашфорд с многозначительной улыбкой.

— Если вы имеете в виду того же, кого и я, — вполголоса отозвался Хью, — так скажу вам, он обо всем узнает так быстро, как будто он... — тут Хью замолчал и оглянулся, словно желая убедиться, что этот человек его не услышит, — как будто он — сам сатана... Ну, застегнули, сэр? Как вы копаетесь!

— Готово, теперь не расстегнется, — промолвил Гашфорд, вставая. — А как вам кажется, ваш друг одобряет сегодняшнюю небольшую экспедицию? Ха-ха-ха! Очень удачно, что она совпала с вашим решением проучить доносчиков, так как она непременно должна состояться... Отправляетесь, значит?

— Отправляемся, сэр. Хотите сказать нам еще что-нибудь на прощанье?

— Ах, боже мой, ничего, — ответил Гашфорд медовым голосом. — Ровно ничего.

— Наверное? — Хью подтолкнул локтем ухмылявшегося Денниса.

— Так-таки ничего, а, мистер Гашфорд? — хихикая, спросил и палач.

Гашфорд помедлил с минуту (осторожность боролась в нем со злобой), затем стал между ними и, положив одну руку на плечо Хью, а другую — Деннису, сдавленным шепотом сказал:

— Не забывайте, друзья, нашего разговора об этом человеке той ночью у вас дома, Деннис. Впрочем, я уверен, что не забудете. Никакой пощады, никакого милосердия — не оставьте там камня на камне. Знаете поговорку: огонь — хороший слуга, но плохой хозяин. Так пусть же в его доме огонь станет хозяином, — так ему и надо! Я уверен, что вы будете действовать решительно. Помните, он жаждет вашей гибели и гибели ваших храбрых товарищей. Докажите сегодня, что вы — верные и

стойкие члены нашего Союза. Докажете, Деннис? И вы, Хью?

Оба посмотрели на него, переглянулись, затем с громким смехом взмахнули своими дубинами, пожали руку секретарю и выбежали из сарая.

Выждав несколько минут, пошел за ними следом и Гашфорд. Хью и Деннис были еще видны, они спешили к соседнему пустырю, где уже собрались их товарищи. Хью на бегу оглянулся и помахал шапкой Барнеби, а тот, гордый его доверием, ответил тем же и снова принялся шагать взад и вперед перед дверью конюшни, где уже успел протоптать тропинку. Когда Гашфорд тоже отошел далеко, он, в последний раз оглянувшись, видел, как все тем же мерным шагом ходит взад и вперед этот вернейший из часовых, когда-либо стоявших на посту, счастливый, преисполненный благородным сознанием долга и решимостью оборонять вверенный ему пост до последней минуты.

Посмеиваясь над наивностью бедного идиота, Гашфорд пошел на Уэлбек-стрит не тем путем, которым, как он знал, пойдут бунтовщики. В доме лорда Джорджа, сидя за занавеской у окна верхнего этажа, он с нетерпением стал ждать их. Долго их не было и, хотя секретарь помнил, что по уговору они должны пройти именно этой улицей, он уже начал подозревать, что они переменили маршрут или случилось что-нибудь неожиданное. Наконец издали донесся шум голосов, и затем густая толпа, толкаясь и шумя, понеслась мимо дома.

Как скоро заметил Гашфорд, вся масса бунтовщиков разбилась на четыре отряда, и каждый отряд останавливался перед домом лорда Джорджа, затем после троекратного «ура» шел дальше, а вожаки громко выкрикивали, куда они идут, и приглашали зрителей идти с ними. Первый отряд, несший вместо знамен какие-то трофеи, награбленные во время погрома в Мурфилдсе, объявил, что идет в Челси, а оттуда вернется в том же порядке и где-нибудь здесь, вблизи, разведет большой костер из своей добычи. Второй доложил, что отправляется в Уоппинг разрушать католическую церковь. Третий — что их маршрут Ист-Смитфилд *, а цель — такая же, как у второго.

И все это происходило среди бела дня — да, в солнечный летний день. Нарядные экипажи и портшезы оста-

навливались и пропускали толпу громил или поворачивали обратно, чтобы избежать встречи с ними. Пешеходы жались к стенам, а иные стучались в соседние двери, просили пустить их в дом и позволить постоять у окна или в прихожей, пока пройдут мятежники. Никто не мешал движению последних, и, когда толпа скрылась из виду, на улице все пошло обычным порядком.

Где-то позади оставался еще четвертый отряд, а его-то и поджидал секретарь с жадным нетерпением. Наконец появилась и эта группа, весьма многочисленная и состоявшая из отборных людей. Разглядывая сверху поднятые к нему лица, Гашфорд узнал много знакомых и среди них — Саймона Тэппертита, Хью, Денниса, которые всегда были впереди. Отряд остановился, как и предыдущие, прокричал «ура», но когда двинулись дальше, не объявил, куда и зачем идет. Хью только помахал шляпой, надетой на палку, и, бросив взгляд одному из зрителей на противоположном тротуаре, пошел дальше.

Гашфорд инстинктивно посмотрел туда же, куда и Хью, и увидел сэра Джона Честера с синей кокардой на шляпе. Чтобы задобрить чернь, этот джентльмен приподнял шляпу и, грациозно опершись на трость, мило улыбался, выставляя напоказ свой наряд и себя самого. Он сохранял невозмутимое спокойствие, но, при всей своей ловкости и хитрости, на миг невольно выдал себя: от Гашфорда не укрылся покровительственный взгляд, который он бросил Хью. И с этой минуты секретарь уже не замечал толпы — глаза его не отрывались от сэра Джона.

Тот стоял на одном месте, не меняя позы, пока последний из бунтовщиков не скрылся за углом. А тогда сэр Джон преспокойно отколол кокарду со шляпы, бережно спрятал ее в карман — до следующего раза, угостился понюшкой табаку, закрыл табакерку и не спеша двинулся дальше. В эту минуту проезжавший мимо экипаж остановился, и женская рука опустила стекло. Сэр Джон мигом снова снял шляпу, подошел. После минутного разговора, во время которого он, видимо, с большим юмором описывал то, что произошло, он легко вскочил в карету, и она укатила.

Секретарь наблюдал все это с усмешкой, но другие мысли занимали его и скоро вытеснили из его памяти

сэра Джона. Ему подали обед, но он не дотронулся до него и велел все унести. Он беспокойно шагал из угла в угол, то и дело поглядывая на часы, пытался читать, или уснуть, или смотреть в окно — и не мог. Так прошли четыре томительных часа. Когда стрелки на циферблате показали ему, как много прошло времени, он прокрался по лестнице на самый верх и, выйдя на крышу, сел там, лицом к востоку.

Он не ощущал прохладного ветра, овевавшего его разгоряченный лоб, не видел веселых лугов, к которым повернулся спиной, ни леса крыш и дымовых труб перед глазами, ни даже дыма и поднимавшегося тумана, сквозь который взор его тщетно пытался проникнуть. Он не слышал звонких криков игравших внизу детей и отдаленного шума городских улиц, не замечал свежего дыхания полей, которое, долетая до города, умирало здесь. Он все смотрел и смотрел куда-то вдаль, пока не стемнело. Внизу на улицах замерцали огоньки. Чем больше сгущался вечерний мрак, тем напряженнее вглядывался в него секретарь, тем больше разбирало его нетерпение.

— А в той стороне все так же темно! — бормотал он, как в лихорадке. — Негодяй! Где же обещанное тобой зарево?

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Между тем слухи о начавшихся в Лондоне беспорядках довольно широко распространились по окрестным деревням и городкам. Весть эту повсюду встречали с тем страстным интересом ко всяким ужасам и жаждой необычайного, которые свойственны роду человеческому, должно быть, от сотворения мира. Однако эти события казались людям в те дни (как казались бы и нам, если бы мы не знали, что они — исторический факт) чудовищно-невероятными, и очень многие жители дальних селений, в других случаях довольно легковерные, никак не хотели верить, что такие вещи возможны, отмахивались от приходивших отовсюду вестей, как от нелепых басен.

Мистер Уиллет — вероятно, не столько потому, что он, поразмыслив, пришел к определенному выводу, сколько попросту из присущего ему упрямства, — был в числе тех, кто решительно отказывался даже обсуждать этот животрепещущий вопрос. В тот самый вечер, а может, даже в тот самый час, когда Гашфорд в одиночестве высматривал что-то с крыши, Джон Уиллет спорил со своими тремя друзьями и собутыльниками, при этом он усиленно мотал головой и в результате этих упражнений был так красен, что являл собой настоящее чудо и освещал крыльцо своей гостиницы, где все они сидели, как громадный сказочный карбункул.

— Уж не думаете ли вы, сэр, — сказал мистер Уиллет, сурово глядя на Соломона Дэйзи (ибо он имел привычку во время пререканий атаковать самого смирного из всей компании), — что я — круглый дурак?

— Что вы, Джонни, бог с вами! — запротестовал Соломон, обводя взглядом кружок друзей. — Этого мы никак не думаем. Вы не дурак, Джонни, нет, нет!

Мистер Кобб и мистер Паркс дружно закачали головами и пробормотали:

— Нет, нет, Джонни, про вас этого не скажешь!

Но такого рода комплименты всегда только раззадоривали мистера Уиллета; он окинул собеседников взглядом, полным неописуемого презрения, и сказал:

— Так чего же вы приходите и заявляете мне, что сегодня вечером отправитесь в Лондон все трое, чтобы своими глазами все увидеть и составить себе собственное мнение? Разве, — тут мистер Уиллет с видом глубокого возмущения сунул в рот трубку, — разве *моего* мнения вам недостаточно?

— Но мы еще не слышали его, Джонни, — смиренно пробовал оправдаться Паркс.

— Не слышали, сэр? — повторил мистер Уиллет, меряя его взглядом с ног до головы. — Не слышали? Нет, сэр, слышали! Разве я не говорил вам, что его величество, всемилостивейший король Георг Третий, не потерпит никакого бунта и безобразий на улицах своей столицы *, так же как не допустит, чтобы его собственный парламент задирал перед ним нос?

— Да, Джонни, но это же только ваши соображения, утверждать этого вы не можете, — возразил неугомонный Паркс.

— Почем вы знаете? — с важностью возразил Джон. — Вы просто упрямый спорщик, сэр, и слишком много себе позволяете. Как вы можете знать, что это только соображения? Не помню, чтобы я когда-нибудь говорил вам это, сэр!

Мистер Паркс, видя, что он забрел в дебри метафизики, из которых не знал, как выбраться, пролепетал что-то вроде извинения и больше не вступал в спор. Наступило молчание, длившееся минут десять или пятнадцать, затем мистер Уиллет вдруг так и покатился со смеху и, немного успокоившись, заметил, кивая на своего недавнего противника:

— А я, кажется, недурно его отделал!

Мистер Кобб и мистер Дейзи тоже засмеялись и утвердительно закивали. Паркс таким образом был признан разбитым наголову.

— Как вы думаете, будь все это верно, разве мистер Хардейл уехал бы на такое долгое время? — снова заговорил Джон, помолчав. — Неужели он не побоялся бы оставить дом на двух девушек и нескольких слуг?

— Э, что там, — отозвался Соломон Дэйзи. — От Лондона до его дома — путь немалый, а эти бунтовщики — так все говорят — не отходят от города дальше, чем на две, самое большее — три мили. И знаете, некоторые богатые католики даже отослали сюда для сохранности все, что поценнее. Такие по крайней мере ходят слухи.

— «Ходят слухи!» — сердито передразнил его мистер Уиллет. — Мало ли что! Ходят слухи и о том, что вам, сэр, в марте месяце являлось привидение. Да никто в это не верит.

— Ну, ладно, — сказал Соломон, вставая, чтобы отвлечь внимание двух приятелей, которые захихикали после ответа Джона. — Верят мне или нет, а это — правда. И как бы то ни было, если идти в Лондон, то идти надо сейчас же. Значит, до свиданья, Джонни. Вашу руку!

— Я не подам руки человеку, который идет в Лондон ради такой глупости! — объявил мистер Уиллет, пряча руки в карманы.

Трем приятелям пришлось ограничиться тем, что они пожали ему локти. Проделав эту церемонию и забрав из прихожей свои шляпы, палки и плащи, они еще раз простились с Джоном и ушли, обещав завтра сообщить ему подробные и самые достоверные сведения о положении в Лондоне и, если окажется, что там все спокойно, признать, что он был вполне прав.

Джон некоторое время следил, как они брели по дороге в ярком свете летнего заката, и, выколачивая золу из трубки, смеялся про себя над их глупостью. Он хохотал так, что у него даже в боках закололо, а нахохотавшись до изнеможения (на что понадобилось времени немало, так как он смеялся так же медленно, как размышлял и говорил), уселся поудобнее, спиной к дому, вытянув ноги на скамью, прикрыл лицо фартуком и крепко уснул.

Не скажу вам, сколько времени он спал, но проснулся он не скоро, когда закат уже погас, мрачные тени ночи быстро окутывали все вокруг, а на небе мерцали яркие звезды. Куры все убрались на свои насесты, маргаритки на лужайке сомкнули нежные венчики, жимолость, обвивавшая крыльцо, благоухала вдвое сильнее, словно в этот тихий час она утратила стыдливость и страстно отдавала ночи всю сладость своего аромата, а темная зелень плюща едва-едва колыхалась. Как безмятежно спокоен и прекрасен был этот летний вечер!

Но разве тишину его не нарушало ничто, кроме легкого шелеста ветвей и веселого стрекотания кузнечиков? Чу! В воздухе задрожали какие-то очень слабые и отдаленные звуки, немного напоминавшие жужжание в морской раковине. Они становились то громче, то тише, то совсем замирали. Вот донеслись явственно, потом утихли, потом опять наполнили воздух, то усиливаясь, то слабея, — и, наконец, перешли в какой-то гул и рев: звуки эти доносились с дороги и менялись в зависимости от ее поворотов. Внезапно стали совершенно отчетливо слышны голоса и топот ног множества людей.

Вряд ли даже тут до сознания старого Джона дошло бы, что это идут мятежники, если бы не крики его служанки и поварихи. Женщины бросились по лестнице на чердак и заперлись там, испуская все время пронзитель-

ные вопли — вероятно, они надеялись таким способом сделать свое убежище потайным и совершенно безопасным. Впоследствии они клятвенно уверяли, что мистер Уиллет в смятении произнес только одно слово, прокричал его им наверх громовым голосом шесть раз подряд. Но слово это, безобидное, когда относится к некиим четвероногим, которых так называют, совершенно недопустимо в обращении к женщинам безупречного поведения — и потому многие склонны были думать, что служанка и повариха просто ослышались, что они от сильного страха стали жертвами галлюцинации слуха.

Как бы то ни было, Джон Уиллет, которому крайняя степень тупого удивления и растерянности заменила мужество, остался стоять на крыльце в ожидании бунтовщиков. На миг ему смутно припомнилось, что у дома ведь есть дверь, а у двери — замок и засовы. Тут же осенила его неясная мысль о ставнях на окнах нижнего этажа. Но он не шелохнулся, стоял, как пень, и смотрел на дорогу, откуда быстро приближался шум. Он даже не вынул рук из карманов.

Ждать пришлось недолго. Скоро на дороге показалась какая-то темная масса в облаке пыли. Бунтовщики, ускорив шаг, в беспорядке кинулись к дому с гиканьем и дикими криками. Еще минута — и Джон, как мячик, перелетая из рук в руки, очутился в самой гуще толпы.

— Эй! — крикнул хорошо знакомый ему голос, и обладатель этого голоса стал проталкиваться вперед. — Где он? Давайте его сюда, не трогайте его! Ну, как дела, Джонни? Ха-ха-ха!

Мистер Уиллет поднял глаза, узнал Хью, но ничего не сказал, да и никакая мысль не шевельнулась у него в мозгу.

— Ребята хотят пить! — крикнул Хью, толкая Джона к дому. — Живее, старикашка, шевелись! Подай нам самого лучшего вина, самого крепкого, того, что ты бережешь для себя!

В ответ Джон слабым голосом пролепетал:

— А кто будет платить?

— Слышите, он спрашивает, кто будет платить! —

Хью оглушительно захохотал, и толпа громко вторила ему. Затем он обернулся к Джону: — Кто будет платить? Да никто.

Перед широко открытыми глазами Джона мелькало множество лиц — смеющиеся, свирепые, освещенные огнем факелов, видные смутно или совсем расплывающиеся во мраке. Одни глядели на него, другие — на его дом, иные — друг на друга. Сам не зная как, думая, что он все еще стоит на месте и смотрит на них, он очутился у себя за стойкой. Сидел в кресле и смотрел, как они разоряли его дом, уничтожали его имущество. Казалось, перед ним разыгрывалась какая-то игра или представление, ошеломляюще странное, но ничуть его не касавшееся.

Да. Вот он, буфет, его буфет, куда самый дерзкий смельчак никогда не входил без особого приглашения; это святилище, таинственное, всеми чтимое, было теперь битком набито людьми с дубинами, палками, факелами, пистолетами; здесь стоял страшный шум, можно было оглохнуть от ругательств, выкриков, хохота и свиста, комната внезапно превратилась в какой-то зверинец или сумасшедший дом, в настоящий ад. Люди лезли и выскакивали не только через дверь, но и в окна, разбивая стекла. Отвернув все краны, они пили вино и пиво из фарфоровых чаш для пунша, сидели верхом на бочках, курили из его собственных, заветных трубок, ломали священную лимонную рощу, кромсали его знаменитый сыр, взламывали неприкосновенные ящики и набивали карманы чужим добром, у него на глазах делили его деньги, бессмысленно разрушали, ломали, рвали и портили все, что попадалось под руку. Для них не было ничего святого. Везде толпились люди — наверху, внизу, в спальнях, на кухне, во дворе, в конюшнях. Лезли в окна, хотя двери были открыты настежь, прыгали вниз из окон, хотя к их услугам были лестницы, скакали через перила в коридоры... Каждый миг появлялись все новые фигуры, орали, пели, дрались, били стаканы и кружки, все что не допьют, выливали на пол, дергали звонки до тех пор, пока не срывали их, или разбивали их кочергами. И все новые и новые люди, как муравьи, кишели повсюду... Шум, табачный дым, то свет, то тьма, разнузданное веселье, ярость, хохот, стоны, грабеж, ужас и разгром!..

Почти все время подле Джона, ошеломленно созерцавшего эту картину, стоял Хью. И, хотя он был самым наглым, буйным и безжалостным из громил, он за эти часы сто раз спасал жизнь своему бывшему хозяину. Даже когда захмелевший мистер Тэппертит, чтобы показать свою власть, мимоходом любезно пнул Джона Уиллета ногой в ляжку, Хью предложил Джону отплатить «капитану» такой же любезностью. И если бы старый Джон был в состоянии понять то, что ему нашептывал Хью, и воспользовался бы его советом, он под таким покровительством мог был проделать это безнаказанно.

Наконец громилы стали опять собираться перед домом и скликать тех, кто еще хозяйничал внутри, крича, что они и так потеряли много времени. Когда ропот усилился и перешел в рев, Хью и кое-кто из пировавших в буфете — это явно были вожаки — стали совещаться, что делать с Джоном, как заставить его молчать, пока они не управятся со своим делом в Чигуэлле. Одни предлагали запереть его в доме и дом поджечь, другие — стукнуть его по черепу так, чтобы ему на время память отшибло, третьи — взять с него клятву, что он не встанет с места до завтрашнего вечера, а некоторые советовали заткнуть ему рот кляпом и вести с собой под надежным конвоем. Но все эти предложения были отвергнуты и в конце концов Джона решили связать и привязать к стулу. Для этой операции призвали Денниса.

— Вот что, Джонни, — сказал Хью, подходя к мистеру Уиллету. — Мы тебе ничего худого не сделаем, только свяжем по рукам и ногам. Да ты слышишь или нет?

Джон Уиллет посмотрел не на Хью, а на другого человека, как будто не понимал, кто именно говорит с ним, и пробормотал что-то невнятное — кажется, о дежурном блюде, которое всегда подается по воскресеньям в два часа.

— Тебя не тронут. Слышишь, что я говорю? — рявкнул Хью, для большей убедительности дав Джону основательного тумака в спину. — Эге, да он не в себе — видно, перепугался насмерть. Дайте-ка ему хлебнуть чего-нибудь!

Кто-то принес стакан вина, и Хью вылил его в рот Джону. Выпив, мистер Уиллет слегка причмокнул губами и, сунув руку в карман, спросил: «Сколько с меня?», а затем, водя вокруг бессмысленным взглядом, заметил, что здесь, кажется, разбиты стекла...

— По-моему, у него в голове помутилось, — сказал Хью и встряхнул Джона с такой силой, что у того в кармане забренчали ключи, но на Джона и это не подействовало. — Да куда же запропастился Деннис?

Опять стали звать Денниса, и, наконец, он прибежал, опоясанный длинной веревкой, как какой-нибудь монах, и с ним целая свита — полдюжины телохранителей.

— Живее шевелись! — крикнул Хью и нетерпеливо топнул ногой. — За дело!

Деннис только подмигнул ему в ответ и, размотав с себя веревку, поднял глаза к потолку, внимательно обозрел его, затем стены, карнизы — и покачал головой.

— Ну, что же? Долго ты будешь копаться? — заорал на него Хью, снова сердито топнув ногой. — Или мы по твоей милости будем торчать здесь до тех пор, пока не поднимется тревога на десять миль вокруг и нам помешают сделать что надо?

— Тебе хорошо говорить, братец, — возразил Деннис, подходя ближе, — но в этой комнате некуда его приткнуть, — он заговорил шепотом. — Разве что над дверью?

— Что приткнуть? — спросил Хью.

— Как что? Старика.

— Так ты вешать его собрался? — воскликнул Хью.

— Ну, да, — отвечал палач, с недоумением воззрившись на него. — А то как же?

Хью без дальнейших объяснений вырвал веревку из рук Денниса и сам принялся вязать Джона, но действовал так неловко и неумело, что мистер Деннис чуть не со слезами взмолился, чтобы он предоставил это дело ему, и, сменив Хью, вмиг управился.

— Готово! — сказал он, мрачно осматривая Джона, который и после того, как его связали, оставался в таком же отупении, как и раньше. — Вот это мастерски сделано. На такую чистую работу и смотреть любо! Иди-ка сюда, Хью, на два слова! Теперь, когда он стреножен, не лучше ли будет для всех, если его обработать? Подумай, какой

трезвон поднимут газеты! И насколько это придаст нам весу!

Хью догадался, чего хочет его товарищ, скорее по его жестам, чем по профессиональным терминам, которых он не знал, так же как не знал и о ремесле Денниса. Он вторично отверг предложение палача и отдал команду «Вперед!», подхваченную сотней голосов на улице.

— В Уоррен! — гаркнул Деннис и выбежал из дома, а за ним остальные. — Там живет доносчик, ребята!

Ему ответил яростный вой, и толпа помчалась дальше в исступленной жажде грабить и разрушать. Хью на минуту задержался, чтобы для подкрепления еще хлебнуть на дорогу и открыть краны нескольких случайно уцелевших бочек. Затем, окинув взглядом опустошенную, разгромленную комнату с разбитым окном, в которое громилы просунули срубленное «майское древо» (даже его не пощадили), Хью хлопнул по спине безмолвного и неподвижного Джона Уиллета и, размахивая над головой зажженным факелом, с диким криком помчался вслед за товарищами.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Оставшись один в своем разоренном доме, Джон Уиллет сидел и водил изумленными глазами вокруг. Только глаза его и бодрствовали, а все мыслительные способности погружены были в глубокий сон без сновидений. Он оглядывал комнату, которая в продолжение многих лет — и еще час назад — была его гордостью, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Сквозь зловеще зиявшие пробоины со двора смотрела холодная черная ночь, драгоценная жидкость из почти опустевших бочонков с глухим плеском капала на пол, в разбитом окне сиротливо торчало «майское древо», похожее на бугшприт затонувшего корабля. Да и пол мог сойти за дно морское — так густо он был усеян обломками. Сквозной ветер врывался в полуоткрытые двери, скрипевшие на петлях, свечи мигали и, оплывая, словно одевались в длинные белые саваны. Веселые сочно-красные занавески развевались и хлопали

па ветру. Даже солидные голландские бочонки, лежавшие опрокинутыми и пустыми в темных углах, казались лишь бренной оболочкой тех славных весельчаков, что больше не будут радовать и воспламенять людей. Джон смотрел на все это печальное запустение — и не видел его. Казалось, он был вполне спокоен и доволен тем, что сидит здесь, не испытывал ни гнева, ни неудобства, как будто на нем были не веревки, стягивавшие тело, а парадная мантия. Глядя на него, можно было вообразить, что жизнь остановилась, и старик Время спит крепким сном.

В доме стояла глубокая тишина — лишь капли с плеском падали на пол, ветер шуршал всяким мусором на полу, да глухо скрипели раскрытые двери, но эти звуки, как потрескивание жука-точильщика среди ночи, только делали тишину заметнее.

Джону было все равно, тишина вокруг него или шум. Если бы вдруг батарея тяжелой артиллерии начала пальбу под окном — его бы это не тронуло. Ничто не могло больше поразить его. Даже появление призрака не вывело бы его из оцепенения.

Прошло немного времени, и он услышал шаги, торопливые, но осторожные, крадущиеся. Они приближались к дому... на миг затихли, потом послышались еще ближе. Кто-то, казалось, обходил дом вокруг. Вот шаги замерли, пришедший остановился под окном — и в окне показалась голова.

На фоне царившего снаружи мрака резко выделялось озаренное огоньками догоравших свечей бледное, изможденное лицо. На этом худом лице глаза казались неестественно большими и блестящими. Волосы были черные, с сильной проседью.

Испытующе оглядев комнату, человек спросил низким и глухим голосом:

— Вы здесь в доме один?

Джон не шевельнулся и после того, как вопрос был задан вторично, хотя он отлично слышал его. Подождав минуту, незнакомец влез в окно. Джон и тут ничуть не удивился. За последний час столько людей влезали и вылезали в это окно, что он совсем забыл о существовании дверей, и ему уже казалось, что он всю жизнь знал только такой способ входить в дома.

Незнакомец в широком и темном потертом плаще и шляпе с опущенными полями подошел к Джону вплотную и заглянул ему в лицо. Джон ответил ему тем же.

— И давно вы так сидите? — спросил пришелец.

Джон попробовал сообразить, но ничего из этого не вышло.

— В какую сторону они пошли?

Неизвестно почему, сапоги незнакомца пробудили в мозгу мистера Уиллета какие-то смутные мысли насчет их фасона, но эти мысли мелькнули и рассеялись, оставив его в прежнем состоянии.

— Вы бы лучше отвечали, если вам шкура дорога! — сказал незнакомец. — Ведь, кроме нее, у вас, я вижу, ничего целого не осталось. Я вас спрашиваю: в какую сторону пошли эти люди?

— Туда, — сказал Джон, неожиданно обретя дар речи, и уверенно кивнул головой (указать рукой он не мог, так как был крепко связан) в сторону, противоположную той, куда направилась толпа.

— Врете! — сердито отрезал незнакомец и угрожающе занес руку. — Оттуда *я* пришел. Вы хотите меня обмануть?

Поняв, однако, что тупое равнодушие Джона непритворно и что оно — результат пережитого потрясения, незнакомец опустил занесенную для удара руку и отвернулся.

Джон следил за ним все с тем же спокойствием, — ничто не шевельнулось в его лице. Незнакомец нашел стакан и, подержав его под краном бочонка, пока не удалось нацедить несколько капель, жадно выпил вино, затем с раздражением швырнул стакан на пол, обхватил бочонок руками и, наклонив его, вылил себе прямо в рот все, что там еще оставалось. Потом, собрав разбросанные повсюду остатки хлеба и мяса, с жадностью накинулся на еду, по временам переставая жевать и прислушиваясь, когда ему чудился какой-нибудь звук снаружи. С дикой поспешностью утолив голод и приложившись ко второму бочонку, он надвинул шляпу на глаза, собираясь, видимо, уходить, и обратился к Джону:

— А где же ваши слуги?

Мистер Уиллет смутно вспомнил, как громилы кричали женщинам, чтобы они бросили вниз из окна ключ от ман-

сарды, где заперлись, и тогда их не тронут. Поэтому он ответил:

— Их заперли.

— Пусть держат язык за зубами, иначе им плохо придется, — сказал незнакомец. — Да и вам советую то же. Ну-ка, покажите теперь, в какую сторону те ушли.

На этот раз мистер Уиллет указал дорогу правильно. Незнакомец шагнул к двери, как вдруг ветер донес до них громкий, частый звон набатного колокола, и в небе вспыхнуло яркое зарево, разом осветившее не только дом, но и все окрестности.

Не внезапный переход от мрака к этому зловещему свету и не донесшийся издалека торжествующий рев и крики, грубо ворвавшиеся в мирную тишину ночи, заставили незнакомца отпрянуть от двери так стремительно, будто в него ударила молния. Испугал его звон колокола. Если бы самое жуткое видение, какое только способна создать фантазия человека в бредовых снах, встало сейчас перед ним, оно не привело бы его в такой ужас, как первый звук этого громкого железного голоса. Глаза у незнакомца полезли из орбит, он весь судорожно трясся, лицо его было страшно. Высоко подняв одну руку, а другой отмахиваясь от чего-то, видимого ему одному, он сделал движение, словно вонзал нож кому-то в грудь. Потом схватился за голову, заткнул уши и заметался по комнате, как безумный. Наконец он с диким воплем выскочил за дверь и бросился бежать. А колокол все звонил, словно гнался за ним, звонил все громче и громче, все настойчивее, ожесточеннее. Зарево пылало все ярче, гул голосов усиливался. Воздух дрожал от грохота, как будто рушились тяжелые строения, огненные столбы искр взлетали к небу, но всего оглушительнее, в миллион раз ужаснее и грознее, летя к небу быстрее искр и после долгих лет молчания вещая страшную тайну, погребенную вместе с мертвецом, раздавался звон колокола. *Того самого* колокола!

Какая погоня призраков за человеком могла быть так ужасна, как *это* преследование? Да если бы целый легион их гнался за незнакомцем по пятам, ему было бы не так страшно! Та погоня имела бы начало и конец, а от этой никуда нельзя было спастись! Преследовавший его

голос наполнял все пространство вокруг: он исходил из земли, из воздуха, качал высокую траву и гудел меж дрожавших деревьев. Эхо подхватывало его, филины гукали, когда он на крыльях ветра несся мимо, а соловей смолк и забился в гущу ветвей. Этот голос, казалось, раздувал и подхлестывал бушующее пламя, доводя его до неистовой ярости. Огонь был повсюду, все окрасилось в красный цвет, природа словно окунулась в кровь. А страшный, неумолимый голос все гнался за ним. Колокол, тот самый колокол!

Набатный звон утих, но все еще стоял в его ушах. Этот погребальный звон проникал ему прямо в сердце. Ничто, созданное рукой человеческой, не могло звучать так, как этот колокол, словно предупреждавший, что он никогда не перестанет вопиять к небесам. Кто бы, слыша этот голос, не понял, о чем он твердит? Каждый звук его вещал об убийстве, жестоком, зверском убийстве доверчивого человека тем, кому этот человек безгранично доверял. Этот звон вызывал мертвецов из могил. Чье это лицо, на котором дружеская улыбка вдруг сменяется выражением сомнения, потом ужаса, потом застывшей муки? Последний молящий взгляд обращен к небу, — и вот убитый медленно валится на пол. О, эти закатившиеся глаза, как у мертвых оленей, которых он в детстве так часто разглядывал, дрожа от страха и цепляясь за материнский фартук. Зачем в такую минуту всплыло это жуткое воспоминание!

Он падает на землю и, прижимаясь к ней так, словно хотел бы уйти в нее, спрятаться в ней, закрывает руками глаза и уши. Но тщетно, тщетно! Сто медных стен и крыш не могли бы заглушить звон этого колокола — ведь то гневный божий глас, а от него не скроешься, не найдешь убежища во всей вселенной!

В то время как этот человек метался во все стороны, не зная, куда деваться, или лежал, скорчившись на земле, бунтовщики действовали вовсю. Уходя из «Майского Древа», они слились в один отряд и быстрым шагом двинулись в Уоррен. Весть об их приближении опередила их, и они нашли садовые ворота крепко запертыми. Окна были закрыты ставнями, весь дом погружен в темноту, — нигде ни одного огонька. Сколько они ни звонили и ни

стучали в железные ворота, никто не отозвался, — и, наконец, бунтовщики отошли на несколько шагов, чтобы произвести рекогносцировку и решить, как действовать дальше.

Долго совещаться не пришлось — пьяная, возбужденная успехом, озверевшая толпа жаждала деятельности. И как только была отдана команда окружить дом, одни полезли на ворота, другие спустились в узкий ров и оттуда карабкались на окружавшую сад стену, третьи ломали крепкую железную решетку и, пробивая себе путь, запасались при этом новым смертоносным оружием — ее железными прутьями. Когда дом был окружен, послали несколько человек взломать дверь сарая с садовыми инструментами, а тем временем остальные яростно барабанили во все двери, требуя, чтобы те, кто укрывается внутри, сошли вниз и отперли, если им жизнь дорога. Но на эти многократные призывы никто не откликнулся. Между тем посланные в сарай вернулись с мотыгами, кирками, лопатами. Вместе с теми, кто уже ранее запасся такими орудиями или вооружился топорами, кольями и ломами, они протолкались вперед, готовясь атаковать двери и окна.

У бунтовщиков было с собой не больше десятка смоляных факелов, но, когда приготовления к штурму были закончены, всем стали раздавать пучки горящей пакли на палках, которые так быстро передавались из рук в руки, что через одну минуту не менее двух третей толпы уже потрясали в воздухе пылающими головнями и с оглушительным ревом кинулись ломать двери и окна.

Под грохот тяжелых ударов, звон разбитых стекол, крики и ругань Хью и его ближайшие соратники незаметно собрались у входа в ту башню, куда он с Джоном Уиллетом приходил к мистеру Хардейлу, и объединенными усилиями принялись ломать дверь. Дверь была крепкая, дубовая, защищенная двумя надежными засовами и железным болтом, но она скоро не выдержала напора, с треском рухнула на узкую лестницу, облегчив доступ нападающим — они по ней, как по мосткам, бросились в верхние комнаты. Почти одновременно было взято с десяток других пунктов, и толпа хлынула в дом, как река, прорвавшая плотину.

В прихожей стояли на страже вооруженные слуги, и, когда громилы ворвались, они начали стрелять, однако несколько выстрелов не могли остановить налетевший сонм дьяволов, и слугам оставалось только спасаться самим: они замешались в толпу и стали выкрикивать то же, что и нападающие, надеясь, что в такой сутолоке их примут за своих. Хитрость удалась, и все слуги уцелели, кроме одного старика, который с той ночи как в воду канул. Говорили, что ему кто-то раскроил череп железным болтом (один из его товарищей видел, как он упал), и труп сгорел во время пожара.

Овладев домом, громилы рассеялись повсюду, от подвалов до чердаков, делая свое дьявольское дело. Одни разводили костры под окнами, другие ломали мебель и швыряли обломки вниз, в огонь; где пробоины в стенах и окна были достаточно широки, из них кидали в костры столы, комоды, кровати, зеркала, картины. Каждая новая порция такого «топлива» встречалась торжествующими криками, ревом, диким воем, и это делало еще ужаснее и отвратительнее картину разгрома и пожара.

У кого были топоры, те, покончив с мебелью, утоляли неистощенную ярость, рубя на куски двери, оконные рамы, полы, подсекая стропила и балки, и погребали под грудами обломков тех, кто задержался в комнатах верхнего этажа. Другие шарили по ящикам, шкафам, сундукам, взламывали письменные столы, шкатулки, ища драгоценностей, денег, серебряной посуды, третьи, одержимые страстью к разрушению более, чем алчностью, без разбору выбрасывали все добро во двор и кричали стоявшим внизу, чтобы они жгли его. Побывав в погребах, где они разбили все бочки, пьяные носились повсюду, как бешеные, и поджигали все, что попадалось под руку, иногда даже одежду на своих же товарищах. Вскоре дом запылал в стольких местах, что некоторые из поджигателей сами не успели спастись: на глазах у всех они с почерневшими от дыма лицами лежали без чувств на подоконниках, куда вскарабкались на ослабевших руках, и снизу видно было, как поглощала их огненная бездна. Чем сильнее трещало и бушевало пламя, тем больше свирепели и буйствовали люди, точно бесновавшаяся огненная стихия превращала их в дьяволов, рождая в

человеческих душах такие свойства, которым радуются в аду.

Вспыхнувший в доме пожар, заливавший красным светом комнаты и коридоры; длинные раздвоенные языки пламени, которые лизали снаружи кирпичи и камни и, поднимаясь вверх, сливались с бушевавшим над домом морем огня; освещенные им лица злодеев, которые любовались делом рук своих и подбрасывали в этот костер все, что могли; сердитый рев высоких столбов пламени, такого яркого, словно оно в своей прожорливости поглощало даже дым; летящие, как живые, хлопья, которые ветер быстро подхватывал и нес дальше, словно огненную метель; громадные бревна, бесшумно падавшие, как перышки, на груды золы и рассыпавшиеся на искры и огненную пыль; зловещее багровое небо и царивший внизу мрак, казавшийся еще чернее по контрасту с огнем; открытые наглым и бесстыдно-любопытным взорам уголки, освященные традициями дома; разрушенные грубыми руками вещи, быть может, дорогие по воспоминаниям... И не было здесь глаз, которые на это смотрели бы с сожалением, и творилось это не под шепот сочувствия, а под дикие крики торжества — по сравнению с этими людьми даже крысы, столько лет не покидавшие старый дом, имели право на сострадание и уважение тех, кто жил под его крышей! Это зрелище должно было на всю жизнь врезаться в память тому, кто был здесь только зрителем, а не действующим лицом.

А были ли здесь такие? Набатный колокол звонил долго, и, видно, его раскачивали отнюдь не слабые или нерешительные руки, — но нигде не видно было ни души. Некоторые бунтовщики рассказывали потом, что, когда звон утих, они слышали вопли женщин, видели развевающиеся в воздухе юбки, и мимо них промчались несколько мужчин с какой-то живой и сопротивлявшейся ношей. Но в шуме и толчее разве можно было сказать наверное, так это или нет?

А где же был Хью? Видел его кто-нибудь после того, как осаждающие ворвались в дом? Такие вопросы стали раздаваться в толпе. Поднялся общий крик: «Где Хью?»

— Здесь! — отозвался хриплый голос, и Хью вынырнул из темноты, запыхавшийся, черный от копоти.

— Ну, ребята, мы сделали все, что могли... Пожар догорает, и даже там, куда огонь не добрался, остались только развалины. Расходитесь-ка, пока путь свободен, да возвращайтесь в Лондон не толпой, а врассыпную, разными дорогами. Встретимся в обычном месте.

Сказав это, Хью снова куда-то исчез (это было против его обыкновения — ведь он везде появлялся первым, а уходил последним), предоставив остальным добираться домой, как хотят.

Нелегко было заставить разойтись такую орду. Если бы широко распахнулись ворота Бедлама, то и оттуда не вырвались бы на волю такие безумцы, какими сделала бунтовщиков эта ночь бешеного разгула. Здесь были люди, которые плясали на клумбах, топча ногами цветы с такой яростью, словно это были их противники, и обламывали венчики со стеблей, как дикари, сносящие головы врагам. Были и такие, что бросали свои горящие факелы в воздух, и факелы падали им же на головы, причиняя сильные и безобразные ожоги. Иные кидались к кострам и голыми руками болтали в огне, словно в воде, а некоторых приходилось удерживать силой, не то они в каком-то неутолимом бешенстве прыгнули бы в огонь. Один паренек — на вид ему не было и двадцати лет — свалился пьяный на землю, не отнимая от губ бутылки, а на голову ему потоком жидкого огня полился с крыши расплавленный свинец и растопил череп, как кусок воска. Когда перед уходом стали собирать людей, из погребов вытаскивали еще живых, но словно обожженных каленым железом, и те, кто нес их на плечах, дорогой пробовали расшевелить их непристойными шутками, а придя в город, сваливали трупы в коридорах больниц. И никому в орущей толпе все это не внушало ни сострадания, ни отвращения, ничто не могло утолить слепой, дикой, бессмысленной ярости этих людей.

Постепенно, маленькими группами расходились бунтовщики с хриплыми криками «ура!» и обычным своим боевым кличем «Долой папистов!». Последние отставшие с налитыми кровью глазами брели за ранее ушедшими, окликая друг друга. Их голоса и свист замирали вдали. Наконец и они затихли, наступила тишина.

Тишина! Яркое зарево пожара сменилось слабо мерцавшим светом, и кроткие звезды, прежде не видные, глядели с вышины на почерневшие развалины.

Над развалинами стлался густой дым, словно пытаясь скрыть их от взора господня, и ветер не смел разгонять этот дым. Голые стены, вместо крыши — открытое небо. Комнаты, где дорогой умерший провел столько светлых дней, каждое утро пробуждаясь к новой жизни и деятельности, где столько родных людей грустили и радовались, комнаты, которые укрывали столько дум, надежд, сожалений, видели столько перемен, — все погибло, ничего не осталось, только дымящаяся груда золы и пепла, унылая и жуткая картина полного разорения, тоскливое безмолвие пустыни.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Завсегдатаи «Майского Древа», которым и в голову не могло прийти, что в любимом месте их встреч скоро произойдут такие перемены, шли в Лондон лесом и боковыми тропами через поля, избегая жаркой и пыльной большой дороги. Подойдя уже близко к городу, они стали расспрашивать всех встречных о бунте, желая проверить, насколько верны слышанные ими вести. И то, что им рассказывали, далеко превосходило слухи, достигшие тихого Чигуэлла. Один путник сообщил им, что еще сегодня толпа напала на гвардейцев, которые вели обратно в Ньюгетскую тюрьму несколько мятежников, возвращавшихся с вторичного допроса; солдатам пришлось спасаться бегством. Другой рассказал, что, когда он уходил из Лондона, толпа осаждала близ Клэр-Маркет дома двух горожан, выступавших свидетелями против мятежников; от третьего они узнали, что сегодня ночью будет сожжен дом сэра Джорджа Сэвиля в Лейстер-Филдс, и самому сэру Джорджу несдобровать, если он попадет в руки мятежников, так как это он внес в парламент билль о льготах католикам. Все рассказчики сходились на том, что количество бунтовщиков растет, отряды их стали гораздо многочисленнее, что на улицах небезопасно и никто не

может ни на час быть спокоен за свой дом и свою жизнь; что тревога в городе растет и много семей уже бежали из Лондона. Один парень с кокардой столь популярного синего цвета обругал наших трех чигуэлцев за то, что шляпы у них без кокард, и посоветовал завтра вечером следить в оба за тюремными воротами, так как этим воротам плохо придется. Другой спросил, уж не огнеупорные ли у них шкуры, что они не боятся разгуливать без знака отличия всех честных протестантов. А третий, одинокий всадник, протянул свою шляпу и потребовал, чтобы они бросили в нее по шиллингу на нужды мятежников. И они побоялись отказать ему. Как ни были напуганы три друга, они решили все же, раз зашли уже так далеко, идти вперед и своими глазами увидеть, что происходит. Взволнованные необычайными новостями, они шагали быстро и почти всю дорогу молчали, размышляя обо всем услышанном.

Между тем наступил вечер, и когда они подошли к городу, то увидели печальное подтверждение вестей: три громадных пожара пылали очень близко друг от друга, и на темном небе стояло зловещее зарево. В первом же предместье наши путешественники увидели, что почти на каждом доме мелом написано на дверях крупными буквами: «Долой папистов!». Лавки были закрыты, и на лицах прохожих читались страх и тревога.

Примечая все это с ужасом (однако ни один из них не хотел признаться другим, как сильно он напуган), друзья пришли к заставе, но она оказалась закрытой. Когда они проходили по дорожке через турникет, со стороны Лондона к заставе бешеным галопом подскакал всадник и голосом, выдававшим сильное волнение, крикнул сборщику дорожной пошлины, чтобы он, ради бога, поскорее пропустил его.

Мольба его звучала так горячо и серьезно, что подействовала даже на сборщика, — он выбежал с фонарем и стал поднимать шлагбаум, но вдруг, случайно оглянувшись, воскликнул:

— Господи помилуй, что это? Еще пожар!

При этом возгласе три чигуэлца тоже обернулись и увидели в отдалении, в той стороне, откуда они пришли, широкую полосу огня, зловещим светом озарявшую об-

лака, которые пылали так ярко, как будто пожар был в небе, и напоминали багровый закат.

— Если предчувствие меня не обманывает, я знаю, где это горит, — сказал всадник. — Ну, не стой же как в столбняке, приятель, отпирай скорее!

— Сэр! — воскликнул сборщик и, пропуская его, придержал за узду его лошадь. — Я только сейчас вас узнал. Послушайтесь меня, не ездите вы туда! Я видел их, когда они шли мимо, и знаю, что это за люди. Они убьют вас!

— А хоть бы и так! — отозвался всадник. Он не смотрел на сборщика, его пристальный взгляд был устремлен на зарево.

— Помилуйте, сэр, — сборщик еще крепче ухватился за узду, — если уж хотите ехать, так приколите синюю кокарду. Вот, возьмите, — он снял ленточку со своей шляпы. — Не по своей охоте я ее ношу, нужда заставляет: каждому жизнь дорога, и я человек семейный. Наденьте ее хоть на эту ночь, сэр. На одну ночь!

— Да, да, наденьте! — воскликнули в один голос трое чигуэлцев, обступив лошадь. — Послушайтесь его, уважаемый сэр! Нацепите кокарду, мистер Хардейл.

— Кто это тут? — Мистер Хардейл наклонился, чтобы получше разглядеть говоривших. — Это, кажется, голос Дэйзи?

— Верно, сэр! — откликнулся маленький причетник.— Послушайтесь этого джентльмена, сэр! Он дело говорит. Жизнь ваша, быть может, зависит от этого.

— А вы не побоялись бы ехать туда со мной? — отрывисто спросил мистер Хардейл.

— Я? Н-нет, сэр.

— Тогда приколите кокарду вы! Если мы натолкнемся на этих разбойников, вы поклянетесь им, что я вас схватил за то, что вы ее носите. И я скажу им то же самое. Потому что — клянусь спасением моей души! — я от них пощады не приму, да и им пощады не дам, если мы сегодня встретимся. Садитесь позади, живо! Вот так. Крепче держитесь за меня и ничего не бойтесь!

Через секунду они понеслись галопом, поднимая густое облако пыли, летя вперед так, как бывает только во сне.

Хорошо, что добрый конь Хардейла знал дорогу, ибо хозяин его во время этой скачки ни разу не осмотрелся кругом: он ни на мгновение не отрывал глаз от далекого зарева, к которому они мчались, как бешеные. Только раз он сказал тихо: «Да, это *мой* дом», а затем уже не разжимал губ всю дорогу. Когда они проезжали в темных и небезопасных местах, он не забывал придерживать Дэйзи, чтобы тот не свалился с седла, но делал это, не поворачивая головы и по-прежнему не отводя глаз от огня впереди.

Путь их был довольно опасен, ибо они мчались сломя голову не проезжей дорогой, а напрямик, пустынными проселками и тропами, где колеса фургонов оставили глубокие колеи, где узкая дорога была зажата между изгородями и канавами, и высокие деревья, сплетаясь над нею ветвями, не пропускали ни луча света. Но конь нес их вперед и вперед, не останавливаясь, не спотыкаясь, пока они не очутились перед «Майским Древом» и отсюда ясно увидели, что пожар уже догорал, словно огню не было больше пищи.

— Войдем на минуту, только на одну минуту, — сказал мистер Хардейл. Он помог Дэйзи сойти, затем соскочил сам.

— Уиллет! Уиллет! Где моя племянница и мои слуги? Уиллет!

С этим отчаянным криком он вбежал в дом. Увидел хозяина, связанного и прикрученного веревками к стулу, разоренную, разграбленную комнату. Нет, здесь никто не мог укрываться!

Мистер Хардейл был сильный человек, умевший владеть собой и сдерживать свои чувства. Но, хотя он видел зарево и понял, что его дом, вероятно, разрушен до основания, стерт с лица земли, ему только в эту минуту ясно представилось, что его ждет, — и он не выдержал: закрыл лицо руками и отвернулся.

— Джонни, Джонни! — лепетал Соломон. Этот простодушный человек плакал, не скрываясь, и ломал руки. — Дорогой старый Джонни, какое горе! Подумать только, до чего мы дожили! Увидеть вашу гостиницу в таком состоянии!.. Мистер Хардейл... И старый Уоррен тоже... Ах, Джонни, как это тяжело!

Указав на мистера Хардейла, Соломон Дэйзи облокотился на спинку стула, к которому был привязан Уиллет, и громко зарыдал у друга на плече.

Пока Соломон говорил, старый Джон был нем, как вяленая треска, и только бессмысленно таращил на него глаза. Судя по всему, он совершенно не сознавал, что делается вокруг; но когда Соломон умолк, Джон устремил свои большие круглые глаза туда, куда смотрел причетник, и, должно быть, в мозгу у него забрезжила смутная догадка, что кто-то пришел его навестить.

— Вы нас узнаете, не так ли, Джонни? — сказал Соломон, ударяя себя в грудь. — Я — Дэйзи, ну, вспомните... церковь в Чигуэлле... звонарь... а по воскресеньям у алтаря... Ну, вспоминаете, Джонни?

Мистер Уиллет несколько минут размышлял, затем пробормотал без всякого выражения:

— «Тебя, бога, хвалим...»

— Вот, вот, оно самое! — торопливо подхватил Соломон. — Это я и есть, Джонни. Теперь вы пришли в себя, да? Ну, скажите же, что вы целы и невредимы!

— Цел? — протянул мистер Уиллет таким тоном, словно хотел сказать, что это его личное дело. — Невредим?

— Они не обижали вас? Не пустили в ход палки, или кочергу, или другие тупые орудия, а Джонни? — допытывался Соломон, в сильной тревоге посматривая на голову мистера Уиллета. — Не били вас?

Джон сдвинул брови, опустил глаза с таким видом, словно решал в уме какую-то арифметическую задачу, затем поднял их к потолку — казалось, решение не давалось ему, — затем оглядел Соломона с головы до пряжек на башмаках и медленно-медленно повел глазами вокруг. Вдруг из них выкатились две большие, мутные, свинцовые слезы, и, мотнув головой, Джон сказал:

— Если бы они оказали мне такую милость — убили меня, я был бы им очень благодарен...

— Полно, полно, Джонни, не говорите таких вещей! — захныкал его маленький друг. — Конечно, все это очень тяжело, но не до такой уж степени, нет, нет!

— Взгляните, сэр, — воскликнул Джон, обратив печальный взгляд на мистера Хардейла, который в это

время, опустившись на одно колено, поспешно распутывал на нем веревки. — Даже «майское древо», старое, безгласное древо смотрит на меня в окно, как будто хочет сказать: «Эх, Джон Уиллет, Джон Уиллет, пойдем-ка с тобой, брат, да нырнем в ближайший пруд, если он достаточно глубок! Потому что для нас на этом свете все кончено!».

— Перестаньте, Джонни, ради бога! — закричал Соломон, потрясенный мрачным направлением мыслей мистера Уиллета и замогильным голосом, каким он говорил о «майском древе». — Будет вам!

— На вас свалилась большая беда, и потери ваши велики, — сказал и мистер Хардейл, нетерпеливо поглядывая на дверь. — Но я сейчас не в состоянии вас утешать, да и не время. Раньше, чем я уйду, скажите мне одно, и постарайтесь отвечать ясно, умоляю вас! Видели вы Эмму? Знаете что-нибудь о ней?

— Нет, — отвечал мистер Уиллет.

— Никто здесь не был, кроме этих собак?

— Никто.

— Может, они с божьей помощью успели уехать до всех этих ужасов, — сказал мистер Хардейл. Волнение и нетерпеливое желание поскорее очутиться в седле мешали ему спокойно распутывать искусно завязанные узлы, и он не успел еще развязать ни одного. — Дайте нож, Дэйзи!

— А не видели вы, джентльмены, — произнес вдруг Джон, осматриваясь с видом человека, потерявшего носовой платок или другую мелочь. — Не видел кто из вас тут гроба?

— Уиллет! — ахнул мистер Хардейл. А Соломон уронил нож, и все его тело сразу обмякло. Он мог только пролепетать: «Господи!»

— Я потому это спрашиваю, — продолжал Джон, ни на кого не глядя, — что недавно сюда заходил покойник и ушел в ту сторону. Если он принес с собой свой гроб и оставил его тут, я могу сказать вам, *чье* имя написано на дощечке. Ну, а если гроба нет, — значит, не о чем и толковать.

Мистер Хардейл слушал его, притаив дыхание, и не успел Джон договорить, как он вскочил на ноги и молча потащил Соломона Дэйзи к двери. Мигом взлетел он в седло, посадил за собой Соломона и стрелой помчался

туда, где еще сегодня днем солнце освещало великолепный дом, а сейчас на его месте осталась лишь груда развалин. Мистер Уиллет поглядел им вслед, прислушался, осмотрел свои руки и ноги... Убедившись, что он все еще не развязан, он не проявил ни огорчения, ни гнева, ни удивления и впал в прежнее состояние, из которого вышел так ненадолго.

Доскакав, мистер Хардейл привязал лошадь к дереву, схватил своего спутника за руку и крадучись двинулся вместе с ним по дорожке туда, где прежде был сад. Он только на секунду остановился, посмотрел на еще дымившиеся стены, потом на звезды, светившие сквозь разрушенные потолки и полы, на кучи золы и обломков. Соломон робко заглянул ему в лицо, но губы мистера Хардейла были плотно сжаты, черты выражали суровую решимость; ни одной слезой, ни взглядом, ни жестом не выдал он своего отчаяния.

Он обнажил шпагу, пощупал под плащом грудь, словно там у него было еще какое-то оружие, затем снова схватил за руку Соломона и, осторожно ступая, обошел дом. Заглядывал в каждый проем дверей, каждую пробоину в стенах, возвращался при малейшем шелесте ветра в листве, обшаривал вытянутыми руками каждую темную дыру. Так обошли они кругом весь дом и вернулись на то место, откуда начали обход, не встретив ни одной живой души, не найдя и следа какого-нибудь притаившегося здесь разбойника, отставшего от своих.

Подождав немного, мистер Хардейл несколько раз прокричал: «Эй!», затем громко произнес:

— Есть тут кто-нибудь, кто знает мой голос? Бояться больше нечего. Если здесь прячется кто из моих, умоляю вас — отзовитесь!

Он стал окликать всех домочадцев по имени, но только эхо уныло отвечало со всех сторон; потом снова наступила тишина.

Они стояли внизу у башни, на которой висел набатный колокол. Пожар не пощадил ее, к тому же здесь все было изрублено, распилено, разбито в щепки, и башня была вся открыта ночному ветру. Но часть лестницы уцелела и вилась над горой мусора и пепла. Остатки разбитых, неровных ступеней кое-где могли еще служить ноге

ненадежной, шаткой опорой, а дальше снова терялись за выступами стены или в густой тени, которую отбрасывали другие развалины, потому что луна уже взошла и ярко сияла в небе.

В то время как мистер Хардейл и Соломон стояли, прислушиваясь к замирающему вдали эхо в тщетной надежде услышать чей-нибудь знакомый голос, с башни вдруг посыпался мусор. Соломон вздрогнул — его пугал каждый звук в этом печальном месте — и, взглянув на мистера Хардейла, увидел, как он повернулся в ту сторону и стал напряженно всматриваться. Внезапно он быстро зажал Соломону рот и снова уставился на башню. Глаза у него засверкали. Шепотом приказав Соломону стоять смирно, если ему жизнь дорога, молчать и не шевелиться, он, затаив дыхание, согнувшись, проскользнул в башню, держа шпагу наготове, и скрылся из виду.

Соломону было очень страшно одному в таком безлюдном месте, да еще после всего, что он видел и слышал сегодня. Он предпочел бы пойти за мистером Хардейлом, но было в глазах и поведении мистера Хардейла что-то такое, что приковало маленького причетника к месту, и, боясь даже вздохнуть, он смотрел на лестницу башни со смесью страха и любопытства.

Снова посыпался мусор — едва-едва слышно; потом еще, и еще — казалось, он скользил из-под чьих-то очень осторожно ступавших ног. Затем Соломон различил смутные очертания человеческой фигуры. Человек поднимался по лестнице бесшумно, часто останавливался и смотрел вниз. Он то весь был на виду и продолжал трудный подъем, то скрывался из виду.

Вот он появился опять в неверном и слабом свете, уже повыше, но ненамного, потому что лестница была крутая и он двигался с трудом, очень медленно. Какая фантазия влекла его туда и почему он то и дело смотрел вниз? Он же знал, что здесь нет никого. Неужели несчастья этой ночи и душевная мука свели его с ума? Неужели он решил броситься вниз с верхушки шаткой стены? При этой мысли Соломон обмер и сжал руки; ноги у него подкосились, холодный пот выступил на побледневшем лице. Если он и теперь не нарушил приказа мистера Хардейла, то лишь потому, что не в силах был ни дви-

нуться с места, ни шевельнуть языком. Он только смотрел, напрягая зрение, на освещенное луной место, где должен был появиться мистер Хардейл, если будет подниматься дальше. Соломон решил окликнуть его, когда он появится.

Опять посыпался сверху мусор, несколько камней покатились и глухо шлепнулись на землю. Соломон не сводил глаз с полоски лунного света на башне. А человек поднимался — тень его уже скользила по стене. Вот он показался... вот обернулся лицом к Соломону... и тут...

Пронзительный крик обезумевшего от ужаса причетника расколол тишину:

— Привидение! Привидение!

Раньше, чем замерли отголоски этого крика, в лунном свете молнией мелькнул второй человек, кинулся на первого, повалил, стал коленом ему на грудь и обеими руками вцепился ему в горло.

— Негодяй! — крикнул страшным голосом мистер Хардейл (ибо это был он). — Ты с дьявольской хитростью обманул всех, и тебя считали мертвым, но бог сохранил тебя, чтобы я мог... Наконец-то, наконец ты мне попался! На твоих руках кровь моего брата и его верного слуги, которого ты убил, чтобы скрыть свое зверское преступление. Радж, двойной убийца, чудовище, я арестую тебя именем бога, предавшего тебя в мои руки. Нет, хотя бы ты был силен, как двадцать человек, — добавил он, когда убийца попробовал с ним бороться, — ты от меня не уйдешь, не вырвешься!

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Барнеби шагал взад и вперед перед конюшней, довольный тем, что он снова один, от души наслаждаясь непривычной тишиной и спокойствием. После шума и дикого возбуждения, в котором прошли последние два дня, блаженство одиночества и покоя казалось ему еще в тысячу раз отраднее. Барнеби чувствовал себя совершенно счастливым. Прислонясь к древку знамени, он стоял за-

думавшись, и ясная улыбка освещала его лицо, а в голове роились радужные видения.

Но разве он не думал о той, для кого был единственной утехой в жизни и кому неумышленно причинил такое тяжкое горе? Конечно, думал! Все его надежды и гордые мечты были связаны с нею. Это ее он жаждал порадовать оказанной ему великой честью, для нее мечтал о богатстве и жизни без забот. Как приятно ей, должно быть, слышать от всех о храбрости ее дурачка-сына! О, этого Хью мог бы и не рассказывать, он, Барнеби, сам это знает. И как чудесно, что для нее настала счастливая пора и что она так им гордится! Он ясно представлял себе лицо матери, когда ей говорили о всеобщем уважении и доверии к нему, храбрейшему из храбрых. Вот окончатся эти драки, добрый лорд победит своих врагов, и все опять заживут мирно, а они с матерью разбогатеют, — и как же радостно будет тогда вспоминать тревожное время, когда он храбро сражался! Будут они сидеть вдвоем в тихих сумерках, и матери не придется больше заботиться о завтрашнем дне. Каким счастьем для него будет сознание, что этого добился он, бедный Барнеби! И, погладив мать по щеке, он скажет с веселым смехом: «Ну, что, мама, разве я такой уж дурачок?»

От этих мыслей на душе у Барнеби стало еще веселее, глаза заблестели ярче от радостных слез, и он, весело напевая, стал еще бодрее шагать взад и вперед на своем одиноком и тихом посту.

Его неизменный товарищ, Грип, нес караул вместе с ним, но почему-то он, так любивший всегда греться на солнышке, предпочитал сегодня оставаться в темной конюшне. У него там, видимо, было масса дела — он без устали ходил кругом и, разворошив солому, прятал под ней всякую всячину, все попадавшиеся ему мелкие вещи. Особенно же интересовала его постель Хью, к которой он беспрестанно возвращался. Порой в конюшню заглядывал Барнеби, звал его, и тогда Грип, подскакивая, выходил к нему, но делал это как бы только в виде уступки прихоти хозяина и скоро возвращался к своим важным делам: снова ворошил клювом солому и торопливо прикрывал потом это местечко, — казалось, он, подобно царю Мидасу, шепотом поверял свои тайны земле и погребал

их в ней *. Все это он проделывал крадучись, и всякий раз, как Барнеби проходил мимо двери, ворон притворялся, будто решительно ничем не занят и просто смотрит на облака — словом, был еще более, чем всегда, полон важности и таинственности.

Часы шли, и Барнеби, которому не было запрещено пить и есть в карауле (напротив, ему даже оставили бутылку пива и полную корзинку съестного), решил утолить голод, так как с утра еще ничего не ел. Он уселся на земле у дверей и, положив знамя на колени — на случай тревоги или внезапного нападения, — позвал Грипа обедать.

Ворон с величайшей готовностью явился на зов и, устроившись рядом с хозяином, прокричал:

— Я дьявол, я Полли, я чайник, я протестант, долой папистов!

Последние слова он выучил, слыша их часто от джентльменов, среди которых находился в последнее время, и произносил их с особой выразительностью.

— Правильно, дружок! Молодчина, Грип! — похвалил его Барнеби, отдавая ему лучшие кусочки.

— Носа не вешать! Ничего не бойся, Грип, Грип, Грип! Ура! Все будем пить чай, я протестант, я чайник, долой папистов! — выкрикивал ворон.

— Скажи: «Слава Гордону!» — учил его Барнеби.

Ворон, пригнув голову до земли, поглядел сбоку на хозяина, словно говоря: «Ну-ка, повтори еще раз». Прекрасно понимавший его Барнеби много раз подряд повторил эту фразу. Грип слушал с глубоким вниманием и по временам тихо твердил лозунг «Долой папистов», словно сравнивая обе фразы и проверяя, не поможет ли ему первая одолеть вторую, потом вдруг принимался хлопать крыльями, лаять или, словно в порыве отчаяния, с невероятным азартом и ожесточением откупоривал множество бутылок.

Барнеби был так занят своим любимцем, что не сразу заметил двух всадников, которые ехали шагом прямо к его посту. Увидев их, когда они были уже ярдах в пятидесяти от него, он поспешно вскочил и, отослав Грипа в конюшню, держа обеими руками знамя, ожидал их приближения, чтобы выяснить, кто они, друзья или враги.



Он очень скоро заметил, что один из них — знатный джентльмен, а другой — его слуга, и почти в ту же минуту, узнав в первом лорда Джорджа Гордона, снял шляпу и почтительно опустил глаза.

— Здравствуйте, — сказал лорд Джордж, не сдерживая лошади, пока не подъехал к нему вплотную. — Ну, каковы дела?

— Все благополучно, сэр, все спокойно, — воскликнул Барнеби. — Наши ушли — вон по той дороге. Целой толпой.

— Ага! — Лорд Джордж внимательно посмотрел на него. — А вы что же?

— Меня оставили здесь часовым... караулить и охранять все до их возвращения. И я это делаю, сэр, ради вас. Вы хороший человек, добрый, да! У вас много противников, но нас не меньше, чем их, не беспокойтесь!

— А это что? — спросил лорд Джордж, указывая на ворона, украдкой выглянувшего из конюшни, и все так же внимательно и в каком-то замешательстве всматриваясь в Барнеби.

— А вы разве не знаете? — удивился Барнеби и, смеясь, добавил: — Как же не знать, кто он! Птица, разумеется. Моя птица, мой друг Грип!

— Дьявол, чайник, Грип, Полли, протестант, долой папистов! — закричал ворон.

— Все-таки понятно, почему вы задали такой вопрос, — продолжал Барнеби вполголоса, положив руку на шею лошади лорда. — Как я ни привык к нему, а иногда и мне не верится, что он — только птица. Он мне как брат, всегда со мной, всегда болтает и весел — правда, Грип?

Ворон в ответ дружески каркнул и, взлетев на подставленную хозяином руку, с видом полнейшего равнодушия, принимал его ласки, посматривая своими быстрыми и любопытными глазками то на лорда Гордона, то на его слугу.

Лорд Джордж еще минуту-другую молча наблюдал за Барнеби, в каком-то смущении грызя ногти, затем, сделав знак своему слуге, сказал:

— Подъезжайте поближе, Джон.

Джон Груби почтительно поднял руку к шляпе и подъехал ближе.

— Вы когда-нибудь раньше видали этого юношу? — тихо спросил лорд Джордж.

— Видел два раза в толпе, милорд: вчера вечером и в субботу.

— А не показался он вам каким-то... странным?.. — продолжал, запинаясь, лорд Джордж.

— Сумасшедший, — безапелляционно и лаконично изрек Джон.

— А почему вы так думаете, сэр? — уже с раздражением спросил лорд Джордж. — Не следует с такой легкостью употреблять это слово. С чего вы взяли, что он помешан?

— Да вы взгляните на его костюм, милорд, посмотрите ему в глаза! Заметили, как он беспокоен? А слышали бы вы, *как* он кричит «Долой папистов!»? Сумасшедший, милорд, не сомневайтесь.

— По-вашему, если человек одет не так, как другие, — возразил рассерженный лорд Джордж, окинув взглядом свой собственный костюм, — и чем-нибудь не похож на других, если он стоит за великое дело, которому изменяют безбожники и нечестивцы, так он уж и сумасшедший?

— Совершенно, абсолютно и безнадежно сумасшедший, — невозмутимо отчеканил Джон.

— И вы говорите это мне прямо в глаза? — крикнул его господин, круто обернувшись к нему.

— Скажу всем, кто мне задаст такой вопрос, милорд.

— Теперь я вижу, что мистер Гашфорд прав, — сказал лорд Джордж. — Я считал, что он против вас предубежден, но мне не следовало этого думать о таком человеке, как он.

— От мистера Гашфорда никогда не дождаться доброго слова обо мне, — отозвался Джон, снова почтительно дотрагиваясь до шляпы. — Да я за этим и не гонюсь.

— Вы — злой и неблагодарный человек, — сказал лорд Джордж. — И, насколько я слышал, шпионите за нами. Мистер Гашфорд вполне прав, незачем мне было в этом сомневаться. Напрасно я вас до сих пор держал при себе: этим я оскорблял его, моего лучшего и самого близкого друга. Я ведь помню, *кого* вы вздумали защищать в тот день, когда его оклеветали в Вестминстере.

Уходите сегодня же, как только приедем домой. Чем скорее, тем лучше.

— Что ж, милорд, если так, я тоже скажу: чем скорее, тем лучше. Пусть будет, как угодно мистеру Гашфорду. Ну, а насчет того, шпион ли я... Вы слишком хорошо меня знаете, милорд, чтобы этому поверить. Я не очень-то разбираюсь, какое дело — великое, а какое — нет, а мое дело — всегда защищать человека, если он один против двух сотен.

— Довольно! — отмахнулся от него лорд Джордж. — Я не желаю вас слушать.

— С вашего позволения, милорд, я скажу еще только два слова. Хочу предостеречь этого дурачка, чтобы он не оставался здесь. Объявление уже давно ходит по рукам, и всем хорошо известно, что он замешан в том, о чем там говорится. Пусть бедняга укроется, если может, в каком-нибудь безопасном месте.

— Слышите, что он говорит? — воскликнул лорд Джордж, обращаясь к Барнеби, который во время этого разговора с недоумением посматривал на обоих. — Он думает, что вы боитесь оставаться на посту и что вас здесь поставили против вашей воли. Каков будет ваш ответ?

— Вот что, паренек, — принялся объяснять Джон. — Сюда могут прийти солдаты и арестовать тебя. А тогда тебя непременно повесят, и ты умрешь — умрешь, понятно? Так что улепетывай-ка ты поскорее! Таков мой тебе совет.

— Он трус, Грип! Правда, трус? — воскликнул Барнеби, спустив ворона на землю и вскинув на плечо знамя.— Пусть приходят! Да здравствует Гордон! Пусть приходят!

— Да, пусть приходят! — подхватил лорд Гордон. — Посмотрим, кто осмелится выступить против такой силы, как союз всего народа! И это — сумасшедший? Вы сказали прекрасные слова, мой друг! Я считаю за честь быть вождем таких людей, как вы.

У Барнеби сердце от радости ширилось в груди. Он взял руку лорда Джорджа и поднес ее к губам, потрепал лошадь по холке, словно его восторженная преданность лорду Джорджу распространялась даже на его коня. Затем он развернул знамя и, гордо размахивая им, снова принялся шагать взад и вперед.

Лорд Джордж, у которого от волнения засверкали глаза и покраснели щеки, снял шляпу и, взмахнув ею над головой, горячо пожелал Барнеби всего хорошего; затем поскакал галопом по дороге, сердито оглянувшись, чтобы убедиться, следует ли за ним его слуга. Честный Джон, пришпорив лошадь, двинулся за ним, еще раз посоветовав Барнеби уходить отсюда и сопровождая свои слова выразительной жестикуляцией, в ответ на которую Барнеби только отрицательно мотал головой, — этот диалог без слов продолжался до тех пор, пока Джон не скрылся за поворотом.

Оставшись один, Барнеби, еще более преисполненный сознания важности своего поста и счастливый вниманием и поощрением вождя, ходил как в каком-то блаженном сне. На душе у него было так же светло, как светел был этот солнечный день. До полного счастья ему недоставало только одного: ах, если *она* могла бы видеть его сейчас!

День проходил, зной незаметно сменился вечерней прохладой; поднявшийся ветерок играл длинными волосами Барнеби, весело шелестел в складках знамени над его головой. В этих звуках, в ритме их было что-то свежее и привольное, совершенно гармонировавшее с настроением Барнеби. Никогда в жизни не был он так счастлив, как сейчас.

Он стоял, опираясь на древко, и смотрел на заходящее солнце, с улыбкой думая о том, что вот сейчас он сторожит настоящее золото, как вдруг увидел вдали несколько человек, бежавших к дому. Они размахивали руками, точно предупреждая его обитателей о какой-то близкой опасности. Их жесты становились все энергичнее, и когда бегущие были уже так близко, что их можно было услышать, передние закричали, что сюда идут солдаты.

Услышав эту весть, Барнеби немедленно свернул знамя и завязал его вокруг древка. Сердце у него сильно билось, но в этом сердце было не больше страха, чем в том куске дерева, которое он сжимал в руках, и ни на миг не пришла ему в голову мысль о бегстве. Вестники промчались мимо, предупредив его об опасности, и быстро вошли в «Сапог», где поднялась невероятная суматоха.

Поспешно запирая окна и двери, обитатели дома взглядами и знаками убеждали Барнеби бежать, не теряя времени, кричали ему это много раз, но он в ответ только сердито качал головой и оставался на своем посту. Видя, что его не уговоришь, они махнули на него рукой и поспешно покинули дом, оставив в нем только одну старуху.

До тех пор не было никаких признаков, что весть насчет солдат — правда, а не порождена фантазией перепуганных людей. Но не прошло и пяти минут после ухода всех из «Сапога», как на пустыре появилось множество людей, которые быстро приближались. Сверкавшее на солнце оружие и позументы, мерное и стройное движение (все они шагали, как один человек) указывали на то, что это солдаты. Через минуту-другую Барнеби уже ясно увидел, что это большой отряд гвардейской пехоты. Его сопровождали какие-то двое мужчин в штатском, а в арьергарде — небольшой отряд конницы, человек семь-восемь, не больше.

Они приближались к дому ровным шагом, не ускоряя его, не производя никакого шума, не проявляя ни малейшего возбуждения или беспокойства. Разумеется, так всегда двигались регулярные войска, и это знал даже Барнеби, но ему, привыкшему за последние дни к шумному и буйному поведению необузданной толпы, зрелище это показалось особенно внушительным и несколько смутило его. Однако он стоял на своем посту все так же твердо и без страха смотрел на солдат.

Между тем они приблизились, вступили во двор и остановились. Командовавший ими офицер послал вестового к конному отряду, и один из кавалеристов тотчас подъехал к нему. Они обменялись несколькими словами, поглядывая на Барнеби, а Барнеби сразу узнал того самого кавалериста, которого он в Вестминстере вышиб из седла. Офицер отпустил его, и кавалерист, отдав честь, поскакал обратно к своим товарищам, которые выстроились невдалеке от пехоты.

Офицер отдал команду заряжать. С чувством облегчения услышал Барнеби глухой стук прикладов о землю и резкое, частое бряцание шомполов в стволах, хотя грозный смысл этих приготовлений был ему неумолимо ясен. За первым приказом последовал второй, и отряд в один

миг, вытянувшись цепочкой, окружил дом и конюшни на расстоянии каких-нибудь шести ярдов — по крайней мере так казалось Барнеби, когда он увидел их перед собой. А кавалеристы остались на том же месте.

Двое всадников в штатском, стоявшие поодаль, теперь выехали вперед и остановились подле офицера, один — справа, другой — слева. Один достал объявление властей и прочел его вслух, после чего офицер приказал Барнеби сдаться.

Барнеби вместо ответа стал в дверях охраняемой им конюшни и загородил древком вход. В мертвой тишине снова прозвучал голос офицера, приказывавший ему сдаться.

Но Барнеби и тут ничего не ответил, — он был всецело занят тем, что, обегая глазами ближайший ряд солдат, поспешно выбирал, на кого из них обрушить первый удар, когда они начнут атаку. Встретясь взглядом с одним из них, стоявшим посредине, он решил сбить с ног именно его, хотя бы это стоило ему жизни.

Снова минута безмолвия, и в третий раз — требование сдаться.

В следующее мгновение Барнеби отступил в конюшню, нанося удары, как бешеный, во все стороны. Двое солдат уже лежало на полу у его ног; тот, кого он себе наметил, упал первым, и от Барнеби это не ускользнуло даже в пылу жаркой схватки. Еще удар, еще! Затем он упал сам, сбитый с ног сильным ударом приклада в грудь (падая, он еще видел над собой этот приклад), и, в полубеспамятстве, оказался в руках врагов.

Громкое восклицание удивленного офицера привело его в себя. Он осмотрелся. Грип, втихомолку трудившийся над чем-то целый день и удвоивший энергию, когда на него перестали обращать внимание, успел разворошить всю солому, служившую Хью постелью, и своим железным клювом разрыть свежевскопанную землю под ней. Яма была до краев заполнена набросанными туда в беспорядке вещами и только едва присыпана сверху землей. Золотые кубки, ложки, подсвечники, гинеи — вот какое богатство сейчас открылось взорам солдат.

Принесли лопаты, вытащили все из ямы, и двое солдат с трудом подняли и унесли наполненный мешок.

Барнеби надели наручники, связали его и, обыскав, отобрали то, что нашли при нем. Никто его не допрашивал, не ругал, не проявлял к нему особого интереса. Тех двоих, кого он оглушил ударами, товарищи унесли так же безмолвно и деловито, как выполнялось все. Наконец, оставив Барнеби под надзором четырех солдат с примкнутыми штыками, офицер стал лично руководить обыском в «Сапоге» и примыкающих к нему службах.

Скоро и с этим было покончено. Барнеби поставили в середине отряда, солдаты снова построились и двинулись в обратный путь, уводя с собой арестованного.

Когда они очутились на шумной улице, Барнеби заметил, что он привлекает всеобщее внимание. Как ни быстро они двигались, он успевал увидеть, что люди подбегали к окнам и высовывались из них, чтобы поглядеть хоть вслед ему. По временам за головами и плечами солдат он замечал чье-нибудь напряженно-любопытное лицо: люди, глазели на него с козел экипажей. Но, окруженный со всех сторон солдатами, он ничего другого не мог видеть. Даже уличный шум доходил до него как-то глухо, а воздух был душный и жаркий, как в печи.

Раз-два, раз-два. Поднятые неподвижно головы, расправленные плечи. Все солдаты идут в ногу, в полном порядке и никто не смотрит на него, никто как будто не замечает его присутствия, так что не верится даже, что он — их *пленник*. Но стоило этому слову промелькнуть в мозгу Барнеби, и он почувствовал, как наручники жмут ему руки, как режет плечи веревка. Заряженные ружья были наведены на него, холодные, блестящие острия штыков повернуты к нему, и при каждом взгляде на них у него, беспомощного и связанного, кровь холодела в жилах.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Они дошли до казарм довольно быстро, — офицер, командовавший отрядом, знал, как возбуждает народ появление на улицах солдат, и хотел избежать этого. Он из человеколюбия старался не допустить никаких попы-

ток отбить арестованного, ибо они неизбежно повели бы к кровопролитию и жертвам: если бы сопровождавшие солдат представители гражданской власти потребовали, чтобы он отдал приказ стрелять, погибло бы, вероятно, много ни в чем не повинных людей, привлеченных к месту стычки праздным любопытством. Он вел свой отряд со всей возможной быстротой, с похвальной осторожностью избегая людных улиц, выбирая те, где, как он думал, можно встретить меньше разнузданной черни. Благодаря этим разумным мерам они беспрепятственно добрались до казарм, перехитрив толпу бунтовщиков, собравшуюся на одной из главных улиц, где, по их расчетам, должны были пройти солдаты. Барнеби уже давно сидел в заключении, ворота казарм были заперты и у всех выходов для пущей безопасности поставлен двойной караул, а обманутая толпа, собравшаяся, чтобы отбить арестованного, все еще стояла на улице в ожидании.

Когда отряд прибыл в казармы, беднягу Барнеби отвели в помещение с каменным полом, сильно пропахшее табачным дымом, несмотря на то, что здесь гулял сквозной ветер. Вся мебель состояла из широчайших деревянных нар, на которых могли поместиться человек двадцать. Несколько полураздетых солдат слонялись тут без дела, ели что-то прямо из жестянок. На выбеленных известкой стенах висела рядами на колышках всякая военная амуниция. Человек пять-шесть спали, раскинувшись на нарах, и дружно храпели. Едва Барнеби успел все это заметить, как его через учебный плац повели в другую часть здания.

Никогда, пожалуй, человек неспособен увидеть так много с одного взгляда, как в минуту грозной опасности. Можно поручиться, что, если бы Барнеби просто забрел на этот двор, чтобы посмотреть, что тут творится, он ушел бы отсюда с весьма смутным представлением об этом месте, и в памяти у него почти ничего не сохранилось бы. Но когда его вели по усыпанному гравием плацу закованным в кандалы, ничто не ускользнуло от его внимания. Скучный, безотрадный вид этого пыльного двора и голого кирпичного здания, сушившееся на окнах белье, солдаты без мундиров, в подтяжках, высовывавшиеся из других окон, зеленые шторы на окнах офицерских квар-

тир, жалкие деревца по фасаду, барабанщики, упражнявшиеся на дальнем дворе, новобранцы, проходившие ученье на плацу, двое солдат, тащившие корзину, — увидев его, они лукаво перемигнулись и каждый провел пальцем по шее — щеголеватый сержант, который быстро прошел мимо с тростью в руке, зажав под мышкой книгу в пергаментном переплете с застежками, парни в нижнем этаже, чинившие или чистившие щеткой части своего костюма и отрывавшиеся от этого занятия, чтобы поглазеть на арестанта (эхо их голосов гулко прокатывалось по пустым коридорам и галереям), и даже мушкеты, составленные в козлы перед кордегардией *, и барабан, висевший в углу на белом начищенном ремне, — все так запечатлелось в памяти Барнеби, словно он видел это сто раз или провел здесь целый долгий день, а не одну минуту, проходя мимо.

Его привели на мощеный задний дворик и отперли окованную железом широкую дверь, в которой, на высоте пяти футов от земли, было проделано несколько отверстий для воздуха и света. В эту темницу вошел Барнеби. Его заперли здесь, поставив у двери стражу. Теперь он был наедине со своими мыслями.

В этой клетке, или (как гласила надпись на двери) «арестантской», было очень темно, да и нельзя сказать, чтобы чисто, ибо перед тем в ней содержался пьяница-дезертир. Барнеби ощупью добрался до охапки соломы в дальнем углу и, глядя в сторону двери, пробовал осмотреться в темноте, но для того, кто вошел сюда с залитого солнцем двора, это было нелегко.

Перед дверью было нечто вроде галереи или колоннады, что мешало доступу сюда и того скудного света, который могли бы пропускать отверстия в двери. Снаружи доносились гулкие шаги часового по каменным плитам, напоминая Барнеби о том, как он сам недавно нес караул; когда солдат проходил мимо двери, заслоняя отверстие, в камере становилось темно, когда же отходил, она словно озарялась лучом света, и наблюдать это было очень интересно.

Некоторое время узник сидел на полу, глядя на щели в двери и прислушиваясь к шагам стража, то приближавшимся, то удалявшимся, как вдруг тот остановился. Бар-

неби, совершенно неспособный размышлять и соображать, что с ним сделают, задремал было, убаюканный мерными шагами. Внезапно наступившая тишина разбудила его, и он услышал, что снаружи, на галерее, очень близко к двери, разговаривают двое.

Давно ли начался разговор, Барнеби не знал, так как некоторое время был в забытьи, и в тот момент, когда шаги у его двери затихли, отвечал вслух на какой-то вопрос, кажется, заданный ему Хью в конюшне, — что это был за вопрос, он не помнил, как не помнил и свой ответ, хотя проснулся с этим ответом на устах. Когда он совсем очнулся, до слуха его донеслись из-за двери следующие слова:

— Зачем его привели сюда, если так скоро увезут опять?

— А куда же было его девать? Где он, черт возьми, будет упрятан надежнее, чем здесь, под охраной королевских солдат? Как, по-вашему, следует с ним поступить? Уж не передать ли в руки гражданских властей, этих трусов, у которых душа уходит в пятки от страха перед ордой оборванцев?

— Это-то верно.

— Еще бы! Я вам вот что скажу, Том Грин: был бы я сейчас не сержантом, а офицером, и были бы у меня под командой две роты — только две роты нашего полка, не больше, — и послали бы меня усмирять этих бунтовщиков, дав мне власть да с полдюжины боевых патронов, так я бы...

— Но этой власти вам не дадут, — отозвался другой голос. — Раз судья не разрешает, что прикажете делать офицеру?

Видимо, второй собеседник не очень-то хорошо знал, как преодолеть это затруднение. Он удовольствовался тем, что послал к черту всех судей.

— Вполне с вами согласен, — сказал первый голос.

— При чем тут судья? — продолжал сержант. — В данном случае он только — никому не нужная, противозаконная и досадная помеха. Объявление властей есть? Есть. Взят тот человек, о котором говорится в объявлении. Улики налицо, есть свидетель. Чего же еще, черт возьми?

Выведите его во двор и расстреляйте. На что тут нужен судья?

— А когда его поведут к сэру Джону Фильдингу? * — спросил собеседник сержанта.

— Сегодня вечером, в восемь. И хотите знать, что будет? Судья отправит его в Ньюгетскую тюрьму. Наши поведут его туда. Бунтовщики начнут швырять камни. Нашим придется отступить. Нас будут осыпать градом камней, ругательств, а мы — не смей сделать ни единого выстрела! Почему? Да все из-за этих судей, чтоб им пусто было!

Несколько облегчив душу самыми разнообразными проклятиями, сержант умолк и только время от времени еще ворчал себе под нос что-то весьма нелестное по адресу блюстителей законов.

У Барнеби хватило ума сообразить, что разговор касается его, и очень близко. Он сидел не шевелясь, пока не затихли голоса, затем тихонько подкрался к двери и, приложив глаз к щели, пытался разглядеть тех, кого он слышал только что.

Один из них, тот, кто так энергично ругал гражданскую власть, был сержант и, как показывало обилие лент на его шапке, — вербовщик. Он стоял, прислонясь к столбу, почти напротив двери, и, что-то бурча про себя, чертил тростью узоры на земле. Второй стоял спиной к двери каземата, и Барнеби видел только, что это статный и сильный мужчина, но однорукий. Его левая рука была отнята до самого плеча и вместо нее болтался пустой рукав. Потому он, вероятно, и привлек внимание Барнеби больше, чем его собеседник. В осанке и манерах однорукого заметна была военная выправка, а между тем он был в штатском — щегольской шляпе и куртке. Видимо, он раньше служил в войсках — и, должно быть, недавно, так как был еще очень молод.

— Да, да, — сказал он задумчиво. — Чья бы ни была это вина, а грустно, вернувшись в родную Англию, увидеть, что здесь такое творится.

— Наверно, к этим... — тут последовало крепкое словцо по адресу бунтовщиков, — скоро примкнут и свиньи, раз уж птицы показывают им пример! — сказал сержант.

— Птицы? Как так птицы? — удивился Том Грин.

— Да, птицы! — запальчиво повторил сержант. — Я, кажется, ясно говорю — что же тут не понимать?

— А я все-таки не понимаю.

— Сходите в караулку и поймете. Там есть ворон, который орет то же, что все они: «Долой папистов!» Да, да, кричит точь-в-точь как человек... или, вернее, как дьявол, недаром он сам так себя величает. И я бы ничуть не удивился, если бы это оказалось правдой, — дьявол теперь здорово куролесит в Лондоне. Эх, будь я проклят, если я при случае не свернул бы ему шею, пусть бы только мне дали волю!

Молодой человек сделал уже несколько шагов, будто намеревался пойти взглянуть на диковинную птицу, но его остановил голос Барнеби.

— Это мой ворон, — закричал Барнеби, смеясь и плача, — мой любимый друг Грип! Ха-ха-ха! Не обижайте его, он никого не трогал! Это я его выучил таким словам, я один виноват. Отдайте его мне, пожалуйста! У меня теперь только он и остался, мой единственный друг! Он не станет ни плясать, ни болтать, ни свистеть для вас, если я не попрошу его, потому что меня он знает и любит. Да, вы, может, не поверите, но это правда, он меня крепко любит. Я знаю, вы не станете мучить бедную птицу. Вы храбрый солдат, сэр, и не обидите ни женщины, ни ребенка — и птицы тоже не обидите, я знаю!

С этой мольбой Барнеби обращался к сержанту, чей красный мундир внушил ему мысль, что он — высокое начальство и может единым словом решить участь Грипа. Но этот джентльмен в ответ сердито послал его к черту, обозвав негодяем и бунтовщиком, и, не щадя себя, поклялся своими глазами, печенью, кровью и плотью, что, если бы его воля, он прикончил бы не только ворона, но и его хозяина.

— Вы так храбро разговариваете потому, что я заперт в этой клетке, — сказал Барнеби, не помня себя от гнева. — Будь я по ту сторону двери, вы бы другое запели — да, да, качайте головой, сколько хотите, а это верно! Что же, убейте моего ворона! Убивайте все, что вам попадется, чтобы отмстить тому, кто расправился бы с вами голыми руками, если бы эти руки не были связаны.

Бросив этот смелый вызов, он забился в самый дальний угол своей камеры, бормоча: «Прощай, Грип, прощай, дорогой старый друг!», зарылся лицом в солому и горько заплакал — в первый раз за все то время, что он был пленником в казармах.

В первую минуту Барнеби вообразил, что однорукий ему поможет или хотя бы скажет что-нибудь утешительное. Он сам не знал, почему так думал. Услышав его голос, тот остановился, хотел как будто обернуться, но передумал и, стоя к нему спиной, внимательно прислушивался к каждому его слову. Быть может, именно это внушило Барнеби слабую надежду, а быть может, молодость однорукого и что-то честное, открытое в его манере держаться. Как бы то ни было, ожидания Барнеби не оправдались. Как только он замолчал, однорукий ушел, не откликнувшись ни словом. Ушел и не вернулся. Ну, что ж, все равно! Все они здесь против него, ему следовало бы помнить это. Прощай, Грип, прощай!

Через некоторое время дверь отперли и велели ему выходить. Барнеби тотчас встал и вышел. Он не хотел, чтобы эти люди думали, будто он смирился или трусит, и держался гордо, как подобает мужчине, смело обводя глазами окружающих.

Но на него никто не смотрел, его взглядов как будто и не замечали. Опять повели его той же дорогой на учебный плац и тут остановились. Его передали отряду солдат вдвое многочисленнее того, который сегодня взял его в плен; тот же офицер коротко объяснил ему, что при первой же попытке к бегству (какой бы для этого ни представился удобный случай) в него немедленно будут стрелять — такой отдан приказ. Затем солдаты окружили его тесным кольцом и повели.

В том же неизменном порядке дошли они до Бау-стрит *, а за ними и по сторонам следовала толпа, которая становилась все многочисленнее. На Бау-стрит Барнеби привели в дом к какому-то слепому джентльмену и спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать в свое оправдание. Нет, конечно: что он мог сказать этим людям? После весьма короткого допроса, к которому он отнесся невнимательно и глубоко равнодушно, ему сказали,

что он будет заключен в Ньюгетскую тюрьму, и снова вывели на улицу.

Солдаты окружили его такой плотной стеной, что он ничего не видел вокруг, но по глухому ропоту угадывал, что на них со всех сторон напирает густая толпа, а скоро громкие выкрики и свист показали ее враждебное отношение к солдатам. Как жадно вслушивался Барнеби, ожидая, что раздастся голос Хью! Но среди всего этого гама не слышно было ни единого знакомого голоса. Неужели и Хью схватили? Значит, надеяться больше не на что.

Чем ближе подходили к тюрьме, тем яростнее становились крики, гиканье и свист. В солдат полетели камни, и по временам под стремительным натиском толпы ряды их смешивались. Одному солдату, шедшему непосредственно перед Барнеби, камень попал в висок, и, рассвирепев от боли, солдат поднял мушкет и прицелился. Но офицер отбил мушкет своей шпагой и крикнул солдату, чтобы он не смел стрелять, если дорожит жизнью. Это было последнее, что более или менее отчетливо видел Барнеби: его скоро начало швырять во все стороны, как лодку в разбушевавшемся море. И куда бы его ни швыряло, он повсюду натыкался на все тех же конвоиров. Раза два-три он падал, падали и они, но и тут ни на миг невозможно было укрыться от их бдительности — вскакивая, они снова окружали его, раньше чем он, туго связанный, успевал встать на ноги. Наконец, зажатый в их тесном кольце, он почувствовал, что его подняли вверх по каким-то ступеням, на одно мгновение увидел внизу бушующую толпу и несколько красных мундиров, рассеянных в ней, — это отставшие солдаты с трудом прокладывали себе дорогу, догоняя товарищей. В следующую минуту наступил полный мрак — он стоял уже в тюремном коридоре, среди кучки каких-то людей.

Поспешно призвали кузнеца, и он заковал его в тяжелые кандалы. Спотыкаясь, Барнеби кое-как добрел до каземата, и здесь его оставили одного, заперев дверь на замки, засовы и цепь. В его камеру незаметно для него впустили и Грипа. Ворон стоял, опустив голову и взъерошив черные перья, словно понимал, что хозяин в беде, и готовился разделить его печальную участь.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

А теперь нам пора вернуться к Хью. Как вы помните, он, приказав громилам уходить врассыпную из Уоррена и собраться завтра в обычном месте, нырнул куда-то в темноту, и больше в эту ночь никто из них его не видел.

Он подождал в рощице, укрывавшей его от глаз бесновавшейся толпы, чтобы убедиться, уйдут ли все, или останутся и будут искать его. Он заметил, что некоторые не хотят уходить без него и направились к тому месту, где он спрятался, желая, должно быть, разыскать его и уговорить идти с ними. Однако другие стали звать их, да тем и самим не очень-то хотелось рыскать в темной гуще парка, где их легко могли захватить врасплох, если соседи или убежавшие из разгромленного дома слуги следили за ними из-за деревьев. Поэтому они скоро отказались от своего намерения и, поспешно созвав всех наиболее благоразумных, ушли из Уоррена.

Убедившись, что большинство бунтовщиков последовало их примеру и усадьба опустела, Хью углубился в лес и пошел через кусты напролом, прямо к мелькавшему вдалеке огоньку. Путь ему освещал не только этот огонек, но и зловещий свет пожара.

Чем ближе он подходил к мерцавшему впереди свету, служившему ему маяком, тем яснее различал красное пламя нескольких факелов, и в тишине, лишь изредка нарушаемой долетавшими от дома криками, уже слышен был говор впереди. Наконец Хью выбрался на опушку и, перескочив через ров, очутился на темной тропе, где его с нетерпением ожидала компания людей самого подозрительного вида, которых он оставил здесь минут двадцать тому назад.

Они собрались вокруг ветхой почтовой кареты, и один из них уже уселся за форейтора на ближайшей лошади. Занавески кареты были задернуты, а у двух ее оконцев стояли на страже мистер Тэппертит и Деннис. По-видимому, начальство над всей компанией принял на себя мистер Тэппертит — он первый окликнул Хью, пошел ему навстречу, и тогда остальные, отдыхавшие на траве около кареты, встали и обступили его.

— Ну что? — спросил Саймон вполголоса. — Все в порядке?

— В порядке, — отвечал Хью так же тихо. — Они расходятся... то есть начали расходиться, когда я пошел сюда.

— А путь свободен?

— Для наших, я думаю, будет свободен, — сказал Хью. — Вряд ли кто-нибудь, зная, что тут делалось, захочет с ними связываться сегодня... Не найдется ли у кого из вас, чем промочить горло?

У всех была с собой награбленная в погребах Хардейла добыча, и Хью протянули одновременно с полдюжины фляг и бутылок. Он выбрал самую большую и, поднеся ее ко рту, стал пить так быстро, что слышно было, как булькает вино у него в горле. Выпив все до капли, он швырнул бутылку на землю, протянул руку за другой и эту тоже выпил залпом. Ему подали третью, он и ее осушил до половины, остальное приберег и спросил:

— А жратва какая-нибудь есть? Я голоден, как волк. Кто из вас побывал в кладовой, признавайтесь?

— Я был там, дружище, — Деннис снял шляпу и порылся в тулье. — У меня тут припрятан холодный пирог с олениной — годится тебе?

— Годится! — воскликнул Хью, садясь тут же, на тропинке. — Давай сюда живее! Несите-ка поближе факел да идите сюда, ребята! Хочу ужинать с помпой. Ха-ха-ха!

Заражаясь его шумной веселостью, — здесь все тоже были изрядно пьяны и так же буйны, как Хью, — они столпились вокруг, а те двое, у кого были в руках факелы, подняли их высоко, чтобы ему не пришлось пировать в темноте. Мистер Деннис между тем успел достать из своей шляпы огромный кусок пирога, который был засунут туда так плотно, что его нелегко было извлечь, и положил его перед Хью; тот, вооружившись взятым у другого товарища тупым и зазубренным ножом, энергично принялся за дело.

— Советовал бы тебе, братец, каждый день за час до обеда устраивать небольшой пожар, — сказал Деннис, помолчав. — Я вижу, тебе это идет на пользу: очень возбуждает аппетит.

Хью, на миг перестав жевать, взглянул на него, потом на окружавшие его закопченные физиономии, взмахнул ножом над головой и оглушительно захохотал.

— Потише там! — сказал Саймон Тэппертит.

— Что такое, капитан, уж нельзя человеку и повеселиться? — возразил его адъютант, раздвигая ножом стоявших перед ним, чтобы увидеть Тэппертита. — Нельзя мне после таких трудов немного потешиться? Ах, какой у нас строгий командир! Какой тиран! Ха-ха-ха!

— Заткните ему кто-нибудь рот бутылкой, чтобы он не горланил! Дождетесь, что солдаты нас выследят! — сказал Саймон.

— А если и выследят, так что? — отрезал Хью. — Кто их боится? Пусть приходят — слышите, что я говорю? Пусть приходят! Чем больше их, тем больше потеха! Был бы со мной рядом смельчак Барнеби, так мы с ним вдвоем управились бы с солдатней, не утруждая никого из вас. Барнеби знает, как управляться с солдатами. Пью за здоровье Барнеби!

Но большинство присутствующих были очень утомлены и вовсе не жаждали второго сражения в одну ночь, поэтому поддержали мистера Тэппертита и стали торопить Хью, говоря, что они и так уже слишком здесь задержались. Несмотря на пьяный угар, Хью тоже понимал, что для них очень опасно оставаться так близко к месту учиненного ими разгрома, и без дальнейших возражений поспешил окончить ужин. Поев, он встал и, подойдя к мистеру Тэппертиту, хлопнул его по спине.

— Ну, вот я и готов. А хорошенькие птички попались нам в сеть, а? Птички просто загляденье, нежные, кроткие голубки! И ведь это я их поймал, я! Так погляжу-ка я на них еще раз хоть одним глазком!

С этими словами он оттолкнул в сторону Сима, стал на подножку и, с размаху отдернув занавеску, заглянул в карету с таким выражением, как людоед в свою кладовую.

— Ха-ха-ха! Так это вы, моя красавица, царапали меня, и щипали, и били? — воскликнул он, схватив и сжав маленькую ручку, которая тщетно пыталась освободиться. — Вы, такая миленькая девушка с блестящими глазками и губками, как вишни? Ну, ничего, я вас за это

еще больше люблю. Ей-ей, люблю! Можете даже ткнуть меня ножом, если вам это доставит удовольствие, — но зато вам же придется меня лечить. Нравится мне, что вы такая гордячка и недотрога! От этого вы мне еще милее. Ну, есть ли на свете такая прелесть, как вы?

— Хватит! — сказал мистер Тэппертит, с заметным нетерпением ожидавший конца этого монолога. — Сходи!

Маленькая ручка поддержала это требование — она изо всей силы оттолкнула большую голову Хью и опустила занавеску под его громкий хохот и клятвенные уверения, что он непременно должен еще раз заглянуть в карету, так как ее милое личико притягивает его как магнит. Но тут долго сдерживаемое нетерпение всей компании прорвалось и перешло в открытые протесты, так что Хью вынужден был отказаться от своего намерения. Усевшись на козлы, он утешался тем, что все время стучал в переднее окошко кареты и пытался заглянуть внутрь. Мистер Тэппертит стоял на подножке, уцепившись за дверцы, и начальственным тоном отдавал приказания кучеру. Остальные — кто примостился на запятках, кто бежал рядом с каретой. Некоторые, по примеру Хью, пытались взглянуть на девушку, которой он делал такие восторженные комплименты, но дубинка мистера Тэппертита пресекала все эти дерзкие попытки.

Они возвращались в Лондон кружными, извилистыми путями, соблюдая относительный порядок и тишину, за исключением тех минут, когда останавливались передохнуть или спорили, какой дорогой удобнее и ближе ехать в Лондон.

Между тем Долли, обворожительная красотка Долли, растрепанная, в изорванном платье, с мокрыми от слез темными ресницами и бурно дышащей грудью, то бледная от страха, то пунцовая от негодования и в своем волнении еще во сто раз более очаровательная, чем всегда, пыталась утешать Эмму Хардейл и внушить ей бодрость, в которой так сильно нуждалась сама. Она твердила, что солдаты непременно их освободят, что, когда их будут везти по улицам Лондона, они станут звать на помощь, не побоявшись угроз похитителей, и на людных улицах их обязательно услышат и спасут. Так

говорила бедная Долли, и так она старалась думать, но все эти рассуждения неизменно кончались слезами. Ломая руки, она сквозь слезы спрашивала вслух, что подумают дома, в «Золотом Ключе», что они будут делать, кто их утешит, — и плакала еще горше.

Мисс Хардейл, более уравновешенная и сдержанная, чем Долли, была, однако, в сильном смятении и только что пришла в себя после обморока. Она была очень бледна, и Долли, державшая ее руку в своих, чувствовала, что рука эта холодна, как лед. Но, скрывая свою тревогу, мисс Эмма говорила Долли, что, уповая на бога, они должны все же быть очень осторожны, так как от этого многое зависит: если они своим спокойствием усыпят бдительность разбойников, в руки которых попали, то, когда они приедут в Лондон, у них будет гораздо больше шансов на спасение. Она уверяла, что, если только в мире не все перевернулось вверх дном, за ними по горячим следам уже, наверное, наряжена погоня и дядя, конечно, не успокоится, пока не отыщет и не освободит их. Но в то время как Эмма говорила это, ее вдруг как громом поразила мысль, что дядя мог погибнуть этой ночью во время избиения католиков — предположение не такое уж дикое и невероятное после всего, что они с Долли видели и пережили. И, думая об ужасах, которые произошли у нее на глазах и о тех, которые, быть может, еще впереди, Эмма замолчала и сидела неподвижная, холодная, как мраморная статуя, не будучи уже в состоянии ни думать, ни говорить, ни скрывать свое отчаяние.

Сколько, ах, сколько раз во время долгого пути вспоминала Долли своего давнишнего поклонника, бедного, влюбленного Джо, которым она пренебрегла! Сколько-сколько раз вспоминался ей вечер, когда она бросилась в его объятия, спасаясь от того самого ненавистного человека, кто сейчас высматривал ее в темноте кареты и ухмылялся ей в чудовищно наглом восхищении! Когда она думала о Джо, о том, какой он был славный малый и как смело набросился бы сейчас на злодеев, будь их даже вдвое больше (при этой мысли Долли сжимала кулаки и топала ножкой о пол кареты), минутная гордость тем, что она покорила сердце *такого* человека, растворялась в потоке слез, и Долли рыдала еще громче.

Медленно тянулось время. Ехали, видно, по совсем незнакомой обеим дороге, так как они не узнавали тех примет, которые удавалось мельком разглядеть, — и страх их все возрастал. Да и не мудрено: как было не бояться двум красивым молодым девушкам, которых везла неизвестно куда банда способных на все негодяев, глазевших на них с таким же наглым вожделением, как Хью?

Они въехали в Лондон через предместье, совершенно им незнакомое, уже после полуночи; улицы были темны и безлюдны. Но самое худшее было то, что Хью, когда карета остановилась в каком-то уединенном месте, вдруг открыл дверцу, влез внутрь и сел между обеими пленницами.

Тщетно звали они на помощь. Он обнял одной рукой Эмму, другой — Долли и поклялся, что заткнет им рты поцелуями, если они не будут немы, как могила.

— Я для того и здесь, чтобы вы сидели смирно, — сказал он. — И вот таким способом заставлю вас молчать. Так что, красотки, можете кричать — мне это будет только на руку!

Ехали теперь очень быстро, и, видимо, карету сопровождало меньше людей, — впрочем, в темноте (факелы уже потушили) об этом можно было только догадываться. Девушки забились в углы кареты, чтобы избежать прикосновений Хью, но, как ни отодвигалась Долли, его рука все время обвивала ее талию, сжимала ее крепко. Долли не кричала, не произносила ни слова, онемев от ужаса и омерзения, и только все время отталкивала его руку. В отчаянных усилиях вырваться она сползла на пол, уткнувшись лицом в угол, и отпихивала Хью с силой, удивлявшей не только его, но и ее самое. Наконец карета снова остановилась.

— Выноси вот эту, — сказал Хью тому, кто открыл дверцы кареты. Он взял за руку мисс Хардейл, но рука ее тяжело повисла. — Она в обмороке.

— Тем лучше, — проворчал Деннис (именно сей любезный джентльмен отпер дверцы кареты), — значит, будет молчать. Я люблю, когда они падают в обморок, если нельзя заставить их вести себя смирно.

— А снесешь ее один? — спросил Хью.

— Не знаю, попробую. Впрочем, думаю, что снесу, — немало таких я в свое время поднимал наверх. Ну, раз-два! А она тяжеленька, знаешь ли! Все эти красотки только на вид легкие, а весят порядочно. Ну, вот и готово!

Подняв на руки мисс Эмму, он вышел, спотыкаясь под своей ношей.

— Ну-с, милая моя птичка, — сказал Хью, обнимая Долли и притягивая ее к себе. — Помните, что́ я вам сказал: за каждый крик — поцелуй! Кричите же, если любите меня, душечка! Ну, хоть разок! Один раз, моя красавица, если я вам мил!

Долли изо всех сил уперлась руками ему в лицо и отталкивала его, но он быстро вынес ее из кареты и вслед за мисс Хардейл внес в какую-то лачугу, где, в последний раз прижав к груди, осторожно опустил ее на пол.

Бедняжка Долли! Что бы она ни делала, она казалась от этого еще красивее и соблазнительнее. Когда глаза ее гневно сверкали, а сочные губки приоткрывались от бурного дыхания, — кто мог устоять перед ней? Когда она плакала и рыдала, словно сердце у нее разрывалось, и причитала нежным голоском, слаще которого не было на свете, — кто мог остаться нечувствительным даже к пленительным вспышкам раздражения, прорывавшегося сквозь искренность и серьезность ее горя? А когда она, как в эту минуту, забыв о себе, опускалась на колени перед подругой и, наклонясь, прижималась щекой к ее щеке, обнимала ее обеими руками, — кто мог бы оторвать глаза от ее изящной фигуры, распущенных волос, кое-как надетого платья, всей этой очаровательной небрежности, этого самозабвения, еще подчеркивавшего красоту цветущей юной девушки? Кто, видя эти щедрые ласки, слыша нежные слова, не пожелал бы быть на месте Эммы Хардейл? Уж, конечно, не Хью и не Деннис.

— Скажу вам прямо, девушки, — промолвил мистер Деннис, — я не большой охотник до вашей сестры, и во все это дело впутался только, чтобы подсобить приятелям. Но если вы еще долго будете проделывать все это у меня на глазах, я, кажется, из помощника стану главным участником. Так и знайте!

— Для чего вы нас сюда привезли? — спросила Эмма. — Нас убьют?

— Убить вас? — воскликнул Деннис. Он сел рядом на табурет и весьма благосклонно смотрел на Эмму. — Что вы, милочка, у кого же поднимется рука на таких славных курочек? Вы бы лучше спросили, не для того ли вас сюда привезли, чтобы дать вам мужей, — тогда вы были бы ближе к истине.

Он, ухмыляясь, посмотрел на Хью, и тот, оторвав на мгновение взгляд от Долли, ответил ему тем же.

— Нет, нет, — повторил Деннис. — Не убьют вас, милочки мои. Ничего подобного! Совсем наоборот.

— Вы — человек пожилой, сэр, старше вашего товарища, — сказала Эмма, дрожа. — Неужели вы не сжалитесь над нами? Вспомните, мы женщины.

— Это я помню, милочка, — отозвался Деннис. — Трудно это забыть, когда имеешь перед глазами таких два образчика. Ха-ха! Да, да, я это помню, и мы все это помним, мисс.

Он с лукавым видом покачал головой, снова переглянулся с Хью и захохотал, как человек, который придумал замечательную шутку и очень доволен собой.

— Убивать вас никто не думает, голубушка, боже упаси!.. Впрочем, знаешь что, братец, — тут Деннис, сдвинув шапку на ухо, чтобы удобнее было почесать голову, серьезно посмотрел на Хью. — К чести наших законов надо сказать, что они соблюдают полное равноправие, не делают никакой разницы между мужчиной и женщиной. Довелось мне когда-то слышать, как один судья упрекал не то разбойника с большой дороги, не то взломщика, который связал каких-то леди по рукам и ногам — вы уж извините, что я про это поминаю при вас, милочки мои, — и спустил их в погреб. Так вот судья стыдил его за то, что он не уважил даже женщин. А я так считаю, что судья этот ничего не смыслил в своем деле. И, будь я на месте того грабителя, я бы ему вот как ответил: «Что вы, милорд! Да я с женщинами поступаю точно так же, как поступает с ними наш закон, — чего же вам еще?» Если бы вы сосчитали по газетам, сколько женщин за последние десять лет отправлено на тот свет в одном только Лондоне, вас бы не только уди-

вила, — вас бы просто поразила эта цифра. Да, — добавил мистер Деннис глубокомысленно, — великое дело — равноправие! Превосходный закон. Но нет у нас гарантии, что его не отменят. Уж раз теперь стали потакать папистам, то я не удивлюсь, если в один прекрасный день переделают и этот закон! Ей-богу, не удивлюсь!

Эта тема — видимо, в силу ее узко профессионального характера — не заинтересовала Хью в такой мере, как рассчитывал мистер Деннис. Да и времени не было продолжать разговор, так как в эту минуту в комнату быстро вошел мистер Тэппертит. Увидев его, Долли радостно вскрикнула и чуть не бросилась к нему на шею.

— Я знала, знала, что так будет! — воскликнула она. — И мой дорогой отец тоже здесь? Наверное, стоит за дверью! Слава тебе господи! Спасибо вам, Сим, награди вас бог!

Саймон Тэппертит в первую минуту был глубоко уверен, что дочь слесаря бросилась к нему в порыве страсти, которой она больше не в силах скрывать, и ждал обещания, что она готова стать его женой. Пораженный словами Долли, он стоял с преглупым видом — тем более, что Хью и Деннис разразились громким смехом, который заставил Долли попятиться. Она переводила пытливый, настороженный взгляд с одного на другого.

— Мисс Хардейл, — начал Сим после весьма неловкого молчания. — Надеюсь, вы здесь чувствуете себя хорошо, насколько это возможно при данных условиях. Долли Варден, моя душенька, красавица моя, надеюсь, что и вы довольны?

Бедная Долли! Теперь она поняла все и, закрыв лицо руками, зарыдала еще отчаяннее, чем прежде.

— Мисс Варден, — Саймон прижал руку к груди, — вы видите сейчас перед собой не подмастерье, не раба и не жертву тирании вашего отца, а вождя великого народа, командира доблестного отряда, в котором состоят и эти джентльмены, один — сержантом, другой — капралом. Перед вами не частное лицо, а общественный деятель. Я больше не чиню замков, — я исцеляю раны моей

несчастной родины. Долли Варден, прелестная Долли, сколько лет я ждал такой встречи с вами! Сколько лет я мечтал дать вам высокое положение, сделать вас знатной леди! И вот я делаю это. Смотрите же на меня, как на своего супруга. Да, милая чаровница, вы покорили меня. — Саймон Тэппертит весь ваш!

Говоря это, он двинулся к Долли, но она пятилась от него, пока могла, а когда отступать дальше было некуда, села на пол. Объясняя ее поведение девичьей стыдливостью, Саймон хотел ее поднять, но доведенная до отчаяния Долли вцепилась обеими руками ему в волосы и, со слезами крича, что он — гнусный негодяй и всегда им был, трясла, царапала и колотила его так, что он вынужден был в испуге призвать на помощь своих товарищей. Никогда еще Долли не нравилась Хью так, как в эту минуту.

— Она сегодня очень возбуждена, себя не помнит, — сказал Саймон, приглаживая взъерошенную шевелюру. — Пусть побудет до завтра одна, тогда немного образумится. Отнесите ее в соседний дом.

Хью тотчас поднял Долли на руки. Но то ли ее отчаяние смягчило мистера Тэппертита, то ли он нашел неприличным, что его будущая жена — в объятиях другого мужчины, он переменил решение и, приказав Хью отпустить ее, угрюмо наблюдал, как она бросилась к мисс Хардейл и, прильнув к ней, спрятала раскрасневшееся личико в складках ее платья.

— Оставьте обеих здесь до завтра, — сказал он, когда снова обрел чувство собственного достоинства. — Идемте!

— Да, идем, капитан! — подхватил Хью. — Ха-ха-ха!

— Что вас так смешит? — сурово осведомился Саймон.

— Ничего, капитан, ничего. — Хью ударил его по плечу и, неизвестно почему, расхохотался еще в десять раз громче.

Мистер Тэппертит смерил его с головы до ног высокомерно-презрительным взглядом (что еще больше развеселило Хью) и обратился к пленницам:

— Имейте в виду, леди, что дом охраняется со всех сторон и малейший шум будет иметь для вас очень



неприятные последствия. Обе вы завтра узнаете наше решение. А до тех пор не подходите к окнам и не зовите на помощь, не то сразу станет известно, что вы — из дома католика, и никакие усилия наших людей не спасут вас от смерти.

После этого предостережения, в котором была доля истины, он пошел к двери, а за ним Хью и Деннис. Выходя, они оглянулись на крепко обнявшихся девушек, потом заперли за собой дверь и поставили надежную охрану не только у входа, но и вокруг всего дома.

— А знаете, — сказал Деннис, когда они уходили втроем, — славная парочка! И та, которую выбрал себе мистер Гашфорд, и другая — обе хороши.

— Тсс! — поспешно зашикал на него Хью. — Не надо никого называть. Это скверная привычка.

— Ну, скажем, «он», если ты не хочешь, чтобы я называл имена. Так вот — не хотел бы я быть на его месте, когда он выложит ей всю правду, — сказал Деннис. — С этими гордыми черноглазыми женщинами надо держать ухо востро: если у них под рукой окажется нож, дело может плохо кончиться. Видал я таких на своем веку. Помню одну... ее повесили много лет назад. Тут был замешан какой-то знатный джентльмен. Так вот перед смертью она мне и говорит, а у самой губы дрожат, но рука твердая на удивление. «Деннис, говорит, мне сейчас конец. Но будь у меня в руках кинжал и окажись тот человек поблизости, я убила бы его на месте». И она бы это сделала, не сомневайся!

— Кого она хотела убить? — спросил Хью.

— Почем я знаю? Она мне этого не сказала, — ответил Деннис.

Хью посмотрел на него так, словно собирался расспросить подробнее об этой истории, но тут заговорил Саймон Тэппертит, до этой минуты погруженный в глубокие размышления, и отвлек его мысли в другую сторону.

— Хью, — сказал Сим. — Вы сегодня хорошо поработали. Вы будете награждены. И вы тоже, Деннис. Нет ли у вас на примете молодой женщины, которую вы хотели бы увезти?

— Н-нет как будто, — протянул мистер Деннис, поглаживая седоватую бороду, отросшую на добрых два дюйма.— Такой что-то не припомню.

— Ладно, в таком случае мы вознаградим вас другим способом, — сказал Сим. — Ну, а вы, друг, — обратился он к Хью, — получите Миггс — ту, что я обещал вам, помните? — не позже, чем дня через три. Можете на это рассчитывать. Даю вам слово.

Хью горячо поблагодарил своего благодетеля, но тут его снова одолел приступ бурного веселья — он хохотал до колик в боку и одной рукой схватился за этот бок, а другой вынужден был, чтобы не упасть, опереться на плечо маленького капитана.

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

Три достойных товарища направились к «Сапогу», намереваясь провести там ночь и отлежаться в своей старой берлоге, так как они сильно нуждались в отдыхе. Только теперь, когда задуманное злодеяние было осуществлено и пленницы надежно охранялись, все трое почувствовали сильную усталость: сказывалось изнуряющее действие тех безумств, которые они творили и которые имели такие плачевные последствия.

Не унывал только Хью, несмотря на все утомление, которое он испытывал, как и оба его спутника, да, вероятно, и все, кто принимал деятельное участие в ночной экспедиции: на него по-прежнему находили приступы бурного веселья всякий раз, как он взглядывал на Саймона Тэппертита, и он, к великому негодованию этого джентльмена, разражался громовым смехом, который мог привлечь к ним внимание ночной стражи и вызвать столкновение. А из такого столкновения они, в их теперешнем состоянии, вряд ли вышли бы победителями. Даже мистер Деннис, отнюдь не требовавший от людей серьезности и всегда от души наслаждавшийся эксцентричными выходками своего молодого приятеля, стал увещевать его, твердя, что столь неосторожное поведение

равносильно самоубийству, а приговаривать к смерти самого себя раньше, чем тебя приговорил закон, — просто глупость и дерзкое самоуправство.

Ничуть не смущаясь этими протестами, Хью ни капельки не сдерживал своей шумной веселости и, обняв за плечи обоих приятелей, брел, шатаясь, между ними, пока не замаячил впереди «Сапог» и оставалось только перейти два-три пустыря, чтобы очутиться в уютной таверне. Накричавшись и нахохотавшись до изнеможения, Хью, к счастью, уже угомонился, и они шли вперед без шума, как вдруг из канавы опасливо выглянул один из их дозорных, всю ночь прятавшийся тут, чтобы предупреждать своих, что дальше идти опасно, и велел им остановиться.

— Остановиться? А почему? — спросил Хью.

Дозорный пояснил, что «Сапог» полон солдат и констеблей, которые заняли его сегодня днем. Все, кто там был, успели бежать или, может, арестованы — это ему неизвестно. Он предупредил уже множество людей, чтобы не шли туда, и они, наверное, прячутся теперь на рынках или в других местах. Лежа в канаве, он видел вдали огни пожаров, но теперь все уже погасло. Проходившие здесь люди толковали между собой об этих пожарах, и, видимо, все сильно напуганы. О Барнеби он ничего не мог сообщить, даже имени такого не слыхал. Он слышал, как говорили люди, что кого-то тут схватили и отправили в Ньюгет. Верно это или нет, он не знал.

Три приятеля стали совещаться, что делать дальше. Хью, предполагая, что Барнеби схвачен солдатами и сидит под арестом в «Сапоге», был за то, чтобы подкрасться к дому и подже́чь его, но Деннис и Сим, не склонные пускать в ход такие крайние средства без поддержки отряда, утверждали, что если Барнеби арестован, то уж, наверное, его отправили в более надежную тюрьму, чем «Сапог», — неужели же солдаты рискнули бы оставить его на всю ночь в таком не защищенном от нападения месте? Вняв этим разумным доводам, Хью согласился повернуть обратно и идти на Флитский рынок, куда, узнав о положении дел, уже пошли, вероятно, искать убежища некоторые их соратники.

Необходимость действовать придала трем приятелям бодрости и новых сил. Они поспешно тронулись в путь, забыв об усталости, от которой только несколько минут назад просто с ног валились, и скоро пришли на Флитский рынок.

Рынок этот в те времена представлял собой длинный и беспорядочный ряд деревянных сараев, ларьков, навесов на месте нынешней Фаррингдон-стрит. Вся эта неприглядная куча строений, громоздившаяся посреди дороги, сильно затрудняла движение экипажей и досаждала пешеходам, которым приходилось лавировать между фургонами, корзинами, тачками, тележками, бочками, лотками и скамьями, сталкиваясь ежеминутно с носильщиками, возчиками, разносчиками и прокладывая себе дорогу сквозь пеструю толпу покупателей, продавцов, карманных воров, праздношатающихся и всяких темных личностей. Воздух здесь был пропитан вонью гнилых овощей и фруктов, требухи из мясных лавок, всяких отбросов и мусора. Все, что существует для удобства населения, в те времена являлось лишь источником массы неудобств, и Флитский рынок мог служить блестящим тому подтверждением.

Здесь-то многие бунтовщики укрывались не только эту ночь, но и две-три предыдущие, — потому ли, что навесы и пустые корзины в какой-то мере могли заменить им спальни, или потому, быть может, что здесь в случае надобности было чем наспех забаррикадироваться от преследователей. Уже совсем рассвело, но утро было холодное, и целая группа этих людей собралась у огня в трактире. Пили горячее пиво с джином, курили трубки и строили планы на завтра.

Так как Хью и оба его спутника были хорошо известны большинству присутствующих, их встретили весьма радушно и уступили им самые почетные места. Дверь крепко-накрепко заперли, чтобы сюда не проникли нежеланные гости, и начался обмен новостями.

— Говорят, солдаты заняли «Сапог», — сказал Хью. — Кто-нибудь из вас знает подробности?

Несколько человек закричали, что знают, но, так как большинство собравшихся здесь провели ночь вне Лондона — громили Уоррен или участвовали в других ноч-

ных походах, — то на поверку оказалось, что знают они не больше самого Хью. О том, что в «Сапоге» солдаты, их предупредил разведчик, и они эту весть передавали друг другу, а очевидцев среди них не оказалось.

— Мы оставили там вчера караульного, — сказал Хью, обводя всех глазами, — и я его не вижу среди вас. Знаете, это Барнеби, тот, что в Вестминстере сшиб с лошади гвардейца. Может, кто видел его или слышал что-нибудь о нем?

Все качали головами и, бормоча, что ничего не знают, вопросительно оглядывались на соседей. Вдруг со двора донесся какой-то шум, и они услышали голос человека, который спрашивал, нет ли тут Хью, и уверял, что у него к Хью неотложное дело.

— Если он один, впустите его! — крикнул Хью тем, кто охранял дверь.

— Да, да, — поддержали его остальные, — пустите!

Дверь распахнулась, и в комнату быстро вошел запыхавшийся молодой человек. У него не было одной руки, голова и лицо были обвязаны окровавленной тряпкой, точно у тяжело раненного, одежда изодрана, в единственной руке он держал толстую палку. Он спросил, кто здесь Хью.

— Это я, — отвечал тот. — Что вам нужно?

— Мне поручено вам кое-что передать, — сказал пришедший. — Вы знаете Барнеби?

— Что с ним? Это он послал вас ко мне?

— Да. Его схватили. Он в Ньюгете, в одном из самых надежных казематов. Он защищался изо всех сил, но их было слишком много. Вот и все, что он велел вам передать.

— Когда вы его видели? — поспешно спросил Хью.

— Его вел в тюрьму целый отряд солдат. Они шли боковыми улицами, не той дорогой, где мы их поджидали. Нас несколько человек все-таки попробовали отбить его, и он крикнул мне, чтобы я сообщил вам, где он. Мы здорово дрались, но ничего не вышло. Вот глядите!

Он указал на свою одежду, на забинтованную голову и, все еще тяжело дыша, обвел глазами комнату, потом снова повернулся к Хью.

— Я вас знаю в лицо, — сказал он, — потому что был в толпе и в пятницу, и в субботу, и вчера, но не знал вашего имени. Вы смелый парень, и Барнеби тоже. Он дрался, как лев, да это не помогло. Ну, и я сделал все, что может сделать человек, у которого только одна рука.

Он снова окинул испытующим взглядом все, что его окружало, — впрочем, направление его взгляда трудно было определить, так как повязка почти скрывала лицо, — затем, круто обернувшись к Хью, сжал свою палку так порывисто, словно ожидал нападения, и принял оборонительную позу.

Но если у него и были какие-нибудь опасения, поведение присутствующих быстро их рассеяло. Никто из них в эту минуту не обращал внимания на вестника — слишком взволновали их принесенные вести. Со всех сторон загремели проклятия, угрозы, брань. Одни кричали, что если это стерпеть, то не сегодня-завтра все угодят в тюрьму, другие — что следовало бы раньше освободить арестованных, тогда не забрали бы и Барнеби. Один гаркнул во все горло: «Кто идет со мной в Ньюгет?» Ответом ему был дружный крик, и все ринулись к выходу.

Однако Хью и Деннис загородили собой дверь и удерживали толпу, пока шум не улегся настолько, что их голоса можно было расслышать. Тогда они объявили, что идти сейчас, среди бела дня, — безумие; надо дождаться темноты, разработать план нападения и освободить не только своих, но всех заключенных, а тюрьму сжечь.

— И не только одну эту тюрьму, — воскликнул Хью, — а все тюрьмы в Лондоне, чтобы некуда было сажать арестованных. Да, да, все будут гореть, как костры. Дотла их сожжем! Слушайте! — Он схватил Денниса за руку. — Кто из вас настоящий мужчина, идите с нами! Поклянемся освободить Барнеби и не оставить ни единой тюрьмы в городе! Кто с нами, давайте на том руку!

Все руки протянулись к Хью. И бунтовщики дали страшную клятву нынче же ночью освободить из Ньюгета товарищей, взломав все двери, а затем сжечь тюрьму, хотя бы им самим пришлось погибнуть в огне.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Той самой ночью (в бурные и смутные времена события так быстро следуют одно за другим, что часто за сутки их происходит больше, чем у иного за целую жизнь) мистер Хардейл, с помощью Соломона крепко связав и посадив на лошадь своего пленника, повез его в Чигуэлл, чтобы оттуда доставить в Лондон и сразу передать в руки правосудия. Он рассчитывал, что беспорядки в городе послужат ему достаточным основанием, чтобы требовать заключения убийцы в тюрьму еще до рассвета, ибо сейчас никто не мог ручаться за надежность караулен или обычных мест предварительного заключения, и вести арестованного по улицам, когда чернь снова бунтует, было бы не только рискованно, но прямо-таки очень опасно, так как это могло вызвать попытку отбить его.

Поручив Соломону вести лошадь, мистер Хардейл сам пошел рядом, и так они среди ночи добрались до деревни.

Здесь все были на ногах, жители не ложились спать, боясь, что их сожгут в постели, и, собравшись вместе, охраняли деревню, утешая и ободряя друг друга. Кто похрабрее, вооружились, и небольшой отряд выстроился на выгоне. К ним-то и обратился мистер Хардейл, которого здесь хорошо знали. В нескольких словах он рассказал им о том, что случилось, и горячо просил помочь ему доставить преступника в Лондон этой же ночью.

Однако ни один человек не решился и пальцем шевельнуть для него: бунтовщики, проходя через деревню, пригрозили жестоко расправиться с каждым, кто посмеет тушить пожар в Уоррене или окажет малейшую помощь мистеру Хардейлу да и всякому другому католику. Ослушаться — значило распроститься не только со всем имуществом, но и с жизнью. Они объяснили мистеру Хардейлу, что собрались здесь для самозащиты и не могут ему помочь, ибо это грозит им страшной карой. Сказано это было не без колебаний и сожаления, но все боялись даже подойти к нему близко и тревожно поглядывали на пленника, который сидел на лошади, низко опустив голову в надвинутой на глаза шляпе, неподвижный и безмолвный, как призрак.

Видя, что уговорить их будет невозможно, так как они сильно напуганы зверствами разъяренной черни, мистер Хардейл стал умолять, чтобы они хотя бы позволили ему воспользоваться единственной в деревне каретой и парой лошадей. И этого тоже нелегко было добиться, но в конце концов ему сказали, что он может делать что хочет, только пусть, ради бога, поскорее уезжает из деревни.

Пока Соломон Дэйзи держал лошадь под уздцы, мистер Хардейл собственноручно выкатил карету и хотел было уже запрягать сам, но тут местный почтальон, добрый, хоть и непутевый парень, на которого произвела впечатление его страстная настойчивость, бросил вилы, которыми он вооружился, и объявил, что пусть разбойники искрошат его на куски, не может он стоять в стороне и не помочь порядочному человеку, который никому никогда не делал зла и находится в таком безвыходном положении. Мистер Хардейл крепко пожал ему руку и поблагодарил от всей души. Через пять минут карета была запряжена, и добродушный шалопай сидел уже на козлах. Убийцу посадили в карету, опустили занавески, Соломон Дэйзи сел рядом с почтальоном, а мистер Хардейл вскочил на свою лошадь и подъехал вплотную к дверцам — и они в молчании двинулись среди ночи по дороге в Лондон.

В деревне все были так напуганы, что не нашлось охотников приютить даже лошадей, спасшихся из пылающих конюшен Уоррена. Проезжая, Хардейл и причетник видели, как бедные животные щипали у дороги чахлую траву, и почтальон рассказал, что они сначала примчались в деревню, но жители их отогнали, боясь навлечь на себя месть громил.

Такая же паника царила не только в глухих местах, вроде Чигуэлла, где люди невежественны, беззащитны и потому боязливы. Подъезжая к Лондону в сером свете утра, путники наши встречали целые семьи несчастных католиков: до смерти напуганные угрозами бунтовщиков и предостережениями соседей, они ушли из города пешком и без вещей, так как не могли достать ни единой телеги или лошади, чтобы увезти свое добро, и вынуждены были все оставить на произвол судьбы. Близ Майл-Энда мистеру Хардейлу и его спутникам пришлось проезжать

мимо дома, хозяин которого, небогатый католик, нанял фургон, рассчитывая в полночь увезти свою мебель, и уже заранее вытащил все на улицу, чтобы по прибытии фургона не терять времени. Но фургонщик, с которым он сговорился, увидев пожары и промчавшуюся мимо его дома орду бунтовщиков, побоялся везти вещи католика, и теперь несчастный джентльмен с женой, маленькими детьми и служанкой сидели на пожитках под открытым небом, с трепетом встречая наступающий день, не зная, куда кинуться, что предпринять.

Рассказывали, что все почтовые кареты боятся брать пассажиров, исповедующих гонимую религию. Кучера даже за большие деньги не хотели везти тех, кого знали, как католиков, или кто сам признавался, что он — католик. А вчера — рассказывали беженцы — в Лондоне уже никто не здоровался на улице со знакомыми католиками, боясь, как бы это не было замечено шпионами и как бы за это не сожгли их дома и все имущество. Один из беженцев, — священник сожженной бунтовщиками католической церкви, кроткий и безобидный, дряхлый старичок, который брел совсем один, решив отойти подальше от города, а там попытаться сесть в почтовую карету,— сказал мистеру Хардейлу, что вряд ли он найдет судью, настолько отважного, чтобы по жалобе католика отправить сейчас преступника в тюрьму. Но несмотря на все эти неутешительные сведения, мистер Хардейл продолжал путь, и вскоре после восхода солнца они добрались до Меншен-Хауса *.

Подъехав к дому лорд-мэра, мистер Хардейл соскочил с лошади. Стучаться в дверь ему не пришлось — она была открыта, и на пороге стоял тучный пожилой джентльмен с очень красным, прямо-таки багровым лицом. Он был в сильном волнении и спорил с кем-то, стоявшим внутри, а привратник делал попытки закрыть дверь и выпроводить непрошенного посетителя. Мистер Хардейл с понятной в его положении горячностью и нетерпением ринулся вперед и открыл уже было рот, но толстяк не дал ему вымолвить ни слова.

— Дорогой сэр, — сказал он, — прошу вас, позвольте сначала мне добиться ответа. Вот уже шестой раз я прихожу сюда — пять раз приходил за вчерашний день.

Моему дому грозит разрушение, его подожгут сегодня ночью (хотели поджечь вчера, но не успели — у них, видно, были другие дела). Ради бога, дайте сперва мне кончить разговор!

— Пожалуйста, сэр, — отозвался мистер Хардейл. — Мой дом уже сожжен дотла. Дай бог, чтобы ваш уцелел. Говорите, но, сделайте милость, поскорее.

— Вы слышите, милорд? — крикнул пожилой джентльмен наверх, где на площадке лестницы мелькал чей-то халат. — Вот у этого джентльмена уже сожгли дом прошлой ночью.

— О, господи, боже мой! — послышался оттуда раздраженный голос. — Мне очень жаль, но что делать? Не могу же я выстроить ему дом заново! Вы хотите, чтобы глава лондонского магистрата занимался восстановлением ваших домов? Вздор и бессмыслица!

— Но глава магистрата, если он человек, а не деревяшка, мог бы воспрепятствовать разрушению этих домов, и тогда их не пришлось бы восстанавливать — не так ли, милорд? — запальчиво крикнул пожилой джентльмен.

— Вы ведете себя неприлично, сэр, — сказал лорд-мэр. — Во всяком случае, неучтиво.

— Неучтиво, милорд? — возразил пожилой джентльмен. — Я был учтив во время вчерашних пяти визитов к вам. Но не могу же я вечно быть учтив! Как тут соблюдать учтивость, когда люди каждую минуту могут лишиться крова, а то и сами будут сожжены в своих домах! Что мне делать, милорд? Добьюсь я защиты или нет?

— Я вчера уже вам говорил, сэр, что вы можете пригласить к себе в дом олдермена, если вам удастся уговорить кого-либо из них.

— На кой черт мне ваш олдермен? — сердито вопросил пожилой джентльмен.

— Чтобы отпугнуть толпу, сэр, — пояснил лорд-мэр.

— Господи твоя воля! — простонал его собеседник, в комичном отчаянии утирая лоб. — Надо же такое придумать! Олдермен отпугнет толпу бандитов! Да будь они даже грудными младенцами, — что же вы думаете, они испугаются вашего олдермена? Может, вы сами пожалуете ко мне?

— Я? — переспросил лорд-мэр грозно. — Конечно, нет!

— Ну, так что же мне делать? Сын я этой страны или нет? Состою я под защитой ее законов? Если я плачу королю налоги, должен я получать что-то взамен?

— Право, не знаю, — сказал лорд-мэр. — Как жаль, что вы католик! Почему вы не протестант — тогда вы не попали бы в такую передрягу. Нет, просто ума не приложу, что мне с вами делать... За спиной этих бунтовщиков стоят влиятельные люди. О, господи, что за мученье быть общественным деятелем!.. Наведайтесь еще раз сегодня... А то хотите — я вам пошлю стражника? Или еще лучше — констебля Филипса, он сегодня свободен. Человек он для своих лет не очень дряхлый, только с ногами у него плохо, — и вечером при свечах сойдет за молодого. Если его поставить у окна, он вполне может внушить страх громилам... О, господи!.. Зайдите еще раз, тогда посмотрим.

— Постойте! — поспешно закричал мистер Хардейл, наваливаясь на дверь, которую привратник пытался захлопнуть. — Милорд, умоляю вас, не уходите! Я привез человека, который двадцать восемь лет назад совершил убийство. Я вам в нескольких словах расскажу все и готов подтвердить свои показания присягой, этого достаточно, чтобы отправить его в тюрьму и начать следствие. Мне сейчас важно только одно — чтобы его заперли в надежном месте. Малейшая задержка — и бунтовщики его освободят.

— Ох, еще вы тут! — закричал лорд-мэр. — Господи помилуй! Вы же слышали, этим бунтовщикам покровительствуют влиятельные люди... Дайте мне покой, наконец!

— Выслушайте меня, милорд! Убитый — мой брат. Я был его наследником, и в то время нашлось немало клеветников, которые шушукались, будто я замешан в этом подлом и страшном деле. А я его горячо любил — он там, на небесах, знает это. После стольких лет горя и уныния настал, наконец, час отомстить за брата и раскрыть зверское преступление, скрытое с неслыханной, дьявольской ловкостью. Каждая секунда промедления может снова развязать руки убийце и дать ему возмож-

ность скрыться. Милорд, я требую, чтобы вы меня выслушали и немедленно приняли меры!

— О, господи! Ведь вы же пришли в неурочное время — нет, я вам просто удивляюсь... Это так не поджентльменски! Нельзя же так! И вы тоже, вероятно, католик?

— Католик, — подтвердил мистер Хардейл.

— Силы небесные, сегодня все, кажется, сговорились стать католиками нарочно, чтобы меня мучить и злить! — воскликнул лорд-мэр. — И зачем только вы сюда пришли! Теперь они подожгут Меншен-Хаус, и в этом будете виноваты вы. Заприте где-нибудь своего арестованного, сэр, приставьте к нему караульного и... приходите сюда в более подходящее время. Тогда посмотрим...

И раньше чем мистер Хардейл успел открыть рот, громкий стук захлопнувшейся двери и лязг задвижки возвестили, что лорд-мэр скрылся в свою спальню и дальнейшие протесты ни к чему не приведут. Оба просителя вышли на улицу, и привратник поспешил запереть дверь.

— Вот так он меня всякий раз и выпроваживает, — сказал пожилой джентльмен. — Где найти защиту, и кто мне возместит убытки? А вы что намерены теперь делать, сэр?

— Попытать счастья в другом месте, — ответил мистер Хардейл, уже сидя на лошади.

— Очень вам сочувствую, поверьте, — ведь мы с вами в одинаковом положении, — сказал пожилой джентльмен. — Сегодня вечером у меня, быть может, уже не будет дома, и некуда будет пригласить вас, так позвольте мне сделать это сейчас. Впрочем, знаете что, — добавил он, пряча обратно в карман вынутый было бумажник, — своей визитной карточки я вам не дам: если ее при вас найдут, это может наделать вам хлопот. Фамилия моя — Лэнгдейл, я винокур и виноторговец, живу в Холборн-Хилле. Буду рад видеть вас у себя.

Мистер Хардейл поклонился и двинулся дальше, попрежнему держась у самых дверец кареты. Он решил ехать к дому сэра Джона Фильдинга, который имел репутацию судьи смелого и энергичного, а если по дороге на них нападут бунтовщики,— собственноручно расправиться с убийцей брата, но не дать освободить его.

Однако они благополучно добрались до дома судьи (бунтовщики в это время, как мы уже знаем, были заняты обсуждением более важных дел), и мистер Хардейл постучал в дверь. Так как по городу ходили слухи, что бунтовщики собираются убить сэра Джона, то в доме всю ночь дежурили констебли. Одному из них мистер Хардейл изложил свое дело, а тот, найдя его достаточно неотложным, согласился разбудить судью, и мистер Хардейл был немедленно принят.

Убийцу тут же, не теряя времени, отправили в Ньюгет. Тогда это было новое здание, только что отстроенное и считавшееся неприступным. Когда был изготовлен приказ об аресте, трое полицейских покрепче связали убийцу (он, видно, пробовал в карете освободиться и ослабил веревки), заткнули ему рот кляпом, чтобы он не мог позвать на помощь при встрече с бунтовщиками, и сели с ним в карету. Эти трое были вооружены до зубов и представляли достаточно надежный конвой, но на всякий случай они еще опустили занавески, так что карета казалась пустой, и предложили мистеру Хардейлу ехать впереди, подальше, чтобы не привлекать к ней внимания.

Эти предосторожности оказались не лишними: проезжая по городу, они несколько раз встречали группы мужчин, которые несомненно остановили бы карету, если бы не считали ее пустой. Но, так как ее пассажиры ничем не выдавали своего присутствия, а кучер, чтобы избежать расспросов, нарочно глазел по сторонам, то они беспрепятственно доехали до тюрьмы, преступник был вмиг высажен и очутился за ее надежными и мрачными стенами.

Мистер Хардейл зорко, с напряженным вниманием следил за тем, как его заковывали, потом отвели в камеру и накрепко заперли дверь. Даже выйдя уже на улицу, он постоял, потрогал окованные железом ворота, провел руками по каменной стене, словно желая убедиться, что она настоящая, порадовался ее толщине. И только в ту минуту, когда, отвернувшись, наконец, от ворот тюрьмы, он глянул на пустую улицу, такую тихую и безлюдную в это ясное утро, он вдруг ощутил, какая тяжесть у него на душе, какая тревога за близких. Потеря дома уже казалась ему лишь каплей в море его несчастий.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Оставшись один, заключенный сел на койку и, упершись локтями в колени, подперев руками подбородок, просидел в такой позе несколько часов. Трудно сказать, о чем он думал. Мысли его были смутны, неопределенны, и только временами останавливались на его нынешнем положении и обстоятельствах, которые привели его сюда. Трещины в каменном полу и между кирпичами стен, решетка на окне, железное кольцо, вделанное в пол, — вот какие, странно мешавшиеся одна с другой мелочи вызывали в нем неописуемый интерес, поглощали все его внимание. Правда, за всеми его мыслями таилось где-то неясное сознание вины и страх смерти, но это было так смутно, как боль, которая беспокоит спящего: она врывается в его сны, отравляет все блаженные грезы, отнимает вкус у приснившихся ему яств, всю прелесть у музыки, даже радость превращает в несчастье, а между тем эта боль во сне — не физическое страдание, а нечто бесформенное, неосознанное, только тень ощущения, всепроникающая, но сама по себе не существующая, невидимая, неосязаемая, неуловимая до той минуты, когда человек просыпается и вместе с ним просыпается настоящая мучительная боль.

Прошло много времени, и вот дверь открылась. Узник поднял глаза, посмотрел на вошедшего — это был Стэгг — и снова впал в прежнее состояние.

Слепой двинулся туда, где слышал дыхание, и, остановившись перед узником, протянул руку, чтобы убедиться, что он не ошибся, но долго не говорил ничего.

— Эге, значит, плохо дело, — сказал он, наконец. — Плохо дело, Радж.

Узник, шаркая ногами по полу, отодвинулся от него подальше и ничего не ответил.

— Как это вы попались? — продолжал слепой. — И где? Вы рассказали мне о себе не все, только половину. Ну, да это неважно, теперь я знаю вашу тайну. Так где же и как это случилось? — спросил он вторично, подходя еще ближе.

— В Чигуэлле, — был ответ.

— В Чигуэлле! А зачем вас туда занесло?

— Я бежал от одного человека, и на него именно и наткнулся. За мной гонялся не только он, меня преследовала судьба... Меня привело в Чигуэлл что-то сильнее моей воли. Когда я увидел, что он подстерегает меня по ночам в том доме, где раньше жила *она,* я понял, что мне от него не уйти, никак не уйти! А потом я услышал колокол...

Он вздрогнул, пробормотал, что здесь очень холодно, и быстро зашагал из угла в угол. Потом снова сел на койку в прежней позе.

— Вы сказали, что услышали колокол... — помолчав, напомнил слепой.

— Молчите. Не надо об этом! — поспешно перебил его Радж. — Он все еще висит там.

Слепой повернулся к нему лицом, на котором было написано жадное любопытство, но узник, не глядя на него, продолжал:

— В Чигуэлл я пошел искать бунтовщиков. Слежка за мной того человека не давала мне покоя, я знал, что мне одно спасение — пристать к ним. Но я не нашел их в Чигуэлле, они уже ушли оттуда в Уоррен. И когда *он* затих, я тоже пошел туда.

— Кто затих?

— Колокол... Пошел в Уоррен, а их там и след простыл. Я подумал, что, может, кто из них еще бродит среди развалин, и стал искать, но тут вдруг... — Радж тяжело перевел дух и утер лоб рукавом, — я услыхал его голос.

— Что же он говорил?

— Не помню. Не все ли равно? Я в это время стоял у той башни, где я когда-то...

— Так, так, — Стэгг весьма хладнокровно кивнул головой. — Понимаю.

— Я стал взбираться по лестнице... то есть по остаткам ее... Хотел спрятаться и подождать, пока он уйдет. Но он услышал... И как только я стал подниматься, он кинулся за мной.

— Вы же могли укрыться в каком-нибудь проломе и сбросить его вниз или заколоть, — сказал слепой.

— Вы так думаете? Но между ним и мной стоял

третий... Он этого не видел, а я видел... Стоял, подняв над его головой окровавленную руку. Там, наверху, в комнате, *тот* и я стояли так в ночь убийства... И, падая, он тогда так же точно поднял руку и посмотрел на меня... Я знал, что в этом самом месте мне придет конец.

— Какая у вас, однако, богатая фантазия, — сказал слепой с усмешкой.

— Пролейте чью-нибудь кровь, тогда увидите, до чего дойдет *ваша* фантазия.

Радж застонал и, качаясь из стороны в сторону, в первый раз поднял глаза. Через минуту он заговорил снова тихим, глухим голосом:

— Двадцать восемь лет! Двадцать восемь лет! А он за столько лет ничуть не переменился, не постарел — все тот же. Он стоял у меня перед глазами всегда, во тьме ночной и среди бела дня, в сумерки, в лунном свете и в солнечном, при свете огня, ламп и свечей, и в непроглядном мраке, где бы я ни был, на людях или один, на берегу или на корабле... И всегда такой же!.. Иногда он оставлял меня в покое целыми месяцами, а иногда не покидал ни на миг. Я видел его в море — глубокой ночью он скользил рядом с отражением луны в неподвижной воде... Видел на пристанях, на рынках, — подняв руку, он стоял в шумной толпе людей, не подозревавшей, что среди них стоит этот страшный безмолвный призрак. Вы говорите — фантазия? А вы и я действительно существуем? А эти железные цепи, в которые меня заковал кузнец, они тоже — фантазия, которую можно рассеять, дунув на них?

Слепой слушал молча.

— Фантазия? А то, что я его убил,— тоже только моя фантазия? Может, и то фантазия, что, уходя из комнаты, где он лежал убитый, я увидел за дверью в темноте человека и по ужасу в его глазах понял, что он уже подозревает правду? Разве я не помню, как дружески заговорил с ним, подходя все ближе и ближе с еще не остывшим ножом в рукаве? Разве я только вообразил, что и этот погиб от моей руки? Что он пятился от меня в угол, к стене, а я пригвоздил его к этой стене, и труп не упал, а стоял передо мной. Разве я не видел, как вижу вас, этого стоявшего передо мной на ногах мертвеца?

Слепой почувствовал, что он встал, и знаком попросил его опять сесть на койку, но Радж не обратил на это внимания.

— Вот тогда-то мне и пришла мысль свалить убийство на него. Я переодел его в мое платье и стащил по черной лестнице к пруду. Разве я не помню этот всплеск, когда я бросил его туда? Разве не помню, как в лицо мне брызнула вода и, когда я утирал его, мне казалось, что это не вода, а кровь?..

Потом я пошел домой. Господи, какой это был долгий путь! Я пришел к жене и все ей сказал. Она упала, как подкошенная. А когда я нагнулся и хотел поднять ее, она оттолкнула меня с такой силой, что я отлетел прочь, как ребенок. При этом она испачкала об меня руку кровью. Что же, и это все — только моя фантазия? Разве потом она на коленях не поклялась перед богом, что она и ее еще не рожденное дитя с этого часа отрекаются от меня, и словами, которые заставили меня похолодеть — меня, только что совершившего такое страшное дело! — приказала мне бежать, пока не поздно, ибо, хоть она мне жена и будет молчать обо всем, она не хочет жить со мной под одним кровом? И разве я не ушел в ту же ночь, отверженный богом и людьми, и не жил с тех пор, как выходец из ада, прикованный к нему цепью, бродя по земле, насколько позволяла эта цепь, и зная, что в конце концов она меня потянет обратно в ад?

— Зачем вы вернулись в Англию? — спросил слепой.

— Зачем кровь красна? Я не мог не вернуться, как не могу не дышать. Я боролся с этим, но меня гнала сюда через все препятствия и трудности какая-то неодолимая сила. Ничто не могло остановить меня. День и час были предопределены. Столько лет меня во сне и наяву преследовали призраки прошлого, и мысли мои возвращались к тому месту, которое должно стать моей могилой. Зачем я вернулся? Да затем, что эта тюрьма ждала меня, и *он* указывал мне на ее ворота.

— Вас не узнали? — спросил слепой.

— Меня двадцать два года считали мертвым. Нет, меня никто не узнал.

— Так надо было получше хранить свою тайну.

— *Мою* тайну! Мою? Эту тайну могло нашептать

людям каждое дуновение ветерка. Она была в мерцании звезд, о ней журчала река и шелестели листья на деревьях, о ней знали зима и лето, осень и весна. Она мелькала в лицах, звучала в голосах незнакомых людей. Все, что меня окружало, как будто имело языки, с которых готова была сорваться эта тайна. *Моя* тайна!

— Ну, открылась-то она во всяком случае из-за ваших действий, — возразил слепой.

— И действия были не мои. Я их совершал, но не по своей воле. По временам меня что-то *заставляло* бродить и бродить без конца вокруг того места. Когда это на меня находило, никакие цепи не могли бы удержать меня, я бы их разбил и пошел туда. Как магнит притягивает железо, так убитый мною человек из своей могилы притягивал меня, когда ему этого хотелось. Что же вы думаете, — и это моя фантазия? Да разве я по своей воле ходил в Чигуэлл? Разве я не боролся с той силой, что гнала меня туда?

Слепой пожал плечами и недоверчиво усмехнулся, а Радж снова сел, и оба долго молчали.

— Следовательно, — начал слепой, прервав, наконец, молчание, — вы раскаялись, покорились судьбе и желаете примириться со всеми, в особенности с женой, которая вас до этого довела? Вы, как величайшей милости, ждете, чтобы вас поскорее отправили на виселицу? Ну, тогда остается только с вами распроститься. Я недостоин дружбы такого праведника.

— Но я же вам сказал, что боролся, как только мог, с той силой, которая гнала меня сюда! — сердито возразил Радж. — Разве вся моя жизнь за последние двадцать восемь лет не была постоянной борьбой и сопротивлением? Что же вы думаете — мне хочется покорно лечь и умереть? Все люди боятся смерти, а я больше всех.

— Вот это уже другой разговор. Так-то лучше, Радж... впрочем, не буду больше вас так называть. Теперь вы рассуждаете здраво, — сказал слепой уже дружелюбнее и положил руку ему на плечо. — Слушайте, я никого не убивал, потому что ни разу не был в таком положении, когда это имело бы смысл. Скажу больше — я вовсе не сторонник убийств, я их не одобряю и никому не советую убивать людей, потому что дело это весьма рискован-

ное, всегда рискованное. Но, поскольку вы имели несчастье впутаться в такую историю *до* знакомства со мной и долгое время были мне товарищем, полезным товарищем, я вам этого не ставлю в вину и не хочу, чтобы такой человек погиб без всякой надобности, — а сейчас в этом, по-моему, нет никакой надобности!

— Но что же мне еще осталось? — спросил узник. — Не могу же я прогрызть эти стены зубами?

— Ну, есть способы полегче, — возразил слепой. — Обещайте, что я не услышу от вас больше этого безумного бреда, дурацких фантазий, недостойных мужчины, и я расскажу вам, какой у меня план.

— Говорите, — сказал Радж.

— Ваша почтенная супруга, женщина с такой чуткой совестью, строго добродетельная, щепетильная, но не слишком слепо обожающая вас...

— Ну, что она?

— Она сейчас в Лондоне.

— Мне-то что? Черт ее побери, где бы она ни была.

— Гнев ваш понятен. Если бы она не отказалась от пенсии, вы не очутились бы здесь, и нам с вами жилось бы лучше. Но дело сейчас не в этом. Она в Лондоне. Когда я был у нее, я нарочно сказал, что вы находитесь поблизости, чтобы легче было ее уломать, — я же знал, что она никак не жаждет свидания с вами. И это ее, видимо, сильно испугало — вот она и ушла из деревни сюда, в Лондон.

— От кого вы это узнали?

— От моего друга, бравого старшины, знаменитого генерала и великого пустомели, мистера Тэппертита. Кстати, мы с ним виделись вчера, и он мне рассказал, что ваш сын, Барнеби, названный так, конечно, не в честь своего родителя...

— Сами вы пустомеля! Говорите покороче.

— Как вам не терпится! — сказал слепой все так же невозмутимо. — Это хороший знак — похоже на то, что вы ожили. Так вот, вашего сына Барнеби сманил от матери какой-то приятель, знававший его еще в Чигуэлле. И он пристал к бунтовщикам...

— А мне что за дело? Разве мне легче будет, если со мной вместе повесят и сына?

— Погодите, погодите, приятель, — сказал слепой с хитрой усмешкой. — Уж больно вы нетерпеливы! Допустим, я разыщу вашу супругу и скажу ей так: «Вы тоскуете по сыну, мэм? Хорошо. А я знаю, кто его сманил и где он. Я могу вам его вернуть. Очень хорошо. За это меня следует вознаградить, мэм, не так ли? Услугу я взамен потребую ничтожную, вам она ничего не будет стоить — а это уж лучше всего. Не так ли, дорогая леди?»

— Что это еще за шутки?

— Весьма возможно, что она ответит мне именно такими словами, и тогда я скажу: «Какие уж тут шутки, миледи! Человек, которого считают вашим мужем (трудно ведь установить истину после стольких лет), сидит в тюрьме по обвинению в убийстве, и жизнь его в опасности. Ну-с, а на самом деле ваш муж давным-давно в могиле. И того джентльмена, что сидит в тюрьме, перестанут принимать за него, если вы будете так любезны заявить под присягой, что муж ваш умер, объяснив, когда и как, — всего несколько слов — и что этот арестант, хотя он немного на него похож, — такой же муж вам, как я. Вашего показания вполне достаточно, чтобы уладить дело. Если вы обязуетесь дать его, мэм, я позабочусь, чтобы ваш сын (славный паренек!) был в безопасности, а после вашей пустячной услуги доставлю его вам здравым и невредимым. Если же вы откажетесь исполнить мою просьбу, то, боюсь, сына вашего могут выдать властям, а тогда он несомненно будет приговорен к смерти. Так что вы должны сделать выбор между его жизнью или смертью. Откажетесь — его ждет виселица. Согласитесь — так еще не выросло то дерево, из которого соорудят ему виселицу, и не посеяна та конопля, из которой совьют для него веревку!»

— А ведь в этом есть проблеск надежды! — воскликнул Радж.

— Проблеск! Скажите лучше — надежда, ослепительная, сияющая, как солнце в полдень! — подхватил слепой. — Тсс! Я слышу где-то вдалеке шаги. Ну, прощайте пока и положитесь на меня.

— Когда же я узнаю...

— Как только у меня будут какие-нибудь новости,

Может, уже завтра. Слышите, звенят ключи: сюда идут, свидание окончено. Сейчас ни слова больше, иначе нас могут подслушать.

Не успел он это сказать, как ключ повернулся в замке, в дверь заглянул один из тюремщиков и объявил, что посетителям пора уходить.

— Так скоро? — сказал Стэгг медовым голосом. — Ну, ничего не поделаешь. Крепитесь, дружище. Ошибка скоро разъяснится, и вы опять станете человеком. Если бы этот благородный джентльмен проводил до ворот бедного слепого, который может отблагодарить только молитвой за него, и повернул его лицом к западу, он сделал бы доброе дело... Спасибо, дорогой сэр. Большое вам спасибо!

Говоря это, Стэгг на секунду задержался в дверях, повернув ухмыляющееся лицо к узнику, и вышел.

Проводив его до ворот, тюремщик вернулся, снова отпер дверь каземата и, распахнув ее настежь, сказал заключенному, что он может, если желает, погулять час на тюремном дворе.

Радж только угрюмо кивнул в ответ. Оставшись снова один, он задумался о том, что услышал от слепого. Взволнованный надеждами, которые пробудил в нем этот разговор, он то рассеянно щурился на яркий свет за открытой дверью, то следил за тенями, которые отбрасывала одна стена на другую и на каменные плиты двора.

Квадратный двор тюрьмы, обнесенный высокими стенами, был уныл и темен. Здесь было так холодно, что, казалось, замерзали даже забредавшие сюда солнечные лучи. Вид этих суровых, голых камней пробудил в душе узника тоску по лугам и деревьям и страстную жажду свободы. Он встал и, прислонясь к дверному косяку, поднял глаза к ясному голубому небу, улыбавшемуся даже этой мрачной обители преступлений. Казалось, он вспоминал, как когда-то, в далекие времена, лежа под деревьями среди сладких ароматов лета, смотрел на это небо сквозь качавшиеся над его головой ветви.

Вдруг внимание его привлек какой-то лязг. Он узнал этот звук — ведь только что, шагнув к двери, он вздрогнул от такого же точно лязга собственных кандалов.

Затем послышалось пение, и Радж увидел на плитах двора чью-то тень. Голос умолк (видно, поющий на миг забыл, где находится, а теперь опять вспомнил это) — и тень скрылась под тот же лязг железа.

Радж вышел во двор и стал ходить взад и вперед, будя эхо резким бряцаньем своих цепей. Проходя, он заметил, что рядом с его дверью есть другая и она тоже сейчас открыта настежь.

Раз пять-шесть обойдя двор кругом и остановившись, чтобы понаблюдать за этой дверью, он снова услышал тот же лязг. За решетчатым окошечком появилось чье-то лицо — его трудно было рассмотреть, так как внутри было темно, а брусья решетки очень широки, — и вслед за тем из камеры вышел человек и направился к нему.

Радж был так измучен одиночеством, как будто он уже целый год сидел в тюрьме. Взволнованный надеждой обрести товарища, он поспешно шагнул навстречу второму узнику.

Возможно ли? Да ведь это его сын!

Они стояли лицом к лицу и смотрели друг на друга, отец — понуро, съежившись от невольного испуга, а Барнеби — напрягая слабую память и спрашивая себя, где он видел раньше этого человека. Сомнения его длились недолго, — он вдруг схватил Раджа за плечи и, пытаясь повалить его, крикнул:

— Ага, знаю! Ты — тот разбойник!

Радж ничего не ответил и, опустив голову, молча вырывался. Но почувствовав, что бороться с этим юношей ему не под силу, он поднял глаза, в упор посмотрел на Барнеби и сказал:

— Я — твой отец.

Бог весть, какая волшебная сила таилась для Барнеби в этом слове: он выпустил Раджа, отшатнулся и ошеломленно уставился на него. Потом неожиданно кинулся к нему, обнял и прижался головой к его щеке.

Да, да, это отец! Конечно, отец. Но где же он пропадал так долго, зачем оставил мать одну... нет, хуже, чем одну, — с дурачком-сыном? Вправду ли она сейчас так счастлива, как говорит Хью? Где же она? Где-нибудь близко? Ох, нет, нет, разве она может быть счастлива, когда ее Барнеби в тюрьме!

Ни слова не услышал он в ответ. Только Грип громко каркал и прыгал вокруг них, словно заключая их в магический круг перед тем, как вызвать все силы ада.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Весь день полки, стоявшие в Лондоне и его окрестностях, дежурили в разных частях столицы. Выполняя приказ, разосланный по казармам и постам на расстоянии суточного перехода от Лондона, регулярные войска и милиция двинулись к городу по всем дорогам. Однако беспорядки приняли уже такие грозные размеры и бунтовщики, оставаясь безнаказанными, до такой степени осмелели, что появление множества войск, к которым все время присоединялись вновь прибывающие, не только не удержало, но раззадорило их, толкая на еще большие бесчинства. В Лондоне вспыхнуло пламя столь бурное, какого здесь не видывали даже в старину, в смутные времена.

И накануне и весь тот день командующий войсками тщетно пытался призвать к исполнению долга членов магистрата, в особенности лорд-мэра, самого трусливого и нерешительного из них всех. С этой целью к Меншен-Хаусу неоднократно посылались крупные войсковые части в распоряжение лорд-мэра, но никакими увещаниями и угрозами не удавалось принудить его отдать необходимый приказ, и солдаты стояли на улице праздно, без всякой пользы — похвальные усилия главнокомандующего принесли скорее даже вред: бунтовщики, быстро раскусив характер лорд-мэра, не преминули извлечь из этого выгоду и стали кричать повсюду, что вот, мол, даже гражданские власти и те — антипаписты и у них духу не хватает принять крутые меры против честных протестантов, которые ни в чем не повинны. Заявления эти делались с таким расчетом, чтобы их слышали солдаты, а те, вовсе не желая драться с народом, принимали их довольно благосклонно и на вопросы, будут ли они стрелять в своих, отвечали дружелюбно и простодушно: «Про-

вались мы на этом месте, если будем». Таким образом, бунтовщики решили, что солдаты — тоже антипаписты и готовы, ослушавшись командования, перейти на их сторону. Слухи о таком настроении в войсках передавались из уст в уста с поразительной быстротой, и как только на улицах и площадях появлялись солдаты, их окружали, приветствовали, пожимали им руки и всячески выражали им расположение и доверие.

Толпы бунтовщиков дефилировали по улицам уже ничуть не скрываясь, не соблюдая никакой осторожности. Они наводнили весь город. Когда кому-нибудь из них нужны были деньги, ему стоило только постучаться в любой дом или зайти в лавку и потребовать их для мятежников: требование немедленно удовлетворялось. Мирные горожане боялись давать отпор даже одиночкам, а что уж говорить о толпах бунтовщиков — те нигде не встречали никакой помехи. Они разгуливали, где хотели, собирались на улицах и публично обсуждали свои планы. Деловая жизнь в городе замерла, большая часть лавок была закрыта, и чуть ли не на всех домах их хозяева вывесили синие флаги в знак единодушия с антипапистами. Даже евреи в Хаундсдитче *, Уайтчепле и других частях города писали на своих дверях или ставнях: «Здесь живут истинные протестанты». Воля черни стала законом, и никогда ни одного закона так не боялись и не подчинялись ему так беспрекословно.

Около шести часов вечера на Линкольнс-Инн-Филдс * со всех сторон хлынула масса народу и здесь разделилась — очевидно, по какому-то заранее обдуманному плану — на несколько отрядов. Впрочем, не следует думать, что план этот был известен всем. Нет, это сделали несколько вожаков. Замешавшись в толпу на площади, они принялись распределять людей по отрядам так быстро, что казалось, будто в этом принимали участие все и каждый человек здесь заранее знал свое место.

Всем было ясно, что самый большой отряд, составлявший приблизительно две трети толпы, предназначается для нападения на Ньюгетскую тюрьму. В него вошли те, кто отличился в предыдущие дни, те, кого эти герои рекомендовали как смельчаков, подходящих для такого дела, все товарищи арестованных бунтовщиков и множе-

ство родных и друзей тех, кто был заключен в Ньюгете. Среди этой последней категории были не только самые закоренелые и отчаянные негодяи в Лондоне, но наряду с ними и люди сравнительно честные. Немало было в отряде и женщин в мужской одежде, шедших выручать из тюрьмы сына или брата; были здесь двое сыновей человека, приговоренного к смерти, которого вместе с другими тремя преступниками должны были казнить на следующий день. К отряду присоединилась большая компания карманных воров, чьи товарищи сидели в Ньюгете, и в довершение всего — десяток-другой падших женщин, движимых желанием освободить своих подруг, таких же отверженных, а быть может, — кто знает? — и просто сочувствием ко всем, чей удел — горе и безнадежность.

Заржавевшие сабли и пистолеты без пуль и пороха, кувалды, пилы, ножи, топоры и всякие орудия, награбленные в лавках мясников, целый лес дубин и железных брусьев, длинные лестницы для того, чтобы взбираться на стены (каждую такую лестницу тащили на плечах человек десять — двенадцать), горящие факелы, пропитанная смолой и серой пакля, колья, выломанные из плетней и частоколов, и даже костыли, отнятые на улицах у нищих калек, — вот что составляло их вооружение. Когда все было готово, Хью, Деннис и шагавший между ними Саймон Тэппертит стали во главе шествия. Шумя и толкаясь, толпа, как бушующее море, хлынула за ними.

Все ожидали, что к тюрьме пойдут прямо по Холборну, но вожаки повели их на Клеркенуэл и, пройдя тихой улицей, остановились перед домом Вардена под Золотым Ключом.

— Стучите! — приказал Хью своей свите. — Нам сегодня понадобится слесарь. Если не отопрут, ломайте дверь!

Мастерская была заперта, дверь и ставни — крепкие, массивные, и на стук никто не отозвался. Но когда в разозленной толпе раздались крики «Подожгите дом!» и к двери бросились люди с горящими факелами, наверху распахнулось окно и появилась внушительная фигура храброго слесаря.

— Что вам здесь нужно, мерзавцы? — крикнул он. — Где моя дочь?

— Без разговоров, старик! — отозвался Хью, жестами унимая своих соратников. — Сойди вниз да захвати свои инструменты. Ты нам сегодня понадобишься.

— Понадоблюсь, вот как! — закричал слесарь, бросив взгляд на свой военный мундир. — Да не будь у кое-кого в Лондоне заячьих душ, мы давно бы встретились. Слушай, парень! И вы все, кто пришел с ним, слушайте меня тоже! Среди вас я вижу десятка два знакомых лиц — так знайте, что с этой минуты вы уже все равно что мертвецы. Ступайте, пока вы на свободе, и ограбьте лавку какого-нибудь гробовщика: гробы вам очень скоро понадобятся.

— Сойдешь ты или нет? — заорал Хью.

— А ты отдашь мне дочь, разбойник? — закричал в ответ слесарь.

— Ничего я о ней не знаю. Эй, ребята, подпаливайте!

— Стойте! — крикнул Варден таким голосом, что они невольно остановились, и выставил в окно дуло ружья. — Пусть первым подойдет какой-нибудь старик — молодой вам еще пригодится.

Парень, уже подошедший было с факелом к двери и нагнувшийся, чтобы ее поджечь, быстро выпрямился и отскочил. А слесарь обвел глазами поднятые к нему лица и прицелился в него. Ружье он упер в плечо, и оно не дрожало, оно держалось так же твердо, как его дом.

— Предупреждаю: кто вздумает подойти, пусть сперва помолится богу, — сказал он решительно.

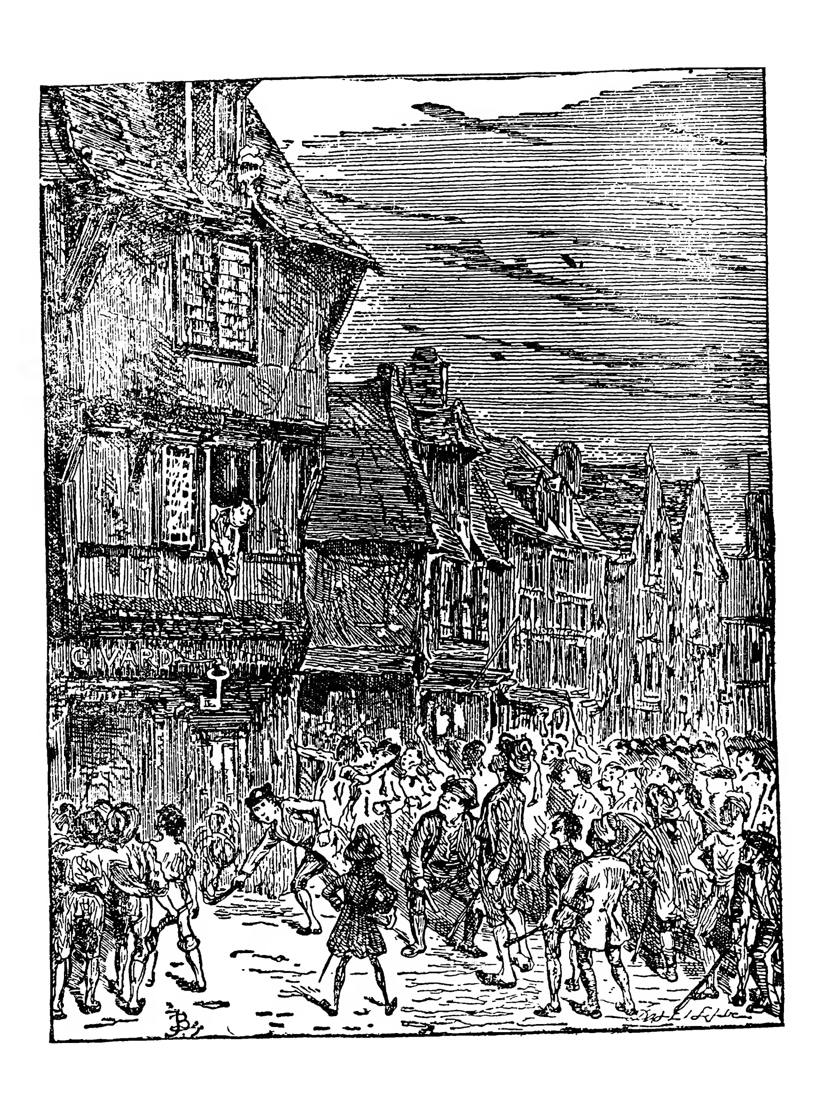
Вырвав факел из рук стоявшего поблизости парня, Хью с ругательством сделал шаг к двери, но его остановил пронзительный вопль, и, подняв глаза, он увидел в чердачном окне развевавшееся женское платье. Вопль повторился еще и еще, затем чей-то визгливый голос прокричал:

— Есть там внизу Симмун?

В тот же миг из окна высунулась худая шея, и мисс Миггс, неясно видная в сгущавшемся вечернем сумраке, завизжала, как сумасшедшая:

— Ах, добрые люди, я хочу услышать ответ от него самого. Отзовись, Симмун, отзовись!

Мистер Тэппертит, ничуть не польщенный таким вниманием, посмотрел вверх и приказал мисс Миггс, во-пер-


GIVARD

вых, замолчать, а во-вторых, немедленно сойти вниз и отпереть входную дверь, так как им во что бы то ни стало нужен ее хозяин.

— Ах, добрые люди! — продолжала вопить мисс Миггс. — Ох, драгоценный мой, единственный Симмун!

— Перестаньте молоть чепуху, слышите! — отрезал мистер Тэппертит. — Говорят вам, сойдите вниз и отоприте дверь! А вы, Гейбриэл Варден, бросьте ружье, иначе вам несдобровать!

— Сим, и вы, джентльмены, не бойтесь его ружья, — крикнула Миггс. — Я влила в дуло целую кружку пива.

Толпа так и взвыла, грянул дружный смех.

— Оно не выстрелит, хотя бы его зарядили до самого дула, — кричала Миггс. — Сим и вы, джентльмены, меня заперли здесь на чердаке, ход через дверь справа, на самый верх, потом еще по угловой лесенке, только не стукнитесь о балки и — ни шагу в сторону, не то провалитесь в нижнюю спальню, потому что потолок еле держится. Симмун и вы, джентльмены, он меня здесь запер, но я всегда стояла и буду стоять за святую протестантскую веру и проклинать этого Папу Вавилонского и все его языческие дела. Конечно, я знаю, мои чувства никому не интересны, — голос Миггс стал еще пронзительнее, — потому что я только ничтожная служанка, но я все-таки хочу их высказать и надеюсь на помощь тех, кто такого же мнения.

После первого сообщения мисс Миггс насчет ружья на нее перестали обращать внимание, и пока она изливала свои чувства, бунтовщики приставили лестницу к тому окну, у которого стоял слесарь. Хотя он успел закрыть его изнутри и мужественно защищался, нападающие, разбив стекла и сломав раму, быстро проникли в дом. Минуту-другую слесарь раздавал направо и налево мощные удары, но скоро остался безоружным среди разъяренной толпы. Комната наполнилась людьми, да и в дверях и окне виднелось множество лиц.

Слесарь очень разозлил бунтовщиков тем, что ранил двух из них, и задние кричали передним, что его надо схватить и повесить на фонарном столбе. Но Гейбриэл и тут не струсил и смело смотрел то на Хью, то на Денниса,

державших его за руки, то на Сима Тэппертита, который стоял перед ним.

— Вы украли у меня дочь, — сказал он. — А она мне гораздо дороже жизни. Так можете теперь убить меня, все равно. Хорошо, что жена не увидит этого, а я, слава богу, не из тех, кто просит пощады у таких, как вы.

— Право, вы молодчина, — одобрительно заметил Деннис. — И рассуждаете, как подобает мужчине. Какая разница, брат, где помереть — сегодня на фонаре или через десяток лет на пуховой перине?

Слесарь ответил только взглядом, полным презрения.

— Ваши убеждения делают вам честь, — продолжал палач, которому очень понравилось предложение насчет фонарного столба. — Они совершенно совпадают с моими, и я всегда готов, — тут он подкрепил свои слова страшным ругательством, — пойти навстречу вам, да и любому другому. Найдется у вас тут какой-нибудь обрывок веревки? Ну, а если нет, не беспокойтесь — обойдемся и носовым платком.

— Перестань дурить, хозяин, и делай, что велят, — сердито буркнул Хью, хватая слесаря за плечо. — Тебе сейчас объяснят, что от тебя требуется. И ты это сделаешь.

— Ничего я не стану делать для тебя или других мерзавцев, — отрезал слесарь. — Не трудитесь объяснять, что вам нужно, я вам вперед заявляю — никаких услуг вы от меня не дождетесь.

На мистера Денниса стойкость мужественного старика произвела сильное впечатление, и он чуть не со слезами запротестовал, говоря, что противиться желанию джентльмена было бы жестокостью и он, Деннис, во всяком случае не возьмет этого на свою совесть. Ведь почтенный слесарь сам сказал, что готов отправиться на тот свет, а раз так, они, как люди просвещенные, обязаны отправить его туда. Не часто представляется возможность удовлетворить желание тех, с кем они, к сожалению, расходятся во взглядах. И если нашелся человек, которому так легко оказать эту милость, он, Деннис, прямо заявляет, что такое желание делает джентльмену честь, и, надо надеяться, товарищи его удовлетворят прежде чем идти дальше. Операцию эту, если умело и ловко за нее взяться,

можно закончить в пять минут ко всеобщему удовольствию, и, хотя ему, Деннису, не пристало хвалиться, он все-таки позволит себе сказать, что порядком напрактиковался в этом деле и, как человек от природы услужливый и мягкосердечный, с большим удовольствием обслужит джентльмена.

Эта речь, произнесенная среди ужасного шума и сутолоки, была встречена теми, кто стоял поближе, чрезвычайно одобрительно, что объяснялось, пожалуй, не столько красноречием палача, сколько упорством слесаря. Гейбриэлу грозила немедленная расправа, и ему это было ясно. Однако он по-прежнему упорно молчал, и даже если бы при нем стали обсуждать вопрос, не изжарить ли его на медленном огне, у него и тогда не вырвалось бы ни единого слова.

В то время как Деннис говорил, на лестнице поднялась какая-то суматоха, так что толпа внизу не могла ни слышать его слов, ни отозваться на них. Но в наступившей тишине у окна вдруг раздался чей-то возглас:

— Да у него голова седая! Он старик, не троньте его!

Слесарь вздрогнул, быстро повернулся туда, откуда слышался голос, и зорким взглядом окинул теснившихся на лестнице людей.

— Не щадите моих седин, молодой человек, — сказал он, отвечая голосу, ибо не видел его обладателя. — Я не прошу этого. Сердце у меня еще достаточно молодо, и я презираю и ненавижу всю вашу банду!

Эти неосторожные слова никак не способствовали умиротворению взбешенной толпы. Опять снизу потребовали, чтобы его вывели на улицу, и плохо пришлось бы честному Вардену, если бы Хью не напомнил товарищам, что слесарь им нужен и вешать его нельзя.

— Объясни ты ему, что от него требуется, да поживее, — сказал Хью Симу Тэппертиту. — А ты, хозяин, слушай в оба уха, если хочешь, чтобы они после этой ночи еще тебе пригодились.

Гейбриэл скрестил руки (теперь они у него были свободны) и молча уставился на своего бывшего подмастерья.

— Вот что, Варден, — начал Сим, — нам надо в Ньюгет...

— Это ты верно говоришь, — перебил слесарь, — туда вам всем и дорога!

— Нет, мы идем туда, чтобы поджечь тюрьму, — пояснил Саймон, — взломать ворота и выпустить арестантов. А вы помогали делать замки для главных ворот и...

— Помогал. И вы мне спасибо не скажете: сработано на славу, сами увидите.

— Может, и так, — отозвался Сим. — Но теперь вы нам должны их взломать.

— Должен? Вот как!

— Да. Потому что вы знаете, как это сделать, а я — нет. Пойдете с нами и своими руками рассверлите их.

— Сим Тэппертит, пусть у меня руки отсохнут и пойдут тебе на эполеты, если я это сделаю, — сказал слесарь спокойно и медленно.

— Это мы еще увидим! — вмешался Хью, видя, что ярость толпы готова разразиться. — А пока что соберите в корзинку его инструменты, какие нужны, и я поведу его вниз. Эй, там, откройте входную дверь! Да посветите нашему храброму капитану! Неужто у вас здесь другого дела нет, как стоять сложа руки и брюзжать?

Бунтовщики стали переглядываться и скоро разбежались по всему дому, по своему обыкновению грабя или разрушая все, унося ценные вещи, какие им понравились. Впрочем, времени на это у них оставалось мало, так как инструменты слесаря скоро были собраны в корзинку, которую взвалили на спину какому-то парню. Приготовления к осаде тюрьмы были таким образом закончены, и тех, кто грабил в комнатах, созвали вниз в мастерскую. Уже готовились выступить, когда сверху пришел замешкавшийся там громила и спросил, не выпустить ли запертую на чердаке девицу, которая страшно шумит и вопит без умолку.

Саймон Тэппертит охотно запретил бы это, но большинство его товарищей, помня, какую услугу Миггс оказала им своей проделкой с ружьем, были другого мнения, и ему пришлось сказать: «Да». Тот же человек опять пошел наверх и скоро вернулся, таща освобожденную мисс Миггс. Она вся скорчилась, руки и ноги у нее висели как плети, а одежда сильно отсырела от обильных слез.

Так как эта молодая особа, пока ее несли с чердака,

не подавала никаких признаков жизни, то ее спаситель объявил, что она не то умерла, не то кончается, и не зная, куда ее девать, оглядывался, ища скамьи или хотя бы кучи золы, чтобы положить бесчувственное тело. Вдруг мисс Миггс, каким-то непостижимым образом оказавшись на ногах, откинула волосы с лица, дико вытаращила глаза на мистера Тэппертита и с криком: «Жизнь моего Симмуна спасена!» — бросилась к нему на шею так стремительно, что он зашатался и отлетел на несколько шагов, увлекая за собой свою прекрасную ношу.

— О, чтоб тебя! — проворчал мистер Тэппертит. — Эй, кто-нибудь, возьмите ее и заприте опять. Ее совсем не следовало выпускать.

— Мой Симмун! — замирающим голосом прошептала мисс Миггс сквозь слезы. — Мой любимый!

— Держитесь, не то я вас брошу на пол, — сказал мистер Тэппертит крайне нелюбезным тоном. — Чего вы возите ногами по полу и валитесь на меня?

— Ангел мой Сим, — прошептала Миггс. — Ты же обещал!

— Ну, да, обещал и сдержу слово, — отвечал Саймон сердито. — Я о вас позабочусь, потерпите. Да станьте же вы на ноги, слышите?

— Куда мне деваться? Что со мной будет после всего, что я сегодня наделала? — голосила Миггс. — Мне остается теперь только лечь в сырую могилу!

— Жаль, что вы уже не там! — вспылил мистер Тэппертит. — Вас надо бы заколотить наглухо в хороший, крепкий гроб.

Он позвал одного из своих людей и шепнул ему на ухо:

— Возьми-ка ее да унеси — знаешь куда?

Тот утвердительно кивнул и, подхватив на руки Миггс, несмотря на ее бессвязные протесты и сопротивление (от которого бедняге не поздоровилось, ибо она пустила в ход ногти), унес ее из мастерской.

Все, кто был в доме, высыпали на улицу, слесаря поставили впереди между двумя конвоирами, и толпа быстро двинулась в путь. Без всякого шума и криков они шли прямо к Ньюгету и вскоре очутились перед тюремными воротами.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Выстроившись перед тюрьмой, они больше не считали нужным соблюдать тишину и громкими криками стали требовать начальника. Появление их здесь, видимо, было не такой уж неожиданностью: в доме начальника тюрьмы выходившие на улицу окна успели основательно забаррикадировать, калитка в воротах тюрьмы была заперта, и ни у одной амбразуры и решетки не видно было ни души. Но им недолго пришлось звать — на крыше дома начальника появился какой-то мужчина и спросил, чего им надо.

В толпе тот кричал одно, тот — другое, а большинство только гикало и свистело. Дом был высокий, в наступившей темноте многие не видели, что кто-то вышел на их зов, и продолжали кричать, пока весть о появлении начальника не распространилась по всей толпе. Прошло добрых десять минут, прежде чем хотя бы один голос мог быть услышан достаточно внятно. И все это время человек на крыше стоял неподвижно, выделяясь на фоне вечернего неба, и смотрел вниз, на взбаламученное море голов. Наконец Хью прокричал:

— Вы — начальник тюрьмы, мистер Экермен?

— Ну, конечно, это он, — шепнул ему Деннис. Но Хью, не слушая его, ждал ответа от человека на крыше.

— Да, — откликнулся тот. — Это я.

— Так вот что, сэр: у вас тут сидит несколько наших товарищей.

— У меня тут всякого народу немало. — Мистер Экермен глянул вниз, во двор тюрьмы. Сознание, что он может видеть все, скрытое от них этими толстыми стенами, так раздражило толпу, что она завыла, точно стая волков.

— Выпустите только наших товарищей, — сказал Хью. — Остальных можете оставить у себя.

— Я никого не имею права выпускать. И своего долга не нарушу.

— Если не откроете ворот, мы их взломаем, — сказал Хью. — Потому что мы хотим освободить наших.

— Слушайте, добрые люди, — начал Экермен. — Я могу только посоветовать вам поскорее разойтись. Помните,

что беспорядки в таком месте будут иметь для вас очень тяжелые последствия, и вы горько раскаетесь, да будет слишком поздно.

Сказав это, он, видимо, собирался уйти, но его остановил чей-то голос.

— Мистер Экермен! — кричал Гейбриэл Варден. — Мистер Экермен!

— Не хочу больше вас слушать, — отмахнулся начальник, повернувшись в его сторону.

— Да я не из этих! — крикнул слесарь. — Я порядочный человек, мистер Экермен, честный труженик Гейбриэл Варден, слесарь. Вы меня помните?

— Как! И вы с ними? — изменившимся голосом воскликнул начальник тюрьмы.

— Они привели меня силой. Хотят, чтобы я открыл замок у главных ворот, — пояснил слесарь. — Будьте свидетелем, мистер Экермен, что я отказываюсь это сделать. И не сделаю, чем бы мне это ни грозило. Пожалуйста, запомните это на случай, если они меня убьют.

— Не могу ли я как-нибудь помочь вам? — спросил начальник.

— Нет, мистер Экермен. Выполняйте свой долг, а я выполню свой. Еще раз повторяю вам, грабители и душегубы, — тут слесарь повернулся к толпе, — я вам помогать не буду. Можете орать до хрипоты, — не буду!..

— Постойте, постойте, мистер Варден, — торопливо сказал начальник. — Я знаю, вы честный человек и не сделаете ничего противозаконного. Но если вас принудят к этому силой...

— Принудят меня, сэр? — прервал его Варден, почувствовав в тоне мистера Экермена желание заранее оправдать его, беспомощного старика, если он уступит свирепой толпе, обступившей его со всех сторон. — Меня ни к чему принудить не смогут.

— Где тот человек, кто только что обращался ко мне? — с беспокойством спросил начальник тюрьмы.

— Это я, — откликнулся Хью.

— Известно вам, как у нас карают за убийство? Вы понимаете, что, насильно удерживая этого честного ремесленника, вы подвергаете его жизнь опасности?

— Отлично понимаем, — ответил Хью. — Для того и привели его сюда. Отпустите наших товарищей, и мы отпустим вашего слесаря. Правильно я говорю, ребята?

Толпа ответила громовым «ура».

— Видите, что творится, сэр? — крикнул Варден. — Во имя короля, не допускайте их в тюрьму. И помните, что я сказал. Прощайте!

Переговоры были прерваны. Град камней и других метательных снарядов заставил начальника отступить. А толпа, напирая все сильнее, прижала Вардена вплотную к воротам.

Напрасно поставили у его ног корзинку с инструментами, напрасно пускали в ход по очереди все средства — заманчивые обещания, побои, угрозы немедленно покончить с ним, предлагали награду, если он сделает то, для чего его сюда привели. Мужественный слесарь все кричал свое: «Нет!»

Никогда еще, кажется, жизнь не была ему так дорога, как сейчас, но ничто не могло поколебать его решимости. Ни крики, ни окружавшие его свирепые люди, которые, как дикие звери, жаждали его крови и лезли вперед, топча своих, чтобы скорее добраться до него и ударить его топором или железным ломом, — ничто не могло его устрашить. Он переводил глаза с одного лица на другое и, бледный, тяжело дыша, твердил упорно: «Нет!»

Деннис с такой силой ударил его по голове, что сшиб с ног. Но слесарь тотчас вскочил, как молодой, и, хотя из его разбитого лба текла кровь, схватил палача за горло.

— Подлая собака! — крикнул он. — Отдай мне дочь! Дочь отдай!

Завязалась борьба. Со всех сторон Деннису кричали: «Пристукни его!»; некоторые рвались вперед, чтобы затоптать слесаря насмерть, но не могли добраться до него. Деннис изо всех сил старался оторвать руки слесаря от своего горла, однако не мог разжать их.

— Так вот твоя благодарность, чудовище! — с трудом выговорил он, сопровождая эти слова градом ругани.

— Отдай мне дочь! — кричал слесарь, рассвирепев не меньше, чем окружавшая его толпа. — Отдай дочь!

Он падал, поднимался, опять падал, боролся уже не с одним, а с целым десятком людей, перебрасывавших его

один другому, и, наконец, какой-то верзила, пришедший сюда, видно, прямо с бойни, так как его одежда и высокие сапоги были испачканы жиром и свежей, еще дымящейся кровью, с ужасным проклятием занес свой резак над непокрытой головой старика. Но в тот же миг он сам упал, как подкошенный, и какой-то однорукий человек, перескочив через него, бросился к слесарю. С ним был еще другой, и оба грубо схватили Вардена.

— Оставьте его нам! — крикнули они Хью, прокладывая себе дорогу сквозь толпу. — Мы сами с ним расправимся. Зачем вам всем тратить силы на такого, когда достаточно двух человек, чтобы покончить с ним в одну минуту? Вы только время теряете даром. Вспомните про арестантов! Вспомните про Барнеби!

Этот крик был подхвачен всей толпой. По стенам загрохотали молоты, и все ринулись к тюрьме — каждому хотелось быть в первых рядах. А те двое уводили слесаря, проталкиваясь в толпе так ожесточенно, словно они находились не среди своих, а в стане врагов. С трудом вывели они его из самой гущи свалки.

Между тем удары сыпались градом не только на ворота, но и на мощные стены тюрьмы, ибо те, кто не мог добраться до ворот, изливали свою ярость на все, что было под рукой, даже на эти массивные каменные глыбы, хотя оружие разбивалось о них вдребезги, а руки и плечи у нападавших так болели, как будто эти стены, упрямо сопротивляясь, возвращали им удары. Когда большие кузнечные молоты забарабанили по воротам, звон железа о железо покрыл весь оглушительный шум, искры сыпались дождем. Люди стали работать партиями, через короткие промежутки сменяя друг друга, — для того, чтобы не истощать силы. А ворота все стояли, несокрушимо-крепкие, неумолимые и мрачные, такие же, как всегда, если не считать вмятин и царапин, оставленных молотами на их поверхности.

Пока одни, не жалея сил, делали эту тяжелую работу, другие, приставив лестницы к стенам тюрьмы, пытались взобраться на них, а третьи дрались с отрядом полиции в сто человек (который в конце концов был оттеснен назад и частью смят под ногами толпы), группа бунтовщиков осаждала дом начальника тюрьмы. Ворвавшись,

наконец, внутрь, они вытащили на улицу всю мебель и сложили ее в кучу у ворот, чтобы развести костер и поджечь их. Поняв их цель, все, кто разбивал ворота, побросали свои орудия и стали помогать складывать костер, который скоро занял всю ширину улицы до середины мостовой и был так высок, что теперь уже только с лестницы можно было подбрасывать в него топливо. Когда все добро Экермена до последней нитки было брошено на этот грандиозный костер, его облили смолой, дегтем да вдобавок еще скипидаром — всем этим бунтовщики запаслись заранее. Деревянные части тюремных ворот облили также, ни одна перекладина, ни одна балка не были забыты. Когда это адское «помазание» было окончено, костер подожгли факелами и горящей паклей, и все, отступив, стали ожидать результатов.

Мебель из очень сухого дерева, облитая к тому же легко воспламеняющимися веществами, вспыхнула сразу. Бушующее пламя с ревом взметнулось вверх и огненными змеями оплетало фасад тюрьмы, покрывая его черной копотью. Вначале толпа, теснившаяся вокруг, выражала свой восторг только взглядами. Но когда пламя стало жарче, затрещало грознее, разбегаясь повсюду, загудело, как в гигантской печи, когда оно осветило и дома напротив, открыв взорам всех не только бледные и ошеломленные лица в окнах, но и самые потаенные уголки в каждой комнате; когда сквозь вишневый жар и блеск огня стало видно, как он словно дразнит ворота, играет с ними, то приникая к их непоколебимой железной груди, то сердито и капризно отскакивая прочь и взвиваясь высоко в небо, а в следующее мгновение, возвращаясь, заключает их в свои жгучие и гибельные объятья; когда он распылался настолько, что стали видны, как днем, часы на колокольне церкви Гроба Господня *, стрелки которых так часто отмечали смертный час осужденных, и флюгер на верхушке башни засверкал в этом необычайном освещении, как осыпанный бриллиантами; когда почерневшие камни и кирпич стали красными в отблесках пламени, а окна засияли червонным золотом; когда стены и башни, крыши и дымовые трубы в этом мерцающем блеске как будто завертелись, закачались, как пьяные; когда множество предметов, раньше совсем не заметных, вдруг

полезли в глаза, а вещи знакомые и привычные приняли какое-то новое обличье, — тогда толпе словно передалось бешенство стихии и, сотрясая воздух громкими криками, ревом и таким адским шумом, какой, слава богу, редко приходится слышать, все принялись швырять в огонь что попало, чтобы он горел еще ярче.

Жар был так силен, что на другой стороне улицы краска на домах трещала, вздувалась пузырями, корчась, словно под пыткой, и осыпалась, стекла в окнах лопались, железные и свинцовые крыши раскалились так, что могли обжечь до волдырей неосторожно притронувшуюся к ним руку, а воробьи стремительно разлетались из-под карнизов и, одурманенные дымом, трепеща крылышками, падали в костер. Но, несмотря на все это, неутомимые руки не переставали поддерживать огонь, и вокруг него все время суетились люди. Рвение их не ослабевало, они не только не отходили, но лезли поближе к костру, так упорно напирая на передних, что те каждую минуту рисковали свалиться в огонь. Если кто-нибудь падал, ослабев или потеряв сознание, десять других спешили занять его место, и ни мучительная жажда, ни боль, ни страшная давка не останавливали их. Тех, кто, упав без чувств, не попадал в огонь и не был затоптан, уносили во двор соседней харчевни и отливали водой из колодца. В толпе ведра с водой передавались из рук в руки, но всем так хотелось пить, что жаждущие вырывали друг у друга ведра, и чаще всего воду расплескивали, прежде чем кто-либо успевал хотя бы омочить в ней губы.

Среди всего этого шума и гама те, кто был ближе к костру, собирали в кучу выскакивавшие из него головни и подгребали жар к воротам, которые были уже сплошной стеной огня, но все еще держались и, накрепко запертые, преграждали доступ внутрь тюрьмы. Люди эти через головы толпы передавали громадные пылающие головни тем, кто стоял у приставных лестниц, и они, поднявшись на самые верхние перекладины и держась одной рукой за стену, пускали в ход всю свою силу и ловкость, чтобы забросить эти головни на крышу или вниз, во внутренние дворы тюрьмы. Им это часто удавалось, и скоро к творившимся вокруг ужасам прибавились новые, кошмарные: арестанты, запертые на ночь в камерах, увидев из-за ре-

шеток вспыхнувшее в разных местах и быстро разгоравшееся пламя, поняли, что им грозит опасность сгореть заживо. Страшная паника распространялась из камеры в камеру, из одного двора в другой, и вся тюрьма загудела от диких воплей, призывов и душераздирающих криков о помощи. Они были слышны снаружи, покрывая рев толпы и треск огня, и в них было столько смертной муки и отчаяния, что все, даже самые бесчувственные головорезы, дрожали от ужаса.

Примечательно, что крики о помощи стали доноситься прежде всего из той части тюрьмы, которая выходит на Ньюгет-стрит; здесь, как всем было известно, содержались приговоренные к смерти, которых должны были казнить в четверг. И эти-то четыре человека, которым так мало оставалось жить, не только первые испугались, что могут сгореть, но все время неистовствовали больше всех. Несмотря на толщину стен, снаружи было ясно слышно, как они кричали, что ветер дует в их сторону, что огонь сейчас доберется до них, молили тюремщика тушить пожар, залить его водой из полного бака во дворе. В криках этих обреченных звучала такая безумная жажда жизни, словно каждого из них ожидало впереди счастливое и почетное будущее, а не всего только двое суток томления за решеткой и затем позорная насильственная смерть.

Никакими словами не описать душевные муки сыновей одного из этих несчастных, когда они слышали (или думали, что слышат) голос отца, звавшего на помощь. Они ломали руки и метались во все стороны, как безумные; потом один влез на плечи другому и пробовал взобраться на высокую стену, усаженную наверху железными остриями и шипами, но сорвался и полетел вниз, в толпу. Полученные ушибы и царапины его не остановили, он снова полез, опять упал, опять полез, а когда понял, что все его попытки ни к чему не приведут, стал колотить в стену кулаками, рвать ее ногтями, словно надеясь пробить в ее толще брешь и проложить себе путь в тюрьму. В конце концов оба брата протиснулись к главным воротам (тогда как это никак не удавалось даже тем, кто был вдесятеро сильнее), и их видели в пламени — да, да, среди пламени! Они пытались высадить ворота ломами.

Не только этих двоих так потрясли вопли арестантов. Женщины, стоявшие в толпе зрителей, громко рыдали, ломали руки или затыкали уши, многие падали без чувств. Те из мужчин, кто стоял далеко от стен и не мог участвовать в осаде, так жаждали деятельности, что вырывали камни из мостовой с яростной поспешностью, будто это были стены тюрьмы, которые надо было разрушить. Ни один человек в этой массе людской ни минуты не стоял спокойно. Все слозно обезумели.

Вдруг — дружный крик у ворот! Второй, третий! Позади никто не понимал, что это значит. Но стоявшие поблизости увидели, как ворота медленно подались, сорвались с верхних петель... Теперь они держались только на одной нижней, но все еще стояли, поддерживаемые засовами и упершись в груду золы под ними. Однако наверху образовалась щель, сквозь которую виднелся темный проход, напоминавший пещеру.

Огня, побольше огня!

Огонь бушевал вовсю. Ворота накалились докрасна, щель становилась все шире. Тщетно стараясь заслониться от жара, все стояли в напряженном ожидании, словно подобравшись для прыжка, и не сводили глаз с тюрьмы. На крыше ее появились темные фигуры людей — одни ползли на четвереньках, другие несли кого-то на руках. Это спасались тюремный начальник и его помощники с женами и детьми, так как всем уже было ясно, что тюрьма недолго продержится.

Огня, побольше огня!

Опять ворота стали опускаться, глубже ушли в золу... подались... зашатались... рухнули!

Снова шум, крики, люди в первое мгновение отпрянули, и вокруг огня, отделявшего их от входа в тюрьму, образовалось пустое пространство. Хью первый прыгнул на пылающий костер, подняв в воздухе целый сноп огня, и, рассыпая по темному проходу искры, осевшие на его одежде, ринулся во двор.

За ним помчался Деннис. А следом за обоими — такое множество других, что за одну минуту костер был затоптан и разбросан по всей улице.

Да он теперь был уже ненужен: тюрьма пылала и снаружи и внутри.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Все время, пока длилось это страшное зрелище, достигшее теперь своего апогея, в тюрьме один из узников переживал такой страх и душевную муку, что с ними не могли сравниться даже чувства приговоренных к смерти.

Когда мятежники подошли к зданию тюрьмы, крики и топот громадной толпы разбудили убийцу ото сна — если можно этим благословенным словом назвать его забытье. Как только шум хлынул ему в уши, Радж вскочил и, сев на койку, стал прислушиваться.

После короткой паузы снова поднялся шум. Все так же напряженно вслушиваясь, Радж, наконец, понял, что тюрьму осаждает рассвирепевшая толпа. Нечистая совесть тотчас подсказала ему мысль, будто эти люди пришли расправиться с ним, и его обуял страх, что его сейчас вытащат отсюда и растерзают.

Сраженный ужасом, он уже во всем видел подтверждение своей догадки. Его двойное преступление, обстоятельства, при которых оно было совершено, и то, что после стольких лет оно раскрыто, — все убеждало убийцу, что на него обрушился гнев божий. Да, среди всех пороков и преступлений, в духовном мраке этой огромной тюрьмы, зараженной чумой безнравственности, он, отмеченный и заклейменный своей страшной виной, стоит одиноко, как Люцифер среди сонма дьяволов. Остальные арестанты представлялись ему как бы сплоченной армией, в которой все укрывали и грудью защищали друг друга, такой же, как толпа, шумящая там, за воротами тюрьмы. А он — отверженный, один среди всех, его чуждаются, с ужасом отворачиваются от него даже преступники, вместе с ним заключенные здесь.

Быть может, весть об его аресте уже разнеслась повсюду, и люди пришли, чтобы вытащить его отсюда и убить на улице? Или это те бунтовщики пришли выполнить свой давнишний замысел — снести тюрьму? Все равно — он не верил и ничуть не надеялся, что его пощадят. И каждый крик, каждый звук, доносившийся с улицы, ударял его по сердцу. Чем дальше подвигался

штурм, тем сильнее охватывал его исступленный, безумный страх. Он пытался выломать решетку, перегораживающую дымоход, через который он мог бы вылезть. Он вопил, призывая тюремщиков и умоляя их стать перед его камерой и уберечь его от ярости толпы или запрятать его куда-нибудь в подземелье, самое глубокое, — пусть там темно и мерзко, пусть оно кишит крысами и всякими гадами, лишь бы он был там надежно укрыт и его не могли найти.

Но никто не шел на его призывы, никто не откликался на них. А он так боялся криками привлечь внимание осаждающих, что скоро замолчал. Сквозь решетчатое оконце он увидел какой-то странный свет, перебегавший по каменным стенам и плитам двора. Вначале это были слабые отблески, они появлялись и исчезали — казалось, люди с факелами ходят по крыше тюрьмы. Но скоро этот свет стал красным, и сверху во двор, кружась, стали сыпаться пылающие головни; поливая землю огнем, они затем догорали, сердито потрескивая. Одна залетела под деревянную скамью, и скамья вспыхнула, другая зажгла водосточный желоб, и по стене заскользила длинная лента огня. Через некоторое время у двери камеры Раджа стал медленно сыпаться дождь горящих обломков с объятого пламенем верхнего этажа. Вспомнив, что дверь его открывается наружу, узник подумал, что каждая искра, которая падает здесь и, утратив свой блеск, мгновенно превращается в безобразную кучу золы, способствует погребению его заживо в этой клетке. Все-таки, хотя теперь тюрьма вся гудела от пронзительных воплей и криков о помощи, хотя огонь прыгал и ревел, как голодный тигр, жара становилась все невыносимее, все удушливее, шум за воротами оглушительнее, и опасность, которой грозила узнику безжалостная разбушевавшаяся стихия, все грознее, — Радж не кричал, боясь, что толпа ворвется сюда и найдет его или от других узников узнает, где он заперт. Страшась одинаково тех, кто бесновался на улице, и тех, кто был внутри тюрьмы, шума — и тишины, света — и тьмы, освобождения — и того, что его оставят погибать здесь, он испытывал такие муки, что никакая казнь, изобретенная человеком для человека по страшной прихоти силы и жестокости, не могла сравниться с ними.

Но вот ворота рухнули. Бунтовщики ворвались в тюрьму и разбежались по сводчатым коридорам, громко перекликаясь; они сносили железные перегородки, отделявшие двор от двора, ломились в двери камер и караульных помещений, выворачивали замки, решетки, засовы, срывали двери, чтобы выпустить заключенных, или старались вытащить людей сквозь такие бреши и оконца, куда и ребенок вряд ли мог пролезть. При этом они ни на минуту не переставали орать и носились среди огня и жара так смело, словно на них была железная броня. Заключенных тащили из камер за ноги, за руки, за волосы, и спасители тут же пытались распилить их оковы или, словно обезумев от радости, скакали вокруг них, рвали на них одежду, готовы были, кажется, оторвать им руки и ноги. По тому двору, на который со страхом смотрел убийца из темного оконца своей камеры, пробежало человек десять, волоча по земле освобожденного узника. Он был без чувств, весь в крови и почти голый: в своем нетерпеливом стремлении вытащить его поскорее они порвали на нем всю одежду. В другом месте освобожденные метались взад и вперед, заблудившись в лабиринте тюремных коридоров. Ошеломленные шумом и ярким светом, они совсем растерялись, не знали, куда бежать и что делать, и звали на помощь так же отчаянно, как прежде, когда были заперты в камерах. Здесь какой-то изголодавшийся бедняк, попавший сюда за кражу каравая хлеба или куска мяса из лавки мясника, босиком брел к выходу, покидая уже ставшую ему домом тюрьму только оттого, что она пылала, — ведь на воле у него больше не было ни крова, ни друзей, ни любимых мест, которые хочется снова посетить, и свобода означала для него только свободу умереть с голоду; там — компания грабителей прошла мимо с освободившими их друзьями, которые по дороге обертывали их кандалы носовыми платками или пучками соломы, накидывали им на плечи свои плащи и кафтаны, поили, приставляя им бутылки прямо ко рту, так как не успели еще расковать им руки.

Все эти сцены и бог весть сколько других происходили среди страшного шума, спешки и ни на секунду не утихавшей суматохи, которую никакими словами не опишешь и не увидишь даже во сне.

Убийца смотрел на все это из-за решетки. Вдруг толпа мужчин с факелами, лестницей, топорами и всякими другими орудиями хлынула во двор. Они стали колотить в дверь его камеры, спрашивая, есть ли кто внутри. Увидев их, он отошел от окна и забился в самый дальний угол. Но, хотя он не отзывался, они решили, что здесь кто-то должен быть, и, приставив лестницу, начали разбивать решетку, да и не только ее: они ломами выворачивали камни из стены.

Когда на месте окна образовался пролом, в который могла пролезть голова, один из этих людей сунул внутрь факел и при свете его осмотрел камеру. Радж следил за его взглядом, пока взгляд этот не упал на него. Человек спросил, почему он не откликается. Он не ответил. Но вокруг происходило столько необычайного и неожиданного, что освободители Раджа ничуть не удивились. Не заговаривая с ним больше, они принялись расширять отверстие, и, когда в него уже можно было протиснуться, несколько человек прыгнули в камеру. Схватив узника, они передали его через окно тем, кто стоял на лестнице, а те спустили его во двор. Потом вылезли остальные и, посоветовав Раджу удирать как можно скорее, пока путь свободен, побежали спасать других.

Все от начала до конца совершилось в одну минуту — так казалось Раджу. Едва он с трудом поднялся, еще не веря, что он свободен, как двор снова наполнился людьми, которые поспешно уводили Барнеби. А еще через минуту — нет, не через минуту, а в то же мгновение — оба, отец и сын, переходя из рук в руки, очутились в густой толпе на улице и, оглядываясь, видели позади пылающий костер, а в толпе кто-то сказал, что это горит Ньюгетская тюрьма.

Ворвавшись в тюрьму, бунтовщики с первой же минуты рассеялись повсюду, проникая в каждую щель и скважину, — можно было подумать, что им здесь хорошо знакомо все до самых потайных уголков, и в памяти у них, как на ладони, точнейший план всего здания. Столь быстрым ознакомлением с ним они в большой мере обязаны были Деннису — он стоял в проходе и направлял одних туда, других сюда. Благодаря его указаниям и удалось с такой удивительной быстротой освободить заключенных.

Однако этот служитель закона сообщил товарищам не все, что знал, — кое-какие важные сведения он предусмотрительно оставил про себя. Когда бунтовщики, получив от него инструкции, разошлись по всей тюрьме и занялись своим делом, Деннис достал из стенного шкафа связку ключей и, пройдя потайным ходом мимо часовни (она примыкала к дому начальника и была уже объята пламенем), направился к камерам смертников, ряду мрачных и тесных, наглухо запертых клеток, выходивших в низенький коридор, отгороженный в том конце, с которого вошел Деннис, крепкой железной дверью, а в дальнем конце — двумя дверьми и массивной решеткой. Заперев за собой дверь и убедившись, что остальные выходы тоже наглухо закрыты, он уселся на скамью в коридоре и с видом полнейшего удовлетворения спокойно и благодушно посасывал набалдашник своей палки.

Казалось бы странным, если бы в такие минуты, когда в тюрьме бушевал пожар и страшный шум раскалывал воздух, кто-нибудь, даже вне этих стен, способен был безмятежно отдыхать. Тем более поражало это здесь, в самой глубине горящего здания, здесь, где в уши врывались вопли и молитвы четырех смертников, а перед глазами мелькали их протянутые сквозь решетки руки, сжатые в отчаянной мольбе. По-видимому, мистер Деннис отдавал себе отчет в необычайности своего отдыха в такой обстановке, и это его чрезвычайно тешило: заломив шапку набекрень, как делают люди в веселом настроении, он с величайшим удовольствием сосал свой набалдашник и ухмылялся, словно говоря самому себе: «Удивительный ты парень, Деннис, прелюбопытный парень! С таким не соскучишься. Чудак, право, чудак!»

Так он сидел несколько минут, а четверо осужденных, услышав в своих казематах, что кто-то вошел в коридор, но не видя его, стали еще жалобнее вопить, твердя все то, что могло прийти в голову людям в таком страшном положении: они молили вошедшего ради всех святых выпустить их, страстно клялись (и, вероятно, в эти минуты были искренни), если будут спасены, исправиться и никогда, никогда, никогда больше не делать зла перед богом и людьми, искупить честной жизнью все свои грехи, в которых они горько раскаиваются. Эти горячие мольбы

тронули бы всякого мало-мальски доброго и честного человека (если бы в это страшное место в такую ночь мог забрести какой-нибудь честный человек), и он, предоставив им в будущем расплачиваться за свои вины как-нибудь иначе, поспешил бы спасти их от ожидавшей их ужасной и возмутительной кары, которая никогда не служит к исправлению других от дурных наклонностей, а только ожесточает тысячи людей, еще далеко не окончательно погрязших во зле.

Мистер Деннис, вскормленный и воспитанный в добрых старых традициях и много лет выполнявший добрые старые законы Англии по доброму старому обычаю не менее одного раза, а иногда и два раза в каждые полтора месяца, отнесся к этим мольбам довольно философски. Но, так как, повторяясь снова и снова, они несколько мешали его приятным размышлениям, он, наконец, стукнул палкой в дверь и крикнул:

— Прекратите этот шум, слышите?

На это они хором завопили, что их послезавтра должны повесить, и снова стали умолять о помощи.

— Помочь? А зачем? — спросил мистер Деннис и шутливо ударил по пальцам ближайшую из протянутых к нему рук.

— Чтобы спасти нас от смерти! — крикнули они.

— Ага, понятно! — протянул мистер Деннис, подмигивая стене за отсутствием здесь какого-нибудь приятеля, с кем можно было бы посмаковать шутку. — Значит, вас собираются вздернуть, братцы?

— Да, если вы нас сегодня не выпустите, нам конец! — крикнул один из узников.

— А знаете что, — с важностью начал палач, — боюсь, что настроение у вас, друзья мои, совсем неподобающее при вашем положении. Вас отсюда не выпустят, не надейтесь. И прекратите этот неприличный шум. Как вам только не совестно? Право, вы меня удивляете.

Упреки эти сопровождались ударами по всем протянутым из-за решетки рукам. Затем мистер Деннис вернулся на свое место, сел и закинул ногу на ногу.

— Вас судили, — сказал он все с той же безмятежной веселостью, подняв брови. — Для вас установлены законы. Для вас выстроили прекрасную тюрьму и пригласили сюда

священника. Для вас держат мастера своего дела, государственного служащего, и телеги, и все прочее — а вы еще недовольны!.. Эй, вы, в крайней камере, замолчите вы наконец или нет?

Ответом ему был только стон.

— Насколько я понимаю, — продолжал мистер Деннис тоном шутливым и вместе укоризненным, — среди вас нет ни одного настоящего мужчины. Мне начинает казаться, что я попал в женское отделение! Впрочем, должен сказать, на моих глазах многие женщины встречали смерть так, что делали честь своему полу. Эй, вы, во второй камере, не скрипите зубами! Никогда я не видывал, чтобы люди так неприлично вели себя в Ньюгете. Мне за вас стыдно. Вы позорите Олд-Бейли!

Он помолчал минуту, словно ожидая, не услышит ли каких оправданий, затем продолжал тоном кроткого увещевания:

— Слушайте меня внимательно, все четверо! Я пришел, чтобы о вас позаботиться, не дать вам сгореть, раз вам полагается другой конец. И не к чему шум поднимать, — те, кто сюда ворвался, вас не найдут, вы только охрипнете от крика. А ведь жаль, если у вас не будет голоса, когда настанет время сказать последнее слово! Насчет этих «последних слов» я держусь правила: «Валяй, высказывайся». Так я всегда говорю: «Валяй, высказывайся!» И каких только краснобаев не слыхал я там,— на подмостках, — знаете, про *какие* подмостки я говорю? И что это были за речи — громче, чем колокол, и занятнее любой комедии. — Говоря это, палач снял шапку, достал из нее носовой платок, чтобы утереть лицо, и надел ее снова, еще больше заломив набекрень. — Вот берите с них пример! Я считаю, что в последние минуты у человека и расположение духа должно быть подходящее. Есть оно, так вся операция пройдет честь честью, мило, пристойно. Делайте что хотите (это я говорю прежде всего вам, самому крайнему), но только никогда не хнычьте! По-моему, пусть уж лучше человек рвет на себе одежду в клочья — хотя мне прямой убыток, если он ее испортит раньше, чем она мне достанется, — только пусть не хнычет: что ни говори, такое настроение в десять раз приличнее!

Пока палач разглагольствовал тоном пастыря, запросто беседующего со своей паствой, шум в тюрьме несколько поутих; освободители в это время уводили освобожденных арестантов в примыкавшее к тюрьме здание суда*, а оттуда уж выпускали на улицу. Но в то время как мистер Деннис произнес последние слова, гул голосов во дворе ясно показал, что толпа снова хлынула в тюрьму и движется сюда, к казематам смертников. В самом деле, через минуту грохот решетки в конце коридора возвестил, что начинается атака.

Тщетно метался палач от одной камеры к другой, прикрывая решетки своей шляпой, чтобы заглушить крики четырех узников, тщетно колотил палкой по высовывавшимся из-за решеток рукам, тщетно грозил осужденным, что продлит их мучения и придумает новые, когда будет их вешать, — коридор гудел от их воплей. Эти вопли и сознание, что здесь находятся последние оставшиеся еще в тюрьме узники, так воодушевили осаждающих, что они с быстротой, совершенно невероятной, выворотили мощную решетку из железных брусьев в два дюйма толщиной, а другие двери разнесли, как будто это были деревянные перегородки, и очутились в конце коридора. Только две-три простые решетки отделяли их от камер.

— Эге, Деннис нас опередил! — воскликнул Хью, первым заглянув в темноватый коридор. — Молодец! Живо открывай, старина, не то мы тут задохнемся в дыму и не выйдем живыми!

— А вы уходите сейчас, — сказал Деннис. — Чего вам здесь нужно?

— Как это — чего нужно? А те четыре парня?

— Четыре дьявола! — закричал палач. — Разве ты не знаешь, что им в четверг висеть? Что же это, ты не уважаешь закон, конституцию, тебе все — трын-трава? Оставь в покое эту четверку.

— Брось шутить, не время! — рассердился Хью. — Слышишь, как они кричат? Отодвинь-ка решетки и впусти нас!

— Послушай, братец, — сказал палач вполголоса и, нагнувшись, якобы затем, чтобы выполнить требование Хью, заглянул ему в лицо. — Неужели ты не можешь предоставить мне этих четверых, раз мне пришла такая фанта-

зия? Сам ты делаешь что хочешь и выбираешь для себя все что тебе понравится, — надо же и мне получить свою долю. Так вот, я хочу, чтобы вы этих людей оставили здесь!

— Отодвинь решетку или посторонись! — был ответ.

— Ты можешь увести всю ватагу. Сам знаешь, они всегда пляшут под твою дудку, — медленно продолжал Деннис. — Как! Ты все-таки хочешь войти?

— Да.

— Ты не оставишь их мне? Значит, для тебя нет ничего святого? — Палач отступал к двери, через которую он сюда проник, и, грозно хмурясь, смотрел на Хью. — Ты все-таки войдешь?

— Я уже сказал: да. Какая муха тебя укусила, черт возьми? Куда ты идешь?

— Не твое дело, — отрезал палач, снова заглядывая в коридор из-за железной решетки, которую он уже закрыл за собой. — Смотри куда сам идешь и к чему придешь! Так-то!

С этими словами он погрозил Хью набалдашником, на котором вырезана была его физиономия, и с зловещей усмешкой, в сравнении с которой его обычная улыбка могла показаться приятной, захлопнул за собой дверь.

Хью не медлил более. Подгоняемый воплями осужденных и нетерпением товарищей, он приказал отодвинуться тому, кто стоял непосредственно за его спиной (проход был так узок, что приходилось идти гуськом), и с такой силой принялся действовать кувалдой, что после нескольких ударов железные брусья согнулись, потом сломались, и проход был свободен.

Сыновья одного из приговоренных к смерти, проявлявшие и раньше бешеную энергию, сейчас бросились в проход, как львы. Приказав всем заключенным отойти в камерах как можно дальше, чтобы их не задели топоры, освободители разделились на четыре группы и принялись ломать двери, выворачивать болты и засовы. И хотя эти двое юношей были в самой слабой партии, хуже других вооруженной, и начали они работать немного позже, потому что сперва поговорили с отцом сквозь решетку, — дверь в его камеру была взломана первой, и старика освободили раньше всех. Когда сыновья вытащили его в коридор, чтобы сбить кандалы, он упал в об-

морок, и его без признаков жизни, словно кучу железных цепей, вынесли из тюрьмы на плечах.

Освобождением четырех несчастных смертников завершились все события этой ночи. Ошеломленных, потрясенных, их вывели на кипевшую жизнью улицу, которую они ожидали увидеть только тогда, когда из мертвой тишины казематов выйдут в свой последний путь, и воздух станет душным от затаенного дыхания тысяч людей, а улицы и дома будут состоять как бы из сплошных рядов человеческих лиц. Их бледность и страшная худоба, запавшие глаза, развинченная походка, руки, протянутые вперед,— чтобы не упасть, их растерянные, блуждающие взгляды, широко раскрытые рты, которыми они, как утопающие, жадно ловили воздух, когда очутились на улице, — все указывало, кто́ эти люди. Не нужно было объяснять, что они были приговорены к смерти — это было словно выжжено на их лицах. Толпа шарахалась от них, как от покойников, поднявшихся вдруг в саванах с катафалков, на которых их везли хоронить. И многие, нечаянно прикоснувшись к их одежде, содрогались, словно это и в самом деле были саваны мертвецов.

По требованию толпы дома в эту ночь были все иллюминованы и сверху донизу сияли огнями, как в праздник. Много лет спустя старики, в дни своего детства жившие поблизости от этих мест, вспоминали эту иллюминацию и то, как они, перепуганные дети, смотрели из окон на залитую светом улицу и видели промелькнувшее мимо страшное лицо... Огромная толпа и все творившиеся тогда ужасы стерлись у них в памяти, а *это* воспоминание сохранилось, четкое, незабываемое. Даже в неискушенных детских умах один из обреченных, увиденный только на миг, оставил впечатление столь сильное, что оно заслонило все остальные и врезалось в память на всю жизнь.

Когда последнее дело было сделано, шум и крики немного утихли, затих и звон кандалов, слышавшийся повсюду, когда убегали арестанты. Шум перешел в глухой ропот, да и тот скоро замер вдали, и когда это людское море отхлынуло, на том месте, где оно недавно бурлило и ревело, осталась лишь печальная груда дымящихся развалин.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Несмотря на то, что мистер Хардейл всю прошлую ночь не сомкнул глаз и перед тем несколько недель сторожил по ночам в доме вдовы, а спал только днем, урывками, он сейчас с утренней до вечерней зари искал племянницу повсюду, где, как он думал, она могла найти приют. За весь день он, кроме глотка воды, ничего в рот не брал и даже не присел: метался по городу, наводя справки. Он искал Эмму, где только возможно, и в Чигуэлле, и в Лондоне, у купцов, с которыми вел дела, и у всех своих друзей. Мучимый тяжкой тревогой и страхом, он ходил от одного члена магистрата к другому и, наконец, отправился к самому министру. Единственным утешением для мистера Хардейла были слова этого сановника, заверившего его, что правительство, вынужденное воспользоваться высшими правами королевской власти, решило принять крайние меры; что, вероятно, уже завтра выйдет указ, предоставляющий войскам неограниченные полномочия для подавления бунта; что король, министры, обе палаты парламента и, разумеется, все честные люди, независимо от их религиозных убеждений, горячо сочувствуют пострадавшим католикам, которым во что бы то ни стало будет дано справедливое удовлетворение. А главное — министр сказал, что другие католики, чьи дома сожжены бунтовщиками, тоже потеряли своих детей и родственников, но, насколько ему известно, потом всех удалось разыскать. Он обещал принять к сведению жалобу мистера Хардейла, дать соответствующие указания судебным инстанциям, высшим и низшим, и сделать все, что в его силах, чтобы ему помочь.

Хотя эти утешительные вести не могли изменить случившегося и подавали мало надежды на благополучный исход несчастья, более всего угнетавшего мистера Хардейла, он был от души благодарен министру и за них и за сочувствие к его тяжелому положению.

Когда он вышел на улицу, наступал уже вечер, а ему негде было приклонить голову. Войдя в какую-то гостиницу близ Чаринг-Кросса, он приказал подать себе ужин и приготовить постель.

Его больной, измученный вид поразил хозяина и лакеев. Заметив это и думая, что его принимают за бедняка без гроша в кармане, он вынул кошелек и положил его на стол, но хозяин дрожащим голосом возразил, что не в деньгах дело. Если гость — один из тех, кого преследуют бунтовщики, он не может, не смеет его приютить. У него семья, дети, и его уже дважды предупреждали, чтобы он с разбором пускал постояльцев. Он горячо просит извинить его, — но что ему делать?

Ничего, разумеется. Мистер Хардейл понимал это лучше, чем кто бы то ни было. Он так и сказал хозяину и ушел из гостиницы.

Твердя себе, что ему следовало это предвидеть после неудачи сегодня утром в Чигуэлле, где ни один человек не решился взяться за лопату, хотя он предлагал щедрую плату за раскопку развалин его дома, мистер Хардейл шел по Стрэнду, никуда больше не заходя: из гордости он не хотел нарываться на новый отказ, да и благородство не позволяло ему навлечь опасность на какого-нибудь честного купца или ремесленника, который не решится отказать ему в пристанище.

Он свернул на одну из улиц близ набережной и в задумчивости брел по ней, вспоминая о том, что случилось много лет назад. Вдруг он услышал, как из окна верхнего этажа какой-то слуга крикнул другому в доме напротив, что бунтовщики подожгли Ньюгетскую тюрьму.

Ньюгет! Тюрьма, где сидит тот злодей! Мистер Хардейл почувствовал, что силы вмиг вернулись к нему, прежняя энергия возросла вдесятеро. Неужели это возможно? Неужели Раджа выпустят, и над ним, Хардейлом, после всех пережитых страданий будет до самой смерти тяготеть темное подозрение, что он убил родного брата?

Он и сам не заметил, как очутился перед тюрьмой. Вся улица была запружена сплошной темной движущейся массой людей, и столбы пламени взвивались высоко в воздух. Голова у мистера Хардейла пошла кругом, перед глазами плясали огненные кольца. Вдруг он почувствовал, что его взяли под руки двое мужчин, и стал яростно вырываться.

— Ну, ну, придите в себя, дорогой сэр! — сказал один из них. — Пойдемте-ка отсюда, на нас уже обращают внимание. Что вы можете сделать против такой толпы?

— Этот джентльмен никогда рук не опускает, — сказал второй, увлекая его в сторону. — И мне это нравится. Люблю таких!

Им удалось затащить его в какой-то двор у самой тюрьмы. Мистер Хардейл всмотрелся в их лица и снова сделал попытку вырваться, но почувствовал, что совсем ослабел и еле держится на ногах. Тот, кто первый заговорил с ним, был уже знакомый ему старик, с которым он столкнулся в прихожей лорд-мэра. Второй был Джон Груби, так мужественно защитивший его в Вестминстере.

— Какими судьбами вы здесь? — спросил он слабым голосом. — И как случилось, что мы встретились?

— Мы увидели вас в толпе, — отозвался виноторговец. — Ну, идемте с нами. Ради бога, пойдемте отсюда! Вы, кажется, знаете моего спутника?

— Да, знаю, — сказал мистер Хардейл, в каком-то остолбенении глядя на Джона Груби.

— Ну, так он может вам подтвердить, что я — человек надежный, — продолжал старик. — Он служит теперь у меня. Как вы, наверно, знаете, он раньше служил у лорда Гордона, но ушел от него. Из чистой доброжелательности и сочувствия к преследуемым он сообщил мне и другим намеченным жертвам все, что знал, о планах бунтовщиков.

— Но позвольте вам напомнить, сэр, я сделал это с одним условием: против милорда не свидетельствовать, — вставил Джон, вежливо прикоснувшись к шляпе. — Его сбили с толку, но он добрый человек, сэр, и вовсе не хотел того, что случилось!

— Мы это обещание дали и, конечно, сдержим его. Это — вопрос чести, — ответил старый виноторговец. — Идемте же, сэр, прошу вас!

Джон Груби, не теряя времени, избрал другой способ убеждения. Он взял мистера Хардейла под руку, хозяин его сделал то же самое, и они силой увели его прочь со всей быстротой, на какую были способны.

Мистер Хардейл ощущал странную пустоту в голове, и ему так трудно было на чем-нибудь сосредоточить

путавшиеся мысли, что он вспоминал о присутствии своих спутников только в те мгновения, когда смотрел на них. По-видимому, пережитые тревоги, которые и сейчас не оставляли его, подействовали на мозг. Чувствуя, что мысли и язык не слушаются его, он позволил своим спутникам вести себя, куда хотят, и всю дорогу с ужасом думал, не сходит ли он с ума.

Виноторговец, как он уже сказал мистеру Хардейлу при первой встрече, жил на Холборн-Хилл, где у него были большие склады и велась обширная торговля. Они вошли в его дом с черного хода, чтобы не привлечь ничьего внимания, и поднялись наверх в комнату, окна которой выходили на улицу; окна эти, однако, как и все другие в доме, забиты были изнутри досками для того, чтобы с улицы дом казался необитаемым. Здесь мистера Хардейла уложили на диван. Он был в беспамятстве. Но Джон немедленно привел лекаря, и тот пустил ему кровь, после чего мистер Хардейл стал понемногу приходить в себя. Он был, однако, так слаб, что не мог подняться, и его без труда уговорили остаться ночевать. Не теряя ни минуты, уложили его в постель, заставили поесть, принять лекарство. Под влиянием выпитого очень крепкого снотворного он скоро уснул, на время забыв свое горе.

Виноторговец, почтенный и добрый человек, сам и не думал ложиться: получив несколько грозных предупреждений от бунтовщиков, он в тот вечер выходил именно для того, чтобы из разговоров в толпе узнать, когда они собираются напасть на его дом. Он всю ночь просидел в кресле в той же комнате, дремал только урывками и выслушивал донесения Джона Груби и других верных слуг, ходивших на разведки. Для них в соседней комнате был приготовлен обильный ужин, которому и старый хозяин, несмотря на все свое беспокойство, время от времени отдавал честь.

Уже с самого начала донесения были довольно тревожные, а чем дальше, тем более зловещими они становились. В эту ночь неистовство черни и погромы в городе достигли таких размеров, что прежние беспорядки казались сущими пустяками.

Первой была весть о взятии тюрьмы и бегстве всех заключенных. Когда они шли по Холборну и соседним

улицам, лязг цепей доносился до горожан, которые заперлись в своих домах. Этот жуткий концерт, слышный повсюду, напоминал звон множества наковален. Зарево пожара так ярко светило сквозь стеклянную крышу в доме виноторговца, что во всех комнатах и на лестницах было светло как днем, а отдаленный рев толпы, казалось, сотрясал стены и потолки.

Наконец стал слышен приближающийся топот, наступили минуты страшной тревоги. Толпа подошла к дому, остановилась... Но после троекратного оглушительного крика двинулась дальше. И хотя в эту ночь бунтовщики несколько раз проходили мимо, всякий раз вызывая новую панику в доме, до разрушений дело не дошло — у них и без того дела было по горло. Вскоре после первого их появления один из разведчиков примчался с известием, что толпа остановилась перед домом лорда Мэнсфилда * на Блумсбери-сквер.

За первым вестником вернулся второй, за вторым — третий, а там снова первый; из их донесений постепенно стала ясна вся картина. Чернь, собравшись у дома лорда Мэнсфилда, потребовала, чтобы ей отперли, и, не дождавшись ответа (так как в эти самые минуты лорд и леди Мэнсфилд спасались бегством с черного хода), взломала двери и ворвалась внутрь. Затем громилы принялись яростно уничтожать имущество лорда и подожгли дом в нескольких местах. Погибло все — роскошная мебель, серебро, драгоценности, великолепная картинная галерея, коллекция рукописей, редчайшая из всех частных коллекций в мире, и, что ужаснее всего (ибо эта потеря была совершенно невозвратима) — единственная в своем роде библиотека юридических книг с собственноручными заметками судьи почти на каждой странице, заметками огромной ценности, ибо это были плоды ученых изысканий и опыта целой жизни.

В то время как громилы с ликующими криками плясали вокруг огня, прибыли, наконец, солдаты в сопровождении члена магистрата (слишком поздно, ибо зло уже совершилось) и принялись разгонять толпу. Прочитан был Закон о мятеже, но толпа не унималась, и солдатам отдан был приказ стрелять. Первый залп уложил шестерых мужчин и одну женщину, ранил много других.

Затем, снова зарядив мушкеты, дали второй залп, но на этот раз, видимо, в воздух, так как никто не упал. Тут только толпа, устрашенная стонами и поднявшейся суматохой, стала разбегаться, и солдаты ушли, оставив на земле убитых и раненых. Однако стоило им уйти, как бунтовщики возвратились и, неся впереди убитых и раненых, двинулись по улицам, превратив это шествие в какую-то жуткую комедию: мертвецам вложили в руки оружие, чтобы их принимали за живых, а шедший впереди парень изо всей мочи звонил в обеденный колокол, взятый в доме лорда Мэнсфилда.

Разведчики видели, как эта толпа встретилась с другой, возвращавшейся после таких же разгромов в иных местах, и, оставив мертвецов и раненых на попечении нескольких человек, все, объединившись, двинулись к загородному дому лорда Мэнсфилда в Син-Вуде, между Хэмстедом и Хайгетом, с намерением разрушить и этот дом, а потом устроить такой пожар, чтобы его видно было во всем Лондоне. Но это им не удалось — их опередил в пути отряд кавалерии, и они, отступая еще стремительнее, чем наступали, вернулись в город.

Теперь на улицах Лондона появилось множество отдельных банд, и каждая действовала, как ей вздумается. Сразу вспыхнул добрый десяток домов, в том числе дом сэра Джона Фильдинга и двух других судей, и четыре дома на Холборне, одной из самых людных улиц Лондона. Все дома пылали одновременно и до тех пор, пока не сгорели дотла: толпа перерезала пожарные шланги и не давала пожарникам тушить огонь. В одном доме близ Мурфилдса поджигатели нашли в комнате несколько клеток с канарейками и бросили их в огонь. Бедные птички, как рассказывали потом очевидцы, кричали, как дети, и какому-то мужчине стало их так жалко, что он бросился было спасать их, но толпа рассвирепела, и он чуть не поплатился жизнью.

В том же доме один из бандитов, ломавший в комнате мебель и вместе с другими разрушавший все, нашел куклу, невинную детскую игрушку, и выставив ее на показ толпе, объявил, что это идол, которому поклонялись хозяева дома. В это время другой молодец со столь же чуткой совестью (это они оба придумали бросить кана-

реек в огонь и изжарить живьем), усевшись на перилах, ораторствовал на тему об основах истинного христианства, повторяя все, что почерпнул из брошюры, выпущенной Союзом Протестантов. А лорд-мэр, засунув руки в карманы, взирал на все это, как зритель на представление, и, кажется, был чрезвычайно доволен тем, что у него такой удобный наблюдательный пункт.

Вот какие сведения принесли старому виноторговцу его слуги, когда он сидел у постели мистера Хардейла, настолько измученный собственными заботами и тревогами, напуганный криками черни, заревом пожаров и стрельбой, что у него и сон пропал.

Описанные выше события, освобождение арестантов из Новой тюрьмы в Клеркенуэле и бесчисленные грабежи на улицах, когда бунтовщики не были заняты другим, — все происходило еще до полуночи, а мистер Хардейл спокойно спал и, к счастью для него, ничего не знал об этом.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Необычайный вид был у города, когда ночной мрак рассеялся и его сменила утренняя заря.

Всю ночь никто и не думал ложиться. Охватившая город тревога так явно отражалась на лицах людей, истомленных к тому же бессонницей (ведь за немногими исключениями все, кому было что терять, не спали с самого понедельника), что какой-нибудь приезжий подумал бы, будто в Лондоне свирепствует чума или другая страшная эпидемия. Вместо веселого утреннего оживления — безмолвие смерти. Лавки не отпирались, закрыты были все склады, конторы; стоянки кэбов и портшезов были пусты. На медленно просыпавшихся улицах не грохотала ни одна телега, ни один фургон, не слышно было криков разносчиков, везде царила гнетущая тишина. Народу на улицах было много уже с самого рассвета, но все скользили неслышно, как тени, словно пугаясь звука собственных шагов. Улицы казались каким-то сборищем призраков, и у дымящихся развалин люди стояли молча,

сторонясь друг друга, не смея даже шепотом порицать бунтовщиков, боясь, как бы их в этом не заподозрили.

В доме Лорд-Президента * на Пикадилли, в Ламбетском дворце *, в доме Лорд-Канцлера * на Грейт-Ормонд-стрит, на Королевской бирже, в Банке, в Ратуше, в Судах и Судейских-Иннах — во всех помещениях окнами на улицу в районе Вестминстера и парламента еще до зари были расставлены войска; отряд конной гвардии гарцевал по Пелес-Ярд, а в парке разбили настоящий лагерь — там стояло под ружьем полторы тысячи солдат и пять батальонов милиции. Тауэр был укреплен, мосты подняты, пушки заряжены и наведены, — крепость эту готовили к обороне два полка артиллерии. Большой отряд солдат охранял Нью-Ривер-Хэд, так как, по слухам, бунтовщики грозились отрезать главные трубы водопровода, чтобы нечем было тушить пожары. На Птичьем Рынке, в Корнхилле и еще нескольких важных пунктах улицы были перегорожены железными цепями, расставлены караулы в некоторых церквах Сити, а также частных домах (в том числе и в доме лорда Рокингема * на Гровенор-сквер *). Дома эти были укреплены так, словно им предстояло выдержать осаду, и в окнах торчали ружья.

Взошедшее солнце осветило пышные апартаменты, полные вооруженных людей, впопыхах кое-как нагроможденную в углах мебель (до нее ли было в эти страшные дни), оружие, сверкавшее в конторах Сити между столами, табуретами, пыльными книгами, маленькие кладбища в переулках и на глухих улицах, где солдаты лежали на траве среди могил или укрывались в тени единственного старого дерева, пирамиды мушкетов, блестевших в утреннем свете, и одиноких часовых, ходивших взад и вперед во дворах, теперь безмолвных, но вчера еще гудевших отголосками кипучей деловой жизни. Везде караульные посты, войска и грозные приготовления.

Чем дальше, тем больше необычайного можно было наблюдать на улицах города. Когда в положенный час отперли ворота Флитской тюрьмы и тюрьмы при суде Королевской Скамьи *, на них оказались наклеенными предупреждения бунтовщиков, что тюрьмы будут сожжены этой ночью.

Тюремное начальство, отлично понимая, что это далеко не пустые угрозы, вынуждено было отпустить на свободу всех узников, разрешив им забрать свой скарб. И весь день те арестанты, у которых в тюрьме была своя мебель, перетаскивали ее кто куда, многие — прямо в лавки старьевщиков, где охотно продавали все за жалкие гроши, которые те предлагали. Среди людей, сидевших в тюрьме за долги, были совсем дряхлые, которые пробыли здесь так долго, что на воле у них не осталось ни близких, ни друзей, и они были совершенно забыты всеми, умерли для мира. Несчастные умоляли не гнать их из тюрьмы, а если уже иначе нельзя, отправить в какую-нибудь другую. Но тюремное начальство не соглашалось, боясь рассердить чернь. Эти люди в лохмотьях, едва волоча ноги в стоптанных башмаках, не зная, куда идти, бродили по давно не виденным, полузабытым улицам, и плакали, не радуясь свободе. Так гнусный тюремный режим превращает людей в жалкие, опустившиеся существа.

Даже среди трехсот узников, бежавших из Ньюгетской тюрьмы, нашлись такие (их, правда, было немного), которые, отыскав своих тюремщиков, сами отдавались им в руки, боясь пережить хотя бы еще одну такую ночь ужасов и предпочитая им заключение и кару за побег, А много было и таких, которые, испытывая неодолимую тягу к месту своего долгого заключения или, быть может, желая насладиться зрелищем его разрушения и упиться местью, приходили сюда среди бела дня и бродили вокруг своих бывших камер. Человек пятьдесят было здесь схвачено в первый же день, но участь их не отпугнула остальных, и они, несмотря ни на что, приходили смотреть на развалины. Всю следующую неделю на них устраивали облавы по нескольку раз в день и забирали их по двое и по трое. Из пятидесяти, арестованных в первый день, некоторые были захвачены в тот момент, когда пробовали снова поджечь стены, но большинство приходило сюда, по-видимому, только для того, чтобы побродить около пепелища; многих застали спящими среди развалин, другие беседовали или выпивали и закусывали, как в любимом трактире.

Не только на воротах тюрем, но и на жилых домах до часу дня появились такие же угрожающие объявления.

Позднее бунтовщики возвестили о своем намерении захватить Банк, Монетный двор, Вулвичский арсенал и королевские дворцы. Объявления эти разносил один человек. В лавки такой вестник входил и просто клал бумажку на прилавок, сопровождая это иногда грубым ругательством или угрозой, а в частных домах он, постучавшись, всовывал объявление в руки прислуге. Несмотря на расставленные во всех частях города караулы и на множество войск в парке, вестники эти весь день безнаказанно занимались своим делом. Так же спокойно ходили по Холборну два парня, вооруженные железными прутьями из ограды дома лорда Мэнсфилда и собирали деньги в пользу мятежников. С той же целью разъезжал верхом по Флит-стрит какой-то верзила, принимавший только золото. Затем по городу распространился слух, испугавший жителей гораздо сильнее, чем все возвещенные заранее планы бунтовщиков (хотя они понимали, что эти планы, если они осуществятся, приведут к национальному банкротству и всеобщему разорению): говорили, что бунтовщики намерены выпустить из Бедлама всех сумасшедших. Эта весть вызывала в воображении людей страшные картины, грозила новыми невообразимыми ужасами, перед которыми бледнели самые тяжкие потери и мучения, и способна была самых нормальных людей довести до безумия.

Так проходил день: освобожденные арестанты тащили из тюрем свои пожитки, по улицам метались горожане, спасавшие свое имущество, вокруг развалин безмолвно стояли кучки людей, деловая жизнь в городе замерла, а размещенные повсюду солдаты бездействовали. И вот день прошел. Впереди была ночь, которой все ожидали со страхом.

В семь часов вечера Тайный Совет выпустил, наконец, торжественное воззвание, в нем объявлялось, что назрела необходимость прибегнуть к вооруженной силе, и военному командованию дан прямой и категорический приказ немедленно пустить в ход все средства для подавления беспорядков. Верноподданным короля предлагалось в эту ночь оставаться дома вместе с домочадцами. Каждому солдату на посту выдали тридцать шесть патронов.

Забили барабаны, и к заходу солнца все войска были уже под ружьем.

Эти решительные меры побудили городские власти созвать Муниципальный Совет, который выразил благодарность военному командованию за предложенную помощь, принял эту помощь и поручил руководство военными действиями двум шерифам. Во дворце королевы с семи часов были удвоены караулы, в коридорах и на лестницах расставлены дежурные лейб-гвардейцы, привратники и лакеи, получившие строгий приказ сторожить всю ночь, и все двери были заперты. В Тэмпле и других Судебных Иннах учащиеся сами охраняли ворота, забаррикадировав их большими камнями, вывороченными для этой цели из мостовой. В Линкольнс-Инне они уступили нортумберлендской милиции * под начальством лорда Алджернона Перси большой зал и другие помещения, а в некоторых кварталах Сити горожане решили защищаться сами, и отряды их имели если не очень устрашающий, то достаточно бравый вид. Несколько сот отважных джентльменов, вооружившись до зубов, засели в учреждениях и, надежно заперев ворота, предлагали бунтовщикам (за глаза, разумеется) прийти сюда на свою погибель. Все эти приготовления, происходившие одновременно или почти одновременно, закончились, когда уже смеркалось. Улицы были сравнительно пусты, а перекрестки и главные магистрали охранялись войсками, по всем направлениям разъезжали группами офицеры, разгоняя прохожих и строго предупреждая всех, чтобы они сидели дома и, услышав пальбу, не подходили к окнам. В таких местах, где легко могла собраться большая толпа, поперек улиц были протянуты цепи и стояли войска. Когда все предосторожности были приняты и уже совсем стемнело, военное командование стало ожидать результатов с некоторой тревогой и тайной надеждой, что такая блестящая демонстрация сил уже сама по себе устрашит бунтовщиков и предотвратит новые беспорядки.

Однако они жестоко ошиблись в расчете: бунтовщики, до того появлявшиеся на улице только небольшими компаниями, которые не давали фонарщикам зажигать фонари, теперь поднялись все, как бушующее море, — видимо, наступление темноты было для них заранее услов-

ленным сигналом. Они хлынули на улицы в стольких местах разом и с такой непостижимой стремительностью, что командиры воинских частей сперва растерялись, не зная, куда кинуться и что делать. Во всех частях города один за другим вспыхивали пожары — казалось, мятежники решили опоясать Лондон огненным кольцом и, постепенно сжимая это кольцо, сжечь его весь дотла. Не было улицы, на которой не кишела бы сплошная масса людей, и так как толпа состояла только из бунтовщиков, то солдатам казалось, будто вся столица ополчилась против них и они должны воевать с целым городом.

Через два часа огонь уже пылал в тридцати шести местах — тридцать шесть огромных пожаров! Горели тюрьма Боро на Тули-стрит, тюрьма Королевской Скамьи, Флитская и Брайдуэлская. Чуть не на каждой улице шел бой, везде гремели выстрелы из мушкетов, заглушавшие вопли и рев толпы. Стрелять начали на Птичьем Рынке, где улица была заранее перегорожена цепями. Первый же залп уложил на месте человек двадцать, и солдаты поспешно унесли трупы в церковь св. Милдред, а потом, снова начав стрельбу, стали энергично преследовать толпу, которая уже отступала, устрашенная кровавой расправой. Около Чипсайда солдаты пошли в штыки.

Улицы Лондона представляли жуткое зрелище. Крики громил, вопли женщин, стоны раненых и неумолчная пальба сливались в ужасный, оглушительный аккомпанемент к тому, что творилось на каждом углу. Самые жаркие бои завязывались там, где улицы были перегорожены, и здесь погибло больше всего народу. Впрочем, почти на всех главных улицах происходила такая же расправа и лилась кровь.

На Холборнском мосту и на Холборн-Хилл было особенно страшное столпотворение: здесь два бурных людских потока, стремившихся из Сити, — один через Ледгет-Хилл, другой через Ньюгет-стрит, — сливались в такую сплошную массу, что каждый залп валил множество людей. Стоявшая тут воинская часть стреляла по всем направлениям — то по Флитскому рынку, то по Холборну, то по Сноу-Хилл, беспрерывным огнем сметая с улиц все и всех. Здесь же в нескольких местах бушевали

пожары, — словом, сосредоточились, казалось, все ужасы этой страшной ночи.

Двадцать раз бунтовщики под предводительством человека с топором в руке, скакавшего на сильной и крупной лошади, которая вместо попоны покрыта была взятыми в Ньюгете цепями, звеневшими и лязгавшими на каждом шагу, пытались проложить себе здесь дорогу через заслон и поджечь дом виноторговца. Все двадцать раз их отбрасывали назад с большими потерями, но они снова и снова наступали, и хотя человек, который вел их, всем бросался в глаза и представлял удобную мишень, так как только он один сидел на лошади, ни одна пуля его не задела. Всякий раз, как дым рассеивался, всадник оказывался по-прежнему в седле и, потрясая топором над головой, хрипло созывая товарищей, мчался вперед так бесстрашно, как будто он был заговорен от пуль.

Это был Хью. Его видели везде, где только дрались бунтовщики. Он возглавлял две атаки на Банк, помогал взламывать кассы на заставах моста Блэкфрайерс и швырял оттуда деньги прямо на улицу, в толпу, собственными руками поджег две тюрьмы, был везде и повсюду, всегда впереди и в действии, налетал на солдат, ободрял своих, и железная музыка цепей, покрывавших спину его лошади, слышна была даже в страшном шуме стычек, из которых он выходил цел и невредим. Ему просто удержу не было. Дадут отпор здесь, — он уже дерется там. Отброшенный в одном месте, немедленно налетает на другое. Когда их в двадцатый раз отогнали с Холборна, он повел огромную толпу прямехонько к собору св. Павла; здесь, напав на солдат, охранявших за железной оградой партию арестованных, заставил их отступить, освободил пленников и с этим новым пополнением помчался обратно, подгоняя всех дикими криками, обезумев от вина и возбуждения.

В такой давке и сумятице нелегко было бы самому лучшему наезднику усидеть на лошади, а этот безумец, хоть и скользил по ее спине (он ездил без седла), как лодка по морским волнам, но ни разу не свалился и все время направлял лошадь, куда хотел. Сквозь самую гущу свалки, по трупам и горящим обломкам, по мостовой и тротуарам, то поднимаясь на какие-нибудь ступени, чтобы

быть на виду у своих, то прорываясь сквозь толпу, так плотно сбитую, что, кажется, иголку между людьми воткнуть было некуда, он несся вперед, как будто для него не существовало никаких препятствий, которых он не одолел бы одним усилием воли. И, быть может, отчасти поэтому он оставался цел: его исключительная смелость внушала солдатам уверенность, что он — один из тех вожаков, о ком говорится в расклеенном повсюду приказе, и им хотелось взять его живьем. Оттого, вероятно, миновали его пули, которые могли бы оказаться меткими.

В этот вечер виноторговец и мистер Хардейл, которым стало уже невмоготу сидеть взаперти и слышать весь этот шум, не видя, что творится, вылезли на крышу и, укрываясь за рядом дымовых труб, осторожно выглянули оттуда на улицу, почти надеясь, что после стольких неудачных атак бунтовщики, наконец, отошли. Но вдруг громкие крики возвестили, что часть осаждающих подступила к дому с другой стороны, и через минуту зловещий лязг проклятых цепей убедил скрывавшихся на крыше, что и тут вожаком является Хью. Солдаты ушли вперед, на Флитский рынок, чтобы там разогнать толпу, и те, кто осаждал дом виноторговца, смогли подойти к нему беспрепятственно.

— Ну, теперь все кончено, — сказал виноторговец мистеру Хардейлу. — Пятьдесят тысяч франков пропадут в один миг. Ничего не поделаешь, надо спасаться — и дай бог, чтобы нам это удалось!

Первой их мыслью было проползти по соседним крышам, постучаться в какое-нибудь чердачное окно, а когда их впустят, сойти вниз на улицу и спастись бегством. Однако яростный крик внизу и поднятые к ним лица показали беглецам, что их заметили, а мистера Хардейла даже узнали. Это Хью, увидев его в ярком блеске пожара, от которого на улице было светло, как днем, громко назвал его по имени и поклялся, что теперь он не уйдет из его рук.

— Друг мой, не заботьтесь обо мне, — сказал мистер Хардейл виноторговцу, — и, ради бога, спасайтесь, бегите!

Не скрываясь больше, он повернулся лицом к толпе, туда, где стоял Хью, и пробормотал про себя:

— Что ж, иди сюда! Крыша высока, и если схватимся здесь с тобой, погибну не один я, а ты тоже!

— Это безумие, чистейшее безумие! — воскликнул виноторговец, оттаскивая его назад. — Да образумьтесь вы, сэр, и слушайте, что я вам скажу. Теперь, если я постучусь в чье-либо окно, меня уже не услышат. А если и услышат, никто не решится помочь мне. Но через погреба есть выход в переулок — этим ходом вкатывают и выкатывают бочки с вином. Мы с вами успеем сойти туда раньше, чем они ворвутся в дом. Не раздумывайте, не теряйте ни секунды, идем! Ради себя, ради меня, наконец, идемте, дорогой сэр!

В то время как он говорил это и тащил мистера Хардейла за собой, они успели еще раз взглянуть на улицу. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы увидеть, что творилось в толпе, облепившей дом со всех сторон. Все те, у кого в руках были какие-нибудь орудия, проталкивались вперед, готовясь ломать двери и окна, другие уже несли горящие головни с ближайшего пожарища, третьи, закинув головы, следили за беглецами на крыше и указывали на них товарищам. Толпа неистовствовала и гудела не меньше бушевавшего кругом огня. Беглецы видели людей, жаждавших добраться до драгоценных запасов крепкого вина, которые, как всем было известно, хранились в подвалах этого дома; видели раненых, которые заползали в подъезды напротив и умирали, брошенные, одинокие среди этой массы людей. Здесь перепуганная женщина пыталась спастись бегством, там метался потерявший родителей ребенок, а неподалеку от него какой-то пьяный, не сознавая даже, что смертельно ранен в голову, дрался, как бешеный, из последних сил. Все это — и даже такие обыкновенные подробности, как человек без шапки, и другой, нагнувшийся за чем-то, и двое, пожимавшие друг другу руки, — беглецы успели отчетливо разглядеть, но в следующий миг, укрывшись за трубу, каждый из них видел уже только бледное лицо другого да багровое небо над головой.

Мистер Хардейл уступил мольбам виноторговца скорее потому, что решил защищать его, а не из страха за себя. Поспешно вернувшись в дом, они сошли по лестнице в подвал. Снаружи уже гремели удары по ставням,

под входную дверь подсовывали ломы, стекла вылетали из рам, сквозь каждую пробоину врывался багровый свет, а в каждую щель и замочную скважину так ясно слышны были голоса громил, что мистеру Хардейлу и его спутнику казалось, будто им хрипло шепчут угрозы в самые уши. Только что оба успели сойти в подвал и закрыть за собой дверь, как толпа ворвалась в дом.

Под сводами погреба царил полный мрак, а они не захватили с собой ни факела, ни свечи, боясь, как бы свет не выдал их. Пришлось двигаться ощупью. Но они недолго оставались в темноте. Скоро стало слышно, как толпа ломится в дверь погреба, и беглецы, оглядываясь, увидели в отдалении людей, разбежавшихся по всем его закоулкам с пылающими факелами. Одни уже сверлили дыры в бочках, другие разбивали большие чаны и, ложась, пили вино прямо из ручейков, растекавшихся по земле.

Мистер Хардейл и виноторговец еще ускорили шаг. Они уже дошли до последнего подвала, за которым был выход на улицу, как вдруг им навстречу блеснул яркий свет и раньше, чем они успели броситься в сторону или повернуть обратно и спрятаться где-нибудь, к ним подошли двое мужчин. Один из них нес факел и, увидев беглецов, удивленно прошептал: «Вот они!»

В тот же миг оба вошедших сняли то, что было у них намотано на головах. И мистер Хардейл увидел перед собой Эдварда Честера, а затем, когда виноторговец, ахнув, произнес имя второго, узнал в этом втором Джо Уиллета.

Да, это был тот самый Джо (только без одной руки), который, бывало, каждые три месяца приезжал на серой кобылке платить по счету краснолицему виноторговцу. И сейчас этот самый краснолицый виноторговец, некогда живший на Темз-стрит, глядел ему в лицо и повторял его имя.

— Дайте руку! — сказал Джо тихонько и взял его за руку, не дожидаясь согласия удивленного джентльмена. — Смело пожмите мою, это рука друга... и сильная, хотя у нее уже нет пары. Как же вы прекрасно выглядите, сэр, и как еще бодры! Здравствуйте, мистер Хардейл! Мужайтесь, сэр, мужайтесь, мы их непременно разыщем. Будьте покойны, мы не теряли времени даром.

В тоне Джо было столько искренности и дружелюбия, что мистер Хардейл невольно протянул ему руку, хотя присутствие его здесь казалось ему довольно подозрительным. А от Джо не укрылся взгляд, брошенный мистером Хардейлом на Эдварда Честера, который держался поодаль. И, глядя на Эдварда, но обращаясь к мистеру Хардейлу, Джо сказал напрямик:

— Времена меняются, мистер Хардейл, и сейчас надо уметь отличать друзей от врагов. Должен вам сказать, что, если бы не этот джентльмен, вы, вероятно, были бы сейчас мертвы или в лучшем случае тяжело ранены.

— Что вы такое говорите? — промолвил мистер Хардейл.

— Говорю, во-первых, что нужно было немало смелости, чтобы сунуться в толпу разбойников и выдавать себя за таких, как они... впрочем, об этом распространяться не стану, потому что и я тоже в этом участвовал. А во-вторых, скажу, что свалить с лошади у всех на глазах того парня — это уж, конечно, было настоящее геройство!

— Какого парня? У кого на глазах?

— Какого парня, сэр? Да того, кто на вас так взъелся! — воскликнул Джо. — Отчаянный он и злой, как двадцать чертей. Я его давно знаю. Попади он в дом, уж он отыскал бы вас непременно, здесь или в любом месте. Другие на вас не так злы, и если не увидят, так и не вспомнят про вас. Им бы только нализаться до бесчувствия. Однако не будем терять времени. Вы готовы?

— Конечно, — отозвался Эдвард. — Гасите факел, Джо, и вперед! Да помалкивайте, прошу вас.

— Помолчу я или не помолчу, а дело само за себя говорит, — пробормотал Джо. Бросив горящий факел на землю и затоптав его, он взял мистера Хардейла за руку. — Славное и смелое дело!

И мистер Хардейл и почтенный виноторговец были так ошеломлены и так торопились выбраться отсюда, что больше не задавали вопросов и молча шли за своими проводниками. Во время последовавшего затем короткого совещания с виноторговцем насчет того, какой дорогой лучше выйти, выяснилось, что Джо и Эдварда впустил в дом с черного хода Джон Груби, который сторожил на

улице с ключом в кармане и которого они посвятили в свой план. В ту самую минуту, как они входили, на улице появилась кучка бунтовщиков, поэтому Джон поспешил опять запереть дверь и побежал за солдатами, отрезав таким образом Джо и Эдварду путь к отступлению.

Впрочем, кучка громил, зная, что дверь с фасада уже взломана и думая только о том, как бы поскорее добраться до вина и водки, не стала ломиться с черного хода, а обошла кругом и вместе с остальными проникла в дом с Холборна. Таким образом, в узком переулочке за домом не было ни одной живой души. И когда беглецы ползком пробрались подземным ходом, указанным виноторговцем (это был попросту наклонный трап для скатывания в подвал бочек), и не без труда, сняв цепь, подняли люк, они вышли на улицу беспрепятственно, никем не замеченные. Джо все так же крепко держал под руку мистера Хардейла, а Эдвард — виноторговца, и они побежали, сторонясь лишь по временам, чтобы пропустить других беглецов или нагонявших их солдат. Солдаты иногда останавливали их и начинали допрашивать, но стоило Джо шепнуть им слово, и они тотчас отпускали всех четверых.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Прошлой ночью, когда горела Ньюгетская тюрьма, Барнеби и его отец, которых спасители передавали из рук в руки, скоро очутились в Смитфилде, позади всей толпы. Они стояли и смотрели на огонь, как люди, внезапно пробужденные от сна. Прошло несколько минут раньше, чем они вспомнили, где находятся и как сюда попали. Тут только оба сообразили, что у них в руках инструменты, впопыхах кем-то сунутые для того, чтобы они могли разбить свои кандалы. А они-то столько времени стояли и смотрели на пожар, не сделав этого!

Будь Барнеби один, он, несмотря на то, что был крепко скован, непременно бросился бы обратно к тюрьме

искать Хью, который теперь представлялся его омраченному уму в ореоле спасителя и верного друга. Таково было его первое побуждение, но, когда он понял, как его отец боится оставаться на улице, этот страх заразил и его и внушил горячее желание укрыться как можно скорее в каком-нибудь безопасном месте.

Отыскав на рынке укромный уголок между загонами для скота, Барнеби стал перед отцом на колени и принялся сбивать с него кандалы, то и дело отрываясь от работы, чтобы погладить его по щеке или улыбнуться ему. Он пришел в бурный восторг, увидев, наконец, отца освобожденным, и тогда только принялся разбивать собственные кандалы. Скоро и они с громким лязгом упали на землю.

Покончив с этим делом, отец и сын пошли прочь от рынка, пробираясь между стоявшими здесь группами людей; каждая такая группа окружала какую-нибудь согнувшуюся фигуру, заслоняя ее от глаз прохожих, но не могла заглушить стука молотка о железо, выдававшего, что эти люди были заняты тем же, чем только что занимался Барнеби. Беглецы направились к Клеркенуэлу, оттуда в Излингтон, ближайшее место, где можно было выйти за город, и скоро очутились в поле. Долго ходили они здесь, пока не нашли на выгоне близ Финчли какой-то сарайчик с травяной крышей — должно быть, он был когда-то построен для пастуха, а теперь заброшен. В этом сарайчике Барнеби с отцом остались ночевать.

На другое утро они снова стали бродить вокруг, а Барнеби, сбегав за две-три мили, туда, где виднелось несколько домишек, купил хлеба и молока. Не найдя нигде лучшего убежища, они вернулись в ту же лачугу и легли спать.

Один бог знает, что̀ побуждало Барнеби так трогательно заботиться о Радже и оберегать его: туманные ли представления о сыновнем долге и любви, непостижимый ли голос природы, внятный ему так же, как и людям светлого и высокоразвитого ума, или неясные воспоминания о том, как товарищи его детских игр говорили о своих отцах, любящих и любимых, или какие-то смутные ассоциации, связывавшие в его уме этого человека с вдовьей жизнью матери, ее слезами, ее постоянной

грустью. Несомненно одно — что какие-то безотчетные мысли и ощущения, постепенно пробуждаясь, рождали в душе Барнеби глубокую жалость, когда он смотрел на изможденное лицо Раджа, наполняли слезами его глаза, когда он наклонялся поцеловать отца, заставляли сторожить его спящего и с каким-то грустным умилением заслонять его от солнца, обмахивать веткой, успокаивать, когда тот вздрагивал во сне, — о, какой это был беспокойный сон! — и мечтать о том, как будет счастлива мать, когда они встретятся и заживут все вместе. Весь тот день Барнеби сидел подле спящего Раджа, и в каждом шелесте ветерка ему чудились *ее* шаги, он ждал, что вот-вот на тихо колышущейся траве увидит ее тень. Он принялся плести венок из полевых цветов, чтобы порадовать ее, когда она придет, и отца, когда тот проснется, и время от времени, наклонясь над спящим, слушал его сонное бормотание, недоумевая, почему сон его так тревожен, когда вокруг мирная тишина. Солнце село, наступила ночь, а Барнеби, занятый своими мыслями, все сидел, так спокойно, как будто в мире не было других людей, как будто под черным облаком дыма, нависшим над огромным городом вдали, не скрывались пороки и преступления, борьба не на жизнь, а на смерть и множество причин для тревоги, как будто впереди все было светло и ясно.

Но вот наступило время идти в город за слепым (Барнеби был в восторге от этого поручения) и привести его в их убежище. Отец наказал ему соблюдать всяческую осторожность для того, чтобы его никто не выследил и не пошел за ним на обратном пути. Барнеби выслушал все наставления, повторил их несколько раз, чтобы запомнить. Он раза два-три еще возвращался с дороги, чтобы удивить отца неожиданным появлением, и заливался при этом беззаботным смехом, но, наконец, ушел, оставив отца на попечение Грипа, которого принес с собою на руках из тюрьмы.

И всегда быстроногий, Барнеби сейчас шагал быстрее обычного, так как ему хотелось поскорее вернуться. Все же он пришел в город, когда везде уже пылали пожары, тревожа ночь зловещим светом. То ли потому, что теперь он пришел сюда один, без своих недавних товарищей и

не для стычек и разрушения, или на него так подействовало блаженное уединение в поле и те мысли, в которых он провел весь день, но Лондон показался ему адом, населенным сонмами бесов. Преследуемые беглецы, пожары и жестокие разгромы, ужасные вопли раненых и оглушительный шум — неужели в этом заключалась великая, благородная миссия доброго лорда?

Как ни был он потрясен страшным зрелищем, он все же сумел отыскать жилище слепого. Оно было заперто и пусто. Барнеби ждал долго, но никто не появлялся. Наконец он ушел оттуда и, узнав от прохожих, что стреляют солдаты и что в городе много убитых, направился к Холборну, где, по слухам, собралось больше всего бунтовщиков. Он хотел поискать Хью и уговорить его уйти из города, подальше от опасности.

Ошеломление и ужас Барнеби возросли в тысячу раз, когда он очутился в самом водовороте и уже не как участник, а как зритель, увидел все, что творилось. И здесь-то, среди толпы, возвышаясь над всеми, у осажденного дома сидел на лошади Хью и отдавал распоряжения!

Подавленный всем, что видел, изнемогая от жары, грохота и воя вокруг, Барнеби прокладывал себе дорогу в толпе, где многие узнавали его и с приветственными криками отодвигались, чтобы дать ему пройти. Скоро он почти добрался до Хью, который яростно выкрикивал какие-то угрозы, но какие и по чьему адресу, Барнеби в такой суматохе не мог разобрать. В эту минуту толпа ринулась в дом, а Хью вдруг (в толчее невозможно было разглядеть, как это случилось) мешком свалился с лошади.

Барнеби добежал до него, когда Хью уже поднялся, шатаясь. К счастью, Барнеби успел окликнуть его, иначе Хью, уже замахнувшийся топором, рассек бы ему череп надвое.

— Барнеби, это ты? А кто же сшиб меня с лошади?

— Не я.

— А кто? Кто, я спрашиваю? — закричал Хью, дико озираясь кругом. — Где он? Покажите мне его!

— Ты ушибся, — сказал Барнеби (Хью действительно получил удар в голову, а когда падал, лошадь стукнула его копытом). — Пойдем со мной.

Он взял лошадь под уздцы, повернул ее и оттащил Хью на несколько шагов. Они очутились в стороне от толпы, которая хлынула с улицы в погреба виноторговца.

— А где же... где Деннис? — спросил вдруг Хью, остановившись и сильной рукой удерживая Барнеби на месте. — Где он пропадал весь день? И почему вчера ночью в тюрьме ушел от меня? Скажи сейчас же, где он, — слышишь?

Взмахнув своим опасным орудием, он покачнулся и опять грохнулся наземь как бревно. Совсем одурев от пьянства и удара в голову, он через минуту подполз к бежавшему в канаве ручью горящего спирта и стал пить этот спирт, как воду. Но Барнеби оттащил его и заставил подняться. Хотя Хью едва держался на ногах, он кое-как доковылял до лошади и взобрался на нее. После нескольких тщетных попыток освободить лошадь от ее гремящей сбруи, Барнеби сел на нее позади Хью, схватил поводья и, повернув в Лезер-лейн, до которой было рукой подать, пустил напуганную лошадь крупной рысью.

На повороте он в последний раз оглянулся и увидел зрелище, которое нелегко было забыть, — даже в его слабую память оно врезалось на всю жизнь.

Дом виноторговца и с полдюжины соседних домов представляли собой один громадный пылающий костер. Всю ночь никто не пытался тушить пожар или хотя бы помешать огню переброситься на другие строения, но сейчас отряд солдат принялся сносить два старых деревянных дома поблизости, которые каждую минуту могли загореться и способствовать быстрому распространению пламени.

Грохот валившихся стен и тяжелых балок, дикий рев и ругань, отдаленная пальба, искаженные безумным отчаянием лица тех, чьи жилища были в опасности, метавшиеся повсюду перепуганные люди, спасавшие свое добро, и над всем этим — багровое от огня небо, такое страшное, как будто наступил конец света и вся вселенная объята пламенем, воздух, полный пепла, дыма, потоков искр, воспламенявших все, на что они попадали, жгучий удушливый пар, гибель всего живого, померкшие зве-

зды и луна и словно сожженный небосвод — все создавало картину такого ужаса, что казалось — господь отвернул свой лик от мира, и никогда больше на землю не сойдет тишина и кроткий небесный свет.

Здесь можно было увидеть еще кое-что похуже, страшнее пламени и дыма и даже безумной, неутолимой ярости черни. По всем канавам, да и в каждой трещине и выбоине мостовой текли потоки палящего, как огонь, спирта. Запруженные стараниями бунтовщиков, потоки эти затопили мостовую и тротуар и образовали большое озеро, куда десятками замертво падали люди. Лежали вповалку вокруг этого рокового озера мужья и жены, отцы и сыновья, матери и дочери, женщины с детьми на руках или младенцами у груди, и пили, пили до тех пор, пока не умирали. Одни, припав губами к краю лужи, пили, не поднимая головы, пока не испускали дух, другие, наглотавшись огненной влаги, вскакивали и начинали плясать не то в исступлении торжества, не то в предсмертной муке удушья, потом падали и погружались в ту жидкость, что убила их.

И даже это было еще не самым страшным, не самым мучительным родом смерти в ту роковую ночь. Из горящих погребов виноторговца, где пили, черпая вино шляпами, ведрами, ушатами, башмаками, некоторых вытаскивали еще живыми, но охваченными с головы до ног пламенем. Они в нестерпимой муке кидались туда, где было хоть что-нибудь похожее на воду, тела их, шипя, погружались в это мерзкое озеро, выплескивая оттуда жидкий огонь, который, растекаясь по земле, охватывал на пути все, не щадя ни живых, ни мертвых.

Так в последнюю ночь бунта — ибо эта ночь была его последней ночью — злосчастные жертвы бессмысленного разгула страстей сами превращены были в пепел тем пожаром, который они зажгли, и прах их усеял улицы Лондона.

Всю эту картину вобрал в себя прощальный взгляд Барнеби, и она неизгладимо запечатлелась в его душе. Он спешил поскорее уйти из города, где творились такие ужасы, и, опустив голову, чтобы не видеть даже отблесков пожара на тихих улицах предместья, скоро вышел на безлюдную дорогу за городом.

Остановившись в полумиле от сарайчика, где ночевал его отец, он не без труда втолковал Хью, что надо слезать, утопил в стоячем прудке цепи, которыми была навьючена лошадь, и отпустил ее на волю. После этого он, поддерживая Хью, как мог, медленно повел его дальше.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Была уже поздняя и очень темная ночь, когда Барнеби со своим спотыкавшимся на каждом шагу спутником подошел к тому месту, где оставил отца. Завидев их, тот отступил в темноту и стал быстро уходить, не доверяя, видимо, даже сыну. Барнеби заметил это и несколько раз окликнул его, говоря, что ему нечего бояться, но, когда это не помогло, он оставил Хью, который тяжело шлепнулся на землю, и побежал за отцом.

Радж крадучись продолжал идти, пока Барнеби его не догнал, а тогда он обернулся и сказал тихо, но грозно:

— Не тронь меня! Пусти! Я знаю, ты все рассказал *ей,* и вы сговорились выдать меня.

Барнеби молчал и только смотрел на него во все глаза.

— Ты виделся с матерью!

— Да нет же, нет! — с живостью воскликнул Барнеби. — Я очень давно ее не видел, сам не знаю, сколько времени. Наверное, целый год. Разве она пришла?

Отец минуту-другую пристально смотрел на него, потом подошел поближе и (так как, глядя в лицо Барнеби и слушая его, нельзя было ему не поверить) спросил:

— А что это за человек с тобой?

— Это Хью, Хью — ты же его знаешь. Он тебя не обидит. Неужели ты боишься Хью? Ха-ха-ха! Боишься моего сердитого крикуна Хью!

— Кто этот человек, я тебя спрашиваю? — перебил Радж так свирепо, что Барнеби сразу перестал смеяться и невольно попятился, глядя на него со страхом и недоумением.

— Какой ты строгий! Я тебя боюсь, хоть ты мне и отец. Зачем ты так говоришь со мной?

— Я жду ответа, — сказал Радж, стряхнув руку Барнеби, которую тот положил ему на рукав в робкой попытке умилостивить его. — А ты только зубы скалишь да сам пристаешь с вопросами. Кого ты вздумал привести сюда, где мы прячемся, несчастный дурак? И где же слепой?

— Не знаю. Его дом заперт. Я ждал, ждал, но никто не пришел. Чем же я виноват? А сюда я привел Хью, славного Хью, который ворвался в эту мерзкую тюрьму и выпустил нас с тобой. Ага, теперь ты будешь рад ему, да?

— Почему он лежит?

— Он ушибся, упав с лошади. И много выпил. У него все кружится перед глазами — поля, деревья... кружится и кружится! И земля уходит из-под ног. Ты ведь его помнишь? Узнаешь? Смотри!

Они успели уже тем временем вернуться к тому месту, где лежал Хью, и оба, наклонясь, заглянули ему в лицо.

— Да, припоминаю, — буркнул Радж. — Но зачем ты его привел?

— Если бы он остался там, его бы убили. Там стреляют и кровь течет... Ох! Скажи, отец, тебе тоже бывает дурно, когда ты смотришь на кровь? Ага, я по твоему лицу вижу, что бывает! Вот и мне тоже. На что ты смотришь? Что там такое?

— Ничего, — глухо ответил убийца. Отступив на шаг, он с отвисшей челюстью смотрел широко открытыми глазами куда-то поверх головы сына. — Ничего.

Он стоял так еще минуту-другую с тем же выражением на лице, потом медленно осмотрелся по сторонам, как человек, потерявший что-то, и, весь дрожа, направился к сараю.

— Можно внести его, отец? — спросил Барнеби, все еще недоумевая.

Ответом был только подавленный стон. Радж улегся на землю в самом темном углу, с головой завернувшись в плащ.

Убедившись, что Хью никак не удастся разбудить и поднять на ноги, Барнеби поволок его по траве в сарай и уложил на охапке сена и соломы, служившей ему постелью. Но сначала он сбегал к ближнему ручью за

водой и обмыл рану Хью, умыл ему руки и лицо. Сделав все это, он улегся и сам между отцом и Хью и глядел на звезды, пока не уснул.

Рано утром его разбудило солнце, пение птиц и жужжанье насекомых. Отец и Хью еще спали, и Барнеби тихонько вышел подышать чудесным свежим воздухом. Но он чувствовал, что его измученной душе, угнетенной страшными картинами прошлой ночи и многих предыдущих ночей, еще тяжелее от красоты летнего утра, которая раньше так его радовала и восхищала. Он вспомнил те блаженные дни, когда бегал с собаками по лесам и полям, и глаза его наполнились слезами. Он — прости его, боже! — не чувствовал за собой никакой вины и все еще верил в правоту того дела, в которое его впутали, в тех, кто защищал это дело. Но теперь в душу его нахлынули тревога, сожаления, тяжкие воспоминания и, впервые в жизни, горечь сознания, что нельзя изменить случившегося, которое принесло людям столько горя и страданий. Думал он и о том, как счастливы были бы они все — отец, мать, он и Хью, — если бы могли уйти вместе и поселиться в каком-нибудь тихом местечке, где люди не знают таких ужасов. Может быть, слепой, который так умно рассуждал про золото и сказал ему, что знает великие тайны, научил бы их, как жить не терпя нужды. Когда эта мысль пришла Барнеби в голову, он еще больше пожалел, что не встретился вчера со слепым. Именно об этом он думал, когда отец подошел сзади и тронул его за плечо.

— А, это ты! — сказал Барнеби, вздрогнув и очнувшись от задумчивости.

— Я, конечно. Кто же еще?

— А я было подумал: не слепой ли? Мне до зарезу нужно поговорить с ним.

— Да и мне тоже. Без него я не знаю, куда бежать и что делать, а засиживаться здесь нельзя, это — смерть. Тебе придется опять сходить за ним и привести его сюда.

— Так мне идти? — обрадовался Барнеби. — Вот хорошо-то!

— Но смотри — приведи только его одного. Жди у его дверей хотя бы весь день и ночь, не возвращайся без него.

— Не беспокойся, я непременно его приведу! — весело закричал Барнеби. — Непременно!

— А эту мишуру ты сними, — сказал отец, срывая с его шляпы перья и обрывки лент. — И накинь мой плащ. Да смотри будь осторожен... Впрочем, они там так заняты, что на тебя и внимания не обратят. Насчет обратного пути тебе нечего беспокоиться: слепой уж сумеет пройти повсюду безопасно.

— Еще бы! — подхватил Барнеби. — Конечно, сумеет! Он умный человек. И знаешь, отец, он может научить нас как разбогатеть. Ого, я его знаю!

Он постарался одеться так, чтобы его не узнали, и вмиг был готов. В свою вторую экспедицию он отправился уже немного утешенный, оставив Хью, который все еще лежал на полу в пьяном забытьи, и отца, шагавшего взад и вперед у сарая.

Убийца, осаждаемый тревожными мыслями, смотрел ему вслед, пока он не скрылся, потом снова стал шагать взад и вперед. Его пугал каждый шелест ветерка в листве, каждая легкая тень пробегавших облаков на усеянном маргаритками лугу. Он жаждал благополучного возвращения сына, от которого зависела и его собственная безопасность и жизнь, но вместе с тем чувствовал облегчение от того, что на время от него избавился. Он был так поглощен неотвязными думами о своих тяжких преступлениях, об их настоящих и будущих последствиях, что в своем сосредоточенном эгоизме совсем не думал о Барнеби и не испытывал никаких отцовских чувств. Но при всем том присутствие сына было для него пыткой, вечным укором. В его блуждающих глазах он словно видел страшные образы *той* ночи, странная внешность Барнеби, его недоразвитый ум — все способствовало тому, что он казался убийце как бы порождением его греха. Ему были невыносимы взгляды Барнеби, его голос, его прикосновения. Но в том отчаянном положении, в каком он очутился, он не мог расстаться с Барнеби — с ним была связана единственная возможность избежать виселицы, единственная надежда на спасение.

Занятый этими мыслями, он все ходил и ходил весь день, почти не присаживаясь, а Хью по-прежнему лежал в забытьи на полу в сарае. Наконец, когда уже садилось

солнце, вернулся Барнеби. Он вел слепого и о чем-то очень серьезно толковал с ним.

Радж пошел им навстречу и, отослав сына к Хью, который только что поднялся, взял за руку слепого и медленно повел его к сараю.

— Зачем было посылать за мной именно его? — сказал Стэгг. — Ведь таким манером ты мог его потерять быстрее, чем нашел.

— Не самому же мне было идти? — возразил Радж.

— Гм!.. И то верно. Во вторник ночью я был у тюрьмы, но не мог найти вас в толпе. И прошлой ночью я тоже дома не сидел. Хорошая был работа той ночью, веселая и прибыльная, — добавил он, позвякивая деньгами в кармане.

— А виделся ты с...

— С твоей почтенной супругой? Виделся.

— Да ты скажешь мне, наконец, все или нет?!

— Сейчас все расскажу, — со смехом обещал слепой. — Извини — люблю, когда ты сердишься. Это доказывает, что человек еще не выдохся.

— Ну, что же, она согласна дать показания, которые могут меня спасти?

— Нет, — выразительно ответил слепой, повернувшись к нему лицом, — не согласна. Вот слушай, как было дело. Когда ее любимый сынок убежал от нее, она была при смерти — лежала в беспамятстве, и все такое. Я узнал, что она в больнице, и, с твоего позволения, прямо туда к ней явился. Разговор был недолог: она очень слаба, да и около постели толклись разные люди, так что говорить было не совсем удобно. Однако я сказал ей все, как мы с тобой условились, и очень красочно описал положение юного джентльмена. Она пробовала меня разжалобить, но (как я и сказал ей) это был только напрасный труд. Она, конечно, плакала и охала, — у женщин без этого не обходится. Но вдруг — откуда взялась и сила и голос! — сказала, что бог поможет ей и ее ни в чем не повинному сыну, и богу она будет жаловаться на нас, — что она тут же сделала, и, смею тебя уверить, в самых красноречивых выражениях. Я дал ей дружеский совет не очень-то рассчитывать на помощь с неба, так как оно далеко, и хорошенько подумать. Сообщил ей свой адрес.

Выразил твердую надежду, что она пошлет за мной не позднее завтрашнего полудня. Когда я уходил, она была в обмороке, не знаю — настоящем или притворном.

Окончив свой рассказ, который он вел с перерывами, так как щелкал орехи, которых у него, по-видимому, был полный карман, слепой вытащил фляжку, отхлебнул глоток и протянул ее Раджу.

— Не хочешь? Вправду не будешь? — сказал он, почувствовав, что Радж оттолкнул фляжку. — Ну, тогда угостим того храброго джентльмена, которого вы приютили. Эй, вояка!

— Черт возьми, скажешь ты, наконец, что мне делать? — проворчал Радж, удерживая его.

— Что делать? Ничего нет проще: часа через два отправляйся вдвоем с юным джентльменом (он пойдет очень охотно, я уже по дороге надавал ему добрых советов) на приятную прогулку при лунном свете. Уходите как можно дальше от Лондона и дай знать, где вы остановитесь, остальное предоставь мне. Она обязательно сдастся, долго ей не выдержать. Ну, а насчет того, что тебя могут опять забрать, я тебе вот что скажу: из Ньюгета сбежал не ты один, сбежало триста человек. Ты это помни и будь спокоен.

— Нам надо как-то прожить. А как?

— Как? — повторил слепой. — Чтобы жить, надо есть и пить. А еду и питье можно добыть за деньги. Деньги? — Он хлопнул себя по карману. — За деньгами, что ли, дело стало? Да ведь денег теперь на улицах хоть пруд пруди! Только бы черти помогли, чтобы эта потеха не скоро кончилась, — золотые настали денечки, есть где разгуляться, есть и чем поживиться, только загребай! Эй, вояка! Где ты там? Пей, угощайся!

Горланя так развязно, с наглостью, свидетельствовавшей, что среди общей разнузданности и беспорядка он чувствует себя в своей стихии, слепой ощупью добрался до сарая, где Хью и Барнеби сидели на полу.

— Пусти ее вкруговую, — крикнул он, протягивая Хью свою фляжку. — Все канавы в Лондоне текут нынче вином и золотом. Гинеи и водка хлещут даже из водосточных труб. Пей хоть все до дна, не жалей!

Хью был совсем без сил, грязен, весь в копоти и пыли,

охрип так, что мог говорить только шепотом; волосы его слиплись от крови, кожа была словно иссушена лихорадкой, все тело в синяках, ранах и ушибах. Тем не менее он взял фляжку, поднес ее ко рту и стал пить. Вдруг в сарае потемнело: какая-то фигура заслонила вход. Перед ними стоял Деннис.

— Ну, ну, не сердись, братец, — примирительно сказал этот субъект, когда Хью перестал пить и смерил его недружелюбным взглядом. — Я тебя, братец, ничем не обидел. А, и Барнеби здесь? Как поживаешь, Барнеби? И еще два джентльмена! Ваш покорный слуга, джентльмены. Надеюсь, я вас не стесню?

Говорил он самым дружеским и непринужденным тоном, однако почему-то никак не решался войти и стоял за порогом. Он сегодня приоделся: правда, на нем был тот же черный костюм, вытертый до ниток, но на шее красовался желтовато-белый платок сомнительной чистоты, а на руках — большие кожаные перчатки, какие надевают садовники для работы. Башмаки были свеженачищены и украшены ржавыми пряжками, чулки на коленях подвязаны новыми бечевками, и во всех местах, где недоставало пуговиц, их заменяли булавки. В общем, Деннис чем-то напоминал полицейского сыщика, сильно потрепанного, но всеми силами старавшегося сохранить приличествующий его профессии вид.

— А вы нашли себе укромное местечко, — сказал мистер Деннис, достав ветхий носовой платок, сильно смахивавший не то на недоуздок, не то на удавку, и с нервной суетливостью утирая им лоб.

— Видно, не такое уж укромное, раз ты и здесь нас нашел, — угрюмо отрезал Хью.

— Видишь ли, братец, — возразил Деннис с самой дружелюбной улыбкой, — если не хочешь, чтобы я знал, куда ты держишь путь, никогда не привешивай своей лошади такие колокольчики. Мне их звон издавна хорошо знаком — и слух у меня тонкий. Вот и весь секрет. Ну, как ты, брат?

Он уже успел подойти ближе и решился даже сесть рядом с Хью.

— Я? — отозвался Хью. — Скажи-ка лучше, где ты пропадал вчера? Зачем ушел от нас в тюрьме и куда?



И чего это ты вздумал тогда таращить на меня глаза да грозить мне кулаком, а?

— Я грозил кулаком! Грозил тебе, брат! Да что ты! — воскликнул Деннис, осторожно отводя грозно занесенную над ним руку Хью.

— Ну, не кулаком, так палкой. Не все ли равно!

— Бог с тобой, братец, и не думал! Как мало ты меня знаешь! После этого я не удивлюсь, — добавил Деннис тоном огорченного и невинно оскорбленного человека, — если ты вообразишь, что раз я просил оставить в тюрьме тех четверых, значит я решил изменить нашему знамени.

Хью, выругавшись, подтвердил, что именно так он и думает.

— Что ж, — меланхолическим тоном промолвил мистер Деннис, — по-твоему выходит, что никому нельзя верить. Чтобы я, Нед Деннис, как меня окрестил родной отец, изменил нашему делу!.. Это твой, что ли, топор, братец?

— Мой, — ответил Хью все так же сердито. — И ты бы попробовал его на своей шкуре, если бы попался мне прошлой ночью. Не тронь его, положи на место.

— Попробовал бы его на своей шкуре,— повторил мистер Деннис, все еще не выпуская из рук топора и с рассеянным видом пробуя пальцем острие. — А я-то работал все время, себя не жалея! Нет правды на свете! И ты даже не угостишь меня глоточком из этой бутылки, а, Хью?

Хью протянул ему фляжку. Но не успел Деннис поднести ее ко рту, как Барнеби вскочил и, знаком велев всем молчать, быстро выглянул наружу.

— Что там такое, Барнеби? — спросил Деннис, покосившись на Хью. Он отставил фляжку, но топор по-прежнему сжимал в руке.

— Тсс! — шепотом сказал Барнеби. — Что-то там блестит за кустами!

— Как! — крикнул палач во все горло и вдруг обхватил руками его и Хью. — Неужели солдаты?

В тот же миг в сарай ворвались вооруженные люди, и отряд конницы, промчавшись по полю, остановился у дверей.

— Вот, джентльмены, — сказал Деннис (его одного не тронули солдаты, схватившие всех остальных),— эти двое молодых — те самые, за которых назначена награда. А этот — беглый арестант. Уж ты меня извини, братец, — обратился он к Хью с притворным смирением. — Сам виноват — ты вынудил меня так поступить. Ведь ты не захотел уважить самые разумные законы нашей страны, вздумал подрывать основы нашего общества. Клянусь душой, я готов иной раз спрятать в карман милосердие, а закон соблюсти... Если вы их будете держать крепко, джентльмены, так я, пожалуй, свяжу их сам — думаю, что справлюсь с этим лучше, чем вы.

Новое происшествие задержало на несколько минут эту процедуру. Слепой, у которого слух был так остер, что служил ему лучше, чем большинству зрячих — глаза, еще раньше Барнеби уловил шорох в кустах, за которыми двигались солдаты. Испугавшись, он незаметно выскользнул из сарая и спрятался, а теперь, со страху должно быть, потерял способность ориентироваться и пустился бежать у всех на глазах по открытому лугу.

Один из офицеров крикнул, что этот самый человек накануне участвовал в разграблении дома. Слепому громко приказали сдаться, но он побежал еще быстрее. Через несколько секунд он был бы уже в безопасности и никакая пуля не догнала бы его. Но раздалась команда, и солдаты дали залп.

После залпа — мгновение мертвой тишины: люди притаили дыхание, все глаза были устремлены на слепого. Когда загремели выстрелы, все увидели, как он вскинулся, точно от испуга, но не остановился и ничуть не замедлил бег. Он пробежал еще добрых сорок ярдов и вдруг, ни разу не пошатнувшись, не дрогнув, ничем не обнаружив, что его оставляют силы, упал на землю, как подкошенный.

Несколько человек бросились к тому месту, где он лежал, и палач с ними. Все произошло так быстро, что даже дым от выстрелов не успел рассеяться и вился в воздухе, медленно поднимаясь кверху легким облачком — казалось, это душа умершего отлетает с земли. На траве алело несколько капель крови (их прибавилось, когда труп перевернули) — вот и все.

— Послушайте, что же это? — сказал палач, становясь на одно колено подле трупа и с безутешным видом глядя то на офицера, то на солдат. — Хороша картина, нечего сказать!

— Отойдите, не мешайте, — бросил ему офицер. — Сержант, обыщите тело!

Сержант вывернул карманы убитого и, вытряхнув их содержимое на траву, насчитал, кроме каких-то иностранных монет и двух колец, сорок пять золотых гиней. Все это завязали в носовой платок и унесли, а тело пока оставили на месте, поручив шестерке солдат под начальством сержанта отнести его в ближайшую харчевню.

— Ну-с, а вы что же? — сказал сержант, хлопнув Денниса по спине и кивая на офицера, шедшего к сараю.

На это мистер Деннис ответил только: «Оставьте меня!» — и затем повторил те слова, что сказал минуту назад:

— Хороша картина, нечего сказать!

— Да вам-то что? Не ваша забота, — сухо заметил сержант.

— А чья же, если не моя? — возразил Деннис, вставая.

— Не знал, что вы такой жалостливый, — сказал сержант.

— Жалостливый! — повторил Деннис. — Жалостливый! Да вы гляньте на него. По-вашему, это называется соблюдать законы? Изрешетили человека пулями, вместо того чтобы повесить его честь честью, как настоящего британца! Будь я проклят, если знаю, на чьей стороне мне теперь быть! Вы ничуть не лучше тех. Что будет с Англией, если военные власти начнут этак вот распоряжаться вместо гражданских? Имел право этот несчастный, как английский гражданин, в свой последний час пройти через *мои* руки? Где же его права, я вас спрашиваю? Я здесь, я готов был выполнить свою обязанность. Хорошие же настали времена, если уже мертвецы в обиде на нас вопиют к небу, а мы спим себе спокойно, как ни в чем не бывало. Ну и дела!

Трудно сказать с уверенностью, утешило ли Денниса хоть сколько-нибудь то, что он собственноручно связал арестованных. По всей вероятности, да. Во всяком слу-



чае, это занятие на время отвлекло его от грустных размышлений и дало его мыслям более подходящее направление.

Троих арестованных отправили в Лондон не вместе: Барнеби и его отец шли пешком под конвоем пехоты, а Хью, крепко привязанного к лошади, повезли другой дорогой под надежной охраной целого отряда конницы. Да и за тот короткий промежуток времени, что прошел до их отправки, они не имели возможности перекинуться ни словом, так как их держали порознь и строго следили за ними. Хью видел только, как Барнеби шел среди солдат, низко опустив голову и, проходя мимо, попытался махнуть ему на прощание закованной рукой, но и тут не поднял глаз. Сам же Хью бодрился, стараясь уверить себя, что, куда бы его ни заперли, товарищи ворвутся в тюрьму и освободят его. Но, когда они приехали в Лондон, а в особенности, когда Хью увидел, как на Флитском рынке, который совсем недавно был главным оплотом бунтовщиков, войска расправляются с последними остатками банд, он понял, что надежды нет и что его ждет смерть.

ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

Закончив свое дело без всяких затруднений и без малейшего ущерба для себя, вернувшись к мирной и пристойной частной жизни, мистер Деннис решил полчасика отдохнуть и развлечься в женском обществе. С таким приятным намерением он направил стопы к тому дому, где все еще под замком томились Долли и мисс Хардейл и куда, по приказанию мистера Саймона Тэппертита, была доставлена и мисс Миггс.

Когда мистер Деннис шел по улицам, заложив за спину руки в кожаных перчатках и улыбаясь своим веселым и приятным мыслям, он напоминал фермера, который, прохаживаясь по своим полям, размышляет о будущем урожае в радостной надежде на щедрые дары Провидения. Куда ни глянь — везде груда развалин сулила ему обилие клиентов, которых ему будет поручено «обра-

ботать». Весь город казался ему вспаханной и засеянной нивой, зреющей при самой благоприятной погоде, и он предвкушал уже обильную жатву.

Пожалуй, было бы слишком большой смелостью утверждать, что мистер Деннис, взявшись за оружие и участвуя в погромах с великой целью уберечь Олд-Бейли во всей его неприкосновенности и виселицу во всей ее исконной общественной полезности и моральном величии, предвидел и ясно себе представлял столь удачный конец. Скорее, он считал этот успех одной из тех великих милостей, которые небо неисповедимыми путями посылает добрым людям. Милость эта распространялась теперь на него лично — ведь виселице предстояла большая работа. И никогда еще мистер Деннис не казался себе таким баловнем и любимцем богини Фортуны, никогда еще не поклонялся так этой богине, уповая на нее со спокойной уверенностью добродетели.

Что его тоже могут арестовать как бунтовщика и покарать вместе с остальными, мистер Деннис считал невозможным, гнал от себя эту мысль, как пустую и дикую фантазию. Он убеждал себя, что его поведение в Ньюгете и услуга, которую он сегодня оказал властям, послужат более чем достаточным опровержением в случае, если его кто-либо опознает как участника бунта; что всякое показание против него людей, которые и сами-то осуждены, не будет, конечно, иметь никакого значения. А если даже, в худшем случае, откроется какая-нибудь совершенная им мелкая оплошность, то исключительная важность его должности и огромная потребность сейчас в его профессиональных услугах безусловно заставят судей посмотреть на эту оплошность сквозь пальцы. Словом, игра во всех отношениях сыграна превосходно. Он как раз вовремя переметнулся на сторону властей, выдал двух самых главных бунтовщиков, да еще важного уголовного преступника в придачу. Да, мистер Деннис был за себя совершенно спокоен и пребывал в прекрасном настроении.

Впрочем, тут надо сделать оговорку: на свете полного счастья не бывает, и даже мистер Деннис не мог быть счастлив вполне. Этому мешало одно обстоятельство, а именно — то, что в доме почти рядом с его домом были насильно заключены Долли и мисс Хардейл. Тут был

камень преткновения: если их найдут и освободят, они своими показаниями могут навлечь на него большую опасность. А о том, чтобы выпустить их, взяв с них клятву молчать, и думать было нечего. И, пожалуй, именно эти опасения, а не склонность к дамскому обществу заставили палача поспешить в дом, где томились пленницы. Всю дорогу он от души клял влюбчивость Хью и мистера Тэппертита.

Когда он вошел в жалкое помещение, где были заперты Долли и мисс Эмма, обе девушки молча забились в самый дальний угол. Зато мисс Миггс, чрезвычайно заботившаяся о своей репутации, немедленно упала на колени и принялась громко вопить:

— Боже, что со мной будет? Где мой Симмун? Ах, добрый джентльмен, сжальтесь надо мной, слабой женщиной! — причитала она, выкрикивая эти и другие столь же трогательные жалобы с надлежащим чувством и выразительностью.

— Мисс, мисс! — зашептал Деннис, усиленно маня ее указательным пальцем. — Подойдите-ка сюда... не бойтесь, я вас не трону. Ну, подойдите же, мой ягненочек!

Как только он открыл рот, мисс Миггс сразу притихла и слушала внимательно, но после столь нежного эпитета снова начала вопить:

— Ох, вы слышите, что он говорит! Называет меня своим ягненочком! О, господи, и зачем я не родилась на свет старым уродом! Зачем мне суждено быть самой младшей из шести детей, которые все уже умерли и лежат в могилках, кроме одной замужней сестры на площади Золотого Льва, номер двадцать семь, второй звонок на...

— Я ведь обещал, что не трону вас. Чего же вы боитесь? — сказал Деннис, указывая ей на стул.

— Мало ли что! — взвизгнула Миггс, ломая руки в отчаянии. — Все может случиться.

— Но я же вам говорю, что ничего с вами не случится, — возразил палач. — Перестаньте шуметь и сядьте здесь, около меня. Ну же, скорее, моя цыпочка!

Заискивающий тон этих последних слов чуть было не испортил все дело, но, так как Деннис сопровождал их усиленной жестикуляцией, указывая большим пальцем

себе за плечо, подмигивал и щелкал языком, то по этим сигналам пугливая дева поняла, что он хочет сказать ей что-то по секрету от мисс Эммы и Долли. Так как любопытна она была чрезвычайно, да и ревность и зависть в ней ничуть не улеглись, она встала и, беспрерывно вздрагивая, отступая и вертя головой, осторожно подошла к Деннису.

— Садитесь, — сказал палач. И, тут же перейдя от слов к делу, несколько неожиданно и чересчур поспешно толкнул мисс Миггс в кресло, а чтобы окончательно успокоить ее безобидной шуткой, какие он обычно пускал в ход, когда хотел пленить женский пол, выставил правый указательный палец, как бурав или шило, сделав вид, будто хочет ткнуть им собеседницу в бок, что вызвало у мисс Миггс новый вопль и все признаки близкого обморока.

— Скажите, милочка моя, — начал шепотом Деннис, придвинувшись к ней вплотную, — когда здесь был в последний раз ваш ухажер?

— *Мой* ухажер, сэр? — переспросила мисс Миггс с трогательной грустью.

— Ну, да, Симмун, вы же знаете, — сказал Деннис.

— Мой, как же! — воскликнула Миггс в порыве горечи и покосилась на Долли. — Мой, вы говорите, сэр?

Мистер Деннис этого только и ждал, только этого ему и нужно было.

— А, понимаю. Я того и боялся, потому что сам уже кое-что приметил. Это она виновата, переманивает его, — сказал он, глядя на Миггс так ласково, чуть ли не влюбленно, что та (как она потом уверяла) сидела, как на иголках, самых острых уайтчеплских иголках, не зная, какие намерения кроются за его любезностью.

— Я бы себе никогда не позволила так вешаться на шею мужчине, — воскликнула Миггс, сложив руки и с добродетельным смущением поднимая глаза к небу. — Я не могу быть такой нахальной, как она, — ведь она глазами словно говорит всем мужчинам: «Поцелуй меня». — Тут мисс Миггс даже содрогнулась всем телом. — Ни за какие блага в мире я не пошла бы на это, — добавила она торжественно. — Нет, нет, хотя бы я была Венерой!

— А чем вы не Венера? Уж поверьте, настоящая Венера, — сказал мистер Деннис конфиденциальным тоном.

— Нет, дорогой сэр, я не Венера. — Миггс покачала головой с видом самоотречения, словно намекая, что могла бы быть ею, если бы захотела, но никогда себе этого не позволит. — Нет, дорогой сэр, уж этого вы мне не приписывайте.

В продолжение всего разговора она то и дело оборачивалась туда, где сидели Долли и мисс Хардейл, громко вздыхала и охала, прижимая руку к сердцу, и сильно вздрагивала, чтобы, так сказать, соблюсти приличия и дать им понять, что разговаривает она с посетителем против воли, что с ее стороны это великая жертва для их общего блага. Но сейчас лицо мистера Денниса приняло столь многозначительное выражение, и он так выразительно подмигнул ей, чтобы она придвинулась еще ближе, что она бросила все эти маленькие хитрости и стала слушать его с сосредоточенным вниманием.

— Так когда же Симмун в последний раз приходил сюда? — шепнул ей на ухо Деннис.

— Вчера утром, да и то всего на несколько минут. А третьего дня и вовсе не приходил.

— Вы знаете, что он хочет взять себе вот эту? — сказал Деннис, едва заметным кивком указывая на Долли. — А вас отдать другому?

Первая половина его фразы привела было мисс Миггс в страшное отчаяние, но, услышав вторую, она немного воспряла духом, и слезы ее сразу высохли — легко было подумать, что такой выход ей по душе и, пожалуй, к этому вопросу можно будет вернуться.

— Но, к несчастью, — продолжал Деннис, от которого ничто не укрылось, — тот другой тоже в нее втюрился. Да и все равно того арестовали как бунтовщика, так что ему теперь крышка.

Мисс Миггс снова впала в отчаяние.

— Ну, а я, — сказал Деннис, — хочу очистить этот дом и вступиться за вас. Что бы вы сказали, если бы я убрал ее с дороги?

Мисс Миггс, снова просияв, отвечала голосом, прерывающимся от избытка чувств, что соблазны — погибель Сима, но виноват не он, а *она* (то есть Долли). Мужчины

понятия не имеют о тех адских хитростях, какие пускают в ход некоторые женщины, чтобы поймать их в свои сети, и вот попадаются, как Сим. Она, Миггс, хлопочет не о себе, — о, вовсе нет. Напротив, она желает добра всем. Но она знает, что Сим будет всю жизнь несчастен, если свяжется с какой-нибудь ловкой интриганкой и кокеткой (имен она, Миггс, не станет называть, это не в ее характере) — и потому она тоже считает, что этому надо помешать, и сознается в этом откровенно. Но так как это только ее личное мнение, прибавила Миггс, и могут подумать, что она говорит так из мести, то она умоляет доброго джентльмена прекратить этот разговор. Что̀ бы он ни говорил, она не станет больше слушать, так как решилась выполнить свой долг перед всеми и даже перед своими злейшими врагами. Объявив это, мисс Миггс заткнула уши и энергично замотала головой, чтобы показать мистеру Деннису, что он может говорить сколько сил хватит, но она будет глуха, как стена.

— Так вот что, моя душечка, — сказал мистер Деннис. — Если вы такого же мнения, как и я, то помалкивайте и ни во что не вмешивайтесь, а в нужный момент скройтесь потихоньку. Тогда я смогу завтра же убрать ее отсюда, и все будет в порядке... Стоп, совсем забыл! Что же делать с той, другой?..

— С кем, сэр? — спросила Миггс, не вынимая, однако, пальцев из ушей и продолжая упорно мотать головой в знак того, что ничего не хочет слышать.

— Ну, с этой, высокой, — объяснил Деннис, озабоченно потирая подбородок, и затем буркнул про себя, что, мол, против мистера Гашфорда не пойдешь.

Мисс Миггс (все еще оставаясь глухой, как стена) ответила, что если ему мешает мисс Хардейл, так на этот счет он может быть совершенно спокоен: из разговора между Хью и мистером Тэппертитом во время их последнего посещения она поняла, что мисс Хардейл увезут одну (не они, а кто-то другой) завтра же ночью.

При этом неожиданном сообщении мистер Деннис сперва даже глаза выпучил и свистнул, но, поразмыслив, шлепнул себя по лбу и кивнул головой, как бы говоря, что нашел ключ к разгадке таинственного похищения. Больше он к этому вопросу не возвращался и только из-

ложил свой план относительно Долли, а мисс Миггс при первом же его слове стала еще более глуха и оставалась глухой, пока не выслушала все до конца.

Вот в чем состоял этот замечательный план: мистер Деннис хотел немедленно отыскать среди бунтовщиков какого-нибудь смелого парня (и такой, по его словам, был уже у него на примете) и припугнуть его хорошенько. Парня устрашат и его угрозы и то, что уже пойманы многие его товарищи, которые ничуть не хуже и не лучше его, и он, конечно, сразу ухватится за предложение помочь ему бежать со своей добычей за границу, где он будет в безопасности. В благодарность за помощь ему придется взять с собой спутника, но так как спутник — хорошенькая девушка, то это только будет для него лишней приманкой. Когда такой человек будет найден, он, мистер Деннис, приведет его сюда ночью, после того как «высокую» увезут, а мисс Миггс уйдет нарочно. Долли заткнут рот, укутают ее с головой в плащ и в каком-нибудь подходящем экипаже отвезут на берег, а там уже нет ничего легче, как сплавить ее из Англии в любой лодчонке, перевозящей контрабанду, и все будет шито-крыто. Ну, и стоить все это будет пустяки — круглым счетом два-три серебряных чайника или кофейника, да к этому прибавить еще на выпивку какое-нибудь блюдо или сухарницу — вот и весь расход. Товарищи припрятали немало серебра в разных укромных местах Лондона, а больше всего — в Сент-Джеймском сквере, где бывает мало народу, хотя он и находится в центре, и где имеется очень удобный прудок. Так что нужные средства всегда под рукой и добыть их можно быстро. Ну, а насчет Долли тому парню поставлено будет только одно условие — увезти ее и держать подальше от Англии. Остальное — его дело.

Если бы мисс Миггс не была глуха, ее бы, разумеется, сильно возмутило такое неприличие, как увоз молодой девушки ночью незнакомым мужчиной, ибо, как мы уже говорили, в вопросах морали она была крайне щепетильна. Но, как только мистер Деннис кончил, она напомнила ему, что он только даром терял время, ибо она ничего не слышала. Не отнимая рук от ушей, она прибавила еще, что только суровый практический урок может

спасти дочь слесаря от окончательного нравственного падения, и она, Миггс, сознавая свой священный долг перед семьей Варденов, желала бы, чтобы кто-нибудь для исправления дал Долли такой урок. Далее мисс Миггс высказала еще весьма верную мысль, пришедшую ей случайно в голову, что слесарь и его жена стали бы, конечно, роптать и жаловаться, если бы у них насильно увезли дочь или они лишились бы ее иным образом, но в этом мире люди далеко не всегда знают, что̀ им на пользу, — где уж им, грешным и темным, узреть истину!

Окончив этот разговор к обоюдному удовлетворению, они расстались: Деннис отправился приводить в исполнение свой план и еще раз обойти свою ниву, а мисс Миггс по его уходе впала в такое бурное отчаяние (которое она объяснила дерзостью посетителя, посмевшего наговорить ей всяких нежностей), что сердце Долли совсем растаяло. Она горячо принялась утешать Миггс, оскорбленную в своих лучших чувствах, и была при этом так мила, что если бы тайная злоба, переполнявшая добродетельную деву, не умерялась предвкушением ожидавшей Долли беды, Миггс, наверное, тут же выцарапала бы сопернице глаза.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Весь следующий день Эмма, Долли и Миггс оставались взаперти в комнате, которая уже столько времени была их тюрьмой, не видели никого и не слышали ничего, кроме глухого говора, доносившегося из передней комнаты, где сидели те, кто стерег их. Девушкам казалось, что сегодня там прибавилось мужчин, а женских голосов (которые они прежде ясно различали) больше не было слышно. Кроме того, там чувствовалось какое-то волнение, то и дело крадучись входили и выходили люди, и этих новоприбывших оживленно о чем-то расспрашивали. Прежде стражи вели себя крайне бесцеремонно, часто поднимали адский шум, перебранивались, дрались, плясали и пели. Сегодня же они совсем присмирели, молчали или разговаривали шепотом, ходили бесшумно,

на цыпочках, вместо того чтобы врываться в дом, громко топая ногами и приводя в трепет напуганных пленниц.

Чем объяснялась такая перемена, — присутствием ли среди них какого-нибудь начальника, или другой причиной,— девушки не могли угадать. Иногда им казалось, что в соседней комнате есть больной, так как прошлой ночью слышны были тяжелые шаркающие шаги, как будто туда внесли какую-то тяжелую ношу, а потом — стоны. Но проверить это не было никакой возможности. До сих пор всякий вопрос или просьба с их стороны вызывали только бурю ругательств, а то еще кое-что похуже, и девушки были рады, что их, наконец, оставили в покое, не грозят им и не пристают с любезностями. Обратившись к своим тюремщикам, они рисковали утратить этот желанный покой, и потому предпочли сидеть молча.

И Эмме и самой Долли было ясно, что именно бедняжка Долли — главная приманка для их похитителей, и как только Хью и мистер Тэппертит найдут свободную минуту, чтобы уступить велениям сердца, между ними начнется драка из-за Долли, а кому тогда достанется добыча, нетрудно угадать. Весь былой страх перед этим человеком ожил в душе Долли и дошел до такого ужаса и отвращения, которых никакими словами не описать. Тысяча воспоминаний, сожалений, горестных дум, тоска и тревога осаждали ее день и ночь, и бедная Долли Варден, цветущая, веселая, прелестная Долли, поникла головкой, как вянущий цветок. С ее щек сошел румянец, мужество покинуло ее, нежное сердце совсем изболелось. Куда девались милые капризы, непостоянство, пленительное кокетство? Забыты были все победы, все маленькие тщеславные радости, и она целыми днями сидела, прижавшись к Эмме, вспоминая то нежно любимого старого отца, то мать, то их старый дом, и чахла от горя, как птичка в клетке.

О, ветреные сердца, ветреные сердца, вы, что так весело плывете по течению, искритесь радостью, пока светит солнце, вы, пушок на плодах, весенний цвет, румяная летняя заря, жизнь мотылька, которая длится лишь один день, — как быстро вы гибнете во взбаламученном море жизни! Сердце бедной Долли, кроткое, беззаботное, не-

постоянное и суетное сердечко, беспокойно трепещущее, изменчивое, верное лишь радости, отражавшейся в блестящем взгляде, улыбках и смехе, это сердце разрывалось теперь на части.

Эмма — та уже познала в жизни горе и потому легче переносила эти новые испытания. Ей нечем было утешить подругу, но она могла ее приласкать, успокоить, она это делала, и Долли льнула к ней, как ребенок к няньке. Стараясь ободрить Долли, Эмма как бы черпала в этом мужество, и хотя ночи были долги, а дни безотрадны, и на ней уже сильно сказывалось разрушительное действие бессонницы и утомления, хотя она яснее, чем Долли, понимала, что положение их ужасно и самое худшее впереди, — однако никто не слышал от нее ни единой жалобы. При негодяях, во власти которых они находились, Эмма держалась спокойно, и, несмотря на весь тайный страх, в ней чувствовалась твердая уверенность, что они не посмеют ее оскорбить, поэтому они все ее побаивались, и многие были убеждены, что она где-то в складках платья прячет оружие и при первой надобности не задумается пустить его в ход.

Вот в каком состоянии были обе девушки, когда к ним посадили мисс Миггс. Сия достойная особа дала им понять, что и она тоже похищена ради ее прелестей, и так расписала свое сопротивление, поистине героическое, ибо добродетель придала ей силу сверхъестественную, — что Эмма и Долли увидели в ней свою будущую защитницу и очень обрадовались. Но не только это утешение находили они сначала в обществе Миггс: эта молодая девица проявляла такую покорность судьбе, кротость, долготерпение, такую стойкость в испытаниях, все ее целомудренные речи дышали такой несокрушимой верой и смирением, такой твердой надеждой на лучшее, что Эмма, воодушевленная столь прекрасным примером, почувствовала новый прилив мужества. Она, конечно, нимало не сомневалась, что все это правда и Миггс, подобно им обеим, насильно оторвана от всего ей дорогого, измучена страхом и отчаянием. А бедняжка Долли в первые минуты оживилась, увидев человека, попавшего сюда прямо из ее родного дома. Но узнав, при каких обстоятельствах Миггс покинула этот дом и в чьи руки попал

отец, она принялась плакать еще горше и не хотела слушать никаких утешений.

Мисс Миггс усердно корила ее за такое отчаяние и умоляла брать пример с нее, твердя, что вознаграждена сторицей за пожертвования в красную копилку, ибо обрела этой ценой душевный мир и спокойную совесть. Перейдя на столь серьезные темы, мисс Миггс сочла своим долгом заняться обращением мисс Хардейл. С этой целью она пустилась в полемические рассуждения, изрядно длинные, в которых сравнивала себя с миссионером, посланником церкви, а мисс Эмму — с ходящим во тьме каннибалом. И надо сказать — она так часто возвращалась к этой теме и столько раз призывала Долли и Эмму брать с нее пример, в то же время словно хвастая обилием своих грехов и с упоением называя себя недостойной и жалкой рабой божией, что очень скоро стала уже не утешением, а истинным наказанием для бедных девушек, которым в этой тесной комнатушке некуда было от нее деваться, и они почувствовали себя еще более несчастными, чем раньше.

Наступил вечер, и стражи (до сих пор аккуратно приносившие им в этот час еду и зажженные свечи) сегодня в первый раз оставили их в темноте. А малейшая перемена тревожила пленниц, порождала новые страхи. И когда прошло несколько часов, а они все еще сидели в полной темноте, даже Эмма не могла больше скрыть своей тревоги.

Они напряженно прислушивались. Из передней комнаты все так же доносился тихий говор, а по временам — стоны; казалось, они вырывались у кого-то от страшной боли, несмотря на все усилия сдержать их. В той комнате, видимо, тоже сидели в темноте — ни один луч света не пробивался оттуда сквозь дверные щели, — и, против обыкновения, сидели тихо: ничто не нарушало тишины, не скрипела даже ни одна половица.

Сначала мисс Миггс мысленно недоумевала, кто бы мог быть этот стонущий больной, но, поразмыслив, решила, что это, наверное, какая-то хитрость, которая входит в план Денниса и будет способствовать успеху его затеи. Придя к такому заключению, она, для успокоения Эммы, вслух высказала догадку, что там стонет, должно

быть, какой-нибудь раненый нечестивец-папист. Воодушевленная этой приятной мыслью, она несколько раз пробормотала: «Слава богу!»

— Неужели же после тех зверств, которые эти люди творили у вас на глазах, и после того, что вы сами, как и мы, попали к ним в руки, вы еще способны радоваться их жестокости? — заметила ей Эмма с некоторым возмущением.

— Наши чувства — ничто, мисс, ими надо жертвовать ради святого дела. Аллилуйя, аллилуйя, мои дорогие джентльмены!

Мисс Миггс повторяла это обращение пронзительно — громко и настойчиво. Быть может, она кричала в замочную скважину, чтобы быть услышанной в соседней комнате? Это оставалось неизвестным, так как в полном мраке ничего не было видно.

— А если придет время — это может случиться каждую минуту! — и они захотят выполнить то, ради чего привезли нас сюда, — вы и тогда станете на их сторону и будете поощрять их? — спросила Эмма.

— Буду, мисс, и благодарю за это небеса и милостивого господа, — с удвоенной энергией отчеканила Миггс. — Аллилуйя, дорогие джентльмены!

Тут даже Долли, совсем павшая духом и пришибленная, вскипела и приказала Миггс немедленно замолчать.

— Кому вы это изволите говорить, мисс Варден? — осведомилась Миггс, делая сильное ударение на слове «кому».

Долли повторила приказание.

— О, господи! Боже милостивый! — воскликнула Миггс с истерическим смехом. — Да, разумеется, замолчу! Как не замолчать? Ведь я — жалкая раба, годная только на то, чтобы работать, как лошадь, вечно работать и слышать одни попреки от людей, которым никак не угодишь, и не иметь свободной минутки, чтобы самой умыться да прибраться. Я — жалкий сосуд скудельный, не так ли, мисс? О да! Я занимаю низкое положение, судьба меня обделила, — так что же мне больше делать, как не унижаться перед негодной, испорченной дочерью матери-праведницы, матери, которая достойна быть причислена

к лику святых, но должна терпеть обиды от своей многогрешной семьи? Я обязана смиряться перед теми, кто не лучше язычников, — так ведь, по-вашему, мисс? Еще бы! Единственное подобающее мне занятие — это помогать молодым кокеткам-язычницам причесываться да прихорашиваться и уподобляться гробам повапленным, чтобы мужчины думали, что нигде не подложено ни клочка ваты, что они не затягиваются, не употребляют притираний, что во всем этом нет никакого надувательства и земного тщеславия — не так ли, мисс? Да, да, именно так!

Выпалив эту ироническую тираду с быстротой, попросту ошеломляющей и так громогласно и пронзительно (в особенности междометия), что совсем оглушила слушательниц, мисс Миггс заключила ее потоком слез (больше по привычке, ибо в данном случае уместны были вовсе не слезы, а триумф) и страстным призывом к Симу.

Как повели бы себя Эмма Хардейл и Долли, долго ли мисс Миггс, подняв, наконец, открыто свое знамя, размахивала бы им перед пораженными девушками — трудно сказать, да и гадать не стоит, ибо в эту минуту произошло нечто неожиданное, всецело завладевшее вниманием всех троих.

Они услышали сильные удары в наружную дверь дома, затем дверь эта с грохотом распахнулась, в передней комнате раздался какой-то шум и звон оружия. Окрыленные надеждой на то, что их, наконец, пришли спасать, Эмма и Долли стали громко звать на помощь. И призывы их не остались без ответа — через минуту к ним в комнату вбежал мужчина с обнаженной шпагой в руке. В другой руке он держал свечу.

Восторг девушек сразу остыл, когда они увидели, что это человек совершенно им незнакомый. Но они все-таки стали горячо умолять его увести их отсюда к родным.

— А для чего же я здесь? — ответил он, закрыв дверь и прислонившись к ней спиной. — Затем я и добирался сюда, несмотря на все препятствия и опасности, чтобы спасти вас.

Никакими словами не опишешь радости бедных пленниц. Крепко обнявшись, они благодарили бога за так

своевременно подоспевшую помощь. Их спаситель шагнул к столу, чтобы поставить на него свечу, и тотчас воротился к двери.

Сняв шляпу, он с улыбкой посмотрел на девушек.

— Вы пришли с вестями о моем дяде, сэр? — спросила Эмма, порывисто оборачиваясь к нему.

— И о моих родителях? — подхватила Долли.

— Да, — сказал незнакомец. — И с добрыми вестями.

— Значит, они живы и невредимы? — в один голос крикнули Эмма и Долли.

— Да, да, невредимы.

— И здесь? Близко?

— Не скажу, чтобы близко, — ответил он успокоительным тоном. — Но и не так уж далеко. Ваши друзья, милочка, — это относилось к Долли, — находятся в нескольких часах езды отсюда. И я надеюсь, что вас еще сегодня отвезут к ним!

— А мой дядя, сэр... — запинаясь, начала Эмма.

— Ваш дядя, дорогая мисс Хардейл, к счастью — я говорю «к счастью», потому что мало кому из наших единоверцев это удалось, — уехал из Англии на континент и сейчас он в безопасности.

— Слава богу, — прошептала Эмма.

— Да, вам есть за что благодарить бога. Вы видели зверства только одной ночи и даже вообразить себе не можете, от *чего* бог спас вашего дядю.

— Он хочет, чтобы я ехала к нему?

— И вы еще спрашиваете? — удивленно воскликнул незнакомец. — Хочет ли он этого? Да вы понятия не имеете, как опасно сейчас оставаться в Англии, как трудно из нее выбраться и чего бы только не дали сотни людей за такую возможность... Ах, простите, я забыл, что вы этого не можете знать, так как столько времени были в заключении.

— Из ваших намеков, сэр, мне стало ясно то, что вы боитесь сказать прямо, — отозвалась Эмма. — Значит, виденное нами было только началом? И худшее еще впереди? Ужасы продолжаются до сих пор?

Он пожал плечами, покачал головой, развел руками. И все с той же заискивающей улыбкой, в которой было что-то неприятное, молча опустил глаза.

— Вы смело можете сказать мне всю правду, сэр, — промолвила Эмма. — Мы здесь уже подготовлены к самому худшему.

Но тут вмешалась Долли и стала упрашивать Эмму слушать не самое худшее, а самое лучшее. Она и к незнакомцу обратилась с той же мольбой — рассказать только добрые вести, а дурные отложить до того времени, когда они благополучно вернутся к своим.

— Скажу вам все в двух словах, — начал незнакомец, довольно неласково взглянув на дочку слесаря. — Против нас все, все до единого. Улицы кишат солдатами, которые с мятежниками заодно и действуют им в угоду. Мы можем надеяться только на бога и спасения искать только в бегстве. Да и это — дело ненадежное, потому что за нами шпионят со всех сторон, задерживают нас здесь и силой и обманом. Мисс Хардейл, поверьте, я терпеть не могу говорить о себе, о том, что я сделал и готов сделать, потому что это может показаться хвастовством. Но у меня среди протестантов большие связи, и, так как все мое состояние вложено в их коммерческие предприятия, я, к счастью, имел возможность спасти вашего дядю. Я могу спасти и вас, я поклялся ему сделать это и не покидать вас, пока не передам ему с рук на руки. Вот почему я здесь. Благодаря измене — или, может быть, раскаянию — одного из ваших стражей, мне удалось узнать, где вас спрятали. И вы сами видите — я шпагой проложил себе дорогу сюда.

— Скажите, — спросила Эмма нерешительно, — у вас есть записка от дяди или другое какое-нибудь доказательство?

— Ничего у него нет! — воскликнула вдруг Долли, решительно указывая на незнакомца. — Я теперь вижу, что нет. Ради бога, не уезжай с ним!

— Тише ты, дурочка! — бросил он ей, сердито нахмурившись. — Замолчи сейчас же! Нет, мисс Хардейл, у меня нет с собой ни письма, ни чего-нибудь другого от вашего дяди. Я сочувствую вам и всем, так тяжело и незаслуженно пострадавшим, но своей жизнью я тоже дорожу. Поэтому я не ношу при себе никаких писем, которые, если бы их нашли, стоили бы мне головы. Мне и в голову не пришло запасаться какими-то доказательствами моей

честности, да и мистер Хардейл не предлагал мне их — вероятно, потому, что он слишком уверен в человеке, которому обязан жизнью.

В этих словах звучал упрек, тонко рассчитанный на характер Эммы. Но на Долли, девушку иного склада, он не произвел никакого впечатления, и она продолжала нежнейшими словами, какие могла придумать заклинать подругу, чтобы она не поддавалась уговорам незнакомца.

— Время не терпит, — сказал незнакомец и, как он ни силился показать свое горячее участие, в его ровном голосе звучала какая-то режущая ухо холодность. — Опасности грозят со всех сторон. Видно, я напрасно рисковал жизнью, — что ж, пусть будет так. Но если вам суждено еще когда-нибудь увидеть дядю, — будьте тогда ко мне справедливы. Сдается мне, что вы решили оставаться здесь. Так помните же, мисс Хардейл: я вас предупреждал, что̀ вам грозит, и снимаю с себя всякую ответственность.

— Погодите, сэр, — воскликнула Эмма, — одну минутку, прошу вас! Не можете ли вы, — она крепче обняла Долли, — взять с собой нас обеих?

— Когда в городе такое творится, провезти благополучно и одну женщину — задача нелегкая. Не говорю уже о том, как опасно было бы привлечь к себе внимание толпы на улицах, — ответил незнакомец. — Я вам уже сказал, что вашу подругу сегодня отвезут домой. Если вы согласитесь довериться мне, мисс Хардейл, я сейчас же дам ей надежную охрану и выполню свое обещание... Неужели вы решили остаться здесь? Люди всех сословий и вероисповеданий бегут из города, который разграблен весь из конца в конец. Не задерживайте меня, я могу быть полезен в другом месте. Едете или остаетесь?

— Долли, — торопливо заговорила Эмма, — дорогая моя девочка, это наша последняя надежда. Мы расстанемся сейчас только для того, чтобы встретиться потом в счастливые и мирные дни. Я доверюсь этому джентльмену.

— Нет, нет, нет! — закричала Долли, уцепившись за нее. — Ради всего святого, не уезжай!

— Ты же слышала, дорогая, — сегодня, уже сегодня, через несколько часов — подумай! — ты будешь дома,

с родными! Ведь они умрут, если ты не вернешься! Они убиты горем! Молись за меня, а я буду молиться за тебя, дорогая. И никогда не забывай тех дней, что мы провели с тобой вместе. Ну, давай простимся. Скажи мне: «С богом!»

Но Долли не в силах была выговорить ни слова. Даже после того, как Эмма сто раз поцеловала ее в щеку, омочив эту щеку слезами, Долли, повиснув у нее на шее, только плакала, плакала, крепко обнимала и не отпускала ее.

— Ну, довольно, нельзя терять ни минуты! — крикнул незнакомец и, насильно разжав руки Долли, грубо оттолкнул ее, а Эмму увлек к двери. — Эй, вы, там, живей! Все готово?

— Как же! Совсем готово! — прогремел вдруг из-за двери голос, заставивший незнакомца вздрогнуть. — Назад, если тебе жизнь дорога!

И в тот же миг незнакомец упал, как бык под обухом, — казалось, потолок обрушился и раздавил его. А комнату наполнил веселый яркий свет, в дверях показались сияющие лица, и Эмма очутилась в объятиях дяди, а Долли с пронзительным криком кинулась к отцу и матери.

Что тут было — обмороки, улыбки и слезы, смех и плач, град вопросов, остававшихся без ответа!.. Все говорили разом, все были вне себя от радости. А сколько поцелуев, поздравлений, ласк и рукопожатий! Все новые и новые взрывы бурного восторга. Никакими словами всего этого не опишешь.

Прошло немало времени — и, наконец, первым опомнился старый слесарь и бросился обнимать двух каких-то людей, скромно стоявших в стороне, чтобы не мешать семейной встрече. И тут девушки увидели — знаете, кого? Эдварда Честера и Джозефа Уиллета.

— Посмотрите на них! — кричал слесарь. — Что было бы с нами, если бы не они? Ах, мистер Эдвард, мистер Эдвард! Ах, Джо, Джо! Какую тяжесть вы сняли сегодня с моей души!

— Это мистер Эдвард сшиб его с ног, — сказал Джо. — Мне сильно хотелось самому это сделать, но я уступил мистеру Эдварду. Эй, вы, храбрец, придите в себя! Не век же вам лежать здесь.

С этими словами Джо ногой (его единственная рука была занята) слегка ткнул в грудь мнимого спасителя Эммы. Гашфорд (да, это был не кто другой, как он), поднял голову и приниженно, но злобно, как поверженный демон, попросил, чтобы с ним обращались повежливее.

— Мистер Хардейл, я имею доступ ко всем бумагам милорда, — сказал он смиренно. Но мистер Хардейл стоял к нему спиной и даже не оглянулся. — Среди них есть очень важные документы. Многие из них хранятся в секретных ящиках и в разных местах, о которых знаем только милорд и я. Я могу дать весьма ценные сведения и оказать важные услуги следствию. Если со мной здесь будут плохо обращаться, вы ответите за это.

— Тьфу! — Джо плюнул с омерзением. — Вставайте, вы! Вас там дожидаются. Вставайте сейчас же, слышите?

Гашфорд медленно поднялся, подобрал свою шляпу и с плохо скрытой злобой, но в то же время с внушающей отвращение трусливой покорностью поглядывая вокруг, выбрался из комнаты.

— А теперь, джентльмены, — сказал Джо, вынужденный говорить за всех в этой молчаливой компании, — нам, пожалуй, надо возвращаться в «Черный Лев» — и чем скорее, тем лучше.

Мистер Хардейл утвердительно кивнул головой и, взяв племянницу под руку, вышел первый, а за ним — слесарь, миссис Варден и Долли, на которую сыпалось столько ласк и поцелуев, что их с избытком хватило бы на дюжину таких Долли. Эдвард Честер и Джо шли последними.

И неужели же Долли ни разу не оглянулась, так-таки ни разу? Неужели из-под темных ресниц, опущенных на разгоревшиеся щеки, не был брошен ни один беглый взгляд, ни на миг не сверкнул в их тени блестящий глазок? Джо показалось, что сверкнул, и вряд ли он мог ошибиться: ибо, по правде сказать, таких глаз, как у Долли, было немного.

Передняя комната, через которую им пришлось проходить, была полна народу. Был тут и мистер Деннис под надежным караулом и укрывавшийся здесь со вчерашнего дня, лежавший за деревянной перегородкой, которая

теперь была снесена, Саймон Тэппертит, весь в ожогах, избитый, простреленный. Точеные ножки, его гордость и утешение, слава всей жизни, были размозжены и представляли собой какую-то бесформенную уродливую массу. Задрожав при виде этого жуткого зрелища, Долли крепче прижалась к отцу: теперь она поняла, чьи стоны слышали они с Эммой. Но ни ожоги, ни ушибы, ни пулевая рана, ни страшная боль в раздробленных ногах и вполовину не причиняли Саймону таких мук, какие он испытал, когда Долли прошла мимо него в сопровождении своего спасителя, Джо.

У дверей ждала карета, и через минуту Долли благополучно сидела внутри между отцом и матерью, а напротив уселись Эмма Хардейл и ее дядя, и все это был не сон, а действительность! Но ни Джо, ни Эдварда здесь уже не было, они ушли, ничего не сказав на прощанье, только издали поклонившись. О, господи, как долог был путь до «Черного Льва»!

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

До «Черного Льва» и в самом деле было не близко, путешествие заняло много времени, и, несмотря на явные доказательства реальности всех последних событий, Долли никак не могла отделаться от ощущения, будто ей всю ночь снится сон и она до сих пор еще не проснулась. Даже когда их карета остановилась уже перед «Черным Львом», когда из открытой двери хлынул яркий свет и хозяин, выбежав навстречу с радушным приветствием, стал помогать им сойти, Долли и тогда еще была не вполне уверена, что она все это видит и слышит наяву, а не во сне.

Здесь же, у дверец кареты, очутились вдруг Эдвард Честер и Джо Уиллет, один справа, другой слева: должно быть, они ехали позади в другом экипаже. Это было так удивительно, так непостижимо, и Долли теперь еще больше склонна была думать, что крепко спит и видит сон. Но когда на сцену появился мистер Уиллет-старший,

то есть старый Джон собственной персоной, все тот же упрямый тугодум с двойным подбородком таких размеров, каких не в состоянии вообразить себе ни один человек при самом смелом полете богатой фантазии, — тут уж Долли очнулась, и пришлось ей поверить, что все это происходит наяву.

А Джо, оказывается, лишился руки — это он-то, такой статный, красивый и славный парень! Когда Долли взглянула на него и подумала, сколько он, должно быть, выстрадал и в каких далеких странах пришлось ему скитаться, когда она спросила себя, какая же девушка была его сиделкой (эта девушка, наверное, терпеливо, нежно и заботливо ухаживала за ним, как делала бы на ее месте она, Долли), слезы подступили к ее глазам, она уже не могла их удержать и тут же на людях горько расплакалась.

— Мы ведь теперь все в безопасности, Долли,— ласково успокаивал ее отец. — И больше нас никто не разлучит. Ну, полно, деточка, успокойся!

Жена слесаря, вероятно, лучше мужа понимала, *отчего* плачет дочь. Миссис Варден была теперь уже совсем не та (тяжелые дни смуты все-таки принесли кое-какую пользу), и она так же, как муж, стала нежно утешать Долли.

— Может, она голодна, — сказал мистер Уиллет-старший, обводя взглядом окружающих. — Да, ручаюсь, что в этом все дело. Я и сам уже проголодался.

Хозяин «Черного Льва» не менее, чем Джон, заждался ужина, ибо прошли уже все подходящие для этого часы, поэтому он приветствовал догадку Джона, как величайшее открытие, глубокую философскую идею. А так как стол был давно накрыт, они немедленно сели ужинать.

Разговор за столом шел не очень оживленно, да и ели некоторые из присутствующих без особого аппетита. Зато старый Джон трудился за всех и вообще отличался в этот вечер.

Не подумайте, что он так уж блистал красноречием, — ему мешало то, что не было здесь старых приятелей, которых он привык «задирать». Сына он теперь побаивался, у него было смутное подозрение, что Джо способен при малейшей обиде одним ударом свалить «Черного Льва»

на пол в его собственной столовой и затем немедленно умчаться в Китай или другую дальнюю и неведомую страну, где останется навсегда или по крайней мере до тех пор, пока не лишится второй руки, обеих ног, а чего доброго — и глаза в придачу. Поэтому мистер Уиллет молчал, но как только разговор за столом прерывался, он прибегал к своеобразной мимике, в которой, по мнению «Черного Льва», знавшего его много лет, на этот раз превзошел самого себя и все ожидания самых восторженных его почитателей.

Предметом, всецело занимавшим мысли мистера Уиллета и вызывавшим с его стороны такие странные пантомимы, был пустой рукав его калеки-сына, в чье несчастье он все еще никак не мог поверить. После их первого свидания старый Джон в сильном замешательстве ушел на кухню и уставился на огонь, словно ища своего неизменного советчика во всех трудных и спорных вопросах. Но так как на кухне «Черного Льва» не было котла, а его собственный громилы так изувечили и помяли, что он пришел в полную негодность, то Джон окончательно растерялся и весь этот день прибегал к престранным способам разрешить свои сомнения: он то щупал рукав одежды Джо, подозревая, видимо, что потерянная рука найдется там, то осматривал свои собственные руки и руки всех присутствующих, словно желая убедиться, что человеку полагается иметь их две, а не одну, то просиживал часами в мрачном раздумье, пытаясь припомнить, каким был его сын в детстве, действительно ли у него тогда имелись две руки или только одна, то предавался другим размышлениям в таком же роде.

В этот вечер за ужином, очутившись среди людей, так хорошо и давно знакомых, мистер Уиллет с удвоенной энергией занялся решением мучившей его загадки и был, по-видимому, твердо намерен выяснить правду сегодня или никогда. Проглотив кусок-другой, он каждый раз откладывал нож и вилку и в упор смотрел на сына — главным образом на его пустой рукав. Затем медленно обводил всех глазами, пока не встречал чей-нибудь ответный взгляд, а тогда торжественно и глубокомысленно качал головой, хлопал себя по плечу и подмигивал, вернее засыпал одним глазом минуты на две, ибо процесс подми-

гивания происходил у Джона очень медленно. Открыв затем глаз и снова важно покачав головой, он брал нож и вилку и принимался за прерванную еду, но ел рассеянно — положит кусок в рот, а в то же время, сосредоточив все внимание на Джо, в каком-то остолбенении смотрит, как тот одной рукой режет мясо, смотрит до тех пор, пока не начнет давиться застрявшим в горле куском, и тогда только приходит в себя. По временам он пускал в ход разные уловки — попросит Джо передать ему соль, перец, уксус, горчицу, — словом, что-нибудь с той стороны, где у Джо нет руки, и жадно наблюдает, как тот сделает это. С помощью всех этих экспериментов Джон в конце концов разрешил свои сомнения и успокоился. Положив нож по одну сторону, а вилку — по другую сторону тарелки, он сделал основательный глоток из стоявшей перед ним кружки (все время не спуская глаз с Джо), откинулся на спинку стула и с глубоким вздохом изрек, обводя всех глазами:

— Ее отняли!

— Клянусь богом! — воскликнул «Черный Лев», стукнув кулаком по столу. — До него это дошло, наконец!

— Да, сэр, — сказал мистер Уиллет с миной человека, выслушавшего вполне заслуженную похвалу. — Вот она куда делась: ее отрезали!

— Объясни ему, где это случилось, — сказал «Черный Лев», обращаясь к Джо.

— Я потерял ее при защите Саванны *, отец.

— При защите Сальваны, — тихонько повторил мистер Уиллет и опять обвел всех взглядом.

— В Америке, где идет война, — пояснил Джо.

— В Америке, где идет война. Так, значит: потерял при защите Сальваны, в Америке, где идет война.

Продолжая твердить вполголоса, как бы про себя, эту новость (которая в таких же точно выражениях сообщалась ему уже раньше по меньшей мере пятьдесят раз), мистер Уиллет встал из-за стола, подошел к Джо, ощупал его пустой рукав снизу доверху, до того места, где сохранился обрубок, покачал головой... потом, подойдя к камину, разжег свою трубку, потом пошел к двери, обернулся, указательным пальцем отер левый глаз и с расстановкой произнес:

— Мой сын... потерял... руку... при защите Сальваны... в Америке... где идет война. — С этими словами он вышел и больше в этот вечер не возвращался.

Скоро и остальные, под разными предлогами, один за другим ушли из столовой. Только Долли все еще сидела — для нее было большим облегчением остаться, наконец, одной, и она дала волю слезам. Но вот в конце коридора послышался голос Джо: он желал кому-то доброй ночи.

Прощается! Значит, уйдет — и может быть, далеко. Но куда же, к кому он может идти в такой поздний час?

Она услышала его шаги в коридоре. Он прошел мимо двери... Потом шаги затихли как бы в нерешимости... Возвращается! Сердце Долли сильно забилось. Вот он заглянул в дверь.

— Покойной ночи!

Он не назвал ее по имени, но хорошо и то, что не сказал «мисс Варден».

— Покойной ночи! — прорыдала она в ответ.

— Ну, зачем вы так огорчаетесь? Ведь все прошло и не воротится! — с участием сказал Джо. — Не плачьте, не могу я видеть ваших слез. Перестаньте думать об этом — ведь вы уже в безопасности и должны чувствовать себя счастливой.

Но Долли заплакала еще горше.

— Знаю, что вы пережили тяжелые дни, — продолжал Джо, — а между тем вы нисколько не изменились — разве только к лучшему. Все говорят, что вас не узнать, но я с этим не согласен. Вы всегда были чудо как хороши, а теперь стали еще красивее, ей-богу! Вы извините, что я так говорю. Но вы же сами это знаете, вам, наверно, это часто твердят...

Долли действительно знала это и слышала от других очень часто. Но каретника она давно уже считала настоящим ослом, и то ли боялась сделать такое же открытие относительно других своих поклонников, то ли так привыкла к их комплиментам, что перестала обращать на них внимание. Во всяком случае, достоверно одно: хоть она и продолжала сейчас заливаться слезами, но никогда еще ничто в жизни не радовало ее так, как обрадовали слова Джо.



— Я буду вас благословлять всю жизнь, — сказала она, плача. — У меня сердце будет разрываться на части всякий раз, как услышу ваше имя... Я буду молиться за вас каждое утро и каждый вечер до самой смерти!

— Правда? — стремительно спросил Джо. — Неужели правда? Я так... я очень рад и горжусь этим...

Долли все еще всхлипывала, закрыв платочком глаза. А Джо все стоял и смотрел на нее.

— Ваш голос так живо напомнил мне прошлое, — сказал он, наконец. — Кажется, будто снова настал тот счастливый вечер — вы не сердитесь, что я вспоминаю о нем? — и ничего не изменилось за все эти годы. Как будто и не было всего того, что мне пришлось перенести, и я вчера только сшиб с ног бедного Тома Кобба и перед тем, как удрать, пришел к вам с узелком на плече. Помните?

Помнит ли она? Но Долли ничего не ответила и только на миг подняла глаза. Это был один мимолетный взгляд, взгляд сквозь слезы. Но он заставил Джо надолго замолчать.

— Ну, что ж, — решительно сказал он, наконец. — Значит, суждено было, чтобы все пошло по-другому. Я уехал за море и все эти годы воевал летом, мерз зимой. Вернулся я таким же бедняком, как ушел, да еще калекой в придачу. Но поверьте, Долли, мне легче было бы потерять и другую руку — что там руку, даже голову сложить! — чем вернуться и не застать вас в живых, или застать не такой, какой вы мне всегда казались, и какой я желал и мечтал увидеть вас. Слава богу, что этого не случилось.

О, как сильны, как горячи были чувства, волновавшие эту новую Долли, ту, что пять лет назад была только маленькой кокеткой! Она, наконец, узнала, что и у нее есть сердце. До сих пор она не понимала его и потому не могла оценить сердца Джо. Каким бесценным сокровищем казалось оно ей сейчас!

— Было время, — сказал Джо все так же искренне и просто, — когда я надеялся вернуться богатым и жениться на вас. Но тогда я был еще мальчишкой и давно уже перестал об этом мечтать. Я бедняк, калека, отставной солдат и должен быть доволен, что хоть жив остался.

Я и сейчас не стану вас уверять, что мне легко будет примириться с вашим замужеством. Но я рад — слава богу, могу это сказать от души, — что вас все любят и восхищаются вами, что вам легко будет выбрать в мужья, кого захотите, и найти счастье. А для меня утешение и то, что вы будете говорить обо мне со своим мужем. И, может быть, придет время, когда я способен буду подружиться с ним, пожимать ему руку, навещать вас, как старый друг, который знал вас еще девочкой. Прощайте, Долли, да хранит вас бог!

Его рука дрожала, да, дрожала, но, пожав руку Долли, он решительно вышел из комнаты.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

В ту пятницу, когда Эмма и Долли были спасены благодаря своевременной помощи Джо и Эдварда Честера, к вечеру бои совсем прекратились, и в объятой страхом столице был восстановлен мир и порядок. Правда, после такой бури никто не мог поручиться, что это спокойствие будет длительным, что не вспыхнут новые волнения еще страшнее недавних, толпа опять начнет буйствовать, на улицах будет литься кровь. Поэтому те, кто бежал из города, не возвращались пока, а многие семьи, которым раньше не удалось уехать, теперь воспользовались затишьем и покинули Лондон. Все лавки, от Тайберна до Уайтчепла, по-прежнему, были закрыты, и в торговых кварталах замерла деловая жизнь. Однако, вопреки зловещим предсказаниям многочисленной категории людей, которые с удивительной прозорливостью видят всегда впереди самое мрачное, в городе царило полное спокойствие. Войска, расставленные во всех главных частях его и важных пунктах, усмиряли бродившие по улицам кучки мятежников; поиски участников разгрома продолжались с неослабевающей энергией, и если среди них и были такие отчаянные смельчаки, которые после виденных ими жутких картин решились бы снова выступить, — даже их настолько устрашили принятые властями меры, что

они поторопились укрыться, кто где мог, и думали только о собственной безопасности.

Словом, мятежники были окончательно рассеяны. Более двухсот убиты на улицах, двести пятьдесят тяжело ранены и лежали в больницах, семьдесят восемь из них скоро умерли. Сто человек уже сидели в тюрьме, и число арестованных росло с каждым часом. Сколько мятежников погибло во время пожаров и стало жертвами собственной необузданности, установить было невозможно. Известно только, что одни нашли страшную смерть в огне, ими же зажженном, другие, забравшись в подвалы и погреба, чтобы всласть напиться вина или чтобы обмыть раны, не вышли оттуда на свет божий. Спустя много недель лопаты рабочих обнаружили это с полной очевидностью в черной, давно остывшей золе пожарищ.

За четыре дня мятежа было разрушено семьдесят два дома и четыре сильно укрепленных тюрьмы. Имущества, по оценке пострадавших, погибло на сто пятьдесят пять тысяч фунтов, а по самому умеренному и беспристрастному подсчету людей незаинтересованных — на сто двадцать пять тысяч. Эти огромные убытки были вскоре возмещены разоренным гражданам из общественных средств: по постановлению палаты общин деньги собирали во всем городе, в графстве и Саутуорке. Однако более всех пострадавшие лорд Мэнсфилд и лорд Сэвиль отказались от возмещения им убытков.

Еще во вторник на заседании палаты общин, происходившем при закрытых дверях и под охраной караулов, решено было после подавления беспорядков сразу же приступить к самому серьезному рассмотрению петиций протестантов. Во время обсуждения этого вопроса один из членов палаты, мистер Хэрберт, встал и в негодовании попросил палату обратить внимание на то, что лорд Джордж Гордон сидит в зале с синей кокардой на шляпе, отличительным знаком мятежников. И соседи лорда не только заставили его снять кокарду, но когда он пожелал выйти на улицу и, по своему обыкновению, успокоить толпу неопределенным обещанием, что палата «намерена их удовлетворить», несколько членов палаты силой удержали его на месте. Словом, беспорядок и насилие, торжествовавшие на улицах Лондона, проникли и в парламент.

Здесь, как и повсюду, панический страх победил все, и традиции были на время забыты.

В четверг обе палаты отложили заседание до следующего понедельника, объявив, что невозможно с должной серьезностью и свободой обсуждать важные дела, пока здание парламента окружено вооруженными войсками.

Мятежники были усмирены, но горожане переживали новые тревоги: так как все главные улицы и площади в городе были заняты солдатами, которым дано было неограниченное право пускать в ход мушкеты и сабли, то люди верили слухам, что город на военном положении, и жадно внимали жутким рассказам о якобы повешенных на фонарях мятежниках в Чипсайде и на Флит-стрит. Страшные слухи были опровергнуты официальным сообщением, что всех арестованных бунтовщиков будет судить по существующим законам особая комиссия; но не успели улечься эти толки, как началась новая паника — везде шептались о том, что у некоторых мятежников найдены французские деньги и беспорядки поощряются иностранными державами, которые хотят разорения и погибели Англии. Молва эта, которую еще поддерживали подметные анонимные прокламации, родилась, вероятно, потому, что в карманы мятежников во время грабежей вместе с другой добычей попало и немного иностранных монет, а при обысках эти деньги были найдены у арестованных и на трупах. Слухи эти вызвали огромную сенсацию, и возбужденные люди, склонные подхватывать малейший повод к тревоге, усердно раздували их.

Но так как весь день пятницы и следующая ночь прошли спокойно и ничего нового горожане не узнали, то к ним начала возвращаться уверенность, что все ужасы кончились. Даже самые трусливые и отчаявшиеся вздохнули свободнее. В Саутуорке целых три тысячи жителей взяли на себя охрану порядка, и каждый час их патрули обходили улицы. Этому похвальному примеру не замедлили последовать и в других местах, и так как мирные обыватели становятся обычно удивительно храбрыми, после того как опасность миновала, — они проявляли теперь бешеную энергию и прямо-таки дерзкую отвагу: без колебаний останавливали прохожих самого внушительного вида и подвергали их суровому допросу. То же самое они

безапелляционно проделывали со всеми посыльными, служанками и подмастерьями, спешившими по своим делам.

День клонился к вечеру, и во всех углах и закоулках города стал скопляться мрак, словно втихомолку пробуя свои силы перед тем, как смело выползти и открыто завладеть улицами. А в это время Барнеби сидел в своей камере, дивился царившей кругом тишине и тщетно напрягал слух, чтобы услышать шум и крики, еще недавно раздававшиеся везде с наступлением темноты. Подле него, держа его руку в своей, сидела та, чье присутствие вселяло в его душу мир и покой. Убитая горем, она сильно исхудала, переменилась, но в его глазах она была все та же.

— А что, мама, — спросил он после длительного молчания, — долго меня продержат здесь? Сколько еще дней и ночей?

— Недолго, родной. Надеюсь, что недолго.

— Надеешься! Да ведь твоя надежда не раскует этих цепей. Я тоже все время надеюсь, но *им* до этого дела нет. И Грип надеется, но кто думает о Грипе?

Ворон каркнул отрывисто и уныло, что на вороньем языке явно означало «никто».

— Да, кто, кроме тебя и меня, думает о Грипе? — продолжал Барнеби, приглаживая взъерошенные перья своего друга. — Он здесь совсем перестал болтать. Ни единого слова не хочет говорить в тюрьме — вот как захандрил! Целыми днями сидит в темном углу, то дремлет, то смотрит на свет, который прокрадывается сквозь решетку, и тогда его блестящий глазок сверкает, как будто в него залетела искра во время пожара и не гаснет до сих пор. Но кто пожалеет Грипа?

Ворон снова каркнул: «Никто!»

— А кстати, — Барнеби перестал гладить Грипа и, положив матери руку на плечо, с беспокойством заглянул ей в глаза. — Если меня убьют... А меня хотят убить, я слышал, как это говорили... Что будет с Грипом, когда меня повесят?

Знакомое ли слово, или ход собственных мыслей вдруг вызвали в памяти Грипа его любимую фразу, — он крикнул: «Не вешай носа!» — но, не докончив, откупорил только одну бутылку и снова слабо каркнул, — казалось,

даже на такую коротенькую фразу у него не хватает духу.

— Может, и его убьют, как меня? — сказал Барнеби. — А хорошо бы, если бы ты, я и он могли умереть вместе! Никому из нас не пришлось бы тосковать. Ну, да пусть делают, что хотят, — я не боюсь их, мама!

— Тебе не сделают ничего худого, — выговорила мать с трудом — ее душили слезы. — Они и пальцем тебя не тронут, когда узнают все. Я уверена, что не тронут.

— О, не будь так уверена! — воскликнул Барнеби. Ему доставляла своеобразное удовольствие мысль, что он проницательнее матери и не обманывается, как она. — Меня заметили с самого начала. Я слышал, как они говорили это вчера вечером, когда вели меня сюда, и думаю, что это правда. Но ты не плачь, мама! Они говорили, что я — смельчак, и это верно, я ничего не боюсь и не буду бояться. Ты, может, считаешь меня дурачком, но умереть я сумею без страха, не хуже всякого другого. Ведь я же ничего плохого не сделал, правда? — добавил он быстро.

— Да, бог видит, что ты не виноват, — отвечала мать.

— Ну, тогда чего мне бояться? Пусть приходит самое худшее. Помнишь, раз я спросил у тебя, что такое смерть, а ты сказала, что смерть совсем не страшна, если человек не делал в своей жизни зла. Ага, ты думала, что я забыл это!

Его веселый смех и шутливый тон разрывали матери сердце. Она притянула его к себе поближе и попросила говорить шепотом и сидеть тихонько, потому что уже темнеет, и недолго им быть вместе, ей скоро придется уходить.

— А завтра придешь опять? — спросил Барнеби.

— Приду, сынок. Каждый день буду приходить. Мы с тобой больше никогда не расстанемся.

Он весело сказал, что это чудесно, ему только этого и хочется, и он заранее знал, что она так ответит. Потом спросил, где она пропадала так долго и почему не пришла поглядеть на него, когда он воевал как храбрый солдат. Он стал излагать ей свои безумные планы, как им разбогатеть и зажить припеваючи. Смутно чувствуя, что мать страдает, и страдает из-за него, он, чтобы ее уте-

шить и успокоить, стал вспоминать прежнюю мирную жизнь, свои забавы и прогулки на воле, нимало не подозревая, что каждое его слово для нее — нож острый и что ее душат слезы при воспоминании об утраченном.

— Мама, — сказал Барнеби, когда послышались шаги тюремщика, который запирал на ночь камеры. — Когда я давеча заговорил про отца, ты крикнула: «Перестань!» — и отвернулась. Почему? Ну, объясни. Скажи хоть два слова. Ты всегда думала, что он умер. Так неужели ты не рада тому, что он жив и вернулся к нам? Где он сейчас? Здесь, в тюрьме?

— Ни у кого не спрашивай, где он, и ни с кем не говори о нем, — ответила мать.

— Но отчего? Оттого, что он суров и резок? По правде сказать, он мне не нравится, и я не люблю оставаться с ним наедине. Но почему ты не хочешь и говорить о нем?

— Потому что я сожалею, что он жив. Потому что для меня большое горе, что он вернулся, что вы встретились. Потому что я всю жизнь только к тому и стремилась, родной мой, чтобы навсегда разлучить вас.

— Разлучить отца и сына? Да почему же?

— Он... он пролил кровь, — прошептала она ему на ухо. — Пора тебе узнать это. Он пролил кровь человека, который любил его, который ему доверял и никогда ни словом, ни делом не обидел его.

Барнеби в ужасе отшатнулся, глянул на родимое пятно у себя на руке и, весь дрожа, спрятал поскорее руку в складках одежды.

— Хотя нам и надо его избегать, но все-таки он твой отец, — торопливо добавила миссис Радж, услышав, что ключ повернулся в замке. — И я — его несчастная жена. Он приговорен и должен скоро умереть. Но пусть это будет не по нашей вине. Нет, если мы уговорим его раскаяться, наш долг — жалеть и любить его. Ты никому не говори, кто он. Говори, что вы вместе бежали из тюрьмы и больше ты о нем ничего не знаешь. Если будут тебя допрашивать насчет него, молчи. Ну, покойной ночи, мой голубчик, храни тебя господь!

Она вырвалась из его объятий, и через секунду Барнеби остался один. Долго стоял он, не двигаясь, закрыв

лицо руками. Потом, рыдая, упал на свою убогую постель.

Но вот медленно взошла луна во всем своем кротком величии, выглянули звезды, и сквозь решетку круглого оконца небо засияло мягким светом, как сияет доброе дело человека единственным просветом в его мрачной грешной жизни. Барнеби поднял голову и загляделся на это тихое небо, печально улыбавшееся земле. Казалось, ночь, более милосердная, чем день, скорбно взирала на страдания и злые дела человеческие. Барнеби почувствовал, как мир сходит к нему в душу. Бедный идиот, запертый в тесной клетке, глядя на этот кроткий свет, был так же близок душой к богу, как самый свободный и уважаемый человек во всем громадном городе. И в его плохо затверженной молитве, обрывке гимна, которым он убаюкивал сам себя в детстве, было больше подлинного жара, чем в любой ученой проповеди, когда-либо оглашавшей своды старых соборов.

Проходя одним из тюремных дворов, миссис Радж сквозь решетку увидела в соседнем дворе своего мужа: он ходил взад и вперед, скрестив руки на груди и понурив голову. Она спросила у провожавшего ее к выходу тюремщика, можно ли поговорить с этим заключенным.

— Можно, — ответил тот, — но только поскорее. Пора запирать ворота, осталось только минуты две.

Говоря это, он отпер решетку и пропустил ее.

Решетка, поворачиваясь на петлях, резко заскрипела, однако Радж оставался глухим ко всему и, не подняв головы, не обернувшись, продолжал ходить вокруг тесного дворика. Жена окликнула его, но голос ее был слаб и оборвался. Наконец она подошла ближе, и когда он проходил мимо, протянула руку и дотронулась до него.

Радж отшатнулся, весь дрожа, но, увидев, кто это, спросил, зачем она сюда пришла. И, не дав ей времени ответить, заговорил сам:

— Что же меня ждет — жизнь или смерть? Погубишь ты меня или пощадишь?

— Мой сын... наш сын тоже здесь, в тюрьме, — сказала она вместо ответа.

— Ну и что же? — крикнул он, в раздражении топнув ногой. — Я это знаю без тебя. Но он мне столько же мо-

жет помочь, сколько я — ему. Если ты пришла только для того, чтобы болтать о нем, так можешь убираться!

Он снова забегал вокруг двора, но когда вернулся к тому месту, где стояла жена, остановился и спросил:

— Чего мне ждать — спасения или смерти? Раскаялась ты, наконец, в своем упорстве?

— А ты? — отозвалась она. — Ты раскаешься, пока еще не поздно? Не надейся, что я тебя могу спасти, если бы даже решилась...

— Скажи лучше — если бы захотела! — Бормоча ругательства, он сделал попытку вырваться и пройти мимо. — Да, если бы захотела.

— Погоди минуту, только одну минуту! — сказала миссис Радж. — Слушай. Я только что встала после болезни, от которой уже не надеялась выздороветь. А когда человек готовится к смерти, он всегда вспоминает о том, что хотел и обязан был сделать в жизни, но не сделал. Если я с той проклятой ночи хоть раз забыла помолиться о том, чтобы ты раскаялся, если я не сделала чего-то, что могло бы заставить тебя раскаяться, потому что слишком сильны были мое горе и ужас, если и во время нашего последнего свидания я потеряла голову от страха и не стала на коленях заклинать тебя именем того, кого ты лишил жизни, раскаяться и быть готовым к неизбежной каре, — я смиренно молю тебя: дай мне искупить мою вину.

— Что это еще за ханжеская галиматья! — грубо оборвал ее Радж. — Не можешь ты, что ли, говорить понятнее?

— Я этого только и хочу. Потерпи еще минуту и слушай. Нас тяжко покарала десница Того, кто запретил человеку убивать. Ты не можешь в этом сомневаться. Наш сын, наш невинный мальчик, на которого еще до рождения обрушился гнев господень, сейчас здесь, в тюрьме, и жизнь его в опасности. Он попал сюда по твоей вине. Да, видит бог, это твой грех! Его обманули только потому, что он не в своем уме, а его слабоумие — страшное последствие твоего преступления.

— Если ты пришла только затем, чтобы по женской привычке пилить меня... — пробурчал Радж, снова делая попытку вырваться.

— Нет, нет, вовсе не за этим. Выслушай меня до конца! Если не сегодня, то завтра или в другое время ты должен узнать правду. Муж мой, не надейся спастись. Это невозможно.

— Вот как! И это говоришь ты? — Он поднял скованную руку и потряс ею. — Ты!

— Да, — ответила она с невыразимой серьезностью. — И знаешь зачем?

— Ну, как же! Чтобы облегчить мне последние дни в тюрьме. Чтобы время до смерти прошло для меня приятно. Это для моего блага, не так ли? Ну, конечно, для моего блага! — Он скрипнул зубами и усмехнулся, обратив к ней помертвевшее лицо.

— Не затем я пришла, чтобы укорять тебя, — возразила она. — Не для того, чтобы усилить твои муки жестокими словами, а для того, чтобы вернуть тебе душевный мир и надежду. Муж мой, дорогой муж, если ты сознаешься в своем страшном преступлении и будешь молить о прощении бога и тех, против кого ты так тяжко согрешил, если перестанешь тревожить себя несбыточными надеждами и будешь стремиться только к раскаянию и правде, я обещаю тебе именем Создателя, что он даст твоей душе мир и утешение. А я, — она сжала руки и подняла глаза к небу, — я клянусь перед богом, который видит все и читает в моем сердце, что с этого часа буду любить и почитать тебя, как когда-то, не отойду от тебя ни днем, ни ночью все то короткое время, что нам осталось, буду утешать тебя и молиться вместе с тобой, чтобы грозящий Барнеби приговор не был произнесен, чтобы наш сын остался жив и в радости благословлял бога.

Радж отступил на шаг и, слушая эти стремительные слова, смотрел на нее растерянно, словно не зная, как ему быть. Но в следующую минуту страх и гнев снова взяли верх, и он с силой оттолкнул жену.

— Уходи прочь! — закричал он. — Оставь меня в покое! Ага, у вас заговор! Ты хитростью хочешь принудить меня сознаться, ты донесешь на меня. Будьте вы оба прокляты, и ты и твой сын!

— На него проклятие уже пало, — сказала она, ломая руки.

— Пусть пропадает! Ненавижу вас обоих. Будь проклято всё! Значит, мне конец... Единственным утешением теперь могло бы быть, если бы и вас постигло то же. Уходи!

Она все же попробовала еще кротко уговаривать его, но он замахнулся на нее цепью.

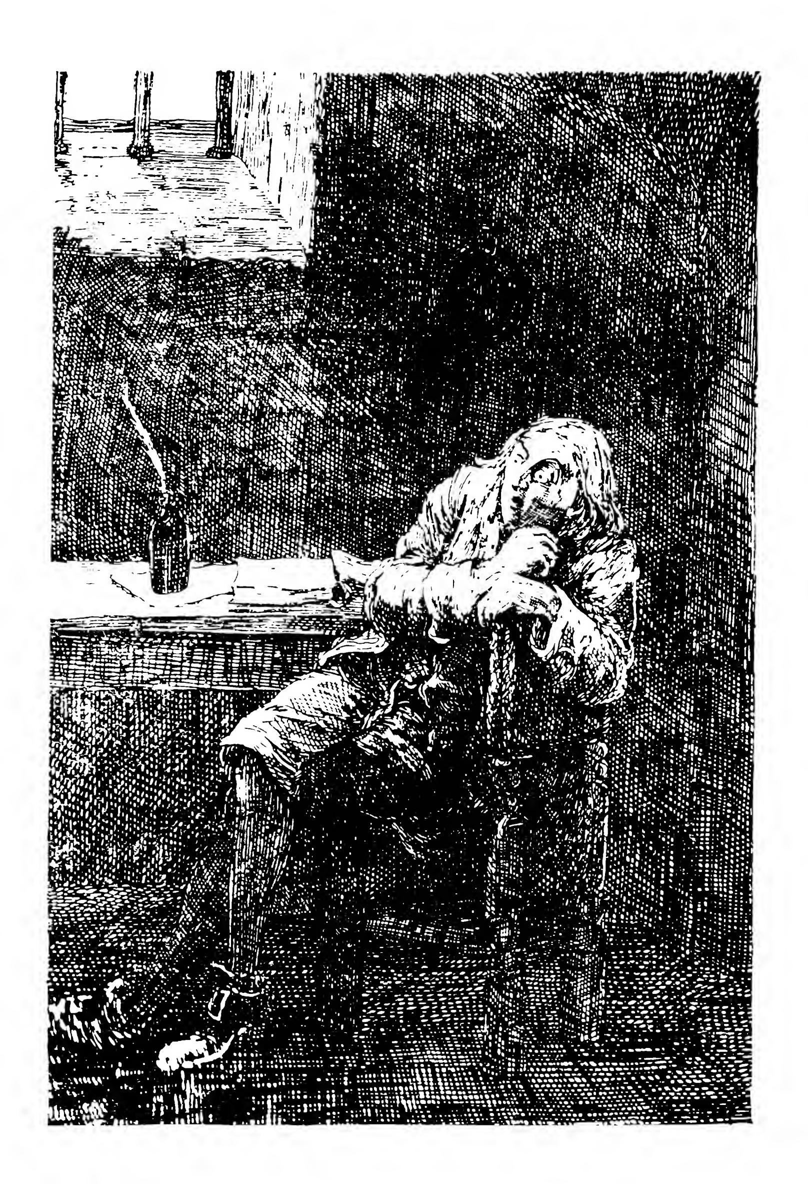
— Сказано тебе — убирайся! В последний раз говорю! Виселица уже держит меня в когтях, и этот страшный призрак может меня толкнуть на новое убийство. Уходи! Будь проклят час, когда я родился, и тот, кого я убил, будь проклято все на свете!

В припадке бешенства и безумного страха смерти он бросился от нее в темную камеру и там упал на каменный пол, гремя цепями. Вернулся тюремщик и, заперев дверь каземата, повел миссис Радж к выходу.

В этот теплый и благоуханный июньский вечер у людей во всем городе были веселые лица, и на душе легко, и сон, изгнанный ужасами прошлых ночей, сегодня повсюду был вдвойне желанным гостем. В этот вечер люди веселились дома, в кругу семьи, и поздравляли друг друга с избавлением от грозившей опасности. Те, кто получил предупреждение от бунтовщиков, теперь решились, наконец, выйти на улицу, а пострадавшие нашли надежный приют. Даже трусливый лорд-мэр, вызванный в этот вечер в Тайный Совет для того, чтобы объяснить свое поведение, вернулся оттуда веселый, довольный и рассказывал всем друзьям, что благополучно отделался, выслушав только строгую нотацию. Пыжась от гордости, он повторял свою славную защитительную речь в Совете. В ней говорилось, что он проявил во время беспорядков безрассудную отвагу, которая могла стоить ему жизни.

В эту же ночь были выслежены и арестованы в их убежищах последние уцелевшие мятежники. А в больницах и под развалинами разрушенных ими домов, в канавах и на пустырях лежали непогребенные мертвецы, которым завидовали те, чьи обреченные головы в эту ночь метались на тюремных нарах.

А в Тауэре, в мрачной комнате, куда массивные каменные стены не пропускали звуков жизни, шумевшей снаружи, и где тишина казалась еще более гнетущей от надписей, оставленных прежними узниками на стенах,



этих молчаливых свидетелях их страданий, сидел злосчастный зачинщик бунта, лорд Джордж Гордон, терзаясь угрызениями совести за каждую жестокость каждого человека в его армии, виня себя во всем, что натворили его сообщники, в том, что послал на гибель столько людей, и находя теперь мало утешения в своих фанатических идеях и воображаемом призвании.

Его арестовали в этот вечер. «Если вы уверены, что должны арестовать именно меня, я готов следовать за вами», — сказал он офицеру, стоявшему у дверей с приказом об его аресте по обвинению в государственной измене, и покорно пошел за ним. Его доставили сначала в Тайный Совет, оттуда — в конногвардейские казармы, а затем уже через Вестминстерский мост и кружным путем через Лондонский (чтобы избежать людных улиц) повели в Тауэр под таким сильным конвоем, под каким ни один узник не входил до тех пор в ворота этой крепости.

Из сорока тысяч бунтовщиков не осталось ни единого, кто разделил бы с ним его участь. Друзья, подчиненные, приверженцы — где все они были теперь? Его угодливый секретарь стал предателем. И лорд Гордон, чьей слабостью столь многие злоупотребляли для своих корыстных целей, был теперь всеми покинут и одинок.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Мистера Денниса арестовали поздно вечером, ночь продержали в ближайшей караульне, а на другой день, в субботу, повели к судье на допрос. Против него было много тяжких улик, и, в частности, слесарь Варден показал, что Деннис непременно хотел его повесить, так что палач был предан суду. Более того — ему оказали честь, признав его одним из вожаков бунта, и он услышал из уст судьи лестное заверение, что положение его очень серьезно и надо быть готовым к самому худшему.

Сказать, что скромность мистера Денниса нимало не восставала против оказанного ему почета, или что он был

вполне подготовлен к столь лестному вниманию, значило бы приписать ему больше философского стоицизма, чем было у него в действительности. Стоицизм этого джентльмена был того рода, какой встречается нередко и помогает человеку переносить с примерным мужеством несчастья друзей и знакомых, но делает его, напротив, крайне чувствительным к собственным невзгодам и весьма эгоистичным, когда дело коснется его самого. Поэтому мы нисколько не умалим достоинств этого слуги государства, если скажем прямо, без утайки, что он сперва страшно испугался и на все лады выражал обуревавшие его чувства, пока рассудок не пришел к нему на помощь и не открыл ему более отрадные перспективы.

По мере того как мистер Деннис, напрягая дарованные ему природой умственные способности, обдумывал все имеющиеся у него шансы выпутаться благополучно и с минимальным ущербом для себя, настроение его все улучшалось и уверенность крепла. Он подумал о том, в каком почете его должность и как часто — можно сказать постоянно — требуются его услуги; вспомнил, что свод законов рассматривает его работу как своего рода универсальное средство, применимое для всех мужчин, женщин и детей без различия возраста, виновных в самых различных преступлениях, что профессии его покровительствуют сам король, обе палаты парламента, Монетный двор, Английский банк и все судьи Англии; потом ему пришла в голову мысль, что, сколько ни меняйся кабинет министров, работа палача всегда останется для них любимой панацеей от всех зол, ибо благодаря ей Англия занимает особое и видное место среди цивилизованных стран мира. Припомнив все это и поразмыслив, Деннис почувствовал твердую уверенность, что благодарная нация непременно освободит его от наказания и, разумеется, вернет ему прежнее место в благополучно процветающей государственной системе Англии.

Утешаясь этой каплей надежды (впрочем, то была не капля, а целый океан), мистер Деннис стал между ожидавшими его конвойными и с мужественным спокойствием отправился в тюрьму. В Ньюгете, где несколько разрушенных камер наспех приспособили для арестованных бунтовщиков, Денниса горячо приветствовали тюремщики,

ибо его прибытие в качестве узника, как случай необычный в их практике и весьма любопытный, внесло приятное разнообразие в их скучные обязанности. В благодарность за это Денниса заковали особенно тщательно и повели в камеру.

— Скажи-ка, братец, — спросил палач, когда в своей новой роли арестанта следовал за тюремщиком по уцелевшим, так хорошо ему знакомым коридорам. — Меня поместят с кем-нибудь вместе?

— Если бы твои приятели оставили тут больше стен, ты сидел бы один, — был ответ. — Ну, а теперь из-за недостатка места придется сидеть в компании.

— Что ж, я не против хорошей компании, — отозвался Деннис. — Люблю общество. Могу сказать — я создан для общества.

— Тем хуже, не так ли? — заметил тюремщик.

— Нет, я этого не нахожу. Почему хуже, братец?

— Ну, не знаю, право, — сказал тюремщик небрежно. — Я подумал, что человеку, который любит общество, расстаться с жизнью в цвете лет — это, знаешь ли...

— Постой, постой, — встрепенувшись, перебил его Деннис. — О чем ты толкуешь? Брось! Кто это, по-твоему, расстанется с жизнью в цвете лет?

— Мало ли кто... Может, и ты, — сказал тюремщик.

Мистер Деннис утер вспотевшее лицо — ему вдруг стало очень жарко, — и, дрожащим голосом заметив своему провожатому, что он всегда был большой шутник, до самой двери камеры шел уже молча.

— Это и есть моя квартира? — спросил он шутливо, когда тюремщик остановился.

— Так точно, ваш кабинет, сэр, — отвечал тот.

Деннис (нельзя сказать, чтобы очень охотно) перешагнул порог камеры, но вдруг остановился и отскочил назад.

— Что такое? — спросил тюремщик. — Какой же ты, однако, стал нервный!

— Нервный! Небось будешь нервный! — в ужасе шепнул Деннис. — Закрой дверь.

— Запру, когда войдешь.

— Не могу я войти туда, — все так же шепотом воз-

разил Деннис. — Нельзя меня запирать с этим человеком. Уж не хочешь ли ты, чтобы он меня придушил?

Тюремщик, по-видимому, не задумывался, желательно ему это или нет. Он лаконично ответил, что делает, как ему приказано, втолкнул Денниса в камеру, запер дверь и ушел.

Деннис, весь дрожа, стоял спиной к двери, подняв инстинктивно руку, словно обороняясь, и смотрел на обитателя камеры, который спал, лежа врастяжку на каменной скамье. В эту минуту спящий, словно просыпаясь, перестал дышать глубоко и ровно, но только повернулся на другой бок, бессильно свесив руку, глубоко вздохнул и, что-то невнятно пробормотав, снова крепко уснул.

Палач с некоторым облегчением на миг отвел глаза от спящего и осмотрелся, ища удобной позиции или орудия защиты. Но в камере были только два подвижных предмета — громоздкий стол, который невозможно было передвинуть без шума, и тяжелый стул. Подкравшись на цыпочках к стулу, Деннис унес его в самый дальний угол и, забаррикадировавшись им, стал с напряженным вниманием следить за своим врагом.

Этот спящий враг был Хью, и не удивительно, что Деннис чувствовал себя прескверно и всей душой желал, чтобы он никогда не проснулся. Через некоторое время, устав стоять, он забрался подальше в угол и прилег на холодном полу. Ровное дыхание Хью показывало, что он спит крепко, но Деннис все-таки ни на миг не решался отвести от него взгляд; он так боялся внезапного нападения, что, не довольствуясь наблюдением из-за спинки стула, время от времени осторожно вставал и, вытянув шею, следил за лицом Хью, желая убедиться, в самом ли деле он спит или только притворяется, чтобы, улучив момент, броситься на него.

Хью спал долго и крепко, и мистер Деннис начинал надеяться, что он проспит так до прихода тюремщика. Он уже мысленно поздравлял себя с такой утешительной перспективой и горячо благодарил свою счастливую звезду, как вдруг заметил некоторые тревожные симптомы: спящий опять пошевелил рукой, вздохнул, беспокойно откинул голову. Затем — как раз тогда, когда Деннису

показалось, что он сейчас свалится на пол со своего узкого ложа, Хью открыл глаза.

Несколько секунд он сонно смотрел на Денниса, не выражая никакого удивления и, видимо, не узнавая его. Затем внезапно вскочил и со страшным проклятием выкрикнул его имя.

— Не подходи! Не подходи! — завопил Деннис, прячась за стул. — Не тронь меня, брат, я такой же арестант, как и ты. Видишь, руки у меня скованы. И я старик, дряхлый старик. Не тронь меня!

Последние три слова он прокричал так жалобно, что Хью, который уже вырвал у него стул и замахнулся им, удержал руку и велел Деннису встать.

— Да, да, я встану, братец, — воскликнул Деннис, спеша умилостивить его всем, чем только мог. — Все сделаю, что прикажешь! Ну, вот, видишь, я встал. Чего ты хочешь? Скажи только слово, и я все сделаю для тебя.

— Сделаешь для меня? — крикнул Хью, схватив его обеими руками за шиворот и тряся так, словно хотел из него дух вышибить. — А что ты *уже сделал* для меня?

— Самое лучшее, что можно было сделать, — отвечал палач.

Хью ничего не ответил, только встряхнул его своими сильными руками так, что у него защелкали зубы, и швырнул на пол, а сам улегся на скамью.

— Одно утешение, что и ты попал сюда, не то я бы тебе раскроил башку, не сомневайся, — проворчал он свирепо.

Некоторое время Деннис не мог выговорить ни слова. Но едва перевел дух, снова принялся задабривать Хью.

— Я сделал все, что мог, братец, — хныкал он. — Ну, поверь ты мне! На меня наставили с двух сторон штыки и черт знает сколько ружей, — ну, и пришлось указать им тебя. Но если бы тебя не взяли живьём, так застрелили бы. Подумать только, — застрелить такого молодца!

— А сейчас мне лучше, по-твоему? — спросил Хью, подняв голову, с такой свирепой миной, что палач не сразу решился ответить.

— Гораздо лучше, — примирительно сказал он, помолчав. — Во-первых, на суде всякое случается, есть тысяча шансов выпутаться. Может, мы еще выйдем целехоньки.

То ли бывает! А если даже счастье нам изменит, — что ж, вешают человека только раз. И, когда это делается чисто, ловко — словом, как следует, это так красиво, ты представить себе не можешь! Выдумали убивать людей из мушкетов! Тьфу!

Одна только мысль об этом так возмутила Денниса, что он с ожесточением плюнул на пол.

Человеку, незнакомому с его склонностями и повадками, эта горячность могла показаться мужеством, а так как он, хитро умалчивая о своих тайных надеждах, напирал на то, что они с Хью в одинаковом положении, это смягчило молодого дикаря гораздо больше, чем могли бы смягчить самые убедительные доводы или самая униженная покорность. Хью уперся руками в колени и, нагнувшись вперед, смотрел на Денниса из-под свисавшей на лоб всклокоченной гривы уже с каким-то подобием улыбки.

— Видишь ли, брат, — начал палач уже гораздо увереннее. — Все вышло из-за того, что ты попал в дурную компанию. Солдаты искали того человека, который был с тобой, он им нужен был гораздо больше, чем ты. Метили в него, а заодно взяли и тебя. Сам видишь — что я этим выиграл? Мы с тобой оба здесь, оба в одинаковом положении.

— Слушай ты, мерзавец, — хмуря брови, возразил Хью, — не так уж я прост и отлично понимаю, что у тебя тут был свой расчет, для того ты нас и выдал. Но сделанного не воротишь. Ты тоже здесь, и нам обоим скоро конец. Да и мне все равно, жить или умереть. Так стоит ли о тебя руки марать? Есть, пить и спать, пока я еще здесь, — больше мне ничего не надо. Жаль, что в это проклятое место редко заглядывает солнце. Было бы его побольше, так я лежал бы и грелся целый день, с места не вставал бы. И ничего больше не хочу. Так что мне за дело до тебя?

Закончив эту речь зевком, напоминавшим рык дикого зверя, Хью снова растянулся на скамье и закрыл глаза.

Деннис, значительно ободренный его миролюбием, несколько минут молча наблюдал за ним, потом придвинул свой стул поближе к жесткому ложу Хью, оставаясь, однако, из благоразумной осторожности на приличном расстоянии от его сильной руки.

— Хорошо сказано, братец, лучше не скажешь! — воскликнул он, осмелев. — Будем пить, есть, отсыпаться и не вешать носа. Можно и поесть и попить всласть, — за деньги все достанем. Разгуляемся напоследок!

— Деньги? — сказал Хью, укладываясь поудобнее. — А где их взять?

— У меня все отобрали в караулке, — отозвался Деннис. — Но тут — особый случай...

— Разве? У меня тоже все отняли.

— Тогда вот что, братец, — дай знать своим друзьям и...

— Моим друзьям? — воскликнул Хью, приподнявшись на локтях. — А где у меня друзья?

— Ну, так родственникам.

— Ха-ха-ха! — Хью рассмеялся и махнул рукой. — Какие там друзья и родня, когда у меня мать умерла той же смертью, что ждет ее сына, и оставила голодного мальчишку одного, без единой близкой души на свете. Он еще будет мне толковать о родне!

— Постой-ка, — палач внезапно переменился в лице. — Уж не хочешь ли ты сказать...

— Я хочу сказать, — перебил Хью, — что ее повесили в Тайберне. Пусть теперь вешают меня — одна у нас с ней судьба! Пусть вешают хоть завтра — чем скорее, тем лучше. Ну, довольно болтать. Я спать хочу.

— Нет, погоди, мне надо с тобой поговорить... выяснить... — сказал Деннис, то бледнея, то краснея.

— Эй, придержи язык, если ты не вовсе дурак, — прорычал Хью, подняв голову и бросив на него сердитый взгляд. — Сказано тебе — не мешай спать!

Деннис даже после этого предостережения попытался сказать что-то, но рассерженный Хью изо всей силы замахнулся на него, а не попав, выругался и снова лег, повернувшись лицом к стене. Несмотря на его столь грозное настроение, у мистера Денниса хватило еще смелости дернуть его раз-другой за рукав, — видно, из каких-то тайных соображений палач жаждал продолжать разговор.

Но, так как и это не помогло, ему оставалось только терпеливо ждать, пока Хью соизволит выслушать его.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Прошел месяц. Мы в спальне сэра Джона Честера. За полуоткрытым окном радует глаза нежная зелень садов Тэмпла, блестит вдали мирная река, на ней весело теснятся лодки, баржи, десятки весел покрывают ее рябью. Ярко синеет небо, и легкий ветерок, влетая в окно, наполняет комнату благоуханием лета. Даже самый город, этот закоптелый город, будто излучает сияние. Его высокие крыши и шпили колоколен, всегда такие темные и мрачные, сегодня приняли веселую светло-серую окраску и словно улыбаются. Каждый когда-то позолоченный флюгер, шар, крест сверкает, как новенький, в лучах яркого утреннего солнца. И высоко над всем пылает червонным золотом величественный купол собора св. Павла.

Сэр Джон завтракает в постели. На маленьком столике подле него — чашка шоколада и гренки, на одеяле, под рукой, — книги, газеты. И, со спокойным удовлетворением время от времени оглядывая тщательно убранную комнату или рассеянно засматриваясь на летнее небо, сэр Джон с наслаждением ест, пьет, почитывает новости.

Радостное летнее утро действует, должно быть, и на его уравновешенную натуру. Сэр Джон сегодня необычайно оживлен, улыбается еще мягче и приятнее, чем всегда, и голос его звучит громче, веселее. Вот он отложил газету, откинулся на подушки с видом человека, который предается блаженным воспоминаниям, и через некоторое время заговорил вслух сам с собой:

— Итак, мой приятель-кентавр пошел по стопам своей матушки! Это меня ничуть не удивляет. И его таинственный друг, мистер Деннис, тоже... Что ж, и в этом нет ничего удивительного... И тот необыкновенно развязный юный идиот, который в Чигуэлле был моим посыльным... Туда ему и дорога... Признаться, я очень доволен... лучшего выхода и придумать нельзя.

Высказавшись таким образом, сэр Джон снова погрузился в отрадные размышления, от которых оторвался

через некоторое время, чтобы допить начинавший уже стынуть шоколад и позвонить слуге.

Слуга принес вторую чашку. Сэр Джон, взяв ее у него из рук, с очаровательной любезностью сказал: «Благодарю, Пик», и отпустил его.

— А любопытно, что этот полоумный чуть было не выпутался на суде, — продолжал он свои размышления вслух, небрежно играя чайной ложечкой. — Но, по счастливому стечению обстоятельств (или, как говорят, по воле Провидения), на суде был брат лорд-мэра и другие судьи из провинции — в их тупых башках этот процесс почему-то пробудил некоторый интерес. Правда, брат лорд-мэра безусловно ошибался и только доказал свое близкое родство с этим забавным субъектом, утверждая, что дурачок Барнеби в здравом уме и, шатаясь повсюду со своей бродягой-матерью, проповедовал революционные, бунтовщические идеи. Тем не менее я ему очень благодарен за его добровольное показание. Эти помешанные говорят иногда такие опасные нелепости, что ради общественного спокойствия, право, следовало бы всех их перевешать.

Действительно, мировой судья из провинции своим показанием заставил опуститься колебавшуюся чашу весов правосудия, и дело было решено не в пользу Барнеби. Грип и не подозревал, как сильно он виноват в этом!

— Да, оригинальная будет компания, — рассуждал сэр Джон, опершись головой на руку и прихлебывая шоколад. — Весьма оригинальная. Палач, кентавр и сумасшедший. А ведь труп этого кентавра был бы превосходным приобретением для анатомического театра и обогатил бы науку! Надеюсь, об этом кто-нибудь позаботится... Имейте в виду, Пик, — меня нет дома ни для кого, кроме парикмахера.

Последнее замечание сэра Джона вызвано было раздавшимся внизу стуком в наружную дверь, которую слуга бросился отворять. После продолжительных переговоров вполголоса он вернулся в спальню, и когда, войдя, осторожно закрыл за собой дверь, из коридора донеслось чье-то покашливание.

— Нет, нет, Пик, слышать ничего не хочу, — сказал сэр Джон, отмахиваясь, когда слуга открыл было рот,

чтобы доложить о посетителе. — Я вам уже сказал, что меня нет дома, и мое слово для вас должно быть свято. Почему вы никогда не выполняете приказаний?

Не имея что возразить на этот упрек, слуга хотел выйти, но тут посетитель, которому, видно, надоело ждать, постучал в дверь спальни и крикнул, что он пришел по делу очень важному и совершенно неотложному.

— Ладно, пусть войдет, — сказал сэр Джон слуге. И, когда дверь отворилась, прибавил, обращаясь к невидимому еще посетителю:

— Послушайте, милейший, ну, можно ли так бесцеремонно врываться в дом к джентльмену? Только человек, лишенный всякого самоуважения, может проявить такую поразительную невоспитанность!

— Извините, сэр Джон, что я пробрался к вам таким способом. Но дело у меня очень срочное, поверьте.

— Посмотрим, посмотрим, — отозвался сэр Джон. Когда он увидел, кто этот посетитель, лицо его прояснилось, на нем снова появилась всегдашняя подкупающая улыбка. — По-моему, мы с вами уже где-то встречались, — добавил он любезным тоном. — Но, право, не припомню вашей фамилии.

— Меня зовут Гейбриэл Варден, сэр.

— Ах, да, да, Варден. Боже, как у меня слабеет память! — Сэр Джон хлопнул себя по лбу. — Ну, конечно, мистер Варден, слесарь. У вас премилая жена, мистер Варден, а дочь — настоящая красавица. Надеюсь, они в добром здравии?

Слесарь поблагодарил и сказал, что обе здоровы.

— Рад это слышать. Кланяйтесь им от меня и скажите, что я желал бы иметь счастье сам их приветствовать вместо того, чтобы передавать привет через вас.

Помолчав минутку, сэр Джон с усиленной любезностью добавил:

— Располагайте мною. Чем могу служить?

— Благодарю вас, сэр Джон, — ответил Варден несколько сдержанно. — Я пришел не об одолжении просить, а по чужому делу... Секретному, — добавил он, покосившись на стоявшего в ожидании слугу. — И очень спешному.

— Не скажу, чтобы ваше посещение мне было приятнее оттого, что вы ничего не просите, — благосклонно промолвил сэр Джон. — Напротив, я был бы счастлив оказать вам какую-нибудь услугу. Ну, да так или иначе — рад вас видеть. Пик, будьте добры, принесите мне еще шоколаду, и тогда можете идти.

Слуга ушел, оставив их вдвоем.

— Сэр Джон, — начал слесарь. — Я простой, рабочий человек и всю жизнь им был... Так что вы не взыщите, если буду говорить напрямик. Образованный джентльмен на моем месте, конечно, сумел бы вас сначала подготовить и во всяком случае смягчить удар. Ну, что поделаешь! Поверьте, мне хотелось бы подойти к делу как можно деликатнее и осторожнее, а если не сумею, — вы уж меня извините.

— Присядьте, пожалуйста, мистер Варден, — отозвался сэр Джон, совершенно хладнокровно выслушав это вступление. — Шоколаду вы, вероятно, не пожелаете? Не все его любят, а я привык...

— Сэр Джон, — начал Варден, поблагодарив поклоном за приглашение сесть, но не воспользовавшись им. — Сэр Джон, — он понизил голос и шагнул ближе к постели. — Я пришел к вам прямо из Ньюгета...

— Господи помилуй! — ахнул сэр Джон, порывисто приподнявшись и сев на постели. — Прямо из Ньюгета! Какая неосторожность! Из Ньюгета, где свирепствует горячка, где столько оборванцев, грязных бродяг, где тысяча всяких ужасов! Пик, скорее камфару! Силы небесные! Дорогой мой мистер Варден, как вы *могли* прийти ко мне прямо из Ньюгета?

Слесарь, ничего не отвечая, молча смотрел, как Пик, который как раз вошел с горячим шоколадом, побежал к шкафу и, вернувшись с какой-то склянкой, обрызгал халат сэра Джона и постель. После этого он основательную порцию вылил на самого слесаря и покропил вокруг него ковер. Проделав все это, Пик снова удалился, а сэр Джон, уже успокоившись, откинулся на подушку и с улыбкой обратился к посетителю:

— Вы, надеюсь, простите, мистер Варден, что я немного испугался и за вас и за себя. Признаюсь, вы меня ошеломили, несмотря на ваше деликатное предупрежде-

ние. Будьте так добры, не подходите ближе... Так вы в самом деле были сейчас в Ньюгете?

Слесарь утвердительно наклонил голову.

— Вот как! А скажите, мистер Варден, откровенно, без всяких прикрас: что собой представляет эта тюрьма? — спросил сэр Джон конфиденциальным тоном, прихлебывая шоколад.

— Очень странное место, сэр Джон, — отвечал слесарь. — Унылое, печальное место, где можно увидеть и услышать много необыкновенного. Но и там редко услышишь такую необыкновенную историю, как та, что я пришел вам рассказать. Дело очень важное. Меня к вам послали.

— Но... не из тюрьмы же?

— Да, сэр Джон, именно оттуда.

— Ах, мой добрый, доверчивый и простодушный друг! — Сэр Джон, смеясь, поставил чашку на столик. — И кто же вас послал?

— Некто Деннис, палач. Он много лет вешал других, а завтра утром его самого повесят, — ответил слесарь.

Сэр Джон с самого начала был уверен, что Вардена прислал Хью, и, ожидая, что он назовет именно его, уже заранее подготовил ответ. Но сейчас он был так удивлен, что при всем своем самообладании в первую минуту не сумел скрыть этого. Впрочем, он быстро оправился и сказал все так же беспечно:

— А что понадобилось от меня этому господину? Может, память опять мне изменяет, но я, право, не припомню, чтобы я когда-нибудь имел удовольствие встречаться с ним, и уверяю вас, он не состоит в числе моих близких друзей.

— Сэр Джон, я постараюсь как можно точнее передать его собственные слова. И то, что он хочет сообщить, вам следует узнать сейчас же, не теряя ни минуты, — сказал слесарь серьезным тоном.

Сэр Джон уселся поудобнее и смотрел на посетителя так, словно хотел сказать: «Ну и забавный же старик! Ладно, послушаем его».

— Вы, может, читали в газетах, сэр, — Варден указал на газету, лежавшую под рукой у сэра Джона, — что я недавно выступал на суде свидетелем против этого чело-

века. И если я остался жив и мог выступить, — так это во всяком случае не его вина.

— Читал ли я? — воскликнул сэр Джон. — Дорогой мой, да вы же настоящий общественный деятель и заслуженно пользуетесь популярностью. Я с невероятным интерессом читал ваши показания и тогда же вспомнил, что мы с вами немного знакомы. Надеюсь, мы скоро увидим ваш портрет в газетах?

— Сегодня утром, — начал слесарь, пропустив мимо ушей все эти любезности. — Рано утром, сэр, ко мне пришли из Ньюгета и сказали, что этот Деннис хочет меня видеть и сообщить мне что-то важное. Вы сами понимаете, сэр, что он не из числа и моих друзей, я его никогда в глаза не видел до того дня, когда эти громилы ворвались ко мне в дом.

Сэр Джон кивнул в ответ и стал легонько обмахиваться газетой.

— Но я уже знал — все об этом говорили, — что вчера вечером в тюрьме получен приказ, и завтра их повесят. И я не хотел отказать человеку в просьбе перед смертью.

— Вы — истинный христианин, мистер Варден, — заметил сэр Джон. — И тем более мне хотелось бы, чтобы вы присели.

— Он мне сказал, — продолжал слесарь, в упор глядя на сэра Джона, — что послал за мной, потому что у него во всем мире нет ни единого друга или товарища (ведь он же был палачом), а, слушая мои показания на суде, он убедился, что я — честный человек и мне можно довериться. По его словам, все, кто знал об его профессии, даже последние негодяи и мерзавцы, сторонились его. Когда он связался с бунтовщиками, ни один из них не подозревал, кто он. Это, наверное, правда, потому что мой бывший подмастерье, бедный дурак, тоже водился с ним. Деннис скрывал это от них все время до самого своего ареста.

— Весьма благоразумно со стороны мистера Денниса, — все так же любезно ввернул сэр Джон, подавляя зевок. — Вы излагаете все превосходно и очень ясно, но, право, это меня не особенно интересует.

— А когда его посадили в тюрьму, — продолжал слесарь, ничуть не обескураженный этим замечанием, —

с ним в одной камере оказался молодой парень по имени Хью, вожак бунтовщиков, которого выдал он, Деннис. И во время их ссоры у несчастного вырвались какие-то слова, из которых Деннис узнал, что мать этого парня умерла такой же смертью, к какой приговорены они оба... Сэр Джон, времени остается мало.

Сэр Джон отложил газету, служившую ему веером, поставил чашку на стол и посмотрел слесарю в лицо так же пристально, как тот смотрел на него, но легкая усмешка по-прежнему не сходила с его губ.

— Они сидят вдвоем в тюрьме вот уже целый месяц. За это время они много раз толковали между собой, и палачу стало ясно, что это он в свое время привел в исполнение смертный приговор, повесив мать Хью. Нужда, как это часто бывает, толкнула ее на преступное и легкое ремесло — сбыт фальшивых ассигнаций. Она была молода и красива, и фальшивомонетчики, которые нанимают мужчин, женщин и детей для сбыта фальшивых денег, решили, что она очень подойдет для их дела и, наверное, долго сможет им заниматься, не вызывая подозрений. Но они ошиблись: она попалась с первого же раза и заплатила жизнью за этот грех. Она была цыганка, сэр Джон...

Быть может, набежавшее на солнце облачко покрыло тенью лицо сэра Джона — оно казалось в этот миг мертвенно бледным. Но он по-прежнему смотрел прямо в глаза Вардену.

— Да, сэр Джон, цыганка, — повторил тот. — И женщина с сильным, независимым характером. Красота ее и гордость привлекли внимание некоторых джентльменов, которые неравнодушны к черным глазам. Ее пытались спасти, и, может, это и удалось бы, если бы она захотела рассказать свою историю. Но она ни за что не хотела... В тюрьме подозревали, что она задумала покончить с собой, за ней стали следить днем и ночью. С тех пор она больше не раскрывала рта...

Сэр Джон протянул было руку к чашке. Но следующие слова слесаря остановили его:

— Заговорила она только за минуту до смерти. Тут она вдруг сказала твердо и тихо, — а слышал ее только палач, потому что все уже от нее отошли и предоставили

бедняжку ее участи: «Будь у меня сейчас в руках нож и окажись *он* тут, я убила бы его на месте!» Палач спросил: «Кого?» Она ответила: «Отца моего мальчика».

Сэр Джон опустил протянутую руку, и, так как слесарь замолчал, он уже без малейшего признака волнения, спокойным и учтивым жестом попросил его продолжать.

— Так она впервые упомянула о том, что у нее есть близкие. Палач спросил: «А ребенок жив?» — «Жив». Он спросил еще, где же этот ребенок, как его зовут и не хочет ли она что-нибудь ему передать. Она сказала, что у нее только одно желание — чтобы мальчик ничего не знал о своем отце и чтобы он не вырос кротким и безответным. И она надеется, что когда он станет взрослым, бог ее племени сведет отца с сыном, и сын отомстит за нее. Палач пробовал расспросить ее подробнее, но она не вымолвила больше ни слова. Она и эти-то несколько слов сказала как будто не ему: ни разу на него не взглянула и все время стояла, обратив лицо к небу.

Сэр Джон взял понюшку табаку, полюбовался висевшим на стене изящным эскизом под названием «Природа», затем снова перевел глаза на слесаря и с учтиво-покровительственным видом промолвил:

— Да, мистер Варден, так вы говорили...

— Я говорил, сэр Джон, что она ни разу и не взглянула на палача, — продолжал слесарь все тем же решительным тоном и так же пристально глядя в лицо сэру Джону, чьи уловки его ничуть не смутили. — Так она умерла, и палач этот забыл о ней. Но несколько лет спустя приговорен был к повешению один человек, тоже цыган, смуглый, красивый парень и настоящий дикарь. И когда этот цыган сидел в тюрьме перед казнью, он вырезал на палке портрет палача Денниса, которого не раз видывал раньше, — хотелось ему, видно, показать, что он смерти не боится и не думает о ней. Палку цыган передал палачу уже на Тайберне и рассказал ему, что та женщина, его соплеменница, ушла когда-то от своих к одному знатному джентльмену. Джентльмен ее обольстил и бросил, а все прежние друзья от нее отвернулись, и тогда эта гордая женщина дала себе клятву ни к кому никогда

не обращаться за помощью, в какой бы нужде она ни была. И клятву свою она сдержала. Цыган прибавил, что, даже от него (а он, видно, сильно ее любил) она, встретив его случайно на улице, убежала, и он больше не видел ее до того дня, когда пришел со своими приятелями в толпе зевак на Тайберн, чтобы поглазеть на казнь, и чуть с ума не сошел, узнав в осужденной ту, которую он любил. И вот, стоя на том же помосте, где когда-то стояла она, цыган этот рассказал все палачу и назвал ее настоящее имя, которое было известно лишь ее соплеменникам да тому джентльмену, с которым она бежала. Это имя палач хочет назвать только вам одному, сэр Джон.

— Только мне! — воскликнул сэр Джон, и рука его с согнутым мизинцем (чтобы виден был украшавший его бриллиантовый перстень), совершенно спокойно и уверенно подносившая ко рту чашку, на миг застыла в воздухе. — Мне! Дорогой мой мистер Варден, что за нелепость! С чего это он вздумал именно мне поверять свои секреты? Да еще когда рядом были вы, человек, заслуживающий полнейшего доверия!

— Сэр Джон, сэр Джон, завтра в полдень эти люди умрут! — перебил его слесарь. — Так дослушайте же то немногое, что я еще имею вам сказать, и не думайте, что можете обмануть меня. Конечно, я человек простой, низкого звания, а вы — знатный и образованный джентльмен, но правда для всех одна. Знаю, вы уже сами догадались, чтò я должен вам передать, и поняли, что этот Хью, осужденный на смерть, — ваш сын.

— Как! — благодушно-шутливым тоном воскликнул сэр Джон. — Неужели же безвременно погибший цыган посмел утверждать такую вещь?

— Нет, это не он, — возразил слесарь. — Потому что его соплеменница заставила его дать клятву, — которую у них почитают священной даже самые отчаянные, — что он никому не назовет вашего имени. Но в узоре на палке цыган вырезал несколько букв и попросил палача хорошенько запомнить это слово на тот случай, если ему доведется когда-нибудь встретить ее сына.

— Какое же это слово?

— Честер.

Сэр Джон с безмерным наслаждением допил шоколад и бережно утер рот платком.

— Это все, что сказал Деннис *мне*, сэр Джон, — продолжал слесарь. — Но за то время, что он и Хью вместе в тюрьме ждали смерти, они много и откровенно говорили между собой. Повидайте же их и выслушайте все, что они могут добавить к моему рассказу. От Денниса вы узнаете то, чего он не доверил мне. Если вам нужны еще какие-нибудь доказательства (но, по-моему, вы в них не нуждаетесь), вы легко сможете их получить.

— А скажите-ка, милейший, уважаемый, добросердечный мистер Варден — право, не могу на вас сердиться, даже если бы хотел! — к чему это вы клоните? — спросил сэр Честер, выровняв подушку и опершись на нее локтем.

— Ведь вы же человек, сэр Джон, и я думал, что в душе вашей пробудятся естественные человеческие чувства. Мне казалось, что вы пустите в ход все ваше влияние, чтобы спасти своего несчастного сына и того человека, от которого вы узнали, что у вас есть сын. А в худшем случае вы хотя бы повидаете сына и постараетесь, чтобы он не умер нераскаянным. Ведь он все еще считает себя ни в чем не виновным! Судите сами, какова была его жизнь, если он мне прямо объявил, что вы только постараетесь ускорить его смерть, чтобы заткнуть ему рот, если это будет в вашей власти.

— Но вы-то, мой милый мистер Варден, — отозвался сэр Джон тоном кроткого упрека, — вы-то как могли в ваши годы остаться настолько доверчивым и простодушным? Вы приходите к человеку известному и солидному с подобными поручениями от каких-то отъявленных негодяев, которые в крайности хватаются за соломинку! Фи, фи, как вам только не стыдно?

Слесарь хотел было что-то возразить, но сэр Джон остановил его:

— Мистер Варден, я с величайшим удовольствием — просто с наслаждением — готов беседовать с вами на любую другую тему, но продолжать *этот* разговор мне запрещает мое достоинство и положение.

— Подумайте хорошенько, сэр, — сказал слесарь. — Подумайте об этом, когда я уйду. Вашего законного сына,



мистера Эдварда, вы уже три раза выгоняли, но помириться с *ним* у вас будет время, сэр Джон, — впереди у вас, быть может, еще многие годы. А завтрашний полдень наступит скоро, пройдет — и не вернется.

— Весьма вам признателен за совет, который дан от души, — промолвил сэр Джон, холеной рукой посылая слесарю воздушный поцелуй. — Ваше простосердечие меня пленяет, но жаль, что житейской мудрости у вас маловато... Ах, там пришел мой парикмахер — как жаль! Никогда еще его приход не был так некстати. До свиданья. Всего хорошего! Не забудьте передать поклон вашим дамам, дорогой мистер Варден. Пик, проводите мистера Вардена вниз!

Слесарь не сказал ни слова, только посмотрел на него и вышел. Как только сэр Джон остался один, выражение его лица изменилось, словно с него слетела маска. Улыбку сменили усталость и тревога — то было лицо актера, измученного трудной ролью. С тяжелым вздохом он встал с постели, запахнув халат.

— Значит, она-таки сдержала слово, — сказал он. — Выполнила свою угрозу... Лучше бы я никогда не видал ее смуглого лица!.. Я мог бы с самого начала прочесть в нем, *чем* все кончится... А ведь эта история могла бы наделать шуму, будь у них более веские доказательства! Теперь же, если им помешать найти утерянные звенья цепи, можно не беспокоиться... Ужасно неприятно оказаться родителем такого неотесанного дикаря! Ну, да я сделал, что мог, — давал ему мудрые советы и предупреждал, что он непременно кончит виселицей. Больше я ничего не мог бы сделать, если бы и знал о нашем родстве. На свете есть великое множество отцов, которые и этого не делают для своих незаконных детей... Зовите парикмахера, Пик!

Последняя мысль и припомнившиеся ему многочисленные примеры, подтверждавшие ее, быстро успокоили покладистую совесть сэра Джона, и вошедший парикмахер не нашел в нем никакой перемены: перед ним был тот же невозмутимо-спокойный, элегантный, обворожительный джентльмен, каким он видел его и вчера, и позавчера, и много-много раз до того.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Медленно уходя от сэра Джона, слесарь наш то и дело останавливался под осенявшими аллею деревьями, почти надеясь, что его окликнут и вернут. Трижды возвращался он к дому и все еще медлил на углу, когда часы пробили двенадцать.

Звон их казался Вардену особенно торжественным не только потому, что напоминал о казни, которая свершится завтра в этот же час: он знал, что это звон погребальный и возвещает смертный час убийце. Он видел сегодня утром, как Радж ехал по запруженной народом улице, осыпаемый проклятиями, как он трясся, как дрожали его губы. Приметил он и пепельно-серую бледность его лица, пот на лбу, безумное отчаяние в глазах, тот страх смерти, что поглощает все другие мысли и чувства и без устали гложет душу и мозг. Блуждающий взгляд Раджа, казалось, искал вокруг надежды, но, куда ни обращался, везде находил лишь пищу для отчаяния.

Да, Варден видел, как этого жалкого, всеми отверженного преступника везли на виселицу. И в той же телеге подле него стоял его гроб. Радж до последнего своего часа оставался все тем же закоснелым нераскаянным грешником, и собственная страшная участь только сильнее ожесточала его против жены и сына. Последние слова, слетевшие с его побледневших губ, были проклятием им обоим.

Мистер Хардейл решил присутствовать при казни, чтобы самому убедиться, что она свершена: только эта уверенность могла утолить жажду возмездия и горечь, копившиеся в его душе столько лет. Зная о намерении мистера Хардейла, слесарь побежал его разыскивать, как только смолк бой часов.

— Тем двум я уже больше ничем помочь не могу, — говорил он себе по дороге. — Да помилует их бог!.. И не только им, никому я не могу помочь! Мэри Радж всегда будет иметь приют и верного друга, когда он ей понадобится. Но Барнеби, бедный, добрый Барнеби, — что я могу сделать для него? Ох, есть много, очень много людей в

здравом уме, которых я охотно, прости мне господи, отдал бы за Барнеби! Мы с ним всегда были добрыми друзьями, но до сих пор я и сам не знал, как люблю этого мальчика!

Мало кто в огромном городе думал о Барнеби в этот день, мало для кого он был не просто одним из действующих лиц предстоящего завтра зрелища. Но если бы даже все население Лондона думало о нем и желало его помилования, никто не желал бы этого так горячо, от всего сердца, как честный слесарь.

Барнеби ожидала смерть. Надежды на спасение не было. Много зол влекут за собой частые смертные казни, и не последнее из этих зол — то, что люди, произносящие приговор и выполняющие его, черствеют душой. Самые мягкосердечные постепенно становятся бесчувственными, равнодушными к своей великой ответственности или вовсе не сознают ее.

Приговор был произнесен, и Барнеби ожидала смерть. Такие приговоры выносились каждый месяц и за менее тяжкие преступления. Они стали столь обычными, что вряд ли кого и этот возмутительный приговор ужаснул или заставил усомниться в его справедливости. К тому же именно теперь, когда Закон был так дерзко нарушен мятежниками, нужно было укрепить его престиж. А символом этого престижа, начертанным на каждой странице свода уголовных законов, была виселица. И Барнеби должен был умереть.

Друзья делали попытки спасти его. Слесарь сам относил все петиции и просьбы о помиловании, адресованные в самую высшую инстанцию. Но источник высшей власти не был источником милосердия, и Барнеби должен был умереть.

Мать с первого дня не оставляла его ни на минуту и только на ночь уходила из тюрьмы. А ее присутствие, как всегда, радовало и успокаивало его. В этот последний день он был, как никогда, бодр, весел и горд собой. И когда мать, уронив книгу, которую читала ему вслух, вдруг обняла его, Барнеби прервал свое занятие (он старательно обвязывал полоской траурного крепа тулью своей шляпы) и удивился этому взрыву горя. А Грип слабо каркнул, не то для ободрения, не то в знак проте-

ста, но на большее он сегодня был неспособен и снова погрузился в молчание.

Для них, стоявших на краю бездны, в глубину которой ничей взор не может проникнуть, Время, готовое так скоро кануть в Вечность, неслось, как мощная река, которая, приближаясь к морю, все быстрее катит свои воды. Только что было утро, они сидели и разговаривали словно во сне, и вот уже наступил вечер. Страшный час расставания, который еще вчера казался таким далеким, был теперь на пороге.

Мать и сын вышли во двор, крепко обнявшись, но не говоря ни слова. Барнеби находил, что тюрьма — скучное, печальное, противное место, и ждал завтрашнего дня, как освобождения, как перехода к чему-то светлому и прекрасному. Притом в голове у него бродила смутная мысль, что он теперь очень видный человек и обязан доказать свое мужество тюремщикам, которым хотелось бы, чтобы он трусил и плакал. Думая так, он старался шагать тверже и уговаривал мать крепиться, не плакать, показывал ей, что рука у него ничуть не дрожит.

— Говорят, что я дурачок, мама. Вот они увидят завтра!..

Деннис и Хью тоже были во дворе. Хью вышел из своей камеры одновременно с Барнеби и его матерью, потягиваясь, словно со сна. Деннис сидел в углу двора на скамье, скорчившись так, что его подбородок почти уткнулся в колени. Он все качался взад и вперед, как под влиянием мучительной боли.

Мать и сын ходили по одной стороне двора, Хью и Деннис оставались на другой. Хью шагал взад и вперед, время от времени бросая гневный взгляд на ясное летнее небо и затем — на окружавшие двор стены.

— А отмены нет! Все нет! Никто не идет! Теперь осталась только одна ночь! — тихо причитал Деннис, ломая руки. — Как ты думаешь, брат, придет мне ночью помилование? Я помню такие случаи, когда указ привозили ночью, а то и в пять, в шесть, в семь часов утра. Значит, еще есть надежда, верно? Скажи же, что есть! Ну, скажи ты, парень: ведь есть? — хныкал несчастный палач, с мольбой протягивая руки к Барнеби. — Иначе я с ума сойду!

— Сойди! Это будет самое лучшее. Здесь сумасшедшему легче, чем человеку в здравом уме, — сказал Хью.

— Нет, ты скажи, как думаешь — есть надежда? Скажите же мне кто-нибудь, есть или нет! — кричал Деннис. Он был в эту минуту так мерзок и противен, что мог вызвать одно только презрение, и даже само Милосердие отвернулось бы от этого жалкого подобия человека.

— Неужели для меня нет надежды? Может, они медлят просто потому, что хотят припугнуть меня? Как вы думаете? О, господи! — Он уже почти вопил и ломал руки. — Неужели никто не скажет мне хоть одно утешительное слово?

— Уж тебе-то следовало бы другим пример показывать, а ты раскис больше всех, — сказал Хью, остановившись подле него. — Ха-ха-ха! Вот каков палач, когда настал его черед!

— Ты не знаешь еще, каково *это,* — плакал Деннис, буквально извиваясь всем телом. — А я знаю. Неужели меня повесят?! Меня! Меня! Чтобы *меня* постигла такая судьба!

— А почему бы и нет? — Хью откинул свесившиеся на глаза спутанные кудри, чтобы получше рассмотреть своего бывшего соратника. — Когда я еще не знал, какое у тебя ремесло, я частенько слышал, с каким смаком ты рассуждал про *это* — как будто о первейшем удовольствии.

— И я был прав, — стонал Деннис. — Я сказал бы это и сейчас, будь я еще палачом. Но теперь другой на моем месте, и рассуждает так же, как рассуждал я. Вот что ужасно! Кому-то не терпится вздернуть меня. Я по себе знаю, что он ждет с нетерпением.

— Что ж, он скоро своего дождется, — заметил Хью, снова принимаясь шагать по двору. — Значит, сиди спокойно и утешайся этим.

Хотя во всем, что говорил и делал один из этих двух людей, чувствовалась самая бесшабашная смелость, а другой проявлял отвратительное и постыдное малодушие, — трудно сказать, кто из них больше ужаснул и оттолкнул бы стороннего наблюдателя. В Хью чувствовалось остер-



венение дикаря, привязанного к столбу на костре, а палач дошел до состояния собаки, почувствовавшей петлю на шее. Впрочем, обычно все приговоренные находились в одном из этих двух состояний, как мог бы засвидетельствовать мистер Деннис, которому это было хорошо известно. Вот какой богатый урожай давали семена, посеянные Законом! И это стало таким привычным, что считалось уже вполне естественным!

В переживаниях всех осужденных было нечто общее. Мысли их блуждали, неслись неудержимой, беспорядочной чередой, внезапно возникали в уме отрывочные воспоминания о вещах далеких и давно позабытых, смутное и тревожное томление по чему-то неведомому, ничем не утолимая тоска. Быстро летели минуты, незаметно, как по волшебству, сливаясь в часы, быстро надвигалась роковая ночь. Тень смерти неотступно витала над ними, но такая легкая и неясная, что из мрака упорно выступали, назойливо лезли в глаза вещи самые незначительные и обыкновенные... И невозможно было, если бы даже хотелось, готовиться к предстоящему, сосредоточить мысли на покаянии, на чем бы то ни было — их тотчас отвлекало тяготевшее над душой жуткое наваждение. Это испытывали и Барнеби, и Хью, и Деннис, только внешне оно проявлялось у них по-разному.

— Принеси мне книгу, я оставила ее на твоей койке, — сказала миссис Радж сыну, услышав бой часов. — Погоди — прежде поцелуй меня.

Он посмотрел ей в лицо и понял, что пришло время расставаться. Долго стояли они обнявшись, потом Барнеби вырвался и побежал за книгой, наказав матери непременно подождать его, не уходить. Он вернулся тотчас же, услышав крик, — но ее уже не было. Он бросился к воротам, посмотрел сквозь решетку и увидел, как ее уносили. Она ведь говорила, что сердце у нее разорвется. И для нее так будет лучше.

— Как по-твоему, — заскулил Деннис, подобравшись к Барнеби, который стоял у ворот как вкопанный, тупо глядя на глухие каменные стены. — Есть еще надежда? Это — страшная смерть, ужасный конец для такого человека, как я. Как ты думаешь, придет помилование? Я говорю про себя, а не про тебя. Тише, не надо,

чтобы *он* слышал (кивок в сторону Хью). Он такой отчаянный!

— Ну, ребята, пора по домам, — объявил надзиратель. Он то входил, то выходил, заложив руки в карманы и зевая с таким скучающим видом, словно его уже ничто на свете не интересовало.

— Нет, еще рано! — взмолился Деннис. — Остается еще целый час.

— Эге, у твоих часов теперь другой ход, чем бывало, — возразил надзиратель. — Раньше они всегда спешили, как шальные, а теперь вот отставать стали.

— Голубчик! — завопил несчастный палач, упав на колени. — Дорогой мой друг, — мы же всегда были друзьями, — поймите, здесь вышла какая-то ошибка. Может, приказ отправили не туда или посланный задержался в дороге. А может, он умер скоропостижно. Я раз сам видел, как человек свалился на улице замертво, и в кармане у него нашли какие-то бумаги. Пошлите узнать! Пусть кто-нибудь сходит и наведет справки. Не может быть, чтобы меня решили повесить! Не может этого быть!.. — Он вдруг вскочил и завыл. — Да, да, помилование задержали нарочно, меня обманом повесят! Это заговор, заговор! И я умру! — Он снова испустил дикий вопль и в судорогах упал на землю.

— Посмотрите-ка на палача, когда дело касается его шкуры! — снова воскликнул Хью, когда Денниса унесли. — Ха-ха-ха! Держись, храбрый Барнеби. Чего нам бояться? Давай руку! Они умно делают, что отправляют нас на тот свет, — если бы мы опять сорвались с цепи, они бы так дешево не отделались. Ну, еще раз пожмем друг другу руки! Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Если проснешься ночью, скажи это себе во весь голос и усни опять. Ха-ха-ха!

Барнеби снова бросил взгляд сквозь решетку на пустой двор, затем посмотрел вслед Хью, шедшему к своей камере. Он слышал, как Хью что-то крикнул ему и захохотал, видел, как он помахал ему шляпой. Он тоже пошел в свою камеру, двигаясь, как лунатик. Войдя, лег на свою койку, прислушался к бою часов... В душе его не было ни тени страха или печали.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Время шло. Шум на улицах постепенно утихал, и, наконец, наступила полная тишина, которую нарушал только бой башенных часов, отмечающих шаги (менее слышные, крадущиеся, когда город спит) великого седовласого Стража, который не знает ни отдыха, ни сна. В те несколько часов темноты и покоя, когда город отдыхает от лихорадочной дневной суеты, замирают все отзвуки кипучей деловой жизни, а проснувшиеся люди настороженно вслушиваются и со страстным нетерпением ждут рассвета.

К фасаду тюрьмы в этот торжественный ночной час стали сходиться рабочие по двое, по трое и, встречаясь среди улицы, разговаривали шепотом, бросив на мостовую свои инструменты. Вскоре из самой тюрьмы стали выходить другие, таща на плечах доски и бревна; когда все было вынесено, рабочие засуетились, и через минуту-другую глухой стук молотков нарушил тишину.

Там и сям среди работавших стояли люди с фонарями или дымными факелами, чтобы светить им; при этом неверном свете было смутно видно, как одни вынимали камни из мостовой, другие на этих местах вкапывали высокие столбы. Несколько рабочих медленно выкатили с тюремного двора грохотавшую пустую телегу, их товарищи между тем воздвигали поперек улицы крепкие барьеры. Глядя на темные фигуры всех этих усердно работавших людей, безмолвно сновавших здесь в такой необычный час, можно было вообразить, что это какие-то духи возводят в полночь призрачное сооружение, которое, как и они, исчезнет с первым проблеском дня, растает в утреннем тумане.

Было еще темно, когда стали собираться зрители, пока немногочисленные. Они приходили сюда явно с целью не упустить зрелища и намеревались остаться до конца. Даже те, кто только проходил мимо, отправляясь по своим делам, — все останавливались, медлили, словно притягиваемые непобедимой силой. Между тем свист пилы и стук молотков раздавались все громче и чаще, смешиваясь с треском досок, сбрасываемых на мостовую, а време-

нами — с голосами рабочих, окликавших друг друга. Каждые четверть часа били куранты на башне ближней церкви, и какое-то невыразимо-жуткое ощущение овладевало всеми, кто слышал этот звон.

Но вот восточный край неба озарился бледным светом, и жаркая духота этой ночи сменилась резкой свежестью. День еще не наступал, но мрак рассеялся, и звезды побледнели. Тюрьма, черневшая до сих пор бесформенной массой, приняла свой обычный вид, и время от времени на крыше ее появлялась одинокая фигура часового, — он наблюдал сверху за приготовлениями на улице. Человек этот словно составлял часть тюрьмы и, как были уверены зрители, знал обо всем, что в ней происходит. Поэтому он вызывал к себе такой же интерес, как сама тюрьма, и на него глазели жадно, указывая его друг другу, как будто это было привидение.

Постепенно заря разгоралась, и вот уже в тускло-сером свете утра стали четко вырисовываться дома, вывески. Громоздкие почтовые кареты выползали из ворот постоялого двора напротив; из окошек их с любопытством смотрели пассажиры и, пока карета медленно проезжала мимо, они все время оглядывались на тюрьму.

Наконец первые лучи солнца брызнули на улицу, и ночная стройка, в темноте принимавшая сотни образов в воображении зрителей, предстала перед ними теперь в настоящем своем виде — эшафота и виселицы.

Уже тепло погожего дня стало пригревать немногочисленную еще толпу перед тюрьмой, жужжание голосов стало внятнее, открывались одна за другой ставни, поднимались шторы, и люди, ночевавшие в домах против тюрьмы, — где места у верхних окон были заранее распроданы по высокой цене желающим видеть казнь, — поспешно вставали с постели. В некоторых домах для удобства выставляли оконные рамы. Иные зрители уже уселись на свои места и коротали время за картами, выпивкой или веселой беседой. Те, кто купил места на крышах, забирались туда с парапетов и через чердачные окна. Другие еще только приценивались к хорошим местам и, поглядывая на все разраставшуюся внизу толпу и на рабочих, отдыхавших под виселицей, стояли в нерешимости, с притворным равнодушием слушая хозяина,

который расхваливал удобное расположение своего дома, откуда все будет отлично видно, и уверял, что назначенная им плата за места у окон баснословно дешева.

Кажется, никогда еще не было утра прекраснее. С крыш и верхних этажей видны были шпили церквей и величественный купол собора, высившиеся за тюрьмой на фоне синего неба. Проходившие над ними легкие летние облачка окрашивали их в свой цвет, и в прозрачном воздухе четко рисовалась каждая деталь кружевной резьбы и лепных украшений. Рождался день, и все сияло, все говорило о радости и надеждах. Только улица внизу, еще покрытая тенью, напоминала мрачное ущелье. Среди бурлившей вокруг жизни стояло страшное орудие смерти. Казалось, даже солнце избегало глядеть на него.

Как ни мрачно и зловеще выглядело оно в тени, еще ужаснее было это орудие смерти, покрытое черной, вздувшейся пузырями краской, с петлями, болтавшимися в воздухе подобно каким-то отвратительным гирляндам, в ярком дневном свете, когда солнце поднялось высоко во всем своем блеске и великолепии. Не так страшно было оно в глухом полуночном мраке, окруженное призрачными фигурами людей, как теперь, свежим веселым утром, среди шумной толпы любопытных. Не так страшно было оно, когда, как призрачный часовой, маячило на улице спящего города и, быть может, омрачало его сны, как сейчас, среди бела дня, когда бесстыдно открывалось взорам людей, навязывая свое нечистое присутствие их мыслям и чувствам.

Пробило пять часов... шесть... семь... пробило восемь. По двум главным улицам, сходившимся на перекрестке, уже стремился людской поток к центрам деловой и торговой жизни. Телеги, кареты, фургоны, тележки, тачки прокладывали себе дорогу сквозь толпу, двигаясь все в одном направлении. Прибывавшие в город из окрестностей почтовые кареты останавливались, и кучер кнутом указывал на виселицу, — в этом, впрочем, не было никакой надобности, и без того головы всех пассажиров были повернуты в ту сторону, и к окнам приникали напряженно-внимательные лица. Даже женщины боязливо смотрели на отвратительное сооружение. В толпе высоко поднимали

детей, чтобы они могли лучше увидеть эту страшную игрушку и знали, как вешают людей.

Двоих из трех приговоренных мятежников приказано было повесить перед тюрьмой, в разрушении которой они принимали участие, а одного — сразу же после этого, на Блумсбери-сквер. В девять часов на улице появился большой отряд солдат и выстроился вдоль узкого прохода к Холборну, который ночью охранялся только полицией. По этому проходу провезли вторую телегу (первая понадобилась для постройки эшафота) и подкатили ее к воротам тюрьмы. Когда все приготовления были окончены, солдатам скомандовали «вольно!»; офицеры стали прохаживаться вдоль рядов или беседовали у ступеней эшафота, а зрители, число которых за последние часы сильно увеличилось, все прибывали и прибывали. Ждали полудня, и с каждым боем часов на церкви Гроба Господня нетерпение толпы все возрастало. До сих пор она стояла довольно смирно, почти безмолвно, и только по временам появление новой компании у окон привлекало всеобщее внимание и вызывало замечания. Но когда время подошло к полудню, в толпе поднялось жужжание, гомон, которые, усиливаясь с каждой минутой, скоро перешли в гул, наполнявший воздух. В этом шуме невозможно было различить отдельных голосов, а тем более слов, да люди мало и говорили между собой, — только иногда более осведомленные объясняли рядом стоящим, что палача Денниса, когда он выйдет, легко будет узнать, потому что он ростом ниже другого, которого зовут Хью, а на Блумсбери-сквер повесят Барнеби Раджа.

Чем ближе подходил назначенный час, тем громче гудела толпа, так что наверху у окон люди не слышали даже боя часов, хотя колокольня была рядом. Впрочем, слушать его не было надобности: по лицам толпы внизу легко угадывалось, что прошло еще четверть часа. Едва часы начинали бить, в толпе возникало движение, словно над ней проносилось что-то, затемняя свет, и сплошная масса лиц уподоблялась циферблату, на котором гигантская стрелка отмечает ход времени.

Три четверти двенадцатого! Гул становится оглушительным, хотя все, кажется, молчат, как немые: куда ни глянь, — крепко сжатые рты и напряженно-внимательные

глаза. Самому зоркому наблюдателю трудно было бы определить, откуда же слышен этот рев, указать, кто кричит, — это было так же трудно, как уловить движение створок морской раковины.

Три четверти двенадцатого. Многие зрители, отходившие от окон, успели подкрепиться и с новыми силами вернулись на свои посты, а все, кто вздремнул, проснулись; каждый человек в толпе сделал последнюю попытку занять место получше, из-за этого началась давка, и толпа так напирала на крепкие барьеры, что они гнулись, как прутья. Офицеры, до этого стоявшие тесной группой, заняли свои места и отдали команду. Шпаги были обнажены, мушкеты вскинуты на плечо, и блестящая сталь засверкала среди толпы, как река на солнце. Вдоль рядов двое мужчин поспешно провели лошадь и запрягли ее в телегу, стоявшую у ворот тюрьмы. Шум, все возраставший до этой минуты, вдруг сменился мертвой тишиной — казалось, огромная толпа затаила дыхание. Все окна теперь представляли собой море голов, крыши кишели людьми, которые жались к дымовым трубам, выглядывали из-за коньков, балансировали на таких местах, откуда рисковали грохнуться вниз на мостовую, если расшатается под ногами какой-нибудь кирпич или камень. Колокольня и крыша церкви, погост, свинцовая крыша тюрьмы, даже фонарные столбы и водосточные желоба — словом, все окружающее пространство было усеяно людьми.

При первом ударе часов, возвещавших полдень, в тюрьме зазвонил колокол. Тут зрители снова зашумели, послышались крики «Шапки долой!», «Ах, несчастные!», а кое-где стоны и пронзительные вопли. Жутко было видеть (если в эту минуту всеобщего безумного возбуждения можно было что-либо увидеть) множество жадных глаз, неотрывно устремленных на эшафот и виселицу.

Глухой ропот толпы слышен был внутри тюрьмы так же явственно, как снаружи. Когда троих осужденных вывели во двор, воздух дрожал от гула. Они знали, что означает этот шум.

— Слышите? — воскликнул Хью, ничуть им не встревоженный. — Нас уже ждут. Я еще ночью слышал, когда проснулся, как они собирались у ворот, но повернулся на

другой бок и опять заснул. Вот сейчас увидим, как встретят палача, когда наступит его черед висеть. Ха-ха-ха!

Вошедший в этот момент тюремный священник упрекнул Хью за столь неуместную веселость и посоветовал ему вести себя более подобающим образом.

— К чему, сэр? — возразил Хью. — Самое лучшее — отнестись ко всему легко. К чему горевать? Вам вот, например, горя мало... Нет, нет, — остановил он священника, который хотел что-то сказать, — как ни притворяйтесь печальным, сколько ни делайте постную мину, я знаю, что вам до нас никакого дела нет. Говорят, во всем Лондоне никто не умеет лучше вас приготовлять салат из омаров. Ха-ха! Давно я это слыхал от людей. Ну, как, сегодня салат удался? Сами готовили? Что еще у вас будет к завтраку? Надеюсь, угощения с избытком хватит на всю голодную братию, которая засядет за ваш стол после приятного зрелища.

— Боюсь, что вы неисправимы, — сказал священник, качая головой.

— Верно. Неисправим, — сурово подтвердил Хью. — Не надо лицемерить, сэр. Для вас это только ежемесячное развлечение, так не мешайте же повеселиться и мне. А коли вам нужен трус, который боится смерти, — вот этот вам вполне подойдет. Попробуйте обработать его.

Он указал на Денниса, которого поддерживали два человека, потому что ноги его волочились по земле, и он дрожал так, что его всего словно судорогой сводило. Отвернувшись от этого жалкого зрелища, Хью подозвал стоявшего поодаль Барнеби.

— Ну, что, мальчик? Не надо падать духом. Не бери пример с *него.*

— Бог с тобой, Хью, разве я трушу? — воскликнул Барнеби, легкими шагами подходя к нему. — Ничуть. Я очень счастлив. Я не хотел бы сейчас остаться в живых, даже если бы меня помиловали. Ну, взгляни на меня — неужто ты думаешь, что я боюсь смерти? Нет, не видать им *меня* дрожащим от страха!

Хью на мгновение всмотрелся в его лицо, озаренное какой-то удивительно светлой улыбкой, заглянул в ярко блестевшие глаза и, став между ним и священником, резким шепотом сказал тому:

— На вашем месте я не стал бы *его* напутствовать. Хоть вы ко всему привычны, он может испортить вам аппетит, и пропадет хороший завтрак.

Барнеби, единственный из трех, умылся этим утром и даже принарядился. Ни Хью, ни Деннис не умывались с того дня, как им был объявлен приговор. А у Барнеби и сегодня на шляпе красовались сломанные павлиньи перья, и все другие убогие украшения его костюма были старательно прилажены. Его горящие глаза, твердая поступь, гордый и решительный вид подобали бы человеку, с благородным энтузиазмом идущему на высокий героический подвиг, на самопожертвование во имя великого дела, а не на позорную смерть преступника.

Однако все это в глазах людей лишь усугубляло его вину. Все это принималось лишь за дерзость и притворство. Блюстители закона решили, что он — преступник, и значит так оно и было. А добрый пастырь четверть часа тому назад был крайне шокирован прощанием Барнеби с Грипом. В такие минуты ласкать птицу!

Двор был полон людей: представители гражданской власти, судейские, солдаты, любители таких зрелищ, гости, приглашенные точно на свадьбу. Хью окинул взглядом все это сборище, угрюмо кивнул в ответ на жест одного из представителей власти, указавшего ему, куда идти, и, хлопнув по плечу Барнеби, пошел вперед поступью льва.

Они вошли в большую комнату, расположенную так близко от эшафота, что здесь ясно слышны были голоса теснившихся вокруг него зрителей: кто-то умолял солдат вывести его из толпы, передние кричали задним, чтобы они не напирали, так как могут задавить их, что им уже и так дышать нечем.

Посреди комнаты стояли у наковальни два кузнеца с молотами. Хью подошел прямо к ним и с такой силой поставил ногу на наковальню, что железо загудело. Скрестив руки, хмуро и презрительно поглядывая на присутствующих, которые в свою очередь пристально его рассматривали и перешептывались, он стоял и ждал, пока его раскуют.

Денниса оказалось так трудно втащить в комнату, что кузнецы успели расковать Хью и уже кончали расковы-

вать Барнеби, когда он, наконец, появился. Но как только он очутился в этом так хорошо ему знакомом месте и увидел людей, не менее хорошо ему известных, он несколько оправился и начал снова молить о спасении.

— Джентльмены, добрые джентльмены, — кричал презренный трус, ползая на коленях и почти распростершись на каменном полу, — господин начальник, дорогой господин начальник, почтенные шерифы, смилуйтесь над несчастным человеком! Я столько лет служил его величеству, и закону, и парламенту! Не дайте мне умереть. Ведь это ошибка!

— Деннис, — сказал начальник тюрьмы, — вы же знаете, каков порядок. Приговор ваш прибыл вместе с остальными. Вы знаете, что мы ничего тут не можем поделать, даже если бы хотели.

— Я одного прошу, сэр, только одного — отсрочки, проверки! — вопил Деннис, весь дрожа и дико озираясь в поисках сочувствующих. — Король и правительство могут не знать, что это я. Я уверен, они не знают, — они ни за что не погнали бы меня на эту ужасную бойню. Им известна моя фамилия, но они не знают, что это именно я осужден. Отложите казнь, ради бога, отложите, добрые господа, пока им доложат, что я служил здесь палачом почти тридцать лет. Неужели никто из вас не пойдет и не скажет им это? — умолял он, ломая руки и обводя всех вытаращенными глазами. — Неужели не найдется такого милосердного человека, чтобы пойти и сказать им?

— Мистер Экермен, — сказал джентльмен, стоявший рядом с начальником тюрьмы, — может быть, этот несчастный несколько успокоится, если я заверю его, что, вынося ему приговор, судьи прекрасно знали, кто он.

— Но они, может, не знают, как это страшно! — крикнул палач, подползая на коленях к говорившему и протягивая к нему руки. — А для меня это во сто раз страшнее, чем для всякого другого. Скажите им это, сэр. Пошлите им сказать! Мне страшнее, чем другим, потому что мне столько раз приходилось это делать. Отложите казнь, пока не дадите им знать!

По знаку начальника, сторожа, которые привели Денниса, подошли к нему. Он испустил раздирающий крик:

— Постойте! Подождите! Минутку, одну только минутку! Есть еще последняя надежда. Одного из нас троих должны казнить на Блумсбери. Отправьте меня туда, — может, тем временем придет помилование. Наверное придет! Ради Христа, отправьте меня на Блумсбери-сквер, не вешайте меня здесь! Это убийство!

Его подтащили к наковальне, но даже сквозь лязг и грохот кузнечного молота и хриплый рев толпы слышны были его вопли. Он кричал, что ему известна тайна происхождения Хью, что отец Хью жив, что это знатный вельможа, что он, Деннис, знает не одну семейную тайну, но, если ему не дадут отсрочки, он унесет их с собой в могилу. Так он вопил в исступлении, пока голос не изменил ему, и он, наконец, свалился, как мешок, на руки сторожей.

В эту минуту часы начали бить полдень, и с первым их ударом зазвонил тюремный колокол. Начальство и судейские с двумя шерифами во главе направились к двери. Не успел еще затихнуть бой часов, как все было готово.

Хью объявили, что пора идти, и осведомились, не хочет ли он сказать что-нибудь.

— Сказать? Нет... Впрочем, постойте, я скажу два слова, — добавил он неожиданно, взглянув на Барнеби. — Подойди ко мне, мальчик.

Он крепко пожал руку своему несчастному товарищу, и в эту минуту выражение доброты, почти нежности смягчило свирепую суровость его лица.

— Вот что я скажу, — воскликнул он, смелым взглядом обводя стоявших вокруг, — если бы у меня было десять жизней и потеря каждой грозила бы мне в десять раз бо̀льшими муками, я бы все эти десять жизней отдал — да, да, отдал бы, хоть вы, может, мне и не верите! — чтобы спасти жизнь ему. — Он снова сжал руку Барнеби. — Он погибает по моей вине.

— Неправда, Хью, вовсе не по твоей, — ласково сказал Барнеби. — Ты ни в чем не виноват, ты всегда был очень добр ко мне. Подумай, Хью, ведь мы сейчас узнаем, почему светят звезды!

— Черт меня дернул увести его от нее! Не думал я, что это плохо для него кончится, — добавил Хью тише,

положив руку на голову Барнеби. — Пусть она меня простит, и он тоже. Слушайте, джентльмены, — он заговорил уже прежним резким тоном. — Видите этого паренька?

Некоторые из стоявших вокруг в недоумении пробормотали «да».

— Вот этот джентльмен, — Хью указал пальцем на священника, — в последние дни не раз твердил мне, что надо верить, твердо верить в бога и уповать на него. Вы видите, каков я — скорее скот, чем человек, мне это не раз говорили. Но я верил, верил так крепко, как только можно верить, что *его* жизнь пощадят. Взгляните на него — вы видите, что это за человек?

Барнеби между тем отошел к двери и оттуда знаками звал Хью.

— Если уж это не вера, тогда какая еще нужна? — воскликнул Хью, подняв правую руку и глаза к небу. Он был похож в эту минуту на грозного пророка, вдохновленного близостью смерти. — Только она и могла заставить человека, рожденного и выросшего так, как я, надеяться на милосердие в этом бесчувственном, жестоком, беспощадном мире. В первый раз в жизни я сейчас обращаюсь с молитвой к богу — пусть гнев его обрушится на эту человеческую бойню! Будь проклят черный столб, на котором я буду висеть, проклинаю его от имени всех его жертв, бывших, настоящих и будущих! Будь проклят тот человек, который знает, что он мне отец. Пусть же и он умрет не на своей пуховой постели, а насильственной смертью, как я, и пусть только ночной ветер плачет над его могилой. Аминь!

Хью опустил руку и решительным шагом пошел к двери. Это был снова прежний Хью.

— Все? — спросил начальник тюрьмы.

— Все, — ответил Хью и, не глядя на Барнеби, жестом приказал ему не подходить.

— Тогда идите!

— Да, вот еще что, — сказал вдруг Хью быстро и оглянулся. — Не хочет ли кто взять мою собаку — только с условием, что будет обращаться с ней хорошо? Она осталась в том доме, где я укрывался. Лучшего пса не найти. Первое время он будет выть по мне, ну, да скоро перестанет. Вам, наверно, удивительно, что я в такую минуту

думаю о собаке, — добавил он с легким смешком. — Но если бы хоть один человек на свете любил меня вполовину так, как она, я бы подумал и о нем.

Не сказав больше ни слова, Хью вышел и стал там, где полагалось. Сохраняя беспечно-равнодушный вид, он, однако, прислушивался с каким-то угрюмым вниманием и внезапно пробудившимся интересом к заупокойной молитве, которую читал священник.

Как только он вышел к эшафоту, туда же поволокли Денниса. Остальное видела толпа.

Барнеби хотел было одновременно с Хью подняться на эшафот, он даже сделал попытку пройти первым, но его остановили: казнь его должна была состояться не здесь. Через несколько минут вернулись шерифы, и та же процессия двинулась по коридорам и переходам тюрьмы к другим воротам, где уже ждала телега. Опустив голову, чтобы не видеть того, что, как он знал, ему пришлось бы увидеть, Барнеби сел в телегу, печальный, но вместе с тем полный какой-то ребячьей гордости и даже нетерпения. По сторонам, впереди и позади него сели те, кто его сопровождал. Экипажи шерифов тронулись первые, телегу окружили конвойные, и она медленно двинулась по запруженной народом улице среди невероятной давки и толчеи к разрушенному дому лорда Мэнсфилда.

Печальное это было зрелище — такой парад силы и пышности, столько солдат вокруг одного беспомощного юноши! А еще грустнее было видеть, как он ехал на казнь: его больная душа находила странное утешение в том, что у окон и на улицах толпится множество людей, и даже в такую минуту его радовало ясное небо, и он, улыбаясь, загляделся в его бездонную синеву.

Но немало было уже таких зрелищ после подавления мятежа, немало сцен и трогательных и ужасающих, способных вызвать гораздо больше жалости к осужденным, чем уважения к закону, чья мощная длань теперь, когда опасность миновала, действовала так же энергично, как постыдно бездействовала в дни смуты и бедствий. На том же Блумсбери-сквер были повешены двое калек, совсем еще мальчики, — один с деревяшкой вместо ноги, другой — на костылях, так как обе ноги у него были вывернуты в суставах. Когда палач готовился уже вытолкнуть

у них из-под ног тележку, кто-то заметил, что они стоят не лицом, а спиной к дому, который громили вместе с другими, — и предсмертные муки их продлили, чтобы исправить это упущение. Другого мальчика повесили на Бау-стрит, еще несколько — в разных частях города. Казнены были и четыре несчастных женщины — словом, кара за участие в бунте обрушилась главным образом на самых слабых и безответных, на менее всего виновных. И великолепной насмешкой над лжерелигиозной шумихой, которая привела к таким бедствиям, было то, что некоторые из осужденных бунтовщиков оказались католиками и перед смертью пожелали, чтобы их напутствовал католический священник.

Одного юношу привезли вешать на Бишопсгейт-стрит. Старый седой отец ждал его у виселицы, поцеловал перед тем, как юноша взошел на эшафот, и, сидя тут же на земле, ждал, пока тело не сняли с виселицы. Ему хотели отдать тело сына, но бедняку не на что было нанять носилки и купить гроб. Он покорно шагал рядом с телегой, на которой труп повезли обратно в тюрьму, и то и дело пытался потрогать безжизненную руку сына.

Но чернь быстро забывала эти подробности, а если и помнила, то они ее не трогали. И в то время, как множество людей теснились и чуть не дрались, стремясь пробраться поближе к виселице перед Ньюгетской тюрьмой, чтобы поглазеть на повешенных, другие зеваки бежали за телегой обреченного Барнеби, туда, где уже и без того собралась в ожидании нового зрелища густая толпа.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

В тот самый день и почти в тот же час мистер Уиллет-старший сидел и курил трубку в одной из комнат «Черного Льва». Несмотря на жаркую летнюю погоду, мистер Уиллет придвинулся очень близко к огню. Он усиленно размышлял, а в такие минуты имел обыкновение медленно поджариваться у огня, полагая, очевидно, что этот процесс благотворно влияет на выплавку идей

в мозгу, — стоило ему разогреться до шипения, как мысли начинали притекать так усиленно, что он иногда сам удивлялся их обилию.

Друзья и знакомые тысячу раз утешали мистера Уиллета, заверяя его, что он может за возмещением убытков, причиненных ему во время разгрома гостиницы, «обратиться к графству». Но, к несчастью, это выражение очень напоминало другое, весьма ходкое: «обратиться к приходу», и в уме мистера Уиллета вызывало малоутешительные ассоциации с полным разорением и нищенством. Поэтому на такие советы он отвечал только горестным покачиванием головы или испуганным взглядом и, как всеми было замечено, после визитов утешителей бывал настроен меланхоличнее, чем всегда.

Но вот сегодня — потому ли, что он уже поджарился как раз в меру и мозг его работал особенно четко, потому ли, что он так долго обдумывал этот вопрос или, наконец, благодаря всем этим благоприятным обстоятельствам вместе, — случилось так, что, когда мистер Уиллет сидел у камелька, в глубочайших тайниках его ума вдруг мелькнула туманная идея, или, вернее, слабый проблеск идеи, что он может из общественных сумм почерпнуть средства на восстановление «Майского Древа» и тогда оно займет прежнее видное место среди гостиниц всего мира. Этот слабый луч света в его мозгу разгорелся и засиял так ярко, что в конце концов мысль стала перед ним не менее явственно и зримо, чем огонь, у которого он сидел. Вполне убежденный, что он первый сделал это открытие, что он выследил, поднял, поймал и ухватил за хвост совершенно оригинальную идею, никогда еще не приходившую в голову ни одному человеку, живому или мертвому, мистер Уиллет отложил трубку, потер руки и громко хихикнул.

— Эге, отец, ты, я вижу, сегодня весел, — сказал вошедший в эту минуту Джо. — Что случилось?

— Ничего особенного. — Мистер Уиллет снова захихикал. — Ничего особенного, Джозеф. Расскажи что-нибудь про Сальвану.

Высказав такое пожелание, мистер Уиллет хихикнул в третий раз, проявив необычное для него легкомыслие, после чего снова сунул трубку в рот.

— Что же тебе рассказать, отец? — спросил Джо, погладив его по плечу и заглядывая ему в лицо.— Что я вернулся оттуда беднее церковной мыши? Так ты сам это знаешь. Что я там был ранен и вернулся калекой? Тебе и это известно.

— Ее отняли,— пробормотал мистер Уиллет, глядя в огонь.— При защите Сальваны в Америке, где идет война.

— Совершенно верно,— подтвердил Джо с улыбкой, облокотясь на спинку его стула.— Об этом я и пришел потолковать с тобой. Видишь ли, человеку с одной только рукой нелегко найти себе занятие в этом мире.

Такая сложная и глубокая мысль мистеру Уиллету до сих пор еще ни разу не приходила в голову. Она требовала длительного рассмотрения, поэтому он оставил без ответа замечание Джо.

— Во всяком случае,— продолжал Джо,— калека не может, как другие, выбирать себе любое дело и любым способом зарабатывать кусок хлеба. Он не может сказать: «Я хочу заниматься тем и не хочу заниматься этим», а вынужден брать такую работу, какую может делать, и быть благодарным и за нее... Что ты сказал?

Мистер Уиллет, в задумчивости тихонько повторявший «при обороне Сальваны», был несколько смущен тем, что его услышали, и ответил:

— Ничего.

— Так вот какое дело, отец! Ты знаешь, что мистер Эдвард приехал сейчас из Вест-Индии *. Уехав из Лондона в тот же день, когда я убежал из дому, он отправился на один остров, где живет его школьный товарищ, разыскал его и, спрятав в карман гордость, согласился поступить к нему на службу — управлять его имением. Ну, а потом... Одним словом, ему повезло, он разбогател. Теперь он приехал в Англию уже по своим собственным делам и очень скоро уедет обратно. Большое счастье, что мы с ним вернулись одновременно и во время беспорядков здесь встретились: во-первых, нам удалось оказать услугу нашим старым друзьям, во-вторых, это открывает мне дорогу в жизни и я не буду для тебя обузой. Попросту говоря, отец, он предлагает мне службу у себя. А я рад уже и тому, что могу быть по-настоящему поле-

зен. Так что я уеду вместе с ним и постараюсь действовать моей единственной рукой как можно усерднее.

Мистер Уиллет был убежден, что Вест-Индия, как и все чужие страны, населена дикарями, которые только и делают, что зарывают трубки мира, размахивают томагавками и татуируют тело разными фантастическими рисунками. Поэтому, услышав такую новость, он откинулся на спинку стула, вынул трубку изо рта и уставился на Джо с таким ужасом, как будто уже видел воочию, как его сына, привязанного к столбу, истязают на потеху толпе дикарей. Трудно сказать, в какой форме мистер Уиллет выразил бы обуревавшие его чувства, да и не стоит гадать об этом: ибо раньше, чем он успел рот раскрыть, в комнату влетела Долли Варден, вся в слезах, и, не говоря ни слова, бросилась в объятия Джо, обхватив его шею своими белыми ручками.

— Долли! — ахнул Джо.— Долли!

— Да, да, зовите меня так, всегда только так! — прорыдала дочка слесаря.— И никогда больше не будьте ко мне холодны и равнодушны и не корите меня за мои глупые выходки — я давно в них раскаялась! Обещайте мне это, Джо, или я умру!

— Я вас укорял?! — только и сказал Джо.

— Да — потому что каждое ваше доброе слово для меня как упрек и разрывает мне сердце. Потому что после того, как вы столько из-за меня выстрадали, и я вас мучила своими капризами, вы все же так добры ко мне, так благородны, Джо!

Джо не мог выговорить ни слова. Он был нем, но за него удивительно красноречиво говорила его единственная рука, обнимавшая Долли.

— Если бы вы хоть словом, хоть одним словечком дали мне понять, как мало я заслуживаю вашего прощения и доброты! — всхлипывала Долли, все крепче прижимаясь к нему.— Если бы вы хоть на миг возгордились, мне было бы легче!

— «Возгордился»! — повторил Джо с улыбкой, которая как бы говорила: «Есть чем гордиться такому, как я».

— Да, вам есть чем гордиться передо мной! — воскликнула Долли, и, казалось, вся ее душа изливалась в ее голосе, в этом бурном потоке слез и горячих слов.—

А мне за себя стыдно, очень стыдно, и я рада этому. И, если бы даже можно было вернуть прошлое и сделать так, чтобы наше прощание было только вчера,— мне было бы так же стыдно за себя.

Было ли когда-нибудь у влюбленного такое лицо, как у Джо в эту минуту?

— Джо, милый,— говорила Долли.— Я всегда вас любила, всегда в душе это знала, но я была такая пустая и тщеславная девчонка! Когда вы ушли в тот последний вечер, я думала, что вы вернетесь. Я была уверена в этом. Я на коленях просила бога, чтобы вы вернулись! И все эти долгие-долгие годы я никогда вас не забывала и не переставала надеяться на нашу счастливую встречу.

С красноречивостью руки Джо не могли сравниться никакие страстные речи, а губы его были красноречивее руки, хотя не произнесли еще ни единого слова.

— А теперь я вам вот что скажу,— горячо воскликнула Долли, дрожа от волнения.— Если бы вы даже были не такой, как сейчас, а совсем больной, разбитый человек, беспомощный, жалкий калека, если бы все, кроме меня, видели в вас просто развалину,— я и тогда стала бы вашей женой, любимый мой, я вышла бы за вас с большей гордостью и радостью, чем за самого благородного лорда в Англии.

— Боже, чем я заслужил такое счастье! — вырвалось у Джо.

— Вы помогли мне понять себя и оценить вас,— сказала Долли, поднимая к нему свое милое личико.— И я постараюсь стать лучше, чтобы быть достойной вашей верной и мужественной души. В будущем вы сами это увидите, Джо, милый. И не только теперь, пока мы оба молоды и полны надежд, но и всегда, до глубокой старости я буду вам любящей, терпеливой и всегда заботливой женой. Я буду думать только о вас, всегда учиться получше угождать вам, доказывать вам свою преданность и любовь. Да, да, Джо, верьте мне!

Джо способен был отвечать ей только прежним безмолвным красноречием губ и руки, но это было как раз то, что нужно.

— У нас дома уже все знают,— сказала Долли.— Ради тебя я готова была бы даже порвать со своими. Но они тоже рады, они, как и я, гордятся тобой и благодарны тебе. Ведь ты же теперь не будешь смотреть на меня только как на старую знакомую, которую ты знавал еще маленькой девочкой? Нет, Джо?

Стоит ли повторять то, что ответил Джо? Он сказал очень много, и Долли не осталась в долгу. И обнимал он ее, хотя и одной рукой, но очень крепко, а Долли этому не противилась. И если было когда-нибудь двое счастливых людей в нашем мире (который при всех его недостатках не так уж плох), то можно, пожалуй, с уверенностью утверждать, что это были Долли и Джо.

Сказать, что сцена эта поразила мистера Уиллета-старшего так, как только способно что-либо поразить человека, что он впервые познал высочайшую, до сих пор недоступную ему степень изумления, и на него просто столбняк нашел,— значило бы изобразить его состояние духа в самых бледных и слабых выражениях. Если бы в комнату внезапно влетела сказочная птица-гриф, или орел, или летучий слон, или крылатый морж и, посадив его к себе на спину, умчал в самое сердце «сальван», это показалось бы мистеру Уиллету обыкновенным, повседневным явлением по сравнению с тем, что происходило у него на глазах. Сидеть смирно рядом и видеть и слышать, как его сын с молодой девицей, совершенно не замечая его, не обращая на него ровно никакого внимания, страстно воркуют, обнимаются, целуются без всякого стеснения у него на глазах! Положение было такое необычайное, непостижимое, настолько выходило за пределы всякого понимания, что Джон от удивления словно впал в летаргию и не мог от нее очнуться, как заколдованная спящая красавица в первый год ее столетнего волшебного сна.

— Отец,— сказал, наконец, Джо, выдвигая вперед Долли.— Ты знаешь, кто это?

Мистер Уиллет посмотрел на нее, на сына, снова на Долли, потом сделал неудачную попытку втянуть дым из давно потухшей трубки.

— Скажи же хоть слово, отец, ну, хотя бы «здравствуйте»,— настаивал Джо.

— Разумеется, Джозеф,— изрек, наконец, мистер Уиллет.— Конечно! Почему бы и нет?

— Правильно,— подхватил Джо.— Почему бы и нет?

— Вот именно,— повторил его отец.— Почему бы и нет? — И после такого замечания, произнесенного вполголоса, словно он про себя обсуждал этот весьма важный вопрос, мистер Уиллет умял мизинцем правой руки табак в трубке и снова погрузился в молчание.

Так он молчал добрых полчаса, хотя Долли умилительно-ласково раз десять спрашивала, не гневается ли он на нее. Сидел полчаса неподвижно, как истукан. Потом, совершенно неожиданно, громко и отрывисто захохотал, сильно испугав молодую пару, и повторяя: «Разумеется, Джозеф, почему бы и нет?» — встал и отправился на прогулку.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Старый Джон не дошел до Золотого Ключа, ибо между «Черным Львом» и Золотым Ключом лежит целый лабиринт улиц (как знает каждый, кому известно расстояние между Клеркенуэлом и Уайтчеплом), а Джон никак не мог считаться хорошим ходоком.

Но если Золотой Ключ Джону был не по пути, то нам он по пути, и в этой главе мы заглянем туда.

Сам Золотой Ключ, висевший на фасаде, как эмблема слесарного ремесла, был сорван бунтовщиками и грубо истоптан ногами. Но теперь его снова водрузили на место, и во всем блеске новой позолоты он был даже эффектнее, чем прежде. Да и весь фасад дома, подправленный и приукрашенный, имел совсем новенький вид, и если бы кто-либо из громивших его бунтовщиков еще оставался на свободе, то видеть таким обновленным этот старый счастливый дом было бы, конечно, для него горше желчи и полыни.

Но сегодня ставни в мастерской были закрыты, на всех верхних окнах опущены шторы, и оттого дом, против обыкновения, имел печальный, даже траурный вид. Это не удивляло соседей, часто видывавших в былые вре-

мена, как сюда входил бедный Барнеби. Наружная дверь была полуоткрыта, но в мастерской не раздавался стук молотка, и на холодной золе горна дремал кот. Везде было пусто, безмолвно и уныло.

Мистер Хардейл и Эдвард Честер сошлись на пороге входной двери. Эдвард посторонился, пропуская вперед мистера Хардейла. Оба вошли в дом, как свои люди, которые привыкли приходить и уходить запросто, и заперли за собой дверь.

Пройдя через столовую и поднявшись по невысокой, но крутой лестнице, они вошли в парадную гостиную, гордость миссис Варден и некогда арену хозяйственной деятельности мисс Миггс.

— Варден говорил мне, что он вчера вечером привез сюда Мэри,— сказал мистер Хардейл.

— Да, она сейчас наверху, в комнате над нами,— ответил Эдвард.— Горе ее совсем сломило. Нечего и говорить, что эти добрые люди трогательно ухаживают за ней. Они ее жалеют от всей души.

— Ничуть не сомневаюсь. Благослови их бог за это и многое другое. Вардена нет?

— Нет. Ваш посыльный пришел как раз тогда, когда Варден вернулся,— и они ушли вместе. Варден сегодня всю ночь провел вне дома... Но вы это, наверное, знаете,— ведь вы, кажется, были вместе?

— Да. Без него я как без рук. Он уже немолод, старше меня, но просто неутомим.

— И притом самый веселый и мужественный человек на свете!

— Да, другого такого поискать! И как ему не веселиться? Он имеет на это право: он пожинает то, что посеял.

— Не часто людям выпадает такое счастье,— заметил Эдвард после минутной нерешимости.

— Чаще, чем вы думаете,— возразил мистер Хардейл.— Но мы обычно видим только то, что уродилось, забывая о том, что посеяно. Вот и вы делаете ту же ошибку в отношении меня.

Его бледное, измученное лицо и мрачный вид придавали особую убедительность этим словам, и Эдвард в первую минуту не нашел, что ответить.

— Да, да,— продолжал мистер Хардейл,— не так уж трудно было угадать правду. А вы все же ошибались. На мою долю досталось, быть может, больше горя, чем на долю других. Но и я виноват — не сумел нести это бремя, как должно. Где надо было гнуть, я ломал. Я ушел в себя, мудрствовал и бередил свою душу, вместо того чтобы открыть ее всему великому и прекрасному, что создал бог. Тому, для кого все люди — братья, легче нести свой крест. А я отвернулся от мира, и вот теперь расплачиваюсь за это.

Эдвард хотел что-то сказать, но мистер Хардейл, не слушая его, продолжал:

— Расплаты не избежать — слишком поздно. Я иногда думаю, что, если бы можно было начать жизнь сначала, я исправил бы свою ошибку и, пожалуй, не столько во имя добра и справедливости, сколько ради своего же блага. Но при одной мысли, что опять пришлось бы выстрадать то, что я выстрадал, я всей душой инстинктивно восстаю против этого и с грустью говорю себе: если бы даже, зачеркнув прошлое, можно было начать жизнь сначала с уже нажитым опытом, я все-таки остался бы тем же, и все повторилось бы...

— Нет, вы напрасно себя в этом уверили,— сказал Эдвард.

— Рад, что вы так думаете, но я-то знаю себя лучше и потому не доверяю себе... Ну, оставим это, поговорим о другом. Скажите, сэр, вы любите мою племянницу по-прежнему? И она все еще любит вас?

— Она сама мне это сказала. И вы знаете — ведь знаете же, я уверен! — что я не променяю ее любви на все блага мира.

— Вы искренний, честный и бескорыстный человек,— сказал мистер Хардейл.— Вы заставили поверить в это даже такого предубежденного скептика, как я... Подождите здесь, я сейчас вернусь.

Он вышел из комнаты и скоро возвратился вместе с Эммой.

— В тот первый и единственный раз, когда мы трое встретились в доме ее отца,— сказал он, глядя то на Эдварда, то на племянницу,— я вас выгнал и приказал никогда больше не возвращаться.

— Из всей истории нашей любви это — единственное, о чем я никогда не вспоминаю,— сказал Эдвард.

— Вы носите фамилию, которая по некоторым причинам слишком мне неприятна,— продолжал мистер Хардейл.— И признаюсь, я действовал под влиянием незабытой тяжкой обиды. Но в одном я не могу упрекнуть себя: я всегда всей душой желал Эмме настоящего счастья, и при всех моих заблуждениях мною руководило искреннее, горячее стремление заменить ей отца, насколько это в моих слабых силах.

— Дорогой дядя, я не знала другого отца, кроме вас! — воскликнула Эмма.— Я чту память умерших, но любила вас одного всю жизнь. Никакой родной отец не мог быть нежнее к своей дочери, чем вы были ко мне, и с тех пор, как я себя помню, никогда эта доброта не сменялась суровостью.

— Ты слишком ко мне привязана и все прощаешь,— сказал мистер Хардейл.— Но мне и не хотелось бы, чтобы было иначе. Так радостно слышать твои нежные слова! Вспоминать их в разлуке с тобой будет для меня таким утешением, какого ничто другое мне дать не может. Потерпите еще чуточку, Эдвард. Мы с ней столько лет провели вместе, что нелегко мне с ней расстаться и отдать ее вам, хотя я верю, что с вами она будет счастлива.

Он нежно привлек Эмму к себе и, помолчав минуту, продолжал:

— Я был к вам несправедлив, сэр, и прошу меня простить. Это не просто фраза и не показное сожаление, я говорю вполне искренне и серьезно. Откровенно признаюсь вам обоим, что было время, когда я, чтобы разлучить вас, потворствовал обману и предательству — я в них не участвовал, но допустил их.

— Вы слишком строги к себе, сэр,— сказал Эдвард.— Забудьте все это.

— Нет, совесть мучает меня, когда я вспоминаю, как я виноват — и это не в первый раз,— возразил мистер Хардейл.— Я не могу расстаться с вами, пока не получу полного прощения. В то уединение, куда я уйду от шумного света, я унесу с собой и без того немалое бремя сожалений и не хочу его увеличивать.

— Мы оба всегда будем благодарны вам,— сказала Эмма.— Я вечно буду любить и уважать вас. И, думая обо мне, помните только одно: что я вам благодарна за прошлое и верю в наше счастливое будущее.

— Будущее! — сказал мистер Хардейл с грустной улыбкой.— Для вас обоих это — прекрасное слово, полное радужных надежд. Мне будущее сулит иное, но я надеюсь, что оно принесет моей душе мир и отдых от забот и страстей. Когда вы уедете, я тоже покину Англию. За границей есть много монастырей. Теперь две главные цели моей жизни достигнуты, и монастырь для меня — наилучший приют. Не огорчайся, мой друг,— ты забываешь, что я старею, и мой жизненный путь уже близится к концу. Ну, да мы еще не раз успеем потолковать об этом и посоветоваться.

— А вы послушаетесь моих советов? — спросила Эмма.

— Я их выслушаю,— ответил мистер Хардейл, целуя ее.— И, конечно, отнесусь к ним с полным вниманием. Что же мне вам еще сказать? Последнее время вы с Эдвардом бывали вместе так много, что мне, пожалуй, больше не к чему говорить о тех обстоятельствах, которые вас разлучили и посеяли между вами недоверие?

— Да, да, не надо,— прошептала Эмма.

— Сознаюсь, я тоже содействовал этому, хотя мне это было противно. Да, человек не должен никогда сходить с широкой дороги чести, даже под благовидным предлогом, что цель оправдывает средства. К благородной цели всегда можно прийти честным путем. А если нельзя, значит и цель недостойная,— так и надо решить и отказаться от нее.

Он посмотрел на Эдварда и сказал уже мягче:

— По состоянию вы теперь почти равны. Я был ей заботливым опекуном. И к тому, что осталось ей от некогда богатого отцовского имения, я хочу добавить в знак моей любви свою лепту,— впрочем, такую скромную, что о ней и говорить не стоит. Эти деньги мне больше не понадобятся. Я рад, что вы уезжаете из Англии. Пусть наш злосчастный дом остается, как он есть, в развалинах. Через несколько лет вы вернетесь на родину и тогда об-

заведетесь новым домом, красивее и счастливее старого. Итак, Эдвард, отныне мы друзья?

Эдвард взял протянутую ему руку и горячо пожал ее.

— Спасибо вам за этот быстрый и сердечный ответ,— сказал мистер Хардейл.— Теперь, когда я вас ближе узнал, я чувствую, что не мог бы выбрать для Эммы лучшего мужа. Отцу ее вы тоже пришлись бы по душе — он был благородный и добрый человек. Я отдаю ее вам от его имени и с его благословением. Теперь я могу уйти от мира более спокойным и довольным, чем жил в нем.

Он подтолкнул Эмму к Эдварду и шагнул к двери, но его вдруг остановил донесшийся откуда-то страшный шум. Все трое так и застыли на месте.

Громкие крики и бурные возгласы просто раскалывали воздух. Они приближались с каждой минутой и очень скоро перешли в оглушительный рев, донесшийся уже с угла улицы.

— Их надо поскорее унять,— торопливо сказал мистер Хардейл.— Нам следовало предвидеть это и принять меры. Я сейчас выйду к ним.

Но раньше, чем он успел дойти до двери, а Эдвард — схватить шляпу и броситься за ним, обоих снова остановил громкий крик, на этот раз уже с лестницы: в комнату вбежала жена слесаря и, угодив прямехонько в объятия мистера Хардейла, закричала:

— Она уже знает! Знает! Мы ее постепенно подготовили, и сказали ей все!

Сделав это сообщение и с жаром поблагодарив бога, миссис Варден, как водится у женщин во всех экстренных случаях, немедленно хлопнулась в обморок.

Все бросились к окну, поспешили поднять раму и выглянули на кишевшую народом улицу. Среди густой толпы, в которой никто ни секунды не стоял спокойно, виднелось красное лицо и плотная фигура Вардена — он барахтался в этой толпе, как человек, который борется с волнами в бурном море. Его то относило назад на десяток-другой ярдов, то бросало вперед почти до двери собственного дома, то снова назад, то он оказывался вдруг на другом тротуаре, через минуту — опять у домов своих соседей, взлетал иногда на ступени какого-



нибудь крыльца, и к нему тянулись, приветствуя его, полсотни рук, и огромная толпа надрывала глотки, изо всех сил крича «ура». И хотя эти взрывы восторга могли окончиться для него печально — ему грозила опасность быть разорванным на клочки,— слесарь, ничуть не теряясь, отвечал на крики, пока не охрип, и так азартно махал шляпой, что поля ее почти совсем отделились от тульи.

Перелетая из рук в руки, носясь по волнам людским то туда, то сюда (причем после каждого такого полета он еще больше сиял весельем и радостью и оставался безмятежен, как соломинка на воде), слесарь ни на миг не выпускал чьей-то руки, продетой под его локоть. Крепко прижимая ее к себе, он по временам оборачивался и хлопал своего спутника по плечу, ободряя его улыбкой или сказанным на ухо словом, а главное — старался оберечь его от давки и проложить ему дорогу к Золотому Ключу. И покорный, испуганный и бледный, озираясь вокруг так ошеломленно, как будто он только что воскрес из мертвых и казался себе призраком среди живых, цепляясь за своего храброго старого друга, шел за ним Барнеби — да, да! не дух умершего, а живой Барнеби, во плоти и крови, с нервами, мускулами, с бурно колотившимся сердцем, переполненным до краев.

Так они в конце концов добрались до дверей под Золотым Ключом, уже широко открытых нетерпеливыми руками. С трудом раздвигая толпу, оба поскорее шмыгнули внутрь и захлопнули за собой дверь. Гейбриэл очутился между мистером Хардейлом и Эдвардом Честером, а Барнеби, стремглав взлетев по лестнице наверх, упал на колени у постели матери.

— Ну, вот, сэр, как хорошо все кончилось! Это было самое лучшее дело, какое мы с вами сделали в жизни! — воскликнул запыхавшийся слесарь, обращаясь к мистеру Хардейлу.— Ах, разбойники, еле вырвался от них! Несколько раз я уже думал, что нам живыми не уйти от их любезностей!

Накануне Варден и мистер Хардейл весь день хлопотали, стараясь спасти Барнеби от грозившей ему участи. Ничего не добившись в одном месте, кинулись в другое. Потерпели неудачу и здесь,— но, уже около полуночи, начали сначала. Побывали не только у судьи и присяж-

ных, судивших Барнеби, но и у людей, пользовавшихся влиянием при дворе, обращались к молодому принцу Уэльскому *, пробрались даже в приемную самого короля. В конце концов им удалось возбудить интерес и сочувствие к осужденному, и министр принял их в восемь часов утра, еще лежа в постели. В результате нового расследования (Варден и мистер Хардейл много помогли Барнеби своими показаниями, что знают его с детства и могут за него поручиться) в двенадцатом часу дня был подписан указ о помиловании и немедленно послан с верховым на место казни. Посланный прискакал как раз в ту минуту, когда издали показалась телега с осужденным. Барнеби отправили обратно в тюрьму, а мистер Хардейл, убедившись, что теперь все благополучно, поехал из Блумсбери прямо к Золотому Ключу, предоставив Вардену приятную обязанность с триумфом привести Барнеби домой.

— Нечего и говорить, что я рассчитывал отпраздновать это только в нашем тесном кругу,— сказал слесарь после того, как пожал руки всем мужчинам и не менее сорока пяти раз перецеловал всех женщин.— Но как только мы с Барнеби вышли на улицу, нас узнали, и пошла потеха! Ну, скажу я вам,— добавил он, утирая багровое лицо,— право, лучше, чтобы тебя вывела из дому толпа врагов, чем провожала домой куча друзей. Я это теперь знаю по опыту и выбрал бы, пожалуй, меньшее из двух зол.

Однако было совершенно ясно, что слесарь шутит, а на самом деле эти торжественные проводы доставили ему величайшее удовольствие. И, так как толпа на улице продолжала неистовствовать, крича «ура» так, словно глотки у всех ничуть не были натружены и могли служить еще целых две недели, он послал наверх за Грипом (который вернулся домой, сидя на плече хозяина, и по дороге отвечал на знаки расположения толпы тем, что до крови исклевал все пальцы, до которых мог дотянуться), и, с вороном на плече показавшись в окне второго этажа, снова стал махать шляпой, пока она не повисла на лоскутке между его большим и указательным пальцами. Его появление было встречено с должным энтузиазмом, а когда крики поутихли, слесарь поблаго-

дарил всех за участие и сказал, что в доме есть больная, поэтому он просит народ разойтись, но сперва хорошо бы прокричать трижды «ура» в честь короля Георга, трижды — в честь Старой Англии и трижды — так просто, на прощанье. Предложение было принято, но троекратное «ура» «так просто» прокричали в честь Гейбриэла Вардена — и не три раза, а целых четыре, затем толпа в самом веселом настроении стала расходиться.

Надо ли говорить, как горячо поздравляли друг друга все в доме под Золотым Ключом, когда, наконец, остались одни, какая радость переполняла счастливые сердца, как Барнеби, не в силах выразить свои чувства, бросался от одного к другому, пока не выбился из сил и не заснул, как убитый, растянувшись на полу у постели матери? И хорошо, что описывать все это нет надобности, ибо такая задача никому не под силу.

Расставшись с этой радостной картиной, бросим взгляд на совсем иную, мрачную, которую в ту же ночь видели только несколько человек.

Место действия — кладбище, время — полночь. Действующие лица — Эдвард Честер, священник, могильщик и четверо носильщиков, которые принесли простой гроб. Все они стояли вокруг свежевырытой могилы, и тусклый огонек единственного фонаря, высоко поднятого одним из носильщиков, освещал страницы требника.

Когда наступило время опустить гроб в могилу, носильщик на мгновение поставил фонарь на его крышку. На ней не было никакой надписи.

Медленно, торжественно сыпалась земля на последнее жилище безыменного человека, и стук ее комьев по крышке тяжело отзывался даже в привычных ушах тех, кто принес этого человека к месту его последнего успокоения. Могилу засыпали, сровняли с землей. И все двинулись с кладбища.

— Вы при его жизни совсем не знали его? — спросил священник у Эдварда.

— Я его видывал очень часто, но не знал, что он — мой брат. Это было давно, много лет назад.

— И с тех пор вы его больше никогда не встречали?

— Нет. Вчера он упорно отказывал мне в свидании, хотя ему передавали мою просьбу и уговаривали его.

— Так и не захотел? Какое неестественное ожесточение и бессердечие!

— Вы так думаете?

— А вы, видно, думаете иначе?

— Вы угадали. Мы каждый день слышим, как люди удивляются чьей-либо «чудовищной неблагодарности». А вам никогда не приходило в голову, что мы часто требуем от человека чудовищно-незаслуженной нами безответной любви, как чего-то вполне естественного?

Они дошли до ворот кладбища и, простившись, разошлись в разные стороны.

ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ

В тот день, выспавшись как следует после утомительных трудов, слесарь побрился, вымылся весь с головы до ног, переоделся, пообедал, с наслаждением выкурил трубку, осушил лишнего Тоби, после чего подремал в большом кресле, мирно побеседовал с миссис Варден обо всем, что произошло, происходит и должно произойти в их семейном кругу, и уселся за чайный стол в маленькой гостиной, являя собой самого цветущего, уютного, веселого, добросердечного и всем довольного человека во всей Англии и за ее пределами.

Он сидел, блестящими глазами поглядывая на жену, и лицо его сияло от удовольствия. Улыбалась, казалось, каждая складочка его широченного жилета, дышала весельем вся фигура, вплоть до пухлых ног под столом. Одно это отрадное зрелище могло превратить уксус мизантропии в чистейшие сливки человеколюбия. Он сидел, наблюдая, как жена убирала цветами комнату в честь Долли и Джозефа Уиллета, которые вышли погулять. Для них и чайник вот уже целых двадцать минут щебетал на огне, распевая такую веселую песенку, какой никогда еще не певал ни один чайник; для них же красовался на столе во всем своем великолепии парадный сервиз настоящего китайского фарфора, расписанный круглолицыми мандаринами под большими зонтиками; для них на

этом столе, покрытом белоснежной скатертью, приготовлена была очень аппетитная на вид, сочная, розовая ветчина, обложенная свежими листьями зеленого салата и душистыми огурцами. Для них были тут и всякие другие прелести — пастила, варенье, пироги и печенье, просто таявшее во рту, затейливые крендельки и сдобные булочки, белый и черный хлеб — все в изобилии; в честь их счастливой молодости миссис Варден, сама удивительно помолодевшая, надела сегодня нарядное платье, красное с белым — стройная и полногрудая, с розовыми губами и щеками и безупречными ножками, веселая и улыбающаяся, она была так мила, что на нее любо было смотреть. И среди всех этих чудес восседал слесарь, душа дома, источник света, тепла, жизни и радости, солнце этого семейного мирка.

А Долли? Разве то была прежняя Долли? Надо было видеть, как она вошла рука об руку с Джо, как старалась не краснеть и казаться ни чуточки не смущенной, делая вид, будто ей все равно, сидеть ли за столом рядом с Джо или на другом месте, как она шепотом упрашивала отца не подтрунивать над ней, как она краснела и бледнела в трепетном волнении счастья, и оно делало ее неловкой, но эта милая неловкость была лучше всякой ловкости! Отец не мог на нее наглядеться и (как он сказал потом миссис Варден, когда они ложились спать) готов был бы целые сутки подряд смотреть на свою счастливую дочку, и ему бы это ничуть не надоело.

А там пошли воспоминания — и как они наслаждались ими за этим надолго затянувшимся чаепитием! С каким юмором слесарь спросил у Джо, помнит ли он еще ту ненастную ночь, когда он в «Майском Древе» в первый раз осведомился о Долли! Как они все смеялись, вспоминая тот вечер, когда Долли отправилась на бал в портшезе, и безжалостно подшучивали над миссис Варден, которая выставила цветы Джо за окно, вот это самое окно! А миссис Варден сначала лишь скрепя сердце смеялась над собой вместе со всеми, потом, оправившись от смущения, наслаждалась этими шутками не меньше других.

Джо конфиденциально сообщил с абсолютной точностью, в какой день и час он впервые понял, что любит Долли, а Долли, краснея, рассказала,— наполовину добро-

вольно, наполовину по настоянию других,— когда именно она сделала открытие, что «неравнодушна» к Джо,— и эти признания служили неиссякаемым источником веселья и разговоров.

Потом у миссис Варден нашлось что порассказать о своих материнских тревогах и подозрениях, доказывавших ее проницательность. Было ясно, что от ее бдительных и мудрых глаз ничто не могло укрыться. Она все знала заранее! Она угадала все с первого взгляда. Она всегда это предсказывала. Она поняла это раньше, чем сами влюбленные. Она сразу сказала себе — и даже помнит точно, какими словами: «Молодой Уиллет что-то очень уж заглядывается на нашу Долли, придется мне приглядывать за ним». И, конечно, «приглядывая» за ним, она заметила кучу разных мелких признаков (она все их тут же перечислила, и они оказались действительно такими мелкими, что никто другой не мог бы по ним ни о чем догадаться). Словом, из слов миссис Варден явствовало, что она с первой до последней минуты проявляла в этом деле величайшую тактичность и непревзойденную стратегическую ловкость.

Не забыт был, разумеется, ни тот вечер, когда Джо непременно хотел проводить их до дому и ехал верхом рядом с повозкой, а миссис Варден не менее упорно настаивала, чтобы он вернулся, ни тот день, когда Долли упала в обморок, как только при ней упомянули имя Джо, ни те многочисленные случаи, когда миссис Варден, всегда бдительная, входя в комнату Долли, заставала дочь печальной и тоскующей. Словом, ничто не было забыто. И о чем бы ни говорили, все неизменно приходили к заключению, что сегодня — счастливейший день в их жизни, что все к лучшему, и лучше уж просто и быть не может.

Беседа за столом была в самом разгаре, когда вдруг в дверь с улицы раздался громкий стук. Дверь эту весь день не отпирали, так как хозяева жаждали тишины и покоя. Услышав стук, Джо не дал никому тронуться с места и сам побежал открывать, как будто это была исключительно его обязанность.

Разумеется, странно было бы думать, что, сойдя вниз, Джо забыл, где находится входная дверь. А если

бы даже и так,— дверь была достаточно внушительных размеров, торчала прямо перед глазами, так что он не мог не увидеть ее. Тем не менее Долли, потому ли, что ей сегодня не сиделось на месте, или она боялась, что Джо не сможет одной рукой отпереть дверь (никакой другой причины у нее быть не могло), побежала за ним. И оба очень долго оставались в коридоре — должно быть, Джо умолял ее, чтобы она не подходила к двери, так как может простудиться на июльском ветру, который неизбежно ворвется, когда ее откроют,— а между тем с улицы снова и еще энергичнее забарабанили в дверь.

— Отворит кто-нибудь из вас, или мне придется самому пойти? — крикнул Варден сверху.

Тут только Долли вбежала обратно в столовую, раскрасневшаяся, улыбающаяся, а Джо с грохотом отпер входную дверь, всячески стараясь показать, что он страшно торопится это сделать.

— Ну-с, что там такое? — спросил слесарь, когда Джо вернулся в гостиную.— Чего ты смеешься, Джо?

— Сейчас сами увидите, сэр.

— Кого увижу? Что увижу?

Миссис Варден, недоумевая, как и он, только покачала головой в ответ на вопросительный взгляд мужа. Тогда слесарь повернул свое кресло так, чтобы быть лицом к двери, и уставился на нее широко открытыми глазами с выражением любопытства и удивления.

На пороге никто не появлялся, но сначала в мастерской, затем в темном коридорчике между мастерской и гостиной послышались странные звуки, как будто там кто-то тащил непосильную тяжесть — громоздкий сундук или мебель. В конце концов, после долгой возни и грохота в коридоре, дверь в гостиную распахнулась, как от удара тараном, и не спускавший с нее глаз слесарь увидел, что́ происходило за порогом. Он даже рот разинул, и брови у него взлетели на лоб. Хлопнув себя по ляжке, он в полнейшем замешательстве воскликнул громко:

— Черт побери, да это Миггс!

Сия дева, услышав свое имя, немедленно бросила на произвол судьбы сопровождавшего ее маленького мальчика и большущий сундук и ринулась в комнату так стремительно, что шляпка слетела у нее с головы. Всплеснув

руками, в которых держала деревянные патены, она набожно подняла глаза к потолку и разразилась потоком слез.

— Опять за старое! — воскликнул слесарь, глядя на нее в неописуемом отчаянии.— Эта девушка — настоящий пожарный насос! Никогда она не угомонится!

— Ох, хозяин! Ох, мэм! — воскликнула Миггс.— Я не могу удержаться от слез в такую минуту, когда мы все опять вместе! Ах, мистер Варден, какое это счастье — мир в семье! Прощение всех обид и крепкая дружба!

Слесарь посмотрел на жену, на Долли, на Джо — и снова на Миггс, все так же подняв брови и раскрыв рот. Когда глаза его остановились на Миггс, он уже не мог отвести их, как зачарованный.

— Подумать только,— кричала Миггс в истерическом экстазе.— Подумать, что мистер Джо и дорогая мисс Долли соединились, наконец, несмотря на все, что говорилось и делалось, чтобы этому помешать! Видеть, как они сидят рядышком, как голубки, а я-то ничего и знать не знала и не могла приготовить им чай! Ох, как же мне обидно! Но какая радость видеть все это!

В порыве благочестивого восторга мисс Миггс хотела, видно, всплеснуть руками, но вместо этого ударила своими деревянными патенами друг о дружку, как будто это были кимвалы, и добавила самым умильным тоном:

— Неужто моя миссис думала... боже милостивый, неужто она могла думать, что Миггс оставит ее? Верная Миггс, которая поддерживала ее во всех испытаниях и понимала ее, когда те, кто не желал ей зла, но был с ней очень груб, так больно ранили ее душу? Неужели она думала, что Миггс забудет все, хотя она простая служанка и знает, что за службу наследства не получишь? Забудет, что была смиренной посредницей между ней и мужем, когда они ссорились, всегда мирила их, улаживала все и твердила хозяину про доброту и отходчивость миссис, про кротость ее нрава? Что же она думает, что Миггс неспособна привязаться и служила только ради жалования?

На все эти вопросы, один другого патетичнее, миссис Варден не отвечала ни слова. Но Миггс, ничуть этим не

смущаясь, обратилась к сопровождавшему ее мальчику (своему старшему племяннику, сыну ее родной замужней сестры, рожденному и взращенному в доме номер двадцать семь на площади Золотого Льва, под сенью второго звонка на двери справа) и, то и дело прибегая к помощи носового платка, поручила ему по возвращении домой утешить родителей, передав им, что она покидает их, чтобы остаться в недрах семьи, которую любит больше всего на свете, как известно вышеупомянутым родителям, и напомнить им, что только властное чувство долга и преданность старым хозяевам, а также мисс Долли и мистеру Джо, заставили ее отклонить настойчивые просьбы родных, предлагавших ей (как он сам может засвидетельствовать) кров и стол на всю жизнь и совершенно бесплатно. В заключение Миггс приказала племяннику помочь ей снести наверх сундук, затем идти домой, унося с собой ее благословение, и отныне всегда молиться о том, чтобы он, когда вырастет, стал таким человеком, как мистер Варден или мистер Джо, и имел таких родных и друзей, как миссис Варден и мисс Долли.

Закончив речь этим наставлением (по правде сказать, юный джентльмен, для которого оно предназначалось, почти, а то и вовсе его не слушал, так как был всецело поглощен созерцанием лакомств на чайном столе), мисс Миггс предупредила все общество, чтобы они не беспокоились, так как она сейчас вернется, и с помощью племянника потащила свой багаж к двери, намереваясь нести его наверх.

— Послушай, душа моя,— сказал слесарь жене,— ты этого желаешь?

— Я? Да я поражена, я просто ошеломлена ее наглостью! Пусть сию же минуту убирается из нашего дома!

Услышав это, Миггс выпустила из рук угол сундука, так что он тяжело стукнулся о пол, громко фыркнула и, скрестив руки, поджав губы, воскликнула три раза, постепенно повышая тон, «О, господи!»

— Ты слышишь, голубушка, что говорит хозяйка? — промолвил слесарь.— Так что, я думаю, лучше уходи подобру-поздорову. Постой-ка: вот тебе за старую службу.

Мисс Миггс зажала в кулаке ассигнацию, которую он протянул ей, спрятала ее в красный кожаный кошелек, а кошелек — в карман (показав при этом более значительную часть фланелевой нижней юбки и толстых черных чулок, чем принято показывать в обществе), затем мотнула головой и, посмотрев на миссис Варден, снова повторила:

— О, господи!

— Это мы уже слышали, моя милая,— заметил ей слесарь.

Тут Миггс закусила удила:

— Что, видно, времена переменились, не так ли, мэм? *Теперь* вы уже обойдетесь без меня? Сумеете и без моей помощи держать их в узде? Вам больше не нужен козел отпущения, на котором можно срывать злость? Очень приятно, что вы стали такая самостоятельная! Поздравляю вас!

Прокричав это, Миггс низко присела перед своей бывшей госпожой и, стоя в полуоборот, чтобы услышать ее ответ, высоко подняв голову, обратилась к остальному обществу, переводя глаза от одного к другому:

— Право, я в восторге от этакой независимости! Жаль только, мэм, что пришлось вам таки покориться, потому что вы одна не смогли с ними справиться — ха-ха-ха! Но вам, я думаю, очень досадно,— ведь вы всегда ругали за глаза мистера Джо, а тут, поди-ка, он стал вашим зятем! И очень мне удивительно, как это мисс Долли поладила с ним после того, как столько лет заигрывала с каретником! Впрочем, я слыхала, что каретник сам раздумал — ха-ха-ха! Он говорил одному своему приятелю, что его окрутить не удастся, как ни лезут из кожи мисс Долли и вся ее семейка!

Миггс перевела дух в ожидании ответа, но, не дождавшись его, продолжала:

— Да, да, мэм, слыхала я и то, что некоторые леди здорово умеют прикидываться больными и даже падать в обморок — ну, прямо-таки замертво, когда им только вздумается. Конечно, я своими глазами этого не видала — нет, нет, боже упаси! И ваш муж... хи-хи-хи!.. тоже не видывал никогда. Но соседи об этом поговаривали, от них я слыхала, что один их знакомый, добрый

простофиля, пошел когда-то искать себе жену, а нашел ведьму. Но я-то, разумеется, никогда не встречала этого беднягу. Да и вы, мэм, не знаете его — нет, нет! Любопытно, кто бы это мог быть — как вы думаете, мэм? Вам, наверно, тоже невдомек, ха-ха-ха!

Миггс снова сделала паузу, но не дождавшись и на этот раз никакой реплики, чуть не лопнула от распиравшей ее злобы.

— Очень хорошо, что мисс Долли еще не разучилась смеяться,— начала она снова с отрывистым смешком.— Люблю, когда люди смеются,— и вы, мэм, тоже это любите, верно? Ведь вам всегда нравилось видеть других веселыми. И вы изо всех сил старались поддержать их хорошее настроение, не так ли, мэм?.. Впрочем, особенно радоваться сейчас, пожалуй, нечему — как вы полагаете, мэм? После того как вы чуть не с детства высматривали для нее выгодного жениха и тратили столько денег на ее наряды, чтобы она могла пускать мужчинам пыль в глаза,— подцепить бедного солдата, да еще без руки! Не велик улов,— верно, мэм? Ха-ха! Ни за что я не вышла бы за однорукого! На месте мисс Долли я предпочла бы мужа с обеими руками, хотя бы у него вместо пальцев был только крючок, как у нашего мусорщика!

Мисс Миггс намеревалась продолжать и уже начала было развивать мысль, что, вообще говоря, мусорщик — гораздо более приличная партия, чем солдат, но, когда выбора нет, приходится брать, что бог пошлет, и быть довольной хотя бы этим. Однако ее раздражение и досада дошли до того, что излить их в словах было невозможно, и, взбешенная тем, что ей никто не отвечает, она разразилась бурными рыданиями.

Затем, ища выхода злости, Миггс налетела вдруг, как ураган, на бедного племянника и, вырвав у него целую горсть волос, вопросила, до каких пор ей придется стоять тут и выслушивать оскорбления, и намерен ли он помочь ей вынести сундук или, может, ему нравится слушать, как срамят его родню? За этим последовали другие вопросы такого же свойства, столь ехидные, что мальчик, и без того доведенный до озлобления видом недоступных ему сластей, окончательно взбунтовался и ушел, бросив тетку и ее добро.

Кое-как толкая и таща сундук, Миггс в конце концов выбралась на улицу, раскрасневшись и запыхавшись от усилий и слез. Здесь она уселась на сундук отдохнуть в ожидании, пока ей удастся поймать другого мальчишку и с его помощью добраться домой.

— Ну, ну, Марта, это же только смешно,— шепотом уговаривал жену слесарь, отойдя за нею к окну и ласково утирая ей глаза.— Есть из-за чего огорчаться! Ты уже сама давно сознаешь, что ошибалась. Полно, душа моя, принеси-ка мне лучше Тоби, а Долли споет, и нам станет еще веселее после того, как мы избавились от этой напасти.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Прошел месяц. Однажды утром, в конце августа мистер Хардейл стоял один в Бристольской конторе почтовых карет. Со времени его разговора в доме Вардена с Эдвардом Честером и Эммой прошло всего лишь несколько недель, но за это время неизменным остался только его костюм, а в нем самом произошла большая перемена. Он очень постарел, осунулся. Волнения, заботы и душевные тревоги щедро сеют морщины на лицах людей и седину в волосах, а отказ от старых привычек и разлука с дорогими и близкими оставляют еще более глубокие следы. Привязанности, быть может, не так легко уязвимы, как страсти, но боль от их утраты сильнее и продолжительнее. Мистер Хардейл остался теперь совсем один, и на душе у него было тяжело и тоскливо.

Хотя он столько лет жил затворником, это не помогало ему теперь переносить свое одиночество — напротив, еще обостряло тоску по Эмме. Ему сильно недоставало ее общества, ее любви. Она за все эти годы так вошла в его жизнь, что стала как бы частью его самого, у них было столько общих интересов и забот, которыми они ни с кем другим не делились. Лишиться Эммы значило для него начать жизнь сызнова, но для этого нужны были вера в свои силы и гибкость молодости, а не скептицизм,

разочарованность и усталость, неизбежные спутники старости.

Прощаясь с Эммой (они расстались только вчера), он старался казаться веселым и бодрым, но усилия, которых ему это стоило, совсем доконали его. В таком угнетенном настроении он вздумал в последний раз побывать в Лондоне и еще раз поглядеть на развалины старого дома, прежде чем навсегда покинуть его.

Путешествовать в те времена было совсем не то, что в наши дни. Но самому долгому путешествию приходит конец, и вот мистер Хардейл снова увидел улицы столицы. Он остановился в гостинице, где была стоянка почтовых карет, и решил провести в Лондоне только одну ночь и не сообщать никому о своем приезде: он хотел избежать тягостного прощания со всеми, даже со славным Варденом.

Он лег спать в таком состоянии духа, в котором человека легко одолевают болезненные фантазии и тяжелые сны. Он сам понимал это, понимал даже в ту минуту, когда в ужасе очнулся от первого сна и сразу распахнул окно, надеясь увидеть снаружи что-нибудь такое, что отвлечет его и рассеет воспоминания о страшном сне. Но этот кошмар преследовал его и раньше, принимая разные образы. Будь это только жуткое видение, часто являвшееся ему во сне, он проснулся бы с мимолетным чувством страха, которое сразу рассеялось бы. Но та тревога, которую он сейчас испытывал, не унималась, ничто не могло заглушить ее. Как только он лег в постель и закрыл глаза, она подкралась к нему. И, засыпая, он чувствовал, как она растет, назойливо охватывает его и принимает постепенно прежнее обличье. Он очнулся и вскочил, — видение рассеялось в возбужденном мозгу, оставив по себе ужас, против которого были бессильны рассудок и бодрствующее сознание.

Наступило утро, взошло солнце, а он все еще не мог отделаться от своей тревоги. Он встал поздно, но сон ничуть не подкрепил его, и он весь день не выходил на улицу. Ему почему-то хотелось в последний раз побывать в старой усадьбе не днем, а вечером, — в былые времена он имел обыкновение по вечерам прогуливаться в парке и сейчас хотел увидеть родные места именно

в этот час. Рассчитав время так, чтобы попасть в Уоррен незадолго до захода солнца, он вышел из гостиницы на людную улицу.

Задумавшись, пробирался он сквозь шумную толпу, но не успел сделать и несколько шагов, как почувствовал, что кто-то дотронулся до его плеча, и, обернувшись, увидел одного из слуг той гостиницы, где он ночевал. Слуга, извинившись, передал мистеру Хардейлу шпагу, оставленную им в номере.

— А зачем вы принесли ее мне? — спросил мистер Хардейл, протянув руку, но не беря шпагу и с беспокойством глядя на слугу.

Тот извинился и сказал, что, если мистер Хардейл этим недоволен, он унесет шпагу обратно. Потом прибавил:

— Вы говорили, сэр, что хотите прогуляться за город и, может быть, вернетесь поздно. А вечером дороги у нас небезопасны для одиноких путников. Со времени беспорядков люди и вовсе боятся ходить безоружными по глухим местам. Я подумал, что вы нездешний, сэр, и не знаете этого. Но если вы хорошо знаете наши дороги и захватили с собой пистолеты...

Мистер Хардейл взял шпагу, прицепил ее и, поблагодарив слугу, пошел дальше.

Лицо у него было такое странное и рука, протянутая за шпагой, так дрожала, что слуга несколько минут еще стоял, глядя ему вслед, и раздумывал, не следует ли пойти за ним и проследить, что он будет делать. В гостинице долго потом вспоминали и рассказ слуги и то, что мистер Хардейл этой ночью допоздна ходил по комнате, а утром слуги заметили, что он очень взволнован и бледен. Слуга, относивший ему шпагу, воротясь, сказал своему товарищу, что странный вид постояльца его очень тревожит — уж не задумал ли он покончить с собой?

Мистер Хардейл заметил выражение лица слуги и, смутно сознавая, что он возбудил в этом человеке какие-то подозрения, зашагал быстрее. Придя на стоянку карет, он нанял лучшую из них и уговорился с кучером, что тот довезет его туда, где от дороги отходит тропка в поле, и подождет его возвращения в трактире, до которого от-

туда рукой подать. Доехав до условленного места, мистер Хардейл слез и пошел дальше пешком.

Он прошел так близко от «Майского Древа», что мог видеть дым из его труб, поднимавшийся за деревьями. Стая голубей — вероятно, среди них были и старые обитатели «Майского Древа» — весело летела домой и пронеслась над головой одинокого путника, заслонив от него на миг безоблачное небо. «Старый дом опять оживет,— подумал мистер Хардейл, глядя им вслед.— И под увитой плющом крышей будет по-прежнему гореть веселый огонь. Приятно сознавать, что не все погибло в здешних местах, и я сохраню в памяти хоть одну веселую картину».

Он шел по направлению к Уоррену. Вечер был светлый и тихий, ничто не нарушало безмолвия, даже листья не шелестели, и только вдалеке сонно позвякивали колокольчики стада, да изредка мычала там корова или из деревни доносился лай собак. Небо еще светилось нежно-розовым блеском заката, а на земле и в воздухе царил глубокий покой, когда мистер Хардейл подходил к покинутой усадьбе, которая столько лет была для него родным кровом, чтобы в последний раз взглянуть на ее почерневшие стены.

Нам всегда грустно смотреть на золу отгоревшего огня, хотя бы то был просто огонь в камине: зрелище это говорит нам о смерти и разрушении того, что было полно жаркого света и жизни, а стало холодным, печальным прахом,— при этой мысли невольно сжимается сердце человеческое. А насколько тяжелее видеть обгорелые развалины своего родного дома! Повержен в прах священный алтарь, который чтут даже худшие из нас, а лучшие приносят на нем такие великие жертвы и свершают во имя его такие героические подвиги, что, если бы эти алтари вошли в историю, они заставили бы самые гордые храмы древности, столь прославленные летописями, покраснеть от стыда за свое чванство!

Мистер Хардейл очнулся от долгих размышлений и стал медленно обходить дом. Было почти темно.

Он уже собирался уходить, как вдруг остановился, невольно ахнув от неожиданности. Перед ним, в непринужденной позе прислонясь спиной к дереву и созерцая

развалины с выражением злорадства (злорадство это было так сильно, что победило привычное самообладание и откровенно выражалось на всегда непроницаемом и беспечно-равнодушном лице),— на его собственной земле стоял человек, присутствие которого было ему невыносимо всегда и везде, а в особенности здесь и в такую минуту. Стоял, торжествуя, как всегда торжествовал при каждой неудаче и разочаровании, постигавших его, Хардейла.

Кровь в нем закипела, гнев вспыхнул с такой силой, что он готов был убить этого человека. Но, сделав над собой нечеловеческое усилие, мистер Хардейл сдержался и прошел мимо молча, без единого слова, даже не взглянув на своего врага. Да, он без оглядки пошел бы дальше, хотя побороть искушение было невероятно трудно, если бы этот человек сам не окликнул его и не заставил остановиться. Его притворно-соболезнующий тон довел мистера Хардейла чуть не до бешенства, и он мгновенно потерял над собой власть, которая стоила ему таких мучительных усилий.

Всякая осторожность, рассудительность, терпение, все, чем сильно раздраженный человек может обуздать свою ярость, покинули мистера Хардейла в тот миг, когда он обернулся. Но он сказал медленно и внешне совершенно спокойно, гораздо спокойнее, чем когда-либо говорил с этим человеком:

— Зачем вы меня остановили?

— Какая удивительная случайность, что мы встретились здесь! Я только это и хотел заметить,— невозмутимо, как всегда, сказал сэр Джон Честер.

— Да, это действительно странно.

— Только странно? Скажите лучше — самый необыкновенный и удивительный случай в мире! Вот уже много лет я никогда не катаюсь верхом по вечерам. И вдруг сегодня ночью мне пришла необъяснимая фантазия съездить сюда. Какая живописная картина! — Он указал на разрушенный дом и поднял к глазам лорнет.

— Вы, ничуть не стесняясь, хвалитесь делом своих рук!

Сэр Джон, опустив лорнет, с любезно недоумевающей миной повернулся к мистеру Хардейлу и слегка покачал

головой, как бы говоря: «Боюсь, что этот грубиян окончательно спятил».

— Повторяю — вы, ничуть не стесняясь, хвалитесь делом своих рук! — сказал мистер Хардейл.

— *Моих рук!* — отозвался сэр Джон, с улыбкой оглядываясь вокруг.— Простите, но я, право же, не понимаю...

— Вы видите эти стены, эти расшатанные башни,— продолжал мистер Хардейл.— Видите, что наделал бушевавший здесь огонь. Видите, как поработали здесь разрушители. Видите или нет?

— Вижу, конечно, любезный друг,— ответил сэр Джон, мягким жестом пытаясь успокоить раздраженного собеседника.— Все вижу, когда вы не стоите передо мной и не заслоняете мне эту картину. Мне вас очень жаль. Если бы я не имел удовольствия встретить вас здесь сегодня, я, вероятно, написал бы вам это. Однако скажу откровенно — уж вы меня извините! — что несчастье свое вы переносите не с той стойкостью, какой я ожидал от вас,— нет, нет!

Сэр Джон достал свою табакерку и снисходительным тоном человека, которому умственное превосходство дает право читать нравоучения другим, продолжал:

— Ведь вы — философ, один из тех суровых и непреклонных философов, которые выше естественных слабостей человеческих. Вы взираете на них свысока и отгораживаетесь от них с поразительным ожесточением. Я же слышал вас.

— И еще услышите,— вставил мистер Хардейл.

— Благодарю,— сказал сэр Джон.— Не будем стоять на одном месте, мы ведь можем разговаривать на ходу. Что-то сыро становится. Не хотите? Как вам угодно. К сожалению, должен сказать, что могу уделить вам только несколько минут.

— Лучше бы вы не уделяли мне ни одной! От души желал бы, чтобы вы очутились где угодно, хотя бы в раю (если возможна такая чудовищная несправедливость), только бы не здесь сегодня.

— Ну, ну, вы чересчур уж строги к себе,— возразил сэр Джон.— Правда, собеседник вы далеко не из приятных, но вовсе не настолько, чтобы я должен был избегать вас.

— Слушайте, что я вам скажу! — воскликнул мистер Хардейл.— Выслушайте меня до конца!

— Опять будете браниться? — осведомился сэр Джон.

— Буду обличать вашу низость. Вы сделали свое дело чужими руками и нашли подходящего агента! Несмотря на сродство ваших душ, этот помощник изменил и вам, как изменял всем, потому что он предатель по натуре. Взглядами, намеками, хитрыми лукавыми словами, как будто ничего не значащими, вы подбили Гашфорда на это дело, последствия которого — вот тут, перед вами. Таким же способом вы внушили ему, что он может утолить свою смертельную ненависть ко мне (слава богу, у него есть за что меня ненавидеть!), похитив и обесчестив мою племянницу. Да, все это — дело ваших рук. Вижу по вашему лицу, что вы намерены отрицать это,— крикнул мистер Хардейл, отступив на шаг,— но тогда вы солжете!

Он схватился за шпагу, но сэр Джон, все так же хладнокровно и с презрительной усмешкой, возразил:

— Заметьте, сэр,— если вы еще способны что-нибудь сообразить,— что я не считаю нужным ничего отрицать. Не так уж вы проницательны, чтобы читать по лицам людей, которые не столь вульгарно откровенны, как вы. Помнится, вы проницательностью никогда не отличались — иначе вовремя прочли бы в глазах одной особы, которой называть не буду, равнодушие, а то и отвращение к вам. Я говорю о временах давно минувших,— и вы, конечно, меня понимаете?

— Сколько бы вы ни кривлялись, я знаю, что вы будете отрицать свою роль в этом деле. А ложь откровенная или уклончивая, высказанная или нет, всегда останется ложью. Вы не отрицаете? Значит, признаетесь.

— Вы же сами,— сказал сэр Джон все так же плавно, как будто его ни разу не прерывали,— публично высказали свое мнение об этом господине (это было, кажется, в Вестминстер-Холле) в таких выражениях, которые избавляют меня от необходимости продолжать о нем разговор. Были у вас основания для такого отзыва или нет, не знаю. Но если допустить, что этот господин таков, как вы его описали, и если даже он сделал какое-то заявление вам или кому другому, желая спасти свою шкуру, или

рассчитывая, что ему хорошо заплатят, или просто для собственного удовольствия, или из других соображений,— могу сказать только одно: те, кто пользуется платными услугами такого субъекта, позорят себя этим не меньше, чем он сам. Вы сами высказывались сегодня так бесцеремонно, что, надеюсь, позволите мне эту маленькую вольность.

— Скажу вам еще только одно, сэр Джон,— воскликнул мистер Хардейл.— Вы каждым взглядом, словом и жестом хотите мне внушить, что вы тут ни при чем. А я вам повторяю, что виновник всего — вы! Вы подговорили Гашфорда и вашего несчастного сына (бог ему прости!) сделать это. Вам ли толковать о позорных поступках! Вы сами когда-то сказали мне, что заплатили бедному дурачку и его матери за то, что они скрылись из Лондона, в действительности же вы только намеревались это сделать, но они ушли раньше. Я это и тогда подозревал, а теперь знаю наверняка. Знаю теперь и то, что именно вы оклеветали меня, пустив слух, будто одному мне была выгодна смерть брата. Да и другими гнусными выдумками и сплетнями про меня я тоже обязан вам. Всю мою жизнь, начиная с той первой надежды на счастье, которая благодаря вам превратилась в тяжкое горе и вечное одиночество, вы стояли на моем пути, как злой рок, и не давали мне покоя. И всегда, во всем вы показывали себя хладнокровным, бездушным, вероломным лжецом и негодяем! Во второй и последний раз говорю вам это в лицо. Я презираю вас и не хочу больше знаться с подлецом!

С этими словами он поднял руку и ударил сэра Джона в грудь с такой силой, что тот пошатнулся. Опомнившись от неожиданности, сэр Джон в тот же миг выхватил шпагу и, отбросив ножны и шляпу, кинулся на противника. Он нанес ему страшный удар, метя прямо в сердце, и убил бы его наповал, если бы мистер Хардейл быстрым и точным выпадом не отбил его шпаги.

Ударив сэра Джона, мистер Хардейл дал этим выход обуявшему его бешеному гневу и разом успокоился. Теперь он только парировал быстрые удары сэра Джона, не нападая, и с каким-то безумным ужасом в глазах кричал ему:

— Остановитесь! Только не сегодня! Не сегодня! Ради бога, не сегодня!

Увидев, что он опустил шпагу и не хочет драться, сэр Джон опустил свою.

— Не сегодня,— снова крикнул ему мистер Хардейл.— Остановитесь, пока не поздно.

— Вы сказали, что это наша последняя встреча, и угадали.— Сэр Джон говорил медленно и очень спокойно, но он уже сбросил маску и с нескрываемой ненавистью смотрел на мистера Хардейла.— Не сомневайтесь в этом. Думаете, я забыл нашу предыдущую встречу? Нет, я вам припомню каждое ваше слово и каждый взгляд, и вы мне за все ответите! Так вы воображаете, что я предоставлю вам выбрать час, когда мы сведем счеты? Как назвать такого человека, который вечно до тошноты твердит о честности и справедливости, заключает со мной союз с целью помешать браку, якобы ему нежелательному, а когда я самым точным образом выполняю свое обязательство, он увиливает от своего и затем устраивает этот брак, чтобы избавиться от надоевшей ему обузы и придать ложный блеск своему имени?

— Я поступал, как подсказывали мне честь и совесть! — крикнул мистер Хардейл.— И сейчас поступаю так же. Не вынуждайте меня продолжать сегодня нашу дуэль!

— Вы, кажется, назвали моего сына «несчастным»? — сказал сэр Джон с усмешкой.— И впрямь, как не пожалеть этакого простофилю? Так глупо попасться в ловушку, расставленную *таким* дядей и такой племянницей и дать себя женить! Бедный дурак! Но он мне больше не сын, можете наслаждаться успехом вашей хитрости, сэр!

— Еще раз прошу вас — не выводите меня из терпения и не лезьте сегодня под мою шпагу! — закричал мистер Хардейл, в ярости топнув ногой.— И зачем только вы пришли сюда сегодня! Зачем мы столкнулись! Завтра я был бы уже далеко, и мы никогда больше не встретились бы.

— Вы уезжаете? В таком случае я очень рад, что мы сегодня встретились,— сказал сэр Джон, не моргнув глазом.— Хардейл, я всегда презирал вас, вы это знаете, но все-таки признавал за вами своего рода примитивное

мужество. До сих пор я свои суждения о людях считал непогрешимыми, и мне обидно, что я ошибся, и вы оказались трусом.

Больше никто из них не произнес ни слова. Хотя было уже совсем темно, они скрестили шпаги и стали яростно наступать друг на друга. Силы были равны, оба прекрасно владели оружием.

Они дрались уже минуту-другую, все больше свирепея, и каждый успел нанести другому несколько легких ран. Раненный в руку мистер Хардейл почувствовал, как из нее хлынула теплая кровь, и, окончательно выйдя из себя, нанес такой сильный удар, что шпага его по рукоятку вонзилась в тело противника.

Глаза обоих встретились в тот миг, когда мистер Хардейл выдергивал шпагу, и оба не сразу отвели их. Мистер Хардейл одной рукой обхватил умирающего, но тот слабым движением оттолкнул его и упал на траву. Затем он приподнялся на руках и одно мгновение смотрел на мистера Хардейла с ненавистью и презрением. Но, должно быть, даже в эту минуту помня, что такое выражение может обезобразить его лицо после смерти, он попытался улыбнуться и с трудом пошевелил рукой, как будто хотел заправить в жилет окровавленную рубашку. Рука соскользнула с груди, и сэр Джон упал навзничь мертвый. Это и было страшное видение прошедшей ночи.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Бросим последний взгляд на тех действующих лиц этой повести, с которыми мы, увлеченные ее событиями, еще не успели проститься,— и повесть будет окончена.

Мистер Хардейл в ту же ночь бежал из Лондона. Покинув Англию раньше, чем хватились сэра Джона, нашли труп и начали следствие, он отправился сразу в один монастырь, известный во всей Европе строгостью режима и беспощадно суровыми правилами для тех, кто искал здесь убежища от суеты мирской. Мистер Хардейл принял монашеский обет, навсегда оторвавший его от жизни и лю-

дей, и через несколько лет, проведенных в покаянии, был погребен под мрачными сводами обители.

Труп сэра Джона обнаружили только через два дня. Как только его опознали и привезли домой, преданный слуга, верный принципам своего господина, удрал со всеми деньгами и всем добром, какое мог захватить, и зажил джентльменом на свой капитал. Он весьма успешно делал карьеру и, наверное, женился бы в конце концов на богатой наследнице, но вышла одна неприятная заминка, которая привела его к безвременной кончине. Он умер от заразительной болезни, весьма распространенной в то время, именуемой в просторечии тюремной горячкой.

Лорд Джордж Гордон пробыл в Тауэре до пятого февраля следующего года, а в этот день, в понедельник, состоялся в Вестминстере торжественный суд над ним по обвинению в государственной измене. В этом преступлении он, после тщательного расследования, был признан невиновным за отсутствием доказательств, что он собирал людей с предательскими или вообще противозаконными целями. И так как в стране было еще немало людей, которых беспорядки не обуздали и ничему не научили, то в Шотландии проводилась общественная подписка для покрытия судебных издержек лорда Гордона.

Семь лет лорд Гордон благодаря энергичному заступничеству своих друзей прожил сравнительно спокойно, если не считать того, что он довольно часто пользовался случаем доказать свою преданность протестантской вере, делая всякие сумасбродства, к великому удовольствию своих врагов, и что он был отлучен от церкви архиепископом Кентерберийским за отказ явиться по вызову в качестве свидетеля на церковный суд. В году 1788-м ему пришла новая безумная фантазия — он написал и выпустил в свет оскорбительный памфлет, где в самых дерзких выражениях поносил французскую королеву. Его отдали под суд за клевету и после его нелепых выступлений на этом суде признали виновным. Но он не явился выслушать приговор и бежал в Голландию. Однако мирные бургомистры Амстердама вовсе не жаждали его присутствия там, и он с величайшей поспешностью был выслан обратно на родину. Прибыв в июле в Харидж, он отсюда переехал в Бирмингем, где в августе месяце официально принял

иудейскую веру и выдавал себя за еврея, пока его не арестовали и не отвезли в Лондон для выполнения над ним приговора, от которого он бежал. По этому приговору он в декабре был отправлен в Ньюгетскую тюрьму на пять лет и десять месяцев, а сверх того с него потребовали крупный штраф и солидные поручительства за его благонадежное поведение в будущем.

Летом следующего года он обратился к французскому Национальному Собранию с просьбой о прощении, но английский министр отказался санкционировать помилование, и лорд Джордж примирился с тем, что ему придется отбыть весь срок заключения. Он отпустил бороду чуть не по пояс, выполнял все обряды своей новой религии и занялся изучением истории, посвящал также часть времени живописи, которой он довольно успешно занимался в молодости. Друзья его покинули, а в тюрьме с ним обращались как с худшим из преступников *, но он оставался всегда веселым и покорным судьбе. Он дожил только до сорока трех лет и умер в тюрьме 1 ноября 1793 года.

Многие люди, меньше этого бедного лорда сочувствовавшие нужде и горю обездоленных, менее одаренные и более черствые, сделали блестящую карьеру и оставили по себе громкую славу. Впрочем, лорда Джорджа тоже оплакивали. Заключенные очень горевали по нем, так как, несмотря на свои довольно скудные средства, он щедро помогал всем, раздавая деньги нуждающимся, какой бы веры они ни были, к какой бы секте ни принадлежали. По укатанным дорогам жизни ходит немало мудрецов, которые могли бы кое-чему поучиться у этого бедного помешанного, кончившего свою жизнь в Ньюгете.

Суровый Джон Груби верно служил ему до его последнего часа. Лорд Джордж и суток не успел пробыть в Тауэре, как Джон явился к нему и не оставлял его уже до самой смерти. Был у лорда и другой преданный друг, красавица еврейка, привязавшаяся к нему отчасти из религиозных, отчасти из романтических побуждений и трогательно заботившаяся о нем. В ее бескорыстии и добродетели не сомневались даже самые строгие моралисты.

Его бывший секретарь, разумеется, предал его. Он некоторое время кормился тем, что торговал тайнами

милорда, а когда запас их окончательно иссяк и торговать больше стало нечем, Гашфорд подыскал себе работу, вступив в почтенное сословие сыщиков, состоящих на жалованье у правительства. В такой жалкой роли он подвизался то на родине, то за границей и долго терпел все невзгоды и неудобства этой профессии. А лет десять — двенадцать тому назад в номере какой-то сомнительной гостиницы в Боро найден был мертвым в постели худой, истощенный старик, которого там никто не знал. Он отравился. Долго не удавалось узнать его фамилию, но потом, по заметкам в его записной книжке, выяснили, что он был секретарем лорда Джорджа Гордона во время знаменитого мятежа.

Прошло много времени после восстановления тишины и порядка, и в Лондоне уже давно перестали толковать даже о том, что на каждого из офицеров, во время бунта содержавшихся за счет города, тратили в день на стол и квартиру четыре фунта четыре шиллинга, на каждого солдата — два фунта два с половиной пенса. Через много месяцев после того как забыта была даже и эта животрепещущая тема и члены «Союза Непоколебимых» все до единого были перебиты, или сидели в тюрьме, или были высланы, мистера Саймона Тэппертита перевели из больницы в тюрьму, судили и после указа о помиловании выпустили на волю с двумя деревяшками вместо ног. Лишившись своих точеных ножек и слетев с высокого поста в бездну полнейшей нищеты и несчастья, он сменил гнев на милость и отправился к своему бывшему хозяину просить помощи. По совету Вардена и при его содействии он стал чистильщиком сапог и обосновался под аркой у конно-гвардейских казарм. Место было бойкое, и он быстро приобрел обширную клиентуру. В дни приемов при дворе у мистера Тэппертита ожидали своей очереди почистить сапоги чуть не двадцать офицеров. Дела его так пошли в гору, что он завел уже двух подручных, а там и женился на вдове одного известного тряпичника, родом из Милбэнка. С этой дамой, тоже помогавшей ему в работе, он наслаждался безоблачным семейным счастьем, иногда омрачавшимся легкими шквалами, которые, впрочем, только очищают атмосферу супружеской жизни и проясняют горизонт. Во время таких бурь

мистер Тэппертит, стремясь, поддержать свой авторитет, иногда забывался до того, что запускал в жену сапожной щеткой, туфлей или башмаком, а она (правда, лишь в самых крайних случаях) в отместку снимала его деревяшки и выставляла его из дому, на посмешище уличным мальчишкам, которым всякое озорство доставляет первейшее удовольствие.

Мисс Миггс, после крушения всех своих проектов, брачных и других, была обижена на весь неблагодарный и ничтожный свет и стала еще раздражительнее и желчнее. Она так энергично срывала свою злость на юном поколении в доме на площади Золотого Льва, награждая их щипками, шлепками и таская за волосы, что ее с общего согласия изгнали из этого святилища, предложив осчастливить своим присутствием любое другое место на земле. Случайно в это же время мидлсекское судебное ведомство объявило, что требуется надзирательница в женскую тюрьму, и назначило день и час для явки. Мисс Миггс явилась в назначенное время, ее сразу отметили и выбрали из ста двадцати четырех кандидаток, и она заняла эту должность, в которой состояла до самой смерти, то есть больше тридцати лет, так и оставшись девицей. Замечено было, что эта дева, с неумолимой свирепостью тиранившая свою женскую паству, была особенно сурова к тем из них, кто имел хоть малейшее притязание на красоту. А уж тем, кто согрешил по легкомыслию, она не давала пощады (что объясняли ее неукротимой добродетелью и строгим целомудрием): постоянно накидывалась на них по малейшему поводу или без всякого повода, изливая на их головы всю свою злобу. К грешницам этого сорта она применяла множество собственных полезных изобретений, завещанных ею потомству,— как, например, способ вонзать бородку ключа в крестец провинившейся, что она проделывала с утонченной жестокостью. Она же изобрела другой вид наказания: наступать как будто нечаянно на ноги тем, у кого были миниатюрные ножки (причем, наступать непременно деревянными башмаками) — тоже замечательно остроумный прием, до тех пор никому не известный.

А Джо Уиллет и Долли Варден не стали, конечно, откладывать свою свадьбу в долгий ящик. Они поженились

очень скоро, и так как слесарь имел возможность дать за своей дочкой хорошее приданое, у них оказалась кругленькая сумма в банке, и они снова открыли «Майское Древо».

Очень скоро, разумеется, в «Майском Древе» появился краснощекий мальчуган, ковылявший по коридору или кувыркавшийся на зеленой лужайке перед домом. Через короткое время (если считать по годам) забегала по дому и краснощекая девочка, потом — опять краснощекий мальчик и постепенно появилась целая стая девочек и мальчиков. Так что, когда бы вы ни заглянули в Чигуэлл, вы непременно увидели бы на деревенской улице, или на лужайке, или на дворе фермы («Майское Древо» было теперь уже не только постоялым двором, но и фермой), столько маленьких Джо и маленьких Долли, что их нелегко было сосчитать. Все эти перемены произошли довольно скоро. Но очень не скоро Джо, и Долли, и слесарь, и его жена стали на вид хотя бы пятью годами старше: ибо радость и довольство жизнью удивительно красят людей и помогают сохранить молодость — можете в этом не сомневаться.

Я думаю, очень не скоро в Англии появился другой такой постоялый двор, как «Майское Древо». Да и то еще большой вопрос, появился ли он и по сию пору, появится ли когда-нибудь в будущем.

И очень не скоро (ибо пословица говорит, что «Никогда — это не скоро») перестали в «Майском Древе» принимать горячее участие в раненых солдатах и угощать их в память похода Джо, а старый его знакомец-сержант — заглядывать в «Майское Древо» и без устали толковать с Джо о битвах и осадах, о тяготах военной службы и о тысяче других вещей, связанных с солдатской жизнью.

А большая серебряная табакерка, которую сам король послал Джо за его подвиги во время бунта! Ни один посетитель «Майского Древа» не забывал сунуть два пальца в эту табакерку, хотя бы он раньше никогда не нюхал табак, и, взяв понюшку, с непривычки чихал так, что с ним чуть не делались судороги. А багроволицый виноторговец! Был ли в те времена хоть один человек, который не встретил бы его в «Майском Древе»? И по

всему видно было, что он чувствует себя как дома в лучшей комнате этой гостиницы, будто век жил здесь. А праздники, крестины, рождественские обеды, именины, свадьбы и всякие другие торжественные дни в «Майском Древе» и «Золотом Ключе»! Если о них не упомянуть,— то что же достойно упоминания?

Мистер Уиллет-старший, какими-то неведомыми путями придя к выводу, что Джо хочет жениться и, следовательно, ему, отцу, лучше будет удалиться от дел и не мешать молодым, переселился в маленький коттедж в Чигуэлле, где специально для него расширили камин, повесили котел, а в садике перед крыльцом врыли шест наподобие «Майского Древа», так что Джон сразу почувствовал себя как дома. В его новое жилище каждый вечер приходили Том Кобб, Фил Паркс и Соломон Дэйзи, и все четверо, как бывало, сидя у огня, пили, курили, дремали, вели неторопливый разговор. Вскоре случайно выяснилось, что мистер Уиллет все еще воображает себя трактирщиком, и тогда Джо подарил ему грифельную доску, на которой старый Джон аккуратно писал счета на огромные количества мяса, пива и табака. С годами это превратилось у него в страсть, он записывал мелом против фамилий своих старых приятелей огромные суммы, которые они никак не могли бы уплатить, и это доставляло ему такое тайное наслаждение, что он то и дело выходил за дверь взглянуть на свои записи и возвращался с видом живейшего удовлетворения.

Он так и не оправился от потрясения, которое испытал во время разгрома своей гостиницы бунтовщиками, и до конца жизни его мыслительные способности оставались в таком же состоянии. Когда ему показали первого внука, его чуть удар не хватил: по-видимому, он решил, что это с Джо произошло какое-то чудесное превращение. Ему тотчас пустили кровь, пригласив для этого искусного лекаря. Старик поправился, и, несмотря на то, что все доктора предсказывали ему смерть от второго апоплексического удара не далее, как через полгода, и были весьма недовольны его поведением, когда он все-таки не умер,— он, вероятно из-за природной своей медлительности, прожил еще около семи лет. Однажды утром у него отнялся язык. В таком состоянии старый Джон пролежал очень

спокойно целую неделю и, внезапно придя в сознание, услышал, как сиделка шепнула Джо, что он отходит.

— Да, ухожу, Джозеф,— сказал мистер Уиллет, на миг повернув голову.— В сальваны...— И испустил дух.

Он оставил изрядную сумму денег — даже больше, чем ожидали соседи, покорные обычаю всех людей считать деньги в чужом кармане. Джо унаследовал все и стал видным человеком в тех местах. Деньги обеспечили ему полную независимость.

Барнеби не сразу опомнился после пережитого, не сразу вернулось к нему здоровье и веселый нрав. Но время шло, он постепенно становился прежним Барнеби и навсегда сохранил уверенность, что его заключение в тюрьме и затем избавление от смерти — приснившийся ему когда-то страшный сон. В остальном он был теперь более нормальным человеком. После выздоровления память у него стала лучше, характер и сила воли — устойчивее. Но все прошлое совершенно исчезло из его памяти, словно скрытое темной завесой, и мрак этот так никогда и не рассеялся в его сознании.

При всем том он чувствовал себя счастливым, так как полностью сохранил свою любовь к свободе и живой интерес ко всему, что живет, растет, движется в окружающем мире.

Они с матерью жили на ферме у Джо, ходили за скотом и птицей, помогали хозяевам во всем, а Барнеби еще возделывал свой собственный огород. Все птицы и животные знали его, и каждому из этих знакомцев он придумал кличку. Не было в деревне человека веселее и беззаботнее его, человека, более любимого старыми и малыми, более жизнерадостного и счастливого. И хотя он мог теперь бродить на свободе сколько душе угодно, он никогда не покидал Ее, ту, для которой был единственной опорой и утешением.

Любопытно, что Барнеби, так смутно помнивший прошлое, разыскал собаку Хью и взял ее к себе. Так же любопытно и то, что он никогда не соглашался поехать в Лондон. Через много лет после бунта, когда Эдвард и его жена вернулись в Англию с семейством, столь же многочисленным, как у Джо и Долли, и в один прекрасный день появились на крыльце «Майского Древа», он сразу узнал

их, плакал и прыгал от радости, однако навестить их в Лондоне решительно отказался. И ни под каким предлогом, хотя бы самым приятным и заманчивым, не удавалось заставить его побывать там. Так он никогда и не смог побороть своего отвращения к этому городу и больше не видел его.

А Грип? Грип скоро принял свой прежний вид, и перья его лоснились и блестели еще больше. Но он почему-то стал необыкновенно молчалив. То ли он в Ньюгете разучился искусству светского разговора, то ли в те смутные времена дал на определенный срок обет не показывать своих талантов,— кто его знает! Как бы то ни было, в течение целого года Грип не произнес ни единого слова и только каркал — торжественно и уныло. Но вот, видно, срок истек, и в одно прекрасное солнечное утро в конюшне вдруг раздался его голос — он обращался к лошадям с речью о чайнике, том самом чайнике, который столько раз упоминался на страницах этой повести. И не успел подслушавший его свидетель прибежать в дом с этой поразительной новостью, клятвенно уверяя, что он слышал еще хохот Грипа, как ворон сам, делая какие-то необыкновенные пируэты, появился в дверях и с диким восторгом прокричал:

— Я — дьявол, дьявол, дьявол!

С этого времени (несмотря на то, что на него, по мнению всех, сильно подействовала смерть мистера Уиллета-старшего) Грип постоянно практиковался и все более совершенствовался в искусстве человеческой речи. А так как для ворона он был еще младенцем, когда Барнеби стал уже седым стариком, то, по всей вероятности, болтает и до сих пор.

КОММЕНТАРИИ

В романе Диккенса «Барнеби Радж» описывается действительное историческое событие под названием «бунт лорда Гордона», имевшее место в Лондоне в 1780 году. Непосредственным поводом к бунту было обсуждение в парламенте вопроса об эмансипации католиков, иначе говоря, о возвращении католикам гражданских прав.

Антикатолические настроения в Англии имели глубокие корни. Со времен Реформации и буржуазной революции XVII века политическая реакция в стране неоднократно использовала английских католиков в своих целях. Еще в первой половине XVIII века в католических семьях нередко укрывались шпионы-иезуиты, засылаемые в Англию Францией и Испанией; часть католиков примкнула к Стюартам, когда они в 1715 и 1745 годах предприняли попытки реставрации в Англии самодержавной монархии.

Однако после разгрома восстания 1745 года, поддержанного только отдельными, самыми богатыми католическими семьями, положение изменилось. Новый строй достаточно укрепился и можно было не бояться восстановления старого режима; англичане-католики стали лояльны к власти. В конце 70-х годов XVIII века — тридцать с лишним лет спустя после последней попытки реставрации Стюартов — антикатолические настроения питались главным образом конкуренцией между буржуа-протестантом и буржуа-католиком. Купцу-протестанту было на руку неравноправное положение католиков. Ему было выгодно поддерживать любые предрассудки против этой части населения. Протестант, особенно если он принадлежал к какой-нибудь ревностной пуританской секте, не шел в лавку «папи-

ста», не заказывал себе платье у портного-«паписта», не селился в доме «паписта».

Подобные настроения и решил использовать в целях своей политической карьеры лорд Гордон (1751—1793). Он принадлежал к старинному шотландскому роду, но его собственная судьба складывалась до сих пор исключительно неудачно. Он в небольшом чине вышел в отставку с морской службы и, подкупив избирателей «гнилого» местечка (так называли избирательные округа, где всего лишь несколько человек обладало правом голоса), стал членом палаты общин, хотя был там на последних ролях. Вскоре ему, однако, представилась возможность стать заметной политической фигурой.

В 1778 году депутат парламента Джордж Сэвиль, близкий левому крылу партии вигов, внес законопроект, согласно которому католики должны были быть уравнены в правах с протестантами. Соотношение сил в парламенте складывалось в пользу Сэвиля, и лорд Гордон, принадлежавший к числу ярых «антипапистов», решил организовать «Союз протестантов», который боролся бы против этого законопроекта вне стен парламента. Политический карьеризм и религиозный фанатизм лорда Гордона шли здесь рука об руку. Нижняя Шотландия (lowland — в противоположность highland, горной части Шотландии), откуда происходил лорд Гордон, еще со времен Реформации являлась оплотом протестантизма, и его семья была издавна известна своей приверженностью этому религиозному учению. В 1779 году в Нижней Шотландии начались волнения, вызванные предстоящей эмансипацией католиков, и лорд Гордон, вернувшись из поездки на родину, принялся вербовать своих сторонников в Лондоне. В день голосования законопроекта Сэвиля в палате общин Гордон привел к зданию парламента толпы своих приверженцев, чтобы оказать давление на депутатов. Но закон все же был принят. В тот же день в Лондоне начались католические погромы. Громили лавки «папистов», жгли их дома, грабили их имущество. Лондонский муниципалитет, представлявший интересы протестантской части купечества, упорно отказывался вызвать войска для охраны «равноправных» отныне католиков, мобилизовать городское ополчение или каким-нибудь иным способом прекратить беспорядки. Очень может быть, что в бездействии властей был не только «коммерческий», но и политический расчет. При помощи католических погромов надеялись дать выход недовольству обитателей лондонских тру-

щоб — самой обездоленной части населения города, — среди которых вел работу «подстрекатель» Уилкс, наиболее близкий к народу и наиболее радикальный политический деятель Англии того времени. Но тут дело приняло неожиданный оборот. Несколько дней спустя после начала событий громили уже не только лавки католиков, но и лавки протестантов; были совершены нападения на дома некоторых видных правительственных чиновников. Толпа направилась к Ньюгетской тюрьме, освободила арестантов и сожгла здание. Были освобождены заключенные из долговых тюрем.

Обстановка в стране в этот период была такова, что попытка Гордона поднять городские низы на борьбу за чуждое для них дело, сыграв на их темноте и предрассудках, привела к стихийному восстанию.

В Англии происходил начиная с 60-х годов XVIII века промышленный переворот. Рабочие трудились по шестнадцать часов в сутки. Для разоряемых новой волной огораживаний крестьян существовало только два пути — в фабричную казарму или на большую дорогу. Целые районы голодали. Лондон кишел деклассированными элементами, стекавшимися сюда со всех концов страны, и быстро обрастал трущобами. Демагогического призыва лорда Гордона оказалось достаточно, чтобы прорвалось давно накапливавшееся негодование народных низов.

Диккенс не всегда дает правильное освещение изображаемым в романе событиям, но в основном старается следовать фактам, используя воспоминания современников и прессу того периода. И только лишь рисуя фигуру лорда Гордона, он сознательно отходит от действительности. Это неслучайно. Такого отступления от исторической правды требовал сам замысел романа.

«Барнеби Радж» создавался Диккенсом в годы чартизма и был непосредственным откликом на события того периода, когда в стране возникла революционная ситуация. О злободневности своего произведения Диккенс говорит, правда обиняком, в предисловии к роману. На ту же мысль должен был навести читателя один из образов романа — Симон Тэппертит, организовавший союз подмастерьев и принявший участие в бунте Гордона. Союзы подмастерьев были, как известно, предшественниками рабочих организаций, явившихся опорой чартистского движения.

Основной вопрос, который ставит перед читателем автор

романа «Барнеби Радж», это вопрос о народной революции, о непосредственном политическом действии масс. И ответ на него он дает противоречивый.

Диккенс — отнюдь не сторонник революции. Это нетрудно заметить и по тому, скажем, как он описывает разрушение Ньюгета, и по тому, как позже будет трактовать в своей «Повести о двух городах» революционные события во Франции. Бунт лорда Гордона избран им фабулой романа постольку, поскольку на его примере писателю легче было показать «бессмысленность восстания». Диккенс справедливо осуждает цели, которых добивался гордоновский «Союз протестантов», но при этом выступает против народного восстания как способа достижения *любых,* пусть даже справедливых целей.

И вместе с тем Диккенс понимает, что народ восстает, когда он не может больше терпеть. Понимает и то, как закономерно недовольство народа. Правящие верхи сами доводят народ до восстания — они обрекают его на нищету, пренебрегают его интересами, оскорбляют его достоинство. Восстание по Диккенсу — это форма протеста невежественных, темных людей. Но кто виновен в их темноте и невежестве?

Подобные взгляды Диккенса определили собой сюжет романа и характеры его героев. Лорд Гордон, вдохновитель восстания, представлен благородным идеалистом, сочувствующим народу, любящим его. И рядом с ним появляется вымышленная фигура политического авантюриста Гашфорда, подстрекающего народ на бесчинства. Две стороны восстания, как его понимал Диккенс, воплощены в двух разных героях.

Жестокость восстания передана автором через образ Денниса — одного из палачей Ньюгетской тюрьмы, человека, чья профессия — убийство. В мотивах поведения Барнеби и Хью Диккенс разбирается подробнее.

Имя Барнеби Раджа недаром послужило заглавием романа. Барнеби — в известном смысле символическая фигура, с помощью которой Диккенс высказал свое отношение к восстанию. Все побудительные мотивы этого силача с разумом ребенка — самого человечного и благородного свойства. Он мечтает, чтобы мать его могла жить в довольстве. Он мечтает о справедливости для всех. Но его оказывается очень легко обмануть и повести ложными путями. Он приходит в ужас при виде крови. Но восстание — это безумие, и безумному Барнеби суждено стать одним из его активных участников. Барнеби

совершил немало преступлений, но он до конца оправдан — и судом божеским и судом человеческим. Виновен не он, а те, кто подстрекал его на зло.

Еще больший интерес представляет образ Хью. Автор делает его незаконным сыном сэра Честера, этого сибарита-аристократа. И хотя Хью много лучше и честнее своего отца, только в дни восстания этот отщепенец общества начинает чувствовать себя хозяином своей судьбы. Жизнь, которую вел Хью, нищета, в которой он жил, довели его до одичания, и не его вина, что его самоотверженность сродни жестокости, геройство — кровожадности, а целеустремленность — безумию маньяка, опьяненного кровью. Преступления Хью — это грех Джона Честера, это грех тысяч подобных господ.

Каков же вывод Диккенса? Тот же, что и в других его произведениях. Он призывает тех, кто правит народом, действовать во благо ему и при помощи осторожных реформ уничтожить социальную несправедливость. Даже в этом, написанном с консервативных позиций романе Диккенс остается гуманистом и другом простых людей.

Стр. 5. *С самого начала обнаружилось, что ворон этот «богато одарен» (как говорит сэр Хью Ивенс об Анне Пейдж).—* Намек на следующий диалог из комедии Шекспира «Виндзорские проказницы». *«Шеллоу:* Я знаю эту молодую девицу. Она от природы хорошо одарена. *Ивенс:* Еще бы не хорошо! Семьсот фунтов и надежды в будущем!» (действие 1, сц. 1).

Стр. 6. *Йоркшир* — самое большое графство (область) Англии; расположено на северо-востоке страны.

Стр. 7. *О мятеже Гордона, насколько я знаю, не писал до сих пор ни один романист,—* С этого абзаца начиналось первоначальное предисловие Диккенса к «Барнеби Радж», датированное ноябрем 1841 года. Это предисловие было опубликовано в «Часах мистера Хамфри», где печатался роман, и в первом его отдельном издании. К новому изданию 1849 года Диккенс написал новый вариант предисловия (датированный мартом 1849), который включал в себя целиком и первое предисловие. В настоящем издании воспроизводится предисловие 1849 года, за исключением обзаца, опущенного автором во всех последующих изданиях: «Что касается самой истории Барнеби Раджа, то я могу здесь, мне кажется, лишь воспроизвести сле-

дующие строки из моего первого предисловия». Этот обзац предшествовал указанному отрывку.

Стр. 8. *Ежегодник (Annual Register)* — ежегодное периодическое издание, посвященное вопросам политики, истории и литературы, которое выходило в Лондоне начиная с 1758 года. В политическом отделе Ежегодника большое место отводилось отчетам о парламентских дебатах и публиковались (в сокращенном виде) наиболее интересные речи, произнесенные в парламенте.

Сэр Сэмюел Ромилли (1757—1818) — крупный английский юрист, член парламента. Человек прогрессивных убеждений, республиканец и последователь Руссо, Ромилли много сделал для смягчения английского законодательства, поддерживал Французскую революцию 1789 года, выступал защитником на политических процессах в годы последовавшей реакции.

Стр. 9. *Сэр Уильям Мередит* (1725—1790) — английский политический деятель, член парламента.

Случилось это в то время, когда поднялась тревога по поводу Фальклендских островов... — Фальклендские острова — архипелаг, расположенный в южной части Атлантического океана, в пятидесяти километрах от Магелланова пролива. Фальклендские острова были открыты в 1592 году английским мореплавателем Дэвисом. В 1767 году Фальклендские острова были захвачены испанцами и в 1771 году отбиты англичанами.

...указ о принудительной вербовке. — Английская армия XVIII века считалась вольнонаемной, но в случае недостатка в солдатах или матросах издавался королевский указ о принудительной вербовке. Принудительной вербовке подлежали лица, не имеющие средств к существованию или же замеченные в дурном поведении, и распоряжение о вербовке того или иного лица в каждом отдельном случае должно было быть издано мировым судом. Однако на практике вербовщики заранее входили в соглашение с мировыми судьями, ловили на улице подходящих по возрасту людей и зачисляли их в армию и во флот.

Ледгет-стрит — улица в Сити — торговом центре Лондона.

Стр. 13. *Майское древо* — майским деревом называли в Англии XVIII века шест, украшенный цветами и лентами, вокруг которого плясали в праздник весны (1 мая).

Стр. 13. ...*как ни одна стрела, когда-либо пущенная рукой английского йомена.*— Йомен — свободный английский крестьянин-землевладелец в феодальную эпоху и в эпоху первоначального накопления. Йомены были искусными лучниками и составляли до широкого распространения огнестрельного оружия основную, славившуюся своей стойкостью, часть английских войск, созывемых во время войны. Сословие йоменов (йоменри) исчезло в течение XVI—XVII веков в результате огораживания помещиками общинных земель и перешло на положение арендаторов.

Генрих Восьмой (1491—1547) — английский король с 1509 по 1547 год. При нем произошел разрыв с Ватиканом и была учреждена англиканская церковь, главой которой считается король. Однако англиканство времен Генриха Восьмого сохранило католическое богослужение и продолжало бороться с протестантизмом. После смерти Генриха VIII англиканская церковь отказалась от католической обрядовости и восприняла некоторые догматы протестантизма.

Стр. 14. *Королева Елизавета* (1533—1613) — английская королева с 1558 по 1603 год. В период царствования Елизаветы (в тексте романа она называется в дальнейшем также «королева-девственница» и «королева Бесс») в Англии была установлена реформаторско-англиканская церковь и произошел окончательный разрыв с католичеством.

Стр. 21. *Король Георг.*— Речь идет о Георге Третьем (1738—1820) — английский король с 1760 по 1820 год. Король Георг III пытался восстановить прерогативы короны, утраченные в течение XVIII века, и был на протяжении всего периода своего фактического правления крайне непопулярен в стране. С 1765 года страдал припадками безумия. В 1811 году, после долгой борьбы между сторонниками короля и оппозицией, его признали неизлечимым и в Англии было учреждено регентство во главе с принцем-регентом.

Стр. 23. *Георг Второй* (1683—1760) — английский король с 1727 по 1760 год.

Стр. 24. *Главный Судья* — точнее «Лорд Главный Судья Англии» — председатель Суда Королевской Скамьи и заместитель председателя Высшего Суда.

Стр. 43. *Великий Могол* — так в Европе называли мусульманских императоров Индии (Могол — испорченное «монгол»).

Стр. 47. *Картезианский монастырь* — здание бывшего мона-

стыря ордена картезианцев, в котором в 1611 году лондонский купец Томас Саттон открыл больницу и школу.

Стр. 47. *Хайгет* — в то время пригород Лондона.

Уайтчепл — один из беднейших районов Лондона, примыкающий с востока к лондонскому Сити; в Уайтчепле находилось немало кустарных производств.

Стр. 52. *...а фантазии эти, подобно печени Прометея, постоянно возобновлялись,* — Согласно греческому мифу, титан Прометей похитил у богов огонь и принес его людям. В наказание за это Зевс приковал его к скале, где орел за день выклевывал его печень, а к утру она вырастала снова. Прометей был освобожден Гераклом.

...на корпорацию их легла позорным пятном казнь Джорджа Барнуэлла. — Под «корпорацией» здесь подразумевается не объединение лиц одной профессии, а лица одного общественного положения. Джордж Барнуэлл — герой пьесы одного из основателей жанра «мещанской трагедии» Джорджа Лилло (1693—1739) «Лондонский купец, или История Джорджа Барнуэлла» (1731), ученик купца-мануфактурщика, который, влюбившись в куртизанку, убил ради денег своего дядю и был за это казнен. Герой пьесы Лилло перед смертью приносит покаяние и предостерегает молодых людей, чтоб они не следовали по его пути. Пьеса Лилло пользовалась успехом; купцы нередко сами покупали для своих подмастерьев и учеников билеты на ее представления.

Ричард Львиное Сердце — Ричард I (1157—1199) — английский король из династии Плантагенетов; царствовал с 1189 по 1199 год, участвовал в II крестовом походе (1190—1192), во время которого прославился своей храбростью.

Стр. 59. *Саутуорк* — район Лондона, расположенный на южном берегу Темзы (центр города находится на северном берегу); некогда входил в графство Сэррей. Это одна из двух частей Лондона (вторая — Сити), не подчиняющихся властям Лондонского графства и имеющих самоуправление. Поэтому Саутуорк называют еще Боро (то есть город или городской район, выделенный из графства).

Лондонский мост — старейший из мостов на Темзе, построенный первоначально в 975 году. В 1209 году на его месте был построен новый, на этот раз каменный с домами по обе стороны и часовней. Строения на Лондонском мосту были снесены, чтобы расширить проезд, к 1762 году. Су-

ществующий ныне Лондонский мост был построен на том же месте в 1831 году, и, таким образом, Лондонский мост, о котором идет речь в этом романе, и Лондонский мост, упоминаемый в других произведениях Диккенса,— разные сооружения. До постройки упоминаемого в романе «Барнеби Радж» Вестминстерского моста (1750, перестроен в 1862 г.) это был единственный мост в Лондоне, откуда и происходит его название.

Стр. 75. *Макбет* — шотландский король с 1040 по 1057 год, герой одноименной трагедии Шекспира. Здесь речь идет о характере Макбета, как он показан Шекспиром.

Стр. 86. *Атлас* — согласно греческому мифу, один из титанов, которому Зевс повелел держать на себе небосвод. Фигура Атласа часто используется в архитектуре для поддержания перекрытий, вместо колонн.

...парик с кошельком — парик с косичкой, которая вкладывалась в пришитый к парику сзади матерчатый кошелек. Парик с кошельком носили главным образом военные.

Стр. 87. *...во Флите обвенчают кого угодно.*— Согласно английским законам, для совершения бракосочетания требовалась специальная лицензия корпорации юристов гражданского и церковного права, так называемой Докторс-Коммонс, либо троекратное предварительное оглашение в церкви. Эти законы, однако, нередко обходились. Незаконные браки большей частью совершались в «пределах вольности тюрьмы Флит», небольшом районе вокруг долговой тюрьмы Флит, в котором за определенное вознаграждение разрешалось селиться неисправным должникам, что превращало их заключение в условное. Священники из числа условно заключенных нашли способ обеспечить себя постоянным заработком — они за небольшую мзду сочетали браком всех желающих в часовне на Флит-стрит, а иногда и просто в одной из окрестных таверн.

Конституция — Англия с конца XVII века считается конституционной монархией, однако не имеет писанной конституции. На этом и основан комизм слов Тэппертита, который уверен, что такая конституция существует, но ее скрыли от народа хозяева.

Стр. 88. *Затем мистер Тэппертит изложил текст присяги...*— Описывая церемонию принятия в Союз, Диккенс исходит из действительного ритуала, существовавшего в союзах подмастерьев. Союзы подмастерьев часто перенимали ритуал масонов. Некоторые из них даже имели специальные одеяния для участни-

ков собраний и рукописные «книги церемоний», в которых было подробно изложено, как следует отмечать все торжественные события в жизни союза. Подобные церемонии не были, однако, для союзов подмастерьев, а позднее для рабочих союзов пустым маскарадом, поскольку преследования властей вынудили их превратиться в тайные общества. Обычно вновь поступающий в союз приносил не только присягу, но и клялся соблюдать тайну, так как до издания в 1799 и 1800 годах специальных законов против рабочих союзов власти боролись с ними, используя старое законодательство против незаконной присяги, рассматривавшейся как государственная измена. Присяга была изгнана из церемониала рабочих союзов уже при жизни Диккенса, в 1834 году, после нашумевшего процесса шести дорчестерских рабочих, организовавших союз, которых приговорили к семилетней ссылке по формальному обвинению в принесении незаконной присяги.

Стр. 89. *...оказывать сопротивление лорд-мэру, меченосцу, капеллану и шерифу, ни во что не ставить Совет олдерменов, но... ни в коем случае не причинять вреда Тэмпл-Бару, ибо это — оплот Конституции...* — Шериф — глава исполнительной власти в английском графстве. Меченосец и капеллан — члены городского самоуправления лондонского Сити (Совета олдерменов), обязательно присутствующие при церемонии вступления в должность лорд-мэра и при церемонии вхождения короля в пределы Сити. Последняя церемония заключается в том, что, подойдя к воротам Сити, король просит разрешения войти, в ответ на что лорд-мэр спрашивает: «Кто там?» Король отвечает: «Король Англии», после чего лорд-мэр берет из рук меченосца меч Лондона, передает королю, и тот отдает его обратно лорд-мэру. Только тогда король имел право ступить за ворота Сити. Воротами Сити в течение долгого времени служил так называемый Тэмпл-Бар, стоявший на соединении теперешнего Стрэнда и Флит-стрит. Это были парадные ворота, построенные в 1672 году архитектором Кристофером Реном. В 1878 году они были разобраны и вынесены за пределы города. Тэппертит, очевидно, присутствовал когда-нибудь при церемонии вступления короля в Сити, в результате чего Тэмпл-Бар представляется ему символом свободы.

Стр. 93. *...зеленее, чем фонари над входом в аптеки.* — Зеленый фонарь служил в XVIII веке вывеской аптеки.

Стр. 110. *Флип* — подслащенный напиток, состоящий из

водки с пивом, перемешанных раскаленной металлической мешалкой.

Стр. 128. *Монумент* — колонна, воздвигнутая в память лондонского пожара 1666 года; расположена по пути от Лондонского моста к Вестминстерскому дворцу, у набережной Темзы.

Стр. 142. *Тэмпл* — несколько кварталов старинных зданий, расположенных у набережной Темзы, вокруг бывшего храма темплиеров, построенного еще в XIII веке. В описываемую эпоху здесь помещались два Судебных Инна (так назывались судейские корпорации, имеющие право держать учеников и присваивать юридические звания) и бесчисленные конторы ходатаев по делам.

Стр. 146. *Валентин и Орсон* — герои старинного французского романа о двух братьях, одного из которых (Орсона) вскормила медведица.

Стр. 152. *Коронер* — чиновник, ведущий следствие по делам об убийствах, поджогах, кораблекрушениях. Осмотр трупов и дознание коронер производит с участием пятнадцати — восемнадцати присяжных, образующих «суд коронера».

Стр. 154. *Кентиш-Таун... Хэмстед... Кенсингтон... Челси* — окраинные районы Лондона.

Стр. 155. *Кадрил* — карточная игра для четырех партнеров.

Стр. 156. *Тайберн* — площадь в пригороде Лондона, где до 1783 года совершались казни уголовных преступников.

Стр. 167. *Тайбернское Дерево* — так в Англии того времени называли виселицу.

Стр. 174. *...очутился у городской тюрьмы.* — Речь идет о Ньюгетской тюрьме — главной уголовной тюрьме Лондона, построенной в начале XV века при лорд-мэре Виттингтоне. После того как во время восстания лорда Гордона она была сожжена, ее вновь отстроили через два года, и она служила местом заключения вплоть до 1880 года. В 1902 году Ньюгетская тюрьма была снесена, и на ее месте в 1904 году выстроено новое здание центрального уголовного суда (Олд-Бейли).

Стр. 185. *...какой путь в Гретна-Грин — ближайший... согласится ли кузнец сочетать их браком в кредит?* — В Шотландии, в отличие от Англии, можно было зарегистрировать брак без тройного оглашения в церкви и без лицензии. Поэтому лица, желающие обойти английские законы о браке, сочетались так называемым «шотландским браком». Для этого они чаще всего отправлялись в шотландскую деревню Грента-Грин, которая на-

ходилась недалеко от английской границы, и там вступали в брак. В этой деревне книга записи бракосочетаний хранилась у местного кузнеца.

Стр. 205. *Собор св. Павла* — собор в центре лондонского Сити, построенный знаменитым английским архитектором-классицистом Кристофером Реном (1632—1723).

Стр. 211. *Иезавель* — упоминаемая в библии жена израильского царя Ахава, имя которой стало нарицательным для обозначения порочных женщин.

Стр. 214. *Милорд Честерфилд* — известный английский политический деятель и писатель-моралист Филипп Дормер Стенхоп, граф Честерфилд (1694—1773). Здесь речь идет о письмах лорда Честерфилда его сыну Филиппу Стенхопу, опубликованных в 1774 году вдовой последнего. Письма эти представляли собой свод житейских правил, которым следовала английская аристократия XVIII века. «Письма графа Честерфилда» в течение первого же года выдержали пять изданий и были очень популярны еще долгое время после выхода в свет.

Стр. 225. *Пороховой Заговор* — католический заговор в Лондоне в 1605 году. Получил свое название потому, что сигналом к выступлению должен был послужить взрыв парламента во время тронной речи короля Иакова I. Для этой цели один из заговорщиков, Гай Фокс, должен был поджечь установленные заранее в подвалах парламента бочки с порохом. За день до предполагаемого взрыва бочки были обнаружены, и планы заговорщиков пресечены. День открытия Порохового Заговора, 5 ноября, долго был в Англии народным праздником, во время которого сжигались чучела Гая Фокса, а в английском парламенте и поныне существует обычай перед открытием заседаний палаты общин обходить с факелами подвалы парламента.

Стр. 228. *Архиепископ Кентерберийский* — первосвященник англиканской церкви.

Стр. 258. *Ковент-Гарден* — городской район в Лондоне, расположенный на территории бывшего монастырского сада. В Ковент-Гардене находились один из двух главных театров Лондона и рынок того же названия.

Стр. 288. *Тауэр-стрит* — улица около старинного замка Тауэр, являвшегося в XVIII веке тюрьмой для государственных преступников. Район Тауэра был заселен мелкими торговцами, комиссионерами и т. п.

Стр. 289. *Излингтон* — в то время один из окраинных районов Лондона к северу от Сити.

Прошли времена благородного Виттингтона, гордости английского купечества, и в наши дни церковные колокола принимают уже меньше бескорыстного участия в судьбе человека. — Диккенс говорит здесь о популярной английской легенде, которую не раз упоминает в своих произведениях. Согласно этой легенде, лорд-мэр Лондона Ричард Виттингтон (историческое лицо, жившее в конце XIV — начале XV века) начал свою карьеру мальчиком в лавке богатого купца. Однажды Виттингтон решил бежать от хозяина и уже выходил из Лондона, когда услышал в звоне церковных колоколов слова: «Вернись, Дик Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». Виттингтон вернулся к хозяину, со временем разбогател и стал лорд-мэром.

Фортунат — герой народной легенды о нищем, получившем от Судьбы (Фортуны) волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги. Эта легенда известна почти во всех странах Западной Европы. В Англии на ней построил сюжет своей пьесы «Приятная комедия о старике Фортунате» (ок. 1594 г.) драматург Томас Деккер (1572—1632).

Стр. 320. *Кровавая Мария,* иначе Мария Католичка (1516—1558) — королева Англии с 1553 по 1558 год, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Вступив на престол после смерти Эдуарда VI, она заставила парламент отменить все законы в пользу протестантизма, изданные в царствование своего предшественника, и заключила в тюрьму многих протестантских епископов, что вызвало народное восстание, беспощадно подавленное. Через год после восшествия на престол вступила в брак с королем Испании Филиппом II, религиозным фанатиком, и учредила в Англии инквизицию, которая сожгла около трехсот протестантов. Под влиянием Филиппа начала войну с Францией, закончившуюся поражением. Эпоха Марии Кровавой осталась в памяти английского народа как время жестокой католической реакции.

Стр. 325. *Суффолкские протестанты* — то есть протестанты из Суффолка, графства в Восточной Англии, одного из центров производства камвольных тканей.

Стр. 335. *Смитфилдский рынок* — крупнейший мясной рынок в Лондоне; существует с XIV века.

Стр. 340. *Так их кортеж проследовал... по всему Уайтчеплу,*

по Лиденхолл-стрит и Чипсайду до «Погоста св. Павла».— Погост св. Павла — улица вокруг собора св. Павла, проложенная на месте бывшего кладбища при соборе.

Стр. 342. *Вестминстер* — район Лондона, на территории которого находятся парламент и правительственные учреждения,— стариннейшая часть города. В XVIII веке центр Лондона часто называли «Вестминстер и Лондон» (под Лондоном здесь подразумевался лондонский Сити). Объясняется это тем, что по административному делению Лондон состоял из четырех частей — Саутуорка, Сити, Вестминстера и Мидлсекса. Две первые имели самоуправление, две последние подчинялись властям Лондонского графства. В районе Вестминстера жила аристократия, в районе Сити — купечество.

Стр. 344. *...в дело вмешивается Георг Третий.*— Намек на право помилования, составлявшего одну из прерогатив короны. Помилованных преступников обычно ссылали в английские колонии в Америке.

Стр. 350. *Английский банк* — банк, основанный группой купцов, как акционерное общество; в 1694 году получил от Вильгельма III хартию на одиннадцать лет, впоследствии продлевавшуюся. Английский банк находился фактически на положении государственного; национализирован после второй мировой войны.

Стр. 363. *Олд-Бейли.*— В описываемую эпоху так назывался центральный уголовный суд Лондона, расположенный рядом с Ньюгетской тюрьмой.

Стр. 365. *...пока гиганты св. Дунстана не оповестили его, который час.*— Речь идет о двух колоколах, висевших под часами на колокольне старинной церкви св. Дунстана и отбивавших время. Об этих колоколах Диккенс рассказывает в одной из лучших своих рождественских повестей «Колокола». Церковь св. Дунстана находилась на соединении Стрэнда и Флит-стрит, около Тэмпл-Бара, и была снесена в 1830 году.

Миддл-Тэмпл — один из четырех главных Судебных Иннов (более подробно см. 2-й том на ст. изд., стр. 515), а также та часть Тэмпла, в которой он помещался.

Стр. 366. *...чье имя произносится не иначе, как с титулом «сэр», и который после своей фамилии ставит две буквы Ч. П.*— Слово «сэр», если оно произносится вместе с именем (в отличие от бытового обращения «сэр», которое является просто формой вежливости), означает, что данное лицо имеет титул баронета

или что король совершил над ним старинный обряд возведения в рыцари. Буквы Ч. П. ставят после своей фамилии члены парламента.

Стр. 371. *Джордж Сэвиль* (1726—1784) — английский политический деятель, член парламента в 1759—1783 годы; выступал в парламенте в защиту католиков и диссидентов-протестантов, преследовавшихся государственной англиканской церковью; выступал также в поддержку американских колонистов, боровшихся за независимость.

Стр. 392. *Воксхолл* — самый популярный в описываемую эпоху увеселительный сад в окрестностях Лондона. Район, в котором находился сад, тоже называли Воксхоллом.

Вестминстер-Холл — древнейший зал Вестминстерского дворца, здания, где помещается английский парламент (Вестминстерский дворец тоже иногда по-старинному называют Вестминстер-Холл). После пожара 1834 года, когда здание было вновь отстроено, этот зал был превращен в вестибюль парламента. Диккенс описывает современное ему здание парламента, а не то, каким оно было в 80-х годах XVIII века.

Пелес Ярд (буквально «дворцовый двор») — площадь перед зданием парламента.

Стр. 436. *...из Мидлсекса в Сэррей,* — то есть с северного берега Темзы на южный. Мидлсекс и Сэррей — графства, части которых вошли в состав Лондона. Часть графства Сэррей, вошедшая в городскую черту Лондона, называлась также Саутуорк и Боро.

Стр. 453. *Конвей* Генри Сеймур (1721—1795) — английский политический и военный деятель, генерал, затем фельдмаршал. Занимал министерские посты в первом (1765) и втором (1782) правительствах Рокингема.

Стр. 454. *Закон о мятеже* — закон, согласно которому считаются мятежниками все, кто, собравшись числом более двенадцати с целью учинить беспорядки, отказываются разойтись в течение часа после того, как этого потребовал мировой судья, шериф, помощник шерифа или мэр. Момент, когда лицо, облеченное властью, предъявляет подобное требование к собравшимся, называется «чтением Закона о мятеже». Этот закон был принят в подобной формулировке в начале XVIII века. Король Георг III добавил к нему новое определение, согласно которому бунтовщиками считались любые пятьдесят лиц, собравшиеся группой перед зданием парламента во время его заседания.

Стр. 470. *Кентербери* — старинный город в Юго-Восточной Англии, в графстве Кент. Считается официальной резиденцией архиепископа Кентерберийского, первосвященника англиканской церкви.

Стр. 486. *Тайный Совет* — совещательный орган при короле Англии, состав и численность которого устанавливаются самим королем; имеет право принимать постановления, не подлежащие утверждению парламента.

Стр. 489. *Ист-Смитфилд* — улица в Лондоне, на которой находился Монетный двор.

Стр. 492. *...король Георг Третий, не потерпит никакого бунта и безобразий на улицах своей столицы...* — Восстание действительно было подавлено благодаря личному вмешательству Георга III, настоявшего на решительных мерах.

Стр. 518. *...он, подобно царю Мидасу, шепотом поверял свои тайны земле и погребал их в ней.* — Мидас — царь древней Фригии (Малая Азия) между VII и VIII вв. до н. э. Существует предание, что Мидас, слушая, как Пан играл на свирели, а Аполлон на кифаре, отдал в этом состязании первенство Пану, за что Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами. Эту тайну знал только цирюльник Мидаса, но она так тяготила его, что он вырыл в земле ямку и шепнул в нее: «У царя Мидаса ослиные уши». Из ямки вырос тростник, в шелесте которого слышались эти слова, и все узнали тайну Мидаса. Диккенс неточно передает эту легенду.

Стр. 528. *Кордегардия* — караульное помещение у ворот крепости.

Стр. 530. *Сэр Джон Фильдинг* (1722—1780) — главный мировой судья Вестминстера и Мидлсекса (Лондонского графства) с 1754 года до смерти. Работу в суде начал в качестве помощника своего старшего сводного брата, великого английского писателя Генри Фильдинга, занимавшего этот же пост. Джон Фильдинг продолжил мероприятия по организации в Лондоне регулярной полиции и уголовного розыска, начатые его братом в 1750 году. В 1761 году он был посвящен в рыцари (получил право именоваться «сэром»). С девятнадцати лет Джон Фильдинг был почти слеп, но о нем говорили, что он по голосу знает три тысячи профессиональных преступников.

Стр. 532. *Бау-стрит* — улица, на которой жили Генри, а затем Джон Фильдинг и где находился главный мировой суд Лондонского графства.

Стр. 553. *Меншен-Хаус* — резиденция лорд-мэра Лондона.

Стр. 568. *Хаундсдитч* — один из лондонских центров торговли подержанным платьем, улица старьевщиков.

Линкольнс-Инн-Филдс — одна из самых больших площадей в Лондоне. На ней находится самый известный Судебный Инн — Линкольнс-Инн.

Стр. 581. *Церковь Гроба Господня* — церковь, расположенная около Ньюгетской тюрьмы. Колокол этой церкви звонил в дни казней.

Стр. 592. *...уводили освобожденных арестантов в примыкавшее к тюрьме здание суда...* — то есть в здание центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли.

Стр. 599. *Лорд Мэнсфилд* Вильям Мерри (1705—1793) — Лорд Главный Судья с 1756 по 1788 год; поддерживал в парламенте билль об эмансипации католиков.

Стр. 602. *Лорд-Президент* (полностью — Лорд-Президент Совета) — председатель Тайного Совета. В большинстве случаев является одновременно членом правительства.

Ламбетский дворец — старинный дворец в Ламбете, одном из заречных районов Лондона, лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского.

Лорд-Канцлер — председатель палаты лордов и Высшего (Канцлерского) Суда, министр юстиции.

Лорд Рокингем Чарльз Уотсон Уентуорт (1730—1782) — английский политический деятель, дважды премьер-министр.

Гровенор-сквер — площадь в аристократической части Лондона.

Когда в положенный час отперли ворота Флитской тюрьмы и тюрьмы при Суде Королевской Скамьи... — В лондонских долговых тюрьмах заключенным в награду за примерное поведение, а также за плату разрешалось в определенные часы покидать тюрьму с обязательством вернуться до закрытия ворот.

Стр. 605. *Нортумберлендская милиция* — то есть части городского ополчения из Нортумберленда, графства в Северной Англии, граничащего с Шотландией.

Стр. 651. *Саванна* — город в США (штат Джорджиа), основанный в 1733 году. В период борьбы английских колоний в Америке за независимость, английские войска заняли город (29 декабря 1778 года) и удерживали его до 1782 года. 9 октября

1779 года войска колонистов предприняли неудачную попытку взять город штурмом. Об этом эпизоде и упоминает Диккенс.

Стр. 705. *Вест-Индия* — общее название трех архипелагов в Атлантическом океане на границе Караибского моря и Мексиканского залива — Багамских островов, Больших Антильских и Малых Антильских. Вест-Индия была открыта Колумбом и в XVII веке захвачена Англией, Францией и другими колониальными державами.

Стр. 717. *Принц Уэльский* — титул наследника английского престола. В 1780 году этот титул носил будущий король Георг IV (1762—1830); с 1811 по 1820 являлся принцем-регентом.

Стр. 738. *...в тюрьме с ним обращались как с худшим из преступников...* — Это утверждение Диккенса не соответствует действительности. Лорд Гордон жил в тюрьме в специально отведенном для него обширном помещении, его мог навестить всякий, кого он соглашался принять, и он даже устраивал в тюрьме балы.

Ю КАГАРЛИЦКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

БАРНЕБИ РАДЖ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
Собр. соч., т. 8

Редактор Р. Померанцева
Художник Е. Семпер
Худож. редактор Л. Калитовская
Техн. редактор Г. Каунина
Корректор В. Седова

Сдано в набор 18/XI 1958 г.
Подписано к печати 20/XI 1958 г.
Бумага 84 × 108[1]/32 — 24 печ. л.
39,36 усл. печ. л. 38,66 уч.-изд. л.
Тираж 600 000 (150 001—600 000) экз.
Заказ № 489. Цена 13 р. 60 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Ленинградский совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.